БАЛЬЗАК

ОНОРЕ БАЛЬЗАК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 24 ТОМАХ

ТОМ 12

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1960

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

СЦЕНЫ ПАРИЖСКОЙ ЖИЗНИ

ИСТОРИЯ ВЕЛИЧИЯ И ПАДЕНИЯ ЦЕЗАРЯ БИРОТО

ВЛАДЕЛЬЦА ПАРФЮМЕРНОЙ ЛАВКИ,
ПОМОЩНИКА МЭРА ВТОРОГО ОКРУГА г. ПАРИЖА,
КАВАЛЕРА ОРДЕНА ПОЧЕТНОГО ЛЕГИОНА и ПР.

Г-ну Альфонсу де Ламартину
его почитатель де Бальзак.

I

ЦЕЗАРЬ В АПОГЕЕ ВЕЛИЧИЯ

В зимние ночи суета на улице Сент-Оноре замирает совсем ненадолго,— едва кончится разъезд карет после спектаклей и балов, начинается движение зеленщиков к Центральному рынку. В ту пору, когда стихает великая симфония парижских шумов, около часа ночи, жена г-на Цезаря Бирото, владельца парфюмерной лавки у Вандомской площади, внезапно пробудилась от страшного сна. Жена парфюмера видела себя сразу в двух лицах: она предстала сама пред собой в лохмотьях; иссохшей, морщинистой рукой она пыталась приоткрыть дверь собственной лавки, где находилась одновременно и на пороге и на своем обычном месте — за конторкой; она у себя самой просила милостыню, слышала свой голос и в дверях и у кассы. Г-жа Бирото решила разбудить мужа, но рука ее нащупала лишь пустоту. Тогда она вся похолодела от страха, не в силах была повернуть головы, шея у нее одеревенела, перехватило дыхание и пропал голос; она замерла, пригвожденная к своему

ложу за отдернутыми занавесями алькова, глаза ее расширились и неподвижно уставились в одну точку, волосы на голове зашевелились, в ушах звенело, сердце сжималось и часто билось, она обливалась холодным потом.

Страх — явление столь сильно и болезненно действующее на организм, что все способности человека внезапно достигают либо крайнего напряжения, либо приходят в полный упадок. Физиологов долгое время смущал этот феномен, он опровергал их теории и опрокидывал их догадки; хотя страх — это всего лишь электрический разряд в организме, он, как всякое электрическое явление, принимает формы странные и причудливые. Объяснение это станет общепринятым, когда ученые постигнут огромную роль электричества в человеческой психике.

Госпожа Бирото испытала жестокий толчок, одно из тех душевных потрясений, которые какой-то непонятной силой ослабляют или напрягают волю и как бы просветляют ум. За очень краткий промежуток времени, если измерять его по часам, но неизмеримо огромный по количеству мгновенных впечатлений, бедная женщина обрела поразительную остроту мысли и столько передумала и вспомнила, сколько в обычном состоянии не могла бы успеть и за целый день. Содержание ее мучительного и безмолвного монолога можно передать в нескольких нелепых, противоречивых, бессвязных словах:

— Зачем понадобилось Бирото встать ночью? Не объелся ли он телятины? Не худо ли ему? Нет, он разбудил бы меня, если бы занемог. Девятнадцать лет, как мы спим вместе в этой кровати, в этом доме, и ни разу он, бедняжка, не вставал с постели, не предупредив меня! Он не ночевал дома, только когда дежурил в кордегардии. Да ложился ли он спать сегодня? Ну, конечно. Господи, до чего ж я глупа!

Она оглядела постель и заметила ночной колпак мужа, сохранивший почти коническую форму головы.

— Значит, он умер! Покончил с собой! Почему? — спрашивала она себя.— Вот уж два года как его назначили помощником мэра, и с тех пор он сам не свой. Избрать его в муниципалитет,— да куда это годится, право! Торговля идет хорошо: он подарил мне шаль. Но,

быть может, его дела и не так уж хороши? Ну, я бы уж об этом знала. Хотя поди-ка узнай, что у мужчин на уме? Да и у женщин тоже! Ну, это еще не беда. Но разве мы сегодня не наторговали на пять тысяч франков? А потом, помощник мэра не может наложить на себя руки, ему-то хорошо известно, что это противозаконно. Так где же он?

Она не в силах была ни повернуть головы, ни протянуть руки к шнурку колокольчика, чтобы разбудить кухарку, трех приказчиков или рассыльного при лавке. Под влиянием кошмара, мучившего ее и после пробуждения, она даже не вспомнила о дочери, мирно спавшей в соседней комнате, дверь в которую находилась как раз возле ее кровати. Наконец она крикнула: «Бирото!» Никакого ответа. Ей показалось, что она позвала мужа, на самом деле она лишь мысленно произнесла его имя.

— Неужели у него есть любовница? Нет,— возразила она сама себе,— он слишком глуп и к тому же слишком любит меня. Не говорил ли он госпоже Роген, что никогда не изменял мне, даже в мыслях. Этот человек — сама честность, сошедшая на землю. Если кто и заслуживает рай, так это он. Ну, в чем может он каяться своему исповеднику? В сущих пустяках. Хоть он и роялист (а почему — только богу известно), он не больно-то выставляет напоказ свою набожность. Бедный котик, уже в восемь часов он крадется потихоньку к обедне, словно в увеселительное заведение. Он боится бога ради самого бога и даже не думает об аде. Ему ли иметь любовницу, когда он почти не отходит от меня; даже надоел. Я дороже ему всего на свете, он бережет меня как зеницу ока. За девятнадцать лет ни разу голоса не повысил, разговаривая со мной. Даже дочь у него на втором месте. Да ведь Цезарина-то здесь... Цезарина! Цезарина! Не было еще у Бирото таких намерений, которые он скрыл бы от меня. Правду он говорил, когда приходил в «Маленький матрос» и уверял, что со временем я его узнаю и оценю. И вдруг исчез!.. Просто невероятно!

Она с усилием повернула голову и окинула беглым взглядом комнату, полную в этот час причудливых ночных теней; изображая их, писатель познает муки слова, и лишь кисть художника-жанриста может их воссоздать.

Какими словами передать ужасные зигзаги пляшущих силуэтов, фантастические очертания раздуваемых ветром гардин, игру трепетных отсветов ночника на складках красного коленкора, огненные блики на бронзовой розетке оконных занавесей, сверкающая середина которой напоминает глаз вора; платье, похожее на коленопреклоненное привидение,— словом, все странности, терзающие воображение в те минуты, когда оно отдается во власть душевных страданий и усугубляет их.

Госпоже Бирото почудился яркий свет в соседней комнате, и она тотчас подумала: «Пожар!» — но тут ее внимание привлек красный фуляровый платок, который она приняла за лужу крови, и грабители целиком заняли ее мысли; больше того, в расстановке мебели она усмотрела следы недавней борьбы. Когда она вспомнила, какие деньги лежат в кассе, ее охватил священный трепет, вытеснивший леденящий ужас кошмара; совершенно потеряв голову, в одной сорочке, она бросилась на помощь мужу, который, решила она, борется с убийцами.

— Бирото, Бирото! — закричала она, наконец, голосом, полным тревоги.

Она нашла парфюмера в соседней комнате со складным метром в руке: он что-то измерял; его бумажный зеленый в коричневую крапинку халат распахнулся, от холода покраснели ноги, но Бирото до того был увлечен своим делом, что ничего не чувствовал. Наконец он оглянулся и спросил: «Что случилось, Констанс?» Лицо его, растерянное лицо человека, вдруг оторвавшегося от сложных вычислений, было удивительно глупо, и г-жа Бирото расхохоталась.

— Господи! — воскликнула она.— Ну и чудак же ты, Цезарь! Почему ты не предупредил меня, что встаешь? Я чуть не умерла со страху, не знала, что и подумать. Что ты здесь делаешь, на сквозняке? Того и гляди простудишься. Слышишь, Бирото?

— Иду, женушка, иду,— сказал парфюмер, возвращаясь в спальню.

— Грейся и рассказывай, что за блажь пришла тебе в голову,— продолжала г-жа Бирото, выгребая из-под золы еще тлеющие головешки и усердно раздувая огонь.— Я совсем замерзла. Ну, не глупо ли было вско-

чить с постели в одной сорочке? Но мне почудилось, что тебя убивают.

Парфюмер поставил подсвечник на камин, запахнул халат и машинально подал жене ее фланелевую юбку.

— Возьми, душенька, оденься. Двадцать два на восемнадцать,— продолжал он прерванный монолог,— да у нас получится великолепная гостиная!

— Что с тобой, Бирото? В своем ли ты уме? Ты бредишь?

— Нет, жена, я подсчитываю.

— Подождал бы лучше до утра со своими глупостями! — воскликнула она, завязывая юбку под ночной кофтой, и, приоткрыв дверь, заглянула в комнату дочери.

— Цезарина спит,— прибавила г-жа Бирото,— она нас не услышит. Ну, не томи меня, Бирото. Что случилось?

— Мы дадим бал.

— Бал? Мы? Да ты и впрямь бредишь, дружок.

— Нет, я в здравом уме, милочка. Понимаешь ли, надо жить так, как обязывает наше положение в обществе. Правительство отличило меня, я принадлежу к правительству, мы должны проникнуться его духом и содействовать его намерениям, всячески их поддерживая. Герцог де Ришелье только что добился прекращения оккупации Франции иноземными войсками, и господин де ла Биллардиер считает, что должностные лица, так сказать, представители города Парижа, должны почесть за долг ознаменовать освобождение страны, каждый в сфере своего влияния. Проявим же истинный патриотизм, и пусть сгорят со стыда все эти проклятые интриганы, все эти так называемые либералы! Или ты полагаешь, что я не люблю родины? Я покажу либералам, моим врагам, что любить короля — значит любить Францию!

— Бедный мой Бирото, так, по-твоему, у тебя есть враги?

— Да, жена, да, у нас есть враги. И половина наших друзей в квартале — наши враги. Все они твердят в один голос: «Бирото везет, Бирото — ничтожество, а вот смотрите,—он уже помощник мэра, все ему удается». Ну что ж, их ждет еще удар! Знай, я тебе первой говорю — я ка-

валер ордена Почетного легиона: король вчера подписал указ.

— Ах, тогда нам и вправду надо дать бал, друг мой,— согласилась взволнованная г-жа Бирото.— Но за какие заслуги тебе пожаловали орден?

— Когда господин де ла Биллардиер сообщил мне вчера эту новость,— продолжал смущенный Бирото,— я тоже спросил себя: за какие заслуги? Но, размышляя по дороге домой, я решил, что достоин награды, и одобрил правительство. Прежде всего, ведь я роялист, в вандемьере я был ранен у церкви святого Роха, а это немалое дело — сражаться в такие дни за короля. Потом, как говорят среди купечества, я неплохо справлялся со своими обязанностями в коммерческом суде. Наконец, ныне я помощник мэра, а король пожаловал четыре ордена муниципалитету города Парижа. Выбирая помощников мэра, достойных награды, префект внес меня в список первым. Король ведь должен меня знать: благодаря старику Рагону я поставляю ему пудру, которую он благоволит употреблять, мы одни знаем рецепт пудры покойной королевы, нашей августейшей страдалицы! А уж мэр-то меня поддерживает. Чего ты хочешь? Ежели король награждает меня орденом без ходатайства с моей стороны, сдается мне, я не могу отказаться. Это было бы непочтительно по отношению к его величеству. Разве я хотел стать помощником мэра? Итак, жена, раз уж дует попутный ветер, как говорит в веселую минуту твой дядя Пильеро, то, я полагаю, мы должны быть на высоте. Если я могу быть полезен правительству, то готов стать, чем господь прикажет: супрефектом — так супрефектом, если уж таково мое предназначение. Ты глубоко ошибаешься, жена, полагая, что истинный гражданин может счесть выполненным свой долг перед родиной, если он двадцать лет кряду продает парфюмерные товары заинтересованным в них покупателям. Если государство требует от нас наших познаний, мы обязаны принести их на алтарь отечества, как обязаны уплачивать налог и на движимое имущество, и на двери, и окна, и прочее. Неужели тебе всю жизнь хочется оставаться за конторкой? Слава богу, насиделась ты в лавке достаточно. Бал будет нашим с тобой праздником. Конец розничной торговле, хватит. Я сожгу нашу вывеску «Королева роз» и

вместо «Цезарь Бирото, парфюмер, преемник Рагона» просто напишу большими золотыми буквами: «Парфюмерные товары». На антресолях устроим контору, кассу и уютный кабинет для тебя. Под склад для товаров отведем комнату за лавкой, теперешнюю столовую и кухню. Мы снимем весь второй этаж соседнего дома, пробьем туда дверь. Лестницу же перенесем так, чтобы свободно переходить из одного дома в другой. Получится большая, шикарно отделанная квартира! Я заново обставлю твою комнату, устрою тебе будуар, и Цезарине отведем хорошенькую комнатку. Кассирша, которую мы наймем, старший приказчик и твоя горничная (да, сударыня, у вас будет горничная!) поселятся на третьем этаже. На четвертом — будет кухня, комната для кухарки и рассыльного. На пятом этаже устроим склад для бутылок, хрусталя и фарфора. Упаковочную — на чердак! Прохожие не увидят больше, как работницы наклеивают этикетки, готовят пакетики, сортируют флаконы, закупоривают пузырьки. Что было еще терпимо на улице Сен-Дени, для улицы Сент-Оноре — уже дурной тон. Наш магазин должен напоминать салон. Скажи-ка, разве одни мы, парфюмеры, находимся в чести? Разве среди офицеров национальной гвардии нет торговцев уксусом или горчицей, к которым благосклонен двор? Возьмем их за образец, расширим нашу торговлю и одновременно войдем в высшее общество.

— Постой, Бирото, знаешь, что мне пришло в голову, пока я тебя слушала? Ты, видно, сам не знаешь, чего захотел! Вспомни, что я говорила, когда тебя собирались назначить мэром: «Спокойствие дороже всего! Тебе так же пристало быть на виду у всех,— сказала я тогда,— как моей руке стать крылом ветряной мельницы. Высокое положение тебя погубит!» Ты не послушал меня, вот и пришла наша гибель. Чтобы приобрести политический вес, нужны деньги, а много ли у нас денег? Зачем понадобилось тебе сжигать вывеску, которая стоила шестьсот франков, и отказываться от «Королевы роз» — твоей истинной славы? Оставь честолюбие другим. Не суй руку в огонь — обожжешься, разве не верно? А в наши дни и вовсе сгорают в политике. Завелась у нас сотня тысяч франков? Хочешь увеличить состояние? Хорошо, поступи, как в 1793 году: курс государственной ренты

сейчас семьдесят два франка, вот и приобрети ренту. Будешь получать десять тысяч франков дохода и нашим делам не повредишь. Воспользуйся случаем, выдай дочь замуж, продай фирму, и уедем к тебе на родину. Ведь уже пятнадцать лет ты только и твердишь, что о покупке «Трезорьера» — такое чудесное именьице в окрестностях Шинона: тут тебе и леса, и луга, и виноградники, и две мызы, и доходу оно дает тысячу экю; нам обоим усадьба нравится, и мы можем купить ее за шестьдесят тысяч франков... А вам, сударь, вдруг взбрело на ум занять место в правительственных кругах. Не забывай, мы всего лишь парфюмеры. Если бы шестнадцать лет тому назад, когда ты еще не изобрел ни «Двойного крема султанши», ни «Жидкого кармина», тебе сказали бы: «У вас будет достаточно средств, чтобы купить «Трезорьер», да ты с ума сошел бы от радости. Теперь же, когда ты в состоянии приобрести это имение,— а тебе ведь так хотелось купить его, ты ведь рта не мог раскрыть, чтобы не заговорить о нем,— теперь ты собираешься истратить на глупости деньги, заработанные нами в поте лица,— я вправе сказать *нами*, я-то всегда сидела за конторкой, словно собачонка на привязи. Чем пускаться в сомнительные спекуляции, не лучше ли жить месяцев восемь в году в Шиноне, а в столице иметь пристанище у дочери, которую мы выдадим замуж за парижского нотариуса. Выжди повышения курса государственных бумаг, тогда ты сможешь дать дочери ренту в восемь тысяч франков, и нам останется еще две тысячи; на средства же, вырученные от продажи фирмы, купим «Трезорьер». Перевезем туда, милый котик, нашу обстановку, она ведь тоже денег стоит, и заживем что твои князья. А в Париже нужно не меньше миллиона, чтобы занять видное положение.

— Я так и знал, что ты это скажешь, жена,— заметил Цезарь Бирото.— Все же я не настолько глуп (хотя ты и считаешь меня круглым дураком), чтобы не подумать обо всем. Слушай же внимательно. Александр Кротта самый подходящий для нас зять, куда уж лучше! И к нему перейдет контора Рогена. Но неужели ты думаешь, что он удовлетворится приданым в сто тысяч франков, а мы можем дать такую сумму только при условии, что продадим все свое имущество и затратим эти средства

на устройство дочери. Конечно, я готов так сделать, лучше мне до конца дней своих есть черствый хлеб, но пусть уж наша дочь, как ты сама сказала, будет женой парижского нотариуса и счастливой, как королева. Пойми же, сто тысяч франков или восемь тысяч франков ренты — сущие пустяки, на такие деньги не купишь конторы Рогена. Маленький Ксандро, как мы его называем, подобно всем нашим знакомым, считает нас куда богаче, чем мы есть на самом деле. Если его отец, этот толстый фермер, старый скаред, не продаст своих земель за сто тысяч франков, Ксандро не быть нотариусом, ибо контора Рогена стоит четыреста, а то и пятьсот тысяч франков. Если Кротта не заплатит половины суммы наличными, как он выпутается? За Цезариной мы должны дать двести тысяч франков приданого, да и я сам хочу уйти на покой обеспеченным парижским буржуа, имея пятнадцать тысяч франков ренты. А если я тебе докажу ясно, как день, что все это возможно, прикусишь ли ты язычок?

— Ну, раз ты нашел золотые россыпи в Перу...

— Да, милочка, да,— ответил радостно взволнованный, сияющий Бирото, обнимая жену за талию и легонько похлопывая ее рукой.— Я не хотел заговаривать с тобой об этом деле, пока не довел его до конца, но, право, завтра все уже будет в порядке. Так вот, Роген предложил мне надежную спекуляцию; он и сам принимает в ней участие вместе с Рагоном, с дядей Пильеро и еще двумя клиентами. Мы покупаем в районе церкви Мадлен участки земли, которые, по расчетам Рогена, достанутся нам за четверть той цены, какой они достигнут через три года — к сроку окончания аренды, когда мы станем их полноправными владельцами. Каждому из шести пайщиков дается обусловленная доля. Я вкладываю триста тысяч франков и получу три восьмых всей земли. Если кому-нибудь из нас понадобятся деньги, Роген их достанет под залог нашей части. Но, знаешь, своя рука — владыка, свой глаз — алмаз, и я решил стать владельцем половинной доли, вместе с Пильеро и стариком Рагоном, а записана она будет на мое имя. Роген будет находиться в доле с неким Шарлем Клапароном, моим совладельцем, который, так же как и я, выдаст обязательства своим компаньонам. Документы на приобретенные

земельные участки оформляются частным порядком до тех пор, пока мы не станем полными хозяевами всей земли. Роген рассмотрит контракты, подлежащие реализации, ибо еще наверняка неизвестно, удастся ли нам освободиться от регистрации участков и переложить эту обязанность на тех, кто станет покупать у нас землю по частям... Но это слишком долго тебе объяснять. После оплаты земли нам останется лишь сидеть сложа руки, а через три года у нас будет миллион. Цезарине исполнится двадцать лет, мы продадим нашу фирму и с божьей помощью скромно вступим на путь величия.

— Отлично, но где ты возьмешь триста тысяч франков? — спросила г-жа Бирото.

— Ты ничего не смыслишь в делах, кошечка. Я внесу сто тысяч франков, которые лежат у Рогена, сорок тысяч получу под залог дома и сада в предместье Тампль, где находится наша фабрика, а кроме того, двадцать тысяч франков лежат у меня в портфеле,— итого сто шестьдесят тысяч франков. Остается найти еще сто сорок тысяч; на эту сумму я подпишу векселя приказу банкира Шарля Клапарона, он внесет их стоимость за вычетом учетного процента. Вот триста тысяч франков и уплачены,— долг пойдет впрок, коль заплатишь в срок. Когда наступит срок векселям, мы погасим их из наших доходов. Если же не удастся рассчитаться, Роген достанет мне денег из пяти процентов под залог моих земельных участков. Но мы обойдемся без займа; я открыл средство для ращения волос — «Комагенное масло». Ливингстон уже установил в подвале гидравлический пресс — будем добывать масло из орехов,— под сильным давлением сразу выжмем из них все масло. Рассчитываю за год заработать не меньше ста тысяч. Я уже обдумываю объявление. Начнем его так: «Долой парики!» — и произведем фурор. А ты и не замечала, что я страдаю бессонницей. Вот уж три месяца, как успех «Макассарского масла» не дает мне покоя. Я хочу пустить ко дну это «Макассарское».

— Так вот над какими планами ты уже два месяца ломаешь себе голову и даже словечком о них не обмолвишься! Прекрасные планы! Недаром я видела себя во сне нищенкой, на пороге собственной лавки: это небесное предзнаменование. Скоро мы дотла разоримся и все

глаза себе выплачем. Нет, пока я жива, не бывать этому, слышишь, Цезарь?! За всем этим скрываются какие-то темные дела, о которых ты и не догадываешься; ты человек такой честный и порядочный, что не можешь заподозрить кого-либо в плутнях. С какой радости обещают тебе миллионы? Ты рискуешь всем состоянием, берешь обязательства не по средствам, а вдруг твое «Масло» не пойдет, не достанешь денег, нельзя будет реализовать стоимость земли,— как ты тогда оплатишь векселя? Может, ореховыми скорлупками? Ты стремишься к более высокому положению в обществе, отказываешься торговать под своим именем, хочешь уничтожить вывеску «Королева роз» и в то же время готов низко кланяться, лебезить перед публикой, выставлять напоказ имя Цезаря Бирото на всех столбах, заборах, на всех огороженных для построек местах.

— Вовсе не так! Я открою отделение магазина под вывеской Попино где-нибудь в районе Ломбардской улицы и поручу его маленькому Ансельму. Тем самым я отблагодарю чету Рагонов, пристроив их племянника к делу, которое его обеспечит. Бедных стариков Рагонов, видно, здорово потрепало за последнее время...

— Поверь мне, все эти люди подбираются к твоим деньгам.

— Да какие же «эти люди», моя прелесть? Не твой ли дядя Пильеро, который души в нас не чает и обедает у нас каждое воскресенье? Или добряк Рагон, наш предшественник? У него за плечами сорокалетняя безупречная деятельность, он наш всегдашний партнер по бостону! Или, может быть, Роген? Да ведь он почтенный человек пятидесяти семи лет и уже четверть века состоит парижским нотариусом. А парижский нотариус — это, сказал бы я, самый цвет общества, если бы только все порядочные люди не были достойны одинаковой чести. В случае нужды мне помогут компаньоны! Так где же заговор, дружочек? Давай поговорим по душам! Честное слово, у меня накипело на сердце. Ты всегда была пуглива, как кошка! Едва только в лавке у нас набиралось на два су товаров, как ты начинала видеть в каждом покупателе вора... Приходится на коленях умолять: позволь обогатить тебя! Ты парижанка, а честолюбия в тебе ни на грош. Без твоих вечных страхов я был

бы счастливейшим человеком в мире! Послушай я тебя, мы никогда бы не пустили в продажу ни «Крема султанши», ни «Жидкого кармина». Лавка всегда кормила нас, но эти два открытия и наши мыла дали нам сто шестьдесят тысяч франков чистоганом. Без моей изобретательности,— ведь что ни говори, а я талантливый парфюмер,— мы оставались бы мелкими розничными торговцами, еле-еле сводили бы концы с концами, и никогда не бывать бы мне именитым купцом, не баллотироваться в члены коммерческого суда, не заседать в суде, не стать помощником мэра. Знаешь, кем бы я был? Лавочником, как дядюшка Рагон, не в обиду ему будь сказано, так как я уважаю его лавку, этой лавке мы обязаны нашим благосостоянием! Поторговав лет сорок парфюмерией, мы, подобно Рагону, имели бы три тысячи франков дохода; и при нынешней дороговизне, когда цены возросли вдвое, мы перебивались бы кое-как, не лучше стариков Рагонов. Чем дальше, тем у меня сильнее болит душа за них. Надо разобраться в их делах; завтра же хорошенько расспрошу обо всем Попино. Ты отравляешь счастье тревогой, все боишься, не утеряешь ли завтра то, чем обладаешь сегодня. Следуй я твоим советам, не было бы у меня ни кредита, ни ордена Почетного легиона, ни политической карьеры впереди Да, покачивай головой сколько угодно... Если наше дело выгорит, я еще стану депутатом от Парижа. Недаром зовут меня Цезарь, все мне удается. Нет, это просто непостижимо,— чужие люди ценят мой ум. а дома жена, единственный человек, ради счастья которого я из кожи вон лезу, считает меня глупцом!

Слова эти, прерываемые красноречивыми паузами и вылетавшие словно пули, как у всякого, кто, обвиняя, оправдывается, выражали такую глубокую, безграничную привязанность, что г-жа Бирото была в душе тронута; однако, по женскому обычаю, она воспользовалась любовью мужа, чтобы взять над ним верх.

— Вот что, Бирото,— возразила она,— если ты меня любишь, позволь мне быть счастливой на свой лад. Ни ты, ни я не получили светского воспитания, мы не умеем ни разговаривать, ни держать себя в обществе; подумай, где уж нам преуспевать в высших кругах? А как мне хорошо будет в «Трезорьере»! Я всегда любила животных

и птиц и с радостью стану возиться с цыплятами и хозяйством. Давай продадим фирму, выдадим Цезарину замуж, и брось ты свое «имогенное масло». На зиму мы будем приезжать к зятю в Париж, заживем счастливо, спокойно, никакие перемены ни в политике, ни в торговле нас не будут тревожить. К чему тебе душить других? Разве нам не хватает нашего состояния? Или, став миллионером, ты будешь по два раза в день обедать, заведешь себе еще вторую жену? Бери пример с дяди Пильеро, он благоразумно довольствуется своим небольшим состоянием, и жизнь его заполнена добрыми делами. Разве нуждается он в роскошной квартире? А я уверена, что ты решил заказать новую обстановку,— я видела у нас в лавке Брашона, не за парфюмерией же он приходил.

— Верно, душенька, угадала,— я заказал для тебя обстановку; завтра мы начнем переделывать квартиру под руководством архитектора, рекомендованного мне господином де ла Биллардиером.

— Господи, сжалься над нами! — воскликнула г-жа Бирото.

— Ну рассуди сама, душенька. Неужели в тридцать семь лет такая привлекательная женщина, как ты, должна похоронить себя в Шиноне? Да и мне самому всего тридцать девять. Передо мной открывается блестящий путь, не пропускать же такой случай! Действуя осмотрительно, я положу начало солидной фирме, уважаемой парижским купечеством, сделаюсь основателем торгового дома Бирото и стану не менее чтимым, чем Келлеры, Демаре, Рогены, Кошены, Гильомы, Леба, Нусингены, Саяры, Попино, Матифа, а ведь ими гордятся или гордились целые районы столицы. Полно! Это верное дело, золотое дно!

— Верное!

— Да, верное. Вот уже два месяца, как я его обмозговываю. Будто бы между прочим осведомляюсь о постройках в ратуше у архитекторов, у подрядчиков. Господин Грендо, молодой архитектор, который будет переделывать наш дом, в отчаянии, что за отсутствием средств не может принять участия в нашей спекуляции.

— Он рассчитывает, что начнут строиться, вот и подзадоривает вас, чтобы потом ощипать.

— Ну, таких людей, как Пильеро, Шарль Клапарон

и Роген, не проведешь! Пойми ты, верный успех, как с «Кремом султанши».

— Но, дружок, зачем понадобилось Рогену пускаться в спекуляции, когда он оплатил стоимость конторы и сколотил себе состояние? Не раз видела я его озабоченного, что твой министр, идет — глаз не подымает; дурной это знак — Роген что-то таит. И лицо у него вот уже лет пять как у старого развратника. Кто поручится, что он не улизнет, захватив ваши денежки? Такие дела случались. Знаем ли мы его как следует? Пусть он пятнадцать лет считался нашим приятелем, а я за него не поручусь. Послушай, у него зловонный насморк, он не живет с женой, должно быть, содержит любовниц, а те его разоряют; иначе, почему ему быть таким озабоченным? Утром, одеваясь, я сквозь занавеси вижу из окна, как он возвращается пешком домой. Откуда? Никто не знает. Похоже, что у него есть вторая семья и что у него и жены свои особые траты. Так ли должен вести себя нотариус? Если у Рогенов пятьдесят тысяч франков доходу, а проедают они шестьдесят тысяч, то через двадцать лет они проживут все свое состояние, и Роген будет гол как сокол; но, привыкнув блистать в свете, он безжалостно обчистит своих друзей, ведь своя рубашка ближе к телу. Он водится с этим проходимцем дю Тийе, нашим бывшим приказчиком; я не вижу ничего хорошего в этой дружбе. Если Роген не знает цену дю Тийе, значит, он слеп, а если раскусил его, почему так носится с ним? Ты скажешь, его жена любит дю Тийе; что ж, я не жду ничего хорошего от человека, который терпит, что жена порочит его имя. А потом, что за простофили теперешние владельцы участков,— отдают за сто су то, что стоит сто франков. Если ты встретишь ребенка, не знающего стоимости луидора, разве ты умолчишь о ней? Не в обиду будь тебе сказано, ваша затея смахивает на жульничество.

— Господи! До чего женщины бывают порой забавны, и как они все на свете путают! Если бы Роген не принимал участия в деле, ты твердила бы: «Смотри, Цезарь, смотри. Роген остался в стороне, не сомнительное ли это предприятие?» Когда же он входит в дело и тем самым гарантирует его успех, ты говоришь...

— Но при чем тут какой-то Клапарон?

— Да ведь нотариус не имеет права под своим именем участвовать в спекуляции.

— Зачем же он поступает противозаконно? Что ты скажешь на это, законник?

— Дай мне договорить. Роген участвует в покупке участков, а ты мне заявляешь — нестоящее это дело! Разумно ли это? Ты еще прибавляешь: «Это противозаконно». Но Роген примет и явное участие, если понадобится. Ты заявляешь: «Он богат!» Но ведь то же самое могут сказать и обо мне? Что бы я ответил Рагону и Пильеро если бы они спросили меня: «К чему вы затеяли это дело, когда у вас и так денег хоть отбавляй?»

— Купец — это совсем иное, чем нотариус,— возразила г-жа Бирото.

— Словом, совесть моя совершенно спокойна,— продолжал Цезарь.— Люди продают землю по необходимости; мы обкрадываем их не больше, чем тех, у кого покупаем облигации ренты не за сто, а за семьдесят пять франков. Сегодня мы приобретаем земли по одной цене, через два года она возрастет так же, как повышается курс ренты. Знайте, Констанс-Барб-Жозефина Пильеро, вы никогда не уличите Цезаря Бирото в поступке, противоречащем чести, закону, совести или порядочности. Человека, стоявшего во главе фирмы восемнадцать лет, подозревают в нечестности, и где же? В его собственной семье!

— Полно, успокойся, Цезарь! Я твоя жена, прожила с тобой столько лет, я хорошо знаю и понимаю тебя. В конце концов здесь ты хозяин. Наше состояние — дело твоих рук. Оно твое, распоряжайся им. Хоть доведи ты нас — меня и дочь — до крайней нищеты, мы и тогда не сделаем тебе ни малейшего упрека. Но послушай, когда ты придумал «Крем султанши» и «Жидкий кармин», чем ты рисковал? Пятью, шестью тысячами франков, и только. Сегодня же ты ставишь на карту все свое состояние, ты играешь не один, а с партнерами, которые могут перехитрить тебя. Задавай балы, переделывай квартиру, истрать десять тысяч франков — это бесполезно, но не разорительно. Но против твоих спекуляций землей я решительно возражаю. Ты парфюмер, так и оставайся парфюмером, не к чему тебе становиться перекупщиком земельных участков. У нас, женщин, все-

гда бывают верные предчувствия. Я предупредила тебя, а дальше поступай как знаешь. Ты был членом коммерческого суда, ты знаешь законы, ты всегда удачно вел свои дела. А я что ж... я должна слушаться тебя, Цезарь. Но я не успокоюсь, пока наше состояние не будет обеспечено и пока мы не выдадим Цезарину замуж за хорошего человека. Дай бог, чтобы сон мой не оказался пророческим!

Такая покорность раздосадовала Бирото, и он прибегнул к невинной хитрости, обычной для него в подобных обстоятельствах.

— Послушай, Констанс, я еще не дал слово, но все уже налажено.

— О Цезарь, все уже сказано; не будем больше к этому возвращаться. Честь дороже богатства. Ложись спать, дружок, дрова уже прогорели. Поговорим в постели, если хочешь. Ах, этот зловещий сон! Господи! Видеть во сне самое себя! Нет, это ужасно!.. Мы с Цезариной будем служить молебны за успех твоего дела.

— Конечно, господняя помощь не повредит,— важно изрек Бирото,— но знаешь, жена, ореховое масло — тоже сила. Я пришел к новому своему открытию так же случайно, как и к «Двойному крему султанши»: тогда меня осенило, когда я перелистывал книгу, а теперь — когда рассматривал гравюру «Геро и Леандр». Помнишь, там женщина льет масло на голову своего возлюбленного? Разве это не мило? Нет ничего вернее предприятий, которые играют на тщеславии, самолюбии, желании нравиться. Эти чувства никогда не умирают.

— Увы! Я это прекрасно вижу.

— В известном возрасте мужчина пойдет на все, чтобы восстановить потерянную шевелюру. Парикмахеры говорили мне, что сейчас у них покупают не только «Макассарское масло», но всевозможные снадобья для окраски и ращения волос. После заключения мира мужчины еще больше увиваются за красивыми женщинами, а дамы лысых не любят, хе-хе,— верно, дружочек? Итак, спрос на этот товар объясняется политическим положением. Мое средство от выпадания волос будут покупать, как хлеб, тем более что оно несомненно получит одобрение Академии наук. Добрейший господин Воклен, надеюсь, поможет мне и на этот раз. Завтра я отправ-

люсь к нему за советом и преподнесу ему гравюру, которую я наконец нашел для него после двухлетних поисков в Германии. Он как раз занимается анализом волос. Я знаю об этом от Шифревиля — его компаньона по фабрике химических продуктов. Если изыскания Воклена подтвердят мою догадку, на наше масло набросятся и мужчины и женщины. Еще раз тебе говорю, открытие мое — целое состояние. Господи, да я из-за него сон потерял. Ах, счастье наше, что у маленького Попино превосходные волосы! Нам бы еще нанять кассиршу с косами до пят, да пусть она говорит — не в обиду будь сказано ни господу, ни ближнему нашему,— что ей помогло «Комагенное масло» (это будет именно масло), и тогда седовласые старцы набросятся на него, как осы на мед. А что ты скажешь, голубушка, о бале? Я не злой человек, но я не прочь увидеть среди гостей этого пройдоху дю Тийе, который кичится своим богатством и всегда избегает меня на бирже. Он знает, что мне известны кое-какие его некрасивые делишки. Пожалуй, я был слишком добр к нему. Как странно, женушка, что всегда бываешь наказан за добрые дела,— на этом свете, понятно. Я был для него, словно отец родной, ты даже не представляешь, сколько я для него сделал.

— Меня мороз по коже подирает от одного разговора о нем. Если бы ты знал, чем он собирался отплатить тебе за добро, ты не скрывал бы, что он выкрал из твоей кассы три тысячи франков. Я ведь догадалась, как ты уладил дело. Право, если бы ты отдал его в руки полиции, ты оказал бы добрым людям немалую услугу.

— Как же он собирался мне отплатить?

— Не стоит вспоминать. Если ты способен выслушать меня сегодня, я дам тебе добрый совет, Бирото: не водись ты с этим дю Тийе.

— Не странно ли будет отвернуться от человека, который служил у меня приказчиком и именно под мое поручительство получил двадцать тысяч франков, чтобы начать собственное дело? Нет уж, будем творить добро ради добра. И ведь дю Тийе мог исправиться...

— Придется нам, верно, все перевернуть вверх дном.

— Как так перевернуть все вверх дном? Нет, мы все разыграем как по нотам. Ты, видно, уже забыла, что я

тебе говорил о лестнице и найме помещения в соседнем доме,— я уж договорился с торговцем зонтиками Кейроном. Завтра вместе с ним я пойду к господину Молине, владельцу дома. Да, дел у меня завтра побольше, чем у министра...

— Ты мне голову вскружил своими планами,— ответила Констанс,— просто ум за разум заходит. И я уже совсем сплю.

— Доброе утро,— ответил муж.— Слышишь, Констанс, я говорю тебе «доброе утро», так как на дворе уже светло. Смотри-ка, уже заснула, дорогая детка! Спи спокойно, ты у нас еще будешь богачкой, или я потеряю право называться Цезарем.

Через несколько минут Констанс и Цезарь мирно похрапывали.

Беглый взгляд, брошенный на прошлое этой супружеской четы, подтвердит впечатление, которое сложилось у читателей от дружеского препирательства между героями описанной сцены. Рисуя купеческие нравы, наш очерк объяснит еще, в силу какого необычайного стечения обстоятельств Цезарь Бирото стал владельцем парфюмерной лавки и офицером национальной гвардии, а затем сделался помощником мэра и кавалером ордена Почетного легиона. Всесторонне рассмотрев его характер и причины его возвышения, нетрудно будет понять, что в торговом мире потрясения, которые преодолевают люди сильные, для людей слабых и недалеких оказываются непоправимыми катастрофами. Сами события ничего еще не решают. Их последствия зависят исключительно от людей; несчастье — ступень к возвышению гения, очистительная купель — для христианина, клад — для ловкого человека, бездна — для слабого.

Жак Бирото, фермер-арендатор из окрестностей Шинона, женился на горничной помещицы, у которой он вскапывал виноградники. У Бирото было три сына, жена умерла при рождении третьего ребенка, и муж ненамного ее пережил. Помещица сердечно относилась к горничной: она воспитала старшего сына фермера, Франсуа, вместе со своими детьми, а затем определила его в семинарию. В годы революции Франсуа Бирото скрывался и вел бродячую жизнь неприсягнувших священников, которых преследовали и гильотинировали за малейшую

провинность. Ко времени начала этой истории он был викарием Турского собора и только раз выезжал из города, чтобы повидаться с братом Цезарем. Парижская сутолока до того ошеломила почтенного священника, что он не решался выйти из комнаты; он называл кабриолеты «полукаретами» и всему удивлялся. Погостив с неделю, он вернулся в Тур, дав себе слово больше никогда не приезжать в столицу.

Второй сын виноградаря, Жан Бирото, вступил в армию и во время первых войн революции быстро дослужился до чина капитана. В сражении у Требии Макдональд вызвал добровольцев для захвата одной из батарей, капитан Жан Бирото пошел в атаку со своей ротой и был убит. Рок как будто преследовал всех Бирото: они становились жертвой либо людей, либо событий, на каком бы поприще ни подвизались.

Самый младший из Бирото — герой нашей истории. В четырнадцать лет, научившись читать, писать и считать, он покинул родной край и отправился пешком на поиски счастья в Париж с луидором в кармане. Рекомендация турского аптекаря помогла ему поступить рассыльным в парфюмерную лавку супругов Рагон. Все имущество Цезаря состояло тогда из пары башмаков с подковками, штанов и синих чулок, жилета в цветочках, крестьянской куртки, трех рубах из грубого, прочного холста и дубинки. Волосы у него были подстрижены в кружок, как у певчего, но он отличался крепким сложением уроженца Турени, и если им часто владела лень, свойственная его землякам, то ее преодолевало желание сколотить состояние; ему не хватало ума и образования, зато он отличался природной честностью и чувствительностью, унаследованными от матери — женщины с «золотым сердцем», по выражению туренцев. Цезарь получал у хозяина харчи, шесть франков жалованья в месяц и спал на дрянной койке на чердаке, по соседству с кухаркой; приказчики показывали ему, как упаковывать товары, посылали с поручениями, заставляли подметать лавку и улицу и, приучая его к работе, как водится в лавках, непрерывно подшучивали над ним, без чего, как известно, не обходится обучение. Супруги Рагон обращались с ним, как с собачонкой. Никто не считался с усталостью ученика, хотя к вечеру, после беготни, ноги у него

отчаянно ныли и ломило поясницу. Жестокое правило «каждый за себя» — эта евангельская заповедь больших городов — привело к тому, что жизнь в Париже показалась Цезарю очень тяжелой. По вечерам он плакал, вспоминая Турень, где крестьянин работает в меру своих сил, где каменщик, не торопясь, возводит стены, где отдых мудро сочетается с работой; но, засыпая, он не успевал даже помыслить о бегстве, так как с утра снова носился по городу с поручениями, повинуясь хозяевам инстинктивно, как сторожевой пес. Если иной раз у него вырывались жалобы, старший приказчик говорил ему, весело ухмыляясь:

— Да, паренек, не все выглядит розовым у «Королевы роз», и жаворонки не падают в рот жареными: надо сначала побегать за ними, словить, а потом еще суметь их приготовить.

Кухарка, толстая пикардийка, забирала себе лучшие куски и обращалась к Цезарю только для того, чтобы поругать Рагонов, у которых ничем не разживешься. Как-то в воскресенье, к концу первого месяца службы Цезаря, эта девушка, которую оставили стеречь дом, разговорилась с ним. Когда Урсула вымылась и принарядилась, она показалась очаровательной бедному малому, который, не будь этого случая, споткнулся бы о первый камень на своем пути. Как все существа, лишенные ласки, он полюбил первую приветливо взглянувшую на него женщину. Кухарка взяла Цезаря под свое покровительство, и между ними возникла тайная связь, над которой безжалостно потешались приказчики. Два года спустя кухарка, к счастью, бросила Цезаря ради своего земляка, скрывавшегося от воинской повинности в Париже, двадцатилетнего пикардийца, обладавшего несколькими арпанами земли,— Урсула женила его на себе.

В продолжение этих двух лет кухарка на совесть кормила своего маленького Цезаря; она разъяснила ему кое-какие тайны парижской жизни, показав неприкрашенную изнанку ее, и, терзаемая ревностью, внушила ему глубокое отвращение к злачным местам, опасности которых были ей, видимо, небезызвестны. В 1792 году ноги Цезаря свыклись уже с мостовыми, плечи — с ящиками, а ум, как он говорил, с парижским «враньем». Когда Урсула покинула его, Цезарь быстро утешился, ибо она

не отвечала его смутному представлению о настоящем чувстве. Развратная и сварливая, хитрая и нечистая на руку, эгоистка, любительница выпить, она оскорбляла неиспорченную душу Бирото и не сулила ему ничего хорошего в будущем. Нередко бедный малый с горечью думал о том, что связан самыми крепкими для наивных сердец узами с немилым ему существом. К тому времени, когда он стал хозяином своего сердца, ему исполнилось шестнадцать лет. Урсула и шутки приказчиков развили его ум, он стал присматриваться к торговле; простоватый с виду, юноша оказался смышленым: он наблюдал за покупателями, в свободное от работы время расспрашивал о товарах, запоминал их различия и особенности, и в один прекрасный день выяснилось, что он знает сорта товаров и цены лучше, чем их знают новички-приказчики; с этого времени Рагоны иногда поручали ему работу приказчика.

В день, когда массовый набор II года Республики обезлюдил лавку гражданина Рагона, Цезарь Бирото стал вторым приказчиком; воспользовавшись обстоятельствами, он добился пятидесяти франков жалованья в месяц и права сидеть за столом у Рагонов, что доставляло ему несказанную радость. Второй приказчик «Королевы роз», уже сколотивший капиталец в шестьсот франков, получил комнату, в которой мог, наконец, удобно разложить в шкафу и в комоде приобретенное им платье и белье.

В десятый день декады, принарядившись по образу и подобию всех молодых людей того времени, щеголявших, согласно моде, грубыми манерами, этот тихий и скромный крестьянский парень выглядел их ровней, переступая тем самым барьер, еще в недавние времена отделявший приказчиков от буржуазии. Летом 1794 года Рагоны, зная честность Цезаря, сделали его кассиром. Внушительная гражданка Рагон стала сама следить за бельем своего приказчика; хозяева сблизились с ним.

Осенью 1794 года Цезарь, прикопивший уже сотню золотых, обменял их на шесть тысяч франков ассигнациями, купил ренту по тридцать франков, оплатил ее накануне обесценения бумажных денег и с невыразимым чувством спрятал свое приобретение. С этого дня он стал с тайным волнением следить за курсом ценных бумаг и

за ходом государственных дел, с трепетом прислушиваясь к толкам о неудачах или успехах, которыми был столь богат этот период истории Франции. Г-н Рагон, бывший парфюмер ее величества королевы Марии-Антуанетты, в эти тяжелые дни открылся Цезарю Бирото в своей привязанности к павшим тиранам. Признание это оказало сильное влияние на жизнь Цезаря. Семейные разговоры по вечерам, когда лавка была уже закрыта, дневная выручка подсчитана, а на улице воцарялась тишина, взвинчивали и возбуждали молодого туренца; он стал роялистом. Небылицы о добродетельных поступках Людовика XVI, превозносившие королеву анекдоты, рассказываемые Рагонами, подогревали воображение Цезаря. Устрашающая судьба двух коронованных особ, чьи головы скатились под ножом гильотины в нескольких шагах от лавки Рагона, волновала его чувствительное сердце и наполняла ненавистью к правительственной системе, равнодушно допустившей пролитие невинной крови. Коммерческие соображения убедили его в губительном влиянии на торговлю режима «максимума» и политических бурь, всегда враждебных деловой жизни. Как истый парфюмер, он к тому же возненавидел революцию, которая ввела короткую стрижку «под императора Тита» и вывела из употребления пудру. Вера в то, что королевская власть может обеспечить стране спокойствие, необходимое для успешного ведения дел, превратила его в ярого роялиста. Когда г-н Рагон убедился, что Бирото настроен вполне благонамеренно, он сделал его старшим приказчиком и посвятил в секреты лавки «Королевы роз»,— некоторые ее посетители являлись самыми активными, самыми ревностными агентами Бурбонов и пользовались лавкой, чтобы поддерживать переписку между Парижем и западной частью страны. Возбужденный встречами с такими людьми, как Жорж де ла Биллардиер, Монторан, Бован, Лонги, Манда, Бернье, дю Геник и Фонтэн, Цезарь с юношеским пылом принял участие в заговоре 13 вандемьера, объединившем роялистов и террористов в их борьбе против угасавшего Конвента.

Цезарь удостоился чести сражаться против Наполеона на ступенях церкви Св. Роха и был ранен в самом начале схватки. Каждый помнит, как завершилась эта

попытка мятежа. Если адъютант Барраса вышел тогда из безвестности, то Бирото безвестность спасла. Несколько друзей принесли воинственного старшего приказчика в лавку «Королевы роз», и там, скрываясь на чердаке, к счастью, всеми забытый, он оставался на попечении г-жи Рагон. То была единственная вспышка воинской доблести Цезаря Бирото. Поправляясь, он в течение месяца немало размышлял о том, что нелепо сочетать политику с парфюмерией. Оставаясь в душе роялистом, он твердо решил быть впредь только парфюмером-роялистом, никогда больше не впутываться ни в какие заговоры и с тех пор целиком отдался торговле.

После 18 брюмера Рагоны, отчаявшись в победе короля, решили бросить торговлю и зажить как добропорядочные буржуа, не вмешиваясь больше в политику. Желая вернуть вложенные в дело деньги, они подыскивали человека, не столько честолюбивого и ловкого, сколько честного и здравомыслящего; Рагон предложил свою лавку старшему приказчику. Бирото, двадцатилетний владелец государственной тысячефранковой ренты, сначала колебался. Он мечтал поселиться в окрестностях Шинона, когда рента его возрастет до полутора тысяч франков, а первый консул, укрепившись в Тюильри, обеспечит уплату государственного долга. Стоит ли менять независимое положение на ненадежные коммерческие доходы? Бирото и в голову не могло прийти, что благодаря предприимчивости, свойственной молодости, он станет впоследствии обладателем значительного капитала. Цезарь собирался жениться в Турени на девушке с приданым, равным его собственному состоянию, приобрести небольшое именьице «Трезорьер», которое его соблазняло с юных лет; он мечтал постепенно расширить его и довести доход с земли до тысячи экю: тогда он сможет наслаждаться там счастливой жизнью никому не известного человека. Он хотел было уже отказаться от лавки, когда любовь внезапно изменила его намерения, удесятерив его честолюбие.

После измены Урсулы Цезарь жил затворником, ибо боялся опасностей, какими грозит в Париже любовь, и к тому же у него было по горло работы. Страсти, лишенные пищи, превращаются в неодолимую потребность. Для людей среднего класса мысль о женитьбе становит-

ся навязчивой идеей: брак для них единственный способ завоевать женщину и завладеть ею. Так было и с Цезарем Бирото. В лавке «Королева роз» все держалось на старшем приказчике; у него не оставалось ни минуты на развлечения. При такой жизни потребности особенно властно дают о себе знать, и встреча с первой же хорошенькой девушкой, на которую какой-нибудь легкомысленный приказчик едва ли обратил бы внимание, должна была произвести сильнейшее впечатление на скромного, целомудренного Цезаря. В один чудесный июньский день, переходя через мост Марии на остров Сен-Луи, он обратил внимание на молодую девушку, стоявшую в дверях магазина на углу набережной Анжу. Констанс Пильеро была старшей продавщицей в магазине новинок «Маленький матрос»; то был первый из магазинов, которых столько открылось впоследствии в Париже под более или менее живописными вывесками, с развевающимися флажками; в их витринах шали переброшены, словно качели, галстуки образуют подобие карточных домиков, и взор привлекают тысячи других соблазнов торговли — надписи: «цены без запроса», объявления, афишки, оптические фокусы и световые эффекты, доведенные до такого совершенства, что витрины магазинов превращаются в настоящие коммерческие поэмы. Дешевые цены на все так называемые новинки, продававшиеся в «Маленьком матросе», способствовали его необычайной популярности в районе Парижа, наименее благоприятном и для популярности и для торговли. Старшая продавщица магазина славилась тогда своей красотой не меньше, чем позднее — Прекрасная буфетчица в кафе «Тысяча колонн» и множество других несчастных созданий, которые притягивали к окнам модных мастерских, кафе и магазинов больше молодых и старых физиономий, чем найдется булыжников в мостовых Парижа. Старший приказчик «Королевы роз», проживавший между церковью Св. Роха и улицей Сурдьер, ушел с головой в парфюмерию и даже не подозревал о существовании «Маленького матроса», ибо мелкие торговцы Парижа слабо связаны друг с другом. Цезарь был столь сильно пленен красотою Констанс, что стремительно влетел в магазин «Маленький матрос», чтобы купить полдюжины полотняных сорочек; он долго приценивался, заставлял

показывать все новые штуки полотна, словно англичанка, увлекшаяся покупками (shoping). Старшая продавщица соблаговолила заняться Цезарем, заметив по некоторым приметам, известным всем женщинам, что он пришел не столько ради товаров, сколько ради нее самой. Он назвал свое имя и адрес продавщице, но та сохранила полную невозмутимость перед восторженным покупателем. Бедному приказчику незачем было блистать перед Урсулой, чтобы снискать ее расположение; он остался наивным, как барашек; любовь сделала его еще глупее; он не решался слова сказать и был к тому же слишком ослеплен, чтобы заметить безразличие, сменившее улыбку этой сирены торговли.

В течение недели каждый вечер он простаивал на часах перед «Маленьким матросом», выжидая взгляда красотки, как собака выжидает кость у порога кухни; нечувствительный к насмешкам, которые отпускали на его счет приказчики и продавщицы, он смиренно уступал дорогу покупателям и прохожим, внимательно приглядывался ко всяким переменам в магазине. Через несколько дней он снова посетил рай, где пребывал его ангел, посетил не столько для того, чтобы купить носовые платки, сколько затем, чтобы высказать осенившую его счастливую идею.

— Если угодно, сударыня. я могу вам доставлять парфюмерные товары,— сказал он, расплачиваясь.

Констанс Пильеро ежедневно выслушивала блестящие предложения, но никто никогда не заговаривал с ней о браке; и хотя ее сердце было столь же непорочно, сколь белоснежно ее чело, она соблаговолила принять ухаживания Цезаря только после полугодовых его обходных маневров, когда он доказал ей свою неутомимую любовь; но и тогда она ничего не обещала: осторожность, вызванная бесконечным множеством поклонников — виноторговцев-оптовиков, богатых содержателей кофеен и многих других, которые заглядывались на нее. Влюбленный нашел себе поддержку в опекуне Констанс, г-не Клоде-Жозефе Пильеро, в те годы торговце скобяными товарами на набережной Ла-Феррай; Цезарь разыскал его, прибегнув к тайному шпионажу, на какой способна лишь истинная любовь. Краткость этого повествования заставляет нас обойти молчанием радости невинной лю-

ви в Париже, не рассказывать о роскошествах приказчиков: о дынях из оранжерей, об изысканных обедах у Венюа, за которыми следовали поездки в театр, и о воскресных загородных прогулках в фиакре. Цезарь хотя и не был красавцем, все же не мог спугнуть любовь. Парижская жизнь и пребывание в полутемной лавке притушили его яркий деревенский румянец. Его густые черные волосы, крепкая, как у нормандской лошади, шея, большие руки и ноги, открытое и честное выражение лица — все располагало в его пользу. Дядюшка Пильеро, заботившийся о счастье дочери своего брата, навел справки и одобрил намерения туренца. В 1800 году, в прекрасном месяце мае, мадемуазель Пильеро согласилась выйти замуж за Цезаря Бирото, который едва не лишился чувств от радости в ту минуту, когда, под липой в Со, Констанс-Барб-Жозефина приняла его предложение.

— Дитя мое,— сказал Пильеро,— у тебя будет хороший муж: честный малый и сердце золотое; он чист, как кристалл, и благонравен, как младенец Иисус,— словом, венец творения.

Констанс бесповоротно отказалась от блестящих планов на будущее, которые она некогда строила, как все продавщицы магазинов,— она решила быть просто честной женщиной, хорошей матерью и хозяйкой и повела жизнь, согласную с благочестивой программой среднего класса. Эта роль к тому же значительно больше подходила к ее понятиям, чем опасное тщеславие, которое воспламеняет воображение многих юных парижанок. Констанс, женщина не очень далекая, была типичной мещанкой, работящей и немножко ворчливой, считающей своим долгом сначала отказываться от того, чего ей хочется, и очень обижающейся. когда ее ловят на слове, простирающей свою беспокойную деятельность и на кухню, и на кассу, и на самые серьезные дела, и на починку белья; она бранится любя, постигает лишь самые простые мысли, мелкую разменную монету ума, обо всем рассуждает, всего боится, все высчитывает и всегда тревожится за будущее. Ее холодная, чистая красота, трогательный вид, свежесть помешали Бирото разглядеть ее недостатки, которые искупались к тому же деликатной щепетильностью, свойственной женщинам, пристрастием

к порядку, редкостным трудолюбием и талантами продавщицы. Констанс было восемнадцать лет, у нее имелось одиннадцать тысяч франков. Цезарь, который под влиянием любви стал крайне честолюбив, купил фирму «Королева роз» и перевел лавку в красивый дом близ Вандомской площади. Ему шел всего лишь двадцать второй год, он женился на хорошенькой женщине, которую обожал, ему принадлежала лавка, три четверти стоимости которой он уже выплатил; он должен был видеть и действительно видел будущее в розовом свете, особенно когда оглядывался на пройденный путь. Роген, нотариус Рагонов, составитель брачного контракта Бирото, дал начинающему парфюмеру мудрый совет: повременить с уплатой последнего взноса за лавку и не трогать приданого жены.

— Приберегите деньги, чтобы вложить их в какое-нибудь выгодное предприятие, мой мальчик,— сказал он ему.

Бирото посмотрел на нотариуса с восхищением; с тех пор он стал советоваться с ним обо всем и сделался его другом. Как Рагон и Пильеро, он весьма высоко ставил звание нотариуса и всецело полагался на Рогена, не позволяя себе ни малейшего подозрения. Последовав совету нотариуса, Цезарь сохранил одиннадцать тысяч франков жены, столь нужные ему для торгового дела; он ни за что не променял бы своего положения на положение первого консула Наполеона Бонапарта, каким оно ни казалось блестящим Вначале Бирото держали только одну кухарку и снимали на антресолях, расположенных над лавкой, нечто вроде чулана, впрочем довольно мило отделанного обойщиком; здесь молодожены начали свой бесконечный медовый месяц. Сидя за кассой, г-жа Бирото была истинной чародейкой. Ее прославленная красота оказала огромное влияние на торговлю; щеголи Империи только и говорили, что о «прекрасной госпоже Бирото». Если Цезаря и обвиняли в роялизме, то все же отдавали должное его честности; если кое-кто из соседних купцов и завидовал его счастью, то все признавали его заслуженным. Рана, полученная Цезарем на ступенях церкви Св. Роха, создала ему репутацию храбреца и человека, причастного к политической деятельности, хотя воинская доблесть была столь же мало прису-

ща его сердцу, как политические идеи — его голове. Вот почему буржуа его округа избрали его капитаном национальной гвардии, но избрание это не утвердил Наполеон, который, как воображал Бирото, не забыл их встречи в вандемьере. Так Цезарь без труда приобрел репутацию человека преследуемого; это вызвало интерес к нему в кругах оппозиции и придало ему известный вес.

Вот как сложилась жизнь этой четы, неизменно счастливой в семейных делах и знакомой с тревогами лишь в делах торговых.

В первый же год Цезарь Бирото посвятил жену в тайны розничной торговли парфюмерией, и Констанс в совершенстве ими овладела; казалось, бог создал ее и ниспослал на землю для того, чтобы привлекать покупателей. Однако подведенный в конце года баланс ужаснул честолюбивого парфюмера: с учетом всех расходов он лишь за двадцать лет еле-еле мог бы сколотить относительно скромный капитал в сто тысяч франков, который считал необходимым для своего благосостояния. Тогда он решил добиться богатства быстрее и для этого прежде всего присоединить к розничной торговле промышленное предприятие. Вопреки желанию жены, он арендовал участок земли и помещение в предместье Тампль и повесил на воротах бросавшуюся в глаза вывеску: «Фабрика Цезаря Бирото». Он переманил из Грасса рабочего, с которым на половинных началах приступил к изготовлению некоторых сортов мыла, эссенций и одеколона. Дело это просуществовало всего полгода и принесло только убытки, которые пали на одного Цезаря. Стремясь не поддаваться унынию, Бирото решил во что бы то ни стало добиться успеха, только бы не слушать упреков жены; позднее он признался ей, что в те тяжелые дни у него голова шла кругом, и подчас только религиозные убеждения удерживали его от того, чтобы не броситься в Сену.

Обескураженный неудачами, он возвращался однажды домой к обеду и брел по бульварам (заметим, что гуляющий парижанин — чаще удрученный человек, чем бездельник). Среди книг по шести су, лежавших у букиниста в корзине прямо на земле, взор его привлекла пожелтевшая от пыли обложка, на которой он прочел:

«Абдекер, или искусство сохранять красоту». Он взял эту мнимо арабскую книгу, нечто вроде романа, написанного медиком прошлого столетия, и случайно раскрыл ее на странице, посвященной парфюмерии. Тут же, прислонившись к дереву, он перелистал книжку и прочитал одно из примечаний, в котором автор объяснял различные свойства кожного покрова и указывал, что тот или иной крем или мыло производят нередко действие, противоположное ожидаемому, ибо усиливают окраску кожи, когда ее надо ослабить, и ослабляют ее, когда надо усилить. Бирото купил книжку, усмотрев в ней залог богатства. Однако, мало доверяя своим познаниям, он отправился к знаменитому химику Воклену и простодушно спросил его, как изготовить универсальное косметическое средство, полезное для любой человеческой кожи. Настоящие ученые, воистину великие люди, никогда не пользующиеся при жизни славой, которую они заслуживают своими важными, не понятыми их современниками работами, почти всегда бывают внимательны и снисходительны к людям недалеким. Воклен взял под свое покровительство парфюмера, сообщил ему рецепт крема, придающего белизну рукам, и позволил Цезарю выдать его за свое изобретение. Бирото назвал это косметическое средство «Двойной крем султанши». Затем он присоединил к крему для рук туалетную воду, которую назвал «Жидкий кармин». В своей торговле Цезарь воспользовался опытом магазина «Маленький матрос» и первый среди парфюмеров не поскупился на дорогие объявления, проспекты, афиши, которые, пожалуй, несправедливо называют шарлатанством.

«Крем султанши» и «Жидкий кармин» стали известны галантному и торговому миру благодаря разноцветным объявлениям со словами: «Одобрено Академией!» Формула эта, примененная впервые, возымела магическое действие. Не только Франция, но и весь континент был расцвечен желтыми, красными, синими афишами владельца «Королевы роз», который изготовлял, продавал и поставлял по доступным ценам парфюмерные товары. В ту эпоху все бредили Востоком, и назвать косметическое средство «Кремом султанши», догадаться о волшебной силе этих слов в стране, где каждый мужчина мечтает стать султаном, а женщина — султаншей, было

вдохновением, которое могло осенить как заурядного человека, так и человека большого ума; но публика всегда считается только с достигнутыми результатами. Бирото прослыл в торговом мире человеком выдающимся; он сам составил проспект, забавная фразеология которого была одной из причин его успеха; во Франции подсмеиваются лишь над теми вещами и людьми, которыми интересуются, а неудачниками не интересуется никто. Хотя Бирото сочинял свой проспект с полной серьезностью и не прикидывался дурачком, ему приписали способность притворяться, когда нужно, глупцом. Нам не без труда удалось разыскать экземпляр этого знаменитого проспекта в торговом доме Попино и К° «Аптекарские и парфюмерные товары», на Ломбардской улице. Курьезный этот документ относится к числу тех, которые в более высокой области историками именуются *источниками*. Вот он:

«Двойной крем султанши»
и «Жидкий кармин»
Цезаря Бирото,
чудесное открытие.
Одобрено французской академией.

«Издавна в Европе и мужчины и женщины мечтали о пасте для рук и туалетной воде для лица, которые давали бы в области косметики более блестящие результаты, чем одеколон. Посвятив долгие бдения изучению различных свойств кожного покрова у лиц обоего пола, которые, вполне понятно, придают исключительно большое значение мягкости, эластичности, блеску и бархатистости кожи, достопочтенный господин Бирото, парфюмер, хорошо известный в Париже и за границей, изобрел вышепоименованные крем и туалетную воду, тотчас же по справедливости названные избранной публикой столицы *чудесными*. И действительно, наш крем и туалетная вода изумительно воздействуют на кожу и не вызывают преждевременных морщин — неизбежного последствия снадобий, изготовленных невежественными и жадными людьми и опрометчиво употребляемых всеми до сего дня. Наше открытие исходит из различия темпераментов, подразделяемых на две большие группы, на что указывает самый цвет крема и туалетной воды: розовый — для лю-

дей лимфатической конституции и белый — для людей с сангвиническим темпераментом.

Крем назван «Кремом султанши», ибо такой состав некогда был уже изготовлен для сераля одним арабским врачом. Он одобрен Академией на основе доклада нашего знаменитого химика Воклена, как и туалетная вода, приготовленная по тому же принципу.

Этот драгоценный крем распространяет дивное благоухание, сводит самые упорные веснушки, придает белизну любой коже и уничтожает потливость рук, на которую равно жалуются и женщины и мужчины.

«Жидкий кармин» уничтожает прыщи, которые время от времени внезапно появляются на лице и нередко препятствуют дамам выезжать в свет; он освежает и оживляет цвет лица, открывая или закрывая поры, как того требует темперамент, и столь известен уже как средство, предохраняющее кожу от разрушительного действия времени, что многие дамы из благодарности назвали его «Другом красоты».

Одеколон — всего лишь обыкновенные духи, не обладающие никакими полезными свойствами, тогда как «Двойной крем султанши» и «Жидкий кармин» — благотворные средства, которые воздействуют безвредно и превосходно на внутренние свойства кожных покровов; благовонный, прелестный аромат нашего крема и туалетной воды радует сердце и возбуждает ум; эти средства поражают своими качествами и своей простотой; словом, для женщин это новые чары, а для мужчин — новое средство нравиться. Ежедневное употребление туалетной воды устраняет воспаление кожи после бритья, предохраняет губы от трещин и поддерживает их алый цвет; при длительном ее употреблении исчезают веснушки и восстанавливается свежесть лица. Подобные результаты, несомненно, свидетельствуют о правильном кровообращении в организме, что способствует излечению лиц, подверженных мучительным мигреням. Наконец, «Жидкий кармин» при постоянном употреблении его женщинами предупреждает накожные болезни и, не стесняя дыхания тканей, придает им постоянную бархатистость.

Письма с оплатой почтовых расходов адресовать господину Цезарю Бирото, преемнику Рагона, бывшего парфюмера королевы Марии-Антуанетты, владельцу лавки

«Королева роз»,— Париж, улица Сент-Оноре, близ Вандомской площади.

Цена крема — три франка, цена флакона туалетной воды — шесть франков.

Во избежание подделок господин Цезарь Бирото предупреждает публику, что крем завернут в бумагу с его подписью, а на флаконах имеется клеймо».

Успехом крема и туалетной воды Цезарь был обязан своей жене, о чем он и не догадывался,— именно Констанс посоветовала ему разослать «Жидкий кармин» и «Крем султанши» всем парфюмерам Франции и за границу, предлагая им скидку в тридцать процентов, если они согласятся закупать этот товар большими партиями. Крем и туалетная вода действительно были лучше других косметических средств и, кроме того, соблазняли невежд рассуждением о темпераментах; прельстившись барышом, пятьсот парфюмеров Франции ежегодно покупали у Бирото свыше трехсот гроссов баночек крема и флаконов туалетной воды каждый, и такой спрос, несмотря на незначительный процент прибыли, принес Цезарю огромный доход. Бирото смог купить несколько домишек и землю в предместье Тампль, выстроил там фабрику и великолепно отделал свою лавку «Королева роз»; его семья узнала скромные радости достатка, и жена его теперь не так уж боялась за завтрашний день.

В 1810 году г-жа Бирото, предвидя повышение квартирной платы, посоветовала мужу стать главным квартиронанимателем в доме, где они снимали лавку и антресоли, и переселиться во второй этаж. Бирото не пожалел средств на обстановку; некое счастливое обстоятельство заставило Констанс закрыть глаза на безумную его расточительность: парфюмер был избран членом коммерческого суда. Его честность, известная всем щепетильность и всеобщее уважение доставили ему это почетное звание, и с этого дня он попал в число именитых купцов города Парижа. Стремясь увеличить свои познания, он вставал в пять часов утра, читал юридические сборники и книги, трактующие коммерческие споры и тяжбы. Присущее ему чувство справедливости, его прямота и благожелательность, качества столь важные при

разборе тяжб, сделали его одним из самых уважаемых судей. Даже недостатки Цезаря и те способствовали его славе. Считая себя по знаниям ниже других, он охотно подчинялся решениям своих коллег, им льстило внимание, с каким он прислушивался к их суждениям; одни добивались молчаливого одобрения этого человека, прослывшего глубокомысленным за свое умение слушать; другие, очарованные скромностью и мягкостью Бирото, всячески хвалили его. Тяжущиеся превозносили его доброжелательность и миролюбие, часто обращались к нему при решении спорных вопросов, и тогда здравый смысл подсказывал ему мудрый выход. Подвизаясь в суде, Цезарь научился уснащать свою речь общими местами, пересыпать ее сентенциями, суждениями, щеголять красивыми фразами, казавшимися людям поверхностным истинным красноречием. Он нравился большинству посредственных людей, вечно озабоченных делами, поглощенных мелочами повседневной жизни. Цезарь столько времени терял в суде, что жена убедила его, наконец, отказаться от этих слишком накладных почестей. В 1813 году благодаря постоянному согласию семья Бирото узрела после долгих серых будней начало эры благоденствия, которое ничто, казалось, не должно было нарушить. Круг друзей Бирото составляли их предшественники супруги Рагон, дядя Пильеро, нотариус Роген, Матифа, аптекари-москательщики с Ломбардской улицы, поставщики лавки «Королева роз», Жозеф Леба, торговец суконами, преемник Гильома, владельца лавки под вывеской «Кошка, играющая в мяч» и одно из светил улицы Сен-Дени, судья Попино — брат г-жи Рагон, Шифревиль — совладелец фирмы «Проте и Шифревиль», Кошен — чиновник казначейства и участник фирмы Матифа, его супруга, аббат Лоро, духовник и исповедник всех этих благочестивых буржуа, и еще кое-кто. Хотя Бирото слыл роялистом, общественное мнение было к нему благосклонно, его считали страшно богатым, а между тем его свободный капитал не превышал ста тысяч франков. Блестящий порядок в делах, аккуратность, привычка ни у кого не занимать денег, не прибегать к векселям, принимая в то же время в уплату за товары обеспеченные векселя тех лиц, которым он мог быть полезен, создали ему огромный кредит. К тому же он действительно на-

жил немало денег, но постройка фабрики и производство товаров поглотили много средств. Да и проживали они тысяч двадцать в год. Немало стоило и воспитание Цезарины, единственной дочери, боготворимой отцом и матерью. Ни муж, ни жена не скупились, когда надо было чем-либо порадовать дочь, с которой они хотели бы никогда не расставаться. Представьте себе только, как радовался этот разбогатевший крестьянин, слушая, как очаровательная Цезарина играла на пианино сонату Штейбельта или пела чувствительный романс; как восхищался он, когда видел, как грамотно она пишет по-французски, или когда она читала ему вслух произведения Расина-отца или его сына, поясняя их красоты, рисовала пейзаж или делала набросок сепией! Что за счастье вновь обретать жизнь в столь прекрасном, столь чистом цветке, еще не оторвавшемся от материнского стебля, в этом ангеле, чье очарование лишь раскрывалось, за чьими первыми шагами родители следили с такой страстной любовью, чьей красотой восторгались! Она — его единственная дочь, не способная презирать отца, смеяться над недочетами его образования, настолько она деликатная барышня.

Еще до переселения в Париж Цезарь умел читать, писать и считать, но на этом и закончилось его образование, торговля помешала ему расширить кругозор и приобрести знания, не связанные с парфюмерией. Постоянно соприкасаясь с людьми, которым не было никакого дела до литературы и науки и которые ничего не знали, кроме своей коммерции, не имея времени заняться чтением и самообразованием, парфюмер стал узким практиком. Он незаметно усвоил язык, заблуждения и ходячие мнения парижского буржуа, который, так сказать, понаслышке восхищается Мольером, Вольтером и Руссо, покупает, но не читает их сочинения и твердо уверен, что надо говорить «платьевой шкаф», ибо женщины прячут туда платья, а не «платяной», так как плата тут ни при чем. Он полагал, что Потье, Тальма, мадемуазель Марс были архимиллионерами и жили совсем по-особенному, что они не чета простым смертным: великий трагик ест сырое мясо, а мадемуазель Марс иногда приказывает поджаривать ей жемчуга, подражая одной знаменитой египетской актрисе. У императора к жилету под-

шиты кожаные карманы, чтобы он мог пригоршнями доставать оттуда табак; по лестнице Версальской оранжереи он пускал коня вскачь. Писатели и художники всегда умирают на больничной койке — результат оригинальничанья; мало того — все они безбожники, их и на порог пускать нельзя. Жозеф Леба с ужасом рассказывал о браке своей свояченицы Августины с художником Сомервье. Астрономы якобы питаются пауками. Эти перлы понимания французского языка, драматического искусства, политики, литературы, науки показывают уровень развития парижского буржуа. Поэт, проходя по Ломбардской улице и почувствовав в воздухе аромат духов, размечтается об Азии. Запах индийского нарда порождает в его восторженном воображении образы танцовщиц в караван-сарае. Пораженный яркостью кошенили, он постигает поэмы браминов, их верования и кастовые обычаи. Увидев неотделанную слоновую кость, он взбирается на спину слона и там в паланкине под муслиновой занавеской ласкает красавиц, как Лахорский раджа. Но мелкий торговец не знает, откуда поступают и как создаются товары, с которыми он имеет дело. Парфюмер Бирото ничего не смыслил ни в естественной истории, ни в химии. Он преклонялся перед Вокленом, как перед великим талантом, считая его необыкновенным человеком, сам же он мало чем отличался от удалившегося на покой бакалейщика, с хитрой усмешкой разрешившего спор о доставке чая: «Чай доставляется двояким путем — либо караванами, либо через Гавр». Послушать Бирото, так алоэ и опиум можно было найти только на Ломбардской улице. Так называемая константинопольская розовая вода, как и немецкий одеколон изготовлялись в Париже. Географические их названия — сплошные враки, чтобы угодить французам, которые не жалуют отечественных изделий. Ради успеха своего открытия французский купец принужден выдавать его за английское, так же как английский аптекарь должен свое изобретение приписывать Франции. Тем не менее Цезаря нельзя было назвать ни глупцом, ни тупицей; честность и доброта, накладывая отпечаток на его поступки, делали их достойными уважения, ибо благородные поступки примиряют с каким угодно невежеством. Постоянный успех придал ему самоуверенность, а в Париже самоуве-

ренность считается признаком и свидетельством силы. Поняв хорошо Цезаря за первые три года замужества, жена его пребывала в вечном страхе; в этом брачном союзе она олицетворяла собою прозорливость, сомнение, оппозицию, опасения, тогда как Цезарь был сама смелость, честолюбие, деятельность, причем ему неизменно сопутствовала удача. В действительности же купец был трусоват, а жена его обладала мужеством и терпением. Итак, человек робкий, посредственный, без образования, без собственных мыслей, без знаний, без характера, человек, который, казалось, не мог бы преуспеть на зыбком поприще коммерции, добился того, что благодаря своей выдержке, чувству справедливости, истинно христианской душевной доброте и любви к единственной женщине, которой он обладал, прослыл выдающимся, смелым и решительным дельцом. Публика судит только по практическим результатам. Кроме Пильеро и судьи Попино, остальные представители этого круга знали Цезаря только поверхностно и ничего не могли о нем сказать. Два-три десятка приятелей, которые, собираясь вместе, изрекали одни и те же нелепости и повторяли затасканные общие места, считали себя на голову выше окружающей их среды. Женщины старались перещеголять друг друга зваными обедами и нарядами; и все как будто считали себя обязанными презрительно отзываться о своих мужьях. Только у госпожи Бирото хватало здравого смысла говорить в обществе о муже с почтением и уважением: она видела в нем человека, который, несмотря на свою скрытую от посторонних глаз бездарность, приобрел состояние и всеобщее уважение, распространявшееся и на нее. Правда, она иногда спрашивала себя, каков же свет, если все люди, которые слывут выдающимися, похожи на ее мужа. Такое поведение Констанс немало способствовало уважению к Бирото,— ведь в нашей стране женщины склонны развенчивать мужей и жаловаться на них.

Первые дни 1814 года, роковые для императорской Франции, ознаменовались в доме Бирото двумя событиями, малопримечательными во всякой другой семье, но по характеру своему способными запечатлеться в столь простых душах, как Цезарь и его жена, которые, оглядываясь на прошлое, видели в нем только тихие радости.

Они наняли старшим приказчиком молодого человека двадцати двух лет, по имени Фердинанд дю Тийе. Этот молодчик, бросивший службу в одной парфюмерной фирме, где ему отказали в участии в барышах, считался своего рода гением торговли; дю Тийе приложил немало труда, чтобы попасть в лавку «Королева роз», о владельцах, порядках и внутреннем укладе которой он успел разузнать все, что хотел. Бирото устроил его у себя, положил ему жалованье в тысячу франков в год и собирался сделать его впоследствии своим преемником. Фердинанд дю Тийе сыграл столь значительную роль в жизни этой семьи, что необходимо сказать о нем несколько слов. Первоначально он звался просто Фердинанд, без фамилии. Это обстоятельство оказалось для него великим благом в те времена, когда Наполеон в поисках солдат интересовался всеми семьями и фамилиями. Тем не менее и Фердинанд, плод чьей-то жестокой и сладострастной прихоти, тоже где-то родился и вырос. Вот некоторые сведения о его гражданском состоянии. В 1793 году бедная девушка из Тийе, небольшой деревушки, расположенной около Андели, родила как-то ночью ребенка в саду викария местной церкви и, постучав в ставень, утопилась. Добрый священник подобрал младенца, окрестил его именем святого, упоминаемого под этим днем в святцах, вскормил и воспитал его как сына. Священник умер в 1804 году, не оставив наследства, достаточного для завершения начатого им воспитания ребенка. Попав в Париж, Фердинанд вел там жизнь флибустьера, которого случай мог привести и к виселице и к богатству, к карьере адвоката или солдата, купца или лакея. Вынужденный жить как настоящий Фигаро, он сделался коммивояжером, потом приказчиком в парфюмерной лавке, когда вернулся в Париж, исколесив всю Францию, изучив свет и твердо решив добиться во что бы то ни стало успеха. В 1813 году он счел необходимым официально установить свой возраст и определить гражданское состояние, потребовав в Анделийском суде передачи выписки об акте крещения из церкви в мэрию, и добился внесения в акт поправки, выразившейся в записи его под именем дю Тийе, на том основании, что он был найден в этой деревне. Без отца и без матери, не имея иного опекуна, кроме императорского прокурора, один в це-

лом свете, не обязанный никому давать отчет, он питал в душе лютую ненависть к обществу и смотрел на него как на злую мачеху; он всегда руководствовался личной выгодой и считал все пути к обогащению пригодными. Этот нормандец, наделенный от природы опасными склонностями, соединял стремление к успеху с неискоренимыми пороками, в которых обычно упрекают его земляков. За его вкрадчивыми манерами скрывался сутяга, самый невероятный крючкотвор; дерзко оспаривая чужие права, он не уступал ничего своего и брал противника измором, побеждая его своей непреклонной волей. Главной его особенностью была характерная черта Скапенов старинной комедии: он отличался неистощимой изобретательностью и с поразительной ловкостью обходил закон, тяготея ко всему, что плохо лежит и чем стоит завладеть. Словом, он шел по стопам аббата Террея, оправдывал свои темные дела бедностью, как тот — государственной необходимостью, и рассчитывал стать впоследствии честным человеком. Наделенный неукротимой энергией и бесстрашием солдата, он умел кого угодно склонить к хорошему или дурному поступку и оправдывал свои домогательства теорией личной выгоды; он глубоко презирал людей, считая всех продажными, нимало не стеснялся в выборе средств, находя их все для себя дозволенными, и так упорно добивался успеха и денег, как силы, упраздняющей необходимость морали, что рано или поздно должен был достичь своих целей. Подобный человек, лавируя между каторгой и миллионным состоянием, не мог не быть мстительным, безудержным, быстрым в своих решениях, но скрытным, как новый Кромвель, который пожелал бы обезглавить саму честность. Свой истинный нрав он прятал под личиной насмешливости и легкомыслия. Этот приказчик парфюмерной лавки не знал предела своему честолюбию и, с ненавистью созерцая общество, думал: «Я покорю тебя!» Он дал себе слово не жениться раньше сорока лет и сдержал зарок. Внешне Фердинанд был высокий и стройный молодой человек; вкрадчивые манеры позволяли ему легко приспособиться к любому обществу. Его худощавое лицо сначала нравилось, но, приглядевшись, вы подмечали в нем странное выражение, словно отпечаток душевного разлада, внутренней борьбы или тайных уг-

рызений совести. На нежной коже нормандца играл слишком яркий румянец. Глаза его, разного цвета, с металлическим блеском, перебегали с предмета на предмет и загорались зловещим огнем, впиваясь в намеченную жертву. Голос его звучал глухо, как у долго говорившего человека; тонкие губы были красиво очерчены, но острый нос и выпуклый лоб выдавали простое происхождение. Иссиня-черные, словно крашеные волосы обличали в нем социального метиса, обязанного своим умом распутнику-вельможе, низменностью натуры — соблазненной крестьянке, знаниями — незавершенному образованию, а пороками — своей беспризорности. С изумлением узнал Бирото, что приказчик его отправляется в гости в элегантном костюме, возвращается поздно и бывает на балах у банкиров и нотариусов. Такие замашки не понравились Цезарю: по его понятиям, приказчики должны были изучать торговые книги фирмы и все свое время посвящать делу. Парфюмера неприятно поразили и некоторые другие мелочи: он побранил дю Тийе за пристрастие к слишком тонкому белью, за визитные карточки, на которых было напечатано «Ф. дю Тийе», что, по мнению парфюмера, пристало лишь людям светским. Следует сказать, что Фердинанд втерся к этому Оргону с намерениями Тартюфа: он стал ухаживать за женой Цезаря, попытался ее соблазнить; так же, как и Констанс, но только гораздо быстрее, приказчик раскусил своего хозяина. Как ни был дю Тийе сдержан и скрытен, как ни взвешивал свои слова, но он несколько неосторожно высказал г-же Бирото свой взгляд на жизнь и людей и перепугал робкую женщину, такую же благочестивую, как и сам Бирото, почитавшую преступлением малейший ущерб, причиняемый ближнему. Несмотря на такт, свойственный г-же Бирото, дю Тийе догадался, что она его презирает. Констанс, которой приказчик написал несколько любовных писем, вскоре заметила перемену в его поведении: он стал крайне развязным, желая создать впечатление интимной близости с ней. Не открывая мужу своих тайных соображений, она посоветовала ему расстаться с Фердинандом. Бирото согласился с женой. Приказчика решено было рассчитать. За три дня до его увольнения, в субботний вечер, Бирото производил ежемесячную проверку кассы и обнаружил не-

достачу в три тысячи франков. Он был удручен не столько пропажей денег, сколько подозрениями, которые тяготели теперь над тремя приказчиками, кухаркой, рассыльным и рабочими, пользовавшимися его доверием. Кого подозревать? Г-жа Бирото не отходила от конторки. Приказчик, который вел кассовые книги — Попино, племянник г-на Рагона, девятнадцатилетний юноша, жил в доме и был воплощенной честностью. Его записи, не сходившиеся с кассовой наличностью, обнаруживали недостачу и указывали, что кража была совершена после подведения баланса. Супруги решили промолчать и последить за служащими. На другой день, в воскресенье, Бирото принимали гостей. Семьи, входившие в этот замкнутый круг, часто бывали друг у друга. Играя в буйот, нотариус Роген положил на сукно несколько старых луидоров, и г-жа Бирото узнала в них те самые монеты, которые она получила несколько дней тому назад от недавно вышедшей замуж г-жи д'Эспар.

— Вы никак вытрясли себе в карман кружку для бедных,— заметил, смеясь, парфюмер.

Роген ответил, что выиграл эти деньги в доме одного банкира у дю Тийе, и тот, не краснея, подтвердил слова нотариуса. Парфюмер побагровел. Когда гости разошлись и Фердинанд собрался идти спать, Бирото увел его в лавку под предлогом делового разговора.

— Дю Тийе,— сказал добряк,— у нас в кассе не хватает трех тысяч франков; у меня нет оснований подозревать кого-либо; история со старыми луидорами говорит против вас, и я не могу не сказать вам об этом. Предлагаю вам не ложиться спать до тех пор, пока мы не найдем ошибки, ибо это может быть только ошибкой. Вы ведь могли взять деньги из кассы в счет вашего жалованья.

Дю Тийе подтвердил, что он действительно взял луидоры. Парфюмер заглянул в конторские книги, счет приказчика еще не был закрыт.

— Я торопился и забыл попросить Попино, чтобы он записал эту сумму,— сказал Фердинанд.

— Конечно,— сказал Бирото, потрясенный наглым спокойствием нормандца, прекрасно понимавшего честных людей, к которым он поступил, чтобы сколотить себе капитал.

Парфюмер и приказчик всю ночь провели за проверкой, которая, как и предполагал почтенный коммерсант, ничего не дала. Расхаживая взад и вперед, Цезарь незаметно сунул в дальний угол кассы три тысячефранковых билета; затем, притворившись усталым, сделал вид, что заснул, и даже захрапел. Дю Тийе, торжествуя, разбудил его и с наигранной радостью заявил, что выяснил ошибку. На другой день Бирото при всех разбранил жену и Попино за их небрежность. Через две недели Фердинанд дю Тийе устроился у биржевого маклера. Парфюмерная торговля не для него, говорил он, он намерен изучить банковское дело. Расставшись с Бирото, дю Тийе отзывался о жене парфюмера так, словно тот рассчитал его из ревности. Через несколько месяцев дю Тийе пожаловал к своему бывшему хозяину и попросил у него поручительство на сумму в двадцать тысяч франков, необходимых ему, чтобы внести залог для участия в деле, которое открывало перед ним путь к богатству. Заметив недоумение Бирото, пораженного подобной наглостью, дю Тийе нахмурил брови и спросил парфюмера, не отказывает ли тот ему в доверии. Матифа и два других купца, зашедшие к Бирото по делу, заметили негодование парфюмера, хотя он сдержал гнев в их присутствии. Дю Тийе, быть может, исправился, подумал Бирото, его проступок был, возможно, вызван тяжелым положением любовницы или карточным проигрышем, публичное его осуждение лицом уважаемым может толкнуть на пагубный путь преступлений такого молодого еще человека, а ведь он, кажется, вступил на стезю раскаяния. И этот ангельски чистый человек, взяв перо, подписал поручительство на векселях дю Тийе, сказав, что с радостью оказывает эту небольшую услугу юноше, который был ему очень полезен. Кровь бросилась ему в лицо, когда он произносил эту заведомую ложь. Дю Тийе не выдержал его взгляда и бесспорно в эту минуту поклялся в той смертельной ненависти к Бирото, какую духи тьмы питают к ангелам света. Дю Тийе искусно балансировал на натянутом канате финансовых спекуляций и выглядел щеголем и богачом, прежде чем стал богатым на самом деле. Он приобрел кабриолет и совсем перестал ходить пешком; он вращался в тех высоких сферах, где подвизаются современные Тюркаре, где люди сочетают развлечение с де-

лами и фойе оперы превращают в отделение биржи. Благодаря г-же Роген, с которой он познакомился у Бирото, Фердинанд дю Тийе довольно быстро проник в высшие финансовые круги. К этому времени он уже достиг отнюдь не призрачного благосостояния. Установив хорошие отношения с банкирским домом Нусингена, куда его ввел Роген, он быстро сблизился с братьями Келлер, представителями высших банковских сфер. Никто не знал, где доставал этот молодчик огромные капиталы, которыми ворочал, но его успехи все приписывали уму и честности.

Реставрация сделала Цезаря заметным человеком, и вихрь политических событий стер в его памяти эти два события его домашней жизни. Роялистские убеждения, которых он продолжал внешне придерживаться, хотя и сильно охладел к ним после ранения, воспоминание о его преданности в дни вандемьера обеспечили ему монаршую милость, тем более что сам он ничего не просил. Он был поставлен во главе батальона национальной гвардии, хотя неспособен был повторить даже самой простой команды. В 1815 году Наполеон, неизменный враг Бирото, вновь сместил его. В период «Ста дней» Бирото стал жупелом для всех либералов его квартала, ибо только с 1815 года начался политический раскол среди купечества, до того времени единодушного в стремлении к спокойствию, необходимому для процветания торговли. Во время второй реставрации королевское правительство сочло нужным обновить муниципалитет. Префект хотел назначить Бирото мэром. Под влиянием жены парфюмер согласился лишь на менее ответственный пост помощника мэра. Подобная скромность сильно увеличила всеобщее уважение к нему и вместе с тем снискала ему дружбу мэра, г-на Фламе де ла Биллардиера. Бирото, который видел его в «Королеве роз» еще в те времена, когда лавка служила местом встречи для роялистов-заговорщиков, сам указал на него префекту округа Сены, который советовался с ним о кандидатах. Супруги Бирото неизменно бывали приглашены на все званые обеды у мэра. Наконец г-жа Бирото частенько собирала пожертвования в церкви св. Роха наряду с представительницами высшего общества. Ла Биллардиер горячо поддержал кандидатуру Бирото, когда обсуждался вопрос о награждении членов муниципалитета орденами,— он ссылался на рану,

полученную Цезарем на ступенях церкви св. Роха, на его приверженность Бурбонам и на уважение, каким он пользовался. Правительство, рассчитывая щедрой раздачей крестов Почетного легиона не только умалить значение этого наполеоновского института, но и умножить число своих приверженцев, привлечь на сторону Бурбонов представителей торговли, искусства и науки, включило Бирото в первый же список награжденных. Такой почет вполне соответствовал блеску, окружавшему имя Бирото в квартале, и вознес его на такую высоту, на которой не мог не возомнить о себе человек, знавший доселе одни лишь удачи. Новость о награде, сообщенная ему мэром, явилась последним толчком, побудившим Бирото пуститься в предприятие, о котором он рассказал жене,— ему хотелось поскорее распрощаться с парфюмерной торговлей и приобщиться к крупной буржуазии Парижа.

Цезарю в ту пору было сорок лет. Неустанные хлопоты, связанные с фабрикой, вызвали преждевременные морщины на его лице и слегка посеребрили длинные густые волосы, сохранявшие лоснящуюся полосу от шляпы. Лоб его, на который спускалось пять вьющихся прядей волос, говорил о простом укладе его жизни. Его густые брови никого не пугали, ибо открытый взгляд чистых голубых глаз гармонировал с челом честного человека. Толстый с низкой переносицей нос придавал лицу удивленное выражение, как у парижских зевак. Губы были мясистые, а большой, тяжелый подбородок круто срезан. Широкое румяное лицо и расположением морщин и всеми своими крупными чертами выражало простодушную хитрость крестьянина. Сильное тело, крепкое сложение, широкая спина, огромные ступни ног — все выдавало в нем крестьянина, осевшего в Париже. Большие волосатые руки, утолщенные суставы огрубелых пальцев, квадратные ногти убедительно свидетельствовали о его происхождении, не говоря уже о других чертах его облика. На губах его играла приветливая улыбка, какая появляется у купцов при виде покупателя, но эта «коммерческая» улыбка была вместе с тем выражением внутреннего довольства и отражала спокойное состояние его души. Недоверчивость Цезаря не распространялась за пределы торговых операций, хитрость покидала его по выходе с биржи или после того, как он закрывал свои конторские

книги. Подозрительность была для него тем же, что и фирменные печатные бланки счетов,— необходимостью, вызванной самим характером торговли. Лицо его дышало комической самоуверенностью; сочетание самодовольства и добродушия придавало ему некоторое своеобразие и уменьшало сходство с плоской физиономией парижского буржуа. Не будь у Цезаря Бирото наивного восхищения собственной персоной и самоуверенности, он, пожалуй, внушал бы уж слишком большое уважение к себе; смешные черты приближали его к простым смертным. Обычно, разговаривая, он закладывал руки за спину. Когда он полагал, что был особенно любезен или изрек что-либо остроумное, он незаметно, в два приема, подымался на носки, а затем тяжело падал на пятки, как бы для подтверждения своих слов. В разгаре спора он иногда вдруг круто поворачивался, делал несколько шагов, словно в поисках возражений, затем вновь резко подступал к своему противнику. Он никогда никого не прерывал и нередко становился жертвой столь щепетильного соблюдения приличий, ибо другие наперебой сыпали словами, а бедняга не мог и рта раскрыть. В результате большого коммерческого опыта Бирото усвоил определенные привычки, которые кое-кто считал сумасбродными. Если какой-либо вексель не был ему оплачен, он отсылал его к судебному приставу и вспоминал о нем лишь тогда, когда полагалось получить по нему деньги, проценты и издержки; при этом он поручал судебному приставу преследовать должника лишь до признания того несостоятельным; в последнем случае Бирото прекращал всякое судебное преследование, не являлся на собрания кредиторов, но документы сохранял. Это правило и непреодолимое презрение к банкротам он усвоил у г-на Рагона, который за время своей торговой деятельности пришел к выводу, что тяжбы поглощают слишком много времени, и считал поэтому, что скудный и ненадежный дивиденд, доставляемый конкурсом, не стоит сил, затраченных на беготню и разоблачение недобросовестного должника.

— Ежели банкрот — честный человек и выйдет из затруднительного положения, он сам вам заплатит,— говаривал г-н Рагон.— Ну, а ежели он остался без всяких средств и без вины пострадал, зачем его еще мучить? Ежели он мошенник,— вы все равно ничего от него не по-

лучите. Ваша твердость, став известной, создаст вам славу человека непреклонного, и тогда, понимая невозможность добиться с вами какого-либо соглашения, должник постарается заплатить вам при первой возможности.

Цезарь являлся на деловое свидание точно в назначенное время, но ждал не больше десяти минут, после чего уходил, и ничто не могло заставить его отступить от этого правила: своей аккуратностью он приучил к аккуратности всех, кто имел с ним дело. Костюм, который он носил, соответствовал его привычкам и наружности. Ничто не могло бы заставить его отказаться от галстуков из белого муслина, концы которых, вышитые женою или дочерью, он выпускал на грудь. Белый пикейный жилет, застегнутый на все пуговицы, низко спускался на его довольно внушительное брюшко: Цезарь начинал полнеть. Он носил синие панталоны, черные шелковые чулки и башмаки с бантами; банты эти часто развязывались. Чрезмерно просторный зеленовато-оливковый сюртук и шляпа с большими полями придавали ему сходство с квакером. Принаряжаясь к воскресному вечеру, он надевал короткие шелковые панталоны, башмаки с золотыми пряжками и неизменный жилет, из-за отогнутых бортов которого виднелось плоеное жабо. Наряд этот дополнял фрак коричневого сукна с длинными и широкими фалдами. До 1819 года часы он носил на двух цепочках, располагая их одну над другой, но выпускал на жилет вторую только в парадных случаях. Таков был Цезарь Бирото, человек достойный, но которому таинственные силы, предопределяющие судьбу людскую, отказали в способности проникать во взаимосвязь политики с жизнью, лишили возможности подняться над общественным уровнем среднего класса; Цезарь шел по проторенной дорожке: он заимствовал у других свои взгляды и почитал их за неоспоримые истины. Невежественный, но добрый, неумный, но глубоко религиозный, он обладал неиспорченной душой. Сердце его согревало одно-единственное чувство, свет и сила его жизни — всепоглощающая любовь к жене и дочери, которой объяснялись и его жажда возвыситься и тот ограниченный запас знаний, который ему удалось приобрести.

Госпожа Бирото, которой в ту пору было тридцать семь лет, так походила на Венеру Милосскую, что все

знакомые признавали ее изображением прекрасную статую, присланную герцогом де Ривьером. Но через несколько месяцев горести так быстро иссушили ее сверкающую белизной кожу, так безжалостно углубили и обвели чернью синеватые тени под ее прекрасными зелеными глазами, что она стала походить на старую мадонну; ибо даже в несчастье она сохранила кроткую чистоту души, ясный, хотя и скорбный взгляд, и даже тогда нельзя было не признать, что она хороша собой, а сдержанные манеры ее полны достоинства. На балу, задуманном Цезарем, ей суждено было в последний раз блеснуть своей красотой, замеченной всеми присутствовавшими.

Всякое существование имеет свой апогей — такой период, когда воздействующие причины и вытекающие из них следствия вполне соответствуют друг другу. Это — полдень жизни, когда живые силы находятся в полном равновесии и проявляются во всем своем блеске, и расцвет этот свойствен не только органическим существам, но также городам, нациям, идеям, учреждениям, торговле, предприятиям, которые, подобно благородным фамилиям и династиям, возникают, возвышаются и приходят в упадок. Как объяснить неизменность этого закона возвышения и падения — основы всего, что происходит на земле? Ведь даже сама смерть в годы моровой язвы то достигает значительного подъема, то ослабевает, то ополчается с новой силой, то опять затихает. Земной шар, быть может, не что иное, как ракета, светящаяся немного дольше других. История, повествуя о причинах величия и падения всего существовавшего на земле, могла бы предупредить человека о пределе его стремлений; но ни завоеватели, ни актеры, ни женщины, ни писатели не внемлют ее спасительному гласу.

Цезарь Бирото, которому следовало бы знать, что он достиг апогея благополучия, принял остановку в своем возвышении за отправную точку дальнейшего движения. К тому же он был полный невежда в этих вопросах, ибо ни народы, ни монархи не пытались запечатлеть неизгладимыми письменами причины крушений, которыми изобилует история и бесчисленные примеры которых являют многие династии и торговые дома. Почему не воздвигнут новые пирамиды, чтобы всем и каждому постоянно напоминать о том принципе, который должен слу-

жить основой и политики народов и поведения отдельных лиц: «*Когда производимое действие не находится более в прямой зависимости от своей причины и не соответствует ей, начинается разрушение*». И все же такие памятники существуют повсюду: это предания и камни, которые говорят нам о прошлом и увековечивают прихоти неумолимой судьбы, чья рука разрушает наши мечты и доказывает нам, что самые великие события сводятся к одной мысли. Троя и Наполеон — лишь поэмы. Пусть же эта повесть станет поэмой превратностей буржуазной жизни, над которыми никто никогда и не задумывался, ибо они казались слишком ничтожными, тогда как в действительности они огромны: здесь речь идет не об одном человеке, а о целом сонме страдальцев.

Засыпая, Цезарь побаивался, что жена утром обрушится на него с новыми настойчивыми возражениями, и мысленно приказал себе встать на заре, чтобы все решить. На рассвете, когда Констанс еще спала, он тихонько выскользнул из спальни, быстро оделся и спустился в лавку как раз в ту минуту, когда рассыльный снимал с окон перенумерованные доски ставен. Убедившись, что приказчиков еще нет, Бирото остался ждать их в лавке, наблюдая, как рассыльный Раге справляется со своими обязанностями, хорошо знакомыми и самому Цезарю! Несмотря на холод, погода стояла чудесная.

— Попино! — крикнул Бирото спускавшемуся по лестнице приказчику.— Попроси Селестена спуститься в лавку, а сам оденься: мы пойдем с тобой в Тюильри, мне надо потолковать с тобой кой о чем.

Ансельм Попино являл собой поразительную противоположность Фердинанду дю Тийе; счастливый случай, внушающий веру в провидение, привел его в дом Цезаря, где ему пришлось играть столь значительную роль, что следует набросать его портрет. Г-жа Рагон была урожденная Попино. У нее было два брата. Младший из них состоял в ту пору заместителем судьи в суде первой инстанции департамента Сены. Старший брат торговал шерстью, разорился и умер, оставив на попечение Рагонов и бездетного брата-судьи своего единственного сына; мать мальчика умерла от родов. Г-жа Рагон, чтобы пристроить племянника к делу, определила Ансельма в парфюмерную лавку, надеясь со временем увидеть его преемником

Бирото. Ансельм Попино был небольшого роста и хром — недостаток, которым случай наделил лорда Байрона, Вальтера Скотта и Талейрана, как бы желая этим подбодрить страдающих от своей хромоты людей. Его румяное лицо было усеяно веснушками, как у всех людей с рыжими волосами, но чистая линия лба, глаза цвета серого агата с темными прожилками, красивый рот, белизна кожи, стыдливая грация юности, застенчивость, порожденная физическим недостатком, вызывали симпатию и желание помочь ему: ведь слабые пользуются всеобщей любовью. Попино возбуждал к себе участие. Маленький Попино, как все его называли, происходил из глубоко религиозной семьи; родные его отличались высокой нравственностью, вели скромную жизнь и творили много добрых дел. Не удивительно, что юноша, воспитанный дядей-судьей, соединял в себе все достоинства, украшающие молодость: умный, сердечный, несколько робкий, но пылкий в душе, кроткий, как ягненок, но усердный в работе, преданный, сдержанный,— он обладал всеми добродетелями первых христиан.

Услышав приглашение прогуляться в Тюильри — самое диковинное предложение для столь раннего часа и в устах уважаемого им патрона,— Попино решил, что хозяин хочет поговорить с ним об его устройстве; приказчик сразу же подумал о Цезарине, истинной королеве роз, живой вывеске торгового дома; он был влюблен в нее с того самого дня, когда поступил на службу к Бирото — двумя месяцами раньше дю Тийе. Поднимаясь по лестнице, он вынужден был остановиться: дыхание спирало в груди, сердце билось слишком сильно; вскоре он вновь спустился в лавку, в сопровождении старшего приказчика Селестена. Не говоря ни слова, Ансельм с хозяином направились к Тюильри. Попино в ту пору шел двадцать второй год, в его возрасте Бирото был уже женат, поэтому Ансельм не видел никаких помех для своего брака с Цезариной, хотя состояние парфюмера и красота его дочери являлись огромными препятствиями для столь честолюбивого плана; но любовь окрыляет надеждой, и чем любовь безрассуднее, тем охотнее верят в ее торжество; чем недоступнее была любимая, тем сильнее разгоралось чувство Ансельма. Счастливый юноша, в годы, когда стирались грани между различными слоями общества, ко-

гда все носили ничем не отличающиеся друг от друга шляпы, он измышлял какие-то преграды между дочерью парфюмера и собой, отпрыском старинной парижской фамилии! Все же, несмотря на сомнения и тревоги, он был счастлив: каждый день он обедал за одним столом с Цезариной. Ансельм так горячо принимал к сердцу все интересы фирмы, с таким рвением брался за любое дело, что служба не доставляла ему никаких огорчений, он делал все во имя Цезарины и никогда не знал усталости. Двадцатилетнему юноше свойственна самоотверженная любовь.

— Из него выйдет настоящий купец, он пробьется,— говорил Цезарь г-же Рагон, расхваливая Ансельма за хлопоты по фабрике, за понимание тонкостей парфюмерного дела, за рвение в работе в те дни, когда готовили товары к отправке и хромой Попино, засучив рукава по локоть, один упаковывал и забивал больше ящиков, чем все остальные приказчики.

Явные притязания на руку Цезарины со стороны Александра Кротта, старшего клерка нотариуса Рогена, сына богатого фермера из Бри, были серьезным препятствием для торжества сироты Попино; но эти трудности не казались еще ему самыми страшными! Ансельм хранил в глубине сердца грустную тайну, которая углубляла пропасть между ним и Цезариной. Состояние Рагонов, на которое он мог рассчитывать, было подорвано; юноше выпало на долю счастье помогать им из своего скудного жалованья. И тем не менее он верил в успех!

Не раз он ловил взгляды, которые Цезарина с гордым видом бросала на него,— в глубине ее глаз он дерзнул прочесть сокровенную мысль, согревавшую его надеждой. Вот почему Ансельм шел теперь, охваченный любовью, трепещущий, молчаливый, взволнованный, каким был бы при подобных обстоятельствах каждый молодой человек, чья жизнь только начинается.

— Попино,— сказал ему почтенный торговец,— твоя тетушка здорова?

— Да, сударь.

— Однако в последнее время она кажется мне чем-то озабоченной. Все ли у вас в порядке? Послушай, дружок, нечего таиться передо мной, ведь мы почти родные,— вот уж двадцать пять лет, как я знаю твоего дядю. Я при-

шел к нему в лавку прямо из деревни, в грубых башмаках с подковками. Хотя наша деревня и называлась «Трезорьер» [1], все мое состояние заключалось в одном луидоре, который мне подарила крестная, покойная маркиза д'Юкзель, родственница герцога и герцогини де Ленонкур, наших постоянных покупателей. Вот почему каждое воскресенье я молился о здравии ее и всей семьи; до сих пор я посылаю ее племяннице, госпоже де Морсоф, в Турень всякие парфюмерные изделия. Ленонкуры всегда направляют ко мне покупателей, например господина де Ванденеса, и тот набирает у нас товару на тысячу двести франков в год. Если бы я не был благодарен от чистого сердца, то следовало бы быть благодарным из расчета; но знай, тебе я искренне желаю добра.

— Ах, сударь, позвольте вам сказать, светлая у вас голова!

— Нет, дружок, нет, этого мало. Не стану спорить, голова у меня не хуже, чем у других, но прежде всего я был честен, черт побери! Я всегда вел себя благопристойно, я всегда любил только жену. Любовь — могучий *двигатель*, как удачно выразился вчера в палате господин де Виллель.

— Любовь! — воскликнул Попино.— О, сударь, неужели?..

— Погляди-ка, вон папаша Роген плетется пешком. И что это за дела у старика на площади Людовика Пятнадцатого в восемь часов утра? — спросил сам себя Цезарь, забыв про Ансельма и про ореховое масло.

Бирото сразу вспомнил страхи своей жены и повернул от Тюильрийского сада навстречу нотариусу. Ансельм шел за хозяином на почтительном расстоянии, не понимая внезапного интереса, проявленного Цезарем по столь, казалось бы, незначительному поводу, но чрезвычайно довольный поощрением, которое он усмотрел в словах Цезаря о башмаках с подковками, о луидоре и о любви.

Роген, высокий и тучный человек, с прыщеватым лицом, с черными волосами, с залысинами на лбу, был когда-то недурен собой; в молодости он был дерзок, напорист и из мелких клерков выбился в нотариусы; но теперь опытный наблюдатель заметил бы искажавший

---

[1] «Трезорьер» происходит от французского слова trésor — казна.

его лицо легкий тик и печать усталости — следствие погони за наслаждениями. Когда человек предается грязным излишествам, ему мудрено избежать следов этой грязи на лице, вот почему самый характер морщин и красные пятна на щеках Рогена отнюдь не облагораживали его наружности. Вместо той чистоты красок, которая освежает лица людей умеренных и придает им здоровый вид, в нем чувствовалась нечистая кровь, подхлестываемая вожделениями, непосильными для его тела. Нос его был уродливо вздернут, как это часто бывает у людей, страдающих воспалением слизистой оболочки, что сказывается на форме носа и изобличает тайный недуг, который некая простодушная королева Франции наивно считала общим несчастьем всех мужчин и, не зная близко ни одного мужчины, кроме короля, так никогда и не поняла своей ошибки. Усиленно нюхая испанский табак, Роген надеялся скрыть свой недуг, но только усилил этим неприятные проявления болезни, ставшие главной причиной его бед.

Не пора ли покончить с лестью по отношению к обществу, с обычаем постоянно изображать людей в ложном свете, умалчивая об истинных причинах их злоключений, столь часто вызываемых болезнями? Доселе бытописатели, пожалуй, слишком мало интересовались разрушительным влиянием телесных недугов на нравственный облик человека, на весь уклад его жизни. Г-жа Бирото верно отгадала тайну Рогенов.

В первую же брачную ночь очаровательная г-жа Роген, единственная дочь банкира Шевреля, почувствовала к несчастному нотариусу неодолимое отвращение и решила немедленно добиться развода. Роген, чрезвычайно дороживший богатством жены — полумиллионным состоянием, не считая видов на наследство,— упросил ее не возбуждать дела о разводе; он предоставил ей полную свободу и принял на себя все нежелательные последствия такого соглашения. Г-жа Роген стала сама себе госпожой и начала обращаться с мужем, как куртизанка со старым любовником. Очень скоро Роген нашел, что жена слишком дорого ему обходится, и, подобно многим парижским мужьям, завел на стороне вторую семью. Сначала он в своих тратах не выходил за пределы благоразумия, и они были невелики.

Первое время Роген был экономен и довольствовался гризетками, дорожившими его покровительством; но вот уже три года его снедала ненасытная страсть, нередко овладевающая мужчинами в возрасте от пятидесяти до шестидесяти лет; страсть нотариуса была вызвана едва ли не самой блистательной куртизанкой того времени, известной в летописях парижской проституции под прозвищем Прекрасной Голландки; вскоре ее затянул этот омут и она прославилась в нем своей смертью. Некогда красавицу привез из Брюгге в Париж один клиент Рогена; покидая по политическим соображениям столицу, он передал ее в 1815 году нотариусу. Старик купил для своей любовницы небольшой особняк на Елисейских полях, богато его обставил и поддался желанию потакать всем дорого стоившим прихотям этой женщины, расточительность которой поглотила все его состояние.

Угрюмое выражение, сбежавшее с лица Рогена, лишь только он увидел своего клиента, объяснялось загадочными событиями, в которых крылась и тайна чрезмерно быстрого обогащения дю Тийе. Когда старший приказчик парфюмера в одно из воскресений увидел в гостях у Бирото нотариуса и понаблюдал отношения Рогена с женой, он сразу изменил свои первоначальные планы. Дю Тийе поступил к Бирото, не столько желая соблазнить его жену, сколько стремясь жениться на его дочери, что вполне вознаградило бы его за неудовлетворенную страсть к Констанс, но он легко отказался от этого плана, когда убедился, что Цезарь далеко не так богат, как он предполагал. Дю Тийе выследил нотариуса, втерся к нему в доверие, добился знакомства с Прекрасной Голландкой, разобрался в подоплеке ее связи с Рогеном и узнал, что она грозила бросить нотариуса, если тот урежет ее траты. Прекрасная Голландка принадлежала к породе сумасбродных женщин, которые никогда не спрашивают, где и как мужчины добывают деньги, и способны со спокойным сердцем устроить бал на деньги отцеубийцы. Она никогда не задумывалась о завтрашнем дне. Будущее ограничивалось для нее вечером, а конец месяца терялся где-то в вечности, даже если ей предстояло платить по счетам. Дю Тийе, довольный, что нашел необходимый для его планов рычаг, прежде всего добился согласия Прекрасной Голландки любить Рогена за тридцать

тысяч франков в год вместо прежних пятидесяти тысяч: сладострастные старики редко забывают о подобной услуге.

Однажды после ужина, обильно вспрыснутого вином, Роген признался дю Тийе в своем финансовом крахе. Недвижимое имущество нотариуса составляло законную ипотеку его жены, и страсть поэтому заставила его растратить деньги клиентов на сумму, превышавшую половину стоимости его конторы. Несчастный Роген решил пустить себе пулю в лоб, после того как куртизанка поглотит все его состояние; вызвав к себе сочувствие общества, он надеялся ослабить ужасное впечатление от своего банкротства. Дю Тийе узрел перед собою быстрый и верный путь к обогащению, блеснувший, словно молния, в пьяном угаре; он успокоил Рогена и отблагодарил его за доверие, посоветовав нотариусу разрядить пистолеты в воздух.

— Рискуя всем, человек вашего положения не должен поступать необдуманно и отдаваться на волю случая. Вам надо действовать решительнее,— сказал дю Тийе.

И он предложил нотариусу сейчас же доверить ему, дю Тийе, крупную сумму для какой-нибудь смелой биржевой операции или для участия в одной из тысяч предпринимавшихся в ту пору спекуляций. В случае удачи они основали бы вместе банкирский дом, деньги вкладчиков пустили бы в оборот, а доходы шли бы на удовлетворение страсти Рогена. Если же счастье обернется против них, Роген не покончит с собой, а скроется за границу, ибо его верный друг, дю Тийе, готов поделиться с ним последним су. То была веревка, брошенная утопающему, и Роген не заметил, что приказчик-парфюмер затягивает петлю вокруг его шеи.

Владея тайной Рогена, дю Тийе с ее помощью подчинил своей власти сразу и жену, и любовницу, и мужа. Предупрежденная об угрозе разорения, о возможности которого она и не подозревала, г-жа Роген приняла ухаживания дю Тийе, который, уверившись в своем близком успехе, покинул лавку парфюмера. Бывшему приказчику без труда удалось уговорить содержанку нотариуса рискнуть некоторой суммой денег, чтобы никогда, даже в случае беды, не прибегать к проституции. Жена Рогена привела в порядок свои денежные дела, быстро собра-

ла небольшой капитал и также вручила его человеку, которому доверял ее муж, ибо нотариус немедленно передал своему сообщнику сто тысяч франков. Сблизившись с г-жой Роген на деловой почве, дю Тийе сумел расположить в свою пользу эту красивую женщину и внушил ей сильнейшую страсть к себе. Все три доверителя уплачивали ему, как водится, определенную часть со своей прибыли, но, не довольствуясь этим, он имел дерзость играть за их счет на бирже, войдя в соглашение с противником, который возвращал ему суммы его мнимых проигрышей, ибо дю Тийе играл сразу и от своего и от чужого имени. Сколотив пятьдесят тысяч франков, он почувствовал уверенность в том, что будет богачом; с характерной для него орлиной зоркостью он стал следить за фазами развития, через которые проходила тогда Франция, играл на понижение во время военной кампании 1814 года и на повышение по возвращении Бурбонов. Спустя два месяца после воцарения Людовика XVIII у г-жи Роген было двести тысяч франков, а у самого дю Тийе триста тысяч. Нотариус, которому молодой человек представлялся ангелом-хранителем, поправил свои дела. Однако Прекрасная Голландка по-прежнему пускала по ветру все деньги Рогена,— она стала жертвой мерзкого паука, высасывавшего из нее все соки, некоего Максима де Трай, бывшего пажа императора. Заключая с куртизанкой какую-то сделку, дю Тийе узнал ее настоящее имя. Ее звали Сарра Гобсек. Пораженный совпадением этой фамилии с фамилией ростовщика, о котором ему немало приходилось слышать, он отправился к старику, провидению молодых дворян, чтобы выяснить, сделает ли тот что-нибудь для своей родственницы. Этот Брут среди ростовщиков был неумолим к своей внучатной племяннице, но дю Тийе обратил на себя его благосклонное внимание как банкир Сарры и лицо, располагающее оборотным капиталом. Натура нормандца и натура ростовщика оказались под стать друг другу. Гобсеку как раз нужен был ловкий молодой человек, чтобы проследить за небольшой финансовой операцией, проводившейся за границей. Некий докладчик государственного совета, застигнутый врасплох возвращением Бурбонов, решил выдвинуться при дворе, а для этого отправиться в Германию и выкупить там долговые обязатель-

ства, выданные во время эмиграции принцами королевского дома. Интересуясь лишь политической стороной этой махинации, он соглашался предоставить доход от нее тем, кто ссудит его необходимыми средствами. Гобсек соглашался отпускать средства лишь по мере покупки долговых обязательств и при условии проверки их каким-нибудь толковым своим представителем. Ростовщики никому не доверяют, они всегда требуют обеспечения; в сношениях с ними случай — все: если человек им не нужен, они холодны как лед, но сразу же становятся вкрадчивыми, склонными к благодеяниям, лишь только этого потребуют их интересы. Дю Тийе знал, какую огромную роль играли за кулисами парижской биржи Вербруст и Жигонне, дисконтеры торговых домов с улицы Сен-Дени и Сен-Мартен, а также Пальма́, банкир из предместья Пуассоньер, почти всегда выступавшие сообща с Гобсеком. Дю Тийе предложил Гобсеку солидный денежный залог, выговорив себе определенный процент в прибылях и получив согласие господ финансистов пустить в оборот капиталы, которые он им предоставит; таким образом он заручился их поддержкой. Дю Тийе сопровождал г-на Клемана Шардена де Люпо в его поездке по Германии, которая длилась в течение «Ста дней», и вернулся ко времени второй реставрации, не столько увеличив свое состояние, сколько заложив основы его. Он проник в тайны самых ловких финансовых воротил Парижа, добился дружбы человека, для наблюдений за которым был приставлен, и этот ловкий делец открыл ему пружины и законы высшей политики. Дю Тийе принадлежал к той породе людей, которые все понимают с полуслова; поездка завершила его образование. В Париже Фердинанда встретила верная ему г-жа Роген; бедняга нотариус ожидал его с не меньшим нетерпением, чем она, ибо Прекрасная Голландка снова разорила его дотла. Расспросив Прекрасную Голландку, дю Тийе обнаружил, что ее расходы значительно превышают суммы, потраченные ею на себя. Дю Тийе узнал тогда тайну Сарры Гобсек, старательно от него скрываемую: ее безумную страсть к Максиму де Трай, чьи первые шаги на стезе порока и распутства сразу разоблачили подлинную его сущность; то был один из тех политических проходимцев, без которых не обходится ни одно правительство, страсть к игре сделала

его ненасытным. Открытие это объяснило дю Тийе равнодушие Гобсека к своей внучатной племяннице. Обдумав положение дел, банкир дю Тийе — ибо он сделался уже банкиром — стал настоятельно советовать Рогену прикопить себе денег на черный день, втянув наиболее состоятельных своих клиентов в дело, которое могло бы дать ему в руки крупные суммы в случае банкротства при дальнейшей игре на бирже. После игры на «повышение» и «понижение», обогащавшей лишь самого дю Тийе и г-жу Роген, для нотариуса пробил, наконец, час окончательного разорения. Его преданный друг извлек все возможные для себя выгоды из агонии Рогена. Дю Тийе придумал спекуляцию с участками земли в районе церкви Мадлен. Разумеется, сто тысяч франков, переданные Бирото на хранение Рогену, попали в лапы дю Тийе, который, желая погубить парфюмера, уверил нотариуса, что тот подвергнет себя меньшему риску, если уловит в сети своих ближайших друзей.

— Друг,— заверил он Рогена,— даже в гневе щадит нас.

Мало кому известно в наши дни, как дешево стоила в ту пору земля в районе церкви Мадлен; все же владельцы участков, с которыми предстояло столковаться, не преминули бы воспользоваться случаем набить цену и продать землю выше тогдашней ее стоимости; дю Тийе хотелось извлечь из этого дела выгоду, не неся никаких потерь, связанных с долгосрочной спекуляцией. Иначе говоря, план его состоял в том, чтобы погубить в самом зародыше это предприятие, прибрать его к рукам и тогда уже вдохнуть в него жизнь. При таких обстоятельствах дельцы, подобные Гобсеку, Пальма, Вербрусту и Жигонне, взаимно поддерживают друг друга; но дю Тийе не был настолько близок с этими людьми, чтобы обратиться к ним за содействием; к тому же ему важно было оставаться в тени, чтобы воспользоваться плодами мошенничества, не запятнав себя; ему нужен был помощник — послушное орудие в его руках, человек, которого в коммерческом мире именуют подставным лицом. Его мнимый партнер по биржевой игре показался ему подходящим для этой роли, и дю Тийе посягнул на права господа бога, сотворив нужного ему человека. Из бывшего коммивояжера, без средств, без способностей, за ис-

ключением дара молоть всякий вздор на любую тему, но годного на то, чтобы сыграть предлагаемую ему роль, не провалив пьесы, человека, исполненного своеобразной порядочности, то есть готового хранить тайну и дать себя опозорить, лишь бы спасти честь доверителя,— из этого субъекта дю Тийе сделал банкира, основателя и вдохновителя крупных коммерческих предприятий, главу банкирского дома Клапарона. Шарлю Клапарону надлежало стать жертвой биржевых дельцов, если бы махинации дю Тийе потребовали его банкротства, и Клапарон это знал. Но для бедного малого, печально слонявшегося по бульварам и возлагавшего все свои надежды на последние сорок су, которые были у него в кармане, когда с ним повстречался его старый товарищ дю Тийе, небольшие подачки, обещанные ему за каждое выполненное дело, показались настоящим Эльдорадо. Поэтому его приятельское расположение к дю Тийе и преданность ему, усиленные безотчетным чувством признательности за удовлетворение нужд его беспутной и праздной жизни, заставляли Клапарона соглашаться на все. Он продал свою честь, а когда увидел, как осмотрительно играет ею дю Тийе, привязался к своему старому товарищу, как пес к хозяину. Клапарон был крайне безобразным псом, но псом верным, всегда готовым кинуться, по примеру Курция, в пропасть. В задуманной спекуляции землей Клапарон должен был представлять половину покупателей участков, подобно тому как Цезарь Бирото был представителем другой половины. Векселя, которые Клапарону предстояло получить от Бирото, должен был учесть один из ростовщиков, чьим именем мог прикрываться дю Тийе, чтобы низвергнуть Бирото в бездну банкротства, после того как Роген похитит его наличный капитал. Члены конкурсного управления будут действовать по указке дю Тийе, который, завладев суммами, внесенными парфюмером, и став негласным его кредитором, намеревался затем пустить участки с торгов и приобрести их за полцены, оплатив их стоимость из денег Рогена и дивидендов от конкурса. Нотариус принял участие в заговоре дю Тийе, рассчитывая урвать себе солидный куш от состояния Бирото и его компаньонов; но человек, которому он доверился, намеревался захватить и действительно захватил себе львиную долю добычи. Роген, ли-

шенный возможности преследовать дю Тийе по суду, удовольствовался обглоданной костью, которую ему бросали из месяца в месяц, когда он укрылся в одном из глухих уголков Швейцарии, где находил себе красоток по сходной цене. Не воображение сочинителя трагических историй, придумывающего сложные интриги, а сама жизнь породила этот чудовищный план. Ненависть без жажды мщения — это семя, гибнущее на гранитной почве; но месть дю Тийе-Цезарю Бирото, которую он поклялся довести до конца, была так же естественна, как вражда духов тьмы к ангелам света. Дю Тийе не мог, не подвергая себя серьезной опасности, убить единственного человека в Париже, знавшего, что он совершил кражу; но он мог втоптать его в грязь и тем самым лишить всякого значения его свидетельские показания. Долго зрела в его сердце ненависть, пока, наконец, расцвела, ибо в Париже даже самые злобные люди не могут уделять много времени своим козням: слишком стремительна и кипуча здесь жизнь, слишком много здесь всяких непредвиденных случайностей; но в то же время эта вечная изменчивость жизни, не давая заранее обдумать какой-либо план, как нельзя лучше способствует затаенным замыслам людей, которые умеют выждать благоприятный момент в бурном течении событий. Когда Роген признался дю Тийе в своем разорении, бывший приказчик увидел, еще смутно, возможность погубить Цезаря, и он не ошибся. В ожидании разлуки со своим кумиром нотариус допивал любовный напиток из разбитой чаши и каждый вечер посещал небольшой особняк на Елисейских полях, возвращаясь оттуда домой лишь на рассвете. Итак, подозрения г-жи Бирото были справедливы. Стоит только кому-либо согласиться на такую роль, какую дю Тийе навязал Рогену, как он обретает таланты великого комедианта, зоркость рыси, проницательность ясновидящего, способность магнетизировать свою жертву; нотариус увидел парфюмера задолго до того, как Бирото обратил на него внимание, и когда Цезарь взглянул на него, Роген уже издали протягивал ему руку.

— Я только что составил завещание одной высокопоставленной особы; человек этот и недели не проживет,— сказал он с самым непринужденным видом.— Но со

мною обошлись, как с деревенским лекарем: приехали за мной в карете, а домой я возвращаюсь пешком.

Слова эти рассеяли легкое облако недоверия, которое омрачало чело парфюмера и было замечено Рогеном; потому-то нотариус и не решился первым заговорить о спекуляции земельными участками, тем более что намеревался нанести своей жертве последний удар.

— Сначала завещания, затем брачные контракты,— сказал Бирото,— такова жизнь! Да, кстати, когда наша помолвка с Мадлен? Хе! Хе! Папаша Роген,— прибавил он, похлопывая нотариуса по животу.

В мужском обществе даже самые добропорядочные буржуа любят казаться игривыми.

— Ну, если не сегодня, то никогда,— с дипломатическим видом сказал нотариус.— Боюсь, как бы дело не получило широкой огласки, два самых богатых моих клиента уже стремятся принять участие в этой спекуляции. Пора наконец или решиться, или вовсе отказаться. После полудня я подготовлю акты. Итак, вам остается раздумывать только до часу дня. Прощайте. Я собираюсь просмотреть сейчас черновик договора, который Ксандро должен был подготовить сегодня ночью.

— Ну, так по рукам, я согласен,— сказал Бирото, догоняя нотариуса.— Даю вам сто тысяч франков, которые я отложил на приданое дочери.

— Идет! — сказал Роген, продолжая свой путь.

Возвращаясь к Попино, Бирото на мгновение ощутил какое-то стеснение в груди, его обдало жаром, зашумело в ушах.

— Что с вами, сударь? — спросил приказчик, заметив, как побледнел его хозяин.

— Ничего, мой милый! Я сейчас порешил одно очень важное дело, тут хоть кого в пот бросит! Это дело и тебя касается. Так вот, я привел тебя сюда, чтобы потолковать на свободе, здесь нас никто не услышит. Значит, твоя тетушка находится в стесненных обстоятельствах? Каким образом она потеряла деньги? Расскажи!

— Видите ли, сударь, дядюшка и тетушка держали свои сбережения у господина Нусингена и поэтому вынуждены были принять в возмещение вклада акции Ворчинских копей, которые не дают пока никаких доходов, ну а в их возрасте трудно жить одними надеждами.

— На какие же средства они живут?

— Они так добры, что разрешили мне помогать им.

— Молодец, молодец, Ансельм! — проговорил парфюмер, у которого навернулись на глаза слезы.— Недаром у меня всегда сердце лежало к тебе! Тебя ждет достойная награда за твое усердие в службе.

Произнося эти слова, парфюмер вырастал как в собственных глазах, так и в глазах Попино. Речь его была проникнута наивной, мещанской напыщенностью, выражавшей его мнимое превосходство.

— Как! Вы догадались о моей любви?..

— К кому? — спросил Бирото.

— К мадемуазель Цезарине.

— Ого, сынок, да ты слишком дерзок! — воскликнул Цезарь.— Смотри, никому не проговорись, я обещаю тебе все забыть, завтра ты все равно покидаешь мой дом. Я не сержусь на тебя, на твоем месте я сам, черт побери, влюбился бы. Она так хороша!

— Ах, сударь! — пробормотал приказчик, обливаясь потом и чувствуя, как сорочка прилипает к его взмокшей спине.

— Видишь ли, сынок, дела этого так просто не решишь: Цезарина сама себе хозяйка, да и у матери свои виды. Поэтому возьми себя в руки, вытри глаза, умерь свои сердечные порывы и никогда больше не заикайся об этом. По мне, ты зять подходящий: племянник Рагонов, почему бы тебе, как и всякому другому, не выбиться в люди? Только тут всяких «но» да «если» не оберешься. И дернула тебя нелегкая заговорить об этом, когда нам нужно дело обсудить! Вот что, садись-ка ты на лавочку и обратись из влюбленного в приказчика. Послушай, Попино, мужественный ли ты человек? — сказал он, вглядываясь в лицо Ансельма.— Хватит ли у тебя смелости бороться с тем, кто сильнее тебя, схватиться с противником грудь с грудью?

— Да, сударь.

— А выдержишь ли ты долгую, опасную борьбу?

— О чем вы говорите?

— О том, как нам утопить «Макассарское масло»!— ответил Бирото, выпрямляясь, словно герой Плутарха.— Не будем обольщаться, враг силен, прекрасно вооружен, грозен. «Макассарское масло» ловко пустили в ход. За-

думано превосходно. Квадратные флаконы привлекают внимание своей оригинальной формой. Для моего масла я сначала думал заказать треугольные, но по зрелом размышлении решил, что лучше будут маленькие бутылочки из тонкого стекла, оплетенные тростником; у них будет такой таинственный вид, а покупатель любит все заманчивое.

— Это не дешево обойдется,— заметил Попино.— Нам надо затратить как можно меньше средств, чтобы привлечь розничных торговцев значительной скидкой.

— Правильно, мой милый, что верно, то верно. Не забудь, за «Макассарское масло» будут биться: оно кажется полезным, у него такое завлекательное название. Его выдают за заграничное, а наше, как на горе, отечественного происхождения. Слушай, Попино, хватит ли у тебя сил уничтожить «Макассарское масло»? Правда, ты возьмешь верх над ним по части вывоза за океан: кажется, Макассар действительно находится где-то там, в Индии, и, мне думается, естественнее посылать индусам французские изделия, чем отсылать им то, что они нам якобы поставляют. К твоим услугам люди, торгующие с колониями. Но нам надо бороться и за границей и у нас в провинции! Ведь рекламы уши всем прожужжали о «Макассарском масле»; нечего себя зря обнадеживать, оно всех покорило, всюду проникло, публика его ценит.

— А я его погублю! — воскликнул Попино, и глаза его засверкали.

— Но как? — спросил Бирото.— Ох, уж эта мне молодежь! Однако выслушай меня до конца.

Ансельм вытянулся, как солдат, стоящий перед маршалом Франции.

— Попино, я выдумал масло для ращения волос, оно питает кожу на голове и сохраняет цвет волос как у мужчин, так и у женщин. Оно будет пользоваться не меньшим успехом, чем мой крем и туалетная вода, но сам я не хочу заниматься продвижением этого открытия, ибо собираюсь оставить торговлю. Это тебе, сынок, придется распространять мое *«Комагенное масло»* — от латинского слова *кома*, что значит волосы, как объяснил мне господин Алибер, лейб-медик. Это слово встречается в трагедии «Береника», где Расин вывел короля Комагенского,

любовника прекрасной королевы, прославившейся своими роскошными волосами; по-видимому, из желания польстить своей возлюбленной этот король назвал так свое королевство. Как проницательны гениальные люди! Ничто не ускользнет от их взоров.

Юный Попино с серьезным видом слушал эту галиматью, очевидно, предназначенную специально для него, как человека образованного.

— Ансельм! Я остановил свой выбор на тебе, решив основать новый торговый дом на Ломбардской улице,— заявил Бирото.— Я буду твоим тайным компаньоном и дам тебе денег на обзаведение. Пусть только пойдет «Комагенное масло», и мы попробуем выпустить ванильную эссенцию и мятный спирт. Словом, мы произведем переворот в аптекарском и парфюмерном деле, станем продавать не натуральные масла, а концентрированные. Ну, молодой честолюбец, доволен ли ты?

Ансельм не мог выговорить ни слова, он был просто подавлен такими милостями, но его полные слез глаза говорили лучше всяких речей. Предложение парфюмера, казалось, было продиктовано отеческой снисходительностью,— Бирото как бы говорил ему: «Добейся богатства и уважения,— и ты заслужишь Цезарину!»

— Сударь,— выговорил, наконец, Попино, приняв взволнованность Бирото за удивление,— я обязательно добьюсь успеха!

— Вот и я был когда-то таким,— воскликнул парфюмер,— я ответил бы точно так же. Если ты и не станешь мне зятем, то богачом обязательно будешь. Но что с тобой, мой милый?

— Позвольте мне надеяться, что, добившись одного, я достигну и другого.

— Я не могу запретить тебе надеяться, дружок,— сказал Бирото, тронутый тоном Ансельма.

— Если так, сударь, могу я сегодня же начать искать помещение для лавки? Ведь надо поскорее приняться за дело.

— Да, дружок. Завтра мы запремся с тобой вдвоем на фабрике. Прежде чем начать поиски на Ломбардской улице, ты зайди к Ливингстону, узнай, можно ли будет завтра пустить в ход мой гидравлический пресс. Сегодня в обед мы отправимся с тобой к знаменитому ученому,

добрейшему господину Воклену, и посоветуемся с ним. Он как раз занимается сейчас изучением строения волос, недавно он исследовал свойства их красящего вещества, его происхождение, а также самой ткани волоса. В этом вся суть дела, Попино. Тебе передам я свое открытие, а ты уж постарайся хорошенько им воспользоваться. Прежде чем идти к Ливингстону, забеги к Пьеру Бенару. Друг мой, бескорыстие господина Воклена приносит мне величайшее огорчение: невозможно уговорить его принять хоть какой-нибудь подарок. К счастью, я узнал от Шифревиля, что ему хотелось иметь гравюру дрезденской Мадонны работы некоего Мюллера; и вот после двухлетней переписки с Германией Бенар, наконец, разыскал оттиск этой гравюры на китайской бумаге, без надписи; стоит гравюра полторы тысячи франков. Сегодня наш благодетель должен увидеть ее у себя в передней, когда пойдет нас провожать; ты уж позаботься, чтоб к этому времени к гравюре была готова рама. Так мы с женой напомним ему о себе, ну, а о нашей благодарности и говорить не приходится, вот уж шестнадцать лет, как мы за него каждый день бога молим. Никогда в жизни я его не забуду, но знай, Попино: ученые, углубленные в науку, забывают все — жену, друзей, осчастливленных ими людей. Мы, простые смертные, умом не блещем, но сердце у нас горячее. И это утешительно: не всем же быть профессорами. У господ академиков все ушло в ум; их никогда в церкви не увидишь. Господин Воклен день-деньской проводит, запершись у себя в кабинете или в лаборатории; хочется верить, что он вспоминает бога, изучая его творения. Итак, решено: я обеспечу тебя необходимыми средствами для торговли, передам тебе свое открытие, мы будем вести дело на половинных началах, и письменный договор нам не нужен. Лишь бы нам повезло, а мы уж с тобой поладим. Ступай, дружок, я пойду по делам. Послушай-ка, Попино, через три недели я даю большой бал, закажи себе фрак, ты должен появиться на балу уже как коммерсант с весом...

Это последнее проявление доброты так растрогало Попино, что он схватил большую руку Цезаря и поцеловал ее. Влюбленному юноше польстило доверие парфюмера, а влюбленные ни в чем не знают удержу.

«Бедный малый! — сказал себе Бирото, глядя, как

Ансельм побежал через Тюильрийский сад.— Вот было бы хорошо, если бы Цезарина его полюбила! Но он хромает, волосы у него как медь, а молодые девушки такие привередницы! Не верится мне, чтобы Цезарина... Да и мать спит и видит выдать ее за нотариуса. С Александром Кротта она жить будет в богатстве; коли деньги есть, все хорошо, а в бедности никакое счастье невозможно. Впрочем, пусть дочь сама решает, лишь бы глупостей не натворила».

Соседом Бирото был небогатый торговец зонтиками и тростями, некто Кейрон, уроженец Лангедока; дела его шли плохо, и Бирото не раз выручал его деньгами. Кейрон с удовольствием уступил бы богатому парфюмеру свои две комнаты на втором этаже, а сам перебрался бы в помещение за лавкой, чтобы поменьше платить домовладельцу.

— Вот что, сосед,— фамильярно сказал Бирото, входя в лавку торговца зонтиками,— жена согласилась расширить нашу квартиру! Если хотите, пойдем сегодня в одиннадцать часов к господину Молине.

— Дорогой господин Бирото,— ответил торговец зонтиками,— я и не заикался об отступных, но сами понимаете, на то мы и купцы, чтобы извлекать из всего выгоду.

— Черт побери! — возразил парфюмер.— Что ж, я деньги лопатой загребаю? И кто его знает, согласится ли еще архитектор, которого я вызвал, выполнить мой проект? Прежде чем заключить сделку, сказал он мне, надо проверить, на одном ли уровне находятся квартиры. Затем необходимо получить у господина Молине разрешение пробить стену для двери, да еще вопрос, общая ли это стена? Кроме того, придется повернуть лестницу и переместить площадку, чтобы можно было прямо переходить из дома в дом. Вот сколько у меня расходов, а разоряться я не намерен.

— Что вы, сударь! — воскликнул южанин.— Скорее солнце с землей поженятся и у них народятся детки-планетки, чем вы разоритесь.

Бирото погладил себе подбородок, приподнялся на носки и грузно опустился на пятки.

— Притом же,— продолжал Кейрон,— я прошу вас только взять у меня кое-какие векселя.

Кейрон подал парфюмеру пачку из шестнадцати векселей на пять тысяч франков.

— А-а! — протянул парфюмер, перелистывая векселя,— все краткосрочные, на два, на три месяца...

— Возьмите их хотя бы из шести процентов,— подобострастно попросил Кейрон.

— Да что я, ростовщик? — укоризненно сказал парфюмер.

— Господи, я ходил, сударь, к вашему бывшему приказчику дю Тийе; он наотрез отказался принять эти векселя. Видно, хотел выведать, за сколько я согласен их уступить.

— Не знаю я что-то этих подписей,— сказал парфюмер.

— Не мудрено. это все продавцы вразнос, в нашей торговле немало забавных фамилий!

— Ладно, всех взять не обещаю, но самые краткосрочные возьму.

— Четырехмесячных векселей здесь наберется на тысячу франков. Неужели мне из-за этой тысячи кланяться в ноги кровопийцам, которые высасывают из нас все наши доходы! Сделайте милость, возьмите все. Если бы я мог учесть векселя... Но у меня нет никакого кредита, вот это и губит нас, мелких торговцев.

— Ну, ладно, будь по-вашему, принимаю все векселя. Селестен с вами расплатится. Будьте готовы к одиннадцати часам. А вот и мой архитектор, господин Грендо,— прибавил парфюмер, увидав входившего молодого человека, с которым он познакомился накануне, когда был у г-на де ла Биллардиера.— Вопреки обычаю талантливых людей вы аккуратны, сударь,— сказал Цезарь с изысканной любезностью коммерсанта.— Если, как выразился один монарх, остроумный человек и великий политик, аккуратность — вежливость королей, то для купца она — клад. Время дорого, время — деньги, особенно для вас, художников. Архитектура, позволю себе сказать, объединяет все виды искусства. Мы поднимемся с вами наверх, минуя лавку,— прибавил он, указывая на дверь своего дома.

Четыре года назад г-н Грендо получил первую премию по архитектуре; он недавно вернулся из Рима, где пробыл три года на казенный счет. В Италии молодой

художник думал об искусстве, в Париже — о карьере. Только правительство может отпускать архитектору миллионы, необходимые ему для утверждения своей славы; ведь так естественно по возвращении из Рима возомнить себя Фонтеном или Персье, и всякий честолюбивый архитектор склонен придерживаться правительственного курса; либеральный студент Грендо стал архитектором-роялистом и старался заручиться покровительством влиятельных лиц. Когда художник ведет себя подобным образом, товарищи называют его интриганом. У молодого архитектора был выбор: либо ублажить парфюмера, либо хорошо заработать на нем. Но Бирото — помощник мэра, Бирото — будущий владелец половины земельных участков в районе церкви Мадлен, где рано или поздно непременно вырастут прекрасные здания, был нужным для него человеком. Грендо решил поэтому пожертвовать сегодняшним барышом ради будущих благ. Он терпеливо выслушал планы, предложения, соображения Бирото, одного из тех буржуа, которые являются неизменной мишенью для острот и насмешек презирающих их художников, и почтительно последовал за парфюмером, кивая головой в знак согласия с его замыслами. Когда Цезарь подробно все объяснил, молодой архитектор кратко изложил Бирото его же собственный план.

— Три окна у вас выходят на улицу, и одно внутреннее окно — на площадку лестницы. К этим четырем окнам вы добавите еще два из соседнего дома, которые находятся с ними на одном уровне, а лестницу повернете таким образом, чтобы все комнаты со стороны улицы составили один общий этаж.

— Вы отлично поняли меня,— с удивлением сказал парфюмер.

— Чтобы осуществить ваш план, нам придется осветить новую лестницу сверху и устроить каморку привратника в цоколе.

— В цоколе?

— Да, это основание, на котором будет покоиться...

— Понимаю, сударь, понимаю...

— Ну, а по части расположения комнат и их убранства предоставьте мне свободу действий. Я хочу сделать их достойными...

— Достойными! Вы нашли нужное слово, сударь.

— Какой срок даете вы мне для переделки квартиры?

— Три недели.

— Какую сумму вы отпускаете на работы? — спросил Грендо.

— А во что обойдется такой ремонт?

— Архитектор подсчитывает стоимость нового здания с точностью до одного сантима,— ответил молодой человек,— но так как мне не приходилось еще обставлять буржуа... простите, сударь, это выражение вырвалось у меня невольно,— предупреждаю вас, что заранее определить стоимость перестройки или ремонта нельзя. Боюсь, что и через неделю я не смогу представить вам даже черновой сметы расходов. Доверьтесь мне: у вас будет великолепная лестница с верхним светом, красивый парадный подъезд, а в цоколе...

— Опять этот цоколь!

— Не беспокойтесь, я найду место и для каморки привратника. Я с большим старанием и любовью займусь переделкой и убранством вашего жилища. Да, сударь, для меня искусство важнее денег! Кроме того, разве можно выдвинуться, не заставив людей говорить о себе? Я полагаю, лучшее средство — это не идти на темные сделки с подрядчиками, а добиваться прекрасных результатов при незначительных затратах.

— С такими взглядами, молодой человек,— сказал Бирото покровительственным тоном,— вы далеко пойдете!

— Значит,— продолжал Грендо,— с каменщиками, малярами, слесарями, столярами, плотниками вы договариваетесь сами. Я беру на себя только проверку их счетов. Я прошу у вас только две тысячи франков гонорара, и вы не пожалеете затраченных денег. Очистите мне завтра к полудню помещение и предоставьте рабочих.

— Все же сколько приблизительно придется мне затратить денег? — спросил Бирото.

— От десяти до двенадцати тысяч франков,— ответил Грендо.— Но я не считаю обстановки, которую вы, конечно, захотите обновить. Вы дадите мне адрес вашего обойщика, мне нужно вместе с ним подобрать цвета, чтобы ничем не погрешить против хорошего тона.

— Мой поставщик — господин Брашон, улица Сент-Антуан,— с видом владетельного герцога ответил парфюмер.

Архитектор вынул маленькую книжечку, подарок какой-нибудь хорошенькой женщины, и записал адрес.

— Итак, сударь,— сказал Бирото,— я полагаюсь на вас. Повремените немного с началом работ, мне надо договориться об уступке двух комнат в соседнем доме и получить разрешение пробить стену.

— Известите меня запиской сегодня вечером,— попросил архитектор.— Мне придется за ночь составить планы, а мы предпочитаем работать на буржуа, чем на прусского короля, то есть не работать впустую. Пока я измерю высоту комнат, величину окон, простенков...

— Вы должны непременно закончить все к назначенному дню, иначе лучше и не начинать.

— Будьте спокойны! — ответил архитектор.— Работы будут идти днем и ночью: мы применим новые способы просушки стен. Но только смотрите, как бы вас не подвели подрядчики, заранее сторгуйтесь и подпишите с ними письменные обязательства!

— Париж — единственный город в мире, где можешь, словно волшебник, творить чудеса,— сказал Бирото, сопровождая свои слова величественным жестом, достойным какого-нибудь восточного повелителя из «Тысячи и одной ночи».— Надеюсь, вы окажете мне честь присутствовать у нас на балу, сударь. Далеко не все талантливые люди презирают купечество, и вы, несомненно, встретите у меня крупнейшего ученого, академика господина Воклена; будет и господин де ла Биллардиер, и граф де Фонтэн, и господин Леба, и председатель коммерческого суда; будут представители судейского сословия: граф де Гранвиль из Королевского суда, господин Попино, член суда первой инстанции, господин Камюзо из коммерческого суда и его тесть господин Кардо... Возможно, пожалует даже герцог де Ленонкур, первый камергер короля. Я приглашаю друзей для того... чтобы отпраздновать освобождение Франции... и отметить... награждение меня орденом Почетного легиона...

Грендо сделал неопределенный жест.

— Быть может... я заслужил эту награду и... монаршую милость... ведь я был членом коммерческого суда...

я сражался за Бурбонов тринадцатого вандемьера на ступенях церкви Святого Роха, там я был ранен Наполеоном... Эти заслуги...

В эту минуту Констанс в утреннем туалете вышла из спальни Цезарины, где она одевалась; одного взгляда жены было достаточно, чтобы прервать излияния Бирото, который подыскивал наиболее простые выражения, стараясь с надлежащей скромностью познакомить ближнего своего с собственным величием.

— Вот познакомься, милочка: господин де Грендо, человек молодой, но всеми уважаемый и даровитый. Господин де ла Биллардиер рекомендовал мне его в качестве архитектора, чтобы произвести кое-какие незначительные переделки в нашей квартире.

Цезарь незаметно от жены сделал знак архитектору, приложив палец к губам при слове «незначительные», и архитектор его отлично понял.

— Констанс, господину де Грендо надо измерить площадь и высоту комнат. Предоставь ему эту возможность, дорогая,— сказал Бирото и выскользнул на улицу.

— Дорого все это обойдется? — спросила Констанс архитектора.

— Нет, сударыня, около шести тысяч франков.

— Около! — воскликнула г-жа Бирото.— Сударь, я прошу вас, не начинайте работ без сметы и договора. Я знаю обычай господ подрядчиков: шесть тысяч на деле означает двадцать тысяч. Мы не вправе позволить себе подобное сумасбродство. Мой муж, конечно, хозяин у себя дома, но прошу вас, сударь, дайте ему время подумать.

— Сударыня, господин помощник мэра настоятельно просил меня закончить работы в три недели; если мы запоздаем, вы только напрасно понесете расходы.

— Расходы расходам рознь,— заметила прекрасная парфюмерша.

— Ах, сударыня, неужели вы полагаете, что для архитектора, мечтающего воздвигать памятники, такое уж завидное дело ремонтировать квартиру? Я согласился заняться этим единственно из уважения к господину де ла Биллардиеру, и если вы страшитесь расходов...

Он сделал вид, будто собирается уйти.

— Хорошо, сударь, хорошо,— заторопилась Кон-

станс и, вернувшись в спальню, бросилась на грудь Цезарины.

— Ах, дочка! Твой отец, видно, решил разориться. Он пригласил архитектора,— тот носит усы и эспаньолку и собирается воздвигать памятники! Он готов разнести весь дом, чтобы попытаться устроить нам новый Лувр. Цезарю всегда не терпится натворить глупостей; ночью он рассказал мне о своем проекте, а утром уже приводит его в исполнение.

— Полно, мама, пусть папа поступает, как хочет, господь бог ему всегда помогал,— сказала Цезарина, целуя мать; затем она села за пианино, желая показать архитектору, что и дочь парфюмера не чужда искусству.

Когда архитектор вошел в спальню, он был изумлен красотой Цезарины и остановился как вкопанный.

Цезарина вышла из своей комнатки в утреннем капоте, свежая и румяная, как бывает свежа и румяна девушка в восемнадцать лет; стройная и тоненькая, белокурая, с голубыми глазами, она поразила архитектора своей гибкостью, столь мало свойственной парижанкам, нежным цветом лица любимого художниками оттенка, с сетью голубых жилок, пульсирующих под тонким покровом. Хотя она выросла и жила в душной атмосфере парижской лавки, где воздух плохо освежается и куда редко заглядывает солнце, жизнь ее сложилась так, что она цвела здоровьем, как римлянка, выросшая среди природы, на берегу Тибра. Пышные, как у отца, волосы, которые она зачесывала кверху, открывали прелестные линии шеи, на плечи ее спускались локоны, тщательно завитые, как у всех продавщиц, которых желание привлечь внимание заставляет с чисто английской педантичностью относиться ко всем мелочам туалета. Красота этой цветущей девушки не была красотой английской леди или французской герцогини, то была красота цветущей белокурой фламандки с полотен Рубенса. У Цезарины был вздернутый, как у отца, нос, но значительно тоньше выточенный и походивший на истинно французские носы, которые так хорошо изображал Ларжильер. Кожа ее, напоминавшая гладкую и упругую ткань, говорила о девичьей свежести и нерастраченных силах. У нее был прекрасный лоб, как у матери, но отмеченный безмятежной ясностью девушки,

не ведающей никаких забот. Голубые глаза с поволокой светились нежной ласковостью счастливой юности. Если счастье лишило ее головку той поэтичности, какой художники наделяют свои создания, придавая им несколько преувеличенную задумчивость, то все же смутное томление, знакомое молодым девушкам, привыкшим всегда жить под материнским крылышком, придавало ей нечто идеальное. Несмотря на свое изящество, Цезарина отличалась крепким сложением, ноги ее выдавали крестьянское происхождение отца, вдобавок у нее были красные, как у мещанок, руки. Чувствовалось, что рано или поздно она располнеет. Наблюдая в лавке за молодыми элегантными женщинами, она в конце концов переняла у них манеру одеваться, поворачивать голову, разговаривать, двигаться, подражая дамам из общества, и она кружила головы всем знакомым молодым людям; приказчикам она казалась необыкновенно изысканной. Попино поклялся себе, что ни на ком не женится, кроме Цезарины. Только эта нежная, полувоздушная блондинка, готовая разрыдаться от малейшего упрека, могла дать ему почувствовать его мужское превосходство. Эта очаровательная девушка возбуждала к себе любовь, не оставляя времени подумать, хватит ли у нее ума, чтобы удержать это чувство; но кому нужен пресловутый парижский ум в среде, где основой счастья является здравый смысл и добродетель? Своим нравственным обликом Цезарина походила на мать, только все в ней было утонченнее благодаря воспитанию; она любила музыку, рисовала карандашом «Мадонну» Рафаэля, читала книги г-жи Коттен и г-жи Рикобони, Бернардена де Сен-Пьера, Фенелона, Расина. Она никогда не сидела за конторкой, разве только за несколько минут до обеда или когда — в исключительных случаях — заменяла мать. Отец и мать, как все новоиспеченные буржуа, делали все, чтобы привить дочери неблагодарность; ставя ее выше себя, они боготворили Цезарину, но, к счастью, девушка обладала мещанскими добродетелями и не злоупотребляла любовью родителей.

Госпожа Бирото следила за архитектором с тревожным и умоляющим видом, с ужасом указывая дочери на причудливые движения складного метра, этой трости

архитекторов и подрядчиков, которым Грендо измерял помещение. В ударах этого магического жезла ей мерещились зловещие предзнаменования, ей хотелось бы видеть стены менее высокими, комнаты менее просторными, она не решалась даже расспросить молодого человека о последствиях его колдовства.

— Будьте спокойны, сударыня, я ничего не унесу,— сказал с улыбкой художник.

Цезарина не могла удержаться от смеха.

— Сударь,— взмолилась Констанс, не заметив шутки архитектора,— будьте экономны, мы вас отблагодарим...

Прежде чем направиться к господину Молине, владельцу соседнего дома, Цезарь решил взять в конторе Рогена составленный домашним порядком договор о переуступке помещения, который должен был ему подготовить Александр Кротта. Выходя на улицу, Бирото в окне кабинета Рогена увидел дю Тийе. Хотя связь его бывшего приказчика с женой нотариуса была достаточным объяснением пребывания дю Тийе в этом доме в час, когда там подготовлялись акты на земельные участки, все же Бирото, несмотря на крайнюю свою доверчивость, встревожился. Судя по возбужденному лицу дю Тийе, в кабинете о чем-то спорили.

«Неужели он имеет отношение к этому делу?» — подумал Бирото, поддаваясь свойственной купцу недоверчивости.

Подозрение, как молния, прорезало его мозг. Он обернулся и разглядел в окне г-жу Роген; тогда присутствие банкира перестало казаться ему столь подозрительным.

— А вдруг Констанс все-таки права? — спросил он сам себя.— Нет, что за глупость, прислушиваться к женским бредням! Впрочем, сегодня же поговорю об этом с дядей. От Батавского подворья, где живет Молине, до улицы Бурдонне рукой подать.

Человек недоверчивый, коммерсант, уже имевший дело с мошенниками, был бы спасен; но все прошлое Бирото, его неразвитой ум, лишенный способности схватывать и сопоставлять факты, способности, приводящей одаренного человека к пониманию причин происходящего, погубили его. Принарядившийся торговец зонтиками ожидал парфюмера, и они уже направились было к до-

мовладельцу, когда Виржини, кухарка Бирото, схватила хозяина за рукав.

— Сударь, барыня просит вас не уходить из дому...

— Вот еще,— воскликнул Бирото,— опять женские причуды!

— Пока вы не выпьете чашку кофе, он уже подан.

— Что ж, пожалуй. Сосед,— обратился Бирото к Кейрону,— у меня столько дел в голове, что я забываю о желудке. Не откажите в любезности, идите, не ожидая меня; встретимся у дверей Молине, а еще лучше, подымитесь к нему, объясните наше дело. Мы так сбережем время.

Господин Молине был мелкий рантье, чудак, какие встречаются лишь в Париже, как определенный вид мха-лишайника произрастает лишь в Исландии. Сравнение это тем более уместно, что Молине принадлежал к странным существам, сочетавшим в себе свойства растительного и животного мира, и новый Мерсье отнес бы его к тем тайнобрачным, которые растут, цветут и увядают на карнизах, в трещинах или у подножия стен старинных и зловонных домов, где существа эти по преимуществу и встречаются. На первый взгляд это человекорастение из класса зонтичных, обладавшее синим круглым картузом, венчавшим его голову, раздвоенным стеблем, облеченным в зеленые панталоны, луковичными корнями, запрятанными в мягкие покромчатые туфли, белесоватой и плоской физиономией, не принадлежало к ядовитому виду. В этом чудаковатом субъекте вы признали бы типичного держателя акций, который верит всем слухам, закрепленным типографской краской в периодической печати, и на все имеет один ответ: «Прочтите газету!» Буржуа по природе своей — друг порядка, на словах он склонен идти против правительства, которому тем не менее неизменно послушен; вообще это существо слабое, но иной раз — свирепое; бесчувственный, как судебный пристав, когда дело коснется его имущественных прав, буржуа заботливо кормит семенами курослепа птиц и рыбьими костями — кошку, перестает писать расписку в получении квартирной платы, чтобы насвистать мотив канарейке; недоверчивый, как тюремщик, он все же вкладывает свои деньги в сомнительные предприятия и пытается затем на-

верстать потерянное мерзкой скупостью. Зловредность подобного гибрида обнаруживалась лишь при тесном соприкосновении с ним: чтобы почувствовать его отвратительную горечь, надо покипеть с ним в одном котле, когда его интересы сталкиваются с интересами других. Как все парижане, Молине испытывал потребность господствовать, он жаждал власти, какою в той или иной мере обладает любой человек, даже привратник, по отношению к большему или меньшему количеству своих жертв; всякий кого-нибудь да тиранит: жену, ребенка, жильца, приказчика, лошадь, собаку или обезьяну, срывая на них злобу от обид, полученных в более высоких сферах, куда каждый стремится. Маленький, нудный старикашка, Молине не имел ни жены, ни детей, ни племянника, ни племянницы; он жестоко помыкал экономкой, но не мог превратить ее в козла отпущения, ибо она всячески избегала общения с ним, тщательно исполняя при этом свои обязанности. Его снедала жажда тирании; ради удовлетворения ее он терпеливо и досконально изучил законы о найме квартир, о смежных стенах, искусно толковал все правила, касающиеся жилых домов, границ участков, различных налогов, уборки улиц и тротуаров, праздничного убранства города, освещения, сточных труб, недопустимости загромождения улиц выступающими на тротуар зданиями и близости смрадных помещений. Его способности, деятельность, весь его ум были направлены на то, чтобы всегда быть готовым отстоять в бою свои права домовладельца; для него это была забава, но такая забава смахивала на манию. Он охотно выступал «против незаконных посягательств на права сограждан», но поводы для жалоб были относительно редки, и эта страсть под конец обратилась против его жильцов. Жилец становился его врагом, его подчиненным, его подданным, его вассалом; он требовал к себе уважения и считал грубияном всякого, кто молча проходил мимо него по лестнице. Молине собственноручно писал счета и отсылал их в полдень, когда наступал срок платежа. Неисправный плательщик получал требование об уплате с указанием предельного срока. Ну, а затем — опись имущества, судебные издержки, вся судейская кавалерия обрушивалась на несчастного со скоростью того приспособления, которое палач называет

механикой. Молине не допускал ни отсрочек, ни запозданий, сердце его превращалось в камень, едва речь заходила о квартирной плате.

— Я дам вам взаймы, если вы сейчас стеснены в средствах,— заявлял он платежеспособному жильцу,— но внесите в срок квартирную плату, всякое промедление влечет за собой потерю на процентах, которую закон нам не возмещает.

После длительного изучения своенравных прихотей жильцов, которые представлялись ему сплошь сумасбродами, ибо, сменяясь, они обычно разрушали то, что было сделано их предшественниками, словно царствующие династии, Молине даровал жильцам свою собственную хартию и свято ее соблюдал. К слову сказать, старикашка-домовладелец никогда не производил ремонта: печи у него не дымили, лестницы блистали чистотой, потолки оставались белыми, карнизы безупречными, паркеты не прогибались, штукатурка не обваливалась; замки были недавно куплены, все стекла целы, стены не трескались; поломки он замечал, лишь когда жильцы съезжали с квартиры, передача ее домовладельцу происходила в присутствии слесаря, маляра и стекольщика. «Это все народ покладистый,— говорил он,— дорого с вас не возьмут». Впрочем, нанимателю предоставлялось право заново отделывать квартиру; но стоило неосторожному осуществить это право, как Молине начинал день и ночь ломать себе голову, как бы выжить жильца и завладеть отремонтированным помещением: он выслеживал несчастного, подстерегал, пускался во все тяжкие. Он прекрасно разбирался во всех тонкостях парижского законодательства о сдаче помещений в наем. Сутяга и крючкотвор, он писал сладенькие, любезные письма жильцам; но этот стиль, так же как и его приторные, вкрадчивые манеры, скрывали душу Шейлока. Он неизменно требовал платы за полгода вперед, засчитывал ее за последний период найма и изобретал целую систему стеснительных условий. Он проверял, какова обстановка жильца, и прикидывал, может ли она служить залогом. Лишь только появлялся новый жилец, Молине, как сыщик, собирал о нем сведения, ибо он избегал некоторых профессий, малейшие странности жильца его пугали. Когда предстояло заключать договор

с квартирантом, он обдумывал его целую неделю, опасаясь что-либо упустить и попасть впросак. Тому, кто не знал его как домовладельца, Жан-Батист Молине казался добрым, услужливым человеком; играя в бостон, он не пилил неумелого партнера; смеялся над тем, над чем смеются все буржуа, болтал о том, о чем все болтают: о возмутительном поведении булочников, обвешивающих покупателей, о попустительстве полиции, о семнадцати геройских депутатах «левой». Молине читал «Здравый смысл священника Мелье» и ходил к обедне, не в силах решить спора между деизмом и христианством, но он никогда не подавал просфоры и всегда возмущался наглыми поборами духовенства. Неутомимый кляузник, он осаждал бесконечными письмами газеты, но те их не печатали и оставляли без ответа. Словом, Молине вел себя, как всякий почтенный буржуа, который торжественно кладет в камин рождественское полено, играет в короли, изощряется в первоапрельских шутках, в хорошую погоду прогуливается по бульварам, охотно глазеет на конькобежцев, а в дни фейерверков уже в два часа спешит, с булкой в кармане, на площадь Людовика XV, чтобы занять местечко получше.

Батавское подворье, где проживал этот старикашка, возникло в результате одной из тех странных спекуляций, которые становятся непонятными, лишь только они завершены. Это здание монастырского типа с арками и внутренними галереями, сложенное из тесаного камня, с жаждущим влаги фонтаном, разевающим львиную пасть не для того, чтобы извергать воду, а выпрашивать ее у прохожих,— это здание, бесспорно, было придумано для украшения квартала Сен-Дени неким подобием Пале-Руаяля. В этом подворье, затхлом, сдавленном со всех сторон высокими домами, жизнь и движение наблюдаются только днем, это — средоточие темных переходов, которые пересекаются здесь и соединяют квартал Центрального рынка с кварталом Сен-Мартен через знаменитую улицу Кенкампуа; в этих закоулках всегда сыро, люди здесь наживают ревматизм; ночью во всем Париже нет места более пустынного, чем эти, сказали бы мы, торговые катакомбы. В Батавском подворье немало мелких мастерских, этих промышленных клоак,

очень мало батавов и много бакалейщиков. Окна этого дворца торговли выходят во двор, а потому квартирная плата здесь очень низка. Г-н Молине жил в глубине двора; он поселился на седьмом этаже из гигиенических соображений: ведь воздух чист лишь на высоте семидесяти футов над землей. Отсюда этот достойный домовладелец наслаждался чудесным видом Монмартрских мельниц, прогуливаясь по балкону вдоль желобов, где он разводил цветы, невзирая на запрещение парижской полиции устраивать висячие сады в современном Вавилоне. Квартира его состояла из четырех комнат, не считая расположенных над ней дорогих его сердцу «туалетных помещений»: у него хранился от них ключ, они ему принадлежали, он их сам отстроил, все правила были соблюдены. Уже при входе в квартиру неприличная пустота комнат сразу изобличала скупость этого человека: в передней шесть соломенных стульев, печь, облицованная фаянсом, на стенах, оклеенных обоями бутылочного цвета, четыре гравюры, купленные на аукционе; в столовой два буфета, две клетки, полные птиц, стол, накрытый клеенкой, стулья красного дерева, набитые волосом, барометр; застекленная дверь вела к висячим садам; в гостиной дешевенькие занавески потертого зеленого шелка, мебель, выкрашенная в белый цвет и обитая зеленым утрехтским бархатом. В спальне старого холостяка стояла мебель времен Людовика XV, от долгого употребления потерявшая всякий вид и настолько засаленная, что женщина в белом платье не решилась бы сесть, боясь запачкаться. Камин украшали часы с двумя колонками, между ними помещался циферблат, который служил пьедесталом для изображения богини Паллады, потрясающей копьем,— дань мифологии. На полу повсюду стояли миски с объедками для котов, так что некуда было ступить. Над комодом розового дерева висел портрет, сделанный пастелью,— Молине в молодости. На столах валялись книги и какие-то отвратительные зеленые папки; на этажерке красовались чучела чижиков; убранство комнаты довершала кровать, холодная, как ложе кармелитки.

Цезарь Бирото был очарован изысканной вежливостью Молине, который, закутавшись в халат из серого молетона, кипятил молоко на небольшой железной жа-

ровне и осторожно переливал кофейную гущу из маленького глиняного горшочка в кофейник. Оберегая покой домовладельца, торговец зонтиками сам открыл дверь Бирото. Молине преклонялся перед мэрами и их помощниками и называл их «наши муниципальные власти». При виде начальства он встал и остался стоять с фуражкой в руке, пока великий Бирото не сел в кресло.

— Нет, сударь... Да, сударь... Ах! Сударь, если бы я знал, что удостоюсь чести лицезреть среди своих пенатов члена муниципалитета города Парижа, поверьте мне, я почел бы за долг самому явиться к вам, хотя я ваш домовладелец или вот-вот им стану...

Бирото жестом попросил старика надеть фуражку.

— Нет, нет, я не покрою головы, пока вы не присядете и сами не наденете шляпы; вы еще простудитесь — в комнате холодновато, скудные доходы не позволяют мне... Будьте здоровы, господин помощник мэра.

Бирото чихнул, доставая приготовленные акты. Он вручил их Молине и, во избежание проволочек, добавил, что нотариус Роген все составил по форме и за его, Бирото, счет.

— Не смею оспаривать осведомленность господина Рогена, имя его издавна пользуется заслуженной известностью среди нотариусов Парижа; но у меня свои привычки, я веду свои дела сам, пристрастие до некоторой степени простительное, и мой нотариус...

— Но наше дело такое простое,— возразил парфюмер, привыкший к быстрым решениям коммерсантов.

— Простое! — воскликнул Молине.— Ничего не бывает просто в делах по найму. Ах, сударь, ваше счастье, что вы не домовладелец! Ежели б вы знали, до чего неблагодарный народ квартиронаниматели и как надо быть с ними начеку! Возьмем такой случай, сударь,— есть у меня жилец...

С четверть часа Молине рассказывал, как г-н Жандрен, рисовальщик, обманывал привратника на улице Сент-Оноре. Г-н Жандрен позволял себе выходки, достойные какого-нибудь Марата, да еще рисовал картинки, оскорбляющие общественное целомудрие,— полиция закрывала на все глаза, потакала ему! Этот Жандрен, человек глубоко безнравственный, приходил домой с

женщинами легкого поведения, так что другим жильцам по лестнице и пройти нельзя было: забава, вполне достойная художника, рисующего противоправительственные карикатуры. А почему он пошел на все эти гадости? Да потому, что его попросили вносить квартирную плату ежемесячно пятнадцатого числа. Дело едва не дошло до суда, так как художник ни гроша не платил и сидел в своей пустой квартире. Молине получал анонимные письма, в них не кто иной, как Жандрен, угрожал убить его ночью в закоулках Батавского подворья.

— Да, сударь,— продолжал Молине,— кончилось тем, что мне пришлось обратиться к господину префекту полиции (я воспользовался случаем и сказал ему несколько слов о необходимости изменения законов в этой области), и он разрешил мне носить пистолеты для ограждения моей личной безопасности.

Старикашка встал, чтобы взять пистолеты.

— Вот они, сударь! — воскликнул он.

— Но, сударь, вы можете не опасаться подобных выходок с моей стороны,— сказал, улыбнувшись, Бирото, и во взгляде, брошенном им на Кейрона, явственно читалась презрительная жалость к Молине.

Старик перехватил этот взгляд и был глубоко оскорблен таким отношением со стороны представителя муниципалитета, который обязан защищать своих подопечных. Кому-нибудь другому он бы еще простил, но не Бирото.

— Сударь,— продолжал он сухим тоном,— один из наиболее уважаемых членов коммерческого суда, помощник мэра, именитый купец не интересуется, конечно, подобными мелочами, ибо это мелочи! Но в данном случае необходимо получить согласие вашего домовладельца графа де Гранвиля на пролом стены, необходимо договориться об условиях восстановления стены по окончании срока найма; наконец, сейчас квартирная плата крайне низка, но она возрастет, квартиры на Вандомской площади вздорожают, они уже сейчас дорожают! Проложат улицу Кастильоне! Я себя связываю... связываю...

— Давайте кончать,— промолвил озадаченный Бирото,— сколько вы просите? Я сам деловой человек и

понимаю, что все доводы бледнеют перед высшим доводом — деньгами! Итак, сколько вы просите?

— Справедливую цену, господин помощник мэра. На сколько лет снимаете вы квартиру?

— На семь лет,— ответил Бирото.

— Воображаю, сколько через семь лет будет стоить мой второй этаж! — воскликнул Молине.— Какую цену мне предложат за две меблированные комнаты в таком квартале? Пожалуй, не пожалеют и двухсот франков в месяц, а то и больше. А договором я себя связываю, связываю по рукам и ногам. Ну, пусть будет полторы тысячи франков в год. За эту цену я согласен выделить две комнаты из квартиры господина Кейрона,— сказал он, бросая косой взгляд в сторону торговца,— я подписываю с вами договор на семь лет. Пролом стены идет за ваш счет, если граф де Гранвиль даст свое согласие и откажется от всяких претензий. Вы несете ответственность за последствия этого пролома, я принимаю на себя обязательство восстановить стену, но в виде возмещения вы уплатите мне пятьсот франков: мы все под богом ходим, я не желаю никому кланяться и просить, чтобы мне восстановили стену.

— Условия эти для меня, пожалуй, более или менее приемлемы,— согласился Бирото.

— Теперь дальше,— продолжал Молине,— вы мне отсчитаете hic et nuns [1] семьсот пятьдесят франков, зачисляемых в уплату за последние полгода, в чем я выдам вам расписку. Э, дабы не потерять гарантий, я согласен принять векселя на небольшие суммы, так называемые квартиронанимательские векселя на какой угодно срок. В делах я сговорчив, тянуть нам не к чему. Итак, по рукам, да еще обусловим, что вы заделаете дверь на мою лестницу и отказываетесь от всяких прав на нее... и на свои средства... закладываете ее кирпичом. Будьте спокойны, я не потребую возмещения расходов по разборке кирпича после истечения срока договора; я включаю их в те же пятьсот франков. Вы увидите, сударь, как я справедлив.

— Мы, коммерсанты, не столь мелочны,— заметил парфюмер,— с такими формальностями дела не сладишь.

---

[1] На месте, тотчас же (*лат*).

— Ах, торговля — статья особая, а тем паче парфюмерия, там все идет как по маслу,— с кислой улыбкой проговорил Молине.— Но в квартирных делах, сударь, в Париже ничего нельзя упускать. К примеру, есть у меня жилец на улице Монторгей...

— Сударь,— перебил его Бирото,— мне очень неприятно, что я мешаю вам завтракать; оставляю вам договор, просмотрите его, я согласен на все ваши требования; подпишем его завтра, а сегодня договоримся окончательно на словах; утром архитектор должен приступить к работе.

— Сударь,— продолжал Молине, поглядывая на торговца зонтиками,— у господина Кейрона истек срок платежа, а он не собирается платить, мы присоединим его обязательства к остальным векселям, и расчеты поведем с января по январь. Так будет удобнее.

— Будь по-вашему,— согласился Бирото.

— Швейцару за услуги, как водится...

— За что же? — возмутился Бирото.— Ведь вы лишаете меня права пользоваться лестницей и парадным... Это несправедливо.

— Но ведь вы квартиронаниматель,— решительно заявил маленький Молине, усевшийся на своего конька,— вы платите налоги на двери и окна, так несите и долю расходов по дому. Когда обо всем договоришься, сударь, все идет гладко. Вы расширяете свою квартиру, значит, дела у вас идут хорошо?

— Неплохо,— подтвердил Бирото.— Но квартиру я расширяю по другой причине. Я приглашаю друзей, чтобы отпраздновать освобождение Франции и отметить награждение меня орденом Почетного легиона.

— А! — воскликнул Молине.— Заслуженная награда!

— Да,— заметил Бирото,— быть может, я заслужил эту награду и монаршую милость, ведь я был членом коммерческого суда, я сражался за Бурбонов тринадцатого вандемьера на ступенях церкви святого Роха, там я был ранен Наполеоном; эти заслуги...

— Стоят подвигов славных солдат нашей армии. Орденская ленточка — красная, ибо она обагрена кровью.

Фраза эта, взятая из газеты «Конститюсьонель», польстила Бирото, и он пригласил Молине на бал. Ста-

рик рассыпался в изъявлениях благодарности и почти готов был простить парфюмеру его презрение. Он проводил своего нового квартиранта до лестницы, наговорив ему немало любезностей. Уже во дворе Бирото насмешливо взглянул на Кейрона.

— Я и не подозревал,— сказал он,— что существуют такие жалкие люди! — с языка у него чуть не сорвалось слово «глупые».

— Ах, сударь,— проговорил Кейрон,— не всем же обладать вашими талантами.

Бирото мог легко поверить в собственное превосходство, особенно после встречи с Молине; замечание торговца зонтиками вызвало у него довольную улыбку, и он величественно распрощался с Кейроном.

«Вот и рынок,— подумал Бирото,— займемся орешками».

Побродив бесплодно с час по рынку, Бирото, по совету торговок, отправился на Ломбардскую улицу, где продаются орехи для кондитерских изделий; там от своих друзей Матифа он узнал, что оптовую торговлю орехами ведет некая Анжелика Маду, проживающая на улице Перрен-Гасслен, и что только у нее можно найти настоящие лесные орехи и сочные белые орешки Альпийских гор.

Улица Перрен-Гасслен представляет собой разветвление лабиринта, который расположен в четырехугольнике, образуемом набережной и улицами Сен-Дени, Ферронри и Монне, и является как бы чревом Парижа. Сюда стекаются самые разнообразные товары, все свалено в кучу — вонючие селедки и изящный муслин, шелк и мед, масло и тюль; тут полным-полно маленьких лавчонок, о которых и не подозревает Париж, как не подозревает большинство людей о работе поджелудочной железы. Пиявкой, высасывающей все соки из этих торговых заведений, был некто Бидо по прозванию Жигонне, дисконтер с улицы Гренета. Бывшие конюшни заставлены здесь бочками с маслом, каретные сараи доверху набиты кипами бумажных чулок. Здесь находятся оптовые склады всякой снеди, продаваемой в розницу на Центральном рынке. Анжелика Маду, в прошлом торговка рыбой, лет десять назад занялась торговлей «сухими плодами»; она вступила тогда в связь с одним про-

давцом орехов, чем долго занимала сплетниц Центрального рынка; некогда она была статной, видной женщиной, но с годами чрезмерно располнела. Жила она в первом этаже желтого полуразвалившегося дома, который подпирали железные крестовины. Покойный сожитель ее умудрился отделаться от всех конкурентов и превратил свою торговлю в монополию; невзирая на кое-какие погрешности в образовании, у преемницы его хватило умения продолжать уже налаженное дело; она расхаживала по своим складам, занимавшим каретные сараи, конюшни и бывшие мастерские, успешно воюя там с насекомыми. У нее не было ни конторы, ни кассы, ни счетных книг, ибо она не умела ни читать, ни писать; на письма, которые она принимала как личное оскорбление, тетка Маду отвечала ударом кулака. Впрочем, это была славная краснощекая женщина; поверх чепца она надевала платок, а своим трубным голосом завоевала уважение ломовых извозчиков, привозивших ей товар; перебранки с ними она заливала белым винцом. Она не знала никаких недоразумений с крестьянами, продававшими ей орехи за наличный расчет,— то был единственный способ столковаться с ними, а летом тетка Маду отправлялась к ним погостить. Бирото нашел эту первобытную торговку среди мешков с лесными и грецкими орехами и каштанами.

— Добрый день, мамаша,— небрежно сказал Бирото.

— «Мамаша»! — возмутилась она.— Ишь ты, какой ласковый! Что мы с тобой, детей вместе крестили?

— Я парфюмер, больше того, я помощник мэра второго округа города Парижа. Как представитель власти и покупатель я требую вежливого обращения.

— Венчаюсь я и без вашей помощи,— заявила бой-баба,— в ратуше ничего не покупаю, помощникам мэра ничем не надоедаю. Покупатели мне кланяются, и разговариваю я с ними, как мне угодно. А кому не нравится — скатертью дорога!

— Вот плоды монополии! — проворчал Бирото.

— Пополь? Мой крестник! Неужто он набедокурил? Вы поэтому и пожаловали, милостивый государь? — сказала торговка уже чуть-чуть ласковее.

— Нет, я уже имел честь вам доложить, что пришел как покупатель.

— Ладно, как звать тебя, любезный? Я тебя вижу вроде как впервые.

— Видно, дешево вы продаете орехи, если так разговариваете с покупателями,— заметил Бирото и назвал свою фамилию и звание.

— Ага, так это вы знаменитый Бирото, у которого жена красавица. Сколько же вам надо сахарных орешков, дорогой мой?

— Шесть тысяч фунтов.

— Да это все мои запасы,— сказала торговка, хрипя, как осипшая флейта.— Вы, красавец мой, видно, не ленитесь: и замуж девиц выдаете и духами их прыскаете. Ну, помогай вам бог! Без дела, знать, не сидите. Так-то! Уж таким покупателем, как вы, гордиться буду, и вы займете место в сердце женщины, которая мне всех дороже...

— Какой женщины?

— Добрейшей госпожи Маду.

— Сколько стоят ваши орехи?

— Только для вас, хозяин,— по двадцать пять франков за сто фунтов, если все забираете.

— По двадцать пять франков,— повторил Бирото,— это выйдет полторы тысячи франков! А мне потребуются, возможно, сотни тысяч фунтов в год.

— Вы только взгляните, что за товар. Отборные! — заговорила она, запуская красную руку в мешок с лесными орехами.— И ни одной гнилушки, сударь. Сами подумайте, бакалейщики продают сплошной мусор по двадцать четыре су за фунт и на четыре фунта подсунут фунт гнилушек. Не нести же мне убытки в угоду вам? Вы, конечно, красавец мужчина, но еще не вскружили мне настолько голову! Коли вам так много надо, сговоримся на двадцати франках; нельзя же отпускать помощника мэра с пустыми руками, этак еще беду на новобрачных накличешь. Вы только пощупайте, что за товар, какой полновесный! И пятидесяти на фунт не пойдет, сочные все, без единой червоточинки!

— Ладно, пришлите мне шесть тысяч фунтов. Плачу тысячу двести франков; деньги — через три месяца.

Улица Фобур-дю-Тампль, завтра утром, прямо ко мне на фабрику.

— Поспешу, как невеста к венцу. Всего хорошего, господин мэр, не поминайте лихом. А лучше уж,— прибавила она, провожая Бирото через двор,— выдали бы вы мне векселя сроком на сорок дней, я и так вам много уступила, зачем же мне терять еще на учете! Хоть у папаши Жигонне и доброе сердце, а высасывает он из нас всю кровь, словно паук.

— Так и быть, векселя на пятьдесят дней! Только уговор, взвешиваем не больше, чем по сто фунтов за раз, чтобы не попадались гнилушки. Иначе дело не пойдет.

— Ишь, собака, такого не проведешь,— проворчала Маду,— и против шерсти не погладишь! Видно, научили его прохвосты с Ломбардской улицы. Эти матерые волки сговорились пожирать нас, бедных овечек.

Овечка была пяти футов ростом, трех футов в обхвате и походила на тумбу, на которую натянули полосатое бумажное платье без пояса.

Парфюмер шел по улице Сент-Оноре, строя планы, измышляя способы борьбы с «Макассарским маслом», придумывая наклейки, форму флаконов и пробок, цвет объявлений. А еще говорят, что торговля лишена поэзии! Ньютон меньше думал над своим знаменитым биномом, чем Бирото над «Комагенной эссенцией»,— масло уже превратилось в эссенцию, он переходил от одного названия к другому, не понимая их смысла.

Различные проекты роились в его голове, и он принимал это переливание из пустого в порожнее за творческую деятельность. Поглощенный своими мыслями, он не заметил, как миновал улицу Бурдонне и вынужден был вернуться назад, вспомнив о дяде.

Клод-Жозеф Пильеро, торговавший раньше скобяными товарами в лавке «Золотой колокол», был цельной натурой: платье и нрав, ум и сердце, слова и мысли — все соответствовало в нем одно другому. Он был единственным родственником г-жи Бирото и всю свою привязанность сосредоточил на ней и Цезарине, после того как, будучи еще торговцем, потерял жену и сына, а затем и приемыша, сына кухарки. Жестокие утраты заставили старика обратиться к христианскому стоицизму, и превосходная эта доктрина озаряла ярким и хо-

лодным светом зимнего солнца закат его жизни. Его худое, строгое и темное лицо, в тонах которого гармонически сочетались охра и бистр, поразительно напоминало черты бога Времени,— как его изображают живописцы; но укоренившиеся привычки торговца несколько огрубили этот облик и смягчили монументальный, суровый характер божества, который подчеркивают художники, ваятели и ювелиры, украшая каминные часы. Среднего роста, коренастый и плотный, Пильеро был, казалось, создан для долгой трудовой жизни; его широкие плечи указывали на крепкое сложение; сдержанный и даже сухой внешне, он вовсе не был натурой холодной. Спокойные манеры и непроницаемое лицо свидетельствовали о замкнутости; Пильеро скрывал в глубине души чувствительность, чуждую всякой велеречивости и напыщенности. Его зеленые с черными крапинками глаза поражали неизменной ясностью выражения. Изборожденный морщинами, пожелтевший у висков, невысокий и сдавленный лоб обрамляли седые и коротко остриженные волосы, похожие на бобрик. Тонкий рот обличал человека расчетливого и благоразумного, но не скупого. Оживленный взор говорил о довольстве жизнью и завидном здоровье. Наконец, честность, чувство долга, истинная скромность придавали всему его облику уверенность. Шестьдесят лет вел он суровую и трезвую жизнь неутомимого труженика. Его история напоминала историю Цезаря, только Пильеро везло меньше. Прослужив до тридцати лет приказчиком, он вложил свои сбережения в торговлю в то самое время, когда Цезарь вложил свои деньги в ренту; он испытал на себе последствия «максимума», его лопаты, кирки и скобяные товары были реквизированы. Уравновешенный и спокойный характер, свойственная Пильеро предусмотрительность и математические способности помогли ему выработать собственную манеру работать. Большинство сделок он заключал на слово и редко раскаивался. Наблюдательный, как все вдумчивые люди, он изучал своих ближних, не мешая им говорить; нередко он отказывался от выгодных сделок, соблазнявших его соседей, которые потом раскаивались и уверяли, что Пильеро чует мошенников издалека. Он предпочитал скромный, верный заработок крупным, но рискованным спекуляциям.

Пильеро торговал каминными решетками, таганами, чугунными и железными котлами, мотыгами и другими земледельческими орудиями. Такой товар ворочать нелегко, он требует от продавцов довольно большого физического напряжения, а доходы мало соответствовали затраченным трудам; Пильеро зарабатывал гроши на этих громоздких изделиях, неудобных и для перевозки и для хранения на складе. Немало ящиков пришлось ему заколотить, немало товаров уложить и распаковать, немало принять и отправить подвод. Не нашлось бы, пожалуй, другого состояния, нажитого более достойным, более законным, более честным путем, чем состояние Пильеро. Никогда он не запрашивал цену, никогда не гонялся за покупателями. В последние годы он обычно сидел у порога лавки, покуривая трубку, поглядывая на прохожих и наблюдая за работой приказчиков. В 1814 году, когда Пильеро бросил торговлю, состояние его равнялось семидесяти тысячам франков, помещенным в государственные бумаги, что давало ему свыше пяти тысяч франков ежегодной ренты; сверх того в запасе у него оставались еще сорок тысяч, которые ему обязался выплатить безо всяких процентов приказчик, купивший у него лавку. Тридцать лет ежегодный оборот Пильеро составлял примерно сто тысяч франков, прибыль его составляла семь процентов от этой суммы, и половину своих доходов он проживал. Таков был его баланс. Соседи, не завидуя столь скромным доходам, хвалили Пильеро за благоразумие, но не понимали его.

На углу улицы Монне и улицы Сент-Оноре помещается кафе «Давид», сюда старые коммерсанты, вроде Пильеро, заходят вечерком выпить чашку кофе. Усыновление Пильеро сына своей кухарки нередко являлось там темой осторожных шуток, которые разрешают себе люди и по адресу почтенного человека, а хозяин скобяной лавки внушал окружающим большое уважение, хотя и не домогался его, сам себя уважая. Когда же приемный сын Пильеро умер, больше двухсот человек следовало за гробом бедного юноши, провожая его на кладбище. Старик держался мужественно. Сдержанная скорбь его, скорбь сильных людей, которые не любят выказывать свое горе, усилила симпатии обитателей квартала к этому «славному человеку», как его называли, причем слова

эти произносились каким-то особенным тоном, углублявшим и облагораживавшим их смысл. Привыкнув к умеренности и воздержанности, Клод Пильеро не поддался соблазнам праздного существования, которое обычно так разлагает парижских буржуа, удалившихся на покой, он не изменил привычного образа жизни и к старости увлекся политикой, причем держался взглядов «крайней левой». Пильеро принадлежал к тем трудовым слоям населения, которые в результате революции приобрели достаток и приобщились к буржуазии. Поставить в вину ему можно было только то, что он придавал слишком большое значение завоеваниям революции, он дорожил своими правами, свободой — этими плодами революции, он был уверен, что его благосостоянию и политическому спокойствию угрожают иезуиты, тайные козни которых разоблачали либералы, а также образ мыслей, приписываемый газетой «Конститюсьонель» брату короля. В своих убеждениях он был так же последователен, как и в жизни; его политические взгляды не страдали узостью, он никогда не оскорблял противников, побаивался придворных и верил в республиканские добродетели; Манюэля он представлял себе чуждым каких-либо крайностей, генерала Фуа считал великим человеком, Казимира Перье — отнюдь не честолюбцем, Лафайета — политическим пророком, Курье — превосходным человеком. Словом, он был склонен к благородным иллюзиям. Этот достойный старик охотно бывал в семейных домах, он навещал Рагонов, свою племянницу, судью Попино, Жозефа Леба, супругов Матифа. На свои нужды он тратил всего полторы тысячи франков в год. Остальные его деньги уходили на добрые дела и на подарки внучатной племяннице. Четыре раза в год он угощал друзей обедом у ресторатора Ролана на улице Азар и возил их в театр. Он вел себя, как те старые холостяки, которых замужние женщины преспокойно заставляют оплачивать свои прихоти, загородные прогулки, ложу в Опере, катание с гор Божон. Пильеро был счастлив, доставляя удовольствие другим, радовался чужой радостью. Продав лавку, он не захотел переменить квартал, к которому привык, и снял в старом доме на улице Бурдонне небольшую квартирку из трех комнат, помещавшуюся на пятом этаже. Подобно

тому как причуды Молине наложили отпечаток на странную обстановку его жилища, так простая и чистая жизнь Пильеро сказалась в убранстве его квартиры, состоявшей из передней, гостиной и спальни,— последняя была чуть побольше монашеской кельи и обставлена столь же скромно. В передней — красный натертый пол, окно, задернутое перкалевыми занавесками с красной каймой, стулья красного дерева, обитые красным сафьяном с золотыми гвоздиками; на стенах, оклеенных темно-зелеными обоями, висели картины: «Клятва американцев», «Сражение при Аустерлице» и портрет Бонапарта — первого консула. Обстановку гостиной, безусловно подобранную обойщиком, составляла желтая мебель с розетками, ковер, камин с бронзовой решеткой без позолоты, разрисованный экран, тумбочка с цветочной вазой под стеклянным колпаком и накрытый ковровой скатертью круглый стол, на котором стоял поднос с ликерным сервизом. Новенькая обстановка этой комнаты достаточно красноречиво говорила о жертве, принесенной светским обычаям стариком Пильеро, редко принимавшим у себя гостей. В спальне, простой, как жилье монаха или солдата, людей, хорошо знающих цену жизни, привлекало внимание висевшее над кроватью в алькове распятие с кропильницей. Такое открытое проявление веры у убежденного республиканца казалось трогательным. Хозяйство Пильеро вела старушка, но его уважение к женщинам простиралось так далеко, что он не позволял служанке чистить его башмаки и постоянно отдавал их чистильщику. Одевался Пильеро всегда просто и одинаково. Обычно он носил синий суконный сюртук и такие же панталоны, пестрый бумажный жилет, белый галстук, закрытые туфли; в праздничные дни надевал фрак с блестящими металлическими пуговицами. Он вставал, завтракал, выходил из дому, обедал, уходил снова по вечерам и возвращался домой всегда в определенный час, справедливо считая правильный образ жизни залогом здоровья и долголетия. Никогда Пильеро не затевал политических споров с Цезарем Бирото, Рагонами, аббатом Лоро,— люди этого кружка слишком хорошо знали друг друга и поэтому не рассчитывали обратить один другого в свою веру. Пильеро, подобно своему племяннику и Рагонам, вполне доверял Роге-

ну. Для него парижский нотариус представлялся человеком почтенным, воплощением честности. Пильеро решил принять участие в спекуляции земельными участками лишь после того, как внимательно рассмотрел этот вопрос, что и объясняло смелость Цезаря, боровшегося с предчувствиями жены.

Парфюмер одолел семьдесят восемь ступенек, которые вели к небольшой коричневой двери дядиной квартиры, и подумал, что старик, должно быть, еще достаточно бодр и крепок, если может, не жалуясь, ежедневно взбираться так высоко. Бирото заметил, что синий сюртук и панталоны вынуты из шкафа и старуха Вайян чистит их щеткой; Пильеро, истинный философ, в домашнем сюртуке из серого молетона завтракал у камина, читая отчет о парламентских прениях в газете «Конституционель», называвшейся в те годы «Журналь де коммерс».

— Дядя,— сказал Цезарь,— дело решено, договор составляется. Но если у вас есть какие-либо опасения или сомнения, еще не поздно отказаться.

— К чему отказываться? Сделка выгодная, вот только доходов придется долго ждать, но при верных делах всегда так бывает. У меня пятьдесят тысяч франков в банке, вчера я получил последние пять тысяч франков за лавку. Ну, а Рагоны вкладывают в это дело все свое состояние.

— Как же они будут жить?

— Не беспокойся, проживут помаленьку.

— Дядя, я понимаю,— проговорил растроганный Бирото, пожимая руку суровому старику.

— Как распределяются паи? — неожиданно спросил Пильеро.

— Моя доля будет равна трем восьмым, ваша и Рагонов — одной восьмой; запишу эту сумму в кредит вашего счета, у нас пока еще не составлены нотариальные акты.

— Прекрасно. Но ты, видно, очень богат, мой мальчик, если вкладываешь в это дело сразу триста тысяч франков? Боюсь, ты рискуешь слишком большой суммой, не пострадала бы от этого твоя торговля. Впрочем, тебе виднее. Если тебя постигнет неудача, то знай — рента поднялась до восьмидесяти, и я могу продать ценные бу-

маги, приносящие две тысячи франков дохода. Но будь осторожен, дружок: если тебе придется прибегнуть к моей помощи, ты тем самым уменьшишь состояние своей дочери.

— Дядя, как просто вы говорите о благороднейших поступках! Вы взволновали меня.

— Генерал Фуа только что взволновал меня совсем по-иному! Ну, ступай, кончай дело: ведь земельные участки не исчезнут, а они нам достанутся за полцены; если даже придется выждать лет шесть, и то мы получим кое-какую прибыль,— ну хотя бы доход с дровяных складов. Итак, нечего бояться потерь. Разве что Роген похитит наши капиталы, но ведь это невозможно...

— Как раз сегодня ночью мне об этом говорила жена, она боится...

— Что Роген украдет деньги? — спросил Пильеро, смеясь.— А почему она так думает?

— Она говорит, что он слишком страдает из-за своего уродства и, как все мужчины, которым недоступна женская любовь, питает страсть к...

Недоверчиво усмехнувшись, Пильеро вырвал из чековой книжки листок, написал на нем сумму и подписался.

— Вот чек на сто тысяч франков — за Рагона и за меня. Бедные люди продали этому проклятому проходимцу дю Тийе свои пятнадцать акций Ворчинских копей, чтобы собрать нужные деньги. Славные люди в затруднении, прямо сердце за них болит. И такие достойные, благородные люди, цвет старой буржуазии, право! Их родственник, судья Попино, ничего не знает, они от него все скрывают, чтобы не мешать ему заниматься благотворительностью. А ведь они трудились, как и я, целых тридцать лет...

— Дай бог, чтобы «Комагенное масло» победило,— воскликнул Бирото,— я буду счастлив вдвойне. Прощайте, дядя, приходите обедать в воскресенье с Рагонами, Рогеном и господином Клапароном. Договор подпишем послезавтра, ведь завтра — пятница, а в пятницу я не хочу начинать...

— Ты придаешь значение подобным суевериям?

— Дядя, я никогда не поверю, что день, когда сын божий был предан смерти людьми,— счастливый день.

Ведь бросают же все двадцать первого января свои дела.

— До воскресенья,— резко сказал Пильеро.

«Если б не его политические убеждения,— подумал Бирото, спускаясь по лестнице,— на всем свете не сыскать человека лучше дяди. И надо же было ему связаться с политикой! Что за чудесный был бы человек, забудь он думать о ней. Его упрямство только доказывает, что в мире нет совершенства».

— Уже три часа,— сказал Цезарь, возвратившись домой.

— Сударь, вы принимаете эти обязательства?—спросил Селестен, показывая ему векселя торговца зонтами.

— Да, из шести процентов, без комиссионных. Женушка, приготовь-ка мне одеться, я иду к господину Воклену, ты знаешь зачем. И обязательно — белый галстук.

Парфюмер отдал распоряжения своим приказчикам; Попино в лавке не было, и Цезарь догадался, что его будущий компаньон одевается; быстро поднявшись к себе в комнату, он увидел там дрезденскую Мадонну, вставленную, по его приказанию, в красивую раму.

— А что, картинка-то недурна,— сказал он дочери.

— Не говори так, папа, тебя засмеют, она прекрасна!

— Как это вам нравится, дочь отца учит!.. Ну, на мой вкус «Геро и Леандр» ничуть не хуже. Мадонна — сюжет религиозный, ей место в часовне, но «Геро и Леандр»... Ах, я куплю эту картину, ведь изображенный на ней флакон с маслом меня вдохновил...

— Папа, я тебя не понимаю.

— Виржини, позови фиакр! — громко крикнул Цезарь, кончив бриться; в это время в комнату вошел Попино, от смущения перед Цезариной прихрамывая еще больше, чем обычно.

Влюбленный не подозревал, что его недостаток уже не существовал для его избранницы. Чудесное доказательство любви, выпадающее на долю только тех, кого обделила природа.

— Сударь,— сказал юноша,— завтра пресс можно будет пустить в ход.

— Отлично! Но что с тобой, Попино? — спросил Цезарь, увидев, как покраснел Анселъм.

— Это, сударь, от радости Я нашел на улице Сенк-Диаман лавку вместе с конторой, кухней, комнатами наверху и складами — и за все просят только тысячу двести франков в год.

— Надо заключить контракт на восемнадцать лет. А теперь едем к господину Воклену, поговорим по дороге.

Цезарь и Попино сели в фиакр, провожаемые взглядами приказчиков, которые удивлялись их парадному виду и необычной поездке в экипаже и не подозревали о великих планах хозяина «Королевы роз».

— Ну, теперь мы все разузнаем об орешках,— пробормотал парфюмер.

— О каких орешках?

— Вот я и проговорился и выдал тебе свою тайну,— сказал парфюмер,— именно *в орешках* все дело. Только ореховое масло оказывает благотворное воздействие на волосы, и никто из парфюмеров до этого еще не додумался. Взглянув на гравюру «Геро и Леандр», я подумал: «Нет, древние неспроста выливали столько масла на голову, они знали, что делают, на то они и древние!» И что бы ни говорили наши умники, я разделяю взгляды Буало на древних. Это и навело меня на мысль об ореховом масле, а тут еще твой родич Бьяншон, лекарский ученик, рассказал мне, что в Медицинской школе его товарищи употребляют ореховое масло, чтобы быстрее росли усы и бакенбарды. Нам недостает только одобрения знаменитого Воклена. Он даст нам необходимые указания, и мы не обманем публику. Я только что с рынка, договорился с торговкой орехами о доставке сырья; через какую-нибудь минуту я буду у величайшего ученого Франции и узнаю у него, как извлекать из орешков квинтэссенцию. Пословица права — крайности сходятся. Видишь, сынок, торговля служит посредницей между природой и наукой. Анжелика Маду скупает орехи, господин Воклен извлекает эссенцию, мы ее продаем. Орехи стоят пять су за фунт, господин Воклен во сто раз повысит их ценность, и мы, быть может, окажем услугу всему человечеству, ибо если тщеславное желание нравиться причиняет человеку большие страдания, то хорошее косметическое средство в таком случае для него благодеяние.

Благоговейное почтение, с каким Попино слушал отца Цезарины, возбуждало красноречие Бирото, и он изрекал самые нелепые сентенции, какие только могут зародиться в голове буржуа.

— Будь почтителен, Ансельм,— сказал парфюмер, когда экипаж свернул на улицу, где жил Воклен,— сейчас мы вступим в святая святых науки. Поставь «Мадонну» в столовой на стуле, где-нибудь на видном месте, но так, чтоб она не слишком бросалась в глаза. Только бы мне не запутаться и не наговорить лишнего! — чистосердечно признался Бирото.— Попино, этот человек оказывает на меня химическое воздействие, его голос вгоняет меня в жар и даже вызывает колики. Он мне столько добра сделал, а в скором времени станет и твоим благодетелем.

От этих слов у Попино мороз пробежал по коже, он двигался так осторожно, словно шел по битому стеклу, с тревогой поглядывая по сторонам. Г-н Воклен был в своем кабинете, когда ему доложили о приходе Бирото. Академик знал, что парфюмер — помощник мэра и пользуется благосклонностью властей; он принял его.

— Вы все же не забываете меня в своем величии? — сказал ученый.— Правда, от химика до парфюмера один шаг.

— Увы, сударь, вы — гений, а я простой человек, невежда. Нас разделяет пропасть. Вам я обязан тем, что вы зовете моим «величием», и я не забуду вас никогда, ни на этом, ни на том свете.

— Ах, на том свете все мы, говорят, будем равны — и короли и сапожники.

— Вы, конечно, имеете в виду королей и сапожников-праведников,— изрек Бирото.

— Это ваш сын? — спросил Воклен, поглядывая на маленького Попино, совершенно сбитого с толку тем, что в кабинете ученого не оказалось ничего необычайного; он ожидал, что увидит здесь какие-нибудь страшилища, гигантские машины, летающие металлы, оживленную материю.

— Нет, сударь, этот юноша мне не сын, но я его очень люблю, он пришел к вам, уповая на вашу доброту, равную вашему таланту, а потому — безграничную! — сказал Цезарь с многозначительным видом.— Прошло ше-

стнадцать лет, и я вновь обращаюсь к вам за советом по исключительно важному для нас вопросу, в котором я, простой парфюмер, ничего не понимаю.

— Говорите, посмотрим.

— Я слышал, вы заняты сейчас изучением строения волос! Вы трудитесь ради славы, меня интересует доход.

— Дорогой господин Бирото, что именно вы хотите узнать? Состав волос?

Воклен взял листок бумаги.

— Я собираюсь вскоре сделать в Академии наук доклад на эту тему. В волосах содержится значительное количество слизистой материи, немного белых и много зеленовато-черных маслянистых веществ, железо, несколько крупинок окиси марганца, известковые фосфаты, очень небольшое количество углекислой извести, кремнезем и значительное количество серы. От различных пропорций этих веществ зависит цвет волос. Так, у рыжих значительно больше зеленовато-черного масла, чем у других.

Цезарь и Попино вытаращили от удивления глаза.

— Девять веществ! — воскликнул Бирото.— Как! В каждом волоске содержатся металлы и масло? Скажи мне это кто другой, а не вы, человек, перед которым я преклоняюсь, я не поверил бы. Как это необычайно! Велика премудрость божья, господин Воклен.

— Волосы,— продолжал великий химик,— продукт фолликулярного органа, который имеет форму мешочка, открытого с обоих концов: одним концом он связан с нервами и сосудами, из другого выходит волос. Некоторые из моих коллег, и среди них господин де Бланвиль, полагают, что волос — омертвевшая ткань, выделенная этим мешочком или кармашком, заполненным мягким веществом.

— Это как бы сгустившийся пот в трубочках,— воскликнул Попино, которого парфюмер легонько толкнул ногой.

Воклен улыбнулся словам Попино.

— Способный малый, не правда ли? — заметил тогда Цезарь, посмотрев на Попино.— Но, господин Воклен, если волосы — омертвевшая ткань, значит, их невозможно оживить, тогда для нас все кончено! Объявление по-

лучится нелепое; вы не представляете себе, до чего публика капризна, нельзя же ей сказать...

— Что у нее мусорная свалка на голове,— вставил Попино, желая еще раз потешить Воклена.

— Скорее воздушные катакомбы,— ответил химик, поддерживая шутливый тон беседы.

— А я-то обрадовался, купил орехи! — воскликнул удрученный убытками Бирото.— Но зачем же тогда продают разные...

— Успокойтесь,— сказал, улыбаясь, Воклен,— как я понимаю, речь идет о каком-нибудь составе, предохраняющем волосы от выпадения или от седины. Так вот, работая над волосами, я пришел к следующему выводу.

Попино весь обратился в слух, словно вспугнутый заяц.

— Обесцвечивание волос — этой то ли омертвевшей, то ли живой материи, связано, как я полагаю, с прекращением выделения красящих веществ; этим же явлением объясняется то, что в странах с холодным климатом мех пушных зверей зимой обесцвечивается и становится белым.

— Вот оно что! Слышишь, Попино?

— Очевидно,— продолжал Воклен,— изменение цвета волос зависит от резких изменений окружающей температуры.

— Окружающей температуры, Попино. Запомни, запомни! — воскликнул Цезарь.

— Да,— сказал Воклен,— от смены тепла и холода или от внутренних процессов, которые вызывают те же результаты. Итак, вполне возможно, что мигрени и головные боли поглощают, рассеивают или перемещают питательные соки. Устранить внутреннюю причину — дело врачей. Ну, а способствовать внешнему укреплению волос должны ваши косметические средства.

— Ах, господин Воклен,— с облегчением проговорил Бирото,— вы меня возвращаете к жизни. Я собирался продавать ореховое масло, памятуя о том, что древние употребляли масло для волос, а они знали, что делают, на то они и древние, я согласен с Буало. Вот почему и атлеты умащали себе тело!

— Оливковое масло ничем не хуже орехового! — сказал Воклен, едва слушая Бирото.— Любое масло бу-

дет прекрасно предохранять луковицу от вредного воздействия на содержащиеся в ней вещества, я сказал бы, содержащиеся в растворе, если бы мы рассматривали химический процесс. Быть может, вы и правы: ореховое масло, как мне говорил об этом Дюпюитрен, способствует росту волос. Я займусь изучением свойств и особенностей различных масел: букового, сурепного, оливкового, орехового и других.

— Выходит, я не ошибся,— торжествующе произнес Бирото,— мое мнение совпало с мнением великого человека. «Макассару» — крышка! «Макассар» — это косметическое средство для ращения волос, пущенное в продажу по дорогой, очень дорогой цене, господин Воклен.

— Милейший господин Бирото,— заметил Воклен,— из Макассара в Европу не доставлено и двух унций масла. Макассарское масло вовсе не способствует росту волос, но малайские женщины ценят его на вес золота, ибо оно сохраняет волосы; они и не подозревают, что в этом отношении китовый жир столь же полезен. Никакие силы, ни химические, ни божественные...

— О! Божественные... не говорите так, господин Воклен.

— Но, мой дорогой, основной закон бога — не вступать в противоречие с самим собой: без единства нет власти...

— Ах, это другое дело...

— Никакие силы не восстановят лысому волосы, как нельзя без риска и перекрашивать рыжие или седые волосы, но, расхваливая пользу масла, вы никого не введете в заблуждение, никого не обманете, и я полагаю, что те, кто будет его употреблять, сохранят волосы.

— Значит, вы полагаете, что королевская Академия наук удостоит его одобрения?..

— Ах, здесь нет и намека на открытие,— возразил Воклен.— А потом шарлатаны столько злоупотребляли именем Академии, что ее одобрение мало что даст. По совести говоря, я не могу рассматривать ореховое масло как какое-нибудь чудо!

— Скажите, как лучше всего извлекать его — вывариванием или давлением? — спросил Бирото.

— Прессуя орехи между горячими плитами, вы полу-

чите больше масла, но оно будет менее высокого качества, чем при выжимании на холоде. Втирать масло следует в самую кожу, смазывать волосы недостаточно: оно не окажет тогда никакого действия,— добродушно сказал Воклен.

— Запомни же все, Попино,— воскликнул Бирото, лицо которого пылало от восторга.— Господин Воклен, для этого молодого человека сегодняшний день будет счастливейшим днем его жизни. Он вас знал, он почитал вас, еще не видя. Ах! У нас в доме часто вспоминают вас: имя, которое носишь в сердце, не сходит с уст. Жена, дочь и я сам — мы каждый день молим бога за вас, нашего благодетеля.

— Это слишком! Ведь я сделал такие пустяки,— заметил Воклен, смущенный многословной благодарностью парфюмера.

— Вот еще! — выпалил Бирото.— Вы не можете нам запретить любить вас, хотя и отказываетесь принять от меня какой-либо подарок. Вы, как солнце, дарите нам свет, но люди, озаряемые вами, не в состоянии вас отблагодарить.

Ученый улыбнулся и встал, парфюмер и Попино поднялись в свою очередь.

— Посмотри, Ансельм, вокруг. Запомни хорошенько этот кабинет. Вы разрешите, сударь? Ваше время столь драгоценно, он, быть может, никогда больше не попадет к вам.

— А как идут ваши дела? — спросил Воклен.— Ведь мы с вами, собственно, оба работаем на благо торговли...

— Благодарю вас, неплохо,— отвечал Бирото, направляясь в столовую, куда за ним прошел и Воклен.— Но чтобы пустить в продажу это масло (я думаю назвать его «Комагенной эссенцией»), необходимы значительные средства...

— Эссенция, да еще комагенная,— слишком уж кричащее название. Назовите лучше Масло Бирото!! Если же вы не хотите выставлять напоказ свое имя, возьмите другое... Но что я вижу... Рафаэлева мадонна... Ах, господин Бирото, видно, хотите поссориться со мной.

— Господин Воклен, —сказал парфюмер, пожимая руки химику,— ценность этого подарка лишь в упорстве, с каким я его искал; понадобилось перерыть всю Герма-

нию, прежде чем нашли эту гравюру, отпечатанную на китайской бумаге, без надписи. Я знал, что вам хотелось ее иметь, но у вас не было времени ее разыскивать, я был только вашим коммивояжером. Примите же от меня эту ничего не стоящую гравюру, как свидетельство моей глубокой преданности, выразившейся в хлопотах, старании и заботах. Мне хотелось бы, чтобы вы пожелали чего-нибудь, что надо было бы добыть со дна морского, и я мог бы предстать перед вами со словами: «Вот оно!» Не отказывайте мне. Нас так легко забыть, позвольте же всем нам: мне, жене, дочери и будущему зятю — напоминать вам о себе этой гравюрой. Глядя на «Мадонну», вы скажете: «Есть на свете простые люди, которые думают обо мне».

— Хорошо. Я принимаю подарок,— сказал Воклен.

Попино и Бирото вытерли слезы, так взволновала их доброта академика, прозвучавшая в этих словах.

— Будьте же до конца великодушны,— сказал парфюмер.

— Чем могу служить? — спросил Воклен.

— Я приглашаю друзей...

Он приподнялся на носках, сохраняя тем не менее смиренный вид.

— ...чтобы отпраздновать освобождение Франции и отметить награждение меня орденом Почетного легиона.

— Вот как! — сказал удивленный Воклен.

— Быть может, я заслужил эту награду и монаршую милость; ведь я был членом коммерческого суда, я сражался за Бурбонов тринадцатого вандемьера на ступенях церкви святого Роха, был ранен Наполеоном. Через три недели. в воскресенье, жена дает бал. Посетите же нас, сударь. Окажите честь отобедать с нами в этот день. Для меня это значило бы дважды удостоиться ордена. Я заранее вас извещу.

— Согласен, приду,— сказал Воклен.

— Сердце мое переполнено радостью,— воскликнул парфюмер на улице.— Он приедет ко мне. Только не забыть бы того, что он говорил о волосах. Ты запомнил, Попино?

— Конечно, сударь. Да я и через двадцать лет этого не забуду.

— Великий человек! Какой полет мысли, какая про-

ницательность! Как он с полуслова понял наши планы и дал совет, как победить «Макассарское масло». Ага! лжешь, «Макассар»! Ничто не может способствовать росту волос! Попино, богатство плывет нам прямо в руки. Итак, завтра в семь часов будь на фабрике; нам доставят орехи, и мы примемся за выделку масла. Легко Воклену говорить, что всякое масло полезно, но узнай это публика, и все пропало. Если не добавить к нашему средству чуточку орехового масла и духов, так мы не сможем и продавать его по три-четыре франка за четыре унции.

— Вам пожаловали орден, сударь? — спросил Попино.— Какая честь для...

— Для купечества, не правда ли, дружок?

Торжествующий вид Цезаря Бирото, уверенного в удаче, привлек внимание приказчиков, и они многозначительно переглядывались между собой: поездка в фиакре, парадные костюмы кассира и хозяина вызвали у них самые фантастические предположения. Взгляды Цезаря и Ансельма, выражавшие их взаимное удовлетворение, полный надежды взор, два раза брошенный Попино на Цезарину, возвещали нечто необыкновенное и подтверждали догадки приказчиков. Работая с утра до ночи почти в монастырской обстановке, они интересовались и самыми незначительными событиями, как узник интересуется мелкими тюремными происшествиями. Поведение г-жи Бирото, недоверчиво встречавшей победоносные взгляды мужа, наводило на мысль о том, что затевается какое-то новое дело. Унылый вид хозяйки был тем заметнее, что бойкая торговля в лавке обычно доставляла ей удовольствие. А в этот день выручка составляла шесть тысяч франков, ибо кое-кто из должников погасил просроченные счета.

Столовая и кухня с окном во дворик были разделены коридором. В коридор выходила лестница, соединявшая помещение за лавкой с антресолями, где прежде жили Цезарь и Констанс; в этой столовой, напоминавшей маленькую гостиную, они провели медовый месяц. Во время обеда в лавке оставался только рассыльный Раге, но перед десертом приказчики спускались в лавку, а Цезарь с женой и дочерью оставались одни и заканчивали обед, сидя у камелька. Обычай этот Бирото пе-

реняли у Рагонов, которые свято блюли старинные купеческие обычаи и привычки и сохраняли между собой и приказчиками то огромное расстояние, которое некогда существовало между мастерами и подмастерьями. Цезарина или Констанс приготовляли парфюмеру чашку кофе, которую он выпивал, сидя у камина в кресле. И тогда Цезарь рассказывал жене о всех событиях дня, обо всем, что видел и слышал в городе; о том, что делается в предместье Тампль, какие затруднения приходится преодолевать на фабрике.

— Жена,— сказал он Констанс, когда приказчики спустились в лавку,— знай, сегодня великий день нашей жизни! Орехи закуплены, гидравлический пресс завтра будет пущен в ход, сделка на земельные участки заключена. Вот спрячь это,— сказал он, передавая ей банковский чек Пильеро.— Я договорился о переделке помещения, мы расширим нашу квартиру. Господи, ну и забавного же чудака видал я сегодня в Батавском подворье!

И он описал г-на Молине.

— Я вижу одно,— прервала его излияния жена,— ты задолжал двести тысяч франков!

— Не спорю, кошечка,— подтвердил парфюмер с напускным смирением.— И как только мы выкрутимся из долгов — боже милостивый? Ведь ты, конечно, ни во что не ставишь участки в районе церкви Мадлен, где со временем будет лучший квартал в Париже.

— Со временем, Цезарь.

— Увы,— продолжал он шутку,— мои три восьмых пая через шесть лет будут стоить всего только миллион. Где взять деньги, чтоб уплатить двести тысяч франков? —И Цезарь в притворном ужасе всплеснул руками.— А все-таки мы выпутаемся, и вот кто заплатит,— сказал он, вытаскивая из кармана заботливо припрятанный орех, взятый у тетки Маду. Держа орешек двумя пальцами, он показал его Цезарине и Констанс.

Госпожа Бирото промолчала, но Цезарина удивленно спросила подавая кофе:

— Ты ведь шутишь, папа?

Парфюмер, как и приказчики, заметил за обедом взгляды, которые Попино бросал на Цезарину, и ему захотелось проверить свои подозрения.

— Ну, дочка, орешек этот вызовет переворот у нас в доме. Сегодня вечером один человек покинет наш кров.

Цезарина взглянула на отца, словно хотела сказать: «А мне-то что за дело!»

— От нас уходит Попино.

Хотя Цезарь не был наблюдательным человеком и приготовил последнюю фразу не только для того, чтобы расставить дочери сети, но и начать разговор об учреждении торгового дома «А. Попино и К°», отцовская любовь помогла ему разгадать смутные чувства дочери, вспыхнувшие в ее сердце, алыми розами окрасившие ей щеки, загоревшиеся в глазах, которые она потупила. Цезарь подумал даже, что между Цезариной и Попино уже произошло объяснение. Но он ошибся: эти дети, как все робкие влюбленные, понимали друг друга без слов.

Некоторые моралисты думают, что любовь — самое непроизвольное, самое бескорыстное, самое нерасчетливое из всех человеческих чувств, за исключением, конечно, чувства материнской любви. Это — глубоко ошибочное мнение. Пусть большинство людей не подозревает истинных причин любви, но всякое физическое или духовное тяготение друг к другу в основе своей зиждется на расчетах рассудка, чувства или чувственности. Любовь — страсть прежде всего эгоистическая. А эгоизм — это прежде всего расчет. Итак, людям, не знакомым с глубоким анализом чувств, может показаться странным и неправдоподобным, что такая красивая девушка, как Цезарина, влюбилась в бедного юношу, хромого и рыжеволосого. Однако подобное явление отнюдь не противоречит арифметике буржуазных чувств. Объяснить это — значит понять обычно поражающие нас браки между статными и красивыми женщинами и невзрачными мужчинами, между тщедушными дурнушками и представительными мужчинами. Каждый, кто страдает каким-нибудь физическим недостатком, будь то косолапость, хромота, горб, крайнее безобразие, красные пятна на щеках, бородавки, недуг Рогена или любое другое уродство, не зависящее от воли родителей, вынужден стать либо человеком опасным, либо воплощением доброты; ему не дано права держаться золотой середины, удела большинства людей. В первом случае ему помогает талант, ге-

ний или сила. Человек, творящий зло, заставляет трепетать перед собой, гений заставляет уважать себя, острослов — бояться. Во втором случае он должен суметь внушить любовь к себе, он мирится с женской тиранией, он искуснее в любви, чем люди безупречного сложения.

Воспитанный почтенными буржуа, столь добродетельными людьми, как Рагоны, и своим дядей судьей Попино, Ансельм отличался превосходным характером и поведением, искупая свой незначительный физический недостаток добрыми чувствами. Благородство его стремлений, украшающее юность, восхищало Констанс и Цезаря, и они нередко хвалили Ансельма в присутствии Цезарины. И муж и жена, мелочные в повседневной жизни, обладали возвышенной душой и прекрасно разбирались в вопросах чувства. Их похвалы нашли отклик в сердце девушки, которая, несмотря на свою невинность, прочитала в чистых глазах Ансельма обожание, всегда лестное, каков бы ни был возраст, положение и внешность влюбленного. У маленького Попино было значительно больше оснований любить женщину, чем у какого-нибудь красивого мужчины. Женись он на красавице, он безумно любил бы ее до конца своих дней, любовь подогревала бы в нем честолюбие, он отдал бы жизнь ради счастья своей жены, он сделал бы ее полновластной хозяйкой в доме, он покорился бы ей. Так невольно думала Цезарина, хотя, быть может, и не так откровенно; она с высоты птичьего полета озирала жатву любви и рассуждала путем сравнений: счастье матери было у нее перед глазами, она для себя не желала иной жизни; инстинкт подсказывал ей, что в Ансельме она найдет второго Цезаря, усовершенствованного образованием, как и она сама. В мечтах она видела Ансельма мэром округа, а себя — собирающей пожертвования в своем приходе, как ее мать делала это в приходе св. Роха. В конце концов Цезарина перестала замечать разницу между левой и правой ногой Попино; она способна была спросить: «А разве он хромает?» Ей нравились его чистые глаза, и она с удовольствием следила, как волновал юношу ее взгляд: как он печально опускал взор, в котором загорался целомудренный огонь. Старший клерк Рогена, Александр Кротта, который вращался в деловой среде, приобрел преждевременную опытность и своими цинич-

но-добродушными манерами отталкивал Цезарину, и без того уже возмущенную общими местами его рассуждений. Молчаливость Попино говорила о его кротком нраве, ей нравилась грустная улыбка, с какой он слушал избитые и пошлые разговоры, всегда вызывавшие у нее отвращение. Цезарина улыбалась или грустила, когда улыбался или грустил Попино. Душевное превосходство не мешало Ансельму усердно работать, и его неутомимое трудолюбие нравилось Цезарине: она догадывалась, что бедный, хромой, рыжий Ансельм не терял надежды добиться ее руки, хотя другие приказчики и говорили: «Цезарина выйдет замуж за старшего клерка господина Рогена». Великая надежда доказывает великую любовь.

— Куда он уходит? — спросила Цезарина отца, стараясь выказать безразличие.

— Он откроет свою торговлю на улице Сенк-Диаман! Да поможет ему бог! — ответил Бирото, и восклицание его не было понято ни матерью, ни дочерью.

Когда Бирото испытывал какое-либо затруднение нравственного свойства, он вел себя, как насекомое перед препятствием: он обходил его с одной или с другой стороны; так и тут он переменил разговор, решив позднее поговорить с женой о Цезарине.

— Я рассказал дяде о твоих страхах и опасениях по поводу Рогена, он только рассмеялся,— заявил он Констанс.

— Никогда не передавай другим того, о чем мы говорим с тобой наедине,— возмутилась Констанс.— Бедняга Роген, возможно, честнейший в мире человек, ему пятьдесят восемь лет, и он, наверное, больше не думает о...

Она сразу замолкла, заметив, что Цезарина внимательно слушает, и взглядом указала Цезарю на дочь.

— Значит, я правильно поступил, заключив сделку,— заметил Бирото.

— На то ты и хозяин,— ответила она.

Такой ответ всегда выражал ее молчаливое согласие с планами мужа. Цезарь взял Констанс за руку и поцеловал ее в лоб.

— Вот что,— крикнул парфюмер, спускаясь вниз и обращаясь к приказчикам,— закрывайте лавку в десять

часов. Вы все должны мне помочь! За ночь мы перенесем мебель со второго на третий этаж. Надо убрать все до последней вещи, чтобы, как говорится, очистить на завтра поле деятельности для архитектора. Попино ушел, не предупредив меня,— сказал Цезарь, не видя его.— Да, ведь он сегодня здесь не ночует, я и забыл. «Он отправился,— подумал Цезарь,— записать замечания господина Воклена, а может быть, снять помещение для магазина».

— Мы знаем, хозяин, почему вы переделываете квартиру,— заявил Селестен от имени двух других приказчиков и Раге, стоявших за его спиной.— Позвольте нам, сударь, поздравить вас с честью, которая является честью для всех нас... Попино сказал нам, что вам, сударь...

— Да, голубчики, что скрывать, мне пожаловали орден. Так вот, я приглашаю друзей, чтобы отпраздновать освобождение Франции и отметить награждение меня орденом Почетного легиона. Быть может, я заслужил эту награду и монаршую милость, ведь я был членом коммерческого суда, я сражался за Бурбонов, которых я защищал... в вашем возрасте, тринадцатого вандемьера на ступенях церкви святого Роха... Черт побери, я был ранен Наполеоном, именуемым императором. Я был ранен в бедро, и госпожа Рагон делала мне перевязки. Будьте же отважны, и вас вознаградят. Видите, дети мои, нет худа без добра.

— На улицах больше сражаться не будут,— заметил Селестен.

— Надо надеяться,— сказал Бирото и, воспользовавшись случаем, произнес целую речь, а в заключение пригласил приказчиков на бал.

Перспектива бала воодушевила трех приказчиков, Раге и Виржини и придала им ловкость эквилибристов. Нагруженные мебелью, они сновали взад и вперед по лестницам, ничего не сломав, ничего не перевернув. К двум часам ночи все было закончено. Цезарь с женой легли спать на третьем этаже. В комнате Попино устроились Селестен и второй приказчик. Четвертый этаж на время превратили в мебельный склад.

Весь во власти неослабевающего нервного возбуждения, которое воспламеняет сердца честолюбцев и влюбленных, лелеющих великие замыслы, обычно мягкий и

спокойный Попино после обеда не мог устоять на одном месте, словно породистая лошадь перед скачками.

— Что с тобой творится? — спросил его Селестен.

— Какой день выдался сегодня, дружище! Я начинаю самостоятельное дело,— сказал Попино на ухо Селестену,— а господин Бирото награжден орденом.

— Счастливец! Тебе помогает хозяин! — воскликнул Селестен.

Ничего не ответив, Попино исчез, словно увлекаемый буйным ветром, ветром успеха!

— Счастливец? — сказал приказчик, складывавший перчатки дюжинами своему соседу, проверявшему этикетки.— Просто хозяин заметил, что Попино строит глазки мадемуазель Цезарине; ну, а хозяин-то наш хитер и решил отделаться от Ансельма. Отказать ему — неудобно, из-за родственников. А наш Селестен принимает эту хитрость за великодушие.

Ансельм Попино спустился по улице Сент-Оноре и помчался по улице Дез-Экю, чтобы встретиться с одним молодым человеком: чутье торговца подсказывало ему, что тот станет главным орудием его обогащения. Судья Попино некогда оказал услугу самому ловкому коммивояжеру Парижа, прозванному впоследствии за свое победоносное краснобайство и поразительную расторопность «Прославленным». Сбывая шляпки и парижские модные товары, этот будущий король коммивояжеров в ту пору именовался просто Годиссаром. В двадцать два года он уже выказал себя мастером пускать пыль в глаза. Худощавый, жизнерадостный, проворный, обладая блестящей памятью и столь важным в торговом деле умением уговаривать, он вполне заслуживал достигнутого им впоследствии титула «короля коммивояжеров»; он был истинным французом.

Несколько дней назад Попино, встретив Годиссара, узнал, что тот собирается в дорогу. Надеясь застать его еще в Париже, влюбленный бросился на улицу Дез-Экю, где узнал, что коммивояжер заказал себе место в почтовой карете. Перед тем как распрощаться с дорогой его сердцу столицей, Годиссар отправился посмотреть новую пьесу в театре Водевиль; Попино решил дождаться его. Поручить распространение орехового масла этому прославленному мастеру рекламы, уже обласканному бо-

гатейшими торговыми фирмами, не значило ли это заручиться покровительством фортуны? Попино мог положиться на Годиссара. Коммивояжер, умевший так ловко опутывать самых неподатливых людей — мелких провинциальных торговцев, вдруг впутался в первый заговор против Бурбонов, раскрытый после «Ста дней». Годиссара — эту вольную птицу — бросили в тюрьму, предъявили ему тяжелые обвинения. Судья Попино, который вел дело, прекратил следствие, признав, что Годиссар оказался замешанным в заговор только по легкомыслию и опрометчивости. Будь на месте Попино судья, желавший выслужиться, или какой-нибудь ярый роялист, злосчастный коммивояжер угодил бы на эшафот. Годиссар понимал, что обязан следователю жизнью, и не знал, как выразить признательность своему спасителю. Не смея благодарить судью за правый суд, коммивояжер явился к Рагонам и заявил, что отныне он верный слуга всей семьи Попино.

В ожидании Годиссара, Ансельм, конечно, не преминул осмотреть лавку на улице Сенк-Диаман и узнать адрес владельца, чтобы заключить с ним договор. Попино бродил по темным закоулкам Центрального рынка, размышляя над тем, как добиться скорого успеха; на улице Обриле-Буше ему улыбнулся счастливый случай, предвещавший удачу, и ему захотелось поскорее обрадовать Бирото. Было около полуночи, когда Ансельм, стоявший на часах у «Коммерческой гостиницы», услышал еще издалека, с улицы Гренель, финальный куплет водевиля: то распевал Годиссар, аккомпанируя себе выразительным постукиванием трости по тротуару.

— Сударь,— сказал Ансельм, внезапно появляясь из-за ворот,— на два слова.

— Хоть на десять,— ответил коммивояжер, замахиваясь на мнимого грабителя тяжелой тростью.

— Это я, Попино,— проговорил перепуганный Ансельм.

— Прекрасно,—сказал Годиссар, узнавая его.— Что нужно вам? Денег? Деньги временно в отпуску, но мы их раздобудем... Участвовать в дуэли? Весь к вашим услугам.

И Годиссар запел:

Вот он, смотрите,
Французский наш солдат.

— Мне нужно было бы поговорить с вами. У вас в комнате нас могут подслушать, лучше пойдемте на набережную Орлож: в этот час там нет ни души,— сказал Попино.— Речь идет об очень серьезном деле.

— Раз это так спешно, идем!

Через десять минут Годиссар узнал тайну Попино и оценил ее значение.

— Ко мне, цирюльники, торговцы, парфюмеры! — закричал Годиссар, подражая Ларону в роли Сида.— Я приберу к рукам всех лавочников Франции и Наварры. Ого! Идея! Я собирался уезжать, я задержусь и стану представителем парижских парфюмеров.

— Но для чего?

— Чтобы задушить ваших конкурентов, простак! Сделавшись представителем, я заставлю их захлебнуться своими эссенциями, подавиться своими коварными косметическими средствами, я буду восхвалять только ваше масло. Да! Да! Мы настоящие дипломаты торговли. Великолепно! Ну-с, вашим объявлением я займусь сам. У меня есть друг детства Андош Фино, сын торговца шляпами с улицы Дюкок, того самого старика, благодаря которому я стал коммивояжером. У Андоша — ума палата, он нахватал идеи из всех голов, украшенных шляпами его отца, он литератор, пишет о маленьких театриках в «Вестнике зрелищ». Отец его, старый пройдоха, терпеть не может умников, не верит в ум, и никак ему не втолкуешь, что умом торгуют, что ум приносит капиталы. Старик — круглый невежда по части ума. Он берет молодого Фино измором. Андош — человек способный, на то он мой друг,— с тупицами я имею дело лишь в торговле; так вот Фино составляет объявления для «Верного пастушка», и там ему платят; газеты же, на которые он работает, как каторжник, кормят его обещаниями. Какие там завистники! Все равно, как в торговле модными парижскими изделиями. Фино написал чудесную одноактную комедию для знаменитой из знаменитых мадемуазель Марс, которую я действительно люблю! Ну и что же, чтобы увидеть пьесу на сцене, он вынужден был отдать ее в театр Гетэ. Андош понимает толк в объявлениях, он проникается мыслями купца, он не гордец, он состряпает нам объявление бесплатно! Ей-богу, чашка пунша и пирожные — вот мы и в расчете. Шутки в сторону. Давайте договоримся сра-

зу. Успех вашего масла — для меня дело чести. Наградой для меня будет удовольствие быть шафером у вас на свадьбе. Я отправлюсь в Италию, Германию, Англию, повезу с собой афиши на всех языках, расклею их повсюду, в деревнях, на дверях церквей, на всех заборах, какие я знаю в провинции! Оно заблестит, оно загорится, ваше масло, оно умаслит все головы! Свадьбу отпразднуете не на серебре, а на золоте. Вы станете мужем Цезарины, или не быть мне больше прославленным Годиссаром, как прозвал меня папаша Фино за то, что я создал успех его серым шляпам. Продавая ваше «Масло», я остаюсь верен себе, забочусь о человеческой голове; как известно, и масло и шляпы оберегают прическу.

Попино отправился к тетке, у которой должен был ночевать; упоенный грядущим успехом, он находился в таком возбуждении, что улицы, казалось ему, струились маслом. Спал он мало и видел во сне, что волосы его поразительно выросли, и два ангела, словно в мелодраме, развернули перед ним свиток с надписью: «Цезарево масло». Проснувшись, он вспомнил этот сон и решил так и назвать ореховое масло, видя в этом предзнаменование свыше.

Цезарь и Попино явились на фабрику в предместье Тампль задолго до того, как туда привезли орехи; в ожидании возчиков г-жи Маду торжествующий Попино рассказал о дружественном договоре с Годиссаром.

— Прославленный Годиссар за нас. Быть нам миллионерами! — воскликнул парфюмер, протягивая руку своему кассиру с видом Людовика XIV, когда тот принимал маршала Вира после сражения при Денене.

— Это еще не все,— прибавил счастливый приказчик, достав из кармана граненый флакончик в форме тыквы,— я нашел десять тысяч таких флаконов, совершенно готовых и отшлифованных, по четыре су за штуку, с рассрочкой платежа на шесть месяцев.

— Ансельм,— торжественно произнес Бирото, любуясь причудливой формой флакона,— вчера в Тюильри,— да, только вчера,— ты сказал мне: «Я добьюсь успеха!» Сегодня же я сам говорю тебе: «Ты добьешься успеха!» Четыре су! Шесть месяцев рассрочки! Оригинальная форма! Не устоять «Макассару»! Вот это удар

по «Макассару», так удар! Хорошо, что я скупил все орехи в Париже. Где ты нашел эти флаконы?

— Я бродил по улицам, поджидая Годиссара...

— Как и я когда-то,— перебил его Бирото.

— Иду я по улице Обри-ле-Буше и вижу в окне оптового торговца стеклянными изделиями и ящиками, владельца большого склада, этот флакон... Ах! Он меня ослепил, как яркий свет, какой-то голос крикнул мне: «Вот то, что тебе нужно!»

— Прирожденный купец! Быть ему мужем Цезарины,— проворчал себе под нос Цезарь.

— Вхожу и вижу тысячи таких флаконов в ящиках.

— Ты попросил показать их?

— Неужели вы считаете меня таким простофилей?— с горечью воскликнул Ансельм.

— Прирожденный купец! — повторил Бирото.

— Я спросил ящички для восковых фигурок Христа. Рассматривая ящички, я подсмеиваюсь над формой флаконов. Раззадорил купца, он постепенно разоткровенничался и признался, что Фай и Бушо, те самые, что недавно обанкротились, затевали выпустить какое-то косметическое средство и заказали флаконы причудливой формы; купец, не доверяя им, потребовал уплаты половины наличными; Фай и Бушо уплатили в надежде на успех, банкротство постигло их во время изготовления флаконов; конкурсное управление, по получении требования об уплате, пошло на мировую: купцу оставили флаконы и задаток, как возмещение расходов по изготовлению нелепого и не имеющего сбыта товара. Флаконы обошлись ему по восьми су, но он был бы рад-радехонек спустить их по четыре су: одному богу известно, сколько проваляются у него на складе эти никому не нужные флаконы. «Не согласитесь ли поставить десять тысяч флаконов по четыре су за штуку? Я бы тогда, пожалуй, избавил вас от этих флаконов; я приказчик господина Бирото». И вот я обхаживаю его, увлекаю, распаляю, подзадориваю — и добиваюсь своего.

— Четыре су! — воскликнул Бирото.— Знаешь, ведь мы можем продавать масло по три франка. Значит, будем зарабатывать по тридцать су на флаконе, оставляя двадцать су розничным торговцам?

— «Цезарево масло»? — воскликнул Попино.

— «Цезарево масло»? Ах, господин влюбленный, вы хотите польстить и отцу и дочери. Ладно, идет. Назовем его «Цезарево масло»! Цезари завоевали мир, они, верно, обладали львиной гривой.

— Цезарь был лысый,— пробормотал Попино.

— Потому, скажут клиенты, что он не пользовался нашим маслом! «Цезарево масло» за три франка. А «Макассарское масло» стоит в два раза дороже. Годиссар за нас; мы выручим сто тысяч франков за год, ибо каждому уважающему себя человеку продадим двенадцать флаконов в год. Это принесет нам по восемнадцать франков! Пусть таких голов наберется восемнадцать тысяч — стало быть, наживем сто восемьдесят тысяч франков. Да мы — миллионеры.

Когда доставили орехи, Раге, рабочие, Попино, Цезарь принялись их колоть, и уже к четырем часам было изготовлено несколько фунтов масла. Попино отправился показать его Воклену, и тот подарил Анселъму рецепт для смеси ореховой эссенции с более дешевыми маслами и духами. Попино тотчас же подал прошение о выдаче ему патента на изобретение и усовершенствование. Признательный Годиссар ссудил Попино деньгами для оплаты гербового сбора, ибо Ансельм во что бы то ни стало хотел участвовать на половинных началах в расходах фирмы.

Успех влечет за собой своего рода опьянение, люди заурядные не в силах ему противостоять. Последствия этого опьянения предугадать нетрудно. Явился Грендо и показал чудесный набросок красками будущей квартиры и ее меблировки. Восхищенный Бирото согласился на все. И тотчас застучали молотки каменщиков, застонал дом, застонала и Констанс. Богатый подрядчик по малярным работам Лурдуа обещал ничего не упустить и предложил украсить гостиную позолотой. Услышав это, Констанс вмешалась в разговор.

— Господин Лурдуа,— сказала она,— у вас тридцать тысяч франков ренты, вы живете в собственном доме, вы можете делать в нем все, что хотите, но мы...

— Сударыня, купечество должно блистать. Не давайте аристократам подавлять себя. Не забудьте, что господин Бирото представитель власти, он у всех на виду...

— Так-то так, но он еще занимается торговлей,— ска-

зала Констанс, не смущаясь присутствием нескольких покупателей и приказчиков, слушавших этот разговор.— Ни я, ни он, ни его друзья, ни враги этого не забудут.

Бирото, заложив руки назад, приподнялся на носках и несколько раз упал на пятки.

— Жена права,— согласился он.— Мы будем скромны в благоденствии. Когда занимаешься торговлей, следует соблюдать умеренность в расходах, сдержанность в роскоши,— закон вменяет нам это в обязанность. Чрезмерные траты недопустимы. Если бы стоимость расширения квартиры, ее убранства перешла известные пределы, это было бы неблагоразумно с моей стороны, и вы сами осудили бы меня, Лурдуа. Я на виду у всего квартала, а люди, которые преуспевают, окружены завистниками и врагами! О! Вы скоро сами убедитесь в этом, молодой человек,— сказал он Грендо.— На нас всегда клевещут, не дадим недоброжелателям повода злословить.

— Ни клевета, ни злословие не могут коснуться вас,— напыщенно проговорил Лурдуа,— вы на особом положении и обладаете столь богатым коммерческим опытом, что не можете поступать необдуманно: вы человек дошлый.

— Что верно, то верно, я кое-что смыслю в делах. Знаете, почему я решил расширить квартиру? Уж коли я связываю вас крупной неустойкой в случае запоздания с окончанием работы, так это потому...

— Не знаю.

— Так вот, жена и я, мы приглашаем друзей, чтобы отпраздновать освобождение Франции и отметить награждение меня орденом Почетного легиона.

— Что? Что такое? Вам дали крест? — воскликнул Лурдуа.

— Да, быть может, я заслужил эту награду и монаршую милость, ведь я был членом коммерческого суда, я сражался за Бурбонов тринадцатого вандемьера на ступенях церкви святого Роха, был ранен Наполеоном. Милости прошу пожаловать с супругой и дочерью...

— Крайне признателен за оказанную честь,— сказал либерал Лурдуа.— Ну и хитрец же вы, папаша Бирото! Вы хотите быть уверенным, что я сдержу слово, и потому приглашаете меня. Ну, ладно, я возьму самых ловких

мастеров, мы разведем адский огонь, чтобы высушить стены; применим особые способы просушки: нельзя же танцевать в сыром помещении. Мы покроем лаком стены и этим устраним всякий запах.

Через три дня все торговцы квартала были взволнованы известием о бале у Бирото. Впрочем, все сами могли видеть леса вокруг дома, необходимые для быстрого перемещения лестницы, деревянные прямоугольные желоба, по которым щебень и мусор сбрасывали в телеги, стоявшие около дома. Спешные работы производились при свете факелов, ибо рабочие трудились и днем и ночью, возбуждая любопытство бездельников и зевак на улице; сплетники, глядя на эти приготовления, предсказывали неслыханный по великолепию бал.

В воскресенье, когда должны были заключить сделку, супруги Рагон и дядя Пильеро пришли часа в четыре дня, после церковной службы. Из-за ремонта, объяснил Цезарь, он пригласил на этот день голько Шарля Клапарона, Кротта и Рогена. Нотариус принес газету «Журналь де Деба», в которой по настоянию г-на де ла Биллардиера поместили следующую заметку:

«Нам сообщают, что освобождение страны от оккупации будет с восторгом отпраздновано по всей Франции. В Париже члены муниципалитета почувствовали, что пора вернуть столице тот блеск, который был неуместным во время оккупации. Мэры и помощники их предполагают дать балы: патриотическое их начинание найдет немало подражателей, и поэтому зимний сезон обещает быть блестящим. Среди подготовляемых празднеств много разговоров возбуждает бал у господина Бирото, пожалованного в кавалеры Почетного легиона и известного своей приверженностью королевскому дому. Господин Бирото, раненный 13 вандемьера на ступенях церкви св. Роха и один из наиболее уважаемых членов коммерческого суда, вдвойне заслужил эту милость».

— Как нынче хорошо пишут! — воскликнул Цезарь.— О нас заговорили в газетах,— сказал он Пильеро.

— И что же дальше? — ответил ему старик, который терпеть не мог «Журналь дс деба».

— Эта статья, пожалуй, поможет нам побольше сбыть «Крема султанши» и «Жидкого кармина»,— тихо

сказала г-же Рагон Констанс, не разделявшая восторгов мужа.

Госпожа Рагон, худощавая высокая женщина с морщинистым лицом, поджатыми губами и тонким носом, напоминала маркизу былых времен. Глаза ее были обведены темными кругами, как у многих старых женщин, переживших немало горя. Ее строгие и полные достоинства манеры хотя и смягчались приветливостью, внушали глубокое почтение. В ней было что-то странное, привлекающее внимание, но не было ничего комического, все объяснялось ее осанкой и костюмом: она носила митенки, никогда не расставалась с высоким зонтиком, похожим на тот зонтик, с которым прогуливалась в Трианоне Мария-Антуанетта; платья ее, обычно светло-коричневого цвета — так называемого цвета опавших листьев,— ложились какими-то особенными складками, секрет которых унесли с собой в могилу старые дамы былых времен. Она носила черную мантилью с черными кружевами в крупную квадратную клетку и чепцы старинного покроя, отделанные сквозными прошивками и фестонами, напоминавшими ажурную резьбу изящной рамки. Она нюхала табак и поражала при этом своей опрятностью и грацией жестов, которые запоминались молодым людям, имевшим удовольствие наблюдать, как их бабушки и тетушки торжественно ставили возле себя на стол золотые табакерки и стряхивали крупинки табака с косынок.

Господин Рагон был маленький старичок, ростом не больше пяти футов, с лицом щелкунчика, на котором резко выделялись живые глаза, острые скулы, нос, подбородок; зубы он уже потерял, и потому половину его речей нельзя было понять; галантный и жеманный, он изливал потоки слов и не переставал любезно улыбаться, как некогда улыбался красавицам, которых случай приводил в его лавку. Напудренные, тщательно зачесанные волосы вырисовывали у него на черепе снежный полумесяц с вихрами у висков, а сзади заплетены были в перехваченную лентой косичку. Он носил василькового цвета фрак, белый жилет, шелковые панталоны и шелковые чулки, башмаки с золотыми пряжками, черные шелковые перчатки. Самой оригинальной его привычкой была привычка ходить по улицам с непокрытой головой, держа шляпу

в руке. Он напоминал не то пристава палаты пэров, не то придверника кабинета короля,— словом, одного из тех людей, которые стоят так близко к власть имущим, что принимают на себя отблеск их сияния, сами пребывая в ничтожестве.

— Ну, Бирото,— сказал он внушительным тоном,— надеюсь, ты, милый мой, не раскаиваешься, что когда-то послушал нас? Разве мы когда-либо сомневались в благодарности наших возлюбленных монархов?

— Вы должны быть счастливы, голубушка,— сказала г-жа Рагон г-же Бирото.

— О да,— ответила прекрасная парфюмерша, которую всегда восхищали старинный зонтик г-жи Рагон, ее чепчики бабочкой, узкие рукава и широкая косынка.

— Цезарина прелестна. Подойди ко мне, милое дитя,— пронзительным голосом произнесла г-жа Рагон, покровительственно глядя на молодую девушку.

— Ну что, займемся до обеда делами? — спросил дядя Пильеро.

— Мы ожидаем господина Клапарона,— ответил Роген,— он одевался, когда я уходил от него.

— Господин Роген,— сказал Цезарь,— вы его, конечно, предупредили, что сегодня нам придется обедать в этой жалкой квартире?

— Шестнадцать лет тому назад он находил ее превосходной,— прошептала Констанс.

— ...среди мусора, в окружении рабочих.

— Вы сами увидите, какой это простой и славный малый,— заметил Роген.

— Я поставил Раге сторожить в лавке,— через парадную дверь пройти уже нельзя, вы сами видели, она разрушена,— сказал Цезарь нотариусу.

— Отчего вы не привели с собой племянника? — спросил Пильеро г-жу Рагон.

— Он не придет? — спросила Цезарина.

— Нет, душенька,— ответила г-жа Рагон.— Ансельм, бедняжка, работает, точно каторжный. Меня пугает эта улица Сенк-Диаман, такая мрачная, без солнца, без воздуха; вода в канавах там всегда синяя, зеленая или черная. Загубит там Ансельм свое здоровье. Но когда молодые люди вобьют себе что-нибудь в голову...— ска-

зала она Цезарине, жестом показывая, что в данном случае «голова» означает «сердце».

— Так он уже заключил контракт? — спросил Цезарь.

— Еще вчера, и даже скрепил его у нотариуса,— вставил Рагон.— Контракт удалось заключить на восемнадцать лет, но плату требуют вперед за полгода.

— Скажите, господин Рагон, довольны вы мною? — спросил парфюмер.— Я передал Ансельму секрет одного открытия... Словом...

— Мы хорошо знаем тебя, Цезарь,— ответил старичок Рагон, с теплым чувством пожимая руку Бирото.

Роген с беспокойством ожидал прихода Клапарона, манеры и речь которого могли испугать добропорядочных буржуа; он счел за лучшее подготовить умы.

— Вы сейчас познакомитесь с большим чудаком,— сказал он Рагону, Пильеро и дамам,— человеком с очень дурными манерами, но с замечательными способностями,— он выбился из низов лишь благодаря своему уму. Вращаясь в кругу банкиров, он несомненно научится приличному обращению. Вы можете встретить его на бульваре или в кафе пьяного, растрепанного, играющего на бильярде; по виду он отчаянный кутила. И что же? Слоняясь по городу, он изучает, обдумывает в это время, как оживить промышленность, оплодотворить ее новыми изобретениями.

— Я это прекрасно понимаю! — воскликнул Бирото.— Самые блестящие мысли приходили мне в голову, когда я бродил по улицам. Ведь так, моя кошечка?

— Время, потерянное днем на поиски и комбинации, Клапарон наверстывает ночью,— продолжал Рагон.— Все талантливые люди ведут странную, просто непостижимую жизнь. И, несмотря на такую безалаберность, Клапарон добивается своего, я сам тому свидетель; это он взял измором владельцев наших участков,— они сначала противились, кое в чем сомневались, он их обвел вокруг пальца, изо дня в день выматывал из них душу, и вот — мы заполучили участки.

Характерное «брум, брум», сиплое покашливание, свойственное любителям пропустить стаканчик водки или крепкого ликера, возвестило о появлении самого нелепого персонажа этой истории, оказавшегося впоследствии вер-

шителем судьбы Цезаря Бирото. Парфюмер бросился к узкой, темной лестнице, чтобы велеть Раге закрыть лавку, и поспешил извиниться перед Клапароном, что принимает его в своей прежней столовой, на антресолях.

— Да что там! Мы здесь великолепно полопа... Я хочу сказать, покончим наше дельце.

Как ни старался Роген, но добропорядочные буржуа, супруги Рагон, наблюдательный Пильеро, Цезарина и ее мать, в первую минуту были весьма неприятно поражены манерами мнимого «банкира высокого полета».

В двадцать восемь лет этот бывший коммивояжер совершенно облысел и носил парик в мелких завитушках. Однако кудряшки хороши только при девственной свежести лица, молочной белизне кожи, очаровательной женственной грации; а тут они лишь подчеркивали безобразие прыщеватого кирпично-красного лица, обветренного, как у кучера дилижанса; глубокие уродливые складки преждевременных морщин выдавали разгульную жизнь, злоключения которой подтверждали гнилые зубы и угри, испещрившие шершавую кожу. Клапарон напоминал чванливого провинциального актера, выступающего в любых ролях: на истасканной физиономии не держатся больше румяна, и перед вами — лицедей, изнуренный излишествами, с отвисшей губой, с бесстыдным взглядом и развязными манерами; даже совершенно пьяный, он, однако, способен молоть всякий вздор. На физиономии Клапарона как будто еще играли отблески веселого пламени пунша, и ее никак нельзя было назвать лицом делового человека. Ему немало пришлось потрудиться перед зеркалом, чтобы усвоить осанку, соответствующую высокому положению. Дю Тийе присутствовал при сборах Клапарона, волнуясь, как директор театра за дебют своего лучшего актера; он опасался, как бы грубые привычки бесшабашной богемы не выдали истинную сущность мнимого банкира.

— Говори поменьше,— советовал он Клапарону.— Никогда банкир не станет болтать: он действует, думает, размышляет, слушает и взвешивает. Если хочешь, чтобы тебя приняли за банкира, помалкивай или говори о чем-нибудь незначительном. Постарайся, чтобы в глазах у тебя не прыгали чертики, придай важность взгляду; на худой конец сойдешь за глупца и только

Разговаривая о политике, стой за правительство и отделывайся общими фразами вроде таких изречений: *Бюджет обременителен. Соглашения между партиями невозможны. Либералы опасны. Бурбоны должны избегать всяческих осложнений. Либерализм не что иное, как ширма, за которой приходят к полюбовному соглашению. Бурбоны создадут нам эру благоденствия. Мы обязаны, если не любить, то поддерживать их. Хватит с Франции политических опытов*, и тому подобное. Не налегай на еду, не забывай, что ты должен соблюдать достоинство миллионера. Нюхая табак, не дергай носом, как инвалид; поиграй табакеркой, прежде чем ответить, опусти глаза или возведи их к потолку,— словом, постарайся придать себе глубокомысленный вид. Но главное, брось ты свою скверную привычку все трогать руками. В свете банкир скрывает свою мертвую хватку под личиной усталости. Помни, ты ночи напролет проводишь за работой, ты одурел от расчетов. Ведь чтобы начать какое-либо дело, надо столько собрать сведений, надо столько размышлять! Побольше жалуйся на дела. Дела, мол, обременительны, тяжелы, сложны, затруднительны. Говори только об этом, не вдавайся в подробности. Не вздумай распевать за столом песенки Беранже и пей поменьше. Если напьешься, погубишь свою карьеру. Роген будет следить за тобой; ты очутишься в обществе глубоко нравственных людей, добродетельных буржуа, смотри не отпусти какую-нибудь кабацкую шуточку: всех перепугаешь.

Внушения дю Тийе оказали на ум Шарля Клапарона примерно такое же действие, как новый костюм — на его манеру держаться. Беспечный гуляка привык к удобной и затасканной одежде, которая не стесняла его движений, как слова не стесняли его мыслей; он чувствовал себя связанным в новом костюме, доставленном с запозданием, а потому надетом им сегодня впервые; он держался навытяжку, как солдат на параде, боялся сделать лишнее движение, сказать что-нибудь лишнее, быстро отдергивал руку, потянувшись за бутылкой или какой-нибудь закуской, обрывал фразу на полуслове и привлек внимание Пильеро этим смехотворным разладом с самим собой. Красное лицо Клапарона и его парик в мелких кудряшках не соответствовали его манерам,

как его мысли — словам. Но добродушные буржуа решили под конец, что все эти странности объясняются озабоченностью банкира.

— У него столько дел,— повторял Роген.

— Дела не научили его, однако, правилам приличия,— съязвила г-жа Рагон, обращаясь к Цезарине.

Роген, услышав эту фразу, приложил палец к губам.

— Он богат, ловок, поразительно честен,— сказал он, наклонившись к г-же Рагон.

— За такие достоинства ему можно многое простить,— заметил Пильеро.

— Ознакомимся с договором перед обедом,— предложил Роген,— мы здесь одни, никого из посторонних нет.

Госпожа Рагон, Цезарина и Констанс вышли из комнаты, оставив компаньонов — Пильеро, Рагона, Цезаря, Рогена и Клапарона; Александр Кротта зачитал арендный договор. Цезарь подписал обязательство на сорок тысяч франков на имя одного из клиентов Рогена, обеспечивая это обязательство своими земельными участками и фабрикой в предместье Тампль; он передал Рогену без расписки банковский чек Пильеро и на двадцать тысяч франков векселей из своего портфеля; кроме того, он выдал на сто сорок тысяч франков векселей приказу Клапарона.

— Мне незачем выдавать вам расписку,— сказал Клапарон,— вы, как и мы, связаны с господином Рогѐном. Продавцы участков получат деньги от него, я обязуюсь только раздобыть недостающие вам для покупки сто сорок тысяч франков — под эти ваши векселя.

— Правильно,— подтвердил Пильеро.

— Ну что ж, господа, не пригласить ли наших дам, без них как-то холодно? — предложил Клапарон и посмотрел на Рогена, словно спрашивая его, не слишком ли это вольная шутка.

— Милостивые государыни!.. О, барышня, конечно, ваша дочь,— воскликнул Клапарон, выпрямившись и посмотрев на Бирото.— Ну, вы, видно, охулки на руку не положите. Она лучше всех роз, которые вы перегоняете на духи, и, может быть, именно потому, что вы перегоняете розы...

— Признаюсь,— перебил его Роген,— я проголодался.

— Превосходно, давайте обедать,— сказал Бирото.

— Итак, мы обедаем, так сказать, в присутствии нотариуса,— напыщенно заявил Клапарон.

— У вас, видно, много дел,— сказал Пильеро, намеренно садясь за стол рядом с Клапароном.

— Чрезвычайно много, просто сотни,— ответил банкир,— и все такие трудные, запутанные, особенно каналы. Ох! Уж эти мне каналы! Вы представить себе не можете, сколько хлопот связано с каналами! Но это понятно. Правительство хочет строить каналы. В каналах обычно больше всего заинтересована провинция, но они важны и для всей торговли, сами понимаете! Реки, сказал Паскаль,— это движущиеся дороги. Нам нужны рынки. Рынки зависят от дорог, а дороги сплошь и рядом никуда не годны, необходимо проделать огромные земляные работы, земляные работы прокормят неимущих; следовательно, необходимы займы, которые в конечном итоге полезны бедноте! Вольтер сказал: «Каналы, канарейки, канальи!» Но у правительства на службе инженеры, ему не так-то легко втереть очки, разве только столковаться с ними, а тут еще палата... Ах, сударь, сколько затруднений причиняет нам палата! Там не желают понять, что за вопросами финансовыми скрываются вопросы политические. Везде наталкиваешься на недобросовестность. Поверите ли? Вот, например, Келлеры... Франсуа Келлер — оратор, он громит правительство и по поводу финансов и по поводу каналов. Вернувшись домой, этот молодчик выслушивает наши предложения, и они ему нравятся, но теперь нужно договариваться с тем самым правительством, на которое он только что нападал. Интересы оратора и банкира сталкиваются, и мы — меж двух огней! Понимаете теперь, почему так тернист наш путь? Ведь надо всех ублажать: и чиновников, и слуг сановников, и депутатов, и министров...

— Министров? — переспросил Пильеро, твердо решивший раскусить этого компаньона.

— Да, сударь, министров.

— Выходит, газеты правы,— заметил Пильеро.

— Ну, вот! Дядя уже увлекся политикой,— сказал Бирото,— господин Клапарон подливает масла в огонь.

— А еще эти проклятые болтуны-газетчики,— продолжал Клапарон.— Сударь, газеты все осложняют; иной раз они и оказывают нам услуги, но сколько раз они заставляли меня работать ночи напролет; я предпочел бы провести эти ночи иначе; в результате я испортил себе глаза, столько пришлось читать и подсчитывать.

— Однако вернемся к министрам,— не унимался Пильеро, надеясь услышать какие-нибудь разоблачения.

— Министры предъявляют поистине правительственные требования. Но что это за блюдо! Амброзия! — прервал себя Клапарон.— Вот соус так соус! Только в порядочном доме его и попробуешь, никогда в кабаке...

При этом слове цветы на чепчике г-жи Рагон подпрыгнули, словно барашки. Клапарон понял, что попал впросак, и захотел поправиться.

— В высших финансовых сферах,— пояснил он,— кабаками называют шикарные модные рестораны — Вери, «Провансальские братья». Так вот, ни жалкие кабатчики, ни наши ученые повара никогда не подадут вам такой нежный соус,— одни потчуют вас водицей с лимонным соком, а другие — химическими растворами.

Весь обед прошел в тщетных попытках Пильеро прощупать Клапарона; старик ничего не обнаружил и счел его за человека опасного.

— Все идет отлично,— шепнул Роген Клапарону.

— Ах! Я обязательно переоденусь вечером,— пробормотал Клапарон,— я задыхаюсь.

— Сударь,— обратился к нему Бирото,— нам пришлось превратить столовую в гостиную, ибо через две с половиной недели мы приглашаем друзей, чтобы отпраздновать освобождение Франции и...

— Прекрасно, сударь; я сам предан правительству. Я придерживаюсь принципов status quo [1], которые применяет великий человек, вершитель судеб австрийского королевского дома. Вот уж действительно молодчина! Сохранять, чтобы приобретать, и главное — приобретать, чтобы сохранять... Всецело разделяю мнение князя Меттерниха и горжусь этим!..

---

[1] Существующее положение *(лат.)*.

— ...И отметить награждение меня орденом Почетного легиона,— продолжал Цезарь.

— Да, да, я знаю. Кто мне говорил об этом? Келлеры или Нусинген?

У Рогена, пораженного таким апломбом, вырвался жест восхищения.

— Ах, нет, я слышал об этом в палате.

— В палате, от господина де ла Биллардиера? — спросил Цезарь.

— Совершенно верно.

— Он очень мил,— шепнул Цезарь дяде.

— Так и сыплет фразами,— возразил Пильеро,— в них, чего доброго, захлебнешься.

— Быть может, я заслужил эту награду...— начал снова Бирото.

— Своими трудами в парфюмерном деле,— вставил Клапарон.— Бурбоны умеют вознаграждать по заслугам. Будем преданы нашим великодушным законным монархам, которые принесут нам неслыханное благоденствие... Поверьте мне, Реставрация понимает, что ей надлежит состязаться с Империей; она совершит мирные завоевания, и все мы будем свидетелями этих завоеваний!

— Сударь, вы, конечно, окажете нам честь пожаловать на наш бал,— сказала г-жа Бирото.

— Ради счастья провести у вас вечер, сударыня, я готов отказаться от миллионов.

— Он действительно отчаянный болтун,— сказал Цезарь дяде.

Меж тем как Бирото, славнейший из парфюмеров, собирался блеснуть в последний раз перед своим закатом, на торговом горизонте робко восходила новая звезда. Юный Попино в этот час закладывал на улице Сенк-Диаман основы своего благосостояния. Улица Сенк-Диаман, небольшая узенькая улица, по которой с трудом проезжают ломовые телеги, одним концом упирается в Ломбардскую улицу, а другим, как раз напротив улицы Обриле-Буше — выходит на улицу Кенкампуа, славную улицу старого Парижа, столь известную в истории Франции. Несмотря на все неудобства, улицу Сенк-Диаман облюбовали аптекарские и москательные торговцы; таким образом, выбор Ансельма Попино был удачен.

В доме, где он обосновался, втором от угла Ломбардской улицы, было настолько темно, что иной раз среди бела дня приходилось зажигать лампы. Начинающий купец накануне вечером вступил во владение этим на редкость грязным и неприглядным помещением. Его предшественник, торговец патокой и сахарным сиропом, оставил следы своей торговли всюду — на стенах, в складах, во дворе. Вообразите большую просторную лавку, тяжелые двери, выкрашенные зеленой краской, обитые железными полосами и испещренные головками крупных гвоздей, похожими на шляпки грибов; окна забраны выгнутыми снизу массивными железными решетками, как в старых булочных, пол выложен большими белыми плитами, частью разбитыми, стены желтые и голые, как в казарме. Кроме того, помещение за лавкой и кухня с окнами во двор; во дворе находился второй склад, который когда-то был, вероятно, конюшней. Внутренняя лестница вела из помещения за лавкой наверх, где были расположены две комнаты с окнами на улицу; здесь Попино намеревался устроить кассу, свой кабинет и контору. Над складом, примыкавшим к стене соседнего дома, были три узкие комнаты с окнами во двор; в них Попино и собирался поселиться. Из окон этих запущенных комнат виден был только темный в закоулках двор, окруженный со всех сторон стенами, которые от сырости даже в самую сухую погоду казались свежевыкрашенными; во дворе между булыжниками застоялась черная зловонная грязь, смешанная с патокой и сахарным сиропом. Только в одной комнате имелся камин; все три даже не были оклеены обоями, пол был выложен каменными плитками.

С раннего утра Годиссар и Попино с помощью маляра, которого разыскал где-то коммивояжер, оклеивали дешевыми обоями отвратительную комнату, где маляр предварительно побелил потолок. Обстановку ее составляли узкая кровать красного дерева, жалкий ночной столик, старинный комод, стол, два кресла и полдюжины стульев — подарок судьи Попино племяннику. Годиссар украсил камин купленным по случаю зеркалом с мутным стеклом. В восьмом часу вечера, усевшись у камина, в котором пылала охапка дров, друзья собрались поужинать остатками завтрака.

— Долой холодную баранину! Она не годится для новоселья,— воскликнул Годиссар.

— Увы! — пробормотал Попино, показывая единственную монету в двадцать франков, которую он берег для оплаты объявления.— Я...

— А у меня...— ответил Годиссар, приставляя к глазу как монокль монету в сорок франков.

В эту минуту послышались удары молотка во дворе, пустынном и тихом в воскресные дни, когда все рабочие покидают мастерские и расходятся по домам.

— Вот мой верный слуга с улицы Потри. Видите,— продолжал прославленный Годиссар,— важнее не «я», а «у меня»!

И правда, официант из ресторана и два поваренка принесли в трех корзинках обед и шесть бутылок вина, выбранного со знанием дела.

— Да разве мы справимся со всеми этими яствами? — спросил Попино.

— А наш литератор? — воскликнул Годиссар.— Фино любит пиршества и суету сует, наивное вы дитя. Он явится со сногсшибательным проспектом. Хорошее словечко, а? Ну, а проспекты всегда жаждут. Хочешь получить цветы, поливай посеянные семена. Удалитесь, рабы,— рисуясь, сказал он поварятам,— вот золото.

И жестом, достойным Наполеона, своего кумира, он протянул им десять су.

— Спасибо, господин Годиссар,— ответили поварята, более довольные шуткой, чем деньгами.

— Ты же, сын мой,— сказал он лакею, который остался прислуживать,— разыщи привратницу. Она живет в глубине пещеры, там иногда она стряпает, ради отдохновения, подобно тому, как некогда Навзикая стирала белье. Предстань пред ней, преклони колена пред ее чистотой и упроси ее подогреть эти блюда. Скажи ей, что за это ее будет благословлять, а главное — уважать, глубоко уважать, Феликс Годиссар, сын Жака-Франсуа Годиссара, внук Годиссара, потомок многих Годиссаров, презираемых плебеев, его предков. Ступай, и да сопутствует тебе удача, не то получишь такую взбучку, что своих не узнаешь.

Снова раздался удар молотка.

— Вот и остроумец Андош! — возвестил Годиссар.

«ИСТОРИЯ ВЕЛИЧИЯ И ПАДЕНИЯ ЦЕЗАРЯ БИРОТО».

«ИСТОРИЯ ВЕЛИЧИЯ И ПАДЕНИЯ ЦЕЗАРЯ БИРОТО».

Вошел толстый, с пухлыми щеками молодой человек среднего роста, сын шляпочника с головы до пят, с расплывчатыми чертами лица, скрывавшими хитрость под маской степенности. Печальное, как у всякого истомленного нуждой человека, лицо его приняло веселое выражение при виде накрытого стола и бутылок с красноречивыми этикетками.

В ответ на возглас Годиссара бледно-голубые глаза его засверкали, он покачал своей огромной головой с калмыцким носом и обернулся к друзьям; с Попино он поздоровался как-то особенно, без заискивания и даже без малейшей почтительности,— как человек, который чувствует себя не на своем месте и не согласен ни на какие уступки. К этому времени Фино уже начинал понимать, что не обладает ни в какой мере литературным талантом, и подумывал о том, чтобы утвердиться в литературном мире иным путем: в роли эксплуататора способностей одаренных людей и делать дела, вместо того чтобы писать плохо оплачиваемые произведения. Как раз в эту пору, убедившись в том, что смиренными просьбами и самоунижением ничего не добьешься, он решил, подобно крупным финансистам, резко изменить курс и усвоить наглые манеры. Он нуждался для начала карьеры в средствах. Годиссар указал ему на возможность нажить деньги, продвигая масло Попино.

— Договаривайтесь за его счет с газетами, но не надувайте Ансельма, иначе я вам враг не на живот, а на смерть. Пусть его деньги даром не пропадут!

Попино с тревогой поглядывал на «сочинителя». Торговый люд смотрит на писателей со смешанным чувством боязни, жалости и любопытства. Хотя Попино получил хорошее образование, но взгляды и предрассудки его родственников, притупляющая ум работа в лавке и кассе сказались на его взглядах, подчинив их нравам и обычаям среды; подобное явление можно наблюдать, следя за изменениями, происходящими за десять лет с сотней школьных товарищей, мысливших примерно одинаково при окончании коллежа или пансиона. Андош принял растерянность Попино за глубокое восхищение.

— Давайте-ка до обеда обсудим как следует проспект, а потом отложим все заботы и выпьем,— предложил Го-

диссар.— На сытый желудок читать трудненько. Язык ведь тоже участвует в пищеварении.

— Сударь,— сказал Попино,— иной раз проспект — это целое богатство.

— А для такого бедняка, как я, богатство только в проспекте.

— Здорово сказано! — восхитился Годиссар.— У нашего шутника Андоша остроумия хватит на сорок человек.

— На сто,— воскликнул Попино, ошеломленный шуткой Фино.

Нетерпеливый Годиссар схватил рукопись и прочитал громко и напыщенно:

— «Кефалическое масло»!

— Я предпочел бы «Цезарево» или «Кесарево масло»,— вставил Попино.

— Друг мой,— возразил Годиссар,— ты не знаешь провинциалов: существует хирургическая операция под этим названием, и провинциалы так глупы, что примут твое масло за родовспомогательное средство. А тогда попробуй докажи им, что они ошибаются.

— Не настаиваю,— заметил автор проспекта,— только позвольте заметить, что «Кефалическое масло», в переводе значит «масло для головы», и, следовательно, это название вполне выражает вашу мысль.

— Посмотрим,— с нетерпением сказал Попино.

Вот этот проспект, который до сих пор рассылается повсюду в десятках тысяч экземпляров. (Второй *исторический документ.*)

«КЕФАЛИЧЕСКОЕ МАСЛО»

Золотая медаль на выставке 1827 г.

Патент на изобретение

и усовершенствование

Никакое косметическое средство не способствует росту волос, равно как химический красящий препарат не остается безвредным для вместилища разума. Наука открыла недавно, что волосы представляют собой мертвое вещество и никакими средствами нельзя приостановить ни их выпадения, ни седины. Чтобы предотвратить высыхание волос и облысение, достаточно предохранять корни волос от внешнего влияния воздуха и поддержи-

вать свойственную голове температуру. На основании принципов, установленных Академией наук, и было изготовлено «Кефалическое масло», способствующее сохранению волос, к чему стремились уже древние римляне, греки и северные народы, дорожившие богатой шевелюрой. Исследования ученых доказали, что представители знати, которые раньше отличались длинными волосами, не употребляли никакого иного средства; был только утрачен способ изготовления масла, ныне искусно восстановленный А. Попино, изобретателем «Кефалического масла».

Сохранять волосы, вместо того, чтобы добиваться невозможного или вредного на них воздействия,— таково назначение «Кефалического масла». Масло это, препятствующее образованию перхоти, обладает приятным запахом благодаря своему составу, в основу которого положена ореховая эссенция; предохраняя голову от воздействия окружающего воздуха, оно тем самым предупреждает простуду, насморки и всякого рода болезненные явления, вредные для головного мозга. Таким образом, корни волос, содержащие питательную влагу, никогда не подвергаются действию ни холода, ни жары. Волосы — это великолепное украшение, которым так дорожат мужчины и женщины,— у лиц, употребляющих наше масло, сохраняют вплоть до преклонных лет блеск, тонкость, глянец, придающие такую прелесть детским головкам.

Способ употребления напечатан на обертке каждого флакона.

Совершенно бесполезно намазывать маслом волосы; это не только смешной предрассудок, но и неудобная привычка, ибо масло всюду оставляет следы. Достаточно каждое утро, расчесав предварительно волосы щеткой и гребнем, обмакнуть в масло небольшую мягкую губочку и постепенно, разделяя волосы на пряди, смазывать их у корней так, чтобы кожа была покрыта тонким слоем масла.

«Кефалическое масло» продается во флаконах, снабженных подписью изобретателя во избежание подделки. Цена — три франка за флакон. Обращаться к господину А. Попино, улица Сенк-Диаман, Ломбардский квартал— Париж.

Покорнейше просим оплачивать почтовые расходы.

Примечание.— Торговый дом «Попино и К⁰» поставляет также аптечные масла: померанцевое, лавандовое, миндальное, масло какао, кофейное, касторовое и другие».

— Дорогой друг,— сказал прославленный Годиссар, улыбаясь Фино,— написано великолепно. Черт побери! Здорово мы ударились в науку! Мы не виляем, берем быка за рога. Ах! Я вас от души поздравляю. Вот это — полезная литература.

— Изумительный проспект! — с восторгом воскликнул Попино.

— Проспект с первого же слова губит «Макассарское масло»,— заявил Годиссар и, встав с важным видом, произнес, отчеканивая каждое слово и подкрепляя его жестами парламентского оратора: «Ничто не способствует — росту — волос! Нет — безвредной — краски — для — волос!» О, о, вот в чем залог успеха: современная наука не опровергает обычаев древних. Убедительно и для старых и для молодых. Старику вы скажете: «Да, да, сударь, древние греки и римляне были правы, не такто уж они были глупы, как некоторые думают». А молодому человеку заявите: «Милый юноша, вот еще новое открытие, которым мы обязаны просвещению, мы движемся вперед. Чего только не даст нам еще пар, разные там телеграфы и прочие открытия! Это масло — результат исследований господина Воклена!» А не напечатать ли нам выдержку из сообщения господина Воклена в Академии наук, подтверждающую наши заверения! Вот будет замечательно! А сейчас, Фино, за стол! Закусим и выпьем на славу! Осушим бокал шампанского за успех нашего Попино!

— Мне думается,— скромно сказал автор,— что время легкомысленных и шутливых проспектов миновало: мы вступаем в эру науки,— необходим докторальный, авторитетный тон, иначе не завоюешь публику.

— Вспрыснем же это масло. Язык у меня так и чешется, руки зудят,— я стану представителем всех, кто возится с волосами. Никто из них не дает больше тридцати процентов скидки, надо пойти на сорок процентов, и я берусь продать сто тысяч флаконов в полгода. Я атакую аптекарей и москательщиков, бакалейщиков и парик-

махеров, и за сорок процентов они околпачат своих покупателей.

Молодые люди ели, как львы, пили, как мушкетеры, и опьянялись будущим успехом «Кефалического масла».

— Это масло крепко ударяет в голову! — со смехом воскликнул Фино.

Годиссар исчерпал все возможные каламбуры со словами «масло», «волосы», «голова». За десертом среди взрывов гомерического хохота три приятеля, несмотря на тосты и взаимные пожелания всяческого благополучия, расслышали удары дверного молотка.

— Верно, дядя надумал прийти навестить меня! — воскликнул Попино.

— Дядя? — сказал Фино.— А у нас даже нет лишнего стакана!

— Дядя моего друга Попино — судья,— пояснил Годиссар Андошу Фино.— Не вздумай подтрунивать над ним, он спас мне жизнь. Ах, кто побывал в моем положении, лицом к лицу с гильотиной, когда — «чик, и прощай, шевелюра!» — прибавил он, жестом изображая движение рокового ножа,— тот вечно будет помнить почтенного следователя, сохранившего ему глотку для шампанского! Даже мертвецки пьяный, он не забудет своего спасителя. Да и ты, Фино, не зарекайся. Может, и тебе понадобится когда-либо господин Попино. Черт побери! Не будем же скупиться на поклоны.

«Почтенный следователь» действительно справлялся у привратницы о племяннике. Узнав его голос, Ансельм, чтобы посветить ему, спустился вниз со свечой в руке.

— Здравствуйте, господа,— сказал судья.

Прославленный Годиссар низко поклонился. Фино вперил в судью пьяный взор и нашел его простоватым.

— Здесь не роскошно,— заметил судья, окидывая взглядом комнату.— Ничего, дитя мое, хочешь стать большим человеком — начинай с малого.

— Какой глубокий ум! — шепнул Годиссар Андошу.

— Фраза из газетной статьи! — ответил журналист.

— А! Это вы, сударь! — сказал судья, узнав коммивояжера.— Какими судьбами?

— Сударь, я по мере своих слабых сил хочу способствовать преуспеянию вашего любезного племянника. Мы только что обсуждали проспект, прославляющий его

масло, а вот перед вами и автор этого проспекта, который представляется мне лучшим образцом, так сказать, парикмахерской литературы.

Судья взглянул на Фино.

— Сударь,— продолжал Годиссар,— позвольте представить вам господина Андоша Фино, одного из самых выдающихся молодых литераторов, он пишет в правительственных газетах и о высокой политике и о маленьких театрах. Пока он — орудие в руках других, но будет и сам вершить чужие судьбы.

Фино дернул Годиссара за полу сюртука.

— Отлично, дети мои,— сказал судья, которому остатки невинного пиршества на столе объяснили эти слова.— Дружок,— обратился он к Ансельму,— переоденься, мы сейчас отправимся к господину Бирото, я должен отдать ему визит. Вы с ним подпишете товарищеский договор, я внимательно все обдумал. Фабрика, изготовляющая масло, находится на принадлежащей ему земле в предместье Тампль, и, я полагаю, Бирото должен передать тебе ее в аренду, позднее могут объявиться наследники; когда хорошо обо всем договоришься, недоразумений не бывает. Стены здесь, по-моему, сырые; повесь циновки над кроватью, Ансельм.

— Видите ли, господин судья,— заговорил Годиссар с вкрадчивостью придворного,— мы сегодня сами оклеивали стены обоями, они... еще... не просохли.

— Похвальная бережливость,— одобрил судья.

— Послушай,— шепнул Годиссар на ухо Фино,— мой друг Попино — добродетельный молодой человек, он проведет вечер с дядюшкой, а мы отправимся к кузиночкам.

Журналист вывернул наизнанку жилетный карман. Попино понял его жест и сунул двадцать франков автору проспекта.

Судью поджидал на углу фиакр, и старик повез племянника к Бирото. Когда они прибыли к Бирото, г-н Пильеро, супруги Рагон и Роген играли в бостон, а Цезарина вышивала косынку. Роген, сидевший напротив г-жи Рагон и Цезарины, заметил, как обрадовалась девушка приходу Ансельма, как щеки ее зарделись, словно спелый гранат, и подмигнул своему старшему клерку.

— Видно, нам сегодня суждено только и делать, что

подписывать акты,— заметил парфюмер, когда судья, поздоровавшись, объяснил цель своего визита.

Цезарь, Ансельм и судья поднялись на третий этаж, во временную спальню парфюмера, обсудить условия аренды фабрики и товарищеский договор, составленный стариком Попино. Договор на аренду заключили на восемнадцать лет, соответственно сроку найма помещения на улице Сенк-Диаман,— обстоятельство это, казалось бы малозначительное, позднее послужило на пользу Бирото. Когда Цезарь и судья спустились вниз, старик Попино, удивленный разгромом, царившим в квартире, и присутствием рабочих в воскресный день в доме столь религиозного человека, как Бирото, попросил объяснить ему, что тут творится. Парфюмер только того и ждал.

— Хотя вы и не поклонник светских удовольствий, вы, надеюсь, не осудите нас за то, что мы собираемся отпраздновать освобождение Франции. Но это еще не все. Я приглашаю друзей также и для того, чтобы отметить награждение меня орденом Почетного легиона.

— А! — протянул судья, не имевший ордена.

— Быть может, я заслужил эту награду и монаршую милость, ведь я был членом суда... коммерческого, конечно, и сражался за Бурбонов тринадцатого вандемьера на ступенях...

— Да, знаю, знаю,— проговорил судья.

— ...церкви святого Роха, там я был ранен Наполеоном. Надеюсь...

— Охотно приду,— сказал судья.— Если жена будет здорова, я приду с ней.

— Ксандро,— сказал, уходя, Роген своему клерку,— ты и думать перестань о женитьбе на Цезарине. Месяца через полтора оценишь мой добрый совет.

— Почему? — спросил Кротта.

— Бирото собирается истратить тысяч сто на бал, да еще вопреки моим советам вкладывает все свое состояние в спекуляцию земельными участками. Через полтора месяца эти люди останутся без куска хлеба. Женись-ка лучше, мой милый, на мадемуазель Лурдуа, дочери подрядчика малярных работ. У нее триста тысяч франков приданого; я приберег для тебя этот выход. Отсчитай мне всего лишь сто тысяч франков и завтра же можешь получить мою контору.

О великолепном бале, затеваемом парфюмером, газеты протрубили на всю Европу, купечество же узнало о нем совсем иным путем,— по толкам, вызванным ночными работами. Утверждали, что Цезарь Бирото снял три дома, что залы у него будут раззолочены, что к обеду подадут специально по этому случаю изобретенные блюда; одни рассказывали, что купцов на бал не пригласят, что праздник дается лишь для представителей власти; другие строго осуждали честолюбие парфюмера, высмеивали его политические претензии, некоторые даже сомневались, был ли он когда-либо ранен. Немало интриг породил бал во втором округе; друзья не надоедали Бирото, но люди, едва знакомые с парфюмером, не считались ни с чем в своих притязаниях. Всякое благополучие порождает льстецов. Нашлось немало лиц, которые всеми средствами добивались приглашения. Супруги Бирото были напуганы количеством дотоле неизвестных им друзей. Эта жажда попасть на бал испугала г-жу Бирото, она становилась все мрачнее и мрачнее с приближением дня торжества. Констанс призналась Цезарю, что не знает, как ей себя держать, ее страшили бесчисленные мелочи подобного празднества: где раздобыть серебро, хрусталь, прохладительные напитки, посуду, слуг? И кто будет за всем следить? Она просила Бирото встречать гостей у дверей и впускать только приглашенных, ибо наслушалась странных историй о людях, являвшихся на балы в буржуазные дома и ссылавшихся на каких-то друзей, имена которых они не могли назвать.

За десять дней до знаменательного воскресенья 17 декабря Брашон, Грендо, Лурдуа и Шафару, подрядчик строительных работ, заверили, что квартира будет готова в срок; вечером в маленькой гостиной состоялось забавное совещание между Цезарем, его женой и дочерью: они занялись составлением списка приглашенных и заготовлением пригласительных билетов; присланные типографом еще утром, эти приглашения были отпечатаны изящным шрифтом на розовой бумаге по всем правилам кодекса буржуазной учтивости.

— Ах, как бы не забыть кого-нибудь! — воскликнул Бирото.

— Если мы кого и забудем,— ответила Констанс,—

каждый сам себя не забудет. Госпожа Дервиль, никогда у нас не бывавшая, пожаловала вчера во всем параде.

— Она мне понравилась,— заметила Цезарина.

— А до замужества ее положение было еще скромнее моего,— сказала Констанс,— она работала в бельевой лавке на Монмартре и шила сорочки твоему отцу.

— Итак, внесем в список сначала самых знатных,— провозгласил Бирото.— Пиши, Цезарина: герцог и герцогиня де Ленонкур...

— Господи, Цезарь! — взмолилась Констанс.— Не посылай, пожалуйста, приглашений лицам, которых знаешь лишь как поставщик. Не собираешься же ты пригласить княгиню де Бламон-Шоври, а она еще более близкая родственница твоей крестной матери, покойной маркизы д'Юкзель, чем герцог де Ленонкур? Да, может быть, ты думаешь пригласить заодно и обоих Ванденесов, де Марсе, де Ронкероля, д'Эглемона — ну, словом, всех покупателей? Ты с ума сошел, почести вскружили тебе голову.

— Прости, но уж графа-то де Фонтэна с семьей я приглашу. Еще до памятного дня тринадцатого вандемьера он заходил в «Королеву роз» под именем «Большого Жака» вместе с «Молодцом» — маркизом Монтораном и господином де ла Биллардиером, известным в то время под кличкой «Нантиец». Что за горячие были тогда рукопожатия!.. «Смелей, дорогой Бирото, смелей! Умрем за правое дело!» Мы с ним — старые товарищи по заговору.

— Ну, хорошо, впиши его,— согласилась Констанс.— Надо же господину де ла Биллардиеру и его сыну с кем-нибудь поговорить, если они придут.

— Пиши, Цезарина,— сказал Бирото.— «Primo» — префект департамента Сены; придет он или не придет, дело его, но он глава муниципалитета, а «по месту и честь»! Господин де ла Биллардиер с сыном, мэр. Число приглашенных пиши сбоку. Мой коллега, господин Гране, помощник мэра, с женой. Она ужасная уродина, но все равно, нельзя ее обойти! Господин Кюрель, ювелир, полковник национальной гвардии, с женой и двумя дочерьми. Ну, начальство, кажется, все. Теперь — знать! Граф и графиня де Фонтэн и их дочь мадемуазель Эмилия де Фонтэн...

— Дерзкая особа, она вечно вызывает меня из лавки, и изволь стоять и разговаривать с ней у дверцы кареты в любую погоду,— сказала г-жа Бирото.— Поверь, если она и придет, то лишь для того, чтобы поиздеваться над нами.

— Ну, тогда она, наверное, придет,— сказал Цезарь, жаждавший видеть у себя знатных особ.— Пиши дальше, Цезарина: граф де Гранвиль с супругой, мой домовладелец, самая светлая голова при дворе, как утверждает Дервиль. Ах, да, господин де ла Биллардиер представит меня завтра графу де Ласепеду, который лично вручит мне орден. Следовало бы послать приглашение на бал и обед великому канцлеру ордена Почетного легиона. Затем — господин Воклен; отметь, Цезарина,— на бал и обед. Да, чтоб не забыть, запиши всех Шиффревилей и Протесов. Далее: господин Попино, судья департамента Сены, с женой, господин Тирион, придверник кабинета короля, с супругой,— это знакомые Рагонов, их дочь скоро выходит замуж за одного из сыновей господина Камюзо от первого брака.

— Цезарь, не забудь Ораса Бьяншона — племянника господина Попино и кузена Ансельма,— напомнила Констанс.

— Ну еще бы! Цезарина уже написала четыре приглашения для Попино. Господин Рабурден, начальник канцелярии господина де ла Биллардиера, с женой; из того же ведомства — господин Кошен с женой и сыном — компаньон Матифа да заодно и господин Матифа с супругой и дочерью.

— Супруги Матифа,— заметила Цезарина,— просили за своих друзей — Кольвилей и Гюнне, а также за Сандеров.

— Посмотрим,— ответил Цезарь.— Наш биржевой маклер Жюль Демаре с женой.

— Она будет первой красавицей на балу, лучше всех! — воскликнула Цезарина.— Она мне так нравится.

— Супруги Дервиль.

— Впиши супругов Коклен, преемников дяди Пильеро,— попросила Констанс.— Они так рассчитывают на приглашение! Бедняжка заказала у моей портнихи великолепный бальный наряд, тюлевое, расшитое цветами цикория платье на белом шелковом чехле. Хорошо еще, что

она не додумалась заказать себе расшитое золотом платье, как на придворный бал! Если их не пригласить,— наживем себе заклятых врагов.

— Внеси их в список, Цезарина; мы должны оказать честь купечеству, мы сами к нему принадлежим. Дальше — супруги Роген.

— Мама, госпожа Роген наверняка наденет бриллиантовое ожерелье, все свои драгоценности и платье, отделанное кружевами.

— Супруги Леба,— диктовал Цезарь.— Затем господин председатель коммерческого суда с супругой и двумя дочерьми. Я забыл о них, перечисляя начальство. Господин Лурдуа с женой и дочерью. Господин Клапарон, банкир, господин дю Тийе, господин Грендо, господин Молине, Пильеро и его домовладелец, супруги Камюзо, богатые торговцы шелком, с сыновьями; один из них преподаватель в Политехнической школе, другой — адвокат.

— Он скоро получит назначение на пост судьи в провинции,— заметила Цезарина.— Правда, благодаря женитьбе на мадемуазель Тирион.

— Господин Кардо, тесть Камюзо-старшего, с семейством. Подожди, чуть не забыл: Гильомы с улицы Коломбье, тесть и теща Леба; старички будут подпирать стенки. Александр Кротта, Селестен...

— Папа, не забудь господина Андоша Фино и господина Годиссара: эти молодые люди очень нужны господину Ансельму Попино.

— Годиссар! Он был под следствием. Ну, ладно, ведь он через несколько дней покидает Париж и отправляется в провинцию сбывать наше масло... пиши! Ну, а господин Андош Фино, он-то нам зачем?

— Господин Попино говорит, что Фино далеко пойдет, он умен, как Вольтер.

— Сочинитель? Все они безбожники.

— Запишем его, папа: у нас мало танцующих. Затем, ведь он написал прекрасный проспект, расхваливающий ваше масло.

— Он верит в наше масло? — сказал Цезарь.— Внеси его в список, дочка.

— И у меня оказались подопечные,— заметила Цезарина.

— Впиши господина Митраля, нашего судебного пристава, господина Одри, нашего доктора,— конечно ради соблюдения приличий: он-то не придет.

— Придет ради карт,— сказала Цезарина.

— Надеюсь, Цезарь, ты не забыл пригласить на обед господина аббата Лоро?

— Я ему уже написал,— ответил Цезарь.

— Давайте пригласим еще свояченицу Леба, Августину де Сомервье,— вспомнила Цезарина.— Бедняжка, она так страдает,—Леба говорил, она умирает от горя.

— Вот что значит выйти замуж за художника!— воскликнул парфюмер.— Смотри-ка, мать задремала,— тихо шепнул он дочери.— Баю-бай! Спокойной ночи, женушка. А когда будет готово платье для мамы? — спросил он у Цезарины.

— Вовремя, папа. А мама думает, что у нее будет шелковое платье, такое, как у меня; портниха уверена, что обойдется без примерки.

— Сколько всего приглашенных? — громко спросил Цезарь, видя, что жена открывает глаза.

— Сто девять, вместе с приказчиками,— ответила Цезарина.

— Куда мы их всех поместим? — сказала г-жа Бирото.— Но в конце концов это воскресенье когда-нибудь закончится,— простодушно добавила она.

Ничего не делается просто у людей, которые подымаются с одной ступени социальной лестницы на другую. Ни г-жа Бирото, ни Цезарь не хотели заранее осмотреть второй этаж. Цезарь обещал рассыльному Раге новый костюм ко дню бала, если тот будет добросовестно караулить у входа и не пропускать посторонних. Бирото, подобно Наполеону в Компьене, когда к свадьбе его с Марией-Луизой Австрийской обновлялся дворец, желал обозреть все сразу, насладиться неожиданностью. Итак, два старинных врага, сами того не подозревая, столкнулись еще раз, но не на поле сражения, а на почве буржуазного тщеславия. Г-ну Грендо пришлось взять Цезаря под руку и показать ему квартиру, подобно тому, как чичероне показывает любопытному путешественнику картинную галерею. Мало того, каждый в доме готовил свой сюрприз. Цезарина, милое дитя, истратила свой скромный капитал в сто луидоров и купила отцу книги.

Г-н Грендо как-то утром сказал ей по секрету, что в кабинете Цезаря будет два книжных шкафа — сюрприз, подготовленный архитектором. Цезарина выложила на прилавок книготорговца все свои девичьи сбережения и купила отцу в подарок сочинения Боссюэ, Расина, Вольтера, Жан-Жака Руссо, Монтескье, Мольера, Бюффона, Фенелона, Делиля, Бернардена де Сен-Пьера, Лафонтена, Корнеля, Паскаля, Лагарпа — словом, трафаретную библиотеку, книги которой заведомо не стал бы читать Бирото. Со страхом ожидала она огромного счета от переплетчика. Знаменитый и не отличавшийся точностью переплетчик-художник Тувенен обещал доставить переплетенные книги к полудню шестнадцатого числа. Цезарина призналась в своем затруднении дядюшке, и Пильеро оплатил счет. Цезарь готовил сюрприз жене — бархатное вишневого цвета платье, отделанное кружевами, о нем-то он и спрашивал у дочери, тайной своей сообщницы. Подарок г-жи Бирото вновь испеченному кавалеру ордена Почетного легиона состоял из двух золотых пряжек и алмазной булавки. Наконец, сюрпризом для всех была заново отделанная квартира, а затем, через две недели, последний, самый большой сюрприз — подлежащие оплате счета.

Цезарь немало размышлял над тем, кому передать приглашения лично, а кому отправить с рассыльным. Он нанял фиакр, уселся в него вместе с женой, надевшей обезобразившую ее шляпу с перьями и последний подарок мужа — кашемировую шаль, предмет ее пятнадцатилетних мечтаний. Принарядившаяся чета парфюмеров в одно утро сделала двадцать два визита.

Цезарь избавил жену от хлопот, связанных с приготовлением различных яств для роскошного празднества. Он заключил дипломатическое соглашение со знаменитым Шеве. Шеве обязался предоставить великолепное серебро, приносившее ему больше дохода, чем иному — сдача земли в аренду, приготовить обед, доставить вина, прислать — под началом благообразного метрдотеля — слуг, образцовых по своему поведению и работе. Он потребовал в свое распоряжение кухню и столовую на антресолях для устройства там штаб-квартиры и брался приготовить к шести часам вечера обед на двадцать персон и великолепный холодный ужин к часу ночи. В «Кафе Фуа» Бирото заказал фруктовое мороженое, которое

полагалось подавать на серебряных подносах, в красивых вазочках с позолоченными ложечками. Танрад, другая знаменитость, обязался доставить прохладительные напитки.

— Не беспокойся,— сказал Цезарь жене вечером, накануне празднества, заметив, что она очень волнуется.— Шеве, Танрад и «Кафе Фуа» займут антресоли, Виржини будет охранять третий этаж, лавка будет заперта. Для бала мы отведем только второй этаж.

16 декабря в два часа дня г-н де ла Биллардиер заехал за Цезарем, чтобы направиться вместе с ним в канцелярию капитула ордена Почетного легиона, где Бирото вместе с десятком других кавалеров должен был получить от графа де Ласепеда орден. Мэр застал парфюмера растроганным до слез: Констанс только что преподнесла мужу золотые пряжки и бриллиантовую булавку.

— Как сладко быть столь нежно любимым,— сказал парфюмер, садясь в фиакр, до которого его провожали приказчики, Цезарина и Констанс.

Все они глаз не спускали с Цезаря, облаченного в черные шелковые панталоны, шелковые чулки и новый васильковый цвета фрак, который вскоре должна была украсить ленточка, «обагренная кровью», как выразился Молине.

Цезарь вернулся к обеду бледный от радости; он любовался крестом в каждом зеркале, ибо в первом порыве опьянения не удовольствовался ленточкой и без ложной скромности надел орден.

— Жена,— сказал он,— великий канцлер ордена — обаятельный человек; стоило господину де ла Биллардиеру только заикнуться, как он принял мое приглашение, он приедет вместе с господином Вокленом. Господин де Ласепед — великий человек, да, не менее великий, чем господин Воклен: он написал сорок томов! Но он не только писатель, он и пэр Франции. Не забудьте называть его «ваше сиятельство» или «граф».

— Не забудь пообедать! — прервала его Констанс.— Право, отец твой, что малое дитя,— пожаловалась она дочери.

— Как украшает орден! — сказала Цезарина.— Тебе будут отдавать честь, пройдемся с тобой по улице.

— Да, теперь все часовые должны отдавать мне честь.

В эту минуту вошли Грендо и Брашон. Они предложили Цезарю после обеда вместе с женой и дочерью осмотреть квартиру; старший десятник Брашона уже кончал укреплять в зале розетки для занавесей, а три человека зажигали свечи.

— Понадобится сто двадцать свечей,— заметил Брашон.

— Счет на двести франков от Трюдона,— пролепетала Констанс, но кавалер Бирото одним взглядом остановил ее причитания.

— Ваш праздник будет великолепен, господин кавалер,— сказал Брашон.

Бирото подумал: «Вот уже и льстецы завелись. Недаром предостерегал меня аббат Лоро от их сетей и призывал к скромности. Я всегда должен помнить о своем происхождении».

Цезарь не понял намека богатого обойщика с улицы Сент-Антуан. Одиннадцать раз Брашон безуспешно пытался добиться приглашения для себя, жены, дочери, тещи и тетки, и он сделался врагом Бирото. Уходя, Брашон уже не величал больше парфюмера «господин кавалер».

Генеральная репетиция началась. Цезарь с женой и дочерью вышли из лавки и поднялись к себе по парадной лестнице. Входная дверь была переделана в монументальном стиле, она была превращена в двустворчатую и разделена на равные квадраты, украшенные посредине отлитым из чугуна орнаментом. Теперь такие двери — самые обычные в Париже, тогда же они прельщали новизной. В глубине вестибюля между двумя крыльями лестницы находился столь беспокоивший Бирото цоколь, напоминавший собою своеобразный ящик, где могла бы устроить себе жилище какая-нибудь старуха. Пол в вестибюле был выложен белым и черным мрамором, стены выкрашены под мрамор, сверху спускалась люстра в античном стиле с четырьмя рожками. В отделке квартиры архитектор сочетал богатство и простоту. Узкая красная дорожка подчеркивала белизну ступеней, вытесанных из твердого песчаника, отшлифованного пемзой. С первой площадки открывался вид на антресоли. Внутренняя дверь была выдержана в том же стиле, что и входная, но украшена резьбой.

— Какое изящество! — воскликнула Цезарина.— А между тем ничто не бросается в глаза.

— Мадемуазель, изящество создается соблюдением пропорций между архитектурными украшениями, плинтусами, карнизами и орнаментом; у меня нигде нет позолоты, тона мягкие, неяркие.

— Да это целая наука! — заметила Цезарина.

Вошли в переднюю, просторную комнату с паркетным полом, отделанную и выдержанную в прекрасном стиле. Дальше шла белая с красным гостиная с тремя выходящими на улицу окнами, изящно вылепленными карнизами, с обоями красивого рисунка; тут не было ничего пестрого. На камине белого мрамора с колонками стояли со вкусом подобранные безделушки, не оскорблявшие самого строгого вкуса и прекрасно сочетавшиеся со всей обстановкой. Словом, в гостиной царила та мягкая гармония, создать которую может только художник, искусно соблюдающий определенный стиль убранства даже в мелочах; гармония эта восхищает буржуа, но остается для него непостижимой. Люстра в двадцать четыре свечи бросала отсветы на красные шелковые драпировки, паркет так соблазнительно блестел, что Цезарине захотелось танцевать. Будуар, выдержанный в зеленых и белых тонах, соединял гостиную с кабинетом Цезаря.

— Я поместил здесь кровать,— сказал Грендо, распахивая полог алькова, искусно спрятанного между двумя библиотечными шкафами.— Вы или ваша супруга в случае недомогания сможете иметь как бы отдельную комнату.

— Но откуда тут библиотека? И все книги переплетены... О жена, жена! — воскликнул Цезарь.

— Нет, это — подарок Цезарины.

— Извините растроганного отца,— обратился Бирото к архитектору и принялся целовать дочь.

— Не стесняйтесь, сударь, не стесняйтесь,— ответил Грендо,— вы у себя дома.

Стены в кабинете Цезаря были коричневые, оживленные зеленой отделкой; нежные оттенки убранства создавали гармоничное единство всей квартиры. Основной цвет одной комнаты служил отделкой в другой, и наоборот. В кабинете Цезаря на стене красовалась гравюра «Геро и Леандр».

— Вот ты-то и окупишь все,— весело бросил Бирото, взглянув на картину.

— Эту прекрасную гравюру вам дарит Ансельм,— сказала Цезарина.

Ансельм тоже захотел приготовить сюрприз.

— Славный малый! Он поступил со мной так же, как я с господином Вокленом.

Затем вошли в комнату г-жи Бирото. Здесь архитектор не поскупился на роскошь, которая очаровывает простодушных людей, он сдержал слово и исключительно тщательно осуществил «реставрацию» квартиры. В спальне стены покрывал голубой шелк в белых разводах, мебель была обита белым казимиром с голубой отделкой. На камине стояли часы с изображением Венеры, сидящей на прекрасно высеченной мраморной глыбе; красивый турецкого рисунка бархатный ковер, лежавший в спальне, гармонировал с очень изящной, обтянутой персидской материей, комнаткой Цезарины: там стояло фортепьяно, хороший зеркальный шкаф, узкая девичья кровать со скромными занавесями и все пустячки, столь любезные сердцу молодых девушек. Столовая помещалась за кабинетом Цезаря и спальней его жены; в нее подымались по лестнице: она была выдержана в стиле Людовика XIV; убранство ее составляли часы работы Буля, буфеты с инкрустациями из меди и черепахи; стены были обтянуты материей, прибитой позолоченными гвоздиками. Невозможно описать радость всей семьи, особенно в ту минуту, когда г-жа Бирото, вернувшись в спальню, обнаружила на постели подарок мужа — отделанное кружевами платье вишневого бархата, которое, крадучись, пронесла туда Виржини.

— Господин Грендо, убранство этой квартиры делает вам честь,— сказала Констанс архитектору.— Завтра у нас соберется больше ста человек гостей, и вы от всех услышите похвалы.

— Я введу вас в общество,— прибавил Цезарь.— Вы познакомитесь с цветом купечества, и один вечер принесет вам больше известности, чем целая сотня построенных домов.

Растроганная Констанс больше не жаловалась на расточительность мужа и не осуждала его. И вот почему. Ансельм Попино, которого Констанс считала очень ум-

ным и способным человеком, придя утром с гравюрой «Геро и Леандр», заверил ее в успехе «Кефалического масла», ради чего он работал не покладая рук. Влюбленный ручался, что как бы ни были значительны безумные траты Бирото, его доля дохода от продажи масла за какие-нибудь полгода покроет все расходы. После девятнадцати лет треволнений так сладко было порадоваться хоть один день, и Констанс обещала дочери не отравлять счастья Цезаря никакими опасениями и отдаться течению событий. Было около одиннадцати часов вечера, когда ушел Грендо; Констанс бросилась мужу на шею и, расплакавшись от избытка чувств, воскликнула:

— Ах, Цезарь, ты дал мне столько счастья!

— Если бы только оно продлилось...— сказал, улыбаясь, Цезарь.

— Обязательно продлится, я уже больше не боюсь,— ответила г-жа Бирото.

— В добрый час,— сказал парфюмер,— наконец-то ты меня оценила.

Люди, достаточно умные, чтобы понимать собственные слабости, согласятся, что девушка-сирота, восемнадцать лет назад работавшая старшей продавщицей в «Маленьком матросе» на острове Сен-Луи, и бедный туренский крестьянин, пришедший в столицу пешком с палкой в руках, в грубых башмаках с подковками, должны были чувствовать себя счастливыми и удовлетворенными, давая подобный праздник по столь достойному поводу.

— Господи, я согласился бы потерять сотню франков, только бы кто-нибудь пришел к нам сейчас с визитом,— проговорил Цезарь.

— Аббат Лоро,— доложила Виржини.

В комнату вошел аббат Лоро. В ту пору он состоял викарием церкви Сен-Сюльпис. Пожалуй, никогда еще сила духа не проявлялась ни в ком яснее, чем в этом старике священнике, общение с которым оставило неизгладимый отпечаток в памяти всех, кто его знал. Угрюмое лицо его было настолько уродливо, что возбуждало неприязнь, почти отвращение, но аскетический образ жизни этого человека одухотворил его христианскими добродетелями, и черты его, казалось, излучали небесное сияние. Непорочная душа освещала безобразное лицо, и

любовь к ближнему облагораживала его, меж тем как порок придавал внешности Клапарона нечто низменное и грубо животное.

Морщинистое чело старика Лоро озарял свет трех благородных человеческих добродетелей: веры, надежды и любви к людям. Речь его была ласкова, нетороплива и проникновенна. Как все парижские священники, он носил темно-коричневый сюртук. Никакие честолюбивые помыслы не омрачали чистоты его души, которую ангелы должны были вознести к божьему престолу. Только кроткая настойчивость дочери Людовика XVI заставила аббата Лоро принять приход в Париже, да и то самый скромный. Тревожным взором окинул он роскошную обстановку гостиной Бирото, улыбнулся трем очарованным буржуа и покачал седой головой.

— Дети мои,— промолвил он,— не пристало мне бывать на суетных празднествах, я должен нести утешение в дома скорбящих. Господин Бирото, я пришел поблагодарить и поздравить вас. Я приду к вам лишь на один праздник — на свадьбу этой милой девушки.

Через четверть часа аббат удалился, и ни парфюмер, ни жена его не осмелились показать старику квартиру. Посещение сурового гостя как бы пролило несколько капель ледяной воды на кипучую радость Цезаря. Каждый лег спать в собственной роскошной комнате, наслаждаясь чудесной и красивой обстановкой. Цезарина помогла матери раздеться перед туалетом с оправленным в белый мрамор зеркалом. Цезарю тотчас же захотелось полюбоваться кое-какими купленными им совершенно ненужными безделушками. Все трое заснули, предвкушая радости завтрашнего дня. Отстояв обедню и вернувшись из церкви, Цезарина и ее мать оделись к четырем часам дня, предварительно передав антресоли во власть официантов, присланных от Шеве. Никогда ни один наряд не был так к лицу г-же Бирото, как бархатное вишневое платье с короткими рукавами, отделанное кружевом; богатая ткань великолепного цвета подчеркивала красоту ее рук, стройных, как у молодой девушки, ее белоснежную грудь и шею, великолепные плечи. Наивное удовлетворение, которое испытывает любая женщина, созерцая себя во всеоружии своих чар, придавало особенную пленительность греческому профилю Констанс, напоминавше-

му тонкой своей красотой камею. Цезарина в белом креповом платье, с венком из белых роз на голове и розой у пояса целомудренно прикрыла плечи и грудь легким шарфом; она свела с ума Попино.

— Эти люди затмили нас,— сказала г-жа Роген мужу, осматривая квартиру.

Жена нотариуса была в бешенстве, потому что не могла сравниться красотой с г-жой Бирото; а ведь любая женщина в глубине души всегда отлично знает, кто лучше — она или соперница.

— Чепуха! Все это недолговечно, и скоро ты сама обрызгаешь грязью эту женщину, когда они разорятся и ей придется плестись пешком по улице! — тихо прошептал Роген жене

Воклен был отменно любезен, он явился вместе с г-ном де Ласепедом, своим коллегой по Академии, заехавшим за ним в карете. Двое ученых рассыпались перед сияющей парфюмершей в высокопарных комплиментах.

— Вы, сударыня, столь молоды и прекрасны, что бесспорно владеете каким-то секретом, неизвестным науке,— сказал Воклен.

— Вы здесь почти у себя дома, господин академик,— обратился к нему Бирото.— Да, господин граф,— продолжал он, повернувшись к великому канцлеру ордена Почетного легиона,— я обязан своим состоянием господину Воклену. Честь имею представить вашему сиятельству господина председателя коммерческого суда. Его сиятельство граф де Ласепед, пэр Франции, один из великих мужей нашей страны, автор сорока томов,— сказал он Жозефу Леба, сопровождавшему председателя коммерческого суда.

Гости съехались к назначенному часу. Обед прошел так, как обычно проходят званые обеды у купцов: чрезвычайно весело, с добродушными грубоватыми шутками, неизменно вызывающими смех; изысканные яства и тонкие вина были оценены по достоинству. Когда собравшиеся перешли в гостиную пить кофе, было уже половина десятого. Подъехало несколько экипажей с нетерпеливыми любительницами танцев. Через час зал был полон гостей, бал походил на торжественный прием. Г-н де Ласепед и г-н Воклен уехали, к великому огорчению Бирото.

который проводил их до лестницы, безуспешно умоляя остаться. Ему удалось удержать судью Попино и г-на де ла Биллардиера. Только три женщины представляли здесь аристократию, финансовый мир и чиновничьи круги: Эмилия де Фонтэн, г-жа Жюль Демаре и г-жа Рабурден,— их ослепительная красота, туалеты и манеры резко выделялись на общем фоне; остальные женщины явились в безвкусных и аляповатых туалетах, поражавших какой-то особенной добротностью тканей, придающей буржуазкам вульгарный стиль, и тем сильнее оттенявших легкость и грацию упомянутых нами трех дам.

Буржуа с улицы Сен-Дени полностью воспользовались своим правом и торжественно выставляли напоказ всю свою комическую глупость. Это были те самые буржуа, которые одевают детей уланами и национальными гвардейцами, покупают «Победы и завоевания», «Солдата-пахаря», умиляются перед «Похоронами бедняка», восторгаются смотрами гвардии, по воскресеньям выезжают к себе на дачу, стараются подражать изысканным манерам аристократов, добиваются муниципальных почестей; они всем завидуют, и вместе с тем это добродушные, услужливые, отзывчивые, чувствительные, сострадательные люди, жертвующие деньги в пользу детей генерала Фуа, в пользу греков, о морском разбое которых они и не подозревают, жертвующие в пользу Шан д'Азиль, хотя Шан д'Азиль уже не существует; они страдают от своей добродетельности, светское общество высмеивает их недостатки, хотя само их не стоит, ибо им — этим добропорядочным мещанам — свойственна сердечность, пренебрегающая условностями; они воспитывают простодушных, трудолюбивых дочерей, наделенных хорошими качествами, которые исчезают при соприкосновении с высшими классами, бесхитростных девушек, среди которых добряк Кризаль охотно выбрал бы себе жену; буржуазия была ярко представлена на балу четой Матифа, москательщиками с Ломбардской улицы, чей торговый дом уже шестьдесят лет поставлял сырье «Королеве роз».

Госпожа Матифа, которая постаралась придать себе достойный вид, танцевала с тюрбаном на голове в тяжелом пунцовом, расшитом золотом платье, под стать ее гордой осанке, римскому носу, малиновому цвету лица.

Г-н Матифа, столь бесподобный на смотрах национальной гвардии, где за пятьдесят шагов бросалось в глаза его круглое брюшко с блестевшей на нем цепочкой от часов и связкой брелоков, был под башмаком у этой купеческой Екатерины II. Толстый и приземистый, с очками на носу, с подпиравшим затылок воротником сорочки, он привлекал внимание баритональным басом и богатством своего лексикона. Никогда он не говорил просто «Корнель», но обязательно — «возвышенный Корнель»; Расин был «сладостный Расин». Вольтер—о, Вольтер! «Во всех жанрах он всегда на втором месте, у него больше остроумия, нежели гения, и тем не менее он — гениальный человек!» Руссо — «сумрачная душа, человек непомерной гордыни, кончивший тем, что повесился». Нестерпимо нудно рассказывал он пошлые анекдоты о Пироне, который слывет в кругу буржуазии человеком необычайным. Страстный поклонник кулис, он был несколько склонен к игривости и непристойным разговорам; по примеру старика Кардо и богача Камюзо он содержал любовницу. Нередко г-жа Матифа, видя, что муж собирается рассказать какой-нибудь анекдот, говорила ему: «Пузанчик, подумай прежде о том, что собираешься рассказать». Она запросто называла его «пузанчик». Эта пышнотелая королева из москательной лавки заставила мадемуазель де Фонтэн изменить своей аристократической выдержке: высокомерная девица не удержалась от улыбки, услышав, как г-жа Матифа сказала: «Не набрасывайся на мороженое, пузанчик, это дурной тон».

Труднее, пожалуй, объяснить разницу между высшим светом и буржуазией, чем буржуазии эту разницу уничтожить. Все эти женщины, стесненные бальными туалетами, чувствовали себя расфранченными и простодушно выражали свою радость, доказывавшую, что бал был редким событием в их хлопотливой жизни; тогда как три дамы, каждая из которых представляла определенный круг высшего света, чувствовали себя совершенно спокойно, не казались нарочито блистающими своими туалетами, не любовались, словно необычайным чудом, своими драгоценностями, не беспокоились о впечатлении, какое они производят; всякая забота о туалете кончалась для них, когда они, в последний раз оглядев себя, отходили от зеркала; на балу их лица не выражали ничего

необычайного, они танцевали с той непринужденной грацией, какую неведомые гении запечатлели в античных статуях. Наоборот, остальные женщины, отягощенные заботами, сохраняли вульгарные позы и не знали меры в веселье; взгляды их были излишне любопытны, голоса, не привыкшие к тому легкому шепоту, который придает бальным разговорам неподражаемую пикантность, были чрезмерно громки; главное же — им не была свойственна ни насмешливая серьезность, содержавшая в себе зародыш эпиграммы, ни спокойствие, присущее людям, привыкшим всегда владеть собой. Поэтому г-жа Рабурден, г-жа Жюль Демаре и мадемуазель де Фонтэн заранее предвкушали, как славно они позабавятся на балу у парфюмера; среди всех этих буржуазок они выделялись своей мягкой грацией, безупречной элегантностью туалетов, кокетливым изяществом; они блистали, как блистает примадонна оперы среди тяжелой кавалерии статисток. На них смотрели с растерянностью и завистью. Г-жа Роген, Констанс и Цезарина служили своего рода соединительным звеном между коммерческим миром и тремя аристократическими особами.

Как и на всех балах, на празднике Бирото наступил момент оживления, когда потоки света, веселье, музыка и танцы вызывают опьянение и все эти оттенки исчезают в общем подъеме. Бал становился шумным, и мадемуазель де Фонтэн решила удалиться; но только собралась она опереться на руку почтенного вандейца, как Бирото, его жена и дочь подбежали к ней, чтобы помешать аристократии покинуть их бал.

— Квартира обставлена с большим вкусом, вы меня, право, очень удивили,— заявила парфюмеру дерзкая девица,— поздравляю вас.

Упиваясь всеобщими похвалами и поздравлениями, Бирото не понял обиды, но жена его покраснела и ничего не ответила.

— Настоящий национальный праздник, он делает вам честь,— сказал Камюзо.

— Бал был на редкость удачен,— сказал г-н де ла Биллардиер, солгав по своей обязанности легко и любезно.

Бирото все комплименты принимал за чистую монету.

— Что за восхитительное зрелище! Какой прекрас-

ный оркестр. Вы теперь часто будете давать балы? — спросила г-жа Леба.

— Какая очаровательная квартира! Она отделана по вашему вкусу? — вставила г-жа Демаре.

Бирото, покривив душой, заверил, что обстановка выбрана им самим.

Цезарина, которую приглашали на все танцы, оценила деликатность Ансельма.

— Думай я только о собственном удовольствии,— шепнул он ей, когда выходили из-за стола,— я попросил бы у вас хотя бы одну кадриль, но боюсь, мое счастье обошлось бы слишком дорого и вашему и моему самолюбию.

Однако Цезарина, которая находила походку мужчин неизящной, если они не хромали, решила открыть бал с Попино. Ансельм, ободренный теткой, посоветовавшей ему быть смелее, дерзнул признаться в любви этой очаровательной девушке, танцуя с ней кадриль, но он говорил намеками, к каким прибегают робкие влюбленные.

— Мое состояние зависит от вас, мадемуазель.

— Как вас понять?

— Лишь надежда может побудить меня добиваться его.

— Надейтесь.

— Понимаете ли вы, как много говорит мне это слово? — воскликнул Попино.

— Надейтесь на успех,— ответила Цезарина с лукавой улыбкой.

— Годиссар, Годиссар! — взволнованно говорил после кадрили Ансельм своему другу, с геркулесовой силой сжимая его руку.— Добейся успеха, или я пущу себе пулю в лоб. Успех — это женитьба на Цезарине, она сама так говорит, а ты только посмотри, как она хороша!

— Да, она хорошенькая и притом богата,— заметил Годиссар.— Мы ее подрумяним на нашем масле.

Госпожа Бирото заметила добрые отношения, установившиеся между мадемуазель Лурдуа и Александром Кротта, будущим преемником Рогена; не без сожаления отказывалась она от мысли видеть свою дочь женою парижского нотариуса. Дядя Пилъеро, раскланявшись с маленьким Молине, уселся в кресле у книжного шкафа: он посматривал на игроков, прислушивался к разговорам

и время от времени подходил к дверям поглядеть на пляску цветочных корзин, на которые походили головы дам, танцевавших мулине. Он держался как истый философ. Мужчины были на редкость неинтересны, за исключением дю Тийе, уже успевшего перенять светские манеры, будущего денди — молодого де ла Биллардиера, г-на Жюля Демаре и официальных лиц. Но среди массы смехотворных физиономий, которым это празднество было обязано своим общим характером, внимание привлекала одна, особенно потертая, словно монета в сто су времен Республики; нелепость этого лица подчеркивал костюм. Читатель, вероятно, догадался, что речь идет о самодуре из Батавского подворья. Молине блистал тонким, пожелтевшим в шкафу бельем и выставленным напоказ унаследованным от предков кружевным жабо, которое было приколото булавкой с голубоватой камеей; короткие черные шелковые панталоны облегали журавлиные ноги — непрочную опору его тела. Цезарь с гордостью показал ему четыре комнаты, перестроенные архитектором во втором этаже дома.

— Н-да, сударь, это ваше дело! — сказал Молине.— А в таком виде мой второй этаж будет стоить свыше тысячи экю.

Бирото ответил шуткой, но почувствовал словно булавочный укол,— его задел тон старикашки.

«Ко мне скоро вернется мой второй этаж, этот человек разорится!» — таков был смысл замечания Молине, а слова его «будет стоить», точно когтями, царапнули Цезаря.

Бледная физиономия и хищный взгляд домовладельца поразили дю Тийе; внимание его уже ранее привлекала часовая цепочка с навешанным на нее целым фунтом разнообразных звенящих брелоков и зеленый в светлую нитку фрак с нелепо поднятым воротником, который придавал старику сходство с гремучей змеей. Банкир подошел поговорить с этим маленьким ростовщиком, желая узнать, по какому случаю тот решил развлечься.

— Вот, сударь,— заявил Молине, ступая одной ногой в будуар,— здесь я нахожусь во владениях графа де Гранвиля; но здесь,— прибавил он, указывая на другую ногу,— я нахожусь в своих собственных владениях, ибо эта комната расположена в моем доме.

Молине охотно пускался в разговоры со всяким, кто его слушал; очарованный вниманием дю Тийе, он, рисуясь, стал рассказывать о своих привычках, о наглости г-на Жандрена и о своем соглашении с парфюмером, прибавив, что без этого не бывать бы балу.

— Вот как! Господин Цезарь уплатил вам квартирную плату вперед? — сказал дю Тийе.— Это не в его привычках.

— О, я его упросил, я умею ладить со своими жильцами!

«Если папаша Бирото обанкротится,— подумал дю Тийе,— этот старикашка, бесспорно, будет превосходным синдиком конкурсного управления. Его придирчивость — драгоценное качество. Дома он, наверно, как Домициан, развлекается тем, что ловит и давит мух».

Дю Тийе сел за карты, за которые уже засел послушный его требованиям Клапарон. Г-н дю Тийе рассчитывал, что, сидя за карточным столом в тени от абажура, его подставной банкир избежит внимательных взглядов. Разговаривали они друг с другом, как совершенно незнакомые люди, и даже самый подозрительный наблюдатель не заметил бы никакого сговора между ними. Годисар, хорошо знавший Клапарона, не решился подойти к нему, встретив высокомерный и холодный взгляд выскочки, не пожелавшего поздороваться с товарищем.

Бал, подобно сверкающей ракете, потух к пяти часам утра. К этому времени из ста с лишним фиакров, запрудивших улицу Сент-Оноре, оставалось не более сорока. Гости танцевали уже буланжер и котильон, позднее вытесненные английским галопом. Дю Тийе, Роген, Кардо-младший, граф де Гранвиль, Жюль Демаре играли в буйот. Дю Тийе выиграл три тысячи франков. Наступил рассвет, пламя свечей померкло, и игроки пошли посмотреть на последнюю кадриль. В буржуазных домах последняя вспышка веселья почти всегда сопровождается какими-нибудь крайностями. Важные гости разъехались, опьянение пляской, духота, спирт, скрытый в самых, казалось бы, невинных напитках, смягчили чопорность пожилых дам, они снисходительно принимают участие в кадрили и на минуту предаются безудержному веселью; мужчины разгорячены, развившиеся пряди волос свисают на лица и придают им странное и забавное выраже-

ние; молодые женщины становятся легкомысленными, цветы из их причесок опадают. На сцену выступает буржуазный Момус со всеми своими проказами. Раздаются громкие взрывы хохота, каждый отдается веселью, помня, что завтра заботы снова предъявят свои права. Матифа плясал с дамской шляпкой на голове; Селестен передразнивал присутствующих; некоторые дамы с остервенением хлопали в ладоши, когда того требовали фигуры бесконечной кадрили.

— Как они веселятся! — воскликнул довольный Бирото.

— Только бы они ничего не разбили,— шепнула Констанс своему дяде.

— Вы дали блестящий бал, таких балов я не видел, а видывал я их немало,— сказал дю Тийе, прощаясь со своим бывшим хозяином.

Среди восьми симфоний Бетховена есть одна фантазия, величественная поэма, которой заканчивается финал симфонии до-минор. Когда после медлительных подступов великого чародея, столь прекрасно понятого Габенеком, по мановению руки вдохновенного дирижера взвивается роскошная завеса над декорацией, смычок выводит восхитительный мотив, в котором воплощается вся пленительная сила музыки; поэты, чьи сердца тогда трепещут, верно, поймут, что бал оказал на Бирото то же действие, какое производят на их души живительные звуки этой финальной мелодии, благодаря которой симфония до-минор превосходит своих блистательных сестер. Лучезарная фея, подняв волшебную палочку, несется вперед. Слышится шелест пурпурных шелковых занавесей, раздвигаемых ангелами. Скульптурные двери из золота, подобные дверям флорентийской часовни, поворачиваются на алмазных петлях. Взор ослеплен великолепием открывшихся ему чертогов чудесного дворца, откуда появляются неземные существа. Курятся благовония блаженства, сверкает алтарь счастья, воздух напоен ароматами! Перед вами проносятся нежные существа с божественной улыбкой в белых с голубым туниках, пленяя нечеловеческой красотою лица и воздушной стройностью стана. Порхают амуры с пылающими факелами! Вы чувствуете себя любимым, вы упиваетесь счастьем, вы вдыхаете его, погружаясь в волны гармонии, она струится и

изливает на каждого амброзию, которой он жаждет. Сердцем своим вы устремляетесь к тайным надеждам, и на мгновение они осуществляются. Чародей сначала возносит вас на небеса, затем могучей и таинственной силой басов низвергает в болото холодной действительности, чтобы вновь вознести ввысь, когда, взалкав божественных мелодий, душа ваша молит: «Еще!» Смену переживаний человеческой души, отраженную в самых волнующих аккордах этой финальной мелодии, можно назвать историей чувств, пережитых супругами Бирото в вечер их праздника. Коллине сыграл на флейте финал их коммерческой симфонии.

Утомленные, но счастливые члены семьи Бирото задремали под утро, когда замерли отзвуки бала; строительные работы, ремонт, обстановка, угощение, туалеты, оплаченная Цезариной библиотека, все вместе стоило,— чего Цезарь и не предполагал,— шестьдесят тысяч франков. Вот как дорого обошлась роковая красная ленточка, пожалованная королем парфюмеру. Случись беда с Цезарем Бирото, и эти безумные траты окажутся достаточными, чтобы предать его в руки исправительной полиции. Купец может быть обвинен в банкротстве по неосмотрительности, если траты его признают чрезмерными. Предстать перед шестым отделением судебной палаты из-за какой-либо пустяковой ошибки или неосторожного шага, пожалуй, страшнее, чем оказаться перед судом присяжных за крупное мошенничество. В глазах некоторых людей лучше быть преступником, нежели глупцом.

II

ЦЕЗАРЬ В БОРЬБЕ С НЕСЧАСТЬЕМ

Через неделю после этого празднества — последней вспышки длившегося восемнадцать лет и готового угаснуть благоденствия — Цезарь смотрел из окна своей лавки на прохожих, размышляя о размахе своих коммерческих дел, начинавших тяготить его. Жизнь его до той поры была несложной: он изготовлял и продавал парфюмерные товары или покупал и перепродавал их. Теперь же спекуляция земельными участками, пай в торговом доме «А. Попино и К°», необходимость изыскать сто

шестьдесят тысяч франков — а для этого потребуются либо новые операции с векселями, что будет очень не по вкусу жене, либо невероятное преуспеяние Попино — все пугало беднягу сложностью расчетов; он чувствовал, что в руках у него слишком много клубков и ему не удержать всех нитей. Как поведет Ансельм свое дело? Цезарь относился к Попино, как учитель риторики относится к своему ученику,— не доверял его способностям и сожалел, что не стоит за его спиной. Пинок, которым он наградил Ансельма, чтобы заставить его замолчать у Воклена, показывает, что парфюмер не слишком-то полагался на молодого купца. Бирото, старавшийся ничем себя не выдать жене, дочери или старшему приказчику, походил на простого лодочника с Сены, которому министр неожиданно поручил бы командовать фрегатом. Эти мысли словно туманом окутывали его мозг, мало приспособленный для размышлений, и, стоя у окна, он пытался разобраться в них. В это время на улице показался человек, внушавший ему живейшую антипатию,— его второй домохозяин, маленький Молине. Каждому случалось видеть сны, полные событий, словно отражающие всю жизнь, в которых снова и снова появляется некое фантастическое и зловещее существо — предвестник несчастий, играющий роль театрального злодея. Бирото казалось, что Молине по воле случая суждено сыграть в его жизни такую роль. На празднестве лицо старикашки было искажено дьявольской гримасой и глаза его злобно взирали на пышность торжества. Вновь увидя Молине, Цезарь тотчас же вспомнил о неблагоприятном впечатлении, произведенном на него «старым сквалыгой» (любимое словечко Бирото), ибо, внезапно появившись и прервав ход его размышлений, старикашка вызвал у парфюмера новый прилив отвращения.

— Сударь,— начал маленький человечек своим невыносимо слащавым голоском,— мы столь поспешно состряпали наше соглашение, что вы позабыли поставить на нем свою подпись.

Бирото взял контракт, чтобы исправить упущение. Вошел архитектор; он поздоровался с парфюмером и стал вертеться вокруг него с дипломатическим видом.

— Сударь,— шепнул он наконец Цезарю на ухо,— вы знаете, как трудно приходится всякому начинающе-

му; вы мной довольны, и я был бы вам чрезвычайно признателен, если бы вы со мною рассчитались.

Бирото, оставшийся без гроша, ибо, издержав наличные деньги, он пустил в ход и все свои ценные бумаги, велел Селестену заготовить вексель на две тысячи франков сроком на три месяца и составить расписку.

— Как мне повезло, что вы обязались внести квартирную плату за вашего соседа,— со скрытой насмешкой проговорил Молине.— Привратник предупредил меня нынче утром, что Кейрон сбежал и мировой судья наложил печати на имущество этого молодчика.

«Не попасться бы мне на пять тысяч франков!» — подумал Бирото.

— А ведь все считали, что дела у него идут превосходно,— сказал Лурдуа, который вошел в это время, чтобы вручить парфюмеру счет.

— Коммерсант застрахован от превратностей судьбы, только удалившись от дел,— изрек маленький Молине, тщательно складывая контракт.

Архитектор оглядел старикашку с тем удовольствием, какое испытывает любой художник при виде карикатуры, подтверждающей его мнение о буржуа.

— Когда над головой зонт, обычно думают, что дождя бояться нечего,— сказал Грендо.

Молине посмотрел с подчеркнутым интересом не в лицо архитектору, а на его усы и эспаньолку и преисполнился к Грендо таким же презрением, какое тот испытывал к нему; старикашка задержался в лавке с тем, чтобы, уходя, запустить в архитектора когти. Живя среди своих кошек, Молине многое у них позаимствовал: нечто кошачье было и в его повадках и в выражении глаз.

Вошли Рагон и Пильеро.

— Мы говорили о нашем деле с судьей,— сказал Рагон на ухо Цезарю,— он утверждает, что при спекуляциях такого рода требуется расписка продавцов и ввод во владение, чтобы всем нам стать законными совладельцами...

— А, вы участвуете в деле с покупкой земли в районе церкви Мадлен? — заинтересовался Лурдуа.— Об этом много толков,— говорят, там будут строиться дома!

Подрядчик-маляр, явившийся, чтобы получить по

счету, решил, что ему, пожалуй, выгодней не торопить парфюмера.

— Я вам представил счет, потому что год кончается,— шепнул он Цезарю на ухо,— но мне не к спеху.

— Да что с тобой, Цезарь? — спросил Пильеро, заметив удивление племянника, который так был огорошен счетом, что не отвечал ни Рагону, ни Лурдуа.

— Ах, пустяки! Я согласился взять у соседа, торговца зонтами, на пять тысяч франков векселей, а он прогорел. Если он подсунул мне негодные векселя, я попался, как олух.

— Ведь я давно вам говорил,— воскликнул Рагон,— утопающий для своего спасения способен схватить за ногу родного отца и топит его вместе с собой! Уж я-то насмотрелся на банкротства! Когда человек прекращает платежи, он еще не мошенник: он становится им позже— по необходимости.

— Это верно,— заметил Пильеро.

— Если я попаду когда-нибудь в палату депутатов или приобрету какое-либо влияние в правительственных кругах...— начал Бирото, приподнимаясь на носки и опускаясь на пятки.

— Что же вы сделаете? — спросил Лурдуа.— Ведь у вас — ума палата.

Молине, которого интересовало любое обсуждение вопросов права и законности, задержался в лавке; а так как, заметив внимание других, и сам становишься внимательней,— Пильеро и Рагон, знавшие взгляды Цезаря, слушали его так же сосредоточенно, как и трое посторонних.

— Я предложил бы учредить трибунал несменяемых судей с участием прокурора, как в уголовном суде,— сказал парфюмер.— По окончании следствия, во время которого обязанности нынешних агентов, синдиков и присяжного попечителя выполняет непосредственно сам судья, купец может быть признан *несостоятельным должником с правом реабилитации* или *банкротом.* Несостоятельный должник с правом реабилитации обязан уплатить все полностью; он становится хранителем как своего имущества, так и имущества жены; а все права его, включая право наследования, принадлежат с этого момента кредиторам; он продолжает вести свои дела в их

пользу и под их наблюдением, подписываясь при этом *«несостоятельный должник такой-то»* — вплоть до полного погашения долга. Банкрот же присуждается, как встарь, к двухчасовому стоянию у позорного столба в зале Биржи с зеленым колпаком на голове. Все его имущество, равно как и имущество его жены, и все его права переходят к кредиторам, а его самого изгоняют из пределов королевства.

— Торговля стала бы надежней,— заметил Лурдуа,— каждому пришлось бы хорошенько подумать, прежде чем заключить какую-либо сделку.

— Существующий закон не соблюдается,— с раздражением сказал Цезарь.— Из ста купцов более пятидесяти так расширяют торговые обороты, что на семьдесят пять процентов не могут покрыть свои обязательства или же продают товары на двадцать пять процентов ниже настоящей цены и этим подрывают торговлю.

— Господин Бирото прав,— поддержал Цезаря Молине.— Действующий закон слишком мягок. Банкрот должен выбрать одно из двух: либо полный отказ от своего имущества, либо бесчестье.

— Черт побери! — воскликнул Цезарь.— Если так будет продолжаться, купец скоро станет заправским вором. Пользуясь своей подписью, он может запускать руку в любую кассу.

— Вы не слишком-то снисходительны, господин Бирото,— заметил Лурдуа.

— Он прав,— сказал старик Рагон.

— Все несостоятельные должники подозрительны,— изрек Цезарь, раздраженный денежной потерей, ошеломившей его, как первый клич охотника ошеломляет преследуемого оленя.

В это время метрдотель принес ему счет от Шеве. Затем явился мальчишка из кондитерской Феликса, лакей из «Кафе Фуа», кларнетист от Коллине — каждый со счетом.

— Час расплаты,— с улыбкой заметил Рагон.

— Да, вы задали пир на славу,— сказал Лурдуа.

— Я занят,— заявил Цезарь всем посланцам, и они удалились, оставив счета.

— Господин Грендо,— обратился Лурдуа к архитектору, заметив, что тот складывает подписанный Бирото

«ИСТОРИЯ ВЕЛИЧИЯ И ПАДЕНИЯ ЦЕЗАРЯ БИРОТО».

«БАНКИРСКИЙ ДОМ НУСИНГЕНА»

вексель,— проверьте и подведите, пожалуйста, мой счет; осталось только произвести обмер — о ценах ведь вы со мной уже условились от имени господина Бирото.

Пильеро посмотрел сперва на Лурдуа, потом на Грендо.

— Архитектор с подрядчиком договаривались о ценах,— шепнул он на ухо племяннику,— хорошо же тебя обобрали.

Грендо вышел, Молине последовал за ним и с таинственным видом обратился к архитектору.

— Сударь,— сказал он Грендо,— хоть вы меня слушали, но, видно, не поняли: желаю вам завести зонт.

Грендо охватил страх. Чем менее законен барыш, тем упорнее за него держатся: такова уж человеческая натура. Архитектор, не жалея времени, с увлечением изучал квартиру парфюмера, вкладывая в это все свои познания, трудов он потратил на десяток тысяч франков, но из-за собственного тщеславия продешевил, и подрядчикам не стоило поэтому больших усилий соблазнить его. Однако самый неотразимый аргумент — возможность поживиться — и хорошо понятая угроза повредить ему клеветою не так сильно на него подействовали, как высказанное Лурдуа соображение о деле с земельными участками в районе церкви Мадлен: Бирото, видимо, не намерен строить там дома, он попросту спекулирует на цене участков. Архитекторы и подрядчики столь же тесно между собой связаны, как драматурги и актеры: они друг от друга зависят. Грендо, которому Бирото поручил договориться о ценах, держал руку подрядчиков против буржуа. Поэтому трое крупных подрядчиков — Лурдуа, Шафару и плотник Торен — заявили, что он *прекрасный малый* и что *работать с ним — одно удовольствие*. Грендо стало ясно, что счета, в которых он имел долю, так же как и его гонорар, будут оплачены векселями, а старикашка Молине вселил в него сомнение в надежности этих векселей. И архитектор решил быть безжалостным, как и подобает художникам, людям беспощадным к буржуа. К концу декабря у Цезаря набралось на шестьдесят тысяч франков счетов. Феликс, «Кафе Фуа», Танрад и мелкие кредиторы, которым полагается платить наличными, по три раза присылали к парфюмеру. Подобные мелочи в торговом деле хуже катастрофы,

они — ее предвестники. Когда убыток выяснен, размер бедствия определился, но паника не знает границ. Касса Бирото была пуста. Страх охватил парфюмера: за всю его деловую жизнь с ним ничего подобного еще не случалось. Как и все, кого не закалила долгая борьба с нуждой, Цезарь был слаб духом, и положение, столь обычное для большинства мелких парижских торговцев, привело его в полное смятение.

Парфюмер приказал Селестену разослать клиентам счета; но ему дважды пришлось повторить свое приказание, прежде чем старший приказчик исполнил его. Клиенты — как называли торжественно своих покупателей розничные торговцы (Цезарь также употреблял это выражение вопреки протестам жены, заявившей ему в конце концов: «Называй их как знаешь, пусть только платят»),— клиенты были большей частью люди богатые, от которых никогда не приходилось терпеть убытков, но платили они по счетам, когда вздумается, и нередко оставались должны Цезарю до пятидесяти — шестидесяти тысяч франков. Младший приказчик взял книгу счетов и начал выписывать самые крупные из них. Цезарь побаивался супруги. Чтобы скрыть от нее уныние, в которое ввергнул его вихрь бедствий, он собирался выйти из дому.

— Добрый день, сударь,— сказал Грендо с развязностью, которую напускают на себя обычно художники, собираясь говорить о денежных делах, по их утверждению им совершенно чуждых.— Мне ни гроша не удалось получить по вашему векселю и приходится просить вас обменять его на звонкую монету. Я крайне сожалею, что вынужден на этом настаивать; но мне не хотелось бы обращаться к ростовщикам — настолько-то я смыслю в коммерции, чтобы понимать, что таким путем я подорву ваш кредит; поэтому в ваших же интересах...

— Сударь,— сказал опешивший Бирото,— говорите, пожалуйста, потише, вы меня просто ошеломили.

Вошел Лурдуа.

— Понимаете, Лурдуа...— обратился к нему Бирото, улыбаясь.

Но он тут же запнулся. Бедняга собирался было, посмеявшись над архитектором, простодушно попросить Лурдуа,— как это может разрешить себе уверенный в

своей кредитоспособности купец,— взять вексель у Грендо; но, заметив мрачный вид Лурдуа, он ужаснулся своей неосторожности. Невинная шутка могла оказаться смертельной для его поколебавшегося кредита. Богатый купец в таких случаях берет свой вексель обратно и больше никому его уже не предлагает. У Бирото закружилась голова, словно он заглянул в разверзшуюся перед ним бездну.

— Дорогой господин Бирото,— сказал Лурдуа, увлекая парфюмера в глубь лавки,— обмер произведен, счет мой подведен и проверен, приготовьте мне, пожалуйста, к завтрашнему дню деньги. Я выдаю дочь замуж за молодого нотариуса Кротта, а ему подавай наличными: нотариусам векселей учитывать не полагается, да к тому же я никогда векселей не подписывал.

— Пришлите послезавтра,— гордо ответил Бирото, надеявшийся получить по счетам,— и вы, сударь, также,— обратился он к Грендо.

— А почему не сейчас? — осведомился архитектор.

— Я должен рассчитаться с рабочими на фабрике,— ответил никогда прежде не лгавший Цезарь.

Бирото взял шляпу, собираясь выйти вместе с подрядчиком и архитектором. Но едва он переступил через порог, его остановили каменщик, Торен и Шафару.

— Сударь,— обратился к нему Шафару,— нам до зарезу нужны деньги.

— Ну, знаете ли, у меня ведь нет золотых россыпей в Перу,— заявил выведенный из терпения Цезарь, стремительно отходя от них. «Это неспроста! Проклятый бал! Все теперь считают меня миллионером! У Лурдуа был, однако, какой-то странный вид,— подумал он,—тут что-то неладно!»

В полной растерянности он побрел бесцельно по улице Сент-Оноре и на одном из перекрестков наскочил на Александра Кротта, как натыкается на прохожих поглощенный решением задачи математик или баран налетает на барана.

— Ах, сударь,— обратился к нему будущий нотариус,— один вопрос! Передал ли Роген ваши четыреста тысяч франков Клапарону?

— Да ведь все происходило на ваших глазах. Господин Клапарон не дал мне никакой расписки... Мои вексе-

ля надо было еще учесть... Роген должен был передать ему... моих двести сорок тысяч франков наличными... было условлено, что запродажные будут окончательно оформлены... Господин Попино, судья, полагает... расписка... Но... Почему вы задаете мне этот вопрос?

— Почему я задаю вам подобный вопрос? Да чтобы узнать, где ваши двести сорок тысяч франков — у Клапарона или у Рогена. Роген был связан с вами узами столь многолетней дружбы, что мог бы, щадя вас, передать эти деньги Клапарону, и вы бы счастливо отделались! Но где же у меня голова? Он увез их, конечно, вместе с деньгами господина Клапарона — тот, к счастью, успел ему дать лишь сто тысяч франков. Роген сбежал, от меня он получил сто тысяч франков за свою контору — без всякой расписки, я их доверил ему, как доверил бы вам свой кошелек. Продавцам участков он не дал ни гроша — они только что у меня были. Денег по закладной на ваши земельные участки не оказалось — ни на ваше имя, ни на имя вашего заимодавца: Роген растратил их, как и ваши сто тысяч франков... их у него уже давным-давно не было... Да и вторая ваша сотня тысяч франков также взята; вспоминаю, что сам же ходил за нею в банк.

Зрачки Цезаря непомерно расширились, и все перед его глазами затянулось огненно-красной пеленой.

— Ваши сто тысяч франков, взятые из банка, мои сто тысяч за нотариальную контору, сто тысяч господина Клапарона — словом, Роген свистнул триста тысяч франков, не считая краж, которые еще обнаружатся,— продолжал молодой нотариус.— Госпожа Роген в отчаянном состоянии, господин дю Тийе не отходил от нее всю ночь. Сам-то дю Тийе дешево отделался! Роген целый месяц приставал к нему, пытаясь втянуть в аферу с земельными участками; но все средства дю Тийе были вложены, к счастью для него, в какую-то спекуляцию банкирского дома Нусингена. Роген оставил жене ужасное письмо — я только что прочел его. Оказывается, он целых пять лет расхищал фонды своих клиентов, и для чего бы вы думали? — Для любовницы, Прекрасной Голландки; он расстался с ней за две недели до того, как сбежал. Эта мотовка осталась без гроша, выдала векселя, и вся ее обстановка пошла с молотка. Она укрылась

от преследований в одном из заведений Пале-Руаля, и вчера вечером ее убил там какой-то капитан. Бог наказал ее, ведь это она, конечно, поглотила состояние Рогена. Есть женщины, для которых нет ничего святого; подумайте только, пустить по ветру нотариальную контору! Госпожа Роген останется без гроша, если не воспользуется своим законным правом на ипотеку,— имущество этого негодяя обременено долгами. Контора продана за триста тысяч франков. Я воображал, что сладил выгодное дельце! А вместо того заплатил на сто тысяч франков больше, чем следует: расписки у меня нет. Роген допускал такие злоупотребления, которые поглотят, пожалуй, и стоимость конторы и залог: если же я хотя бы заикнусь о своих ста тысячах франков,— кредиторы решат, что я сообщник Рогена, а ведь, вступая на новое поприще, приходится особенно беречь свою репутацию. Вы получите не больше тридцати за сто. В мои годы влопаться вдруг в такую историю! А Роген-то!.. Человек в шестьдесят лет разорился из-за женщины!.. Старый плут! Три недели назад этот изверг сказал мне, чтобы я не женился на Цезарине, что вы останетесь вскоре без куска хлеба!

Александр мог бы еще долго разглагольствовать: Бирото застыл перед ним в неподвижности, словно громом пораженный. Что ни фраза — удар обухом по голове. Он ничего не слышал, кроме звона погребального колокола, как ничего сперва не видел, кроме полыхавшего перед ним пламени пожара. Александр Кротта, считавший почтенного парфюмера человеком сильным и стойким, был испуган его неподвижностью и бледностью. Преемник Рогена не знал, что нотариус похитил у Цезаря не одно только его состояние. У Бирото, человека глубоко верующего, мелькнула мысль о самоубийстве. В таких случаях кажется логичным покончить с собой — избегнуть тысячи смертей, предпочтя им одну. Александр Кротта взял Цезаря под руку и хотел повести его, но это оказалось невозможным: у парфюмера, как у пьяного, подкашивались ноги.

— Что с вами? — спрашивал Кротта.— Дорогой господин Бирото, мужайтесь! Ведь не все еще потеряно! Вы получите к тому же обратно свои сорок тысяч франков: у заимодавца такой суммы не оказалось в наличии,

и она вам выплачена не была — есть основание требовать признания договора недействительным.

— Бал... орден, векселей на двести тысяч... пустая касса... Рагоны... Пильеро... И жена все это предвидела!

Поток бессвязных слов, порожденный нахлынувшими мучительными мыслями и невыносимыми душевными терзаниями, точно градом побил все цветники «Королевы роз».

— Я хотел бы, чтобы с меня сняли голову,— вырвалось, наконец, у Бирото,— она ни к чему мне... только мешает.

— Бедный папаша Бирото! — воскликнул Александр.— Неужели вам грозит разорение?

— Разорение!

— Ну, не падайте же духом, нужно бороться!

— Бороться! — повторил парфюмер.

— Дю Тийе был у вас приказчиком, он человек с головой, он вам поможет.

— Дю Тийе?

— Пойдемте же!

— Господи! Я не хотел бы в таком виде возвращаться домой,— сказал Бирото.— Вы ведь мне друг — если только существуют на свете друзья,— вы всегда мне внушали симпатию, вы у меня обедали,— ради моей жены прошу вас, Ксандро, помогите мне сесть в фиакр и поедемте со мной.

Новоиспеченный нотариус с трудом втащил в фиакр бесчувственное тело, именовавшееся Цезарем Бирото.

— Ксандро,— сказал парфюмер прерывающимся от слез голосом, ибо из глаз его в эту минуту хлынули слезы и голове его, словно сжатой железным обручем, стало немного легче,— поедем ко мне, вы поговорите вместо меня с Селестеном. Друг мой, скажите ему, что для меня и для моей жены это вопрос жизни. Пусть никто, ни под каким видом, не болтает об исчезновении Рогена. Вызовите Цезарину и попросите ее следить, чтобы при жене не заговорили об этой истории. Нужно остерегаться наших лучших друзей — Рагонов, Пильеро, всех, всех...

Кротта был поражен изменившимся голосом Бирото, он понял, какое значение для парфюмера имело это распоряжение. Улица Сент-Оноре была по пути к дому судьи Попино, и Александр исполнил просьбу парфюме-

ра; Селестен и Цезарина с ужасом увидали в глубине фиакра безмолвного, бледного и словно отупевшего Цезаря.

— Все это должно оставаться в строжайшей тайне,— сказал им парфюмер.

«Ага,— подумал Ксандро,— он, кажется, приходит в себя, а я уж было решил, что ему конец».

Совещание Александра Кротта со следователем длилось долго; послали за председателем нотариальной палаты; Цезаря, словно тюк, перетаскивали с места на место; он не шевелился и не проронил ни слова. В седьмом часу вечера Кротта отвез парфюмера домой. Мысль о том, что ему придется предстать перед Констанс, вернула Цезаря к жизни. Молодой нотариус проявил к нему участие: он прошел вперед и предупредил г-жу Бирото, что с мужем ее приключилось нечто вроде удара.

— У него помутилось в голове,— сказал он с жестом, которым обычно показывают, что человек тронулся,— придется, вероятно, пустить ему кровь или поставить пиявки.

— Этого следовало ожидать,— сказала Констанс, бесконечно далекая от мысли о разорении,— он не принимал в начале зимы прописанной ему микстуры, а два последних месяца работал, как каторжный, словно ему нужно было заработать на кусок хлеба.

Упросив Цезаря лечь в постель, жена и дочь послали за стариком Одри, врачом, лечившим Бирото. Одри напоминал мольеровских лекарей: опытный врач и любитель старинных рецептов, он пичкал своих больных всякими снадобьями не хуже любого знахаря. Он явился и, ограничившись наружным осмотром Цезаря, предписал поставить ему немедленно горчичники к подошвам ног: он нашел признаки кровоизлияния в мозг.

— Чем же это могло быть вызвано? — спросила Констанс.

— Сырой погодой,— ответил доктор, которому Цезарина успела шепнуть несколько слов.

Врачам нередко приходится изрекать заведомые глупости, чтобы спасти жизнь или честь окружающих больного здоровых людей. Старый врач, много на своем веку повидавший, понял все с полуслова. Цезарина вышла за ним на лестницу спросить о режиме для больного.

— Тишина и покой,— ответил врач,— а потом, когда голове станет легче, попытаемся дать ему что-нибудь укрепляющее.

Госпожа Бирото провела двое суток у изголовья мужа, который, казалось ей, часто бредил. Его поместили в нарядной голубой спальне жены, и, глядя на драпировки, мебель, на всю дорого стоившую роскошь, Бирото бормотал какие-то непонятные Констанс слова.

— Он помешался,— сказала она дочери, когда Цезарь, приподнявшись на своем ложе, стал торжественным голосом повторять отрывки из параграфов торгового устава:

— «Если траты признаны чрезмерными!..» Снимите драпировки!

После трех ужасных дней, когда боялись за рассудок Цезаря, здоровый организм туренского крестьянина взял верх — в голове у Бирото прояснилось; врач предписал ему сердечные средства и усиленное питание. Однажды, выпив чашку крепкого кофе, Бирото ощутил прилив бодрости и почувствовал себя здоровым. Тогда слегла Констанс.

— Бедняжка! — сказал Цезарь, видя, что она заснула.

— Мужайтесь, папа! Вы такой выдающийся человек, вы, конечно, справитесь с бедой. Все уладится. Ансельм вам поможет.

Слова эти были сказаны таким нежным голосом, Цезарина вложила в них столько любви, сделавшей их еще проникновенней, что они могли бы вернуть мужество самому удрученному человеку,— так спетая матерью колыбельная песня убаюкивает ребенка, у которого режутся зубки.

— Да, дочь моя, я буду бороться; но никому об этом ни слова — ни Попино, хоть он и любит нас, ни дяде Пильеро. Я первым долгом напишу брату: он, кажется, каноник, викарий собора и, верно, ничего не тратит, у него должны водиться деньги. Откладывая хотя бы по тысяче экю в год, он вполне мог скопить за двадцать лет до ста тысяч франков. В провинции священники пользуются большим влиянием.

Цезарина принесла отцу маленький столик; торопясь подать ему все необходимое для письма, она захватила

также и оставшиеся приглашения на бал, отпечатанные на розовой бумаге.

— Сожги все это! — крикнул купец.— Только дьявол мог внушить мне мысль дать этот бал. Если не удастся избегнуть катастрофы, все будут считать, что я плут. Да, да, сожги! Без возражений!

Письмо Цезаря Франсуа Бирото

«Дорогой брат!

У меня сейчас такие тяжелые деловые затруднения, что я умоляю тебя прислать мне все деньги, какими ты можешь располагать, даже если бы тебе пришлось их занять для этого.

Твой Цезарь.

Твоя племянница Цезарина,— я пишу это письмо в ее присутствии, пользуясь тем, что моя бедная жена уснула,— просит передать тебе привет и нежно тебя целует».

Эта приписка сделана была по просьбе Цезарины, которая отнесла письмо Раге.

— Отец,— сказала она, вернувшись,— здесь господин Леба, он хочет поговорить с вами.

— Господин Леба! — испуганно воскликнул Цезарь, словно, разорившись, он стал преступником.— Судья!

— Дорогой господин Бирото, я принимаю в вас слишком горячее участие,— сказал, входя, богатый суконщик,— мы так давно знаем друг друга, вместе были избраны первый раз в судьи, я не могу не предупредить вас, что у некоего ростовщика Бидо, по прозвищу Житонне, имеются ваши векселя, переданные ему банкирским домом Клапарона *без поручительства*. Эти два слова — не только оскорбление, это — смерть вашему кредиту.

— Господин Клапарон желает вас видеть,— доложил вошедший Селестен,— может ли он к вам подняться?

— Сейчас мы узнаем, чем было вызвано это оскорбление,— сказал Леба.

— Сударь,— обратился парфюмер к вошедшему Клапарону,— это господин Леба, член коммерческого суда и мой друг...

— Ах, сударь, вы, стало быть, господин Леба,— перебил Клапарон,— господин Леба из коммерческого суда, господин Леба, к которому хорошо бы попасть на хлеба, есть ведь столько Леба...

— Он видел векселя, которые я вам выдал,— перебивая болтуна, продолжал Бирото,— вы уверяли, что они не будут пущены в обращение, а он их видел с надписью: *«без поручительства»*.

— Ну что ж,— сказал Клапарон,— они действительно не будут пущены в обращение. Они находятся в руках человека, с которым мы вместе ведем множество дел,— у папаши Бидо. Потому-то я и сделал надпись *«без поручительства»*. Если бы векселя должны были быть пущены в обращение, вы бы сделали на них обыкновенную бланковую надпись. Господин судья поймет мое положение. Что такое эти векселя? Цена недвижимости. Кем эта недвижимость должна быть оплачена? Бирото. Почему же вы хотите, чтобы я поручился за Бирото своей подписью? Каждый из нас должен внести свою долю. Так разве недостаточно нашего общего обязательства перед продавцами? Я придерживаюсь незыблемого коммерческого правила: не предоставлю без надобности своего поручительства, как не выдам расписки на не полученную еще сумму. Нужно все предусматривать. Кто даст свою подпись,— платит. А я не хочу быть вынужденным платить трижды.

— Трижды? — воскликнул Цезарь.

— Да, сударь,— ответил Клапарон.— Я поручился уже за Бирото перед продавцами участков, зачем же я буду еще ручаться за него и перед банкиром? Положение у нас сейчас не из легких, Роген увез у меня сто тысяч франков. Моя доля земельных участков обойдется мне, таким образом, уже не в четыреста, а в пятьсот тысяч франков. Роген увез также двести сорок тысяч франков Бирото. Что бы вы сделали, господин Леба, оказавшись в моем положении? Поставьте себя на мое место. Я имею честь быть вам известным не более, чем мне известен господин Бирото. Слушайте же внимательно. Мы с вами участвуем в деле на половинных началах; вы вносите вашу долю наличными деньгами; я рассчитываюсь за свою векселями; векселя эти я предлагаю вам; а вы — исключительно из любезности — беретесь обратить их в

деньги. И вот вы узнаете, что банкир Клапарон — человек богатый, уважаемый, наделенный, скажем, всеми добродетелями на свете,—что этот достойный Клапарон обанкротился и должен шесть миллионов франков. Согласитесь ли вы в этот самый момент поставить свою подпись на моих обязательствах? Да ведь это было бы безумием! Так вот, господин Леба, Бирото находится в таком именно положении, в какое я предположительно поставил Клапарона. Разве вам не ясно, что, помимо уплаты своей доли за участки, я, если поручусь за Бирото, вынужден буду уплатить еще и его долг в пределах суммы, на которую им выданы векселя, не получив при этом...

— Кому уплатить? — перебил его парфюмер.

— Не получив при этом его половины земельных участков,— продолжал Клапарон, не обращая внимания на вопрос Цезаря,— ибо никаких преимуществ у меня не будет и мне придется еще покупать тогда его половину. Вот и выходит — платить трижды.

— Но кому же платить? — снова спросил Бирото.

— Держателю векселей, конечно, если бы я сделал передаточную надпись, а с вами случилось бы несчастье.

— Я не прекращу платежей, сударь,— сказал Бирото.

— Прекрасно,— возразил Клапарон.— Но вы ведь были судьей, вы опытный коммерсант, вам известно, что следует все предвидеть, не удивляйтесь же, если я поступаю, как деловой человек.

— Господин Клапарон прав,— заметил Жозеф Леба.

— Я прав,— продолжал Клапарон,— прав с коммерческой точки зрения. Однако речь у нас идет о покупке земли. Так вот, что я должен получить?.. Деньги, ибо нам придется платить деньгами. Не будем уж говорить о двухстах сорока тысячах франков,— господин Бирото их достанет, я в этом не сомневаюсь,— сказал Клапарон, глядя на Леба.— Я пришел попросить у вас безделицу — двадцать пять тысяч франков,— продолжал он, обращаясь к Бирото.

— Двадцать пять тысяч франков! — воскликнул Цезарь, чувствуя, что у него кровь леденеет в жилах.— Но за что, сударь?

— Дорогой господин Бирото, мы должны совершить купчую в нотариальном порядке. Насчет оплаты участ-

ков мы можем еще между собой столковаться, но объясняться с казной — слуга покорный. Казна пустых слов не любит, долго ждать она не согласна, и нам на этой неделе придется выложить ей сорок четыре тысячи франков гербового сбора. Я, когда шел сюда, никак не ожидал упреков; полагая, что эти двадцать пять тысяч франков могут вас затруднить, я намеревался вам сообщить, что благодаря чистейшей случайности я спас для вас...

— Что? — воскликнул Бирото с явным отчаянием в голосе.

— Безделицу! Двадцать пять тысяч франков в принадлежащих вам векселях разных лиц, которые Роген поручил мне реализовать. Я произвел за вас расходы по их учету и пришлю вам счет; после оплаты вашей доли за совершение купчей вы мне останетесь должны всего лишь шесть или семь тысяч франков.

— Все это мне кажется вполне правильным,— заметил Леба.— Господин Клапарон, видимо, прекрасно разбирается в делах; в отношении незнакомого мне человека я поступил бы на его месте точно так же.

— Господин Бирото от этого не умрет,— сказал Клапарон,— старого волка одним выстрелом не уложишь; мне приходилось видеть волков с простреленной головой, и они бегали... да, черт меня побери! Как... ну, как настоящие волки...

— Кто бы подумал, что человек может совершить такую подлость, как Роген! — сказал Леба, пораженный молчанием Цезаря и размахом спекуляции, ничего общего с парфюмерией не имеющей.

— Я чуть было не выдал господину Бирото расписки в получении четырехсот тысяч франков,— сказал Клапарон.— Вот бы я влип! Только днем раньше я вручил Рогену сто тысяч франков. Спасло меня наше взаимное доверие. Всем нам казалось безразличным, где будут наши денежные фонды до окончательного оформления сделки: в нотариальной ли конторе, или у меня.

— Лучше всего было бы каждому держать до платежа свои деньги в банке,— заметил Леба.

— Роген был для меня банком,— сказал Цезарь.— Однако он ведь и сам участвовал в деле,— прибавил парфюмер, взглянув на Клапарона.

— Да, но в четвертой доле и то лишь на словах,— от-

ветил Клапарон.— Я уже совершил глупость, позволив ему увезти мои деньги; еще большей глупостью было бы сохранить за ним его долю в участках. Пусть пришлет сперва мои сто тысяч франков, да еще двести тысяч в уплату за свою долю, тогда поглядим! Но он и не подумает, конечно, вкладывать деньги в земельные участки, которые только через пять лет принесут свой первый урожай. Он, говорят, увез всего лишь триста тысяч франков, а ведь, чтобы жить прилично за границей, ему потребуется по меньшей мере пятнадцать тысяч франков годового дохода.

— Грабитель!

— Господи! Но Роген ведь дошел до этого под влиянием страсти,— заметил Клапарон.— Какой старик может поручиться, что устоит и не отдастся во власть своего последнего сумасшедшего увлечения? Никто из нас, благоразумных, не знает, чем он кончит. Последняя-то любовь и бывает безумной! Взгляните на всех этих Кардо, Камюзо, Матифа... Каждый из них обзавелся любовницей! Мы с вами влопались по собственной вине. Зачем мы доверились нотариусу, который занялся спекуляцией? Любой нотариус, любой биржевой маклер или комиссионер, пустившийся в аферы, уже подозрителен. Когда они объявляют себя несостоятельными — это ведь всегда злостное банкротство. Их бы следовало закатать в тюрьму, но они предпочитают укатить за границу. Это будет мне наукой. Право, мы слишком снисходительны, нам, видите ли, неудобно требовать заочного осуждения людей, у которых мы обедали, которые задавали нам балы,— словом людей светских. Никто не подает на них жалоб, и напрасно!

— Совершенно напрасно,— подхватил Бирото,— закон о несостоятельности и банкротстве должен быть пересмотрен.

— Если я буду вам нужен,— обратился Леба к Цезарю,— я всегда к вашим услугам.

— Господин Бирото ни в ком не нуждается,— заявил неугомонный болтун, у которого дю Тийе открыл шлюзы. (Клапарон повторял урок, очень ловко подсказанный ему дю Тийе.) — Его дело ясно: ликвидация имущества Рогена, как утверждает молодой Кротта, даст кредиторам пятьдесят за сто. Господин Бирото получит

сверх того сорок тысяч франков, которых не оказалось у его заимодавца; он может достать еще деньги и под залог своей недвижимости. Нам придется внести двести тысяч франков продавцам земельных участков не раньше, чем через четыре месяца. Господин Бирото расплатится до тех пор по своим векселям,— ведь для уплаты по ним он не должен был рассчитывать на то, что похитил Роген. А если господину Бирото и будет туговато... что ж, несколько удачных маневров — и он вывернется.

Услыхав, как Клапарон, разбираясь в его деле, приходит к определенным выводам и намечает за него план действий, парфюмер воспрянул духсм. Он стал держать себя увереннее, тверже и возымел высокое мнение о способностях бывшего коммивояжера. Дю Тийе счел для себя выгодным прикинуться в глазах Клапарона жертвой Рогена. Он вручил Клапарону сто тысяч франков для передачи Рогену, а нотариус вернул их ему обратно. Обеспокоенный Клапарон был вполне искренен, когда твердил каждому встречному, что Роген нагрел его на сто тысяч франков. Дю Тийе не считал Клапарона вполне надежным человеком; полагая, что в нем сохранилось еще слишком много порядочности и чести, Фердинанд не хотел посвящать его полностью в свои планы; а что Клапарон не сумеет разгадать их, дю Тийе был уверен.

— Ежели наш первый друг не стал бы первой жертвой наших плутней, где бы мы нашли вторую? — заявил Фердинанд в тот день, когда, выслушав упреки Клапарона, этого коммерческого сводника, он отшвырнул его, как отслужившее орудие.

Леба и Клапарон вышли вместе.

«Я могу еще выпутаться,— подумал Бирото.— Я должен по векселям, срок которым истекает, двести тридцать пять тысяч франков, семьдесят пять тысяч из них за дом и сто семьдесят пять тысяч [1] за земельные участки. Чтобы расплатиться по этим векселям, у меня будет то, что я получу при ликвидации конторы Рогена,—возможно, до ста тысяч франков. Я могу добиться, чтобы ссуду под залог моих участков признали несостоявшейся,— итак, всего сто сорок тысяч франков. Надо, стало

---

[1] Арифметическая ошибка в оригинале *(прим. ред.)*.

быть, заработать на «Кефалическом масле» сто тысяч франков и дотянуть с помощью дружеских векселей или кредита у какого-нибудь банкира до того дня, когда мне удастся вернуть потери и когда земельные участки подскочат в цене».

Если человек путем более или менее правильных рассуждений сумеет создать себе в несчастье сладостную поэму надежды, и если она станет изголовьем для его усталой головы,— иной раз он бывает спасен. Нередко люди принимают веру, порожденную иллюзиями, за проявление энергии. Надежда, быть может,— залог мужества; недаром же католическая религия возвела ее в добродетель. Разве надежда не служит поддержкой для слабых, помогая им дождаться счастливого случая? Бирото решил отправиться к дяде жены и рассказать ему о своих денежных затруднениях, прежде чем искать помощи у посторонних; дойдя по улице Сен-Оноре до улицы Бурдонне, он ощутил вдруг никогда еще не испытанную им жестокую боль в груди и подумал, что серьезно захворал. Внутри у него все горело. Люди, наделенные чувствительностью, ощущают боль в сердце, а те, кто воспринимает все умом,— страдают от головных болей. В минуты сильных потрясений человек, в зависимости от своего темперамента, испытывает боль там, где находится жизненный центр его организма: у слабых бывают желудочные колики, на Наполеона нападала сонливость. Прежде чем пойти на приступ и завоевать чье-либо доверие, преодолев сперва преграды собственной гордости, люди чести не раз должны ощутить в своем сердце острые шпоры неумолимой наездницы — необходимости. Цезарь два дня терпел такое пришпоривание, прежде чем направился к дяде, да и то решился на этот шаг из родственных чувств: он, как-никак, обязан был рассказать о своем положении суровому торговцу скобяными товарами. И все же перед дверью Пильеро он почувствовал внезапную слабость, как ребенок у порога дантиста. Но трепетал он потому, что на карту была поставлена вся его жизнь, а не из страха перед минутной болью. Бирото медленно поднялся по лестнице. Он застал старика у камина за чтением «Конституционеля»; около него стоял маленький круглый столик со скромным завтраком: булочкой, маслом, сыром бри и чашкой кофе.

— Вот истинный мудрец! — позавидовал Бирото спокойной жизни дяди.

— Ну,— сказал Пильеро, снимая очки,— я узнал вчера в кафе «Давид» об этой истории с Рогеном и об убийстве его любовницы, Прекрасной Голландки. Надеюсь, что после нашего разговора — ведь мы хотели стать фактическими владельцами земли — ты получил у Клапарона расписку?

— Увы, дядя! Вы бередите мою рану, в том-то и горе, что нет!

— Ах, проклятье! Значит, ты разорен! — воскликнул Пильеро, роняя газету, которую Бирото поспешил поднять, хотя эта газета была «Конститюсьонель».

Пильеро так был захвачен своими мыслями, что его строгое, точно из бронзы отлитое лицо приобрело чеканность медали; он слушал долгий рассказ Бирото, застыв в полной неподвижности, устремив сквозь окно невидящий взгляд на стену соседнего дома. Он слушал и судил, взвешивая, очевидно, все «за» и «против» с беспристрастием нового Миноса, который переплыл через Стикс коммерции, сменив набережную Морфондю на скромную квартирку в четвертом этаже.

— Так как же, дядя? — спросил Бирото, закончив свой рассказ просьбой продать на шестьдесят тысяч франков ренты и ожидая ответа.

— Увы, мой бедный племянник, я не могу этого сделать, ты слишком запутался. Рагоны и я, мы потеряем по пятьдесят тысяч франков каждый. Эти достойные люди, по моему совету, продали акции Ворчинских копей, и раз они понесут убыток, я считаю своим долгом если не вернуть им капитал, то хотя бы помочь им, помочь также своей племяннице и Цезарине. Всем вам, быть может, понадобится кусок хлеба, и вы его у меня найдете...

— Кусок хлеба, дядя?

— Да, да, кусок хлеба! Посмотри правде в глаза: *тебе не выпутаться.* Из пяти тысяч шестисот франков ренты я могу отдать четыре тысячи, поделив их между вами и Рагонами. Я хорошо знаю Констанс; коль скоро случилась беда, она будет работать не покладая рук, она во всем будет себе отказывать, да и ты тоже, Цезарь!

— Ведь не все еще пропало, дядя!

— Ну, я держусь другого мнения.

— Вы не правы, и я докажу вам это.

— Что ж, буду только рад.

Бирото ушел от дяди, ничего ему не ответив. Он приходил за утешением и за поддержкой, но получил еще один удар, на этот раз, правда, менее сокрушительный, но то был удар не в голову, а в сердце; а ведь в сердце была сосредоточена вся жизнь бедняги. Он спустился уже на несколько ступеней, но потом поднялся обратно.

— Сударь,— холодно сказал он Пильеро,—Констанс ни о чем не знает, сохраните по крайней мере все это в тайне. И попросите Рагонов не лишать меня домашнего покоя,— он необходим мне для борьбы с несчастьем.

Пильеро в знак согласия кивнул головой.

— Мужайся, Цезарь! — сказал он.— Ты, я вижу, на меня сердит; но позднее, подумав о жене и дочери, ты поймешь, что я был прав.

Цезарь пал духом, услышав мнение дяди, которого почитал человеком очень проницательным; с высоты своих надежд и упований он низвергся в топкое болото неуверенности. Среди жестоких коммерческих бурь человек, не обладающий, как Пильеро, закаленной душой, становится игрушкой событий: он то прислушивается к чужим мнениям, то действует по собственному разумению, подобно путнику, устремляющемуся за блуждающими огоньками. Он позволяет вихрю закружить себя, вместо того чтобы, зажмурившись, лечь на землю и дать ему пронестись мимо, либо, взвившись вверх, включиться в движение этого вихря и потом из него вырваться.

Бирото среди своих терзаний вспомнил о тяжбе из-за несостоявшегося займа. Он направился на улицу Вивьен к своему стряпчему Дервилю; он хотел как можно скорей начать дело, если тот найдет, что есть надежда добиться признания сделки недействительной. Парфюмер застал Дервиля дома,— он сидел у камина в белом фланелевом халате, спокойный и невозмутимый, как и подобает стряпчему, привыкшему к самым потрясающим признаниям. Бирото впервые заметил эту намеренную холодность; она заставляла остыть любого уязвленного, охваченного страстями человека, лихорадочно трепещущего за свое благосостояние, за жену и детей, болезненно ущемленного в своих жизненных интересах и чести, по-

добно самому Цезарю, который рассказывал теперь о постигшем его несчастье.

— Если будет доказано,— заявил, выслушав его, Дервиль,— что у Рогена уже не было в наличии той суммы, которую он должен был выдать вам за счет заимодавца, то, поскольку деньги выданы не были, сделка может быть признана недействительной и заимодавец будет взыскивать эту сумму, как и вы свои сто тысяч франков, с залога за контору. Я в таком случае отвечаю за исход процесса, насколько это вообще возможно, ибо заранее выигранных дел не бывает.

Выслушав мнение столь опытного юриста, парфюмер приободрился; он попросил Дервиля добиться судебного решения в течение двух недель. Но стряпчий ответил, что решения об отмене сделки удастся добиться лишь месяца через три.

— Через три месяца! — воскликнул парфюмер, полагавший уже, что часть необходимых ему средств найдена.

— Если мы даже добьемся скорого разбирательства дела, нам не заставить противника шагать с нами в ногу: он воспользуется всеми законными поводами для проволочки; адвокаты не всегда являются в суд; кто знает, быть может, противная сторона пойдет на заочное решение дела? Не все идет так, как нам хочется, уважаемый,— закончил, улыбаясь, Дервиль.

— А как же в коммерческом суде? — спросил Бирото.

— О, между судом коммерческим и судом уголовным и гражданским огромная разница,— ответил адвокат.— Там, у себя, вы решаете все дела сплеча! У нас же в суде все делается по форме. Форма — оплот законности. Пришлось бы вам по вкусу скороспелое решение, которое лишило бы вас сорока тысяч франков? Так вот и ваш противник, увидав, что его деньги в опасности, будет защищаться. Отсрочки — это судебные рогатки.

— Вы правы,— сказал Бирото.

Простившись с Дервилем, он вышел от него совершенно убитый.

— Все они правы. Денег! Денег! — стонал он, шагая по улице и разговаривая сам с собой подобно всем озабоченным людям в неистово клокочущем Париже, кото-

рый кто-то из современных поэтов назвал кипящим котлом. Когда он вернулся в лавку, приказчик, разносивший счета, встретил его сообщением, что все клиенты в связи с приближением Нового года, расписавшись в получении счетов, оставили их у себя.

— Значит, негде достать денег! — громко, на всю лавку сказал парфюмер и тут же прикусил себе язык: все приказчики повернули к нему головы.

Так прошло пять дней, пять дней, в течение которых Брашон, Лурдуа, Торен, Грендо, Шафару — словом, все кредиторы, ничего не получившие по своим векселям,— претерпели, подобно хамелеону, ряд превращений, обычных для заимодавца, прежде чем от мирного состояния доверия он перейдет к кровожадной ярости богини войны Беллоны. В Париже люди легко поддаются скупому недоверию, а великодушному порыву уступают лишь с трудом; но, ступив однажды на путь опасений и коммерческих предосторожностей, кредитор доходит до таких гнусностей, которые ставят его ниже должника. Приторная любезность кредиторов сменилась злобным нетерпением, назойливостью, взрывами негодования, леденящим холодом бесповоротного решения, наглостью заготовленной судебной повестки. Брашон, богатый обойщик из Сент-Антуанского предместья, кредитор с задетым самолюбием,— ибо он не был приглашен на бал,— первым протрубил атаку: он требовал уплаты ему долга в двадцать четыре часа, требовал гарантий, и не в виде какой-то там описанной мебели, а в виде закладной на недвижимое имущество в предместье Тампль. Как ни яростны были преследования кредиторов, у Бирото все же бывали минуты передышки. Но вместо того чтобы принять твердое решение и как-то справиться с первыми передрягами, вызванными его тяжелым положением, Цезарь все свои помыслы сосредоточил на том, чтобы жена—единственный, кто мог бы помочь ему советом,—ничего о них не узнала. Стоя у дверей своей лавки, он охранял ее, точно часовой. Он посвятил Селестена в тайну своих временных затруднений, и тот с удивлением и любопытством приглядывался к хозяину: Цезарь терял в его глазах все свое значение, как теряют его в час катастрофы все посредственные люди, преуспевавшие лишь в силу приобретенной сноровки и житейского опыта. Не

обладая энергией, необходимой для борьбы с надвигавшейся со всех сторон бедой, Цезарь все же нашел в себе достаточно мужества, дабы разобраться в своем положении. Чтобы рассчитаться за перестройку дома, уплатить за квартиру, произвести срочные платежи, ему требовалось к 30 декабря и к 15 января шестьдесят тысяч франков наличными, из них тридцать тысяч к тридцатому декабря; все же ресурсы его едва достигали двадцати тысяч франков; ему не хватало, стало быть, десяти тысяч франков. Но положение отнюдь не казалось ему безнадежным, ибо он теперь уже не заглядывал вперед, а жил изо дня в день, подобно искателям приключений. Пока слух о его денежных затруднениях еще не распространился, Цезарь решил предпринять ловкий, по его мнению, ход — обратиться к знаменитому Франсуа Келлеру, банкиру, оратору и филантропу, известному своей благотворительностью и готовностью быть полезным парижскому торговому миру, чтобы удержать тем самым за собой в палате место представителя города Парижа. Банкир был либерал; Бирото — роялист; но парфюмер мерил всех на свою мерку и видел в разнице убеждений только лишнее основание для получения кредита. Если бы от него потребовали гарантий, Бирото рассчитывал попросить у Ансельма тысяч на тридцать векселей — в преданности Попино он не сомневался; получение кредита помогло бы ему выиграть тяжбу и расплатиться с самыми алчными из кредиторов. Парфюмер, человек общительный, привыкший рассказывать перед сном своей милой Констанс о всех своих треволнениях, черпая в этом мужество, и приходивший к правильному решению, только выслушав возражения жены, не мог поговорить о своих затруднениях ни с ней, ни со старшим приказчиком, ни с дядей. И заботы ложились на него двойным бременем. Однако самоотверженный мученик предпочитал терзаться сам, лишь бы не заронить искру тревоги в душу жены; он собирался рассказать ей обо всем, когда опасность минует. У него не хватало решимости на это ужасное признание. Страх за жену придавал ему силу сносить терзания. Каждое утро Цезарь отправлялся в церковь св. Роха и поверял свои горести богу.

«Если по дороге домой я не встречу ни одного солдата, значит, моя молитва будет услышана. Это послу-

жит мне небесным знамением»,— думал он, вознеся богу мольбу о помощи.

И Цезарь бывал счастлив, если не встречал солдата. Все же у него было бесконечно тяжело на сердце, и он нуждался в близкой душе, перед которой мог бы излить свою тоску. Цезарине он уже доверился, получив роковое известие, и теперь она полностью была посвящена в его тайну. Они украдкой обменивались взглядами, в которых сквозило отчаяние или надежда, возносили горячие мольбы, задавали друг другу участливые вопросы и отвечали на них — словом, между ними царило полное взаимопонимание. Для спокойствия жены Бирото притворялся веселым и жизнерадостным. Спросит его о чем-нибудь Констанс — о! все идет отлично! Попино, о котором Цезарь и думать позабыл, процветает! «Масло» — нарасхват! Векселя Клапарону будут оплачены, беспокоиться нечего. На эту деланную веселость было жутко смотреть. Когда Констанс засыпала на своем пышном ложе, Бирото садился в постели и погружался в мысли о своем несчастье. Иной раз к нему прибегала Цезарина — босиком, в одной сорочке, накинув на белые плечи шаль.

— Ты плачешь, папа, я слышу,— говорила она, обливаясь слезами.

Отправив великому Франсуа Келлеру письмо с просьбой принять его, Бирото впал в такое оцепенение, что дочь повела его погулять по Парижу. Тогда только он впервые заметил громадные красные афиши, расклеенные на улицах, и в глаза ему бросились слова: «Кефалическое масло».

В то время как «Королева роз» трагически клонилась к своему закату, на горизонте в блеске успеха всходило новое светило — «Торговый дом А. Попино». Руководствуясь советами Годиссара и Фино, Ансельм отважно выпустил в продажу свое масло. За три дня на самых видных местах в столице были расклеены две тысячи афиш. Нельзя было не наткнуться на «Кефалическое масло», не прочесть сочиненных Фино лаконичных фраз о том, что заставить волосы вырасти вновь — невозможно, а красить их — опасно, фраз, подкрепленных цитатами из доклада Воклена в Академии наук; то была гарантия продлить жизнь волос, выданная каждому, кто будет пользоваться «Кефалическим маслом». Все па-

рижские брадобреи, парикмахеры и парфюмеры украсили свои двери золоченой рамкой с превосходно отпечатанной на веленевой бумаге рекламой, вверху которой в уменьшенном виде красовалась гравюра «Геро и Леандр» со следующим изречением в виде эпиграфа: «Народы древности сохраняли свои волосы благодаря употреблению «Кефалического масла».

— Он придумал постоянные рамки! Да ведь это — вечная реклама! — пробормотал пораженный Бирото, разглядывая витрину «Серебряного колокола».

— Разве ты не видел у нас в лавке такой же рамки? — спросила его дочь.— Ее принес нам сам господин Попино, а еще он принес и передал Селестену триста флаконов масла.

— Нет, не видел,— ответил Бирото.

— Пятьдесят флаконов Селестен уже продал случайным покупателям, а шестьдесят — нашим постоянным клиентам.

— А! — произнес Цезарь.

Парфюмер, ошеломленный гудением тысячи колоколов, которыми нужда оглушает свои жертвы, жил в состоянии непрерывного головокружения; Попино прождал его накануне целый час и ушел, поговорив с Констанс и Цезариной; он узнал от них, что Цезарь всецело поглощен каким-то крупным делом.

— Ах, да, земельные участки!

Попино целый месяц не покидал улицы Сенк-Диаман, проводил ночи напролет и все воскресные дни на фабрике и поэтому не видел, к счастью, ни Рагонов, ни Пильеро, ни своего дяди — судьи. Бедный юноша спал не более двух часов в сутки. Он обходился пока двумя приказчиками, а его разросшемуся делу их требовалось уже четыре. В торговле случай решает все. Кто не оседлает успеха, точно коня,— тот проворонит свое счастье. Попино надеялся, что дядя и тетка встретят его с распростертыми объятиями, когда он скажет им через полгода: «Я прочно стал на ноги и сколотил себе состояние»,— и что Бирото также хорошо его примет, когда через шесть месяцев он вручит парфюмеру его долю — тридцать или сорок тысяч франков. Ансельм ничего не знал ни о бегстве Рогена, ни о несчастье, постигшем Бирото, ни о его денежных затруднениях и не мог поэтому

обмолвиться каким-нибудь неосторожным словом в присутствии г-жи Бирото. Он обещал Фино по пятьсот франков за рекламу в большой газете — а их было с десяток! — и по триста франков за рекламу в газете помельче — таких тоже было около десяти,— если в каждой из них по три раза в месяц будет упоминаться о «Кефалическом масле». Фино видел, что из этих восьми тысяч франков ему очистится тысячи три — первая ставка, которую он сможет бросить на необъятный игорный стол спекуляции. И он ринулся, как лев, на своих друзей и знакомых; он проникал по утрам в спальни редакторов, сновал по вечерам во всех театральных фойе, не вылезал из редакций. «Помни о моем масле, дружище, я-то лично ничуть в нем не заинтересован, просто товарищеская услуга кутиле Годиссару». Этой фразой начинался и кончался любой его разговор. Он взял штурмом нижние колонки последних газетных полос, помещая там собственноручно написанные заметки, а гонорар за них оставлял в пользу сотрудников. Хитрый, как статист, стремящийся выбиться в актеры, проворный, словно мальчишка на побегушках, выколачивающий шестьдесят франков в месяц, он строчил льстивые письма, играл на людском самолюбии, оказывал грязненькие услуги редакторам — только бы протолкнуть свои статейки о «Кефалическом масле». Деньги, обеды, заискивания — в своей лихорадочной деятельности он не брезговал ничем. Он подкупал театральными билетами наборщиков, заполняющих в полночь последнюю газетную колонку какой-либо заметкой из кучи «смеси», всегда имеющейся про запас в любой газете; Фино вертелся с озабоченным видом в это время в типографии, словно ему надо было еще раз просмотреть какую-нибудь статью. Приятель всех и каждого, он помог «Кефалическому маслу» одержать верх над «Кремом Реньо», над «Бразильским бальзамом» и другими косметическими средствами, хотя у изобретателей их и хватило гениальности догадаться первыми, какое огромное влияние на публику оказывает повторяющаяся в газетных заметках реклама. В те блаженные времена многие журналисты, подобно волам, не сознавали собственной силы и были заняты актрисами — Флориной, Туллией, Марието̀й и другими. Они всем командовали, но ничего от этого не получали.

Андош не добивался ни аплодисментов для актрисы, ни устройства пьесы в театр, ни принятия своего водевиля, ни гонорара за статьи; наоборот, он сам в нужный момент предлагал деньги взаймы и умел кстати пригласить позавтракать; а потому не оказалось ни одной газеты, которая не говорила бы о «Кефалическом масле», не утверждала бы, что оно по составу своему соответствует анализам Воклена, не издевалась бы над теми, кто верит, что можно заставить волосы расти, не предупреждала бы, что красить их опасно.

Заметки эти радовали сердце Годиссара, который, пользуясь газетами как оружием в своей борьбе с предрассудками, производил в провинции то, что впоследствии с его легкой руки спекулянты стали называть «лихой атакой». Парижские газеты в ту пору безраздельно господствовали в провинции — она, несчастная, собственными органами печати еще не обзавелась. Газеты изучались там тщательнейшим образом, от заголовка до фамилии типографа — строчки, где могла как раз скрываться насмешка людей, преследуемых за убеждения. Опираясь на прессу, Годиссар достиг блестящих успехов в первых же городах, которые он штурмовал своим красноречием. Все провинциальные лавочники пожелали иметь рамки с рекламой и гравюрой «Геро и Леандр». Фино высмеял «Макассарское масло» в очаровательной шутке, вызывавшей столько смеха в театре «Фюнамбюль»: Пьеро хватает половую щетку, в которой остались одни дырочки, мажет ее «Макассарским маслом», и щетка становится вдруг густой, словно лесная чаща. Эта забавная сценка вызывала хохот всего зала.

Впоследствии Фино, весело посмеиваясь, признавался, что без этой тысячи экю он погиб бы от нищеты и горя. Тысяча экю была для него целым состоянием. Эта газетная кампания помогла ему первому догадаться о могуществе рекламы, которой он потом так широко и умело пользовался. Через три месяца Фино уже был редактором небольшой газетки, а в конце концов купил ее, и она-то послужила основой его состояния. Своим процветанием «Торговый дом А. Попино» обязан был лихой атаке, предпринятой в провинции и за границей прославленным Годиссаром, этим Мюратом коммивояжеров; популярность же свою среди публики фирма приобрела

благодаря отчаянному штурму газет, породившему широковещательную рекламу, к которой прибегли, впрочем, также и «Бразильский бальзам» и «Крем Реньо». Этот штурм общественного мнения, положивший начало трем состояниям, трем карьерам, вызвал затем нашествие целого полчища людей, алчущих наживы, ринувшихся на газетную арену, где они и произвели настоящий переворот, создав платные объявления. Но в описываемое нами время реклама «Торгового дома А. Попино и К°» красовалась уже на всех стенах и во всех витринах. Бирото не способен был постигнуть значение этой рекламы и удовольствовался тем, что сказал Цезарине: «Маленький Попино пошел по моим стопам!»; он не понимал того, что времена изменились, не умел оценить могущества новых методов, стремительность и размах которых позволяют несравненно быстрее захватить рынок. Со дня бала Бирото ни разу не был на своей фабрике и не знал, какую кипучую деятельность развил там Попино. Ансельм забрал на фабрику всех рабочих Бирото и сам проводил там ночи напролет. Ему везде мерещилась Цезарина: она сидела на каждом ящике, лежала в каждой отправляемой посылке, смотрела на него со всех накладных. Он говорил себе: «Она будет моей женой», когда, сняв сюртук и засучив рукава по локоть, лихорадочно заколачивал ящики вместо разосланных с поручениями приказчиков.

Продумав всю ночь над тем, что надо сказать и чего не говорить одному из крупнейших представителей банковских сфер, Цезарь отправился на другой день на улицу Гуссэ и с замиранием сердца подошел к особняку банкира-либерала, принадлежавшего к партии, которую обвиняли — и с полным основанием — в стремлении низвергнуть Бурбонов. Парфюмер, как и все парижские торговцы, ничего не знал о людях и нравах банковских сфер. В Париже между высшими банковскими кругами и торговым миром есть связующее звено — второстепенные банкирские дома, удобные для банков посредники, которые служат для них еще одной лишней гарантией. Констанс и Цезарь, никогда не выходившие за пределы своих возможностей, никогда не остававшиеся с пустой кассой, хранившие векселя у себя в портфеле, ни разу не обращались в эти второстепенные банкирские дома; еще меньше они были известны, конечно, в высоких банков-

ских сферах. Возможно, что это ошибка — не заручиться заранее кредитом, хотя бы в нем даже и не было надобности: существуют различные мнения на этот счет. Как бы то ни было, Бирото очень сожалел теперь, что ни разу не пускал в ход свою подпись. Он, впрочем, полагал, что ему, помощнику мэра, человеку, причастному к политике и пользующемуся некоторой известностью, достаточно будет назвать себя, чтобы быть принятым; он и не подозревал даже, что аудиенции у этого банкира добиваются не меньше посетителей, чем у короля. Войдя в приемную — преддверие кабинета столь знаменитого во многих отношениях человека,— Цезарь Бирото оказался среди многолюдного общества: тут были депутаты, писатели, журналисты, биржевые маклеры, крупные коммерсанты, дельцы, инженеры, но больше всего было «своих людей», которые, пробравшись сквозь группы посетителей и на особый лад постучавшись в дверь кабинета, входили туда вне очереди.

«Что значу я в этой грандиозной машине?» — подумал Бирото, оглушенный шумом и суетой этой мельницы идей, выпекавшей для оппозиции хлеб насущный и где разучивались роли великой трагикомедии, разыгрывавшейся представителями «левой».

Справа от него обсуждали вопрос о займе для окончания работ на основных линиях каналов; заем этот был предложен ведомством путей сообщения, и речь шла о миллионах! Слева — журналисты, которых банкир подкармливал из тщеславия, толковали о вчерашнем заседании палаты и об импровизированной речи патрона. За два часа ожидания Бирото три раза наблюдал, как банкир-политик выходил из своего кабинета, провожая шага на три особо важных посетителей. Последнего из них, генерала Фуа, Франсуа Келлер проводил до самой передней.

«Я погиб!» — с замиранием сердца подумал Бирото.

Когда банкир возвращался обратно в свой кабинет, толпа приближенных, друзей и просителей бросалась к нему, как псы, преследующие красивую суку. Несколько дерзких шавок даже пробрались, помимо его воли, в святилище. Разговор там длился минут пять — десять, иной раз — четверть часа. Одни уходили огорченные, другие — с подчеркнуто довольным видом или напустив на

себя важность. Время шло, и Бирото с тревогой поглядывал на часы. Никто не замечал тайных терзаний, беззвучных воплей человека, сидевшего в золоченом кресле в углу возле камина, у дверей кабинета этого храма кредита, спасителя от всех зол. Цезарь с болью думал, что не так еще давно и он, правда недолго, был у себя таким же царьком, каким этот человек бывает каждое утро, и измерял всю глубину своего падения. Горестная мысль! Как много невыплаканных слез накипело за этот час! Сколько раз Бирото молил бога расположить к нему банкира, ибо под мягкой оболочкой доступности и напускного добродушия он угадывал в Келлере заносчивость, нетерпеливый деспотизм и самое жестокое властолюбие, повергавшие в ужас кроткую душу парфюмера. Наконец в приемной осталось всего лишь десять — двенадцать посетителей, и Бирото решил, что как только скрипнет дверь кабинета, он встанет, приблизится к знаменитому оратору и скажет ему: «Я — Бирото!» Гренадер, первый ринувшийся на редут у Москвы, проявил не больше мужества, чем потребовалось парфюмеру, чтобы отважиться на этот шаг.

«Все же я помощник мэра»,— подумал он, вставая, чтобы назвать себя.

Франсуа Келлер придал лицу своему приветливое выражение; взглянув на орденскую ленточку парфюмера, он, явно стараясь быть любезным, отступил на шаг, распахнул дверь своего кабинета и жестом пригласил Цезаря войти; сам он немного задержался, чтобы поговорить с двумя вихрем на него налетевшими посетителями.

— Деказ хочет побеседовать с вами,— сообщил один из них.

— Нужно покончить с павильоном Марсан! Король все прекрасно понимает, он нас поддержит! — воскликнул другой.

— Мы вместе поедем в палату,— изрек банкир, надувшись, как лягушка, старающаяся сравняться с волом.

«Как он успевает еще думать о своих делах?» — удивился потрясенный Бирото.

Лучезарный блеск могущества ослепил парфюмера, как слепит ночную бабочку, любящую сумерки или полутьму ясной ночи, яркий солнечный свет. Цезарь за-

метил громадный стол, заваленный печатными отчетами о заседаниях палаты, проектами бюджета, раскрытыми комплектами газеты «Монитер», просмотренными и размеченными для того, чтобы бросить в лицо какому-нибудь министру сказанные им некогда, а теперь позабытые слова и заставить его от них отречься под аплодисменты простодушной толпы, неспособной понять, что все на свете меняется в зависимости от обстоятельств. На другом столе — груды папок, проспектов, докладных записок, тысячи справок, составленных для человека, чьей кассой стремились воспользоваться все зарождающиеся промышленные предприятия. Королевская роскошь этого кабинета, полного картин, статуй и других произведений искусства; камин, заставленный дорогими безделушками, целые кипы ценных бумаг — отечественных и иностранных — все это подавляло Бирото, заставляло его чувствовать собственное ничтожество, усиливало его трепет и леденило кровь. На письменном столе Франсуа Келлера пачками лежали векселя, чеки, торговые циркуляры. Банкир сел и принялся быстро подписывать письма, не требующие просмотра.

— Чему я обязан чести видеть вас, сударь? — спросил он, в то время как его проворная и цепкая рука продолжала сновать по бумаге.

При этих словах человека, к которому прислушивалась вся Европа и который обращался на этот раз к нему одному, бедняге парфюмеру показалось, что ему словно всадили в живот кусок раскаленного железа. На лице у него появилось то искательное выражение, какое финансист уже лет десять наблюдал на лицах людей, старавшихся втянуть его в какую-нибудь аферу, выгодную только для них самих, выражение, сразу же дававшее ему перевес над посетителем. А потому Франсуа Келлер бросил на Цезаря пронизывающий наполеоновский взгляд. Подражание взгляду Наполеона было в то время смешной причудой многих выскочек, которые при императоре были мелкими пешками. Под этим взглядом Бирото — сторонник «правой», ярый приверженец существующего порядка, избиратель-монархист — почувствовал себя так, словно он был товаром, прищелкнутым пломбой таможенного чиновника.

— Сударь, я не хочу злоупотреблять вашим време-

нем и буду краток. Я явился по чисто коммерческому делу — узнать, не могу ли получить у вас кредит. Я — бывший член коммерческого суда, известен в банке, и, если бы в портфеле у меня имелись векселя, я мог бы, как вы сами понимаете, обратиться непосредственно в банк, в правлении которого вы состоите. Я имел честь заседать в коммерческом суде вместе с бароном Тибоном, председателем учетного комитета, и он бы не отказал мне, конечно. Но мне никогда еще не приходилось прибегать к кредиту и подписывать векселя. Подпись свою я сохранил, так сказать, во всей неприкосновенности, а вам известно, как трудно в таких случаях учесть вексель.

Келлер покачал головой, и Бирото счел это знаком нетерпения.

— Сударь,— продолжал он,— вот в чем суть дела. Я вложил капитал в операцию с земельными участками, не связанную с моей торговлей...

Франсуа Келлер, который все еще читал и подписывал бумаги и, казалось, не слушал Цезаря, повернулся к нему и одобрительно кивнул головой. Это придало парфюмеру храбрости. Бирото решил, что дело идет на лад, и облегченно вздохнул.

— Продолжайте, я слушаю вас,— добродушно сказал Келлер.

— Я покупаю половину земельных участков, расположенных в районе церкви Мадлен.

— Да, я уже слышал у Нусингена об этом грандиозном деле, предпринятом банкирским домом Клапарона.

— Так вот, кредит в сто тысяч франков, гарантированный моей долей в этом деле или моими торговыми предприятиями,— продолжал Бирото,— дал бы мне возможность спокойно дождаться момента, когда я получу прибыль от одной чисто парфюмерной операции. Если понадобится, я могу предложить в обеспечение векселя одной вновь открывшейся фирмы — «Торгового дома Попино», основанного недавно, но...

«Торговый дом Попино», видимо, очень мало заинтересовал Келлера, и Бирото понял, что пошел по ложному пути; он остановился, потом, напуганный молчанием Келлера, продолжал:

— Что же касается процентов, мы...

— Да, да,— сказал банкир,— возможно, что это де-

ло и устроится. Не сомневайтесь в моем желании пойти вам навстречу. Но я ужасно занят, на моих плечах — финансы Европы, палата не оставляет мне свободной минуты, вас не удивит поэтому, что большинство дел я передаю на рассмотрение в свою контору. Спуститесь вниз к моему брату Адольфу, разъясните ему, какие гарантии вы можете предложить; если он одобрит операцию, зайдите ко мне завтра или послезавтра ранним утром, когда я внимательно изучаю дела. Мы будем счастливы и горды заслужить ваше доверие; вы один из тех убежденных роялистов, уважением которых гордятся даже их политические противники...

— Сударь,— воскликнул парфюмер, воспламененный этой ораторской фразой,— я в такой же мере достоин чести, которую вы мне оказываете, как и ордена — знака монаршей милости... Я заслужил его, заседая в коммерческом суде и сражаясь...

— Да, знаю, знаю,— перебил банкир,— ваша репутация говорит за вас, господин Бирото. Вы можете предложить только приемлемое дело,— рассчитывайте на наше содействие.

Приоткрыв не замеченную Бирото дверь, в кабинет заглянула женщина — г-жа Келлер, одна из дочерей графа де Гондревиля, пэра Франции.

— Друг мой, я хотела бы повидать тебя перед тем, как ты поедешь в палату,— сказала она.

— Уже два часа? — воскликнул банкир.— Бой начался. Простите, сударь, нам нужно свалить министерство... Поговорите с братом.

Он довел парфюмера до дверей приемной и приказал одному из слуг:

— Проводите к господину Адольфу.

Положившись на «авось», окрыленный самыми сладостными надеждами, Бирото устремился по лабиринту лестниц вслед за слугой в ливрее, который повел его к менее роскошному, но более деловому кабинету; думая о лестных словах знаменитого человека, казавшихся ему хорошим предзнаменованием, парфюмер удовлетворенно поглаживал подбородок. Цезарь сожалел лишь о том, что враг Бурбонов оказался таким обходительным, наделенным столькими талантами человеком и к тому же великим оратором.

Полный этих иллюзий, он вошел в почти пустой, холодный кабинет, вся обстановка которого состояла из двух секретеров с задвижными крышками и нескольких жалких кресел; убранство его дополняли пыльные занавеси и дрянной ковер. Кабинет этот по отношению к первому был тем же, чем кухня бывает по отношению к столовой, а фабрика — к лавке. Здесь резали и потрошили торговые и банковские предприятия, изучали коммерческие планы и заранее сдирали долю барышей со всех промышленных начинаний, признанных хоть сколько-нибудь выгодными. Здесь подготовлялись те дерзкие комбинации, которыми Келлеры славились в коммерческом мире и с помощью которых они в несколько дней создавали монополии и немедленно их использовали. Здесь изучались пробелы законодательства и бесстыдно обуславливался договорами барыш, именуемый на биржевом языке «жирным куском»,— огромные комиссионные, взимаемые за малейшие услуги: за поддержку предприятия своим именем, за предоставленный кредит. Здесь вынашивались мошенничества, искусно прикрытые цветами законности: не взяв на себя никаких обязательств, субсидировали какое-либо сомнительное предприятие, а затем, дождавшись его процветания, требовали в критический момент свои капиталы обратно и, задушив дело, прибирали его к рукам — жестокий маневр, с помощью которого удалось опутать стольких акционеров.

Братья распределили между собой роли. Наверху — Франсуа, блестящий человек, политик, с королевской щедростью расточал любезности и посулы, стараясь сказать каждому что-нибудь приятное. С ним все казалось просто: он был так великодушен на словах, опьянял новичков и не оперившихся еще спекулянтов дурманом своего вкрадчивого красноречия и благосклонности, развивая перед ними их же собственные идеи. Внизу — Адольф, извинившись за поглощенного политикой брата, ловко сгребал ставки с игорного стола; он взял на себя роль человека несговорчивого и требовательного. Чтобы вступить в сделку с этой коварной фирмой, нужно было, таким образом, дважды заручиться ее согласием. Часто милостивое «да», сказанное в роскошном кабинете Франсуа, обращалось в кабинете Адольфа в су-

хое «нет». Такая система проволочек давала возможность поразмыслить и позволяла нередко поводить за нос неискушенных коммерсантов. Когда Цезарь вошел, брат банкира беседовал с пресловутым Пальма, советчиком и доверенным лицом банкирского дома Келлеров; при появлении парфюмера он вышел из кабинета. Бирото объяснил причину своего прихода, и Адольф, который был еще хитрее брата — настоящая рысь, с пронзительными глазами, тонкими губами, желчным цветом лица,— наклонил голову и поверх очков окинул Бирото характерным взглядом банкира, сочетанием взгляда коршуна и стряпчего: сумрачный и яркий, он ясен и непроницаем, полон алчности и в то же время равнодушия.

— Пришлите мне документы по делу о покупке участков в районе церкви Мадлен,— сказал Адольф Келлер,— они могут послужить гарантией для открытия вам кредита, но прежде чем открыть его и договариваться с вами о процентах, я должен ознакомиться с ними. Если это дело стоящее, мы можем, чтобы не обременять вас, взамен учетного процента удовольствоваться частью прибыли.

«Ясно,— думал Бирото по дороге домой,— вижу, к чему дело клонится. Мне, как загнанному бобру, придется, видимо, расстаться с клочком своей шкуры. Что ж, лучше лишиться его, нежели погибнуть».

В этот день Бирото возвратился, радостно улыбаясь, и веселость его на сей раз была искренней.

— Я спасен,—сказал он Цезарине,— я получаю у Келлеров кредит.

Лишь 29 декабря Бирото удалось, наконец, попасть опять в кабинет Адольфа Келлера. Когда парфюмер пришел к нему в первый раз, Адольф уехал осматривать какое-то имение в шести лье от Парижа, которое хотел приобрести великий оратор. В другой раз Келлеры все утро были заняты: дело касалось размещения займа, внесенного на рассмотрение парламента, и они просили г-на Бирото зайти в следующую пятницу. Отсрочки убивали парфюмера. Но наступила, наконец, пятница. Бирото очутился в кабинете; он сидел возле камина против света, падавшего из окна,— по другую сторону камина восседал Адольф Келлер.

— Все это прекрасно, сударь,— сказал Цезарю бан-

кир, указывая на документы.— Но сколько вы уже внесли за участки?

— Сто сорок тысяч франков.

— Деньгами?

— Векселями.

— Они погашены?

— Срок только еще истекает.

— Что же послужит для нас гарантией, если вы заплатили за участки выше их нынешней стоимости? Гарантия эта состояла бы лишь в доверии, которое вы внушаете, и в уважении, которым вы пользуетесь. Но в делах руководствоваться чувствами нельзя. Если бы вы уплатили двести тысяч франков, то, предположив даже, что сто тысяч вы переплатили, чтобы получить эти земельные участки, мы имели бы в качестве гарантии за выданные вам под залог сто тысяч вторую сотню тысяч франков. А так, уплатив за вас что следует, мы в результате окажемся собственниками вашей доли; надо, однако, еще выяснить, выгодное ли это дело. Придется ждать пять лет, чтобы капитал удвоился, не лучше ли нам вложить его в банковские операции? Мало ли что может случиться! Вы хотите как-нибудь обернуться, чтобы заплатить по векселям, срок которых истекает,— опасный маневр: вы отступаете, чтобы лучше взлететь; смотрите, как бы в трубу не вылететь. Нет, дело нам не подходит.

Слова эти так потрясли бедного Бирото, точно палач заклеймил его плечо раскаленным железом; парфюмер совершенно потерял голову.

— Послушайте,— обратился к нему Адольф,— брат принимает в вас живейшее участие, он говорил мне о вас. Попробуем разобраться в ваших делах,— продолжал банкир, бросив на парфюмера взгляд куртизанки, которой срочно нужно уплатить за квартиру.

Бирото уподобился старику Молине, над которым сам так высокомерно насмехался. Банкиру доставляло удовольствие выпытывать у бедняги всю подноготную, он допрашивал его, как следователь Попино допрашивал преступников,— и одураченный Цезарь рассказал обо всех своих делах: тут фигурировали и «Двойной крем султанши», и «Жидкий кармин», и дело Рогена, и закладная, по которой не было получено ни гроша. Видя, как

сосредоточенно улыбается Келлер, как он кивает головой, Бирото думал: «Он меня слушает, я заинтересовал его, я получу кредит». Адольф Келлер потешался над Бирото так же, как парфюмер потешался над Молине. Поддавшись болтливости, свойственной людям, одурманенным горем, Цезарь обнаружил подлинного Бирото: он показал свою истинную цену, предложив в виде гарантии «Кефалическое масло» и «Торговый дом Попино» — свою последнюю ставку. Простак, обольщенный ложными надеждами, позволил основательно прощупать себя, и Адольф Келлер обнаружил в парфюмере тупицу-роялиста, стоящего на пороге разорения. Келлер был в восторге от неминуемого банкротства помощника мэра их округа, сторонника правительства, человека, только что награжденного орденом; в конце концов он решительно заявил Бирото, что не может ни открыть ему кредит, ни дать о нем благоприятный отзыв великому оратору, своему брату Франсуа. А если бы даже Франсуа, уступая нелепому порыву великодушия, вздумал оказывать поддержку людям враждебных ему убеждений, своим политическим противникам,— он, Адольф, всячески воспротивится тому, чтобы брат разыгрывал из себя такого простофилю; он не позволит ему протянуть руку помощи давнему врагу Наполеона, раненному на ступенях церкви св. Роха. Доведенный до отчаяния Бирото хотел было что-то сказать об алчности представителей банковских сфер, об их черствости и притворном человеколюбии; но он был так подавлен, что лишь с трудом пробормотал несколько слов о Французском банке, откуда Келлеры черпали свои средства.

— Французский банк ни за что не произведет учета векселя, от которого отказывается обыкновенный банкирский дом,— возразил Адольф Келлер.

— Мне всегда казалось,— сказал Бирото,— что банк не отвечает своему назначению: представляя отчет о прибылях, он ставит себе в заслугу, что потерял на парижской торговле всего лишь сто или двести тысяч франков, а ведь он — опекун этой торговли.

Адольф улыбнулся и встал с видом человека, которому разговор наскучил.

— Если бы банк вздумал поддерживать всех прогорающих парижских купцов — то есть коммерсантов из

чрезвычайно ненадежного и жульнического торгового мира, он и сам бы через год потерпел крах. Ему и так уж трудно бороться против наплыва дутых ценностей и чрезмерного выпуска акций; где уж тут разбираться в делах всякого, кто ищет помощи.

«Как раздобыть десять тысяч франков, которые нужны мне завтра, в субботу, тридцатого декабря?» — думал Бирото, проходя через двор.

Если тридцать первое — день неприсутственный, принято платить тридцатого. Выйдя из ворот, Бирото сквозь слезы, застилавшие его глаза, с трудом разглядел, что у дома остановилась взмыленная прекрасная английская лошадь; она была впряжена в один из самых изящных кабриолетов, разъезжавших в ту пору по мостовым Парижа. Бирото захотелось попасть под колеса этого кабриолета: он погиб бы от несчастного случая, и этим объяснили бы расстройство в его делах. Цезарь не узнал дю Тийе: стройный, в элегантном утреннем костюме, Фердинанд бросил вожжи слуге и накинул попону на вспотевшую спину своей чистокровной лошади.

— Какими судьбами? — спросил дю Тийе своего бывшего хозяина.

Фердинанд прекрасно знал, что Келлеры навели у Клапарона справки, и тот, сославшись на дю Тийе, основательно подорвал установившуюся репутацию парфюмера. Как ни быстро сдержал свои слезы несчастный купец, они были достаточно красноречивы.

— Неужели вы обращались за какой-нибудь услугой к этим разбойникам, к этим душителям торговли? — спросил дю Тийе.— Ведь они пускаются на самые гнусные проделки: скупают, например, индиго, а затем вздувают на него цену, или, сбив цену на рис и скупив его по дешевке, диктуют цену рынку; у этих бездушных людей — ни совести, ни чести. Вы, стало быть, не знаете, на что они способны? Если у вас есть какое-нибудь выгодное дельце, Келлеры откроют вам кредит и, дождавшись, когда вы вложите в это предприятие все свои средства, они этот кредит закроют и заставят вас уступить им дело за бесценок. В Гавре, Бордо, Марселе многое могли бы вам порассказать на их счет. Политическая деятельность помогает им покрывать немало мерзостей, поверьте! Потому-то я и эксплуатирую их без зазрения совести. Да-

вайте прогуляемся, дорогой Бирото! Жозеф! Лошадь вся в мыле, надо ее поводить; тысяча экю как-никак деньги! — И дю Тийе направился в сторону бульваров.

— Вот что, дорогой хозяин,—ведь вы же были когда-то моим хозяином,—вам нужны деньги? А эти негодяи требовали от вас гарантий? Я дам вам денег под простой вексель, я ведь вас хорошо знаю. Мое состояние нажито честным путем, ценой невероятных усилий. За ним,— за своим состоянием,— я ездил в Германию. Теперь я могу уже рассказать вам: я скупил долговые обязательства короля с шестидесятипроцентной скидкой, и ваше поручительство сослужило мне тогда немалую службу. А я,— я умею быть благодарным! Если вам нужны десять тысяч франков — они ваши.

— Как, дю Тийе, это серьезно? Вы не шутите? — воскликнул Цезарь.— Да, я действительно несколько стеснен, но это ненадолго...

— Знаю, дело Рогена,— ответил дю Тийе.— Э, я и сам попался на десять тысяч франков, мошенник занял их у меня, чтобы сбежать. Но госпожа Роген вернет их мне из причитающейся ей по закону части. Я посоветовал бедной женщине не глупить и не жертвовать своим состоянием для уплаты долгов, сделанных ради продажной девки; это имело бы еще смысл, если бы она могла расплатиться полностью, но как отдать предпочтение одним кредиторам перед другими? Вы не какой-нибудь Роген, я знаю вас,— сказал дю Тийе,— вы скорее пустите себе пулю в лоб, чем заставите меня потерять хотя бы су. Вот мы и дошли до улицы Шоссе д'Антен, зайдем ко мне.

Выскочка доставил себе удовольствие: он не прошел с Бирото в контору, а повел своего бывшего хозяина через всю квартиру; он проходил по анфиладе высоких покоев медленно, чтобы Цезарь успел разглядеть красивую, роскошно обставленную столовую, увешанную картинами, купленными в Германии, и две гостиные — их великолепное и изящное убранство парфюмер мог сравнить лишь с тем, что ему довелось видеть у герцога де Ленонкура. Буржуа был ослеплен обилием позолоты, произведениями искусства, баснословно дорогими безделушками, драгоценными вазами, тысячью художественных мелочей, перед которыми совершенно померкла

роскошь квартиры Бирото; и, зная, во что обошлось ему собственное безрассудство, Цезарь Бирото спрашивал себя: «Где Фердинанд нажил миллионы?»

Он вошел в спальню; сравнительно с ней спальня его жены показалась ему такой же убогой, как комнатка какой-нибудь хористки, ютящейся на четвертом этаже, в сравнении с особняком примадонны. Потолок был затянут фиолетовым атласом, оттененным заложенной в складку белой атласной полосой; белый горностаевый коврик у кровати выделялся красивым пятном на лиловатом фоне левантского ковра. Мебель и все предметы убранства поражали оригинальностью формы и причудливой изысканностью. Парфюмер остановился перед восхитительными часами с Амуром и Психеей; они были сделаны по заказу известного банкира, и дю Тийе удалось раздобыть единственную имевшуюся копию. Бывший приказчик привел, наконец, своего бывшего хозяина в кабинет — щегольскую, изящную, кокетливую комнату, наводившую скорее на мысль о делах любовных, чем финансовых. Г-жа Роген, вероятно, в благодарность за заботы о ее состоянии, преподнесла дю Тийе золотой чеканный нож для разрезания бумаги, малахитовые пресс-папье и множество роскошных, умопомрачительно дорогих безделушек. Великолепный ковер, образец бельгийского искусства, радовал глаз прекрасными узорами, в его густом и мягком ворсе утопала нога. Дю Тийе усадил у камина несчастного, оробевшего и ослепленного парфюмера.

— Не желаете ли позавтракать со мной? — спросил банкир.

Он позвонил. Вошел лакей, одетый лучше Бирото.

— Скажите господину Легра, чтобы он поднялся ко мне, затем велите Жозефу вернуться домой,— вы найдете его у особняка Келлеров; зайдите к Адольфу Келлеру и передайте, что я не заеду к нему, а жду его у себя до открытия биржи. Скажите, чтоб подавали завтрак, да поживее!

Слова эти ошеломили парфюмера.

«Как! Он посылает за этим страшным Адольфом Келлером, свистнул ему, как собачонке! Он, дю Тийе!»

Грум ростом с ноготок расставил складной столик, такой хрупкий, что Бирото его раньше и не приметил, и

подал паштет из гусиной печенки, бутылку бордо и всякие изысканные блюда, появлявшиеся в доме парфюмера лишь по большим праздникам. Дю Тийе наслаждался. Ненависть к единственному человеку, имевшему право презирать его, пышно расцвела в нем; Бирото возбуждал в своем бывшем приказчике то остро волнующее чувство, какое он испытал бы, глядя на ягненка, бьющегося в когтях у тигра. Порыв великодушия коснулся души Фердинанда: он спрашивал себя, не достаточно ли он уже отомщен, и колебался между проснувшимся состраданием и угасавшей ненавистью.

«Мне ничего не стоит уничтожить этого человека как коммерсанта,— думал дю Тийе,— в моих руках жизнь и смерть его самого, его жены, когда-то меня отвергшей, его дочери, добиться руки которой казалось мне некогда верхом удачи. Деньги его достались мне; не удовольствоваться ли тем, что этот жалкий глупец будет держаться на поверхности с помощью каната, конец которого будет у меня?»

У людей честных не хватает такта; прямолинейные и бесхитростные в своей добродетели, они лишены чувства меры. Бирото довершил свою гибель; сам того не подозревая, он разъярил тигра одним своим словом, одной похвалой, одной нравоучительной фразой; своим честным простодушием он пронзил сердце дю Тийе, и банкир вновь стал безжалостным. Когда кассир вошел, дю Тийе указал ему на Бирото.

— Господин Легра, принесите мне десять тысяч франков и заготовьте вексель на эту сумму моему приказу, сроком на три месяца, от имени господина Бирото — вы его знаете.

Дю Тийе положил парфюмеру паштета и налил ему стакан бордо, а тот, почувствовав себя спасенным, судорожно смеялся, теребил цепочку часов и лишь тогда отправлял кусочек в рот, когда бывший приказчик говорил ему: «Почему вы ничего не кушаете?»

Своим поведением Бирото выдавал, как глубока была бездна, в которую ввергла его рука дю Тийе, откуда она его сейчас извлекла и куда могла снова низвергнуть. Когда вернулся кассир и Цезарь, подписав вексель, почувствовал десять банковых билетов в кармане,— он уже не мог больше совладать с собой. Еще только минуту

назад его квартал, банк, все должны были узнать о его несостоятельности, ему пришлось бы признаться в своем разорении жене; а теперь все уладилось! Радость избавления была столь же сильной, как мучительный страх перед угрожавшей ему гибелью,— и на глазах бедняги невольно выступили слезы.

— Что с вами, дорогой патрон? — спросил дю Тийе.— Разве вы завтра не сделали бы для меня того же, что я делаю для вас сегодня? Ведь это вполне естественно.

— Дю Тийе! — торжественно и с пафосом провозгласил простак, поднимаясь и беря за руку своего бывшего приказчика.— Полностью возвращаю тебе свое уважение!

— А почему оно было утрачено? — спросил, покраснев, дю Тийе, глубоко уязвленный, несмотря на свое благоденствие.

— Не то чтобы утрачено...— запинаясь, сказал парфюмер, ужаснувшись собственной глупости.— Но мне рассказывали о вашей связи с госпожой Роген. Черт побери! Сойтись с чужой женой...

«Околесицу несешь, старый колпак!» — подумал дю Тийе, вспомнив жаргон своей старой профессии. И он мгновенно вернулся к своему плану — уничтожить, растоптать эту добродетель, уронить, смешать с грязью во мнении парижского торгового мира честного и почтенного человека, поймавшего его когда-то на месте преступления. В основе всякого чувства ненависти мужчины к мужчине или женщины к женщине, будь то в политике или в частной жизни, всегда лежит какое-нибудь неожиданное уличающее открытие. Ненавидят друг друга не за причиненный ущерб, не за нанесенную рану, даже не за пощечину — все это поправимо. Но попасться с поличным, совершая подлость!.. Дуэль между подлецом и тем, кто его уличил, может кончиться лишь смертью одного из них.

— О, госпожа Роген? — насмешливо протянул дю Тийе.— Да ведь это только лишний листочек в лавровом венке молодого человека! Понимаю, дорогой патрон: вам, верно, говорили, что она ссужала меня деньгами? Ну, так вот, как раз наоборот,— это я помог ей восстановить состояние, расстроенное в связи с делами ее му-

жа. Источник моего богатства, как я уже вам докладывал, совершенно чист. У меня не было ни гроша, вам это хорошо известно. Молодые люди иной раз могут оказаться в очень стесненных обстоятельствах, дойти даже до крайней нищеты; и если они, подобно Республике, прибегают иногда к принудительному займу,— что ж, этот долг они впоследствии уплачивают и становятся тогда честнее Франции.

— Это верно,— поспешил согласиться Бирото.— Дитя мое... господь... Ведь это Вольтер, кажется, сказал: «Раскаянье возвел в людскую добродетель».

— Если только,— продолжал дю Тийе, еще глубже задетый этой цитатой,— они не расхищают подло и низко имущества ближнего, как это может случиться, если вы в ближайшие три месяца обанкротитесь и мои десять тысяч франков пойдут прахом...

— Мне обанкротиться?..— воскликнул Бирото, выпивший три стакана вина, а еще более захмелевший от радости.— Нет, нет... Всем известны мои взгляды на банкротство! Банкротство — смерть для купца! Я бы умер!

— За ваше здоровье! — сказал дю Тийе.

— За твое будущее потомство,— ответил парфюмер.— Почему вы не покупаете у меня в лавке, дю Тийе?

— Сказать по правде, я, честное слово, побаиваюсь госпожи Бирото. Она всегда мне нравилась! И не будь вы моим хозяином, я, право...

— Не ты первый находишь ее красивой, она многим внушала страсть, но она меня любит! Вот что, дю Тийе, друг мой,— продолжал Бирото,— доведите уж дело до конца.

— Что вы хотите этим сказать?

Бирото посвятил дю Тийе в спекуляцию с земельными участками, и тот, прикинувшись изумленным, одобрил эту операцию и похвалил парфюмера за проницательность и дальновидность.

— Я очень рад твоему одобрению; ведь вы, дю Тийе, слывете одной из умнейших голов в банковском мире! Дитя мое, вы могли бы помочь мне получить кредит во Французском банке; это дало бы мне возможность дождаться прибыли от «Кефалического масла».

— Я могу направить вас в банкирский дом Нусин-

гена,— ответил дю Тийе, решивший заставить свою жертву проделать все пируэты пляски, которые приходится обычно проделывать банкротам.

Фердинанд сел к столу и написал следующее письмо:

«Господину барону де Нусингену.

Париж.

Дорогой барон!

Податель сего письма, господин Цезарь Бирото—помощник мэра второго округа и один из наиболее известных представителей парфюмерной промышленности Парижа; он желает завязать с вами деловые сношения. Отнеситесь же с полным доверием ко всему, о чем он вас будет просить; оказав ему услугу, вы обяжете тем самым

Вашего друга Ф. дю Тиие».

В своей подписи дю Тийе написал вместо «*и*» краткого простое «*и*». Для всех, с кем он вел дела, эта умышленная небрежность служила условным знаком. Самые горячие рекомендации, самые настойчивые, неотступные просьбы в его письме ничего в таком случае не стоили. Подобное письмо, в котором дю Тийе коленопреклоненно о чем-либо просил, в котором умоляли, казалось, даже восклицательные знаки, написано было, следовательно, по каким-то веским соображениям; он не мог отказать в рекомендации, но ей не полагалось придавать ни малейшего значения. Увидев вместо «*и*» краткого простое «*и*», приятель дю Тийе отделывался от просителя пустыми обещаниями. Немало светских людей с большим весом, как дети, позволяют дурачить себя таким образом всяким дельцам, банкирам, адвокатам, которые пользуются двумя подписями: одной — настоящей, другой — не имеющей силы. На эту удочку попадаются самые проницательные люди. Чтобы разгадать такую уловку, надо испытать на себе различное действие рекомендации действительной и мнимой.

— Вы меня спасаете, дю Тийе,— сказал Цезарь, прочитав письмо.

— Господи! — воскликнул дю Тийе.— Отправляй-

тесь же за деньгами; ознакомившись с моим письмом, Нусинген отвалит их вам, сколько пожелаете. Сам я лишен, к сожалению, на несколько дней свободной наличности; иначе я не отправил бы вас к этому банковскому магнату,— ведь Келлеры по сравнению с бароном Нусингеном просто пигмеи. Нусинген — это новый Лоу. Мое письмо поможет вам расплатиться пятнадцатого января, а там видно будет. Мы с Нусингеном в самых дружеских отношениях, и он ни за какие миллионы не захочет отказать мне в услуге.

«Это все равно, что поручительство на векселе,— думал преисполненный благодарности Бирото, уходя от дю Тийе.— Да, доброе дело даром не пропадает!» — И он пустился философствовать. Все же радость его омрачалась одной неотвязной мыслью. Несколько дней ему удавалось не давать жене заглядывать в торговые книги, он поручил ведение кассы Селестену и сам помогал ему,— мог же он пожелать, чтоб жена и дочь полностью насладились прекрасной квартирой, которую он для них устроил и обставил! Но, вкусив первые радости этого скромного счастья, г-жа Бирото скорее согласилась бы умереть, чем оставить лавку без хозяйского глаза и *не наводить самой*, как она говорила, *порядок в деле*. Бирото чувствовал, что зашел в тупик: он истощил уже все уловки, чтобы скрыть от жены денежные затруднения. Констанс очень рассердилась, узнав об отправке счетов, она выбранила приказчиков и обвинила Селестена в желании разорить фирму, решив, что мысль эта всецело принадлежит ему. Селестен, по распоряжению Бирото, ни слова ей не возразил. По мнению приказчиков, г-жа Бирото держала мужа под башмаком: в вопросе о том, кто действительно глава семьи, можно еще обмануть посторонних, но уж никак не домочадцев. Бирото приходилось признаться жене в своих денежных затруднениях — расчеты с дю Тийе нужно было провести по книгам. Вернувшись домой, Цезарь с трепетом душевным увидел Констанс за конторкой; она проверяла сроки векселей и, очевидно, подсчитывала кассу.

— Чем ты собираешься завтра платить? — шепотом спросила она, когда муж сел возле нее.

— Деньгами,— ответил Цезарь, вытаскивая банковые билеты из кармана и передавая их Селестену.

— Откуда у тебя эти деньги?

— Вечером расскажу. Селестен, запишите: конец марта, вексель на десять тысяч франков приказу дю Тийе.

— Дю Тийе! — с испугом повторила Констанс.

— Я пойду к Попино,— сказал Цезарь.— Нехорошо, что я до сих пор у него еще не был. Как его масло? Продается?

— Триста флаконов, которые он дал нам, уже проданы.

— Не уходи, Бирото, мне нужно поговорить с тобой,— сказала Констанс и, схватив Цезаря за руку, повлекла к себе в комнату с поспешностью, показавшейся бы при других обстоятельствах забавной.

— Дю Тийе! — воскликнула она, оставшись наедине с Цезарем и убедившись, что никто, кроме Цезарины, не может их услышать.— Дю Тийе, который стащил у нас тысячу экю... Ты имеешь дело с этим чудовищем дю Тийе... пытавшимся меня обольстить...— прошептала она ему на ухо.

— Юношеские проказы,— заявил Бирото, ставший вдруг вольнодумцем.

— Послушай, Бирото, ты чем-то встревожен, ты не бываешь больше на фабрике. Что-то случилось, я чувствую! Ты должен мне все рассказать, я хочу знать!

— Ну так вот,— сказал Бирото,— мы чуть было не разорились, так обстояло дело еще нынче утром, но теперь все обошлось.

И он рассказал ей о том, что пережил в эти ужасные две недели.

— Так вот причина твоей болезни! — воскликнула Констанс.

— Да, мама,— сказала Цезарина.— Отец проявил редкое мужество. Единственное, чего я хочу,— быть любимой так, как он любит тебя. Он только и думал о том, как бы не причинить тебе горя.

— Мой сон сбылся,— с ужасом сказала бедная женщина, смертельно побледнев и бессильно опускаясь на диванчик, стоявший возле камина.— Я все это предвидела. Ведь говорила же я тебе в ту роковую ночь в нашей прежней спальне, которую ты разрушил, что мы все глаза себе выплачем. Бедняжка Цезарина! Я...

— Ну вот, начинается! — воскликнул Бирото.— Ты отнимаешь у меня мужество, а оно мне так нужно!

— Прости, друг мой,— сказала Констанс, взяв Цезаря за руку и пожимая ее с нежностью, которая потрясла беднягу до глубины души.— Я виновата. Пришла беда, и нужно быть стойкой; я все вынесу безропотно. Никогда ты не услышишь от меня ни единой жалобы.— Она бросилась в объятия Цезаря и воскликнула, обливаясь слезами: — Не падай духом, друг мой! Если понадобится, у меня хватит мужества на нас обоих!

— Мое «Масло», жена, мое «Масло» спасет нас!

— Да поможет нам господь! — сказала Констанс.

— Неужели Ансельм не выручит тебя, папа? — спросила Цезарина.

— Я пойду к нему,— воскликнул Цезарь, потрясенный надрывающим сердце тоном жены, которую он, оказывается, еще недостаточно знал даже после девятнадцати лет совместной жизни.— Успокойся, Констанс. На вот, прочти письмо дю Тийе к господину де Нусингену. Кредит нам обеспечен. К тому времени я выиграю процесс. И у нас ведь есть еще дядя Пильеро,— добавил он, прибегая к спасительной лжи,— не нужно только падать духом.

— Если бы дело было только в этом! — ответила, улыбаясь, Констанс.

Бирото испытывал огромное облегчение, точно выпущенный на свободу узник; но он чувствовал какое-то изнеможение, обычно следующее за напряженной душевной борьбой, когда тратится больше нервной энергии, больше усилий воли, нежели их полагается ежедневно расходовать; тогда приходится, так сказать, заимствовать из основного капитала жизненных сил. Цезарь как-то сразу постарел.

«Торговый дом А. Попино» на улице Сенк-Диаман стал за два месяца неузнаваем. Лавка была заново окрашена. Подновленные шкафы, полные флаконов, радовали глаз каждого опытного торговца, как явный признак процветания. Пол в лавке завален был кипами оберточной бумаги, склад заставлен бочонками с различными маслами, которые стараниями преданного Годиссара сданы были Попино на комиссию. Бухгалтерия и касса помещались наверху, над лавкой. Старуха кухарка готовила еду

для Попино и трех его приказчиков. Сам Попино, помещавшийся в маленькой конторе за застекленной перегородкой в углу лавки, поминутно выбегал оттуда в переднике из саржи и зеленых нарукавниках, с пером за ухом,— если только не утопал в ворохе бумаг, как это было в тот момент, когда явился Бирото, заставший его за разборкой почты — целой груды заказов и переводных векселей. Когда бывший хозяин окликнул его: «Ну, как, мой мальчик?» — Попино поднял голову, замкнул на ключ свою каморку и радостно бросился к нему навстречу; кончик носа у Ансельма сильно покраснел: печь в лавке не топилась, а дверь на улицу оставалась открытой.

— Я уж боялся, что вы никогда не придете,— почтительно сказал Попино.

Сбежались приказчики — поглазеть на компаньона их хозяина, столпа парфюмерии, помощника мэра, награжденного орденом. Это безмолвное поклонение польстило Бирото. Цезарь, еще недавно чувствовавший себя у Келлеров таким ничтожным, ощутил теперь потребность подражать им: он погладил подбородок, горделиво приподнялся на носках, опустился на пятки и начал изрекать избитые истины.

— Ну что, дружок, рано встаете? — спросил он Попино.

— Да зачастую и вовсе не ложимся,— ответил Ансельм.— За успех нужно цепко держаться.

— А что я тебе говорил? Мое «Масло» — это клад.

— Да, сударь. Но ведь важно еще пустить его в ход. Ваш бриллиант я вставил в достойную оправу.

— Ну, и как же обстоят дела? — осведомился парфюмер.— Есть уже прибыль?

— Как, через месяц? — воскликнул Попино.— Что вы! Милейший Годиссар уехал всего лишь каких-нибудь три недели назад и даже нанял, ничего мне не сказавши, почтовую карету. О, он так нам предан! Мы можем быть благодарны дяде! А газеты,— шепнул он на ухо Бирото,— влетят нам в двенадцать тысяч франков.

— Газеты! — удивился помощник мэра.

— Да разве вы их не читали?

— Нет.

— Так вы ничего не знаете! — сказал Попино.— Двадцать тысяч франков ушло на одни только афиши,

рамки и печатные рекламы. Заготовлено сто тысяч флаконов! Ах, сейчас нужно все поставить на карту! Производство мы ведем на широкую ногу. Если бы вы загляну-ли в предместье, на фабрику — я нередко провожу там ночи напролет,— вы увидели бы механические щипцы для орехов — мое изобретение, и, могу сказать, неплохое. За последние пять дней я на одних только парфюмерных маслах заработал три тысячи франков комиссионных.

— Ну и голова! — сказал Бирото, запустив руку в волосы Попино и взъерошив их, словно Ансельм был еще мальчуганом.— Я это всегда предсказывал.

Вошли покупатели.

— Итак, до воскресенья; мы обедаем у твоей тетушки Рагон,— сказал Бирото и предоставил Попино заниматься делами, поняв, что свежая туша, привлекшая его сюда своим запахом, еще не разделана.

«Вот чудеса! Приказчик за сутки становится купцом,— думал Бирото, который был не менее поражен успехом и самоуверенностью Попино, чем роскошью в доме дю Тийе.— Когда я положил руку на голову Ансельму, он, видите ли, скорчил такую недовольную гримасу, будто он и впрямь уже Франсуа Келлер».

Цезарь не подумал о том, что на них смотрели приказчики, а главе фирмы подобает охранять свой авторитет. Здесь, как и у дю Тийе, добряк в простоте душевной совершил глупость: он не сдержал своих хотя и искренних, но по-мещански выраженных чувств. Всякого другого, кроме Ансельма, Цезарь этим оскорбил бы.

Воскресному обеду у Рагонов суждено было стать последней радостью девятнадцатилетнего счастливого супружества Бирото, радостью, к тому же ничем не омраченной. Рагоны жили на улице Пти-Бурбон-Сен-Сюльпис, на третьем этаже почтенного старинного дома, в старой квартире с простенками, украшенными танцующими пастушками в фижмах и пасущимися барашками, в духе того самого XVIII века, степенное и важное купечество которого, с его забавными нравами, преклонением перед знатью, преданностью королю и церкви, достойно представляли бывшие владельцы «Королевы роз». Мебель, часы, посуда, белье — все здесь было отмечено печатью старины и потому именно казалось не-

обычным. В гостиной, обитой старинным узорчатым штофом с драпировками из шерстяной материи, с широкими и удобными креслами и дамскими письменными столиками, висел портрет кисти Латура, изображавший Попино, старшину города Сансера, отца г-жи Рагон; удачно воспроизведенный художником, он надменно улыбался, как выскочка в зените своей славы. Дома неизменным дополнением г-жи Рагон была маленькая английская собачка из породы кинг-чарльз, которая выглядела необычайно эффектно на небольшой жесткой софе в стиле рококо, никогда, конечно, не игравшей роли софы, описанной Кребильоном. Среди прочих достоинств Рагоны славились запасом старых вин, правда, почти совсем уже исчерпанным, и ликерами г-жи Анфу, которые некогда привозили г-же Рагон с Антильских островов ее упорные, но, как утверждали, безнадежные обожатели. Не удивительно, что обеды Рагонов так ценились друзьями! Кухарка, старуха Жаннетта, была беззаветно предана своим хозяевам и готова была красть ягоды, чтобы варить для них варенье. Она не относила своих денег в сберегательную кассу, а покупала на них лотерейные билеты, надеясь в один прекрасный день сорвать крупный выигрыш для стариков Рагонов. По воскресеньям, когда в доме собирались гости, она, несмотря на свои шестьдесят лет, с такой легкостью носилась из кухни, где готовила, к столу, за которым прислуживала, что смело могла бы поспорить проворством с мадемуазель Марс в роли Сюзанны из «Женитьбы Фигаро».

К обеду были приглашены: судья Попино, дядюшка Пильеро, Ансельм, трое Бирото, трое Матифа и аббат Лоро. Г-жа Матифа, недавно танцевавшая на балу у парфюмера в тюрбане, на этот раз явилась в синем бархатном платье, толстых бумажных чулках, козловых башмаках, в замшевых перчатках с зеленым бархатным кантом, в шляпе, подбитой розовой тафтой и украшенной цветами примулы. Все десять приглашенных собрались к пяти часам. Старики Рагоны умоляли гостей не опаздывать. Когда эту почтенную чету куда-либо приглашали, обед предупредительно подавали именно в этот час, ибо желудки семидесятилетних стариков не могли уже приноровиться к иному обеденному часу, установленному хорошим тоном.

Цезарина знала, что г-жа Рагон посадит ее рядом с Ансельмом: все женщины, даже ханжи и простушки, прекрасно разбираются в любовных делах. Дочь парфюмера принарядилась, чтобы окончательно вскружить голову Попино. Констанс, с болью в сердце отказавшаяся от зятя-нотариуса, который в ее представлении был чем-то вроде наследного принца, с грустью помогала дочери одеваться. Дальновидная мамаша опустила пониже целомудренную газовую косынку, чтобы слегка открыть плечи Цезарины и показать на редкость изящную линию ее шеи. Корсаж в греческом стиле, заложенный пятью складками и перекрещивавшийся слева направо, мог слегка приоткрываться, обнаруживая при этом очаровательные округлости. Мериносовое платье свинцово-серого цвета с оборками, отделанными зеленым аграмантом, обрисовывало талию, никогда еще не казавшуюся столь тонкой и гибкой. Уши Цезарины украшали золотые филигранные серьги с подвесками. Волосы, поднятые кверху по китайской моде, позволяли любоваться прелестной свежестью кожи с просвечивающими голубыми жилками, под матовой белизной которой, казалось, трепетала сама жизнь. Словом, Цезарина была соблазнительно хороша, и г-жа Матифа не могла удержаться, чтобы не признать этого, не догадываясь, что мать и дочь поняли необходимость обворожить молодого Попино.

Ни Бирото, ни жена его, ни г-жа Матифа — никто не прерывал нежной беседы, которую влюбленные вели вполголоса в амбразуре окна, не замечая холодного ветра, проникавшего сквозь щели. Впрочем, разговор старших заметно оживился, когда судья Попино упомянул о бегстве Рогена, заметив, что это уже второй случай банкротства нотариуса и что в былые времена о таких преступлениях и не слыхивали. При имени Рогена г-жа Рагон, толкнула брата ногой, Пильеро заговорил громче, чтобы заглушить слова судьи, и оба они указали ему на г-жу Бирото.

— Я уже все знаю,— печально и кротко сказала друзьям Констанс.

— Сколько же он у вас похитил? — спросила г-жа Матифа у Бирото, смиренно потупившего голову.— Если верить слухам, вы разорены.

— У Рогена было моих двести тысяч франков. Что

касается сорока тысяч, которые он якобы занял для меня у одного из своих клиентов, то из-за них мы судимся.

— Дело будет слушаться на этой неделе,— сказал Попино.— Я подумал, что вы ничего не будете иметь против, если я объясню ваше положение председателю суда; он приказал рассмотреть бумаги Рогена в распорядительном заседании, чтобы выяснить, как давно были растрачены вклады заимодавца, и познакомиться с доказательствами этой растраты, представленными Дервилем, который сам выступает по делу, чтобы избавить вас от расходов.

— Выиграем ли мы тяжбу? — спросила г-жа Бирото.

— Не знаю,—ответил Попино.— Хотя дело поступило в то отделение суда, по которому я числюсь, я воздержусь от его обсуждения, если бы даже меня назначили.

— Неужели могут возникнуть сомнения в таком простом деле? — спросил Пильеро.— Разве в акте не должно быть указаний на передачу сумм, и разве нотариус не должен удостоверить, что в его присутствии произведено вручение денег заимодавцем должнику? Попадись Роген в руки правосудия, его отправили бы на каторгу.

— Я считаю,— ответил Попино,— что заимодавец должен получить возмещение из залога за нотариальную контору Рогена и из денег, вырученных за ее продажу; но в суде, даже в более ясных делах, голоса судей делятся иной раз поровну — шесть против шести.

— Как, мадемуазель, господин Роген сбежал?—спросил Ансельм, услышав, наконец, о чем говорят вокруг него.— Господин Бирото ни слова не сказал мне об этом, а ведь я готов отдать за него последнюю каплю крови...

Цезарина поняла, что это *за него* распространяется на всю их семью, и если простодушная девушка и могла ошибиться насчет интонации, то не понять устремленного на нее пламенного взгляда было невозможно.

— Я знаю это, я так ему и говорила; но он все скрыл даже от мамы и доверился только мне одной.

— Вы ему напомнили обо мне в тяжелую минуту? — сказал Попино.— Вы, стало быть, читаете в моем сердце, но все ли вы в нем прочли?

— Быть может.

— Я бесконечно счастлив,— сказал Попино.— Из-

бавьте меня от сомнений, и я через год буду настолько богат, что отец ваш уже не встретит меня так плохо, когда я заговорю с ним о нашем браке. Теперь я буду спать не больше пяти часов в сутки...

— Только не захворайте,— сказала Цезарина с непередаваемым выражением, бросив на Попино взгляд, в котором можно было прочесть все, что она не высказала словами.

— Жена,— сказал, вставая из-за стола, Цезарь,— похоже, что молодые люди любят друг друга.

— Ну что ж, тем лучше,— серьезным тоном ответила ему Констанс.— Значит, у нашей дочери будет хороший муж, умный и энергичный человек. Талант — лучше всякого состояния.

Она поспешила уйти из гостиной в комнату г-жи Рагон. В нескольких сказанных за обедом фразах Цезарь проявил такое невежество, что вызвал у Пильеро и судьи Попино улыбку; это напомнило несчастной женщине, как беспомощен ее муж в борьбе с бедой. У Констанс было тяжело на душе, она чувствовала инстинктивное недоверие к дю Тийе, ибо, даже не зная латыни, каждая мать понимает смысл выражения: «Timeo Danaos et dona ferentes» [1]. Она плакала в объятиях дочери и г-жи Рагон, но не захотела объяснять им причину своих слез.

— Нервы,— сказала она.

Конец вечера старики провели за картами, а молодежь играла в фанты — игра, которая называется «невинной», очевидно, потому, что прикрывает невинные хитрости мещанской любви. Супруги Матифа тоже приняли в ней участие.

— Цезарь,— сказала Констанс по дороге домой,— ступай третьего числа к барону Нусингену. Надо узнать заблаговременно, сможешь ли ты заплатить пятнадцатого. Ведь в случае какого-нибудь затруднения ты не раздобудешь сразу нужные средства.

— Хорошо, жена, пойду,— отвечал Цезарь и, пожав руки Констанс и Цезарине, прибавил: — Дорогие мои кошечки, невеселый новогодний подарок я вам преподнес!

В полутьме фиакра обе женщины не могли видеть

---

[1] «Боюсь данайцев и дары приносящих» *(лат.)*.

лицо бедного парфюмера, но почувствовали, как на руки им закапали горячие слезы.

— Не падай духом, друг мой! — сказала Констанс.

— Все будет хорошо, папенька. Господин Ансельм Попино сказал мне, что готов отдать за тебя последнюю каплю крови.

— За меня, а главное, за мою дочку, не так ли? — подхватил Цезарь, стараясь казаться веселым.

Цезарина пожала отцу руку, давая ему понять, что Ансельм стал ее женихом.

За первые три дня нового года Бирото получили сотни две поздравительных карточек. Этот поток лицемерных знаков дружеского внимания, эти свидетельства мнимой приязни ужасны для людей, чувствующих, что их затягивает водоворот несчастья. Бирото три раза тщетно наведывался в особняк знаменитого банкира. Новый год и связанные с ним празднества вполне оправдывали отсутствие финансиста. В последний раз парфюмер проник до самого кабинета банкира, где старший служащий банка, какой-то немец, заявил ему, что г-н де Нусинген только в пять часов утра вернулся с бала у Келлеров и не сможет в половине десятого начать прием посетителей. Бирото сумел вызвать участие этого служащего и беседовал с ним около получаса. Днем сей министр банкирского дома Нусингена письменно уведомил Цезаря, что барон примет его завтра, двенадцатого января, в полдень. Хотя каждый час ожидания приносил с собой новую каплю горечи, день промелькнул с ужасающей быстротой. Бирото приехал в фиакре и приказал кучеру остановиться неподалеку от особняка, двор которого был полон экипажей. При виде роскоши этого знаменитого банкирского дома у честного малого болезненно сжалось сердце.

«А ведь он дважды прибегал к ликвидации»,— подумал Цезарь, поднимаясь по великолепной, украшенной цветами лестнице и проходя по пышно убранным покоям, которыми славилась баронесса Дельфина де Нусинген. Баронесса стремилась соперничать с богатейшими особняками Сен-Жерменского предместья, где она тогда еще не была принята. Барон и его супруга завтракали. Хотя в конторе ожидало множество посетителей, Нусинген заявил, что друзей дю Тийе он готов принять в любое время. Сердце Бирото радостно затрепетало от надежды,

когда он увидел, как изменилось при этих словах наглое лицо лакея.

— *Исфините, моя торокая,*— сказал барон, приподнявшись и слегка кивнув Бирото,— *но этот каспатин топрый роялист и плиский трук тю Тийе. Фтопафок он помошник мэра фторофо округа и сатает палы с фостошной пышностью. Ты пес сомнения с утофольстфием с ним познакомишься.*

— Мне будет очень лестно поучиться у госпожи Бирото, ведь Фердинанд («Как! — подумал Бирото,— она называет его просто Фердинанд!») так восторженно отзывался о вашем бале; это тем более ценно, что обычно он ничем не восторгается. Фердинанд — критик строгий, значит, все действительно было бесподобно. Скоро ли вы собираетесь дать второй бал? — с самым любезным видом осведомилась баронесса де Нусинген.

— Сударыня, такие небогатые люди, как мы, редко развлекаются,— ответил парфюмер, не зная, насмешка это с ее стороны или простая любезность.

— *Кто рукофотил оттелкой фашей кфартиры? Кашется, каспатин Кренто?* — спросил барон.

— А, Грендо! Тот красивый молодой архитектор, что вернулся недавно из Рима? — воскликнула Дельфина де Нусинген.— Я без ума от него: он украсил мой альбом такими очаровательными рисунками!

Венецианский заговорщик, подвергавшийся средневековой пытке, вряд ли чувствовал себя хуже в «испанском сапоге», чем чувствовал себя Бирото в обычной своей одежде. В каждом слове ему чудилась насмешка.

— *Мы тоше таем непольшие палы,*— сказал барон, бросая на парфюмера инквизиторский взгляд.— *Как фитите, фсе этим понемношку санимаются.*

— Позавтракайте с нами запросто, господин Бирото,— предложила Дельфина, указывая на роскошно сервированный стол.

— Баронесса, я пришел по делу, и я...

— *Та,*— подтвердил барон,— *мы путем иметь маленький телофой раскофор. Фы расрешите?*

Утвердительно кивнув головой, Дельфина спросила мужа:

— Разве вы собираетесь покупать парфюмерные товары?

Барон пожал плечами и повернулся к доведенному до отчаяния Цезарю.

— *Тю Тийе прояфляет к фам шифейший интерес,*— сказал он.

«Наконец-то мы подходим к делу»,— подумал несчастный купец.

— *С ефо письмом фы имеете полушить ф моем панке кретит, сколько посфолит мое сопстфенное состояние...*

Целительный бальзам, содержавшийся в воде, которой ангел напоил в пустыне Агарь, походил, вероятно, на живительную влагу, заструившуюся в жилах парфюмера при этих словах, сказанных на ломаном французском языке. Хитрый банкир, чтобы иметь возможность отказываться от своих слов, якобы плохо понятых собеседником, нарочно сохранял ужасное произношение немецких евреев, воображающих, что они говорят по-французски.

— *Мы фам откроем текуший шот. Фот как мы поступим,*— с чисто эльзасским добродушием сказал этот добрый и достойный великий финансист.

У Бирото уже не оставалось никаких сомнений,— как коммерсант он хорошо знал, что тот, кто не собирается дать взаймы, не станет входить в подробности сделки.

— *Фы сами понимаете, што и от польших и от малых лютей трепуется три потписи. Итак, принесите фекселя прикасу нашефо трука тю Тийе; я неметленно отсылаю их ф панк со сфоей потписью, и ф тот ше тень ф шетыре шаса фы полушите ту сумму, на которую утром потписали фекселя. Ни комиссионных, ни ушотнофо просента, нишефо мне не нушно, только панкофский просент: путу ошень рат окасаться фам полесным... Но стафлю отно услофие,*— сказал он с неподражаемым лукавством, поднося указательный палец к носу.

— Готов принять любые условия, господин барон,— сказал Бирото, полагая, что речь идет об удержании какой-то части из его прибылей.

— *Услофие, которому я притаю ошень польшое снашение: пусть моя супрука перет, как она скасала, уроки у фашей супруки.*

— Умоляю вас, господин барон, не смейтесь надо мной.

— *Нет, нет,*— с самым серьезным видом продолжал банкир,— *ми услофились: фи приклашаете нас на фаш*

слетуюший пал. Моя шена сафитует, она хотела пы фитеть фашу кфартиру, о которой фсе столько кофорят.

— Господин барон!

— *О, если фи нам откасыфаете,— и я откасыфаюсь иметь с фами тело! Фи в польшой слафе. Та, я снаю, фас сопирался нафестить сам префект Сены.*

— Господин барон!

— *У фас пыл ла Пиллартиер, камеркер тфора, старый фантеец,— он тоже пыл ранен у серкфи сфятого Роха.*

— Тринадцатого вандемьера, господин барон!

— *У фас пыл каспатин те Лассепетт, акатемик Фоклен...*

— Господин барон!..

— *Ах, шорт попери, не скромнишайте, каспатин помошник мэра. Король кофорил, как я слышал, што фаш пал...*

— Король? — спросил Бирото. Но ему так и не пришлось ничего больше узнать.

В комнату развязно вошел молодой человек; узнав еще издали его шаги, прекрасная Дельфина де Нусинген зарделась.

— *Топрый тень, торокой те Марсе!* — сказал барон де Нусинген.— *Сатитесь на мое место. Ф моей конторе, кофорят, мношестфо посетителей. Я снаю отшефо: фортшинские копи приносят тфойной тифитент. Каспаша те Нусинкен, у фас теперь на сто тысяш франкоф польше тохота. Мошете накупить сепе всяких нарятов и упоров, штопы стать еще красифее, хотя фы как путто ф этом не нуштаетесь.*

— Господи! А Рагоны-то продали свои акции! — воскликнул Бирото.

— Это кто такие? — спросил, улыбаясь, молодой щеголь.

— *Фот,*— сказал Нусинген, возвращаясь, так как был уже у самой двери,— *эти люти, кашется... Те Марсе, это — каспатин Пирото, фаш парфюмер. Он сатает палы с фостошной пышностью, и король накратил ефо орденом.*

Подняв к глазам лорнет, де Марсе сказал:

— Да, правда, его лицо показалось мне несколько знакомым. Вы что же, собираетесь надушить ваши дела

какими-нибудь ароматическими веществами, умастить их маслами?..

— *Так фот, эти Раконы,*— с недовольным видом продолжал барон,— *тершали у меня теньки, и я помок пы им состафить сепе состояние, но они не сумели потоштать лишний тень.*

— Господин барон! — воскликнул Бирото.

Видя, что дело его в очень неопределенном положении, бедняга, не простившись даже с баронессой и де Марсе, устремился за банкиром. Тот уже спускался по лестнице, и парфюмер догнал его только внизу, у входа в контору. Открывая дверь, Нусинген увидел отчаянный жест несчастного купца, чувствовавшего, что он летит в бездну, и сказал ему:

— *Так решено? Пофитайтесь с тю Тийе и опо фсем с ним токофоритесь.*

Бирото решил, что де Марсе имеет влияние на барона; быстрее ласточки он взлетел вверх по лестнице и проскользнул в столовую, где должны были еще находиться баронесса и де Марсе: ведь когда он уходил, Дельфина ждала кофе со сливками. Кофе стоял на столе, но баронесса и молодой щеголь исчезли. Заметив недоумение посетителя, лакей ухмыльнулся; Бирото медленно спустился по ступенькам к подъезду. Он устремился к дю Тийе, но, как ему сказали, банкир уехал за город, к г-же Роген. Парфюмер нанял кабриолет и щедро заплатил кучеру, чтобы тот быстро, как на почтовых, доставил его в Ножан-сюр-Марн. Однако в Ножан-сюр-Марн привратник сказал ему, что господа уехали обратно в Париж. Бирото вернулся домой совершенно разбитый. Рассказав о своих мытарствах жене и дочери, он поражен был тем, что Констанс, встречавшая обычно зловещей птицей малейшую коммерческую неудачу, принялась нежно утешать его, уверяя, что все образуется.

На другой день Бирото в семь часов утра, хотя только еще рассветало, был уже у дома дю Тийе. Вручив швейцару десять франков, он попросил вызвать камердинера. Добившись чести поговорить с этим важным лакеем, он сунул ему в руку два золотых и упросил провести его к банкиру, как только тот проснется. Эти маленькие денежные жертвы и большие унижения, знакомые придворным и просителям, помогли парфюмеру достигнуть

цели. В половине девятого его бывший приказчик, зевая и потягиваясь, вышел к нему с заспанным лицом, извинившись, что принимает его в халате. Бирото очутился лицом к лицу с кровожадным тигром, в котором он все еще упорно видел своего единственного друга.

— Пожалуйста, не стесняйтесь,— сказал Бирото.

— Что вам угодно, *милейший* Цезарь? — спросил дю Тийе.

С замиранием сердца Бирото передал ему ответ и требования барона де Нусингена; невнимательно слушая его, дю Тийе разыскивал мехи для раздувания огня и бранил лакея, недостаточно быстро растопившего камин.

Лакей прислушивался, и Цезарь, сперва не замечавший этого, в конце концов увидел его любопытную физиономию и смущенно замолчал; но банкир рассеянно бросил:

— Продолжайте, продолжайте, я вас слушаю!

У несчастного Бирото взмокла от пота сорочка. Но его охватил ледяной холод, когда дю Тийе вперил в него пристальный взгляд своих стальных с золотыми прожилками глаз, дьявольский блеск которых пронзил парфюмера до глубины сердца.

— Дорогой патрон, чем же я виноват, что банк отказался учесть ваши векселя, которые переданы Жигоне банкирским домом Клапарона с надписью: «без поручительства»? Как это вас, старого члена коммерческого суда, угораздило попасть впросак? Я прежде всего банкир. Я могу дать вам денег, но не знаю, примет ли банк мою подпись, и не хочу рисковать. Я существую только благодаря кредиту. Все мы им только и держимся. Хотите денег?

— А можете ли вы дать, сколько мне требуется?

— Зависит от суммы. Сколько вам нужно?

— Тридцать тысяч франков.

— Все шишки на мою голову! — расхохотался дю Тийе.

Услышав этот смех, парфюмер, ослепленный роскошью, окружавшей дю Тийе, подумал, что так может смеяться только богач, для которого подобная сумма—сущий пустяк; он вздохнул с облегчением. Банкир позвонил.

— Попросите ко мне сюда кассира.

— Он еще не приходил, сударь,— ответил лакей.

— Бездельники смеются надо мной! Уже половина девятого, к этому времени можно наворотить дел на миллион франков.

Минут через пять явился Легра.

— Сколько у нас в кассе денег?

— Всего двадцать тысяч. Ведь вы распорядились купить на тридцать тысяч франков ренты с уплатой наличными пятнадцатого.

— Да, правда, я еще не совсем проснулся.

Как-то странно посмотрев на Бирото, кассир вышел.

— Если бы истину изгнали с земли, последнее свое слово она поручила бы сказать кассиру,— заявил дю Тийе.— Не участвуете ли вы в деле, которое открыл недавно маленький Попино? — спросил он после долгого гнетущего молчания, во время которого лоб парфюмера покрылся каплями пота.

— Да,— простодушно ответил Бирото,— а не могли бы вы учесть его векселя на более или менее крупную сумму?

— Принесите мне его векселей на пятьдесят тысяч франков, я помогу вам учесть их под небольшой процент у некоего Гобсека, человека весьма покладистого, когда у него много свободных денег, а их у него всегда вдоволь.

Бирото вернулся домой удрученный, не понимая еще, что банкиры перебрасывали его друг другу, точно мяч; но Констанс уже догадалась, что ни о каком кредите не может быть и речи: если три банкира отказали, все они, стало быть, справлялись о таком видном человеке, как помощник мэра, и рассчитывать на Французский банк больше не приходится.

— Попытайся отсрочить векселя,— сказала она,— пойди к Клапарону — он твой компаньон; пойди ко всем, у кого есть твои векселя, которым приходит срок пятнадцатого, и попроси отсрочить их. А учесть векселя Попино ты всегда успеешь.

— Завтра тринадцатое! — прошептал совершенно убитый Бирото.

Говоря словами его же собственного проспекта, Бирото обладал сангвиническим темпераментом; волнения и умственное напряжение поглощали у него слишком много сил, восстановить которые мог только сон. Цезарина увела отца в гостиную и, чтобы развлечь его, сыграла

«Сновидение Руссо» — прелестную вещицу Герольда, а Констанс села подле мужа с работой. Бедняга уронил голову на подушку дивана и всякий раз, как подымал глаза на жену, видел на губах ее нежную улыбку; так он и уснул.

— Бедняжка! — сказала Констанс.— Сколько ему предстоит пережить терзаний! Только бы у него хватило сил!

— Что с тобой, мама? — спросила Цезарина, заметив, что мать плачет.

— Доченька, я вижу, как надвигается банкротство. Если отцу придется объявить себя несостоятельным, нечего рассчитывать на чью-либо жалость. Будь готова, дитя мое, стать простой продавщицей. Когда я увижу, что ты стойко переносишь удары судьбы, я найду в себе силы начать жизнь сызнова. Твой отец не утаит ни гроша — я знаю его; я также откажусь от своих прав, и все, что у нас есть, пойдет с молотка. Отнеси завтра свои платья и драгоценности к дяде Пильеро, ведь ты, деточка, не несешь никакой ответственности.

Слова эти, сказанные с благочестивым смирением, повергли Цезарину в ужас. Она решилась было повидать Ансельма, но не могла преодолеть своей застенчивости.

На следующий день в девять часов утра Бирото уже был на улице Прованс: теперь его терзала тревога совсем иного рода, чем прежде. Добиваться кредита — самое обычное дело в коммерции. Затевая какое-нибудь предприятие, всегда изыскивают средства; но просьба об отсрочке векселя — это в коммерческой практике первый шаг к банкротству, подобно тому как первое правонарушение, которое карается еще судом исправительной полиции, ведет к уголовному преступлению, подлежащему уже суду присяжных. Тайна ваших денежных затруднений и вашей неплатежеспособности становится известна всем. Купец, связанный по рукам и ногам, отдает себя во власть другого купца, а милосердие — добродетель, которая на бирже не котируется.

Парфюмер, недавно еще с самоуверенным видом расхаживавший по улицам Парижа, был теперь измучен сомнениями и не решался войти в дом Клапарона; он начинал уже понимать, что у банкиров сердце — всего лишь орган кровообращения. Клапарон с его шумной весело-

стью казался Цезарю таким бесцеремонным и грубым, что парфюмер боялся к нему подступиться.

«Но он ближе к народу и, может статься, будет менее бездушным!» — таков был первый упрек, подсказанный Бирото его отчаянным положением.

Собрав остатки мужества, Цезарь поднялся по лестнице на неприглядные антресоли, в окнах которых успел заметить порыжевшие от солнца зеленые занавески. На прибитой к дверям овальной медной дощечке черными буквами было выгравировано: *«Контора»;* Бирото постучался, ответа не последовало, и он вошел. Более чем скромное помещение говорило о скудости, скупости или полной заброшенности. За медной решеткой, укрепленной на некрашеном деревянном барьере, стояли почерневшие столы и конторки, но не видно было ни одного служащего. Пустовавшие столы были уставлены чернильницами с заплесневевшими чернилами, а из этих чернильниц высовывались гусиные перья, растрепанные, как вихры уличных мальчишек, или расходящиеся венчиком, как утренние лучи солнца; тут же навалены были никому, видимо, не нужные папки, бумаги и бланки. Паркет походил на пол в приемной пансиона: сырой, грязный, затоптанный. Следующая комната, на двери которой значилось *«Касса»,* вполне соответствовала нелепому и мрачному виду первой. В одном из углов ее находилась большая дубовая загородка с решеткой из медной проволоки и с задвигающимся окошечком; внутри этой клетки стоял огромный железный сундук, в котором, наверное, уже завелись крысы. За открытой дверью виднелся еще какой-то несуразный письменный стол, а перед ним безобразное зеленое кресло с продавленным сиденьем, из которого торчал конский волос, закручиваясь множеством игривых завитков, как кудряшки на парике самого Клапарона. Главным украшением этой комнаты, служившей, очевидно, гостиной до того, как квартиру превратили в контору банка, был круглый стол, покрытый зеленым сукном; вокруг него стояли старые обитые черной кожей стулья с некогда позолоченными гвоздиками. В довольно изящном по форме камине и на чугунной его доске не заметно было ни малейших следов копоти, которая свидетельствовала бы о том, что этот камин топили. Засиженное мухами зеркало имело самый убогий вид и вполне гармони-

ровало с часами в футляре из красного дерева, приобретенными, вероятно, с торгов на распродаже мебели какого-нибудь престарелого нотариуса; часы эти не радовали взгляда, и без того уже удрученного видом двух канделябров без свечей и густым слоем пыли, покрывавшей все вокруг. Закопченные обои мышино-серого цвета с розовым бордюром указывали на длительное пребывание в комнате заядлых курильщиков. Все здесь напоминало так называемые «редакционные комнаты» в газетах. Боясь быть нескромным, Бирото трижды постучался в дверь, противоположную той, в которую он вошел.

— Войдите! — крикнул Клапарон, и по звуку его голоса можно было судить о том, как далеко он находился и как пуста была соседняя комната, откуда до парфюмера доносилось потрескивание огня в камине, но где самого банкира, очевидно, не было. Комната эта служила Клапарону личным кабинетом Между пышным кабинетом Келлера и удивительно запущенным жилищем этого мнимого крупного дельца была не меньшая разница, чем между Версалем и вигвамом вождя племени гуронов. Парфюмеру, уже видевшему величие банка, предстояло теперь познакомиться с шутовской на него пародией.

Клапарон лежал на кровати, которая поставлена была в продолговатой нише, устроенной в задней стене кабинета; комната эта была обставлена довольно изящной мебелью, но испорченной, разрозненной, изломанной, ободранной, загрязненной и приведенной в негодность безалаберными привычками хозяина; при виде Бирото Клапарон запахнул засаленный халат, положил трубку и так поспешно задернул полог кровати, что даже наивный парфюмер усомнился в его целомудрии.

— Присаживайтесь, сударь,— сказал мнимый банкир.

Без парика, с головой, криво повязанной каким-то фуляром, Клапарон показался Бирото особенно отвратительным: распахнувшийся на груди халат приоткрыл белую шерстяную фуфайку, ставшую темно-бурой от долгой носки.

— Не хотите ли позавтракать? — спросил Клапарон, вспомнив о бале у парфюмера и желая отблагодарить его этим приглашением за гостеприимство, а заодно и втереть ему очки.

Круглый стол, с которого были наскоро убраны бумаги, красноречиво говорил о недавней пирушке в приятной компании: на нем красовались устрицы, паштет, белое вино и застывшие в соусе почки в шампанском. Горящие в камине угли бросали золотистые блики на яичницу с трюфелями. Наконец, два прибора и салфетки в жирных пятнах, оставленных вчерашним ужином, открыли бы глаза самой святой невинности. Несмотря на отказ Бирото, Клапарон продолжал настаивать, как человек, уверенный в своей ловкости.

— Я кое-кого ждал к себе, но гость мой куда-то пропал,— умышленно громко воскликнул хитрый коммивояжер, чтобы его услышала особа, которая зарылась в постели под одеяла.

— Сударь,— сказал Бирото,— я пришел по делу и долго вас не задержу.

— Я завален работой,— отвечал Клапарон, указывая на секретер с задвижной крышкой и на стол с грудами бумаг,— у меня нет минутки свободной. Принимаю я только по субботам, но для вас, дорогой господин Бирото, я всегда дома. Никак не урву времени ни для любви, ни для прогулок по городу; я теряю всякий деловой нюх: чтобы сохранить его, ведь надобно же иногда и побездельничать. А мне не удается даже побродить по бульварам. Опротивели мне дела, и слышать о них больше не желаю; денег с меня хватит, а вот в счастье всегда нехватка. Хотелось бы мне, клянусь честью, поездить по свету, побывать в Италии! Ах, Италия! Вот благодатный край! Прекрасна, наперекор всем превратностям судьбы! Чудесная страна, где ждет меня величавая и томная итальянка! Всю жизнь обожал итальянок! Была у вас когда-нибудь любовница итальянка? Нет? Так поедем со мной в Италию! Мы увидим Венецию — резиденцию дожей; город этот, к несчастью, попал в руки невежественной Австрии, которая ничего не смыслит в искусствах! Баста! Бросим все эти государственные дела, займы, каналы. Я добрый малый, когда у меня туго набиты карманы. Едем же, черт побери, путешествовать!

— Одно слово, сударь, и я ухожу,— сказал Бирото.— Вы передали мои векселя господину Бидо?

— Вы хотите сказать — Жигонне, милейшему Жигон-

не? Вот человек, всегда готовый нежно обнять вас... как веревка шею висельника.

— Да,— продолжал Цезарь,— я хотел бы... и тут я рассчитываю на ваше благородство и деликатность...

Клапарон поклонился.

— Я хотел бы получить отсрочку...

— Невозможно,— прервал банкир,— дела я веду не один; нас целый совет, настоящая палата депутатов. Мы, правда, спелись и шипим в один голос, как сало на сковороде. Да, черт побери, мы обо всем совещаемся. Участки в районе церкви Мадлен — это пустяки! Мы орудуем во многих местах. Э, любезнейший, если бы мы не имели доли в участках на Елисейских полях, вокруг достраивающейся биржи, в квартале Сен-Лазар и около Тиволи, мы *«не форошали пы телами»*, как говорит толстяк Нусинген. Что для нас участки около Мадлен? Так, чепуха! Мы, любезнейший, крохоборничать не любим,— сказал он, похлопывая Бирото по животу и обнимая его за талию.— Ну, давайте же завтракать, потолкуем за едой,— прибавил Клапарон, чтобы смягчить отказ.

— Охотно,— ответил Бирото.

«Собутыльнику моему не поздоровится»,— подумал парфюмер, надеясь подпоить Клапарона, чтобы выведать, кто же в действительности его компаньоны в деле с земельными участками, начинавшем казаться ему подозрительным.

— Вот и хорошо! Виктория! — крикнул банкир.

На зов явилась женщина, похожая на ведьму и одетая, как торговка рыбой.

— Скажите в конторе, что меня нет дома ни для кого — даже для Нусингена, Келлеров, Жигонне и всех прочих.

— Из конторщиков пока пришел только господин Ламперер.

— Ну что ж, ему ли не знать, как принимают знать,— сказал Клапарон.— А мелюзгу дальше первой комнаты не пускайте. Велите всем говорить, что я обдумываю, как опрокинуть... бокал шампанского.

Напоить бывшего коммивояжера — дело безнадежное. Пытаясь выведать правду у своего компаньона, Цезарь принял его пошлую болтливость за признаки опьянения.

— Вы все еще связаны с этим подлецом Рогеном,— сказал Бирото.— Написали бы вы ему, чтобы он помог пострадавшему из-за него другу, человеку, с которым он каждое воскресенье вместе обедал, которого знает вот уже двадцать лет.

— Роген?.. Он дуралей! Его доля в участках станет нашей! Не горюйте, дружище, все уладится. Расплатитесь пятнадцатого, а там видно будет. Я говорю «видно будет»... (еще стаканчик вина!), а собственно, я-то сам в деле не участвую. По мне хоть и вовсе не платите, я на вас в претензии не буду: мое участие в деле сводится к получению комиссионных за покупку да к доле в барышах,—ведь это я, знаете ли, обрабатываю владельцев участков... Ясно? Компаньоны у вас надежные, мне, милейший, опасаться нечего. Участвовать в делах по нынешним временам можно по-разному! Любое дело требует людей самых разнообразных способностей. Почему бы вам не принять участие в наших делах? Бросьте ваши баночки-скляночки, помаду да гребенки — это же вздор! Ничего не стоящее дело! Стригите публику, займитесь спекуляцией.

— Спекуляцией? — спросил парфюмер.— А это что за промысел?

— Это промысел отвлеченный,— отвечал Клапарон,— промысел, который еще лет десять для большинства останется тайной, так по крайней мере утверждает наш финансовый Наполеон — великий Нусинген. Финансист, занимающийся спекуляцией, охватывает всю совокупность цифр, снимает сливки с еще не полученных доходов, это — гениальное постижение, способ регулярно стричь надежду, словом — новая кабалистика! Нас пока всего лишь десять — двенадцать мудрых голов, посвященных в кабалистические тайны этих великолепных комбинаций.

Цезарь открыл глаза и уши, стараясь разобраться в столь сложной фразеологии.

— Послушайте-ка,— продолжал Клапарон, помолчав.— Для таких дел нужны люди. Нужен, например, человек с идеями, у которого гроша ломаного нет за душой, как и у всех людей с идеями. Пораскинув умом, они раскидывают направо и налево деньги, ни о чем не заботясь. Представьте себе свинью, которую пустили по

лесу, где растет масса трюфелей. Следом за ней идет молодчик, человек денежный, который ждет, когда раздастся хрюканье, возвещающее о находке. Понятно? Как только человек с идеями напал на выгодное дельце, человек с деньгами, потрепав его по плечу, говорит: «Это еще что такое? Куда лезете, любезный, у вас кишка тонка; вот вам тысяча франков, а пустить дело в ход предоставьте уж мне». Ладно! Тут банкир созывает ловкачей: «За работу, приятели! Рекламу! Врите напропалую!» Ловкачи хватают охотничий рог и трубят что есть мочи: «Сто тысяч франков за пять су!» или «Пять су за сто тысяч франков!» — «Золотые россыпи, угольные копи!» Словом, обычная коммерческая шумиха. Покупаются отзывы людей науки или искусства, и балаган открыт: публика валом валит и получает что положено за свои денежки; а выручка попадает к нам в карман. Свинью загоняют в хлев и насыпают ей картошки, а дельцы загребают банковые билеты и блаженствуют. Так-то, сударь мой! Займитесь делами! Кем вам хочется быть? Свиньей, простофилей, ловкачом или миллионером? Поразмыслите над этим: я изложил вам теорию современных займов... Заходите ко мне почаще. Я весельчак и добрый малый. Наша французская жизнерадостность легкомысленна, но мы умеем быть серьезными; веселье делу не помеха, наоборот. За бутылочкой люди скорее столкуются. Ну-ка, еще бокал шампанского! Лучшая марка, поверьте! Один клиент прислал его мне прямо из Эперне; я распродал когда-то немало его вин, и по хорошей цене (я ведь работал по винной части). Он мне благодарен и шлет подарки даже и сейчас, когда я процветаю. А ведь это редкость.

Бирото, пораженный легкомыслием и беспечностью человека, которого все считали наделенным недюжинным умом и незаурядными коммерческими способностями, не решался его больше расспрашивать. Уже захмелев от шампанского, он все же вспомнил имя, упомянутое дю Тийе, и спросил, кто такой банкир Гобсек и где он проживает.

— Как! Вы уже до этого дошли, сударь? — воскликнул Клапарон.— Гобсек — такой же банкир, как парижский палач — лекарь. Он с первого же слова требует пятьдесят процентов. Гобсек из школы Гарпагона: он вам

предложит канареек, чучело удава, меха летом и кисею зимой. А какое обеспечение вы ему предложите? Чтобы он принял вексель за одной только вашей подписью, вам придется заложить ему жену и дочь, самого себя—словом, решительно все, вплоть до картонки для шляп, зонтика и калош (вы ведь, кажется, сели в калошу?), вплоть до каминных щипцов, совка для углей и дров из вашего сарая... Гобсек! Гобсек!.. Хорошенькое дело! Кто вас направил к этой финансовой гильотине?

— Господин дю Тийе!

— Вот плут! Узнаю его проделки. Мы ведь были когда-то друзьями, но так рассорились, что теперь даже не раскланиваемся; поверьте, мое отвращение к нему имеет достаточное основание: мне удалось заглянуть в самую глубь его грязной душонки; он мне испортил настроение на вашем чудесном балу. Не выношу его фатовского вида: он, видите ли, живет с женой нотариуса! Подумаешь! Да пожелай я только — у меня будут маркизы, а вот он моего уважения никогда не добьется. Не заслужить ему моего уважения, как не заполучить принцессу к себе в постель. А ведь вы, папаша, забавник: задаете такой бал и через два месяца просите отсрочить векселя! Вы далеко пойдете! Давайте-ка сообща ворочать делами. У вас хорошая репутация — она мне пригодится. Дю Тийе мошенник, ему на роду написано снюхаться с Гобсеком. Но на бирже он плохо кончит. Говорят, он соглядатай старика Гобсека,— значит, ему долго не продержаться. Гобсек притаился в углу своей паутины, точно старый паук, привыкший раскидывать свои тенета в разных странах света. Рано или поздно ростовщик — хлоп! — и проглотит своего подручного, как я — стакан вина. Так ему и надо, этому дю Тийе. Он сыграл со мной штуку... О, за такую штуку стоит повесить!..

Потратив полтора часа на бесплодную болтовню, Бирото решил уйти; бывший коммивояжер приступил в это время к рассказу о приключениях некоего депутата в Марселе: депутат был влюблен в актрису, выступавшую в роли прекрасной Арсены и освистанную сидевшими в партере роялистами.

— Он встает,— рассказывал Клапарон,— выпрямляется во весь рост в ложе и кричит: «Держите свисту-

на! Коли это женщина — начхать мне на нее; коли мужчина — будем драться; коли ни то ни се — бог ему судья». Знаете, чем кончился весь этот скандал?

— Прощайте, сударь,— сказал Бирото.

— Вам придется еще разок зайти ко мне,— заявил Клапарон.— Первый векселек Кейрона вернулся к нам опротестованный; передаточная надпись—моя, и я уплатил по нему. Я вам его пришлю, дела ведь на первом месте.

Бирото был до глубины души уязвлен этой кривляющейся, холодной любезностью; она поразила его не менее жестоко, чем черствость Келлера и немецкая издевка Нусингена. Развязность этого распутника, его подогретая шампанским циничная откровенность омрачили душу честного парфюмера, ему казалось, что он побывал в каком-то притоне. Сам не сознавая, куда он идет, Цезарь спустился по лестнице и, выбравшись на улицу, побрел по бульварам; дойдя до улицы Сен-Дени, он вспомнил о Молине и направился к Батавскому подворью. Он взобрался по грязной винтовой лестнице, по которой еще недавно поднимался с таким кичливым и высокомерным видом. При мысли о мелочной жадности Молине Цезарь ужаснулся, что придется обратиться к нему с просьбой. Как и при первом посещении парфюмера, домовладелец сидел у камелька, но на сей раз он уже позавтракал и предавался пищеварению. Бирото объяснил цель своего прихода.

— Отсрочить вексель в тысячу двести франков? — с недоверчивой усмешкой спросил Молине.— Ну, уж нет, сударь! Если пятнадцатого у вас не найдется тысячи двухсот франков, чтобы заплатить мне по векселю, значит, вы и за квартиру мне не заплатите? Я буду этим весьма недоволен, я не привык церемониться в денежных делах, квартирная плата — мой доход. Как бы я мог иначе расплачиваться сам? Вы ведь купец и не станете порицать меня за это. В денежных делах нет ни свата, ни брата. Зима нынче суровая, дрова вздорожали. Если вы пятнадцатого не заплатите, ждите в полдень шестнадцатого повесточку. О! Добрейший Митраль, ваш судебный пристав — равно как и мой — пошлет вам повестку в конверте, со всей почтительностью, подобающей вашему высокому положению.

— Сударь, мне никогда еще не приходилось получать судебных повесток! — воскликнул Бирото.

— Лиха беда начало,— ответил Молине.

Нескрываемая злоба старикашки потрясла парфюмера, он почувствовал, что все погибло; в его ушах зазвучал похоронный звон банкротства. Каждый удар колокола воскрешал в его памяти жестокие слова, которыми он, неумолимый законник, клеймил когда-то банкротов. Огненными знаками вспыхивали они теперь в его мозгу.

— Кстати,—сказал Молине,— вы забыли сделать пометку на векселе: «за наем помещения», а такая пометка даст мне преимущественное право на получение долга.

— Мое положение не дозволяет мне нанести в чем-либо ущерб своим кредиторам,— ответил парфюмер, потерявший голову при виде открывшейся перед ним бездны.

— Хорошо, сударь, превосходно! А я-то думал, что жильцы меня уже всему обучили по части их фокусов с квартирной платой. Теперь благодаря вам я буду знать, что нельзя принимать векселей в уплату за квартиру... О, я буду судиться, ибо ответ ваш ясно показывает, что вы не выполните своих обязательств. Случай этот представляет интерес для всех домовладельцев Парижа.

Бирото вышел от него полный отвращения к жизни. Получив отказ, люди со слабой и чувствительной душой тотчас впадают в уныние, а первый успех необычайно окрыляет их. У Цезаря оставалась теперь только одна надежда — на преданность Ансельма Попино, о котором он сразу же вспомнил, оказавшись около рынка Невинных.

«Бедный мальчик, кто бы это мог предвидеть; ведь только полтора месяца назад, в Тюильри, я помог ему стать на ноги!»

Было около четырех часов дня; судейские чиновники в это время покидают обычно здание суда. Старик Попино зашел проведать племянника. Старый служитель правосудия был знатоком человеческой души, глубоким прозорливцем; он угадывал тайные побуждения людей, улавливал скрытый смысл их самых невинных с виду поступков, зародыши преступлений, корни проступков; он испытующе посмотрел на Бирото, который этого даже и не заметил. Парфюмер досадовал, что застал у Ансель-

ма его дядю, и, как показалось судье, был чем-то смущен, озабочен и задумчив. Маленький Попино, как всегда страшно занятый, с пером за ухом, лебезил, по обыкновению, перед отцом Цезарины. Судье почудилось, что избитые фразы, с которыми Цезарь обращался к своему компаньону, говорились просто для отвода глаз и что парфюмер пришел попросить о какой-то важной услуге. Хитрый старик продолжал сидеть в лавке, вопреки желанию племянника; он не уходил, рассчитывая, что парфюмер, чтобы избавиться от него, сам уйдет первым. Когда Бирото, действительно удалился, следователь тоже вышел, но заметил, что парфюмер бродит в той части улицы Сенк-Диаман, которая ведет к улице Обри-ле-Буше. Это, казалось бы, незначительное обстоятельство вызвало у него подозрение относительно истинных намерений Бирото; выйдя на Ломбардскую улицу, он увидел, что парфюмер снова зашел к Ансельму, и поспешил туда же.

— Дорогой Попино,— сказал компаньону Цезарь.— Я пришел просить тебя об услуге.

— Что я должен сделать? — с пылкой готовностью воскликнул Ансельм.

— Ах, ты возвращаешь меня к жизни,— вскричал парфюмер, обрадованный этим сердечным жаром, согревшим его среди льдов, в которых он блуждал уже с месяц.— Выплати мне пятьдесят тысяч франков в счет моей доли прибыли; о порядке платежа мы договоримся.

Ансельм пристально поглядел на него, и Цезарь опустил глаза. В этот миг снова появился следователь.

— Дорогой мой... Ах, простите, господин Бирото! Дорогой мой, я забыл тебе сказать...

Властным жестом служитель правосудия подхватил племянника под руку, увлек его на улицу и, хотя тот был в одной куртке, с непокрытой головой, повел в сторону Ломбардской улицы и заставил себя выслушать.

— Дела твоего бывшего хозяина, племянник, настолько пошатнулись, что он, возможно, вынужден будет объявить себя несостоятельным. Прежде чем решиться на этот шаг, даже самые добродетельные люди, за плечами которых сорок лет незапятнанной жизни, стремясь спасти свое доброе имя, уподобляются обезумевшим игрокам. Они идут на все: продают жен, торгу-

ют дочерьми, губят лучших друзей, закладывают то, что им не принадлежит; бегут с отчаяния в игорные дома, лгут, притворяются, рыдают... Словом, мне случалось наблюдать самые необычайные дела. Ты же видел, каким простодушным прикидывался Роген,— воплощенная невинность, хоть без исповеди к причастию допускай. Я не распространяю этих жестоких выводов на господина Бирото; я считаю его человеком порядочным; но если он попросит тебя сделать что-либо противное законам коммерции, подписать, скажем, дружеские векселя и пустить их в обращение,—а это, по-моему, уже первый шаг к мошенничеству, ибо это векселя фальшивые,— обещай мне ничего не подписывать, не посоветовавшись предварительно со мной. Ты любишь его дочь и уж во имя одной этой любви не должен губить свою будущность. Если господину Бирото суждено разориться, зачем же разоряться еще и тебе? Тогда вы оба лишитесь всяких шансов на успех, связанный с твоим торговым делом, а ведь оно-то и может оказаться для него прибежищем...

— Благодарю вас, дядя, мне все ясно,— сказал Попино, которому стал теперь понятен горестный возглас парфюмера.

Торговец ароматическими и прочими маслами вернулся в свою темную лавку озабоченным. От Бирото не ускользнула эта перемена.

— Окажите мне честь пройти в мою комнату, там нам будет удобнее. Приказчики, хоть и очень заняты, могут нас все же услышать.

Бирото последовал за Попино, точно осужденный, терзаемый неизвестностью,— будет ли приговор отменен или оставлен в силе.

— Мой дорогой благодетель,— начал Ансельм,— не сомневайтесь в моей преданности — она безгранична. Позвольте мне только спросить вас: достанет ли этой суммы для вашего спасения, или же эти деньги только отсрочат какую-то катастрофу? Вам нужны векселя сроком на три месяца. Но через три месяца я, конечно, не смогу заплатить по ним.

Бледный и торжественный, Бирото встал и в упор посмотрел на Ансельма.

Испуганный его видом, Попино воскликнул:

— Я подпишу векселя, если вы настаиваете.

— Неблагодарный! — сказал парфюмер, вложив в это слово всю силу негодования, чтобы заклеймить им Ансельма.

Повернувшись, он направился к двери и вышел. Придя в себя от потрясения, в которое повергло его это ужасное слово, Попино бросился вниз по лестнице и выбежал на улицу, но парфюмер уже куда-то исчез. С тех пор этот страшный приговор неумолчно звучал в ушах возлюбленного Цезарины. Перед взором его неотступно стояло искаженное лицо несчастного Цезаря; словом, Попино жил, как Гамлет, бок о бок с грозным призраком.

Бирото, точно пьяный, кружил по улицам квартала. В конце концов он очутился на набережной, пошел вдоль нее, добрался до Севра; здесь обезумевший от горя банкрот переночевал в какой-то харчевне; испуганная жена не решалась его разыскивать. Неосмотрительно поднятая тревога может оказаться в подобных случаях роковой. Благоразумная Констанс подавила свое беспокойство во имя коммерческой репутации мужа; в тревоге и молитвах она прождала его всю ночь. Не умер ли Цезарь? А может быть, увлекаемый последней надеждой, он направился куда-нибудь за пределы Парижа? Наутро она вела себя так, словно причины отсутствия мужа были ей известны; в пять часов пополудни, видя, что Бирото все еще нет, она вызвала дядю и попросила его пойти в морг. Все это время мужественная женщина сидела за конторкой кассы, а дочь вышивала возле нее. Обе сохраняли непроницаемый вид и без улыбки, но и без грусти отвечали покупателям.

Пильеро вернулся в сопровождении Цезаря. Поискав его на бирже, он столкнулся с ним в Пале-Руаяле, где Бирото стоял в нерешительности у входа в игорный дом. Было четырнадцатое января. Цезарь за обедом ничего не ел. От нервных спазм, сжимавших горло, он не мог проглотить ни куска. Столь же ужасны были и послеобеденные часы. Купец переживал в сотый раз тот жестокий переход от надежды к отчаянию, который, опьяняя душу гаммой самых радостных чувств, ввергает ее затем в глубочайшую печаль и совсем подрывает силы у слабых людей. Дервиль, поверенный Бирото, вошел, запыхавшись, в роскошную гостиную, где жена парфюмера, пустив в ход все свое влияние, с трудом удерживала не-

счастного мужа, хотевшего отправиться спать на чердак, чтобы, как он говорил, «не видеть свидетельств своего безумия».

— Мы выиграли дело! — объявил Дервиль.

При этих словах искаженное мукой лицо Цезаря просияло, но радость его испугала Пильеро и Дервиля. Жена и дочь, глубоко потрясенные, поспешно вышли в комнату Цезарины, чтобы дать там волю слезам.

— Я, стало быть, могу получить ссуду? — воскликнул парфюмер.

— Нет, это было бы неосторожно,— ответил Дервиль.— Они подают апелляцию, решение суда еще может быть пересмотрено; но уже через месяц у нас будет окончательное постановление.

— Через месяц!

Цезарь впал в забытье, из которого его никто не пытался вывести. В этом странном столбняке, когда тело жило и страдало, а работа сознания приостановилась, в этой случайно полученной Цезарем передышке Констанс, Цезарина, Пильеро и Дервиль справедливо усмотрели милость всевышнего. Благодаря ей Бирото мог пережить жестокие волнения этой ночи. Он сидел в глубоком кресле у камина, напротив поместилась жена, внимательно наблюдавшая за ним; кроткая улыбка на ее устах свидетельствовала о том, что женщины ближе, чем мужчины, к ангельской природе, ибо умеют соединять бесконечную нежность с безграничным состраданием — секрет, известный одним лишь ангелам, посещающим изредка, по воле провидения, наши сны. Цезарина примостилась на скамеечке у ног матери. Время от времени она касалась слегка своими локонами руки отца, стараясь выразить этой лаской ту нежность, которая, высказанная словами, могла бы показаться назойливой в столь критические минуты.

Пильеро сидел в кресле, напоминая изваяние канцлера Лопиталя в перистиле палаты депутатов; этот готовый ко всему философ, на лице которого, казалось, была запечатлена мудрость египетских сфинксов, тихо беседовал с Дервилем. Констанс решила посоветоваться со стряпчим, на скромность которого вполне можно было положиться.

Зная наизусть баланс фирмы, она обрисовала ему

шепотом положение вещей. После обсуждения, длившегося около часа и происходившего в присутствии совершенно отупевшего парфюмера. Дервиль, взглянув на Пильеро, покачал головой.

— Сударыня,— начал он со свойственным деловым людям убийственным хладнокровием,— вам придется объявить себя несостоятельными. Допустим даже, что с помощью какого-нибудь ловкого хода вам удастся заплатить завтра долги; но ведь вы должны выплатить по меньшей мере триста тысяч франков, прежде чем сможете заложить свои земельные участки. При пассиве в пятьсот пятьдесят тысяч франков вы располагаете прекрасным, очень доходным, но пока еще не реализуемым активом, и значит, вам все равно не выдержать. Лучше уж, по-моему, сразу выпрыгнуть в окно, нежели скатиться по лестнице.

— Я того же мнения, дитя мое,—сказал Пильеро.

Госпожа Бирото и Пильеро вышли проводить Дервиля.

— Бедный папа,— сказала Цезарина, приподнимаясь тихонько, чтобы поцеловать отца в лоб.— Ансельму, значит, ничего не удалось сделать,— прибавила она, когда мать и дядя вернулись.

— Неблагодарный! — воскликнул Цезарь; это имя ударило по единственному еще живому месту в его сознании, как молоточек бьет по струне, когда коснешься клавиша рояля.

С того момента, как слово это прозвучало над ним подобно анафеме, Ансельм Попино не знал ни сна, ни покоя. Несчастный юноша проклинал вмешательство дяди и в конце концов отправился к нему. Чтобы заставить сдаться старого многоопытного служителя правосудия, Ансельм пустил в ход все красноречие любви, надеясь уговорить следователя, человека, от которого слова людские отскакивают, как от стены горох.

— В коммерческой практике принято,— сказал ему Ансельм,— что компаньон-распорядитель выдает компаньону-вкладчику некоторую сумму в виде аванса в счет ожидаемой прибыли, а прибыль у нас, несомненно, будет. Тщательно разобравшись в своих делах, я вижу, что уже достаточно прочно стою на ногах, чтобы выплатить в течение трех месяцев сорок тысяч франков. Чест-

ность господина Бирото служит порукой, что эти сорок тысяч франков пойдут на уплату по его векселям. Поэтому, если он даже обанкротится, кредиторам не в чем будет упрекнуть нас! К тому же, дядя, я готов лучше потерять сорок тысяч франков, чем лишиться Цезарины. Она уже знает, вероятно, о моем отказе и перестанет уважать меня. Я обещал жизнью пожертвовать за своего благодетеля и нахожусь в положении матроса, который должен пойти ко дну вместе со своим капитаном, или солдата, долг которого погибнуть рядом со своим генералом!

— Купец ты плохой, но сердце у тебя золотое, и я тебя уважаю за это,— сказал следователь, пожав руку племяннику.— Я много думал о твоих делах,— продолжал он,— я знаю, ты безумно влюблен в Цезарину, и полагаю, что ты сможешь поступить так, чтобы не нарушить ни законов любви, ни законов коммерческих.

— Ах, дядя, если вы нашли такой способ, вы спасете мою честь!

— Выплати Бирото пятьдесят тысяч франков, и пусть он уступит тебе, с правом обратного выкупа, свою долю в вашем «Масле»; оно ведь представляет теперь имущественную ценность. Запродажную я тебе составлю.

Расцеловав дядю, Ансельм вернулся домой, заготовил векселя на сумму в пятьдесят тысяч франков и устремился с улицы Сенк-Диаман на Вандомскую площадь. В тот самый миг, когда Цезарина, Констанс и Пильеро с удивлением смотрели на парфюмера, пораженные замогильным голосом, которым он произнес слово «неблагодарный»,— дверь гостиной распахнулась, и появился Попино.

— Мой дорогой и горячо любимый хозяин,— сказал он, вытирая вспотевший лоб,— вот то, о чем вы просили,— и он протянул векселя.— Я хорошо обдумал свое положение, не тревожьтесь, я смогу заплатить. Спасайте, спасайте же ваше доброе имя!

— Я была в нем твердо уверена! — воскликнула Цезарина и, схватив руку Попино, сжала ее с судорожной силой.

Госпожа Бирото заключила Ансельма в объятия. Парфюмер поднялся, как праведник, услышавший трубы

страшного суда. Он словно восстал из гроба! Потом с жадностью протянул руку за пятьюдесятью листочками гербовой бумаги.

— Минуточку! — сказал безжалостный дядя Пильеро, вырвав у Попино векселя.— Одну минуту!

Все четверо членов этой семьи — Цезарь, его жена, Цезарина и Попино,—ошеломленные тоном, которым были произнесены эти слова, и поступком дяди, с ужасом смотрели, как Пильеро рвал и бросал векселя в горящий камин, где их пожирало пламя. Никто из них не успел остановить его.

— Дядя!

— Дядя!

— Дядя!

— Сударь!

Четыре возгласа — вопль четырех слившихся воедино сердец. Дядюшка Пильеро обнял маленького Попино, прижал его к груди и поцеловал в лоб.

— Ну, как не полюбить тебя, ведь сердце не камень,— заявил он.— Если бы ты любил мою дочь и у нее был бы миллион приданого, а у тебя ничего, кроме этого (он указал на черный пепел, оставшийся от векселей), и если бы она тебя тоже любила,— через две недели вы были бы обвенчаны. Твой хозяин,— сказал он, указывая на Цезаря,— сошел с ума. Племянник,—сурово сказал Пильеро, обращаясь к парфюмеру,— племянник, посмотри правде в лицо! В делах важны не чувства, а деньги. Все это — очень возвышенно, конечно, но совершенно бесполезно. Я два часа провел на бирже. У тебя нет ни на грош кредита. Все твердят о твоем разорении, о том, что тебе не удалось отсрочить векселя, о твоем обращении к банкирам и об их отказе, о сумасбродствах, которые ты натворил, забравшись на седьмой этаж к болтливому, как сорока, домохозяину, чтобы просить его переписать вексель на тысячу двести франков, о бале, который ты якобы дал, чтобы скрыть свои денежные затруднения. Дошли даже до утверждений, будто у Рогена никаких твоих денег и не было. Если послушать ваших врагов,— так Роген попросту предлог. Я поручил одному другу разузнать обо всем, и он подтвердил мои опасения. Ждут появления векселей Попино, которого ты для того только будто бы и выделил,

чтобы пустить через него в обращение собственные векселя. Словом, на бирже гуляют сейчас клевета и злословие, которые неминуемо навлекает на себя человек, желающий подняться по социальной лестнице ступенькой выше. Ты понапрасну будешь ходить целую неделю из конторы в контору с пятьюдесятью векселями Попино — ничего, кроме унизительных отказов, ты не встретишь. Никто этих векселей брать не станет: ведь неизвестно, на сколько ты выдал вообще векселей, все считают, что ты ради собственного спасения приносишь в жертву бедного юношу. Ты только подорвешь кредит торгового дома Попино, ничего при этом не добившись. Знаешь, сколько рискнет тебе дать за эти пятьдесят тысяч франков самый снисходительный дисконтер? Двадцать тысяч, только двадцать тысяч, понимаешь? В коммерческих делах бывают иной раз такие моменты, когда надо продержаться на глазах у всех без пищи три дня и делать вид, что ты объелся; тогда на четвертый день ты будешь допущен в закрома кредита. Тебе же трех дней не продержаться; этим все сказано. Соберись с духом, мой бедный племянник, придется тебе объявить себя несостоятельным. Как только приказчики пойдут спать, мы с Попино возьмемся за работу, чтобы избавить тебя от этой пытки.

— Дядя! — взмолился парфюмер, простирая к нему руки.

— Цезарь, ты, стало быть, хочешь дойти до позорного баланса, в котором не останется актива? Твое участие в деле Попино спасет твое доброе имя.

Этот последний роковой луч света заставил, наконец, Цезаря полностью прозреть и осознать истинные размеры постигшего его несчастья; он упал в кресло, затем опустился возле него на колени. В голове у него помутилось, он словно впал в детство; жена подумала, что он умирает. Став на колени, чтобы поднять мужа, Констанс, однако, увидела, что он сложил руки, возвел глаза к небу и с сердечным сокрушением, в присутствии дяди, дочери и Попино, начал торжественно читать молитву. Она присоединилась к нему: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли; хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша,

яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь».

Слезы выступили на глазах у стоика Пильеро. Цезарина, плача, опустила в изнеможении голову на плечо бледного, неподвижного, как статуя, Попино.

— Сойдем вниз,— сказал бывший торговец скобяными товарами, взяв юношу под руку.

В половине двенадцатого они ушли, оставив Цезаря на попечении жены и дочери. Тогда старший приказчик Селестен, распоряжавшийся в лавке в дни этой скрытой бури, поднялся наверх и вошел в гостиную. Заслышав шаги Селестена, Цезарина бросилась к нему навстречу, чтобы он не успел заметить, в каком подавленном состоянии находится его хозяин.

— Среди вечерней почты есть письмо из Тура,—сказал Селестен,— оно пришло с запозданием из-за неточности в адресе. Я решил, что оно — от брата господина Бирото, и не стал его распечатывать.

— Отец,— крикнула Цезарина,— письмо от дяди из Тура!

— Ах, я спасен! — воскликнул Цезарь.— Брат мой, брат мой! — твердил он, целуя письмо.

Ответ Франсуа Цезарю Бирото.

Тур, 17-го сего месяца.

«Горячо любимый брат, письмо твое глубоко меня опечалило; прочитав его, я отслужил обедню, моля господа во имя крови, пролитой за нас его сыном, нашим божественным искупителем, обратить милосердный взор свой на твои горести. В тот миг, когда я произносил слова молитвы «Pro meo fratre Caesare» [1], глаза мои увлажнились слезами при мысли о том, что я нахожусь, к несчастью, столь далеко от тебя в дни, когда ты нуждаешься в дружеской поддержке брата. Но, подумал я, высокочтимый, достойный господин Пильеро, несомненно, заменит меня. Дорогой Цезарь, не забывай среди горестей своих, что земная жизнь наша полна испытаний и преходяща, наступит день, когда по милосердию божию и предстательству святой церкви воздастся нам за наши

[1] О моем брате Цезаре *(лат.)*.

страдания, и нас ждет награда за соблюдение евангельских заповедей, за добродетельную жизнь; иначе порядок мира сего был бы лишен смысла. Зная твое благочестие и кротость, я все же повторяю тебе эти истины, ибо случается, что люди, застигнутые, подобно тебе, житейской бурей и носящиеся по губительному морю мирской суеты, позволяют себе, ослепленные страданием, богохульствовать среди бедствий своих. Не проклинай же ни людей, уязвляющих тебя, ни бога, по воле которого к жизни твоей примешана горечь. Не опускай долу взора своего, но возведи очи свои горе, ибо небеса ниспосылают утешение слабым, ибо там богатство бедняков и кара богачам...»

— Да ну же, Бирото,— прервала его жена,— пропусти все это и посмотри, прислал ли он нам что-нибудь.

— Мы будем часто перечитывать это письмо,— сказал купец, вытирая слезы и разворачивая послание, откуда выпал чек казначейства.— Я был твердо уверен в моем милом брате,— прибавил он, поднимая чек.

«...Я пошел к госпоже де Листомэр,— продолжал он читать прерывающимся от слез голосом,— и, умолчав о том, чем вызвана моя просьба, попросил ее дать мне взаймы все, что она сможет уделить для меня, дабы увеличить плоды моих сбережений. Щедрость ее позволила мне собрать сумму в тысячу франков; я посылаю тебе их ассигновкой главного управляющего окладными сборами города Тура на казначейство...»

— Хороша помощь! — сказала Констанс, взглянув на Цезарину.

— «...Обходясь без некоторых излишеств, я смогу за три года вернуть госпоже де Листомэр четыреста франков, которые она мне ссудила, так что не тревожься, дорогой Цезарь. Посылая все, чем я владею в этом мире, я желаю, чтобы эти деньги помогли тебе счастливо справиться с коммерческими затруднениями, которые, уповаю, окажутся лишь временными. Зная твою деликатность, спешу предупредить все возражения. Не помышляй ни о каких процентах, ни о возврате этой суммы в дни благоденствия — а они вскоре настанут для тебя, если господь услышит мои молитвы, которые я денно и нощно буду воссылать к нему. Основываясь на последнем твоем письме, полученном мною два года назад, я

считал тебя человеком богатым и полагал, что могу тратить свои сбережения на бедных; теперь же все, что у меня есть,— твое. Когда утихнет налетевший на тебя шквал, сохрани эти деньги для моей племянницы Цезарины, пусть она, устраиваясь своим домом, приобретет на них какую-либо безделицу на память о старике дяде, который вечно будет молить господа ниспослать свое благословение на нее и на всех, кто ей дорог. Помни, дорогой Цезарь, что я скромный пастырь, живущий, подобно полевому жаворонку, милостью божьей, смиренно следую своей стезей, стараясь исполнять покорно заповеди нашего божественного спасителя, и мне не много нужно. Так что оставь свою щепетильность и вспоминай обо мне в своем тяжелом положении, как о нежно любящем тебя брате. Его преподобие аббат Шаплу — я не посвящал его в твои дела, но он знает, что я пишу тебе,— просит меня передать сердечный привет всем членам твоей семьи и желает тебе всяческого благополучия. Прощай, дорогой и возлюбленный брат мой; молю господа, чтобы в твоих тяжелых обстоятельствах он сохранил здоровье тебе, твоей жене и дочери. Желаю всем вам терпения и мужества в ваших испытаниях.

Франсуа Бирото.
Приходский священник и викарий кафедрального собора святого Гатиана, в Туре».

— Тысяча франков! — в негодовании воскликнула г-жа Бирото.

— Сохрани их! — торжественно и строго произнес Цезарь.— Это все, что у него было. Они принадлежат к тому же нашей дочери и помогут нам прожить, ничего не прося у кредиторов.

— Кредиторы решат, что ты припрятал крупные деньги.

— Я покажу им письмо.

— Они скажут, что оно написано для отвода глаз.

— О господи! — в ужасе воскликнул Бирото.— Ведь и я так думал о несчастных людях, которым приходилось, вероятно, столь же тяжко, как и мне сейчас.

Встревоженные состоянием Цезаря, мать и дочь сидели возле него в глубоком молчании с шитьем в руках. В два часа ночи Попино приоткрыл осторожно дверь го-

стиной и знаками вызвал г-жу Бирото. Увидев племянницу, Пильеро снял очки.

— Не все потеряно, дитя мое,—сказал он,—есть еще кое-какая надежда; но мужу твоему не вынести волнений, связанных с попытками переговоров, и мы с Ансельмом возьмем эти переговоры на себя. Оставайся завтра в лавке и записывай адреса всех, кому следует по векселям. У нас есть время до четырех часов. Вот мой план: ни господина Рагона, ни меня опасаться не приходится. Предположим теперь, что ваши сто тысяч франков, находившиеся у Рогена, пошли бы действительно на приобретение земельных участков — у вас их так же не было бы, как нет и сейчас. Вы должны уплатить сто сорок тысяч франков по векселям, выданным Клапарону,— платить по ним вам пришлось бы во всяком случае. Разоряет вас, стало быть, не банкротство Рогена. Для уплаты по обязательствам у вас имеются сорок тысяч франков, которые вы рано или поздно сможете получить под свою фабрику, и на шестьдесят тысяч векселей Попино. Так что можно еще бороться, ибо потом вы сможете заложить ваши земельные участки в районе церкви Мадлен. Если ваш главный кредитор согласится пойти вам навстречу, я не пожалею своего состояния, продам ренту, пожертвую последним куском хлеба; и Попино все поставит на карту; вы будете, правда, всецело зависеть от малейшей случайности в торговле. Но от «Масла» можно ждать больших прибылей. Мы совещались с Попино и твердо решили поддержать вас в этой борьбе. О, я с радостью готов питаться черствым хлебом, если только на горизонте забрезжит успех! Но все зависит от Жигонне и компаньонов Клапарона. Мы с Попино часов в семь-восемь утра пойдем к Жигонне и, выяснив его намерения, будем знать, как нам держаться дальше.

Глубоко взволнованная Констанс бросилась в объятия дяди. Ее слезы и рыдания были красноречивее всяких слов. Ни Попино, ни Пильеро не подозревали, что Бидо, по прозвищу Жигонне, и Клапарон были, в сущности, все тем же дю Тийе, который жаждал прочесть в «Ведомостях» нижеследующее ужасное сообщение:

«Решение коммерческого суда об объявлении господина Цезаря Бирото, торговца парфюмерными товарами,

проживающего в Париже, улица Сент-Оноре, дом № 397, несостоятельным должником, входит в силу впредь до изменения, с 16 января 1819 года. Присяжный попечитель Гобенхейм-Келлер, агент Молине».

Ансельм и Пильеро просидели над делами Цезаря до рассвета. В восемь часов утра оба самоотверженных друга, один — старый солдат, другой — новоиспеченный подпоручик,— которым лишь по доверенности предстояло познакомиться с жестокими терзаниями тех, кому приходилось подниматься по лестнице Бидо, по прозвищу Жигонне,— в глубоком молчании направились на улицу Гренета. Оба они страдали. Пильеро то и дело проводил рукой по лбу.

Улица Гренета — одна из тех парижских улиц, где множество лавчонок и где дома имеют самый отталкивающий вид. Здесь отвратительно грязно, как бывает обычно в кварталах, изобилующих ремесленными мастерскими, здания поражают своим убожеством. Старик Жигонне жил на четвертом этаже, в доме с окнами в мелких переплетах и с давно не мытыми стеклами. Лестница вела прямо на улицу. Привратница помещалась на антресолях, в каморке, куда свет проникал только из лестничной клетки. Все жильцы, кроме Жигонне, занимались каким-либо ремеслом; беспрестанно сновали туда и сюда рабочие. Ступеньки лестницы — вечно в грязи, жидкой или успевшей уже затвердеть, в зависимости от состояния погоды — завалены были всякими отбросами и сором. На каждой площадке этой зловонной лестницы бросалась в глаза какая-нибудь вывеска — железная табличка, покрытая красным лаком, на которой была выведена золотом фамилия владельца мастерской и изображены образцы его искусства. За дверьми, по большей части открытыми настежь, виднелись помещения — странное сочетание мастерской и жилья, и оттуда доносились дикие крики, свист и рычание — точно в зоологическом саду в четыре часа пополудни, во время кормежки зверей. В мерзкой конуре второго этажа изготовлялись дорогие подтяжки для модных магазинов Парижа, а на третьем, среди омерзительных отбросов — изящнейшие картонные коробки, украшающие витрины лавок в день Нового года. Жигонне, обладая состоянием в мил-

лион восемьсот тысяч франков, умер на четвертом этаже этого дома, покинуть который его не могли заставить ни уговоры, ни соблазнительные предложения племянницы, г-жи Сайяр, предоставлявшей в его распоряжение квартиру в особняке на площади Руаяль.

— Ну, смелее,— сказал Пильеро, дернув ручку звонка в виде козьей ножки, висевшей у серой опрятной двери Жигонне.

Жигонне сам открыл им дверь. Два добровольных опекуна парфюмера, боровшегося с надвигающимся банкротством, прошли через первую комнату — холодную и чинную, с окнами без занавесей. Они уселись втроем во второй комнате; дисконтер расположился у камина с тлеющими под пеплом дровами. Зеленые папки с бумагами ростовщика и почти монашеская строгость затхлого, как погреб, кабинета леденящим холодом наполнили душу Попино. Он рассеянно посмотрел на дешевенькие голубоватые обои с пестрыми цветочками, уже лет двадцать пять покрывавшие стены, и перевел опечаленный взгляд на камин, украшенный часами в форме лиры и высокими синими севрскими вазами, богато оправленными позолоченной медью. Эти обломки крушения, подобранные Жигонне в разгромленном Версале, попали к нему из будуара королевы; но рядом с такими великолепными вещами стояли два жалких подсвечника из кованого железа, и этот чудовищный контраст напоминал об обстоятельствах, вследствие которых здесь очутились столь дорогие вазы.

— Я знаю, что вы пришли говорить не о себе,— сказал Жигонне,— а о великом Бирото. Так в чем же дело, друзья?

— Я знаю, что ничего нового вам не скажешь,— ответил Пильеро.— Мы будем поэтому кратки. У вас имеются векселя, выданные приказу Клапарона?

— Да.

— Не согласитесь ли вы обменять первые пятьдесят тысяч на векселя господина Попино, здесь присутствующего? С процентами за учет, разумеется.

Жигонне снял свой ужасный зеленый картуз, в котором, казалось, родился на свет, обнажил огромную лысину цвета свежего сливочного масла и, скорчив вольтеровскую гримасу, сказал:

— Вы мне хотите уплатить маслом для волос, а на что оно мне?

— Ну, раз вы шутите, остается только повернуть оглобли,— сказал Пильеро.

— Вы говорите, как истый мудрец, каковым вас по справедливости и считают,— льстиво улыбаясь, сказал Жигонне.

— Хорошо, а если я сделаю на векселях господина Попино передаточную надпись? — в качестве последней попытки предложил Пильеро.

— Вы чистое золото, господин Пильеро, но мне не нужно золота, верните мне мое серебро.

Пильеро и Попино откланялись и вышли. Уже спустившись с лестницы, Попино все еще чувствовал, как дрожат у него ноги.

— И это человек? — спросил он Пильеро.

— Говорят, что да,— отвечал старик.— Запомни на всю жизнь эту короткую встречу, Ансельм! Ты только что наблюдал банк в его неприкрашенном виде. Непредвиденные обстоятельства — это винт давильного пресса, мы виноград, а банкиры — винные бочки. Спекуляция с земельными участками, видимо, выгодное дело. Жигонне, или кто-то стоящий за ним, хочет задушить Цезаря, чтобы завладеть его долей: этим все сказано, и ничем тут не поможешь. Вот что такое банк: никогда не имей с ним дела!

Это мучительное утро началось с того, что г-жа Бирото первый раз в жизни записала адреса людей, приходивших к ней за своими деньгами, а рассыльного из банка отослала, не уплатив ему; в одиннадцать часов стойкая женщина, довольная уж тем, что ей удалось избавить мужа от этой муки, увидела возвращавшихся Ансельма и Пильеро, которых давно уже ждала со все возраставшей тревогой; Констанс прочла приговор на их лицах: банкротство было неминуемо.

— Он умрет с горя! — вырвалось у несчастной женщины.

— Я ему от души этого желаю,— сурово ответил Пильеро.— Но Цезарь так набожен, что единственный, кто может его сейчас спасти,— это аббат Лоро.

Пильеро, Попино и Констанс не решались дать Цезарю подписать подготовленный Селестеном баланс: они

дожидались прихода его духовника, аббата Лоро, за которым пошел один из приказчиков. Приказчики были в отчаянии: они любили хозяина. К четырем часам почтенный пастырь явился, Констанс рассказала ему об обрушившемся на них несчастье, и аббат решительно направился к Цезарю наверх, как солдат, идущий на приступ.

— Я знаю, почему вы пришли! — вскричал Бирото.

— Сын мой,— сказал священник,—ваша покорность воле божьей мне давно известна; но теперь надо доказать ее на деле; устремите же ваши взоры на распятие, не спускайте с него глаз, думая об унижениях, которые претерпел спаситель рода человеческого, о том, как жестоки были его крестные муки, и тогда вы сможете перенести ниспосланные вам богом испытания.

— Мой брат — священник, и он уже подготовил меня,— сказал Цезарь, подавая духовнику письмо, которое как раз перед этим перечитывал.

— У вас достойный брат,— сказал г-н Лоро,—добродетельная и кроткая жена, нежная дочь, два истинных друга — ваш дядя и милый Ансельм, два снисходительных кредитора — Рагоны; все эти добрые души будут лить бальзам на ваши раны и помогут вам нести свой крест. Обещайте же мне проявить стойкость мученика и встретить удар судьбы мужественно.

Аббат кашлянул, чтобы предупредить находившегося в гостиной Пильеро.

— Моя покорность безгранична,— спокойно проговорил Цезарь.—Перед лицом бесчестья я должен думать лишь о том, как смыть его.

Голос несчастного парфюмера и весь его вид удивили Цезарину и священника. Между тем это было вполне естественно. Люди легче переносят несчастье уже случившееся, явное, чем жестокую неуверенность в судьбе, когда каждое мгновение приносит величайшую радость или бесконечное страдание.

— Двадцать два года я спал, а сегодня проснулся со своим дорожным посохом в руке,— сказал Цезарь, становясь снова туренским крестьянином.

При этих словах Пильеро заключил племянника в объятия. Цезарь увидел жену, Ансельма и Селестена. Бумаги, которые держал старший приказчик, были достаточно красноречивы. Цезарь спокойно посмотрел на

окружающих; в их опечаленных взорах читалось дружеское участие.

— Одну минуту,— сказал он, снимая свой орден и протягивая его аббату Лоро.— Вы мне вернете этот крест обратно, когда я смогу носить его не стыдясь. Селестен,— прибавил он, обращаясь к приказчику,— приготовьте прошение о снятии с меня обязанностей помощника мэра. Господин аббат продиктует вам письмо, пометьте его четырнадцатым числом и велите Раге отнести господину де ла Биллардиеру.

Селестен и аббат Лоро спустились вниз. Около четверти часа в кабинете Цезаря царило глубокое молчание. Семья была поражена подобной твердостью. Наконец Селестен и аббат вернулись, и Цезарь подписал прошение об отставке. Когда Пильеро подал ему баланс, бедняга не мог подавить нервной дрожи.

— Господи, сжалься надо мной! — проговорил он и, подписав роковой документ, протянул его Селестену.

— Сударь,— сказал тогда Ансельм Попино, омраченное лицо которого озарилось внезапно лучом света,— сударыня, я имею честь просить у вас руки мадемуазель Цезарины.

При этих словах у всех, кроме Цезаря, выступили на глазах слезы; Бирото встал, взял Ансельма за руку и сказал ему глухим голосом:

— Дитя мое, ты не женишься на дочери банкрота.

Пристально посмотрев на парфюмера, Ансельм сказал:

— Если только мадемуазель Цезарина не отказывается выйти за меня замуж, обещайте, сударь, в присутствии вашей семьи, дать согласие на наш брак в тот день, когда вы будете восстановлены в правах.

Наступило короткое молчание, все с волнением следили за сменой чувств, отражавшихся на измученном лице парфюмера.

— Обещаю,— произнес он наконец.

Ансельм с невыразимой нежностью взял руку Цезарины, которую она ему подала, и запечатлел на ней поцелуй.

— Вы тоже согласны? — спросил он.

— Да,—ответила Цезарина.

— Я, значит, стал, наконец, членом семьи и по пра-

ву могу заняться вашими делами,— с загадочным видом сказал он.

Ансельм поспешил уйти, чтобы не проявить радости, которая шла слишком вразрез с горем его патрона. Он, разумеется, не радовался банкротству Бирото, но любовь так всепоглощающа, так эгоистична! Даже Цезарина в глубине души испытывала волнение, противоречившее горечи, которой было переполнено ее сердце.

— Ну, раз мы уж так далеко зашли,— шепнул Пильеро на ухо Цезарине,— доведем дело до конца.

Госпожа Бирото сделала непроизвольное движение, выражавшее скорее муку, чем одобрение.

— Что ты собираешься дальше делать, племянник?— спросил Пильеро у Цезаря.

— Продолжать торговлю.

— Я бы не советовал,— сказал Пильеро.— Ликвидируй дело, раздай все кредиторам и не показывайся больше на бирже. Я нередко представлял себя в подобном положении. Ведь занимаясь торговлей, нужно все предвидеть. Купец, не задумывающийся над возможностью банкротства, подобен полководцу, полагающему, что он не может потерпеть когда-нибудь поражения. Такой купец лишь наполовину коммерсант. Нет, я ни за что бы не стал продолжать торговлю. Зачем? Придется постоянно краснеть перед людьми, которых ты ввел в большие убытки, сносить их недоверчивые взгляды и молчаливые упреки! Я понимаю — гильотина!.. Секунда — и все кончено! Но чтобы голова у тебя отрастала и ее каждый день снова рубили — нет, я постарался бы избежать подобной пытки. Многие, обанкротившись, продолжают как ни в чем не бывало вести свои дела. Тем лучше для них! Они, значит, сильнее Клода-Жозефа Пильеро. Если поведешь дело на наличные—а именно так его и приходится вести,—скажут, что ты сумел припрятать денежки; если же ты остался без гроша, тебе никогда больше не оправиться. Нет уж! Отдай свой актив кредиторам, предоставь им продать дело и займись чем-либо другим.

— Но чем же? — спросил Цезарь.

— Ну, поищи какую-нибудь службу,—ответил Пильеро.— Мало ли у тебя влиятельных знакомых? Герцог и герцогиня де Ленонкур, госпожа де Морсоф, господин де Ванденес! Напиши им, пойди к ним; они пристроят

тебя в штат королевского двора с окладом в тысячу экю, столько же заработает твоя жена, да и дочь, пожалуй, не меньше. Положение не столь уж безнадежное! У вас втроем соберется до десяти тысяч франков в год. За десять лет ты сможешь выплатить сто тысяч франков, так как из заработка вам ничего не придется тратить: твоя жена и дочь будут получать у меня на расходы полторы тысячи франков, а что касается тебя самого — там видно будет.

Над этими мудрыми словами задумалась Констанс, а не Цезарь. Пильеро направился на биржу; она помещалась тогда в деревянной ротонде, вход в которую был с улицы Фейдо. Весть о банкротстве парфюмера Бирото, человека видного и возбуждавшего зависть, успела уже распространиться и вызвала немало толков среди крупных коммерсантов, настроенных в те времена конституционно. Коммерсанты-либералы смотрели на бал Бирото как на дерзкое посягательство на их права. Сторонники оппозиции считали патриотизм своей монополией. Роялистам разрешалось любить короля, но любовь к Франции была привилегией «левых»: народ принадлежал им. Власть была виновна в том, что ее представители праздновали событие, которым либералы желали воспользоваться исключительно в своих интересах. Падение человека, пользовавшегося покровительством двора, сторонника правительства, неисправимого роялиста, 13 вандемьера оскорбившего свободу, восставшего против славной Французской революции, вызвало сплетни и было встречено на бирже с шумной радостью. Пильеро хотел разузнать, каково общественное мнение, разобраться в нем. В одной из самых оживленных групп он увидел дю Тийе, Гобенхейма-Келлера, Нусингена, старика Гильома и его зятя Жозефа Леба, Клапарона, Жигонне, Монжено, Камюзо, Гобсека, Адольфа Келлера, Пальма, Шифревиля, Матифа, Грендо и Лурдуа.

— Вот как надо быть осмотрительным! — сказал Гобенхейм дю Тийе.— Ведь мои родственники едва не открыли кредита Бирото!

— Я попался на десять тысяч франков. Две недели тому назад я дал ему эту сумму под простую расписку,— сказал дю Тийе.— Но он оказал мне когда-то услугу, и я не стану жалеть об этой потере.

— Он поступал не лучше других, ваш племянник,— обратился Лурдуа к Пильеро.— Балы задавал! Я еще понимаю, когда мошенник старается пустить пыль в глаза, дабы внушить доверие; но чтобы человек, слывший образцом порядочности, прибегал к таким заведомо шарлатанским приемам, на которые мы неизменно попадаемся!..

— Вернее, набрасываемся, как пиявки! — пробормотал Гобсек.

— Доверяйте только тем, кто живет в конуре, подобно Клапарону,— заметил Жигонне.

— *Ну*,— обратился толстяк Нусинген к дю Тийе,— *фы хотели сыкрать со мной штуку, посылая ко мне фашефо Пирото. Не понимаю, пошему*,— сказал он, поворачиваясь к мануфактуристу Гобенхейму,— *этот Пирото не прислал ко мне са пятьютесятью тысяшами франкоф. Я пы их ему тал.*

— О нет, барон,— возразил Жозеф Леба.— Вам ведь было хорошо известно, что государственный банк его векселей не принял. Разве вы не направили их в учетный комитет? В деле этого несчастного Бирото, к которому я и сейчас питаю глубокое уважение, есть нечто крайне подозрительное...

Пильеро незаметно пожал руку Жозефа Леба.

— Действительно, все это совершенно необъяснимо,— сказал Монжено,—если только не предположить, что за спиной Жигонне скрываются банкиры, стремящиеся задушить дело с участками в районе церкви Мадлен.

— С ним случилось то, что бывает неизменно, когда люди берутся не за свое дело,—заявил Клапарон, перебивая Монжено.— Займись Бирото распространением «Кефалического масла», вместо того чтобы скупать земельные участки в Париже и набивать на них цену, он только потерял бы свои сто тысяч у Рогена, но не обанкротился. Теперь он будет, наверно, работать под фирмой Попино.

— Остерегайтесь Попино,— изрек Жигонне.

Для всех этих негоциантов Роген был «несчастным» Рогеном, а парфюмер — «жалким» Бирото. Одного как бы оправдывала всепоглощающая страсть, вина другого усугублялась его чрезмерными притязаниями. Покинув биржу, Жигонне, по дороге на улицу Гренета, завернул

на улицу Перрен-Гасслен и зашел к торговке орехами, г-же Маду.

— Ну как, толстуха? — со свойственным ему напускным добродушием сказал он.— Хорошо идет торговля?

— Помаленьку,— почтительно ответила г-жа Маду, подвигая ростовщику единственное кресло с той раболепной угодливостью, какую она проявляла некогда лишь по отношению к своему «дорогому покойнику».

Тетка Маду могла свалить с ног строптивого или чересчур нахального ломового извозчика, не побоялась бы пойти на приступ Тюильри десятого октября, она подтрунивала над своими лучшими покупателями и способна была бесстрашно обратиться к королю от имени торговок Центрального рынка; но Жигонне Анжелика Маду принимала с глубочайшим почтением. Она робела в его присутствии, дрожала под его сверлящим взглядом. Простые люди долго еще будут трепетать перед палачом, а Жигонне был палачом мелкой торговли. Ничья власть не почитается на Центральном рынке так, как власть человека, дающего деньги в рост. По сравнению с ним люди иных профессий — ничто! Даже правосудие в глазах рынка воплощается в полицейском комиссаре, человеке, с которым можно поладить. Но вид ростовщика, засевшего за своими зелеными папками, заимодавца, которого молят с замиранием сердца, пресекает всякую попытку шутить, сжимает горло, смиряет самый гордый взгляд и внушает почтительность простому люду.

— Вам что-нибудь от меня угодно? — спросила она.

— Ерунда, мелочь; приготовьтесь заплатить по векселям Бирото, куманек обанкротился, все его векселя предъявляются ко взысканию. Я пришлю вам завтра утром счет.

Глаза г-жи Маду сперва сузились, как у кошки, а затем вспыхнули огнем.

— Ах, негодяй! Ах, прощелыга! Явился сюда собственной персоной разводить турусы на колесах: я-де помощник мэра! Ах, мошенник! Так вот как теперь ведут дела! Нет больше у мэров совести! Правительство надувает нас! Ну, погоди же, он у меня заплатит!..

— Что ж, голубушка, каждый выкручивается в таких случаях, как может,— сказал Жигонне, легонько дрыгнув ногой, точно кошка, собирающаяся перескочить

через лужицу,— привычка, которой он обязан был своим прозвищем.— Кое-кто из важных шишек тоже прикидывает, как бы половчее выпутаться из этого дела.

— Ладно, ладно, я уж постараюсь выудить свои орешки. Мари-Жанна! Башмаки и шаль! Да поживее! Не то получишь хорошую затрещину.

«Ну, заварится теперь каша в том конце улицы,— подумал Жигонне, потирая руки.— Скандал будет на весь квартал. Дю Тийе останется доволен. Не знаю, чем ему насолил этот бедняга парфюмер? Мне его жаль, как собаку с перебитой лапой. Что это за мужчина, ведь в нем силы — ни на грош!»

В семь часов вечера тетка Маду, словно восставшее Сент-Антуанское предместье, обрушилась на дверь несчастного Бирото и с яростью распахнула ее, ибо быстрая ходьба еще больше распалила торговку.

— Мерзавцы! Подавайте мои деньги! Сейчас же отдайте! Верните мне деньги, а не то я заберу у вас разных товаров на свои тысячу двести франков,— вееров, саше и всякой атласной дребедени! Где это видано, чтобы мэры обкрадывали население! Если вы мне не заплатите, я его на каторгу упеку: пойду к прокурору, весь суд на ноги подниму! Отдавайте долг! С места не сойду, пока не получу своих денег!

Она сделала вид, что собирается открыть стеклянную створку одной из витрин, где разложены были дорогие безделушки.

— Ну и разобрало же тетку Маду,— тихо сказал Селестен стоявшему с ним рядом приказчику.

Торговка услыхала эти слова,— в пылу страсти восприятия наши притупляются или обостряются, в зависимости от строения организма,— и наградила Селестена самой увесистой пощечиной, отпущенной когда-либо в парфюмерной лавке.

— Научись, ангел мой, уважать женщин,— сказала она,— и не задевать людей, которых обкрадываешь.

— Сударыня,—сказала г-жа Бирото, выходя из комнаты за лавкой, где случайно находился ее муж: дядя Пильеро хотел было увести его, но Цезарь дошел в своем самоуничижении до того, что не стал бы противиться, если бы его, согласно закону, посадили в тюрьму.— Сударыня, не кричите ради бога. Прохожие соберутся.

— Пусть их собираются,— закричала торговка,— я им все начистоту выложу! Да вы что, смеетесь? Прикарманиваете мои потом заработанные деньги, мой товар и задаете балы! Вон вы как разодеты, точно французская королева, а шерсть-то на платья стрижете с бедных ягнят вроде меня! Господи Иисусе! Мне бы плечи жгло краденое добро. На мне простая, дешевенькая шаль, да зато она моя! Воры, грабители, верните мне деньги, а не то...

Она бросилась к красивой мозаичной шкатулке с дорогими туалетными принадлежностями.

— Не трогайте этого, сударыня,— сказал, появляясь, Цезарь.— Здесь уже ничего моего нет, все принадлежит кредиторам. Единственная моя собственность — это я сам и если вы предъявляете на меня права, хотите засадить меня в тюрьму, даю вам честное слово (на глазах у него выступили слезы), что буду ждать здесь судебного пристава с понятыми...

Тон и жесты Бирото, в сочетании с его словами, утихомирили г-жу Маду.

— Мой капитал похитил сбежавший нотариус, и я неповинен в том, что разоряю людей,— продолжал Цезарь,—но я все полностью уплачу вам со временем, хотя бы мне пришлось для этого уморить себя на работе, стать чернорабочим или носильщиком на рынке...

— Ну, вы, видно, честный человек,— заявила торговка.— Простите меня за мои слова, сударыня. Но мне хоть утопиться впору, ведь Жигонне меня изведет, а для расплаты по этим вашим проклятым распискам у меня нет ничего, кроме векселей, срок которым не раньше, чем через десять месяцев.

— Зайдите ко мне завтра утром,— сказал, входя в лавку, Пильеро,— я устрою вам учет этих векселей по пяти процентов у одного из моих приятелей.

— Стойте! Да это почтенный папаша Пильеро! Он ведь и впрямь ваш дядя,— обратилась г-жа Маду к Констанс.— Ну, значит, вы люди честные, мое добро за вами не пропадет, правда? До завтра, старый Брут,— сказала она бывшему торговцу скобяными товарами.

Цезарь непременно хотел остаться среди развалин своего благополучия: он заявил, что так же будет объясняться со всеми кредиторами. Невзирая на мольбы пле-

мянницы, дядюшка Пильеро, хитрый старик, одобрил его решение, а потом заставил парфюмера подняться наверх. Поспешив к г-ну Одри, он объяснил доктору положение вещей, получил рецепт на снотворное, заказал его и вернулся к племяннику, чтобы провести с ним вечер. С помощью Цезарины он уговорил Цезаря выпить с ними вина. Под действием снотворного Бирото уснул; он очнулся через четырнадцать часов на улице Бурдонне, в спальне дядюшки Пильеро, в плену у старика, который сам лег спать на складной кровати в гостиной. Когда застучали колеса фиакра, увозившего Пильеро и Цезаря, мужество покинуло Констанс. Наши силы часто поддерживает лишь сознание, что мы должны служить опорой для существа более слабого, чем мы. Оставшись одна с дочерью, несчастная женщина рыдала так горько, словно оплакивала смерть мужа.

— Мама,— сказала Цезарина, усевшись на колени к матери и ласкаясь к ней, словно котенок, с той милой непосредственностью, которая проявляется лишь в отношениях женщин друг к другу.— Ты говорила, что если я мужественно встречу перемену в своей судьбе, то и ты найдешь силы перенести несчастье. Не плачь же, дорогая мамочка. Я готова пойти служить в какую-нибудь лавку и не буду вспоминать, кем мы были раньше, я стану, как и ты в молодости, старшей продавщицей, и ты никогда не услышишь от меня ни жалоб, ни сожалений о прошлом. Я буду жить надеждой. Разве ты не слыхала, что сказал господин Попино?

— Милый мальчик, он не будет мне зятем...

— Ах, мама!..

— Он будет для меня родным сыном.

— Ну, вот видишь, даже в беде есть кое-что хорошее,— сказала Цезарина, целуя мать,— она помогает нам узнать истинных друзей.

Цезарине удалось в конце концов смягчить горе несчастной женщины, окружив ее нежностью, в которой было теперь что-то материнское. На другой день Констанс отправилась с утра к герцогу де Ленонкуру, одному из камергеров короля, и оставила ему письмо: она просила назначить час, когда он сможет ее принять. Затем она зашла к г-ну де ла Биллардиеру, рассказала ему, в какое положение попал Бирото из-за бегства нотариуса,

умоляя поддержать ее просьбу перед герцогом и похлопотать за нее, ибо она опасалась, что сама плохо изложит дело. Она хотела получить место для Бирото,— он был бы самым честным кассиром. если можно говорить о степени честности.

— Король только что поручил графу де Фонтэну одну из важных должностей в управлении министерством двора, времени терять нельзя.

В два часа дня ла Биллардиер и жена парфюмера поднялись по парадной лестнице особняка де Ленонкура на улице Сен-Доминик; они были введены к камергеру, пользовавшемуся особым благоволением Людовика XVIII,— если король вообще выказывал кому-либо предпочтение. Любезный прием со стороны вельможи, принадлежавшего к горсточке истинных аристократов, завещанных прошлым веком нынешнему, обнадежил г-жу Бирото. Жена парфюмера проявила в своей скорби простоту и душевное величие. Горе облагораживает даже самых заурядных людей, ибо в нем заключено нечто возвышенное, и достаточно быть просто искренним, чтобы отразить на себе его отблеск; а Констанс была женщиной глубоко правдивой. Решено было как можно скорее обратиться с ходатайством к королю.

Во время разговора доложили о приходе г-на де Ванденеса, и герцог воскликнул:

— Вот ваш спаситель!

Господин де Ванденес знал немного г-жу Бирото, ибо раза два заходил к ней в лавку за какими-то безделицами, которые иной раз бывают не менее необходимы, чем вещи самые важные. Герцог сообщил ему о намерении де ла Биллардиера. Узнав о несчастье, постигшем крестника маркизы д'Юкзель, Ванденес тотчас же направился вместе с ла Биллардиером к графу де Фонтэну, попросив г-жу Бирото дождаться их возвращения.

Граф де Фонтэн, как и ла Биллардиер, принадлежал к числу храбрых провинциальных дворян, почти безвестных участников восстания в Вандее. Бирото был ему немного знаком, он встречал его когда-то в «Королеве роз». Люди, проливавшие свою кровь за дело короля, пользовались в те времена привилегиями, которые монарх предпочитал не предавать огласке, чтобы не отпугнуть либералов. Г-н де Фонтэн, один из любимцев Лю-

довика XVIII, был облечен, по слухам, полным доверием короля. Граф не только твердо пообещал дать Бирото какое-нибудь место, но даже сам направился к герцогу де Ленонкуру, дежурившему в тот вечер во дворце, чтобы испросить для себя короткую аудиенцию у короля, а для ла Биллардиера — аудиенцию у брата короля, который очень любил бывшего дипломата-вандейца.

В тот же вечер граф де Фонтэн прямо из Тюильри заехал к г-же Бирото сообщить, что муж ее, после соглашения с кредиторами, будет официально зачислен на службу в комиссию погашения государственного долга с окладом в две тысячи пятьсот франков. Все вакантные должности в министерстве двора были уже заняты сверхштатными служащими из дворян, которым места эти были заранее обещаны.

Успех этот разрешал лишь часть задачи, взятой на себя г-жой Бирото. Бедная женщина направилась на улицу Сен-Дени в «Дом кошки, играющей в мяч» — повидать Жозефа Леба. По дороге она повстречала г-жу Роген, ехавшую в великолепном экипаже, по-видимому за покупками. Их взгляды скрестились. Чувство стыда, которое женщина, живущая в роскоши, не могла скрыть при виде женщины разоренной, придало Констанс мужества.

«Нет, никогда я не стану разъезжать на чужой счет в карете»,— подумала она.

Жозеф Леба приветливо принял ее, и Констанс попросила его подыскать для Цезарины место в какой-нибудь солидной коммерческой фирме. Леба ничего не обещал; но уже через неделю Цезарина получила место, дававшее ей стол, квартиру и тысячу экю жалованья, в богатой парижской фирме модных новинок, незадолго перед тем открывшей отделение в районе Итальянского бульвара. Дочери парфюмера была доверена касса и надзор за магазином; Цезарина, в подчинении у которой находилась старшая продавщица, замещала в отделении владельцев фирмы.

Госпожа Бирото посетила в тот же день и Попино; она просила его поручить ей кассу и ведение торговых книг, а также наблюдение за хозяйством. Ансельм понял, что его лавка — единственное место, где жена парфюмера

будет окружена подобающим ей уважением и займет достойное ее положение. Великодушный юноша назначил ей три тысячи франков жалованья в год со столом и квартирой — он уступил Констанс свою комнату, которую специально для нее обставил, а сам перебрался в мансарду, где жил до тех пор один из его приказчиков. Прекрасной парфюмерше, только один месяц прожившей в своей роскошной квартире, пришлось поселиться в той отвратительной, выходившей на темный и сырой двор конурке, где Годиссар, Ансельм и Фино положили начало «Кефалическому маслу».

Когда Молине, которого коммерческий суд назначил агентом, пришел принять актив Цезаря Бирото, Констанс, с помощью Селестена, проверила вместе с ним инвентарную опись. Затем мать и дочь, скромно одетые, вышли из лавки и пешком направились к дяде Пильеро, даже не оглянувшись на дом, где прошла значительная часть их жизни. Они молча дошли до улицы Бурдонне и впервые после отъезда Цезаря вместе с ним там пообедали. Обед был невеселый. Каждый успел уже поразмыслить, взвесить тяжесть взятых на себя обязательств, испытать свое мужество. Подобно матросам, глядящим в глаза опасности, все трое готовы были вступить в борьбу с ненастьем. Бирото воспрянул духом, узнав, какое внимание проявили к нему сильные мира сего, устраивая его судьбу; но, услышав о том, что ожидает его дочь, Цезарь заплакал; потом пожал руку Констанс, оценив мужество, с которым жена его снова взялась за работу.

Дядюшка Пильеро, быть может в последний раз в своей жизни, прослезился при виде трогательного зрелища, которое являли собой эти три существа: они крепко обняли друг друга, и Цезарь, самый слабый и самый удрученный из них, подняв руку, воскликнул:

— Будем надеяться!

— Для экономии,— сказал племяннику Пильеро,— ты поселишься у меня; оставайся в моей комнате, и я разделю с тобой кусок хлеба. Одиночество давно тяготит меня, ты мне заменишь бедное дитя, которое я потерял. До твоей Комиссии на улице Оратуар отсюда рукой подать.

— Боже милостивый,— воскликнул Бирото,— вот моя путеводная звезда во мраке непогоды!

Покорившись своей участи, несчастный уже испил до дна чашу горечи. Падение Бирото в этот миг завершилось, и он, приняв его, почувствовал прилив сил.

Объявив о своей несостоятельности, купец, казалось бы, должен заботиться лишь о том, чтобы отыскать во Франции или за границей какой-нибудь тихий уголок, где он мог бы жить ни во что не вмешиваясь, подобно ребенку, каковым он и является с точки зрения закона, приравнивающего его к несовершеннолетним и воспрещающего ему совершать какие бы то ни было юридические акты как в области гражданского, так и публичного права. На деле же это не так. Прежде чем рискнуть появиться на улице, банкрот ждет охранной грамоты, в которой ему никогда не отказывают ни присяжный попечитель, ни кредиторы, ибо его посадили бы за решетку, встретив без этой охранной грамоты; получив спасительный пропуск, несостоятельный должник расхаживает как парламентер по вражескому стану — и не любопытства ради, а чтобы помешать осуществлению направленного против него безжалостного закона о банкротах. Любой закон, касающийся частной собственности, порождает множество мошеннических уловок. Как и всякий, чьи интересы находятся в противоречии с каким-либо законом, банкрот стремится обойти этот закон. Состояние гражданской смерти, во время которой банкрот уподобляется куколке бабочки, длится около трех месяцев — время, потребное для совершения формальностей, предшествующих собранию кредиторов, где между ними и должником подписывается мирный договор, полюбовная сделка, называемая соглашением. Уже само это название указывает, что после бури, вызванной столкновением резко противоречащих друг другу интересов, водворяется согласие.

Рассмотрев баланс несостоятельного должника, коммерческий суд назначает присяжного попечителя, который должен блюсти интересы кредиторов как известных, так и еще не объявившихся и охранять в то же время банкрота от притеснений разъяренных заимодавцев; эта двойная роль была бы великолепной, если бы только у присяжных попечителей хватало на нее времени. Присяжный попечитель облекает агента правом налагать арест на капиталы, ценности, товары должника, проверив по-

казанный в балансе актив; затем канцелярия коммерческого суда назначает общее собрание кредиторов, о чем к доводится до сведения публики трубным гласом газетных объявлений. Кредиторам — подставным и настоящим — предлагают собраться и избрать сообща временных синдиков, которые заменяют агента и, в силу допускаемой законом фикции, как бы влезают в шкуру банкрота и становятся им самим: они могут ликвидировать, продавать, вступать в сделки — словом, делать все, что угодно, в интересах кредиторов, если только несостоятельный должник этому не воспротивится. В большинстве парижских банкротств дело не заходит дальше назначения временных синдиков, и вот почему.

Назначение одного или нескольких постоянных синдиков — самый жестокий акт мести, к которому могут прибегнуть обманутые, осмеянные, одураченные, попавшиеся на удочку, околпаченные, обворованные, облапошенные кредиторы. Хотя кредиторы и бывают обычно облапошены, обворованы, околпачены, пойманы на удочку, одурачены, осмеяны и обмануты, все же в коммерческом мире Парижа нет таких страстей, которые не улеглись бы за три месяца. Только подлежащие оплате торговые векселя могут находиться в обороте столь длительный срок. Через три месяца все кредиторы, измучившись от хлопот и волнений, связанных с банкротством их должника, мирно спят возле своих добрейших женушек. Все это может помочь иностранцу понять, почему в Париже временное часто становится постоянным: из тысячи временных синдиков не наберется и пяти, которые фактически не оказались бы постоянными. Отчего стихает ненависть, вызванная банкротством, станет ясным из дальнейшего. Но необходимо объяснить людям, не имеющим удовольствия быть купцами, как протекает в Париже драма банкротства, дабы им стало понятно, каким образом драма эта превращается в чудовищное издевательство над законом и почему банкротству Цезаря суждено было сделаться поразительным исключением из правила.

В этой захватывающей коммерческой драме три акта: акт первый — агент; акт второй—синдики; акт третий — соглашение. Подобно любому театральному представлению, она являет собой двойное зрелище: поста-

новку, рассчитанную на публику, и скрытые от зрителей технические средства; представление, видимое из партера, и представление, наблюдаемое из-за кулис. За кулисами — банкрот и его поверенный, адвокат кредиторов, синдики, агент и, наконец, присяжный попечитель.

Вне Парижа никто не знает, а в Париже ни для кого не тайна, что член коммерческого суда — самое диковинное из должностных лиц, когда-либо созданных обществом. Такой судья должен опасаться, что в любой момент меч правосудия может обернуться против него самого. Парижу уже довелось видеть, как председатель коммерческого суда вынужден был объявить самого себя несостоятельным. Вместо того, чтобы доверить эту почетную должность пожилому, удалившемуся от дел коммерсанту, для которого она являлась бы наградой за честно прожитую жизнь, ее поручают купцу, ворочающему огромными делами, главе какой-нибудь крупной фирмы. На должность судьи, которому надлежит разбираться в бесчисленных коммерческих процессах, лавиной обрушивающихся на столицу, почему-то всегда избирают человека, перегруженного собственными делами. Вместо того, чтобы служить переходной ступенью, с помощью которой купец, не возбуждая насмешек, мог бы проникнуть в ряды знати, коммерческий суд составляется из коммерсантов, не удалившихся еще от дел, а потому рискующих пострадать от мести за вынесенный приговор, столкнувшись на деловой почве с недовольной стороной; так Бирото пострадал от мести дю Тийе.

Присяжный попечитель по необходимости оказывается, таким образом, персонажем, к которому обращено множество слов; он их едва выслушивает, думая при этом о собственных делах и передоверяя свои полномочия в делах общественных синдикам и поверенному, за исключением тех интересных случаев, когда надувательство приняло особо любопытную форму и кредиторы или должник, как говорится, «настоящие ловкачи». Персонаж этот, играющий в драме ту же роль, что бюст короля в зале судебных заседаний, бывает между пятью и семью часами утра на своем лесном складе, если торгует лесом; в лавке — если он парфюмер, как был когда-то Бирото; его можно застать еще дома, после обеда, за десертом; но он вечно при этом куда-то торопится.

Как правило, это — действующее лицо без слов. Воздадим должное закону: законодательство по этому вопросу создано наспех и связывает руки присяжному попечителю, так что в ряде случаев он вынужден покрывать мошеннические проделки, помешать которым, как это станет ясно из дальнейшего, он не в силах.

Вместо того, чтобы блюсти интересы кредиторов, агент может держать руку должника. Каждый кредитор надеется увеличить свою долю, добившись предпочтения у банкрота, который — как все подозревают — припрятал кучу денег. Агент может быть полезен обеим сторонам: банкроту — не топя его окончательно, кредиторам — урвав кое-что для влиятельнейших из них; он, стало быть, старается, чтобы и волки были сыты и овцы целы. Ловкий агент нередко добивается отмены судебного решения и, скупив векселя, помогает встать на ноги несостоятельному должнику, который подскакивает тогда вверх, как резиновый мяч. Агент переходит на ту сторону, где кормушка лучше, и либо ограждает интересы кредиторов в ущерб должнику, либо жертвует их интересами во имя будущности банкрота. Таким образом, первый акт, где на сцену выступает агент,— уже предопределяет развязку пьесы. Агент и поверенный коммерческого суда могут сыграть в пьесе важнейшую роль, и оба они берутся за исполнение ее, лишь будучи уверены в гонораре. Из тысячи банкротств в девятистах пятидесяти случаях агент держит руку банкрота. В те времена, к которым относится наш рассказ, поверенные являлись обычно к присяжному попечителю и предлагали ему назначить агентом их ставленника, который якобы хорошо знаком с делами банкрота и может примирить интересы заимодавцев с интересами попавшего в беду почтенного человека. И вот уже несколько лет, как опытные присяжные попечители просят указать им желательного кандидата в агенты, с тем чтобы отвести его кандидатуру и самим назначить человека, кажущегося им порядочным.

Во втором акте появляются на сцене кредиторы — подставные и настоящие,— чтобы избрать временных синдиков, которые, как уже было сказано, фактически оказываются постоянными. На собрании кредиторов право голоса имеют и те, кому следует пятьдесят тысяч фран-

ков, и те, кому причитается пятьдесят су: голсса там подсчитываются, но не взвешиваются. Собрание это, где присутствуют и подобранные банкротом подставные кредиторы,— они-то уж наверняка никогда не пропускают выборов,— намечает кандидатов, из числа которых присяжный попечитель, председатель, не имеющий никакой власти, *обязан* выбрать синдиков. Таким образом, присяжный попечитель почти всегда получает синдиков удобных банкроту — второе злоупотребление, обращающее трагедию банкротства в одну из наиболее шутовских комедий, пользующихся покровительством закона. «Попавший в беду почтенный человек», становясь хозяином положения, облекает в законную форму заранее обдуманную им кражу. Впрочем, мелкие парижские торговцы обычно не заслуживают подобных упреков. Если какой-нибудь лавочник прекращает платежи, то, поверьте, бедняга продал уже шаль жены, заложил столовое серебро, сделал все, что мог, и разорился дотла, так что не имеет даже возможности уплатить поверенному коммерческого суда, который, кстати сказать, очень мало о нем тревожится.

По закону, соглашение, снимающее с купца часть его долга и возвращающее ему право вести дела, должно быть принято при голосовании большинством кредиторов, которым принадлежит бóльшая часть суммы претензий. Достигнуть такого решения — задача нелегкая, так как тут сталкиваются противоположные интересы; поэтому должнику, синдикам и поверенному приходится проявлять немалые дипломатические таланты. Самое заурядное, обычное ухищрение состоит в том, что должник предлагает части кредиторов, образующей требуемое законом большинство, некую добавочную мзду, помимо полагающегося им по соглашению дивиденда. Бороться с этим грандиозным жульничеством невозможно: тридцать сменивших друг друга коммерческих судов убедились в этом на собственном опыте и, наученные им, решились в конце концов признавать недействительными дутые векселя. Банкроты жалуются на это «насилие», но судьи надеются оздоровить таким образом нравственную атмосферу конкурсных управлений; однако они сделают ее еще хуже: кредиторы изобретут какой-нибудь еще более жульнический прием, который члены коммер-

ческого суда заклеймят как судьи и будут пользоваться им в своих интересах как купцы.

Другой, весьма распространенный способ, которому мы обязаны выражением *солидный* и *законный кредитор*, состоит в создании фиктивных кредиторов, подобно тому, как дю Тийе создал фиктивный банкирский дом; в конкурс вводится в таких случаях определенное количество Клапаронов, за которыми скрывается банкрот; уменьшив, таким образом, долю настоящих кредиторов, он сколачивает себе средства на будущее и в то же время обеспечивает необходимое для соглашения количество голосов и требуемую по закону сумму претензий.

Дутые и *незаконные кредиторы* — это то же, что подставные избиратели на выборах. Что может поделать *солидный* и *законный кредитор* с *дутыми* и *незаконными*? Вывести их на чистую воду и избавиться от них? Хорошо. Но чтобы изгнать незаконно втершегося *дутого кредитора*, кредитор *солидный* и *законный* должен забросить свои дела и обратиться к поверенному коммерческого суда; вышеуказанный же поверенный, почти ничего на этом деле не зарабатывая, предпочитает «руководить» конкурсами, а порученную ему тяжбу ведет в высшей степени небрежно. Чтобы изгнать *дутых кредиторов*, приходится вникать в запутанные операции, обращаться к событиям давно минувшим, рыться в торговых книгах, добиваться через суд, чтобы мнимый кредитор представил свои книги, выявлять неправдоподобие фиктивной сделки и доказать это перед судьями, выступать в суде, бегать, суетиться, подогревать немало холодных сердец; такую донкихотскую борьбу приходится вести с каждым *дутым* и *незаконным* кредитором, который, будучи уличен в том, что он дутый, удаляется, раскланявшись с судьями и заявив им: «Простите, но вы ошибаетесь, я очень *солидный* кредитор». И все это нисколько не нарушает прав несостоятельного должника, который может подать на Дон-Кихота жалобу в суд. Тем временем собственные дела Дон-Кихота приходят в расстройство, и ему самому чуть ли не угрожает банкротство.

Вывод: несостоятельный должник сам назначает синдиков, сам проверяет свои долговые обязательства, сам устраивает соглашение.

Приняв все это во внимание, каждый поймет, какие возможности открывает банкротство для всяческих интриг, фокусов Сганареля, выдумок Фронтена, врак Маскариля и плутней Скапена. Сочинителю, пожелавшему описать их, любое банкротство может дать материал, которого хватило бы на четырнадцать томов новой «Клариссы Гарлоу». Достаточно привести хотя бы один пример.

Знаменитый Гобсек, наставник всех этих Пальма́, Жигонне, Вербрустов, Келлеров и Нусингенов, участвуя однажды в конкурсном управлении и намереваясь круто разделаться с надувшим его купцом, получил от него векселя, подлежавшие оплате после соглашения; векселя эти вместе с приходившейся на долю ростовщика частью дивиденда полностью покрывали его претензии к банкроту. Стараниями Гобсека было достигнуто соглашение о снятии с несостоятельного должника семидесяти пяти процентов его долга. Остальных кредиторов, таким образом, обошли в пользу Гобсека. Но так как купец подписал выданные Гобсеку векселя уже будучи банкротом, то есть незаконно, то ему удалось распространить и на них установленную соглашением семидесятипятипроцентную скидку, и Гобсек — сам великий Гобсек! — лишь с трудом получил пятьдесят процентов. С тех пор он при встрече неизменно отвешивал своему должнику иронически почтительный поклон.

Все сделки, заключенные несостоятельным должником в последние десять дней до банкротства, могут быть опорочены; и вот предусмотрительные люди заблаговременно договариваются с теми из кредиторов, которые, так же как и банкрот, заинтересованы в том, чтобы поскорее достичь соглашения. Кредиторы-хитрецы отправляются к кредиторам-простакам или кредиторам, чрезмерно загруженным делами, описывают им предстоящее соглашение в самых мрачных красках и скупают у них векселя банкрота за полцены против того, что они будут стоить при окончательной ликвидации. Таким путем они умудряются вернуть свои денежки, получая, кроме дивиденда, причитающегося им по их собственным претензиям, еще и половину, треть или четверть дивиденда по скупленным ими обязательствам.

Банкротство захлопывает более или менее плотно

все входы в дом, где после грабежа все еще остается несколько мешков с деньгами. Благо купцу, который, изловчившись, проникнет туда через окно, крышу, погреб или пролезет в какую-нибудь щель и, захватив один из мешков, увеличит таким образом свою долю! Среди разгрома, когда кричат, как при переправе через Березину: «Спасайся, кто может!», нет больше разницы между законным и незаконным, истинным и ложным, честным и бесчестным. Человеком восторгаются, если он сумел себя *обеспечить*. А «обеспечить» себя — значит захватить какие-нибудь ценности в ущерб прочим кредиторам. Вся Франция полна была шумных споров по поводу грандиозного банкротства, разразившегося в одном из провинциальных городов; дело это поступило в Королевский суд; судьи, имевшие текущие счета у банкротов, запаслись непромокаемыми плащами такой прочности, что от мантии правосудия не осталось ничего, кроме лохмотьев. Ввиду сомнения в беспристрастии судей пришлось передать разбирательство дела в другой судебный округ, ибо в городе, где произошло банкротство, не оказалось ни одного неподкупного члена суда, ни одного беспристрастного присяжного попечителя или агента.

Эта ужасающая коммерческая неразбериха прекрасно известна всему парижскому торговому миру, и любой купец, если только он не пострадал на слишком уж значительную сумму, как бы мало он ни был загружен делами, принимает чужое банкротство, как несчастный случай, от которого никто не застрахован; списав свои потери со счета прибылей и убытков, он, не тратя времени даром, продолжает обделывать свои дела. А мелкие торговцы, которые в последних числах каждого месяца не знают, как свести концы с концами, и упорно гонятся за удачей, страшатся одной мысли о долгом и разорительном судебном процессе; не пытаясь разобраться в этом процессе, они, по примеру крупных коммерсантов, покорно склоняют голову и подсчитывают свои убытки.

Крупные коммерсанты больше уже не прибегают к банкротству, они полюбовно ликвидируют дело: кредиторы берут то, что им соблаговолят предложить, и выдают расписки. Таким путем удается избегнуть бесчестия, судебной волокиты, расходов на поверенных коммерче-

ского суда и обесценения товаров. Каждый считает, что банкротство должника дало бы ему меньше, чем ликвидация. В Париже поэтому больше ликвидаций, нежели банкротств.

Второй акт драмы, где действуют синдики, призван доказать их неподкупность и убедить всех в том, что не может быть и речи о каком-либо мошенническом сговоре между ними и банкротом. Но зрителям, почти каждый из которых был синдиком, известно, что синдик — это *обеспечивший себя кредитор*. Зрители в партере слушают, верят лишь тому, что им выгодно, и после трех месяцев, затраченных на проверку актива и пассива, приходят подписывать соглашение. Временные синдики делают тогда собранию кредиторов небольшой доклад, составленный приблизительно в таких выражениях:

«Господа, всем нам в общей сложности следует миллион. Мы разобрали нашего должника на части, как потерпевший крушение фрегат. Гвозди, железо, дерево, медь дали в общей сложности триста тысяч франков, то есть тридцать процентов того, что он нам должен. Мы счастливы, что налицо оказалась такая сумма, ибо должник мог нам оставить и не более сотни тысяч франков. Мы объявляем его поэтому новым Аристидом, присуждаем ему поощрительную премию, венчаем его лаврами и предлагаем оставить ему его актив, рассрочив на десять — двенадцать лет уплату тех пятидесяти процентов долга, которые он соблаговолил нам обещать. Вот соглашение; подходите к столу и подписывайтесь».

Выслушав это сообщение, ликующие негоцианты обнимаются и поздравляют друг друга. По утверждении соглашения судом должник вновь становится таким же негоциантом, каким был до банкротства: ему возвращается его актив, он продолжает вести свои дела, не лишаясь при этом права вновь объявить себя несостоятельным, чтобы не заплатить обещанных пятидесяти процентов долга; это, так сказать «внучатное», банкротство наблюдается не реже, чем рождение ребенка матерью, за девять месяцев до того выдавшей свою дочь замуж.

Если не удалось прийти к соглашению, кредиторы назначают постоянных синдиков и прибегают к чрезвычайным мерам: объединившись, они приступают сообща к

извлечению дохода из имущества и торгового дела должника, присваивая себе и то, что ему предстоит получить в будущем — наследство от отца, матери, тетки и прочее. Эта суровая мера осуществляется с помощью договора о товариществе.

Существуют, таким образом, два вида банкротства: банкротство купца, желающего вернуться к делам, и банкротство купца, который, потерпев крушение, покорно идет ко дну. Разница между ними была хорошо известна Пильеро: он считал — и Рагон разделял его мнение,— что из банкротства первого рода так же трудно выйти незапятнанным, как из банкротства второго рода — богатым.

Посоветовав Цезарю отказаться полностью от своих имущественных прав, Пильеро обратился к самому честному из имевшихся на бирже поверенных коммерческого суда с просьбой описать имущество банкрота, ликвидировать его и передать все ценности в распоряжение кредиторов. Закон обязывает кредиторов в течение всей драмы банкротства содержать несостоятельного должника и его семью. Пильеро довел, однако, до сведения присяжного попечителя, что сам берет на себя заботы о нуждах своего племянника и племянницы.

Дю Тийе подготовил все таким образом, чтобы банкротство обратилось для его бывшего хозяина в длительную агонию. Вот на что он рассчитывал.

В Париже время дорого, и из двух синдиков обычно лишь один занимается делами несостоятельного должника. Другой существует для проформы: он только подписывает документы, подобно второму нотариусу при совершении нотариальных актов. А синдик, занимающийся делами банкрота, сплошь да рядом всецело полагается на поверенного при коммерческом суде. Благодаря этому в Париже при банкротстве первого рода конкурс проводится так быстро, что в установленный законом срок все бывает устроено, улажено, увязано и приведено в порядок! Через три месяца присяжный попечитель уже может повторить жестокие слова некоего министра: «В Варшаве царит порядок!»

Дю Тийе добивался коммерческой смерти парфюмера. Одни уж имена синдиков, назначенных происками дю Тийе, были для Пильеро достаточно показательны.

Главный кредитор, г-н Бидо, по прозвищу Жигонне, ни во что не должен был вмешиваться. Вершить же все дела предстояло плюгавому, въедливому старикашке Молине, ничего не терявшему на банкротстве. Дю Тийе бросил труп достойного купца на растерзание и на съедение этому маленькому шакалу. После собрания, на котором кредиторы назначили синдиков, маленький Молине вернулся домой, *облеченный,* как он выразился, *доверием своих сограждан;* он был в восторге от того, что будет теперь командовать Бирото, словно ребенок, радующийся возможности помучить пойманного кузнечика. Оседлав своего любимого конька — законность, домовладелец попросил дю Тийе не оставлять его своими советами и запасся Торговым уставом. Жозеф Леба, предупрежденный Пильеро, успел, к счастью, своевременно добиться у председателя коммерческого суда назначения присяжным попечителем человека проницательного, известного своей доброжелательностью. И Гобенхейм-Келлер, на назначение которого рассчитывал дю Тийе, был заменен членом коммерческого суда Камюзо, богатым торговцем шелками, либералом, владельцем дома, где проживал Пильеро, и, по слухам, человеком почтенным.

Едва ли не самой мучительной сценой в жизни Цезаря был его вынужденный разговор со старикашкой Молине, казавшимся ему полным ничтожеством; теперь же, в силу юридической фикции, человек этот олицетворял его самого, Цезаря Бирото.

Парфюмеру пришлось отправиться вместе с дядей в Батавское подворье, взобраться на седьмой этаж и снова войти в ужасное жилище Молине, своего опекуна, представителя всех кредиторов, получившего право судить его.

— Что с тобой? — спросил Пильеро, услышав вырвавшееся у Цезаря восклицание.

— Ах, дядя! Вы и не представляете себе, что за человек этот Молине!

— Я уже лет пятнадцать встречаю его иногда в кафе «Давид», он там играет по вечерам в домино; потому-то я и пошел с тобой.

Господин Молине был необычайно любезен с Пильеро, а к банкроту отнесся со снисходительным пренебрежением. Старикашка наметил себе заранее линию по-

ведения, обдумал тон, в котором будет вести разговор, и соображения, которые выскажет.

— Какие вы желаете получить сведения? — спросил Пильеро.— Ведь по претензиям кредиторов никаких спорных вопросов не возникло?

— О! — отвечал Молине.— Долговые обязательства в порядке, все проверено. Все кредиторы — солидные и законные. Но закон, сударь, закон!.. Траты несостоятельного должника не соответствовали его капиталу... Установлено, что бал...

— На котором вы присутствовали,— прервал его Пильеро.

—...обошелся приблизительно в шестьдесят тысяч франков, во всяком случае такая сумма была израсходована в связи с балом, актив же несостоятельного должника едва превышал в то время сто тысяч франков... Есть основание передать дело несостоятельного должника в особое присутствие уголовного суда с обвинением в банкротстве по неосторожности.

— Вы полагаете? — спросил Пильеро, заметив, в какое уныние повергли Бирото эти слова.

— Сударь, я имею в виду, что ведь господин Бирото был должностным лицом...

— Вы все же, вероятно, не для того пригласили нас, чтобы сообщить, что мы будем привлечены к уголовной ответственности? — спросил Пильеро.— Нынче вечером в кафе «Давид» все смеялись бы над вашим поведением.

Ссылка на мнение кафе «Давид», казалось, сильно припугнула старикашку, и он растерянно посмотрел на Пильеро. Синдик полагал, что Бирото придет один, и собирался разыграть из себя верховного судью, Юпитера-громовержца. Он рассчитывал запугать Бирото приготовленной заранее грозной обвинительной речью и, потрясая над его головой карающим мечом закона, насладиться смятением и ужасом парфюмера, а затем позволить себя разжалобить, смягчиться и преисполнить душу своей жертвы вечной признательностью. Но вместо беззащитной букашки Молине столкнулся со старым коммерческим сфинксом.

— Сударь,— сказал он Пильеро,— тут нет ничего смешного.

— Позвольте,— возразил Пильеро.— Вы проявля-

ете чрезмерную уступчивость, договариваясь с господином Клапароном; в ущерб интересам остальных кредиторов добиваетесь преимущественного удовлетворения собственных претензий. Но я, в качестве кредитора, могу тоже вмешаться в дело. Ведь существует присяжный попечитель.

— Я неподкупен, сударь,— возразил Молине.

— Знаю,— сказал Пильерс,— вы постарались только, что называется, выйти сухим из воды. Вы хитрец, вы поступили тут точно так же, как в деле с одним из ваших жильцов...

— О сударь! — воскликнул синдик, становясь снова домовладельцем, подобно тому, как в сказке кошка, обращенная в женщину, бросается на мышь.— Моя жалоба на жильца с улицы Монторгей еще не разбиралась. Там неожиданно возникло одно, так сказать, привходящее обстоятельство. Мой жилец — главный квартиронаниматель. Сейчас интриган этот утверждает, что, так как он уплатил за двенадцать месяцев вперед и прожил в квартире всего лишь год (тут Пильеро бросил взгляд на Цезаря, словно призывая его быть внимательнее)... то он якобы имеет право вывезти из квартиры свою обстановку. Основание для нового судебного дела. Должен же я, в самом деле, сохранить гарантии до окончательного расчета — с него потребуется, возможно, взыскать стоимость ремонта.

— Но,— заметил Пильеро,— по закону мебель квартиронанимателя может служить гарантией для одной лишь квартирной платы.

— И побочных расходов,— воскликнул задетый за живое Молине.— Эта статья закона нашла себе истолкование в уже состоявшихся по этому вопросу судебных решениях. Закон нуждается, однако, в поправках. Я составляю сейчас для его превосходительства министра юстиции докладную записку об этом пробеле в законодательстве. Правительству следовало бы позаботиться об интересах владельцев недвижимости. Мы нужны государству, ведь мы главные плательщики налогов.

— Вы, несомненно, способны просветить правительство,— сказал Пильеро,— но чем мы-то можем просветить вас относительно наших дел?

— Мне желательно знать,— высокопарно и с важно-

стью заявил Молине,— получал ли господин Бирото какие-либо суммы от господина Попино?

— Нет, сударь,— ответил Бирото.

За этим последовало обсуждение вопроса об участии Бирото в «Торговом доме Попино», причем выяснилось, что Попино имел право, не вступая в конкурс, полностью получить с Бирото половину суммы, затраченной на оборудование лавки.

Умело направляемый Пильеро, синдик Молине становился постепенно все мягче в обращении, свидетельствуя тем самым, как дорожит он мнением завсегдатаев кафе «Давид». В конце концов он даже принялся утешать Бирото и пригласил обоих своих посетителей разделить с ним его скромный обед. Если бы бывший парфюмер явился один, он, быть может, обозлил бы Молине, и дело могло принять неблагоприятный оборот. И тут, как во многих других случаях, старик Пильеро оказался для Цезаря ангелом-хранителем.

Торговый устав обрекает несостоятельного должника на жестокую муку; вместе с временными синдиками и присяжным попечителем он обязан присутствовать на собрании, где кредиторы решают его участь. Для человека, способного стать выше обстоятельств, и для купца, стремящегося вернуться к делам, эта тягостная процедура не слишком страшна. Но для людей, подобных Цезарю Бирото,— это пытка, с которой может сравниться лишь последний день приговоренного к смерти. Пильеро приложил все усилия, чтобы облегчить племяннику этот ужасный день.

Вот коммерческие операции, которые с согласия несостоятельного должника произвел Молине. Тяжба о земельных участках на улице Фобур-дю-Тампль была выиграна в Королевском суде. Синдики постановили продать эту недвижимость; Цезарь не возражал. Дю Тийе, зная о намерениях правительства соорудить канал, который должен был пройти через предместье Тампль и соединить Сен-Дени с верхним течением Сены, купил участки Бирото за семьдесят тысяч франков. Права Цезаря на его долю земельных участков в районе церкви Мадлен были уступлены Клапарону с условием, что тот не будет требовать от Бирото возмещения половины издержек на заключение договора и суммы уплаченной

пошлины, а также оплатит прежним владельцам разницу между полной стоимостью их участков и дивидендом, который они получат по конкурсу. Доля парфюмера в фирме «А. Попино и К°» была продана вышеуказанному Попино за сорок восемь тысяч франков. Лавку «Королева роз» приобрел Селестен Кревель за пятьдесят семь тысяч франков — вместе с контрактом на помещение, обстановкой, товарами, патентами на «Крем султанши» и «Жидкий кармин» и арендой на двенадцать лет фабрики, оборудование которой было ему также продано. Актив составил сумму в сто девяносто пять тысяч франков, к которым синдики прибавили семьдесят тысяч франков, причитавшихся Бирото в результате ликвидации конторы «несчастного» Рогена. Общая сумма актива достигла, таким образом, двухсот пятидесяти пяти тысяч франков[1]. Так как пассив равнялся четыремстам сорока тясячам франков, то кредиторам предстояло получить больше пятидесяти процентов. Банкротство — нечто вроде химического опыта, и ловкий купец старается выйти из него, сохранив свой жирок. Бирото после выпаривания в реторте банкротства вышел из нее с результатом, разъярившим дю Тийе. Вместо банкротства бесчестного, на которое он рассчитывал, дю Тийе увидел банкротство добродетельное. Равнодушный к полученной прибыли—участки в районе церкви Мадлен должны были достаться ему за гроши,— он жаждал увидеть злополучного торговца обесчещенным, уничтоженным, смешанным с грязью. А вместо того кредиторы на общем собрании устроят еще, чего доброго, овацию парфюмеру. По мере того как к Бирото возвращалось мужество, дядя, словно мудрый врач, увеличивая постепенно дозы, знакомил его с действиями синдиков. Каждая из этих безжалостных мер была для Цезаря новым ударом. Купец не может видеть без боли, как обесценивается все, на что он затратил столько усилий и денег. Новости, сообщаемые дядей, повергали Бирото в отчаяние.

— Пятьдесят семь тысяч франков за «Королеву роз»! Но ведь одна только лавка стоила десять тысяч; квартира обошлась мне в сорок тысяч франков, на оборудование фабрики — инструменты, формы, котлы — пошло

---

[1] Арифметическая ошибка в оригинале *(прим. ред.)*.

тридцать тысяч. Да в лавке, даже со скидкой в пятьдесят процентов, на десять тысяч франков товара. А «Крем» и «Кармин»? Да ведь это капитал, не хуже любой доходной фермы!

Горькие сетования несчастного разоренного Цезаря ничуть не пугали Пильеро. Бывший торговец относился к ним, как лошадь относится к ливню, застигнувшему ее у ворот конюшни; пугало его мрачное молчание парфюмера, когда речь заходила о собрании кредиторов. Всякому, кто понимает тщеславие и слабости, свойственные людям любого социального слоя, должно быть ясно, какой жестокой пыткой была для несчастного необходимость появиться в качестве банкрота в здании коммерческого суда, куда он некогда входил в качестве судьи. Подвергаться оскорблениям там, где он привык выслушивать благодарность за оказанную услугу, ему, Бирото, чьи непреклонные взгляды на банкротство известны были всему парижскому торговому миру, ему, провозгласившему: «Купец, объявляющий себя несостоятельным, еще честный человек, но с собрания кредиторов он уже выходит мошенником!» Дядя выбирал подходящие моменты, чтобы приучить Цезаря к мысли, что, согласно требованиям закона, ему придется предстать перед собранием своих кредиторов. Эта необходимость убивала Бирото. Его молчаливая покорность сильно тревожила Пильеро; старик нередко слышал сквозь перегородку, как Цезарь вскрикивал по ночам:

— Ни за что, ни за что! Лучше умереть!

Пильеро, человек, сильный простотой своей жизни, понимал чужие слабости. Он решил избавить Бирото от терзаний, которых тот, быть может, не вынес бы,— от неизбежной сцены появления перед кредиторами. Закон в этом вопросе точен, ясен и непреложен. Купец, отказывающийся предстать перед кредиторами, может в силу одного этого быть передан в руки исправительной полиции по обвинению в банкротстве по неосторожности. Однако, требуя обязательной явки несостоятельного должника, закон не может принудить кредиторов явиться. Собрание кредиторов приобретает значение лишь в определенных случаях: если необходимо, например, лишить мошенника-банкрота прав на имущество и подписать договор об учреждении товарищества по делам не-

состоятельного должника, если имеются разногласия между кредиторами, получившими преимущество, и кредиторами, которых обошли, если соглашение архижульническое и несостоятельный должник нуждается в поддержке сомнительного большинства кредиторов. Но общее собрание кредиторов превращается в простую формальность, если актив несостоятельного должника уже полностью реализован или если мошенник-банкрот уже заранее сговорился с кредиторами. Пильеро обошел всех кредиторов, прося каждого из них уполномочить вместо себя поверенного для участия в собрании. Кредиторы, за исключением дю Тийе, свалив Цезаря, искренне его теперь жалели. Каждый знал, как достойно держал себя парфюмер, в каком порядке нашли его книги, как честно он вел свои дела. Кредиторы были довольны, что среди них не оказалось ни одного «дутого». Молине — сперва агент, потом синдик — нашел в доме Цезаря все, чем владел бедняга, вплоть до гравюры «Геро и Леандр», подаренной Попино, и личных драгоценностей парфюмера: булавки для галстука, золотых пряжек, карманных часов; самый добросовестный человек унес бы их, не боясь погрешить против честности. Констанс также оставила свой скромный ларчик с драгоценностями. Купечество было глубоко поражено столь трогательной покорностью закону. Враги Бирото утверждали, что это — доказательство его глупости, но люди рассудительные справедливо видели в поведении парфюмера проявление безупречной его честности. За два месяца биржа полностью изменила свое мнение о Бирото. Самые равнодушные люди не могли не признать, что это банкротство — одна из редчайших коммерческих диковинок в парижском торговом мире. Кредиторы, зная уже, что им предстоит получить около шестидесяти процентов, согласились выполнить просьбу Пильеро. Поверенных при коммерческом суде немного, и у нескольких кредиторов оказался один и тот же уполномоченный. Стараниями Пильеро число участников этого страшного для Бирото собрания сведено было к минимуму; присутствовать на нем должны были лишь сам Пильеро, Рагон, трое поверенных, двое синдиков и присяжный попечитель.

Утром этого знаменательного дня Пильеро сказал племяннику:

— Цезарь, ты можешь спокойно идти на сегодняшнее собрание, там никого не будет.

Господин Рагон пожелал сопровождать своего должника. Заслышав дребезжащий голосок бывшего владельца «Королевы роз», его бывший преемник побледнел; но добряк раскрыл объятия, Бирото бросился к нему, как дитя бросается в объятия отца, и оба залились слезами. Снисходительность Рагона придала мужества несостоятельному должнику, и он вместе с дядей сел в фиакр. Ровно в половине одиннадцатого все трое прибыли в монастырь Сен-Мерри, в котором помещался тогда коммерческий суд. Зал, где разбирались дела банкротов, был в это время пуст. День и час выбраны были по соглашению с синдиками и присяжным попечителем. Уполномоченные, представлявшие своих клиентов, были уже на месте, и Цезарю Бирото пугаться, казалось, было нечего. Но все же он с трепетом сердечным переступил порог кабинета г-на Камюзо, который оказался случайно его бывшим кабинетом: бедняга с ужасом думал о том, что придется перейти отсюда в зал банкротов.

— Нынче что-то холодновато,— сказал Цезарю Камюзо,— надеюсь, господа, никто не будет возражать против того, чтобы остаться здесь и не мерзнуть в зале? (Он опустил слово «банкротов».) Садитесь, господа.

Все сели, и судья предложил свое кресло смущенному Бирото. Поверенные и синдики расписались.

— Ввиду того, что вы полностью отказались от своих имущественных прав,— обратился Камюзо к Бирото,— кредиторы единодушно слагают с вас остаток долга. Соглашение составлено в таких выражениях, что может смягчить вашу скорбь; поверенный ваш не замедлит утвердить соглашение в суде — и вы свободны. Все члены коммерческого суда, дорогой господин Бирото,— продолжал Камюзо, взяв парфюмера за руки,— тронуты вашим положением; проявленное вами мужество не было для них неожиданностью, все до единого отдали должное вашей честности. В несчастье вы показали себя достойным того положения, какое занимали здесь. Я двадцать лет веду коммерческие дела, и только второй раз мне приходится видеть разорившегося купца, всеобщее уважение к которому лишь возросло.

Слезы выступили на глазах Бирото; он сжал руки су-

дьи; Камюзо спросил его, что он намерен делать дальше. Цезарь ответил, что будет работать, чтобы полностью расплатиться с кредиторами.

— Если для достижения этой благородной цели вам понадобится несколько тысяч франков, вы их всегда у меня найдете,— сказал Камюзо,— я с радостью предоставлю их в ваше распоряжение, чтоб стать свидетелем столь редкого в Париже явления.

Пильеро, Рагон и Бирото удалились.

— Ну что ж, не так страшен черт, как его малюют,— сказал Пильеро племяннику, выходя из здания суда.

— Это вас я должен благодарить, дядя,— ответил растроганный Бирото.

— Ну вот, вы и восстановлены в правах. Зайдем к моему племяннику,— предложил Рагон.— Мы в двух шагах от улицы Сенк-Диаман.

Для Цезаря было жестоким ударом увидеть Констанс в крохотной конторе на низких и темных антресолях над лавкой, где окно на треть было загорожено заслонявшей свет вывеской, на которой значилось:

А. ПОПИНО

— Один из сподвижников Александра Македонского,— с горьким смехом сказал Бирото, указывая на вывеску.

От этого деланного веселья, сквозь которое наивно проглядывало присущее Бирото неистребимое чувство собственного превосходства, семидесятилетний старик Рагон вздрогнул.

Когда Цезарь увидел, как жена его спустилась вниз, чтобы дать Попино на подпись бумаги, он побледнел и не мог удержаться от слез.

— Здравствуй, друг мой,— радостно приветствовала она мужа.

— Я не стану спрашивать, хорошо ли тебе здесь живется,— обратился Цезарь к жене, взглянув на Попино.

— Как у родного сына,— отвечала она таким растроганным голосом, что бывший купец был потрясен.

Бирото обнял Ансельма, расцеловал его и с грустью сказал:

— А я навсегда утратил право назвать его сыном.

— Не будем терять надежды,— сказал Попино.— *Ваше* масло пошло в ход; я постарался создать ему рек-

ламу с помощью газет, а Годиссар исколесил всю Францию,— наводнил ее объявлениями и проспектами; теперь он в Страсбурге печатает проспекты на немецком языке и собирается совершить набег на Германию. Нам уже удалось продать три тысячи гроссов.

— Три тысячи гроссов! — воскликнул Цезарь.

— Я приобрел по сходной цене участок в предместье Сен-Марсо, там строится фабрика. А ту, что в предместье Тампль, я тоже сохраню за собой.

— Жена,— шепнул Бирото на ухо Констанс,— будь у нас хоть небольшая поддержка — мы бы выпутались.

После этого знаменательного дня Цезарь, его жена и дочь словно сговорились. Несчастный чиновник поставил перед собою цель, если и не совсем недостижимую, то требовавшую затраты гигантских усилий,— полное погашение своего долга! Три существа, связанные присущей им всем фанатической честностью, стали скрягами, во всем себе отказывали и дрожали над каждым грошом. Цезарина с юным пылом относилась к порученным ей обязанностям. Она недосыпала ночей, всячески изощряясь, чтобы способствовать процветанию дела, подбирала рисунки для тканей и проявляла при этом врожденный коммерческий талант. Хозяевам приходилось сдерживать ее рвение; они старались отблагодарить ее подарками, но она отказывалась от нарядов и драгоценностей, которые ей предлагали. «Денег!» — упорно твердила она. Все свое жалованье и скромные сбережения она приносила каждый месяц дяде Пильеро. Цезарь и Констанс поступали так же. Все трое не считали себя достаточно умелыми финансистами и не хотели брать на себя ответственность за помещение денег; верховную власть по распоряжению их сбережениями они вручили дяде. Снова став коммерсантом, Пильеро пускал их деньги в оборот, играя на бирже. Как выяснилось впоследствии, старику помогали в этом Жюль Демаре и Жозеф Леба, наперебой спешившие указать ему верное дело.

Живя у дяди, бывший парфюмер не решался его спрашивать, как он распоряжается деньгами, заработанными самим Цезарем, его женой и дочерью. Бирото ходил по улицам, опустив голову, стараясь скрыть от посторонних взглядов свое удрученное, осунувшееся, отупев-

шее лицо. Он упрекал себя даже в том, что носит одежду из тонкого сукна.

— Я по крайней мере не ем хлеба своих кредиторов,— говорил он с кротостью дяде.— Ваш хлеб — милостыня, вы мне даете его из жалости, и все же он мне сладок: благодаря вашему милосердию я могу ничего себе не присваивать из жалованья.

Встречая Бирото-чиновника, знакомые купцы не могли обнаружить в нем и следа бывшего парфюмера. Даже люди беспечные должны были задуматься над превратностями судьбы при виде этого человека, на лице которого лежала печать беспросветного горя и в котором, видимо, произвела полный переворот неведомая ему дотоле работа *мысли!* Беда сломит не всякого. Люди легкомысленные, пустые, ко всему равнодушные никогда не кажутся раздавленными разразившейся над ними катастрофой. Только религия отмечает особой печатью людей, сраженных несчастьем: они верят в будущую жизнь, в провидение, в них есть какая-то, им одним свойственная, умиляющая просветленность — сочетание благочестивой покорности с надеждой; они знают цену того, что ими утрачено, подобно падшему ангелу, плачущему у врат рая. Для несостоятельных должников доступ на биржу закрыт. Цезарь, изгнанный из обители честности, напоминал падшего ангела, молящего о прощении.

Погруженный в благочестивые размышления, которым он предавался под влиянием своего несчастья, Бирото больше года отказывался от всяких развлечений. Хотя он и не сомневался в дружбе Рагонов, его невозможно было уговорить пойти пообедать к ним или к Леба, Матифа, Протесам и Шифревилям, ни даже к самому г-ну Воклену: все они старались принести дань уважения высокой добросовестности Цезаря. Избегая встреч с кредиторами, Бирото предпочитал сидеть в одиночестве у себя в комнате. Сердечная заботливость друзей была для него лишь горьким напоминанием о его положении. Констанс и Цезарина все это время также нигде не показывались. По воскресеньям и в праздники — только в эти дни они и бывали свободны — жена и дочь заходили перед обедней за Цезарем, а потом, выполнив свои религиозные обязанности, оставались с ним

у дяди. Пильеро приглашал аббата Лора, в беседах с которым Цезарь черпал силы для выпавших на его долю испытаний, и они проводили время в тесном семейном кругу. Бывший торговец скобяными товарами, сам величайший поборник честности, не мог не одобрить щепетильности Цезаря. Он стремился поэтому расширить круг лиц, среди которых несостоятельный должник мог показаться не краснея и не опуская глаз.

В мае 1821 года семья эта, упорно боровшаяся с постигшей ее бедой, была вознаграждена первым праздником, устроенным для нее властителем ее судеб. Последнее воскресенье мая месяца было годовщиной того дня, когда Констанс дала согласие на брак с Цезарем. Пильеро снял вместе с Рагонами деревенский домик в Со и хотел там весело отпраздновать новоселье.

— Цезарь,— сказал он племяннику в субботу вечером,— завтра мы едем за город, и ты с нами.

Цезарь, у которого был превосходный почерк, переписывал по вечерам бумаги для Дервиля и еще нескольких стряпчих. По воскресеньям, с разрешения духовника, он также работал, как каторжник.

— Нет,— ответил он,— господин Дервиль ждет отчета по опеке.

— Твоя жена и дочь заслуживают награды. Ты встретишь там только друзей — аббата Лоро, Рагонов, Попино с дядей. Пожалуйста, прошу тебя.

Закружившись в вихре дел, Цезарь с женой так ни разу и не собрались съездить в Со, хотя время от времени оба они мечтали снова повидать дерево, под которым когда-то едва не лишился чувств старший приказчик «Королевы роз». Цезарь ехал с женой и дочерью в фиакре, которым правил Ансельм Попино; дорогой Констанс бросала на мужа выразительные взгляды, но не могла заставить его улыбнуться. Она шепнула ему на ухо несколько слов, но он в ответ лишь молча кивнул головой. Проявления неизменной и настойчивой нежности жены не разгладили морщин на лице Цезаря; наоборот, оно стало еще угрюмее, и на глазах его выступили слезы, которые он поспешил скрыть. Двадцать лет назад бедняга уже проезжал по этой дороге, но тогда он был богат, молод, полон надежд, влюблен в молодую девушку, столь же прелестную, как Цезарина; тогда он мечтал

о счастье, а ныне видел в глубине фиакра свою побледневшую от бессонных ночей самоотверженную дочь, свою мужественную жену, сохранившую лишь следы былой красоты, как сохраняет ее город, залитый лавой во время извержения вулкана. Уцелела одна лишь любовь! Угрюмый вид Цезаря гасил радость в сердцах его дочери и Ансельма, воскрешавших перед его взором очаровательную сцену прошлого.

— Будьте счастливы, дети мои, у вас есть на то право,— страдальческим голосом сказал им отец.— Вы можете любить друг друга со спокойной совестью,— прибавил он.

При этих словах Бирото схватил руки Констанс и покрыл их поцелуями с восторженной и благоговейной нежностью, тронувшей ее больше, чем могли бы тронуть проявления самой бурной радости. Когда они подъехали к домику, где их уже ожидали Пильеро, Рагоны, аббат Лоро и следователь Попино, Цезарь сразу успокоился, ибо слова, взгляды, все обхождение этих пятерых друзей — людей исключительных по своим душевным качествам — показывали, что они растроганы, видя, как глубоко Бирото переживает свое несчастье, словно оно случилось с ним только вчера.

— Подите-ка прогуляйтесь по лесу,— сказал дядя Пильеро, соединив руки Цезаря и Констанс,— и возьмите с собой Ансельма и Цезарину; возвращайтесь домой к четырем часам.

— Бедные люди! Наше присутствие их только бы стеснило,— заметила г-жа Рагон, тронутая неподдельным горем своего должника.— Но какая радость ожидает его!

— Это раскаяние без греха,— вставил аббат Лоро.

— Несчастье помогло ему духовно вырасти,— сказал следователь.

Способность забывать — великий дар, отличающий натуры творческие и сильные; забывать — подобно тому, как забывает природа, не ведающая прошлого, ежечасно возобновляющая вечное таинство нового рождения. Натуры слабые, как Бирото, продолжают терзаться своими страданиями, вместо того чтобы извлечь из них уроки житейской мудрости; они упиваются своими

муками и с каждым днем все больше изводят себя, вновь и вновь переживая былые горести.

Когда обе пары шли тропинкой, ведущей в лес Онэ, увенчивающий один из красивейших холмов в окрестностях Парижа, и перед ними во всем своем очаровании предстала Волчья долина,— чудесная погода, прелесть окружающей картины, первая зелень и сладостные воспоминания о счастливейшем дне его молодости ослабили скорбные струны в душе Цезаря; он прижал руку жены к трепетно бьющемуся сердцу, и в глазах его, утративших стеклянную неподвижность, вспыхнула радость.

— Наконец-то я узнаю тебя, мой бедный Цезарь,— сказала Констанс.— Мы, кажется, достаточно скромно живем и можем позволить себе время от времени небольшое удовольствие.

— Имею ли я на это право! — воскликнул бедняга.— Ах, Констанс, твоя любовь — единственное еще оставшееся у меня сокровище... Да, я все потерял, вплоть до веры в себя, у меня нет больше сил, у меня одно только желание — дожить до того дня, когда я расплачусь с земными долгами. Но ты, дорогая жена, ты всегда была моим благоразумием и моей осторожностью, ты все предвидела и тебе не в чем упрекнуть себя,— ты можешь быть веселой; из нас троих во всем виноват один лишь я Полтора года назад, на нашем злосчастном балу, ты, моя Констанс, единственная женщина, которую я любил за всю свою жизнь, была, пожалуй, еще красивее, чем тогда, когда юной девушкой прогуливалась со мной по этой тропинке, где сейчас гуляют наши дети... И в полтора года я погубил эту красоту, которой с полным правом гордился. Чем больше я узнаю тебя, тем сильнее люблю... О дорогая! — воскликнул Цезарь с такой мукой в голосе, что Констанс была потрясена до глубины души.— Мне, кажется, было бы легче, если бы ты бранила меня, а не старалась смягчить мое горе!

— Никогда бы не поверила,— отвечала Констанс,— что после двадцатилетнего супружества жена может еще крепче полюбить своего мужа.

Слова эти заставили Цезаря позабыть на мгновение обо всех горестях и преисполнили счастьем его чувствительное сердце. Он почти радостно направился к *их* дереву, которое случайно уцелело. Супруги уселись под

этим деревом, глядя на Анселыма и Цезарину; влюбленные кружили все время по одной лужайке и, видимо, этого не замечали, воображая, что идут вперед.

— Мадемуазель,— говорил Ансельем,— надеюсь, вы не считаете меня таким жадным и низким, что я воспользуюсь долей вашего отца в доходах от «Кефалического масла»! Я, правда, откупил ее, но с любовью сохраняю ее для него же и стараюсь приумножить. Я пользуюсь деньгами господина Бирото для учета векселей; а если попадаются иной раз векселя сомнительные, я их учитываю на свой риск. Мы можем принадлежать друг другу лишь после реабилитации вашего отца, и со всей силой любви я стараюсь приблизить этот день.

Ансельм остерегался посвящать в свою тайну даже будущую тещу. И самые простодушные влюбленные жаждут порисоваться перед любимым существом.

— А скоро этот день настанет? — спросила Цезарина.

— Скоро,— отвечал Попино. Он сказал это таким проникновенным тоном, что целомудренная, чистая Цезарина подставила лоб своему милому, и Ансельм запечатлел на нем жадный, но почтительный поцелуй — столько душевного благородства было в ее порыве.

— Папа, все идет как по маслу,— с лукавым видом шепнула она Цезарю.— Будь поприветливей, поговори с нами, перестань грустить.

Когда дружная семья вернулась в домик Пильеро, даже ненаблюдательный Цезарь заметил в обращении Рагонов какую-то перемену: что-то, очевидно, случилось. Г-жа Рагон встретила их с особенно умильным видом, взгляд ее и самый тон, казалось, говорили Цезарю: «Мы получили долг сполна».

К концу обеда явился нотариус из Со; пригласив его за стол, дядюшка Пильеро взглянул на Бирото, и тот почувствовал, что ему готовят какой-то сюрприз, хотя всей важности этого сюрприза угадать он не мог.

— Племянник, ты, твоя жена и дочь скопили за полтора года двадцать тысяч франков; тридцать тысяч я получил на конкурсе по моим претензиям; для расплаты с кредиторами у нас имеется, стало быть, пятьдесят тысяч франков. Господин Рагон получил на конкурсе тридцать тысяч франков, теперь господин нотариус принес

тебе расписку в том, что ты полностью, с процентами, погасил свой долг друзьям. Остальные деньги находятся у Кротта и пойдут на уплату Лурдуа, тетке Маду, каменщику, плотнику и другим, наиболее нетерпеливым кредиторам. Что принесет нам будущий год — видно будет. Терпенье и труд все перетрут.

Радость Бирото не поддается описанию; он со слезами бросился в объятия дяди.

— Пусть Цезарь наденет сегодня свой орден,— сказал аббату Лоро Рагон.

Духовник вдел красную орденскую ленточку в петлицу Цезаря, и тот раз двадцать в течение вечера подходил к зеркалу, чтобы полюбоваться собой; удовольствие, написанное на лице его, могло бы насмешить людей высокомерных, но невзыскательным буржуа оно казалось вполне естественным. На следующий день Бирото пошел к г-же Маду.

— А-а! Это вы, почтеннейший! — сказала она.— До чего ж вы поседели! Я вас было и не узнала. Вашему брату, однако, особенно горевать не приходится: для вас всегда найдется теплое местечко. Не то что я, грешная, верчусь день-деньской, как белка в колесе.

— Но, сударыня...

— Ну, это не в упрек вам сказано,— перебила она,— ведь мы в расчете.

— Я пришел сказать вам, что нынче у нотариуса Кротта я уплачу вам остаток долга, с процентами.

— Вы это всерьез?

— Будьте у нотариуса в половине двенадцатого...

— Вот это честность! Все до гроша, да еще по четыре на сто! — воскликнула тетка Маду, с наивным восхищением глядя на Бирото.— Слушайте, папаша, я неплохо зарабатываю у этого вашего рыженького, он — славный малый, не торгуется, чтобы я могла покрыть свои убытки. Давайте-ка я выдам вам расписку, а деньги, старина, оставьте себе. Тетка Маду— горласта, тетка Маду — порох, но в груди у нее кое-что бьется! — воскликнула она, ударяя себя по самым пышным мясистым подушкам, когда-либо известным Центральному рынку.

— Ни за что! — ответил Цезарь.— В законе есть прямые на то указания, и я желаю уплатить вам сполна.

— Что ж, я не заставлю себя упрашивать,— сказала тетка Маду,— но завтра уж я протрублю на весь наш Центральный рынок о вашей честности. Днем с огнем такой не сыщешь!

Подобная же сцена, лишь с небольшим вариантом, произошла и у подрядчика малярных работ, тестя Кротта. Шел дождь; Цезарь поставил мокрый зонт в углу, возле двери. Разбогатевший подрядчик, видя, как по полу его красивой столовой, где он завтракал с женой, растекается лужа, не проявил особой любезности.

— Ну, что вам еще от меня нужно, папаша Бирото? — сказал он резким тоном, словно обращаясь к назойливому нищему.

— Разве ваш зять не говорил вам, сударь?..

— О чем? — нетерпеливо перебил Лурдуа, думая, что речь идет о какой-то просьбе.

— Чтобы вы пришли к нему нынче утром в половине двенадцатого, получили сполна что вам следует и выдали мне расписку?..

— Ах, это другое дело... Присаживайтесь, господин Бирото. Не закусите ли с нами?..

— Доставьте нам удовольствие,— прибавила г-жа Лурдуа.

— Дела, стало быть, идут на лад? — спросил толстяк Лурдуа.

— Нет, сударь, чтобы скопить немного денег, мне приходилось завтракать одним лишь хлебцем; зато, надеюсь, со временем я возмещу ущерб, причиненный мною людям.

— Да вы и впрямь человек порядочный,— сказал подрядчик, отправляя в рот кусок хлеба с паштетом из гусиной печенки.

— А что поделывает ваша супруга? — спросила г-жа Лурдуа.

— Она ведает кассой и торговыми книгами у господина Ансельма Попино.

— Бедные люди! — тихо сказала мужу г-жа Лурдуа.

— Если я вам понадоблюсь, дорогой господин Бирото,— сказал Лурдуа,— милости просим, заходите, постараюсь помочь вам...

— Вы мне понадобитесь сегодня в одиннадцать часов, сударь,— сказал Бирото уходя.

Такое начало придало банкроту мужества, но не вернуло ему покоя: слишком много треволнений вносило в его жизнь желание восстановить свое доброе имя. С лица его совсем сбежал прежний румянец, глаза потускнели, щеки ввалились. Старые знакомые встречали иногда Бирото в восемь часов утра, когда он шел на улицу Оратуар, или в четыре часа пополудни, когда он возвращался домой,— бледный, боязливый, совершенно седой, в сюртуке, который он носил со времени своего падения и берег, как бедный подпоручик бережет свой мундир; случалось, что кто-либо его останавливал, и он бывал этим явно недоволен: беспокойно оглядываясь, норовил, словно вор, проскользнуть вдоль стен незамеченным.

— Все знают, как вы живете,— говорили ему.— И все жалеют, что вы, ваша жена и дочь так себя изводите.

— Дайте же себе передышку,— уговаривали его другие,— ведь денежные раны не смертельны.

— Но душевная рана иной раз убивает,— ответил однажды старику Матифа несчастный обессилевший Цезарь.

В начале 1823 года был окончательно решен вопрос о сооружении канала Сен-Мартен. Цены на земельные участки в предместье Тампль бешено взлетели. Канал по проекту должен был пройти как раз посредине участка дю Тийе, принадлежавшего ранее Цезарю Бирото. Компания, получившая концессию на прорытие канала, готова была заплатить огромную сумму, если бы банкир мог предоставить свой участок в ее распоряжение к определенному сроку. Но помехой делу был арендный договор, заключенный некогда Цезарем с Попино. Банкир явился на улицу Сенк-Диаман к торговцу парфюмерными и аптекарскими товарами. Дю Тийе относился к Попино с полным равнодушием, но жених Цезарины питал к нему безотчетную ненависть. Он ничего не знал ни о краже, когда-то совершенной удачливым банкиром, ни о гнусных его комбинациях, но какой-то внутренний голос твердил ему: «Этот человек — непойманный вор». Попино не стал бы вести с ним никаких дел, одно уж его присутствие было ненавистно Ансельму, особенно в ту пору, ибо он видел, как дю Тийе наживается на разорении своего бывшего хозяина; цены на участ-

ки в квартале Мадлен так поднялись, что можно было предвидеть их неслыханный рост, последовавший в 1827 году. Когда банкир изложил цель своего посещения, Попино посмотрел на него со сдержанным негодованием.

— Я не отказываюсь расторгнуть арендный договор, но вам придется уплатить мне шестьдесят тысяч франков; я не уступлю ни гроша.

— Шестьдесят тысяч франков! — воскликнул, отшатнувшись, дю Тийе.

— У меня арендный договор еще на пятнадцать лет, а замена фабрики другой ежегодно обойдется мне в лишних три тысячи франков. Итак, шестьдесят тысяч франков, или прекратим этот разговор,— заявил Попино, возвращаясь в лавку; дю Тийе последовал за ним.

Разгорелся спор. Упомянуто было имя Цезаря, и, услышав его, г-жа Бирото спустилась вниз. После пресловутого бала она впервые увидела дю Тийе. Банкир невольным жестом выдал свое изумление, заметив, как изменилась его бывшая хозяйка; он потупил глаза, ужаснувшись делу рук своих.

— Господин дю Тийе наживает на *ваших* участках триста тысяч франков,— сказал Попино парфюмерше,— а *нам* отказывается уплатить шестьдесят тысяч отступного за расторжение *нашего* арендного договора...

— Да ведь это три тысячи франков годового дохода! — с пафосом воскликнул дю Тийе.

— Три тысячи франков!..— просто, но выразительно повторила г-жа Бирото.

Дю Тийе побледнел, Попино взглянул на г-жу Бирото. Наступившее гробовое молчание сделало эту сцену еще более непонятной для Ансельма.

— Вот отказ от аренды, составленный по моему поручению Кротта,— сказал дю Тийе, вынимая из бокового кармана гербовую бумагу,— подпишите его, я выдам чек в шестьдесят тысяч франков на Французский банк.

Попино с нескрываемым изумлением посмотрел на жену парфюмера, ему казалось, что он грезит. Пока дю Тийе за высокой конторкой выписывал чек, Констанс поднялась обратно на антресоли. Банкир и Попино обменялись документами. Дю Тийе ушел, холодно простившись с Попино.

«Благодаря этой необычайной сделке Цезарина через несколько месяцев будет, наконец, моей женой,— подумал Ансельм, глядя вслед дю Тийе, направившемуся к Ломбардской улице, где его поджидал кабриолет.— Моя бедная Цезарина перестанет надрываться на работе. Подумать только! Стоило г-же Бирото посмотреть на него! Что может быть общего у нее с этим разбойником? Все это в высшей степени странно».

Послав в банк получить деньги по чеку, Попино поднялся наверх, чтобы поговорить с г-жой Бирото; за кассой ее не оказалось; она, очевидно, ушла в свою комнату. Ансельм и Констанс жили в добром согласии, как зять и теща, которые сошлись характерами. И Попино направился в комнату г-жи Бирото с поспешностью, естественной для влюбленного, мечты которого вот-вот осуществятся. Когда молодой купец бесшумно, точно кошка, подошел к своей будущей теще, он был несказанно удивлен, застав ее за чтением письма дю Тийе: Ансельм узнал почерк бывшего приказчика Бирото. При виде зажженной свечи и черного пепла, разлетавшегося по каменным плиткам пола, Попино вздрогнул; он обладал острым зрением и невольно прочел первую фразу письма, которое держала Констанс: *«Я обожаю вас, и вы это знаете, радость жизни моей... Так отчего же...»*

— Каким, однако, влиянием вы пользуетесь на дю Тийе, если он сразу же пошел на подобную сделку! — сказал Ансельм с судорожным смешком, который вызывается обычно невысказанным и не слишком лестным подозрением.

— Не будем говорить об этом,— ответила Констанс, не сумев скрыть жестокого смущения.

— Хорошо,— сказал совершенно растерявшийся Попино,— давайте поговорим о близком конце ваших страданий.— Повернувшись на каблуках, Ансельм отошел к окну и, глядя во двор, стал барабанить пальцами по стеклу.

«Ну что ж,— подумал он,— если она и любила дю Тийе, разве не должен я вести себя, как порядочный человек?»

— Что с вами, мой мальчик? — спросила бедная женщина.

— Чистая прибыль от «Кефалического масла» до-

стигает двухсот сорока двух тысяч франков,— сказал вдруг Попино.— Половина, стало быть, составляет сто двадцать одну тысячу. Если из этой суммы удержать сорок восемь тысяч франков, которые я ссудил господину Бирото, останется семьдесят три тысячи; прибавим к ним шестьдесят тысяч франков за расторжение арендного договора, и *у вас* будет сто тридцать три тысячи франков.

Госпожа Бирото слушала его в радостном волнении, не смея верить своему счастью. Попино казалось, что он слышит, как сильно бьется ее сердце.

— Я всегда рассматривал господина Бирото как своего компаньона,— продолжал он,— эту сумму мы можем употребить на расплату с его кредиторами. Вместе же с двадцатью восемью тысячами франков ваших сбережений, пущенных в оборот дядей Пильеро, мы будем иметь сто шестьдесят одну тысячу франков. Дядюшка Пильеро не откажется, конечно, дать нам расписку в получении своих двадцати пяти тысяч франков. И нет таких сил человеческих, которые могут помешать мне ссудить своему тестю деньги в счет прибылей будущего года. Тогда составится сумма, необходимая для окончательной расплаты с кредиторами господина Бирото... И... его доброе имя будет восстановлено.

— Восстановлено! — воскликнула г-жа Бирото, падая на колени. Она выронила письмо и, набожно сложив руки, начала шептать слова молитвы.

— Дорогой Ансельм! Дорогой сын мой! — воскликнула она, перекрестившись. Вне себя от радости, она обняла руками его голову, покрыла лоб поцелуями и горячо прижала юношу к своему сердцу — Цезарина теперь твоя! Дочь моя будет счастлива! Она бросит службу в лавке, где работает до изнеможения.

— Во имя любви,— сказал Попино.

— О да! — ответила мать улыбаясь.

— Я открою вам маленькую тайну,— продолжал Попино, искоса поглядывая на роковое письмо.— Я ссудил Селестена деньгами, чтобы помочь ему приобрести вашу лавку, но поставил одно условие. Ваша квартира сохранена в том виде, в каком вы ее оставили. Я давно уже лелею одну заветную мечту, но не ожидал, что нам так повезет: Селестен обязался сдать нам вашу бывшую квар-

тиру, он туда даже не заглядывал; вся обстановка — ваша. Для нас с Цезариной я хочу оставить третий этаж,— она никогда с вами не расстанется. После свадьбы я буду приходить сюда работать с восьми утра до шести вечера. А чтобы обеспечить вас, я приобрету за сто тысяч франков долю господина Бирото в нашей фирме; вместе с его жалованьем вы будете иметь таким образом около десяти тысяч франков годового дохода. Неужели вы не будете чувствовать себя счастливой?

— Замолчите, Ансельм, я с ума сойду от радости!

Ангельская кротость г-жи Бирото, ясный взгляд, чистота линий прекрасного лба убедительно опровергали тысячи мыслей, вихрем проносившихся в голове Ансельма, и он решил разом покончить со своими чудовищными подозрениями. Грех казался несовместимым со всей жизнью и чувствами племянницы Пильеро.

— Моя дорогая, обожаемая матушка,— сказал Ансельм,— ужасное подозрение закралось мне в душу. Если вы хотите, чтобы я был счастлив, вы сейчас же рассеете его.— И, протянув руку, Попино поднял с полу упавшее письмо.

— Я прочел невольно,— продолжал он, пораженный ужасом, отразившимся на лице Констанс,— первые слова этого письма дю Тийе. Они столь странно совпадают с вашим влиянием на него,— ведь вы заставили сейчас этого человека сразу же согласиться на мои непомерные требования,— что каждый дал бы всему этому такое же толкование, какое, против моей воли, нашептывает мне злой дух. Одного вашего взгляда, нескольких слов было достаточно...

— Перестаньте! — воскликнула г-жа Бирото и, отняв у него письмо, сожгла листки на глазах у Ансельма.— Дитя мое, я жестоко наказана за ничтожный проступок. Вы все должны узнать, Ансельм! Я не хочу, чтобы подозрение, внушаемое матерью, могло повредить дочери. Краснеть мне не приходится: то, в чем я собираюсь признаться вам, я могла бы рассказать и мужу. Дю Тийе пытался обольстить меня, я тотчас же предупредила господина Бирото, и он решил уволить Фердинанда. В тот самый день, когда Цезарь должен был отказать ему от места, дю Тийе украл у нас три тысячи франков!

— Я так и думал,— сказал Попино тоном, в котором сквозила вся его ненависть к дю Тийе.

— Ансельм, это признание необходимо было для вашего счастья, для вашего будущего; но пусть оно так же умрет в вашем сердце, как умерло в сердце Цезаря и в моем. Вы не забыли, конечно, какой шум поднял однажды мой муж из-за кассовой ошибки, якобы обнаруженной им! Чтобы не доводить дела до суда и не губить этого человека, он подложил тогда в кассу три тысячи франков, на которые хотел купить мне кашемировую шаль — подарок, полученный мною только три года спустя. Этим-то и объясняется мое восклицание. Но, дитя мое, я должна вам признаться в непростительном ребячестве. Дю Тийе написал мне три любовных письма, и чувство было в них выражено так красноречиво,— со вздохом сказала она потупясь,— что я сохранила эти письма просто так... любопытства ради. Я перечла их только раз, не больше. Однако дальше хранить эти письма было бы неосторожно. При виде дю Тийе я вспомнила о них и поднялась к себе, чтобы их сжечь; в тот момент, когда вы вошли, я пробегала последнее письмо. Вот и все, друг мой.

Ансельм опустился на одно колено и поцеловал руку г-жи Бирото; лицо его выражало глубокое чувство, и на глазах у обоих показались слезы. Подняв будущего зятя, Констанс раскрыла объятия и прижала его к сердцу.

То был счастливый день для Цезаря. Личный секретарь короля, г-н де Ванденес, зашел к Бирото в канцелярию, чтобы поговорить с ним. Они вышли вместе в маленький дворик кассы погашения государственных долгов.

— Господин Бирото,— сказал виконт де Ванденес,— король узнал случайно о ваших стараниях полностью расплатиться с кредиторами. Его величество тронут столь редкостным поведением и, зная, что вы из самоуничижения перестали носить орден Почетного легиона, поручил мне передать вам его повеление надеть снова орденский знак. Желая, кроме того, помочь вам уплатить долги, король повелел мне вручить вам эту сумму из его личной шкатулки, сожалея о том, что не может оказать вам более существенной помощи. Но пусть все это останется в строжайшей тайне. Его величество полагает, что

монарху не следует предавать свои добрые дела огласке,— добавил личный секретарь короля, вручая шесть тысяч франков Бирото, охваченному невыразимым волнением.

Бирото пробормотал в ответ лишь несколько бессвязных слов, и улыбающийся Ванденес удалился, помахав ему на прощанье рукой. Чувство, руководившее бедным Цезарем, столь редко можно встретить в Париже, что жизнь Бирото стала мало-помалу предметом всеобщего восхищения. Жозеф Леба, судья Попино, Камюзо, аббат Лоро, Рагон, глава крупной торговой фирмы, где служила Цезарина, подрядчик Лурдуа, г-н де ла Биллардиер — все заговорили о нем. Общественное мнение переменилось, и теперь Цезаря превозносили до небес.

«Вот воплощенная честность!» — слова эти неоднократно достигали ушей Цезаря, когда он проходил по улице, и бывший парфюмер испытывал такое же радостное волнение, как писатель, услышавший за своей спиной: *«Вот он!»* Для банкира дю Тийе добрая слава Цезаря была, что нож острый. Когда в кармане у Бирото оказались пожалованные ему королем деньги, первой же его мыслью было употребить эти деньги на уплату долга своему бывшему приказчику. Он поспешил на улицу Шоссе д'Антен; банкир, возвращавшийся в это время домой, столкнулся на лестнице с бывшим хозяином.

— Ну что, *мой бедный Бирото?* — с притворным участием спросил дю Тийе.

— Бедный? — гордо переспросил должник.— Напротив, я очень богат. Нынче вечером я лягу спать с чувством удовлетворения, сознавая, что полностью расплатился с вами.

Безупречная честность, прозвучавшая в этих словах, жестоко уязвила дю Тийе. Несмотря на всеобщее почтение, сам он не уважал себя, а неумолчный внутренний голос твердил ему о Цезаре: «Вот человек добродетельный!»

— Расплатиться со мной? Вы, стало быть, снова занялись делами?

Не сомневаясь, что дю Тийе никому не станет рассказывать о его признании, бывший парфюмер ответил:

— Никаких дел, сударь, я больше вести не буду. Разве в человеческих силах было предвидеть то, что со

мной случилось? Кто знает, не стал ли бы я опять жертвой какого-нибудь другого Рогена? Но о моей жизни, поступках моих было доложено королю, он удостоил меня своим сочувствием и, желая поощрить мои усилия, прислал мне только что довольно крупную сумму, которая...

— Вам потребуется расписка? — перебил его дю Тийе.— Вы хотите заплатить...

— Полностью и с процентами; так что я попрошу вас зайти со мной к господину Кротта, отсюда это рукой подать.

— Вы хотите платить в присутствии нотариуса?!

— Но ведь мне не возбраняется, сударь, думать о восстановлении своей репутации,— сказал Цезарь,— а бесспорными считаются только документы, засвидетельствованные у нотариуса...

— Идемте,— сказал дю Тийе, выходя вместе с Бирото.— Идемте, до нотариуса отсюда и впрямь рукой подать. Но где вы только деньги берете? — снова спросил он.

— Я нигде их не беру, а зарабатываю в поте лица своего.

— Вы должны громадную сумму банкирскому дому Клапарона.

— Да, это мой самый крупный долг; боюсь, как бы мне не надорваться на работе, прежде чем удастся заплатить его.

— Никогда вам не заплатить его,— злорадно сказал дю Тийе.

«Он прав»,— подумал Бирото.

Возвращаясь домой, Цезарь попал нечаянно на улицу Сент-Оноре; обычно он делал крюк, чтобы не видеть ни своей лавки, ни окон своей прежней квартиры. Впервые после своего падения он вновь увидел дом, в котором прошло восемнадцать счастливых лет его жизни, бесследно сметенных терзаниями трех месяцев.

«А я-то был уверен, что проживу здесь до конца дней своих»,— подумал он, ускоряя шаги. В глаза ему бросилась новая вывеска:

СЕЛЕСТЕН КРЕВЕЛЬ

Преемник Цезаря Бирото

— Что это мне почудилось? Неужто Цезарина? — воскликнул Бирото, вспомнив, что видел в окне белокурую головку.

Но он действительно видел свою дочь. Влюбленные и Констанс знали, что Бирото никогда не проходит мимо своего бывшего дома. Не имея представления о том, что случилось с Цезарем, они пришли туда, чтобы подготовить квартиру к торжеству, которое собирались устроить в его честь. Пораженный этим странным видением, Бирото остановился как вкопанный.

— Вот господин Бирото смотрит на свою бывшую квартиру,— сказал Молине хозяину лавки, помещавшейся напротив «Королевы роз».

— Бедняга,— ответил бывший сосед парфюмера.— Он задал там бал на славу... Было сотни две карет...

— Я присутствовал на этом балу. А три месяца спустя он обанкротился, и меня избрали синдиком,— сказал Молине.

Бирото кинулся прочь, ноги у него дрожали, но он почти бегом добрался до жилища дядюшки Пильеро. Старик был уже осведомлен о том, что произошло на улице Сенк-Диаман, и опасался, что племянник не выдержит радостного потрясения, связанного с его реабилитацией. Пильеро был ежедневным свидетелем мучений несчастного Цезаря, который не изменил своих незыблемых теорий о несостоятельных должниках и жил в непрестанном напряжении душевных сил. Утраченная честь была для Цезаря Бирото покойником, который мог еще воскреснуть. И эта надежда лишь обостряла его страдания. Пильеро взялся сам подготовить племянника к счастливой вести; когда Бирото вошел к дяде, тот как раз размышлял над тем, как бы это лучше сделать. Радость, с которой Цезарь рассказал об участии к нему короля, показалась Пильеро хорошим предзнаменованием, а удивление Бирото, увидевшего свою дочь в «Королеве роз», помогло старику приступить к разговору.

— А знаешь, Цезарь, чем это объясняется? — начал Пильеро.— Попино решил поскорее жениться на Цезарине. Он не согласен больше ждать и не обязан вовсе из-за твоих преувеличенных понятий о честности растрачивать свою молодость и грызть сухую корку, когда так соблазнительно пахнет вкусным обедом. Попино хочет

предоставить тебе средства для окончательной расплаты с кредиторами.

— Он покупает себе жену,— сказал Бирото.

— Разве не похвально желание помочь тестю восстановить свое доброе имя?

— Это дало бы возможность оспаривать... К тому же...

— К тому же,— подхватил дядя, притворяясь рассерженным,— ты можешь губить самого себя, но не имеешь права губить свою дочь.

Завязался горячий спор, причем Пильеро умышленно подливал масла в огонь.

— А если Попино дает тебе эти деньги не в долг,— воскликнул Пильеро,— если он рассматривает тебя как своего компаньона и, не желая обирать, считает, что сумма, которую он выплатит кредиторам,— это твоя часть в доходах от «Кефалического масла», аванс, выданный в счет будущих прибылей...

— Тогда подумают, что я вместе с ним обманул своих кредиторов.

Пильеро сделал вид, что сражен этим доводом. Он достаточно знал человеческое сердце и не сомневался, что ночью достойный человек сам вступит с собой в пререкания, и эта душевная борьба подготовит его к мысли о реабилитации.

— Но почему,— спросил за обедом Цезарь,— Констанс и Цезарина очутились в нашей прежней квартире?

— Ансельм собирается снять ее для себя и Цезарины. Жена твоя вполне одобряет этот план. Чтобы получить твое согласие, они, не предупредив тебя, уже договорились насчет церковного оглашения. Попино утверждает, что если он женится на Цезарине после твоей реабилитации, никакой заслуги с его стороны не будет. Ты принимаешь шесть тысяч франков от короля, а у своих родных ничего брать не желаешь! Я охотно выдал бы тебе расписку в получении всего, что мне следует,— неужели ты мне в этом откажешь?

— Нет,— сказал Цезарь,— но, несмотря на расписку, я продолжал бы беречь каждый грош, чтобы сполна расплатиться с вами.

— Ну, это уж мудрствование,— заявил Пильеро,— в вопросах честности я и сам кое-что смыслю. Что за глу-

пость ты сейчас сболтнул? Ты что ж, обманешь своих кредиторов, если полностью с ними расплатишься?

Цезарь испытующе посмотрел на Пильеро, и старик с волнением увидел, как широкая улыбка впервые за три года озарила удрученное лицо его несчастного племянника.

— Правда,— сказал Цезарь,— долги будут уплачены... Но ведь это значит продать свою дочь!

— А я хочу, чтобы меня купили! — воскликнула Цезарина, появляясь вместе с Попино в дверях.

Влюбленные услышали последние слова Цезаря, когда в сопровождении г-жи Бирото вошли на цыпочках в переднюю маленькой квартиры дяди. Они объездили в фиакре кредиторов, которым еще не было полностью уплачено, приглашая их явиться вечером в контору Александра Кротта, где заготовлялись тем временем расписки. Неотразимая логика влюбленного Попино одержала верх над чрезмерной щепетильностью Цезаря, упорно продолжавшего называть себя должником и утверждавшего, что, заменяя одни обязательства другими, он просто обходит закон. Но возглас Попино положил конец препирательствам парфюмера со своей совестью:

— Вы, значит, хотите убить собственную дочь?

— Убить собственную дочь!..— растерянно повторил Цезарь.

— Ну, хорошо,— сказал Попино,— имею я право подарить вам деньги, которые, по совести, считаю вашими? Или вы мне в этом откажете?

— Нет,— отвечал Цезарь.

— Ну, тогда отправимся сегодня вечером к Александру Кротта, и делу конец; мы там подпишем и наш брачный контракт.

Ходатайство о реабилитации с приложением всех необходимых документов было подано Дервилем генеральному прокурору парижского Королевского суда.

Весь месяц, пока выполнялись различные формальности по ходатайству Цезаря,— время, потребовавшееся также и для церковного оглашения брака Цезарины и Ансельма,— Бирото был в лихорадочном волнении. Он трепетал, он боялся, что не доживет до великого дня, когда состоится постановление суда. У него, по его сло-

вам, без всякой причины начиналось вдруг сильное сердцебиение. Он жаловался на тупые боли в сердце, ослабленном уже горестными переживаниями и изнемогавшем теперь под бременем непомерной радости. Постановление о реабилитации редко встречается в практике парижского Королевского суда; такие решения выносятся не чаще одного раза в десять лет. Для людей, относящихся с подобающей серьезностью к современному им общественному порядку, в аппарате правосудия заключено нечто внушительное и величественное. Значение общественных установлений всецело зависит от человеческих чувств, с ними связанных, и от величия, в которое их облекает человеческая мысль. Поэтому, когда народ утрачивает не только религию, но и самую способность верить, когда образование с первых же шагов подрывает все устои, приучая ребенка к беспощадному анализу,— наступает упадок нации; ибо она еще являет собой нечто целое лишь в силу низменных материальных интересов и заповедей расчетливого эгоизма. Для Бирото, человека верующего, правосудие было тем, чем оно и должно быть в глазах людей: воплощением самого общества, величественным символом всеми признаваемого закона, независимо от облика, который этот закон принимает, ибо чем старше и дряхлее убеленный сединами судья, тем торжественнее его служение делу, которое требует столь глубокого изучения людей и обстоятельств, что убивает жалость в сердце жрецов правосудия и делает их непреклонными перед лицом животрепещущих человеческих интересов. Все реже встречаются теперь люди, испытывающие глубокое волнение, поднимаясь по лестнице Королевского суда в старинном здании парижского Дворца правосудия; бывший купец был как раз из их числа. Мало кто замечал, как величественна эта лестница, расположенная для наибольшего эффекта над наружным перистилем, украшающим Дворец правосудия; она ведет к середине галереи, примыкающей с одной стороны к огромному залу «Потерянных шагов», с другой — к часовне Сент-Шапель,— двум историческим памятникам, по сравнению с которыми все вокруг может показаться убогим и жалким. Часовня Людовика Святого — одно из самых величественных зданий Парижа; вход в нее, находящийся в глубине галереи, романти-

чески мрачен. А вход в огромный зал «Потерянных шагов» весь залит светом; трудно забыть, что с этим залом связана история Франции. Как монументальна лестница Королевского суда, если даже на фоне этих великолепных сооружений она кажется внушительной. Сквозь роскошную ограду Дворца правосудия с лестницы видно то место, где приводятся в исполнение судебные приговоры,— что, быть может, и рождает трепет в сердцах посетителей. Лестница эта ведет в обширное помещение, за которым находится зал заседаний первой судебной палаты Королевского суда. Представьте же себе волнение Бирото, на которого не могла не подействовать эта величественная обстановка, когда он направлялся в суд в сопровождении своих друзей: Леба, в то время уже председателя коммерческого суда; бывшего своего присяжного попечителя Камюзо; своего прежнего хозяина Рагона и своего духовника — аббата Лоро. Священник подчеркнул своими рассуждениями великолепие сооруженного людьми храма правосудия, придав ему еще больше внушительности в глазах Цезаря.

Философ-практик Пильеро решил заблаговременно усилить радость Цезаря, чтобы застраховать племянника от опасных для него потрясений и неожиданностей этого знаменательного дня. Когда бывший купец заканчивал свой туалет, к нему явились испытанные друзья, считавшие долгом чести сопровождать его в зал суда. При виде этой свиты Цезарь почувствовал удовлетворение и впал в восторженное состояние, которое помогло ему перенести внушительную церемонию судебной процедуры. В зале торжественных заседаний, где собралось двенадцать членов суда, Бирото увидел и других своих друзей.

По оглашении списка дел поверенный Бирото в нескольких словах изложил его ходатайство. Затем, по предложению председателя, поднялся генеральный прокурор, чтобы дать свое заключение. Генеральный прокурор, человек, олицетворяющий общественное обвинение, сам потребовал от имени прокуратуры восстановления чести негоцианта, которой тот, в сущности, и не утрачивал, но как бы отдал на время в залог: исключительный случай в судебной практике, ибо обычно осужденный может быть только помилован. Люди с чуткой ду-

шой легко представят себе, с каким волнением слушал Бирото речь г-на де Гранвиля, сводившуюся вкратце к следующему.

— Господа,— сказал прославленный судейский чиновник,— шестнадцатого января 1820 года постановлением коммерческого суда округа Сены Бирото был объявлен несостоятельным должником. Прекращение платежей не было вызвано ни неосторожностью этого купца, ни сомнительными спекуляциями, ни чем-либо иным, что могло бы опорочить его честь. Мы считаем нужным заявить во всеуслышание, что несчастье это было вызвано одной из тех катастроф, которые, к величайшему прискорбию правосудия и населения города Парижа, участились за последнее время. Нашему веку, в котором долго еще будет происходить брожение пагубных революционных идей, суждено видеть, как парижские нотариусы, отступив от славных традиций прошлого, вызвали за несколько лет такое количество банкротств, какого не было при старой монархии и за два столетия. Погоня за легкой наживой обуяла нотариусов — этих опекунов общественного благосостояния, этих посредников в судейском звании!

За сим последовала длинная тирада, в которой генеральный прокурор, выполняя возложенную на него роль, обрушился на либералов, бонапартистов и прочих врагов престола. События показали впоследствии, что прокурор был прав в своих опасениях.

— Бегство одного из парижских нотариусов, похитившего доверенные ему Бирото деньги, повлекло за собой разорение просителя,— продолжал граф де Гранвиль.— Приговор суда по делу Рогена свидетельствует о том, как недостойно нотариус обманул доверие своих клиентов. Между несостоятельным должником и его кредиторами было достигнуто соглашение. Нужно отметить, к чести просителя, что все его коммерческие операции отличались такой безупречной честностью, с какой не приходилось встречаться ни в одном из скандальных банкротств, ежедневно подрывающих деловую жизнь Парижа. Кредиторы Бирото нашли на месте все, что принадлежало несчастному купцу, вплоть до последней мелочи. Они нашли, господа, его одежду, его драгоценности, предметы его личного обихода, и не только его собственные, но так-

же и его жены, отказавшеися полностью от своих прав, дабы увеличить актив. В этих тяжелых для него обстоятельствах Бирото показал себя вполне достойным того уважения, которому он был обязан избранием на муниципальную должность; ибо он состоял тогда помощником мэра второго округа и получил незадолго перед тем орден Почетного легиона; он удостоился этой награды и как преданный роялист, сражавшийся в вандемьере на ступенях церкви св. Роха, которые он обагрил своею кровью, и как член коммерческого суда, уважаемый за свои познания, любимый за дух миролюбия, и, наконец, как скромный муниципальный чиновник, отказавшийся от чести быть мэром, чтобы предоставить эту почетную должность более достойному — высокочтимому барону де ла Биллардиеру, одному из благородных вандейцев, уважать которого Бирото научился еще в дни тяжких испытаний.

— Эта фраза будет еще похлестче моей,—сказал Цезарь на ухо дяде.

— А потому кредиторы, получившие по обязательствам Бирото шестьдесят процентов за сто,— ибо этот честный купец, его жена и дочь отказались от всего, чем владели,— выразили свое уважение к нему в соглашении, сложив с него остаток долга. Самая форма соглашения свидетельствует об этом их уважении к должнику и заслуживает внимания суда.

Тут генеральный прокурор прочел мотивировочную часть соглашения.

— При наличии столь благоприятного постановления, господа, многие купцы сочли бы себя свободными от всяких обязательств и гордо расхаживали бы по городу. Но Бирото был далек от этого; не падая духом, он твердо решил подготовить славный день, который ныне для него наступил. Он согласен был на любую жертву. Наш возлюбленный монарх, чтобы дать человеку, раненному на ступенях церкви св. Роха, кусок хлеба, предоставил ему должность; несостоятельный должник откладывал все свое жалованье для удовлетворения кредиторов, ничего не оставляя для собственных нужд, ибо родственники не отказали ему в необходимой поддержке...

Бирото со слезами пожал руку дяде.

— Жена и дочь увеличили сумму его сбережений плодами своих трудов; они всецело присоединились к Бирото в его благородном намерении. Обе они сменили свое прежнее независимое положение на положение подчиненное. Подобные жертвы, господа, заслуживают высокой похвалы, ибо решиться на них особенно трудно. Вот какую задачу поставил перед собой Бирото.

Здесь генеральный прокурор прочел итоги баланса парфюмера, указав, кому и сколько тот оставался еще должен.

— Каждая из этих сумм, господа, была уплачена с процентами, что подтверждается не простыми расписками частных лиц, а документами, заверенными нотариусом, вполне заслуживающими доверия суда; но это не помешало, однако, судебным чинам исполнить свой долг, произведя предписанное законом расследование. Вы вернете Бирото не честь, которой он, в сущности, и не лишался, а лишь утраченные им права, и этим только восстановите справедливость. В нашей судебной практике подобные случаи такая редкость, что мы не можем не выразить просителю нашего восхищения его образом действий, уже заслужившим высочайшее одобрение и поддержку.

Затем прокурор прочел свое заключение, составленное по всем правилам судопроизводства.

Суд, не удаляясь, вынес свое решение, и председатель встал, чтобы огласить его.

— Суд поручает мне,— сказал он в заключение,— выразить господину Бирото чувство удовлетворения, с которым он выносит подобное решение. Секретарь, огласите следующее дело.

Бирото уже почувствовал себя как бы облеченным в парадный мундир, слушая речь прославленного генерального прокурора; но теперь он не мог опомниться от радости: ведь торжественная фраза старшего председателя Королевского суда свидетельствовала о том, что даже сердца бесстрастных служителей закона дрогнули от волнения. Цезарь не в силах был шевельнуться; он словно прирос к месту и растерянно смотрел на судей, как на ангелов, вновь распахнувших перед ним врата общественной жизни; дядя взял его под руку и увел в соседний зал. Цезарь, не выполнявший до тех пор же-

лания Людовика XVIII, машинально вдел теперь в петлицу орденскую ленточку Почетного легиона; друзья тотчас же окружили его и с триумфом понесли к карете.

— Куда вы меня везете, друзья мои? — обратился он к Жозефу Леба, Пильеро и Рагону.

— Домой.

— Нет, сейчас три часа; я хочу воспользоваться своим правом и показаться на бирже.

— На биржу,— приказал кучеру Пильеро, сделав при этом выразительный знак Леба, так как заметил у реабилитированного купца встревожившие его симптомы и опасался, как бы тот не сошел с ума.

Бывший парфюмер появился на бирже об руку со своим дядей и Леба — двумя уважаемыми негоциантами. Там уже знали о его реабилитации. Первый, кто увидел трех купцов и следовавшего за ними старика Рагона, был дю Тийе.

— Ах, дорогой патрон, я в восторге, что вам удалось выпутаться из беды. Ведь и я, может быть, немного способствовал этой счастливой развязке, когда безропотно позволил маленькому Попино пощипать себя. Я радуюсь вашему счастью, словно своему собственному.

— Для вас это единственная возможность испытать подобную радость,— сказал Пильеро.— Ведь с вами ничего подобного случиться не может.

— Как прикажете вас понимать, сударь? — спросил дю Тийе.

— Черт побери! Разумеется, в самом лучшем смысле! — вмешался Леба, улыбаясь мстительной насмешливости Пильеро, который хотя и не знал ничего, но угадывал в дю Тийе мерзавца.

Матифа увидел Цезаря. И тотчас же наиболее почтенные купцы окружили бывшего парфюмера и устроили ему настоящую биржевую овацию; Бирото выслушивал самые лестные поздравления, ему жали руку; во многих это возбуждало зависть, а у некоторых — угрызения совести, ибо из ста прогуливавшихся на бирже купцов более пятидесяти прибегали к ликвидации дел. Жигоне и Гобсек, беседовавшие в углу, разглядывали добродетельного парфюмера, вероятно, с не меньшим интересом, чем физики разглядывали первого привезенного им *электрического ската*. Эта рыба, наделенная свойствами

лейденской банки,— любопытнейший представитель животного мира. Вдохнув фимиам своего торжества, Цезарь снова сел в фиакр и поехал домой, где предстояло подписание брачного контракта его дорогой Цезарины и преданного Ансельма. Нервный смех Бирото встревожил трех его верных друзей.

Одно из свойственных юности заблуждений — считать всех такими же сильными, как она сама; заблуждение это объясняется, впрочем, ее особенностями: вместо того чтобы рассматривать людей и вещи сквозь очки, юность окрашивает их отблеском собственного огня и готова даже стариков наделять избытком жизненной силы. Попино, подобно Цезарю и Констанс, хранил воспоминание о роскошном бале, устроенном Бирото. Как часто среди тяжелых испытаний последних трех лет Цезарь и Констанс, не признаваясь в том друг другу, вновь слышали оркестр Коллине, видели нарядных гостей и вкушали радость, за которую столь жестоко потом поплатились; так вспоминали, должно быть, Адам и Ева о запретном плоде, принесшем их потомству и жизнь и смерть, ибо, как размножаются ангелы, остается, по-видимому, небесной тайной. Попино мог, впрочем, предаваться своим воспоминаниям без всяких угрызений совести и даже с отрадой: ведь в тот вечер Цезарина, еще богатая и завидная невеста, пообещала ему, бедняку, стать его женой. В тот вечер он получил уверенность в ее бескорыстной любви. Вот почему он купил у Селестена перестроенную и отделанную Грендо квартиру, с условием, что преемник Цезаря оставит ее в неприкосновенности. Благоговейно сохранив в этой квартире всю обстановку, вплоть до последних мелочей, принадлежавших Цезарю и Констанс, Ансельм мечтал о том, чтобы и самому задать там бал — отпраздновать свою свадьбу. Он любовно готовился к этому торжеству, но подражал своему прежнему хозяину лишь в необходимых тратах, а не в безумствах: достаточно безумств было уже совершено прежде. Обед и на этот раз был заказан у Шеве, и приглашенные были приблизительно те же. Только канцлера ордена Почетного легиона заменил аббат Лоро, и в числе гостей должен был быть председатель коммерческого суда — Леба; Попино позвал также г-на Камюзо, чтобы отблагодарить его за

доброе отношение к Цезарю; а вместо Рогенов приглашен был г-н де Ванденес. Цезарина и Попино рассылали приглашения на свой бал с большим разбором. Обоим им не хотелось устраивать многолюдную свадьбу, и, чтобы не быть задетыми в своих интимных чувствах, как это нередко случается с людьми, обладающими чистым и нежным сердцем, они решили дать бал не в день венчания, а в день заключения брачного контракта. Констанс вновь надела свое вишневое бархатное платье, в котором она блистала всего один лишь вечер. Цезарине же захотелось сделать Попино сюрприз — появиться в том самом бальном туалете, о котором он так часто вспоминал. Словом, квартира Бирото должна была предстать перед ним в том же волшебном виде, которым он упивался когда-то один только вечер. Ни Констанс, ни Цезарина, ни Ансельм не подумали о том, как опасен для Цезаря столь ошеломляющий сюрприз, и, поджидая его к четырем часам, они веселились, точно дети.

После сильного волнения, пережитого Бирото на бирже, этому подвижнику коммерческой честности предстояло испытать еще внезапное потрясение на улице Сент-Оноре. Войдя в свой бывший дом, Цезарь увидел внизу, у лестницы, сохранившейся в полной неприкосновенности, жену в вишневом бархатном платье, Цезарину, графа де Фонтэна, виконта де Ванденеса, барона де ла Биллардиера, знаменитого Воклена,— и в эту минуту какая-то тонкая пелена заволокла глаза парфюмера; дядюшка Пильеро, державший его под руку, почувствовал, как весь он содрогнулся.

— Это слишком,— сказал старик философ влюбленному Ансельму.— Ты наливаешь чересчур много вина — ему столько не выпить.

Сердца всех собравшихся были, однако, преисполнены такой бурной радости, что волнение Цезаря и его спотыкающуюся походку каждый объяснил себе вполне естественным восторженным опьянением — нередко, увы, смертельным.

Когда Цезарь вновь очутился у себя дома и увидел опять свою гостиную, гостей и среди них женщин в бальных платьях, в мозгу его внезапно зазвучал героический финал великой симфонии Бетховена. Эта возвышенно-прекрасная музыка заискрилась и засверкала,

запела трубными звуками в его усталом мозгу, для которого ей суждено было стать трагическим финалом.

Изнемогая под бременем захлестнувшей его внутренней гармонии, Цезарь оперся на руку жены и, задыхаясь от прилива крови, шепнул ей на ухо:

— Мне худо!

Испуганная Констанс отвела мужа в свою комнату, куда он добрался с большим трудом; упав там в кресло, он прошептал:

— Господина Одри! Господина Лоро!

Аббат Лоро вошел в сопровождении группы приглашенных — мужчин и нарядных женщин. Пораженные гости молча застыли в дверях. И на глазах всего этого разряженного общества Цезарь сжал руку своего духовника, голова его упала на плечо жены, опустившейся возле него на колени. В груди у него лопнул кровеносный сосуд, и аневризма стеснила его последний вздох.

— Вот смерть праведника,— торжественно провозгласил аббат Лоро, указывая на Цезаря тем неподражаемым жестом, который Рембрандт запечатлел в своей картине «Христос, воскрешающий Лазаря».

Иисус приказывал земле вернуть свою добычу; священнослужитель же указывал небесам на мученика торговой честности, заслужившего вечное блаженство.

Париж, ноябрь 1837 г.

БАНКИРСКИЙ ДОМ НУСИНГЕНА

Госпоже Зюльме Карро.

Кому как не вам, сударыня, чей возвышенный и неподкупный ум — сокровище для друзей, вам, кто для меня — и публика и самая снисходительная из сестер, должен я посвятить этот труд? Примите же его в знак дружбы, которой я горжусь. Вы и еще несколько человек с душою столь же прекрасной, как ваша, поймете мою мысль, читая «Банкирский дом Нусингена» в сочетании с «Цезарем Бирото». Разве не служит этот контраст поучительным социальным уроком?

Де Бальзак.

Вы знаете, как тонки перегородки между отдельными кабинетами в шикарнейших кабачках Парижа. У Вери, например, самый большой кабинет разделяется надвое перегородкой, которую можно в случае надобности ставить, а затем убирать. Впрочем, дело происходило не у Вери, а в другом приятном местечке, назвать которое я не считаю удобным. Мы были вдвоем, и я скажу, как Прюдом у Анри Монье: «Я не хотел бы ее компрометировать». Мы сидели в маленьком кабинете, смаковали лакомые блюда восхитительного во всех отношениях обеда и, убедившись, что перегородки не слишком плотны, беседовали вполголоса. Мы приступили уже к жаркому, а в соседнем помещении, откуда доносилось до нас лишь потрескивание дров в камине, еще никого не было. Пробило восемь часов. Послышались шаги, обрывки разговора, лакеи внесли свечи: мы поняли, что кабинет рядом с нами занят. По голосам я угадал, кто наши соседи.

Их было четверо — четверо самых дерзких бакланов, рожденных в пене, венчающей гребни изменчивых волн нынешнего поколения; приятные молодые люди, источники существования которых весьма загадочны, ибо ни ренты, ни поместий у них нет, а живут они припеваючи. Эти хитроумные кондотьеры современной коммерции, превратившейся в жесточайшую из войн, оставляют все тревоги своим кредиторам, удовольствия берут себе и заботятся лишь о собственном туалете. Они, впрочем, достаточно смелы, чтобы по примеру Жана Барта выкурить сигару на бочке пороха,— быть может для того, чтобы выдержать взятую на себя роль. Они насмешливее бульварных листков и готовы потешаться над каждым, не щадя даже самих себя; недоверчивые и проницательные, расточительные и алчные, в вечной погоне за выгодным дельцем, они завидуют другим, но довольны собой; глубокомысленные политики по наитию, все анализирующие и все предугадывающие, они еще не пролезли в высший свет, куда им так хочется попасть. Только одному из четырех удалось пробиться, да и то лишь к нижним ступенькам лестницы. Деньги еще не все, и выскочка, окруженный льстецами, только через полгода почувствует, что ему очень многого недостает. Этот надутый выскочка по имени Андош Фино, человек неразговорчивый, холодный и недалекий, усердно пресмыкался перед теми, кто мог ему пригодиться, и был наглым с теми, в ком нужда прошла. Подобно одному из забавных персонажей балета «Гюстав», сзади он казался маркизом, а спереди — простолюдином. Этот прелат от промышленности содержит при себе в качестве прихвостня журналиста Эмиля Блонде, человека очень умного, но безалаберного, блестящего и талантливого, но лентяя, знающего, что его эксплуатируют, и не препятствующего этому, то коварного, то добродушного — смотря по настроению: таких людей любят, но не уважают. Лукавый, как водевильная субретка, готовый предоставить свое перо кому угодно и отдать сердце кому попало, Эмиль — очаровательнейший из тех мужчин-куртизанок, о которых самый злоязычный из наших остряков сказал: «Они милее мне в атласных башмачках, чем в сапогах». Третий — Кутюр — живет спекуляцией. Затевая дело за делом, он барышами с одного покрывает убытки от другого. Нервное напряжение

игры помогает ему держаться на поверхности; решительно и смело рассекая волны, он носится по парижскому морю наживы в поисках незанятого островка, на котором можно было бы осесть. В этой компании он явно не на месте. Что касается последнего, самого язвительного из всех, то достаточно назвать его: Бисиу! Но увы! Это уже не Бисиу 1825 года, а Бисиу 1836 года, паясничающий человеконенавистник, язвительный и остроумный, разъяренный, как дьявол, тем, что столько ума потрачено впустую и что в последнюю революцию ему ничем не удалось поживиться; подобно Пьеро из «Фюнамбюля», он направо и налево раздает пинки, знает как свои пять пальцев наше время и его скандальную хронику, приукрашивает ее озорными выдумками, норовит, как клоун, вскочить каждому на плечи и, как палач, поставить свое клеймо.

Утолив голод, наши соседи догнали нас и принялись за десерт; а так как мы сидели тихо, они сочли, что рядом никого нет. И вот в сигарном дыму, под действием шампанского, за изысканным десертом завязалась интимная беседа. Эта беседа, проникнутая холодной рассудочностью, от которой каменеют самые стойкие чувства и гаснут самые великодушные порывы, полная ядовитой иронии, обращающей веселый смех в издевку, изобличала душевную опустошенность людей, поглощенных только собой, не имеющих иных целей, кроме удовлетворения собственного эгоизма, порожденного временем, в которое мы живем. Только «Племянник Рамо», памфлет на человека, который Дидро не решился опубликовать, книга, умышленно обнажающая людские язвы, может сравниться с этим устным памфлетом, свободным от каких бы то ни было побочных соображений, где словами клеймилось то, что ум еще окончательно не осудил, где все строилось лишь из развалин, все отрицалось и вызывало восхищение только то, что признается скептицизмом: всемогущество, всеведение и всеблагость денег. Подвергнув беглому огню круг общих знакомых, злословие приступило к беспощадному обстрелу близких друзей. Когда слово взял Бисиу, я знаком дал понять, что хотел бы остаться и послушать. Мы услышали тогда одну из тех безжалостных импровизаций, за которые ценили этого художника люди с пресыщенным умом; и хотя Бисиу

то и дело прерывали, его речь запечатлелась в моей памяти со стенографической точностью. И по идеям и по форме она далека была от литературных канонов: то было нагромождение мрачных картин, рисующих наше время, которому не мешало бы почаще преподносить подобные истории,— ответственность за них я возлагаю, впрочем, на рассказчика. Мимика и жесты Бисиу, голос которого то и дело менялся в зависимости от выводившихся на сцену персонажей, были, видимо, бесподобны,— судя по одобрительным возгласам трех его слушателей.

— И Растиньяк тебе отказал? — спросил Блонде у Фино.

— Наотрез.

— А ты пригрозил ему газетами? — осведомился Бисиу.

— Он только засмеялся,— ответил Фино.

— Растиньяк — прямой наследник покойного де Марсе, он преуспеет в политике, как преуспел в высшем свете,— сказал Блонде.

— Но как ему удалось сколотить себе состояние? — спросил Кутюр.— В 1819 году он ютился вместе со знаменитым Бьяншоном в жалком пансионе Латинского квартала; семья его питалась жареными майскими жуками, запивая это блюдо местным кислым вином, чтобы иметь возможность посылать ему сто франков в месяц; поместье его отца не приносило и тысячи экю; у Растиньяка на руках были брат и две сестры, а теперь...

— А теперь у него сорок тысяч франков годового дохода,— подхватил Фино,— его сестры, получив богатое приданое, удачно выданы замуж; доходы с поместья он предоставил матери.

— Еще в 1827 году у него не было ни гроша,— сказал Блонде.

— Так то было в 1827 году,— возразил Бисиу.

— Ну, а сейчас,— продолжал Фино,— он вот-вот станет министром, пэром Франции и всем, чем захочет. Года три назад он вполне благопристойно порвал с Дельфиной и женится только тогда, когда ему представится выгодная партия. Что ж, теперь-то он может жениться на аристократке! У молодчика хватило смекалки сойтись с богатой женщиной.

— Друзья мои, примите во внимание смягчающие

вину обстоятельства,— сказал Блонде.— Вырвавшись из когтей нищеты, он попал в лапы пройдохи.

— Ты хорошо знаешь Нусингена,— начал Бисиу,— представь же себе, что первое время Дельфина и Растиньяк считали его покладистым. Казалось, жена для него — украшение дома, игрушка. И вот что, по-моему, делает этого человека неуязвимым с головы до ног: Нусинген отнюдь не скрывает, что жена — это вывеска для его богатства, *вещь* необходимая, но второстепенная в напряженной жизни политических деятелей и крупных финансистов. Он как-то сказал при мне, что Бонапарт в своих отношениях с Жозефиной вел себя глупо, по-мещански: смешно было, воспользовавшись ею, как ступенькой, пытаться затем сделать из нее подругу жизни.

— Выдающийся человек должен смотреть на женщину так, как на нее смотрят на Востоке,— заявил Блонде.

— Барон слил восточную мудрость с западной в очаровательную парижскую теорию. Он терпеть не мог строптивого де Марсе, зато Растиньяк пришелся ему по душе, и барон его эксплуатировал, о чем тот и не подозревал: Нусинген взвалил на него всю тяжесть своих супружеских обязанностей. Растиньяк выносил все капризы Дельфины, возил ее в Булонский лес, сопровождал в театр. Наш нынешний великий человечек от политики долгое время проводил свою жизнь за чтением и писанием любовных записок. Сперва Эжена бранили по всякому поводу; он веселился с Дельфиной, когда ей было весело, грустил, когда она грустила, он изнывал под бременем ее мигреней, ее сердечных излияний; он отдавал ей все свое время, убивал драгоценные годы своей молодости, чтобы заполнить пустоту жизни этой праздной парижанки. Дельфина подолгу обсуждала с ним, какие драгоценности ей больше к лицу, на него обрушивались вспышки ее гнева и град ее причуд; с бароном же она в виде компенсации была очаровательно мила. Нусинген только посмеивался; когда же он замечал, что Растиньяк изнемогает под тяжестью непосильного гнета, он делал вид, будто что-то подозревает, и общий страх перед супругом связывал любовников еще крепче.

— Я допускаю, что богатая женщина могла содержать Растиньяка, и содержать его прилично; но откуда у него состояние? — спросил Кутюр.— Такое состояние,

как у него сейчас, на улице не валяется, а ведь никто никогда не подозревал Растиньяка в умении изобрести выгодное дело!

— Он получил наследство,— сказал Фино.

— От кого? — спросил Блонде.

— От простаков, попавшихся ему на дороге,— подхватил Кутюр.

— Он не все награбил, дети мои,— возразил Бисиу:

...Спокойнее. Не надо бить тревогу:
Наш век с мошенником на дружескую ногу.

Я сейчас вам расскажу, откуда у него состояние. Но сперва воздадим должное таланту! Наш друг отнюдь не «молодчик», как назвал его Фино, а джентльмен, знакомый с правилами игры, разбирающийся в картах и пользующийся уважением публики. В нужный момент Растиньяк сумеет пустить в ход весь свой ум, подобно вояке, который, не растрачивая своей отваги зря, отдает ее внаймы сроком на три месяца, под надежное обеспечение и за тремя подписями. На первый взгляд он может показаться резким, болтливым, непоследовательным в своих убеждениях, непостоянным в своих планах; но если представится серьезное дело, подходящий случай,— он не станет разбрасываться, как сидящий перед вами Блонде, который при подобных обстоятельствах пускается в рассуждения к выгоде соседа,— нет, Растиньяк весь соберется, подтянется, высмотрит место, куда следует направить удар, и ринется во весь опор в атаку. Он врезается с храбростью Мюрата в неприятельское каре, крушит акционеров, учредителей и всю их лавочку, а пробив брешь, возвращается к своей изнеженной и беззаботной жизни, вновь становится сладострастным сыном юга, праздным пустословом Растиньяком, который может вставать теперь в полдень, ибо в дни решающих схваток он не ложился вовсе.

— Вот говорит, как пишет! Но откуда все-таки у Растиньяка состояние? — спросил Фино.

— Бисиу нарисует нам карикатуру,— заметил Блонде.— Капитал Растиньяка — это Дельфина де Нусинген, замечательная женщина, которая сочетает смелость с предусмотрительностью.

— Разве она давала тебе деньги взаймы? — осведомился Бисиу.

Раздался взрыв хохота.

— Вы о ней превратного мнения,— заметил Кутюр, обращаясь к Блонде.— Весь ее ум — в умении ввернуть острое словцо, в том, чтобы любить Растиньяка с обременительной для него верностью и слепо ему повиноваться. Настоящая итальянка!

— Если только дело не касается денег,— язвительно вставил Андош Фино.

— Оставьте, господа! — елейным голосом продолжал Бисиу.— Неужели вы решитесь после всего сказанного поставить в вину бедняжке Растиньяку, что он жил на счет банкирского дома Нусингена, что для него, точь-в-точь как это сделал когда-то наш приятель де Люпо для юной Торпиль, обставили квартирку? Это было бы мещанством в духе улицы Сен-Дени. Во-первых, говоря абстрактно, по выражению Ройе-Коллара, вопрос этот может выдержать *критику чистого разума,* что же касается критики разума нечистого...

— Ну, поехал! — обратился Фино к Блонде.

— Но ведь он прав! — воскликнул Блонде.— Вопрос этот имеет большую давность: подобный случай послужил причиной пресловутой дуэли между Жарнаком и ла Шатеньре, кончившейся смертью последнего. Жарнака обвиняли в слишком нежных отношениях с тещей, дававшей горячо любимому зятю возможность вести роскошную жизнь. Когда такие дела не вызывают сомнений,— говорить о них не полагается. Но Генрих Второй позволил себе позлословить на сей счет, и ла Шатеньре, из преданности королю, взял грех сплетни на себя. Вот чем была вызвана дуэль, обогатившая французский язык выражением «удар Жарнака».

— Раз это выражение освящено такой давностью — значит, оно благородно,— сказал Фино.

— В качестве бывшего владельца газет и журналов ты вполне мог этого не знать,— заметил Блонде.

— Бывают женщины,— назидательно продолжал Бисиу,— бывают также и мужчины, которые умеют как-то разделять свое существо и отдавать только часть его (заметьте, я облекаю свою мысль в философскую форму). Эти люди строго разграничивают материальные интере-

сы и чувства; они отдают женщине свою жизнь, время и честь, но считают неподобающим шуршать при этом бумажками, на которых значится: «Подделка преследуется по закону». Да и сами они тоже ничего не примут от женщины. Позор, если наряду со слиянием душ допускается слияние материальных интересов. Эту теорию охотно проповедуют, но применяют редко...

— Какой вздор! — воскликнул Блонде.— Маршал Ришелье — а уж он-то был опытен в любовных делах — назначил госпоже де ла Поплиньер после истории с каминной доской пенсию в тысячу луидоров. Агнесса Сорель в простоте душевной отдала все свое состояние Карлу Седьмому, и король принял дар. Жак Кер взял на содержание французскую корону, которая охотно пошла на это и оказалась затем неблагодарной, как женщина.

— Господа,— сказал Бисиу,— любовь без нерасторжимой дружбы — по-моему, просто мимолетное распутство. Что же это за полное самоотречение, если приберегаешь что-то для себя? Эти две теории, столь противоречивые и глубоко безнравственные, примирить невозможно. Я думаю, что тот, кто боится полного слияния, просто не верит в его прочность, а тогда — прощай иллюзии! Любовь, которая не считает себя вечной,— отвратительна (совсем по Фенелону!) Вот почему люди, знающие свет, холодные наблюдатели, так называемые порядочные люди, мужчины в безукоризненных перчатках и галстуках, которые, не краснея, женятся на деньгах, проповедуют необходимость полной раздельности чувств и состояний. Все прочие — это влюбленные безумцы, считающие, что на свете никого не существует, кроме них и их возлюбленных! Миллионы для них — прах; перчатка или камелия их божества дороже миллионов! Вы никогда не найдете у них презренного металла,— они успели его промотать,— но обнаружите зато на дне красивой кедровой шкатулки остатки засохших цветов! Они не отделяют себя от обожаемого создания. «Я» для них больше не существует. «Ты» — вот их воплотившееся божество. Что поделаешь? Разве излечишь этот тайный сердечный недуг? Бывают глупцы, которые любят без всякого расчета, и бывают мудрецы, которые вносят расчет в любовь.

— Он просто неподражаем, этот Бисиу! — воскликнул Блонде.— А ты что скажешь, Фино?

— В любом другом месте,— с важностью заявил Фино,— я бы ответил как джентльмен, но здесь, я думаю...

— Как презренные шалопаи, среди которых ты имеешь честь находиться,— подхватил Бисиу.

— Совершенно верно! — подтвердил Фино.

— А ты? — спросил Бисиу Кутюра.

— Вздор! — воскликнул Кутюр.— Женщина, не желающая превратить свое тело в ступеньку, помогающую ее избраннику достичь намеченной цели, любит только себя.

— А ты, Блонде?

— Я применяю эту теорию на практике.

— Так вот,— язвительно продолжал Бисиу,— Растиньяк был другого мнения. Брать без отдачи,— возмутительно и даже несколько легкомысленно; но брать, чтобы затем, подобно господу богу, воздать сторицей,— это по-рыцарски. Так думал Растиньяк. Он был глубоко унижен общностью материальных интересов с Дельфиной де Нусинген. Я вправе говорить об этом, ибо при мне он со слезами на глазах жаловался на свое положение. Да, он плакал настоящими слезами!.. Правда, после ужина. А по-вашему, выходит...

— Да ты издеваешься над нами,— сказал Фино.

— Ничуть. Речь идет о Растиньяке. По-вашему, выходит, что его страдания доказывали его испорченность, ибо свидетельствовали о том, что он недостаточно любил Дельфину! Но что поделаешь? Заноза эта крепко засела в сердце бедняги: ведь он — в корне развращенный дворянин, а мы с вами — добродетельные служители искусства. Итак, Растиньяк задумал обогатить Дельфину,— он, бедняк, ее — богачку! И поверите ли?.. Ему это удалось. Растиньяк, который мог бы драться на дуэли, как Жарнак, перешел с тех пор на точку зрения Генриха Второго, выраженную в известном изречении: «Абсолютной добродетели не существует, все зависит от обстоятельств». Это имеет прямое отношение к происхождению богатства Растиньяка.

— Приступал бы ты уж лучше к своей истории, чем подстрекать нас к клевете на самих себя,— с очаровательным добродушием сказал Блонде.

— Ну, сынок,— возразил Бисиу, слегка стукнув его по затылку,— ты вознаграждаешь себя шампанским.

— Во имя святого Акционера,— сказал Кутюр,— выкладывай же, наконец, свою историю!

— Я хотел было рассказывать по порядку, а ты своим заклинанием толкаешь меня прямо к развязке,— возразил Бисиу.

— Значит, в этой истории и впрямь действуют акционеры? — спросил Фино.

— Богатейшие, вроде твоих,— ответил Бисиу.

— Мне кажется,— с важностью заявил Фино,— ты мог бы относиться с большим уважением к приятелю, у которого ты не раз перехватывал в трудную минуту пятьсот франков.

— Человек! — крикнул Бисиу.

— Что ты хочешь заказать? — спросил Блонде.

— Пятьсот франков, чтобы вернуть их Фино, развязать себе язык и покончить с благодарностью.

— Рассказывай же дальше,— с деланным смехом сказал Фино.

— Вы свидетели,— продолжал Бисиу,— что я не продался этому нахалу, который оценивает мое молчание всего лишь в пятьсот франков! Не бывать тебе никогда министром, если ты не научишься как следует расценивать человеческую совесть! Ну ладно, дорогой Фино,— продолжал он вкрадчиво,— я расскажу эту историю без всяких личностей, и мы с тобой будем в расчете.

— Он станет нам сейчас доказывать,— сказал, посмеиваясь, Кутюр,— что Нусинген составил состояние Растиньяку.

— Ты не так далек от истины,— сказал Бисиу.—Вы даже не представляете себе, что такое Нусинген как финансист.

— Знаешь ли ты что-нибудь о начале его карьеры? — спросил Блонде.

— Я познакомился с ним у него дома,— ответил Бисиу,— но мы, возможно, встречались когда-нибудь и на большой дороге.

— Успех банкирского дома Нусингена — одно из самых необычайных явлений нашего времени,— продолжал Блонде.— В 1804 году Нусинген был еще мало известен, и тогдашние банкиры содрогнулись бы, узнав,

что в обращении имеется на сто тысяч экю акцептированных им векселей. Великий финансист понимал тогда, что он величина небольшая. Как добиться известности? Он прекращает платежи. Отлично! Имя его, которое знали до сих пор только в Страсбурге и в квартале Пуассоньер, прогремело на всех биржах! Он рассчитывается со своими клиентами обесцененными акциями и возобновляет платежи; векселя его тотчас же получают хождение по всей Франции. Нелепый случай пожелал, чтобы акции, которыми он расплачивался, вновь приобрели ценность, пошли в гору и начали приносить доход. Знакомства с Нусингеном стали добиваться. Наступает 1815 год, наш молодчик собирает свои капиталы, покупает государственные бумаги накануне сражения при Ватерлоо, в момент кризиса прекращает платежи и расплачивается акциями Ворчинских копей, скупленными им на двадцать процентов ниже курса, по которому он сам же их выпускал. Да, да, господа! Он забирает в виде обеспечения сто пятьдесят тысяч бутылок шампанского у Гранде, предвидя банкротство этого добродетельного отца нынешнего графа д'Обриона, и столько же бутылок бордо у Дюберга. Эти триста тысяч бутылок, мой дорогой, которые он *принял*, заметьте, *принял* в уплату, по полтора франка, Нусинген продает с 1817 по 1819 год союзникам в Пале-Руаяле по шести франков за бутылку. Векселя банкирского дома Нусингена и его имя становятся известны всей Европе. Наш знаменитый барон вознесся над бездной, которая поглотила бы всякого другого. Дважды его банкротство принесло огромные барыши кредиторам: он хотел их облапошить, не тут-то было! Он слывет честнейшим человеком в мире. При третьем банкротстве векселя банкирского дома Нусингена получат хождение в Азии, в Мексике, в Австралии, у дикарей. Уврар — единственный, кто разгадал этого эльзасца, сына некоего иудея, крестившегося ради карьеры,— как-то сказал: «Когда Нусинген выпускает из рук золото, знайте, он загребает бриллианты».

— Его приятель дю Тийе — одного с ним поля ягода,— заметил Фино.— Подумать только, что человек без роду и племени, у которого еще в 1814 году гроша за душой не было, стал теперь тем дю Тийе, которого вы знаете; к тому же он умудрился,— чего никто из нас, кроме

тебя, Кутюр, сделать не сумел,— приобрести себе не врагов, а друзей. Словом, он так ловко спрятал концы в воду, что пришлось немало покопаться на свалке, чтобы установить, что еще в 1814 году он был приказчиком у одного парфюмера на улице Сент-Оноре.

— Чепуха! — воскликнул Бисиу.— Никогда не сравнивайте с Нусингеном мелкого жулика вроде дю Тийе, шакала, которому помогает только его нюх и который, почуяв запах падали, прибегает первым, чтобы урвать кость послаще. Вы только посмотрите на этих двух людей, один — насторожившийся, как кошка, поджарый и стремительный; другой — коренастый и тучный, грузный, как мешок, невозмутимый, как дипломат. У Нусингена тяжелая рука и холодный взгляд рыси. У него не показная, а глубокая проницательность: он скрытен и нападает врасплох, тогда как хитрость дю Тийе подобна (как сказал, не помню уж о ком, Наполеон) слишком тонкой нити: она рвется.

— Я вижу у Нусингена лишь одно преимущество перед дю Тийе: у него хватило здравого смысла понять, что финансисту следует довольствоваться баронским титулом, тогда как дю Тийе собирается добыть себе в Италии титул графа,— сказал Блонде.

— Блонде, дитя мое, одно только словечко,— перебил Кутюр.— Во-первых, Нусинген имел смелость заявить, что люди бывают честны только с виду; затем, чтобы хорошо его знать, надо принадлежать к деловому миру. Его банк — небольшое министерство; сюда входят государственные поставки, вина, шерсть, индиго — словом, все, на чем можно нажиться. Он — гений всеобъемлющий. Этот финансовый кит готов продать депутатов правительству и греков — туркам. Коммерция для него, сказал бы Кузен,— сумма разновидностей и единство разнообразий. Банк с этой точки зрения — та же политика, он требует хорошей головы и побуждает человека твердого закала стать выше стеснительных для него законов честности.

— Ты прав, сын мой,— сказал Блонде.— Но только мы одни понимаем, что в таком случае — это та же война, перенесенная в мир денег. Банкир — завоеватель, жертвующий тысячами людей для достижения тайных целей, его солдаты — интересы частных лиц. Ему при-

ходится прибегать к военным хитростям, устраивать засады, бросать в бой своих сторонников, брать приступом города. Эти люди так близки обычно к политике, что в конце концов оказываются втянутыми в нее и теряют свое состояние. Банкирский дом Неккера прогорел из-за политики, пресловутого Самюэля Бернара политика почти разорила. В каждом веке бывает какой-нибудь банкир с колоссальным состоянием, после которого не остается ни состояния, ни наследников. Братья Пари, помогшие свалить Лоу, и сам Лоу, рядом с которым все эти господа, организующие акционерные общества, просто пигмеи, Буре, Божон — все они исчезли, не оставив после себя наследников. Банк, подобно Кроносу, пожирает своих детей. Чтобы продлить свое существование, банкир должен сделаться дворянином, основателем династии, как Фуггеры, заимодавцы Карла Пятого, которые стали князьями Бабенгаузен и существуют и поныне... в «Готском альманахе». Банкиры тяготеют к аристократии из чувства самосохранения, быть может, не сознавая этого. Жак Кер стал родоначальником знатного рода Нуармутье, угасшего при Людовике Тринадцатом. Сколько энергии было в этом человеке, пожертвовавшем своим состоянием, чтобы возвести на престол законного монарха! Жак Кер умер властителем одного из островов Эгейского моря; он выстроил там великолепный собор.

— Ну, если вы будете забираться в дебри истории, мы далеко уйдем от современности, когда король не имеет больше права даровать дворянство, когда баронские и графские титулы раздают, увы! при закрытых дверях,— сказал Фино.

— Ты сожалеешь о тех временах, когда дворянское звание можно было купить за деньги,— и ты прав,— сказал Бисиу.— Но вернемся к нашему рассказу. Знаете ли вы Боденора? Нет, нет и нет. Ладно. Видите, как все в мире преходяще! Всего лишь десять лет назад бедняга был образцом дендизма. Но он так основательно забыт, что вы о нем знаете не больше, чем Фино о выражении «удар Жарнака» (говорю это не для того, чтобы тебя подразнить, Фино, а для красного словца!). Он по праву принадлежал к знати Сен-Жерменского предместья. Ну так вот! Боденор — первый простофиля, которого я

хочу вам представить. Прежде всего он именовался Годфруа *де* Боденор. Ни Фино, ни Блонде, ни Кутюр, ни я не можем не признать, что это — преимущество. Самолюбие славного малого отнюдь не страдало, когда при разъезде с бала в присутствии тридцати укутанных красавиц, дожидавшихся в сопровождении мужей и поклонников своих экипажей, лакей вызывал его карету. Все, что человеку отпущено богом, было у него на месте: он был здрав и невредим — ни бельма на глазу, ни парика, ни ватных подушечек для икр: ноги его не были ни вогнуты внутрь, ни выгнуты наружу, колени не распухали, спина прямая, талия тонкая, руки белые и красивые, волосы черные; лицо не чересчур румяное, как у приказчика из бакалейной лавки, и не слишком смуглое, как у калабрийца. Наконец — существенная подробность! — Боденор не был «красавцем мужчиной», как кое-кто из наших приятелей, которые делают ставку на свою красоту за неимением другого; но не стоит повторяться, мы уже решили, что это гнусно! Он метко стрелял из пистолета, ловко ездил верхом, дрался из-за какой-то безделицы на дуэли и не убил противника. Знаете ли вы, что выяснить, из чего состоит безоблачное, чистопробное и полное счастье в девятнадцатом веке в Париже, да притом еще счастье двадцатишестилетнего молодого человека, можно лишь войдя во все мелочи его жизни? Сапожник сумел уловить форму ноги Боденора и удачно шил ему сапоги, портному нравилось одевать его. Годфруа не грассировал, он говорил не как гасконец или нормандец, а на чистом и правильном французском языке и отменно завязывал галстук — совсем как Фино. Кузен супруги маркиза д'Эглемона, своего опекуна (он был круглым сиротой — еще одно преимущество), Боденор мог бывать и бывал у банкиров, не навлекая на себя нареканий Сен-Жерменского предместья за то, что якшался с ними, ибо молодой человек, к счастью, вправе думать только о своих удовольствиях, спешить туда, где весело, и избегать мрачных закоулков, где царит печаль. Наконец, он был застрахован от кое-каких болезней (ты меня понимаешь, Блонде!). Но, несмотря на все эти преимущества, он мог бы чувствовать себя очень несчастным. О, счастье, к нашему несчастью, представляется чем-то абсолютным — видимость, побуждающая глупцов вопрошать:

«Что есть счастье?» Одна очень умная женщина сказала: «Счастье в том, в чем мы его полагаем».

— Она изрекла прискорбную истину,— заявил Блонде.

— И нравоучительную! — прибавил Фино.

— Архинравоучительную! *Счастье*, как *добродетель*, как *зло*,— понятие относительное,— ответил Блонде.— Поэтому-то Лафонтен и считал, что с течением времени грешники в аду свыкнутся со своим положением и будут чувствовать себя там как рыба в воде.

— Изречения Лафонтена стали мудростью лавочников,— заметил Бисиу.

— Счастье двадцатишестилетнего парижанина— совсем не то, что счастье двадцатишестилетнего жителя Блуа,— сказал Блонде, не обратив внимания на слова Бисиу.— Те, кто на этом основании кричат о неустойчивости взглядов,— обманщики или невежды. Современная медицина, высшая заслуга которой состоит в том, что за время с 1799 по 1837 год она покинула область гаданий и сделалась под влиянием известной парижской анали-

тической школы наукой позитивной, доказала, что через известные периоды времени организм человека полностью обновляется.

— На манер ножика Жанко, хотя его все время считают прежним,— подхватил Бисиу.— Да, костюм арлекина, который именуется у нас счастьем, сшит из разных лоскутов, но на костюме моего Годфруа не было ни пятен, ни дыр. Молодой человек двадцати шести лет, если он счастлив в любви, то есть любим не за свою цветущую молодость, не за ум, не за внешность, даже не потому, что есть потребность в любви, но любим непреодолимой страстью — хотя бы эта непреодолимая страсть и была, пользуясь выражением Ройе-Коллара, абстрактной,— этот молодой человек прекраснейшим образом может не иметь ни гроша в кошельке, вышитом рукой обожаемого существа, может задолжать домохозяину за квартиру, сапожнику за сапоги, за платье портному, который в конце концов, как Франция, охладеет к нему. Словом, он может быть беден! Но нищета отравляет счастье молодого человека, не обладающего, подобно нам, возвышенными взглядами на слияние интересов. Нет ни-

чего утомительнее, по-моему, чем быть счастливым морально и очень несчастным материально,— вроде того, как я сейчас: одна нога у меня мерзнет, потому что дует из-под двери, а другая поджаривается у камина. Надеюсь, мои слова будут верно поняты; найдут ли они отклик под твоим жилетом, Блонде? Впрочем, оставим сердце в покое, между нами будь сказано, оно лишь вредит уму. Продолжаю! Годфруа де Боденор заслужил уважение своих поставщиков, так как платил им довольно аккуратно. Очень умная женщина, которую я уже упоминал и назвать которую не вполне удобно, ибо благодаря своему бессердечию она еще жива...

— Кто это?

— Маркиза д'Эспар! Она утверждала, что молодой человек должен жить на антресолях, не заводить ничего, напоминающего семейный очаг,—ни кухарки, ни кухни, пользоваться услугами старого слуги и не стремиться к прочно установленному порядку. Всякий другой образ жизни, по ее мнению,— дурной тон. Верный этой программе, Годфруа де Боденор жил на антресолях, на набережной Малакэ; ему, правда, не удалось избежать некоторого сходства с женатыми людьми: в комнате его стояла кровать, но она была столь узка, что он ею мало пользовался. Англичанка, случайно посетившая его жилище, не могла бы обнаружить там ничего *неприличного*. Фино, ты попросишь кого-нибудь растолковать тебе великий закон *неприличного*, правящий Англией! Но так как мы связаны с тобой тысячефранковой бумажкой, я вкратце объясню тебе это сам. Мне ведь довелось побывать в Англии! (На ухо Блонде: «Я отпускаю ему мудрости на две тысячи франков».) В Англии, Фино, ночью ты можешь близко познакомиться с женщиной, на балу или в другом месте; но если ты назавтра узнаешь ее на улице,— *неприлично!* За обедом ты обнаруживаешь в своем соседе слева очаровательного человека — остроумие, непринужденность, никакого чванства, ничего английского; следуя правилам старинной французской учтивости, всегда приветливой и любезной, ты заговариваешь с ним — *неприлично!* На балу вы приглашаете прелестную женщину на вальс — *неприлично!* Вы горячитесь, спорите, смеетесь, расточаете свой ум, душу и сердце в беседе, выражаете в ней чувства; вы играете во вре-

мя игры, беседуете, беседуя, едите за едой — *неприлично! неприлично! неприлично!* Один из самых проницательных и остроумных людей нашего времени — Стендаль — прекрасно охарактеризовал это *неприлично*, рассказав о некоем британском лорде, который, сидя в одиночестве у своего камина, не решается заложить ногу за ногу из страха оказаться *неприличным*. Английская дама, даже из секты неистовствующих святош (протестантов-фанатиков, готовых уморить свою семью с голоду, если бы она оказалась *неприличной*), не становится *неприличной*, беснуясь в своей спальной, но она сочтет себя погибшей, если примет в той же спальной знакомого. По милости этого *неприлично* Лондон и его обитатели в один прекрасный день обратятся в камень.

— Подумать только, что находятся глупцы, желающие ввезти к нам во Францию тот торжественный вздор, которым англичане со своей пресловутой невозмутимостью занимаются у себя на родине! — воскликнул Блонде.— При одной мысли об этом всякого, кто побывал в Англии и помнит очаровательную непосредственность французских нравов, бросает в дрожь. Недавно Вальтер Скотт, который не решался изображать женщин такими, как они есть, из страха оказаться *неприличным*, каялся в том, что нарисовал прекрасный образ Эффи в «Эдинбургской темнице».

— Хочешь не быть *неприличным* в Англии? — спросил Бисиу у Фино.

— Ну, хочу,— ответил тот.

— Ступай в Тюильри, присмотрись там к мраморному пожарному, которого скульптор нарек почему-то Фемистоклом, старайся ступать, как статуя командора, и ты никогда не будешь *неприличным*. Именно благодаря неукоснительному применению великого закона *неприличного* Годфруа достиг полного счастья. Вот как это произошло. У него был «тигр», а не грум, как пишут люди, ничего не смыслящие в светской жизни. Его «тигр» был маленький ирландец по имени Пэдди, Джоби, Тоби (можете выбирать любое), трех футов ростом и двадцати дюймов в плечах, с мордочкой ласки, с проспиртованными джином стальными нервами, с глазами ящерицы, зоркими, как у меня; проворный, как белка, неизменно ловко правивший парой лошадей в Лондоне и в Париже

и ездивший верхом, как старик Франкони; белокурый, точно девы на картинах Рубенса, с розовыми щеками, неискренний, как принц, опытный, как удалившийся от дел стряпчий, всего десяти лет от роду и при этом испорчен до мозга костей; сквернослов и игрок, обожавший варенье и пунш, ругавшийся, как фельетонист, воровatый и дерзкий, как парижский уличный мальчишка. Он был гордостью и доходной статьей известного английского лорда, для которого уже выиграл на скачках семьсот тысяч франков. Лорд очень любил малыша: его «тигр» был диковинкой, ни у кого в Лондоне не было такого маленького «тигра». На скаковой лошади Джоби походил на сокола. И все же лорд уволил Тоби — не за обжорство, не за кражу, не за убийство, не за предосудительные разговоры, не за дурные манеры, не за то, что он надерзил миледи, не за то, что он продырявил карманы ее камеристки, не за то, что он продался соперникам милорда на скачках, не за то, что он развлекался в воскресенье,— словом, ни за один из действительных проступков. Если бы Тоби во всем этом провинился, если бы он даже первым заговорил с милордом,— милорд простил бы ему и такое преступление. Милорд многое простил бы Тоби,— так он дорожил им. Его «тигр» правил парой лошадей, запряженных цугом в двухколесный кабриолет, сидя верхом на второй из них, не доставая ногами до оглобель и напоминая одного из тех ангелочков, которыми итальянские художники окружают бога-отца. Один английский журналист превосходно описал этого ангелочка, но он нашел его слишком красивым для «тигра» и предлагал пари, что Пэдди — не тигр, а прирученная тигрица. Заметка могла быть истолкована в дурном смысле и стать в высшей степени *неприличной*. А *неприлично* в превосходной степени ведет к виселице. Миледи очень хвалила милорда за осмотрительность. Тоби нигде не мог найти себе службы после того, как было подвергнуто сомнению его место в британской зоологии. Годфруа в то время процветал во французском посольстве в Лондоне, где и узнал о происшествии с Тоби-Джоби-Пэдди. Годфруа завладел «тигром»: он застал его в слезах над банкой варенья; мальчуган уже растратил все гинеи, которыми милорд позолотил его горе. Возвратившись на родину, Годфруа де Боденор ввез во Францию

прелестнейшего из английских «тигров» и приобрел известность благодаря своему «тигру», подобно тому как Кутюр прославился своими жилетами. И он без всяких затруднений был принят в члены клуба, именующегося ныне клубом де Граммон. Боденор отказался от дипломатической карьеры и не внушал больше тревоги честолюбцам; не отличаясь к тому же опасным складом ума, он встретил повсюду радушный прием. Наше самолюбие было бы уязвлено, если бы мы с вами видели вокруг себя одни лишь улыбки. Нам по сердцу кислая усмешка завистника. Годфруа же не любил быть предметом ненависти. Вкусы бывают разные!

Перейдем, однако, к существенному, к жизни материальной. Достопримечательностью его квартиры, где мне не раз случалось завтракать, была укромная туалетная комната, хорошо обставленная, со множеством удобнейших приспособлений, с камином и ванной; бесшумно закрывающаяся дверь вела на лестницу, не скрипела на петлях и легко отпиралась; на окнах с матовыми стеклами были непроницаемые шторы. И если комната Боденора должна была являть и являла собой самый живописный беспорядок, любезный сердцу взыскательного художника-акварелиста, если все в ней говорило о бесшабашной жизни элегантного молодого человека, то туалетная комната была словно святилище: белизна, чистота, порядок, тепло, из щелей не дует, ковер, как бы специально предназначенный для босых ножек застигнутой в одной сорочке испуганной красавицы. По таким признакам сразу определишь светского щеголя, знающего жизнь! Ибо тут в несколько мгновений он может проявить величие или глупость в тех житейских мелочах, в которых сказывается характер человека. Упомянутая уже маркиза,— впрочем, нет, то была маркиза де Рошфид,— покинула в бешенстве некую туалетную комнату и никогда больше туда не возвращалась, ибо не нашла там ничего *неприличного*. У Годфруа был там шкафчик, полный...

— Женских кофточек! — сказал Фино.

— Ах ты, толстяк Тюркаре! (Мне, видно, никогда его не обтесать!) Да нет же! Полный пирожных, фруктов, графинчиков с малагой и люнелем — словом, легкое угощение в духе Людовика Четырнадцатого, все, что может

порадовать изнеженные и разборчивые желудки наследниц шестнадцати поколений. Лукавый старик слуга, весьма сведущий в ветеринарном искусстве, прислуживал лошадям и ходил за Годфруа, так как он служил еще покойному господину Боденору и питал к молодому хозяину застарелую привязанность — сердечный недуг, от которого сберегательные кассы излечили в конце концов наших слуг. Всякое материальное счастье покоится на цифрах. Вы, знающие всю подноготную парижской жизни, догадываетесь, конечно, что Годфруа требовалось около семнадцати тысяч франков годового дохода, ибо семнадцать франков уходило у него на налоги и тысячи франков — на прихоти. Ну так вот, дети мои, в день, когда Годфруа проснулся совершеннолетним, маркиз д'Эглемон представил ему отчет по опеке — мы, конечно, не могли бы представить таких отчетов своим племянникам — и вручил ему квитанцию на восемнадцать тысяч франков государственной ренты — все, что осталось Боденору от отцовского богатства, ощипанного финансовыми реформами Республики и подорванного неаккуратными платежами Империи. Сей добродетельный опекун передал также своему питомцу около тридцати тысяч франков сбережений, помещенных в банкирском доме Нусингена, заявив ему с любезностью вельможи и непринужденностью солдата Империи, что сберег эти деньги для его юношеских проказ. «Если хочешь последовать моему совету, Годфруа,— прибавил он,— не сори глупо этими деньгами, как делают многие, а развлекайся с пользой. Стань атташе нашего посольства в Турине, оттуда направься в Неаполь, из Неаполя перекочуй в Лондон,— за свои деньги ты и позабавишься и многому научишься. А позже, когда ты окончательно решишь избрать карьеру, твое время и деньги не будут потрачены впустую». Покойный д'Эглемон был лучше своей репутации, чего о нас не скажешь.

— Когда юноша двадцати одного года начинает самостоятельную жизнь с доходом в восемнадцать тысяч франков,— считайте, что он разорен,— заметил Кутюр.

— Если только он не скряга или не выдающийся человек,— вставил Блонде.

— Годфруа побывал в четырех главных городах Италии,— продолжал Бисиу,— повидал Германию и Англию,

был в Санкт-Петербурге, объездил Голландию. Но он так быстро растратил упомянутые тридцать тысяч франков, словно получал тридцать тысяч франков годового дохода. Он везде находил *сюпрем-де-воляй, аспик* и французские вина, везде слышал французскую речь,— будто и не выезжал из Парижа. Ему хотелось бы немного развратить свое сердце, одеть его в броню, утратить свои иллюзии, научиться слушать все, не краснея, болтать, ничего не говоря, проникать в тайные замыслы держав... Куда там! Он лишь овладел, и то с трудом, четырьмя языками, то есть запасся четырьмя словами на каждое понятие. Годфруа вернулся вдовцом нескольких скучных вдов (это называется за границей «иметь успех»); застенчивый, с неустановившимся характером, доверчивый добряк, неспособный дурно отзываться о людях, которые оказывают ему честь, принимая его у себя, слишком чистосердечный, чтобы быть дипломатом,— словом, как говорится, честный малый.

— Короче, желторотый птенец, готовый предоставить свои восемнадцать тысяч франков ренты к услугам первых встречных акционеров,— вставил Кутюр.

— Этот чертов Кутюр так привык авансом тратить свои дивиденды, что хотел бы получить авансом и развязку моего рассказа. На чем же я остановился? На возвращении Боденора. Когда он обосновался на набережной Малакэ, выяснилось, что тысячи франков, остававшейся у него сверх необходимых расходов, не хватает на место в ложе у Итальянцев и в Опере. Если он проигрывал на пари двадцать пять — тридцать луидоров, он их, конечно, платил, а если выигрывал, то тратил, что, несомненно, происходило бы и с нами, будь мы настолько глупы, чтобы биться об заклад. Боденору не хватало его восемнадцати тысяч франков в год, и он почувствовал необходимость создать то, что мы зовем теперь *оборотным капиталом.* Он считал крайне важным не запутаться в долгах. Годфруа направился за советом к своему опекуну. «Дитя мое,— сказал ему д'Эглемон,— рента котируется сейчас по номиналу. Продай свою. Я уже продал ренту — и мою и жены. Все наши деньги теперь у Нусингена, он платит мне шесть процентов; поступи так же, будешь получать процентом больше, и этот про-

цент позволит тебе жить в свое удовольствие». И через три дня наш Годфруа зажил в свое удовольствие. Его материальное благополучие стало полным, так как доходов его хватало теперь и на излишества. Если бы можно было окинуть одним взглядом всех парижских молодых людей — как это будет, говорят, в день страшного суда с миллиардами поколений, копошившихся в грязи на поверхности всех планет в качестве ли национальных гвардейцев, или в качестве дикарей,— и спросить их: не заключается ли счастье двадцатишестилетнего молодого человека в том, чтобы выезжать верхом, в тильбюри или кабриолете с «тигром», который не выше, чем мальчик с пальчик, таким же розовым и свежим, как Тоби-Джоби-Пэдди, а по вечерам пользоваться за двенадцать франков вполне приличной наемной каретой; появляться всегда элегантно одетым согласно законам моды, предписывающей особый наряд для восьми часов утра, полудня, четырех часов дня и для вечера; быть хорошо принятым во всех посольствах и срывать там недолговечные цветы поверхностной дружбы с представителями различных наций; обладать приятной наружностью и носить с достоинством свое имя, свой фрак и свою голову; жить на прелестных маленьких антресолях, обставленных так, как были обставлены описанные мною антресоли на набережной Малакэ; иметь возможность приглашать друзей в «Роше де Канкаль», не ощупывая предварительно свои карманы; не останавливать ни одного из своих разумных порывов словами: «А деньги?»; обновлять, по желанию, розовые кисточки на челках трех своих чистокровных лошадей и всегда иметь свежую подкладку на собственной шляпе,— то все они, и даже такие выдающиеся люди, как мы с вами, сказали бы в один голос, что это — еще неполное счастье, что это — церковь Мадлен без алтаря, что нужно любить и быть любимым, или любить, но не быть любимым, или быть любимым, но не любить, или иметь возможность любить кого угодно и как угодно. Перейдем же к счастью духовному.

Когда в январе 1823 года, прекрасно устроив свои дела, Годфруа освоился и пустил корни в различных кругах парижского общества, которые ему нравилось посещать, он ощутил необходимость найти прибежище под сенью

дамского зонтика, иметь право жаловаться на жестокосердие какой-нибудь светской женщины, а не жевать хвостик розы, купленной за десять су у мадам Прево, подобно юнцам, которые пищат в коридорах Оперы, словно цыплята в клетке. Словом, он решил посвятить свои чувства, свои помыслы и стремления женщине. *Женщина! Ах! Женщина!* Сперва у него явилась нелепая мысль обзавестись несчастной любовью, и он увивался некоторое время вокруг своей прелестной кузины госпожи д'Эглемон, не замечая, что некий дипломат уже протанцевал с ней вальс из «Фауста». 1825 год прошел в поисках, попытках и бесплодном кокетстве. Требуемый предмет любви не находился. Пылкая страсть стала ныне большой редкостью. В то время в области нравов воздвигалось не меньше баррикад, чем на улицах. Воистину, братья мои, *неприлично* добирается и до нас! Так как нас упрекают в том, что мы вторгаемся в область художников-портретистов, аукционистов и модисток, я избавлю вас от описания особы, в которой Годфруа узнал свою суженую. Возраст — девятнадцать лет; рост — метр пятьдесят сантиметров; волосы — белокурые; брови — idem [1]; глаза — голубые, лоб — обыкновенный, нос — с горбинкой, рот — маленький, подбородок — короткий и слегка выдающийся вперед, лицо — овальное; особых примет не имеется. Таков паспорт любимого существа. Не будьте требовательней, чем полиция, господа мэры французских городов и общин, жандармы и прочие власть предержащие. Короче говоря, то был известный вам штамп нынешних Венер Медицейских. В первый же раз, как Годфруа явился к госпоже де Нусинген, пригласившей его на один из своих балов, которыми она без особого труда завоевала себе известность, он увидел во время кадрили существо, достойное любви, и был пленен этой фигуркой в сто пятьдесят сантиметров. Пушистые белокурые волосы ниспадали легкими каскадами, обрамляя личико, наивное и свежее, как у наяды, выставившей носик в хрустальное оконце своего ручья, чтобы полюбоваться весенними цветами. (Это наш новый стиль: фразы тянутся, как макароны, которые нам только что подавали.) Для описа-

[1] Так же (*лат.*).

ния ее бровей — да простит нам префектура полиции — нежному Парни потребовалось бы целых шесть стихов, и сей игривый поэт галантнейшим образом сравнил бы их с луком Купидона, не преминув отметить, что под бровями таились стрелы, хотя и без острых наконечников, ибо и сейчас еще в моде то выражение овечьей кротости, с которым госпожа де Лавальер на каминных экранах свидетельствует свою нежность перед богом, не получив возможности засвидетельствовать ее перед нотариусом. Знаете ли вы, какое действие производят белокурые волосы и голубые глаза в сочетании с томным, полным неги, но благопристойным танцем? Юная блондинка не разит вас дерзко в сердце, подобно брюнеткам, которые своим взглядом, кажется, так и говорят вам на манер испанского нищего: «Кошелек или жизнь! Пять франков или полное презрение!» Эти вызывающие и не совсем безобидные красотки могут нравиться многим мужчинам; но, по-моему, блондинка, наделенная счастливым даром казаться необычайно нежной и снисходительной и не теряющая при этом своих прав на упреки, поддразниванье, болтливость, неосновательную ревность — словом, на все то, что делает ее очаровательной женщиной, имеет больше шансов найти мужа, чем жгучая брюнетка. Рога на лоб? Себе дороже!

Изора, белокурая, как большинство эльзасок (она появилась на свет божий в Страсбурге и говорила по-немецки с легким и очень милым французским акцентом), танцевала бесподобно. Ее ножки, которых не отметил полицейский чиновник, но которые свободно могли быть занесены под рубрикой «особые приметы», отличались миниатюрностью, а по выразительности, называемой старыми учителями танцев *тип-топ*, могли сравниться с пленительной речью мадемуазель Марс, ибо все музы — сестры, а танцор и поэт — оба стоят ногами на земле. Ножки Изоры изъяснялись с многообещающей для сердечных дел легкостью, четкостью и проворством. «У нее *тип-топ!*» — было высшей похвалой в устах Марселя, единственного учителя танцев, которого с полным основанием называли «великим». Говорили: «Великий Марсель» — совершенно так же, как говорили: «Фридрих Великий» в царствование Фридриха!

— Он сочинял балеты? — спросил Фино.

— Да, что-то вроде «Четырех стихий» и «Галантной Европы».

— Ах, какое это было время,— сказал Фино,— когда вельможи одевали балетных танцовщиц!

— *Неприлично!* — возразил Бисиу.— Изора не поднималась на носках, она не отрывалась от земли, плавно покачивалась, и в движениях ее было как раз столько неги, сколько полагается для молодой девушки. Марсель говорил с глубокомыслием философа, что каждому общественному положению приличествует свой танец: замужняя женщина должна танцевать не так, как молодая девица, судейский крючок не так, как денежный туз, военный не так, как паж; он утверждал даже, будто пехотинец должен танцевать иначе, чем кавалерист, и на этом различии строил весь анализ общества. Как далеко мы ушли от всех этих тонкостей!

— Ах,— сказал Блонде,— ты коснулся открытой раны. Если б Марсель был верно понят, не произошло бы Французской революции.

— Исколесивши Европу,— продолжал Бисиу,— Годфруа, на свою беду, основательно изучил чужеземные танцы. Без этих глубоких познаний в хореографии, которую обычно считают вздором, он, может быть, и не влюбился бы в молодую девушку; но из трехсот приглашенных, толпившихся в красивых залах на улице Сен-Лазар, один только он способен был понять неизданную поэму любви, рассказанную красноречивым танцем. Талант Изоры д'Альдригер отнюдь не остался незамеченным; но в наш век, когда каждый кричит: «Вперед, вперед, не задерживайтесь!» — один из ценителей сказал (это был писец нотариуса): «Ловко отплясывает молодая девица». Другая ценительница (дама в тюрбане): «Она танцует бесподобно». Третья (тридцатилетняя женщина): «Девочка недурно танцует». Вернемся же к великому Марселю и скажем, пародируя знаменитое его изречение: «Сколько смысла заложено в фигуре кадрили!»

— Нельзя ли ближе к делу,— заметил Блонде,— очень уж ты замысловато рассказываешь.

— Изора,— продолжал Бисиу, недовольный тем, что Блонде его прервал,— была в простом платье из белого крепа, отделанном зелеными лентами, с камелией

в волосах, камелией у пояса, еще одной камелией на оборке юбки и камелией...

— Ну вот! Теперь пошли триста коз Санчо!

— Но ведь в этом-то и суть литературы, дорогой мой! «Кларисса» — шедевр, и в ней четырнадцать томов, а самый посредственный водевилист изложит тебе сюжет этого романа в одном акте. Если мой рассказ интересен, на что ты жалуешься? Туалет Изоры был очарователен, но, может быть, тебе не нравятся камелии? Ты предпочитаешь георгины? Нет? Тогда получай каштан! — воскликнул Бисиу, очевидно, запустив каштаном в Блонде, ибо мы услышали, как что-то стукнуло о тарелку.

— Я виноват, признаюсь! Рассказывай дальше,— смирился Блонде.

— Продолжаю,— сказал Бисиу.— «Вот на ком бы жениться!» — обратился Растиньяк к Боденору, указывая на малютку с непорочно белыми камелиями. Растиньяк был одним из близких друзей Годфруа. «Я как раз об этом подумал,— ответил ему Годфруа шепотом.— Чем вечно дрожать за свое счастье, выискивать способ шепнуть словечко в рассеянно слушающее тебя ушко, высматривать в Итальянской опере, какой цветок, белый или красный, украшает ее прическу, следить, не высунулась ли из окна кареты в Булонском лесу затянутая в перчатку ручка, как это принято на Корсо в Милане; чем проглатывать наспех за дверью кусочек торта, точно лакей, допивающий вино, оставшееся на донышке бутылки; чем пускать в ход всю изобретательность, чтобы, как почтальон, сунуть записку и получить ответ; чем радоваться двум строчкам нежнейших излияний и быть вынужденным прочесть сегодня пять фолиантов, а завтра строчить послание в два листа, что крайне утомительно; чем спотыкаться на ухабах и пробираться вдоль изгороди,— не лучше ли, спрашиваю я, предаться упоительной страсти, которой так завидовал Жан-Жак Руссо, полюбить попросту молодую девушку вроде Изоры, и жениться, если, сблизившись с нею, почувствуешь сродство душ,— словом, стать счастливым Вертером!» «Что ж, решение не хуже всякого другого,— серьезно ответил Растиньяк.— На твоем месте я бы погрузился, пожалуй, в эти безгрешные радости; такой

аскетизм нов, оригинален и стоит сравнительно недорого. Твоя Монна Лиза очаровательна, но, предупреждаю тебя, глупа, как балетная музыка».

Тон, которым была произнесена последняя фраза, показался Годфруа подозрительным, он решил, что Растиньяк умышленно старается разочаровать его, и, как бывший дипломат, узрел в нем соперника. Неудавшаяся карьера нередко налагает отпечаток на всю нашу последующую жизнь. Годфруа врезался по уши в мадемуазель Изору д'Альдригер. Растиньяк разыскал рослую девицу, которая беседовала с кем-то в соседней гостиной, где шла игра в карты, и шепнул ей на ухо: «Мальвина, ваша сестра поймала только что в сети рыбку весом в восемнадцать тысяч франков ренты: знатен, хорошо воспитан, положение в свете; понаблюдайте-ка за ними, и если дело пойдет на лад, станьте наперсницей Изоры и не давайте ей сказать ни слова без подсказки». Около двух часов ночи лакей, подойдя к маленькой сорокалетней альпийской пастушке, кокетливой, как Церлина из оперы «Дон-Жуан», возле которой сидела Изора, доложил: «Карета госпожи баронессы подана». И Годфруа увидел, как его красавица из немецкой баллады увлекла свою удивительную мамашу в вестибюль; за ними последовала и Мальвина. Годфруа, сделав вид (какое ребячество!), что идет узнать, к какой банке варенья пристроился его Джоби, имел счастье лицезреть, как Изора и Мальвина укутывали свою резвую маменьку в шубу и помогали друг другу одеться перед ночным путешествием по Парижу. Обе сестры украдкой посмотрели на него, как опытные кошки, которые, не подавая вида, наблюдают за мышью. Годфруа почувствовал некоторое удовлетворение при виде вышколенного и выдержанного долговязого эльзасца в хорошей ливрее и свежих перчатках, принесшего трем своим госпожам меховые сапожки. Никогда еще, пожалуй, две сестры не были столь несхожи, как Изора и Мальвина. Старшая — высокая брюнетка, Изора — маленькая и хрупкая блондинка; у одной черты лица тонкие и нежные, у другой — крупные и резкие; Изора принадлежала к числу женщин, которые покоряют своей слабостью, опекать их считает своим долгом даже школьник; Мальвина походила на героиню поэмы «Видали ль вы в Барселоне?». Рядом с

сестрой Изора казалась миниатюрой возле портрета, писанного маслом. «Она богата!» — сказал Годфруа Растиньяку, вернувшись в бальный зал. «Кто?» — «Эта молодая особа».— «А, Изора д'Альдригер! Ну да. Ее мать вдова; Нусинген когда-то служил в Страсбурге у отца Изоры. Если хочешь снова увидеть ее, вверни два-три комплимента госпоже де Ресто: получишь приглашение на бал, который она дает послезавтра,— баронесса с дочерьми будет там». Три дня перед мысленным взором Годфруа стояла *его* Изора; он отчетливо видел выражение ее лица и белые камелии; так после долгого созерцания какого-нибудь ярко освещенного предмета мы, закрыв глаза, видим его уменьшенным, но в лучезарном блеске и радуге ярких красок — единственной сверкающей точкой среди мрака.

— Бисиу, ты гениален! Набросай нам побольше таких картин,— сказал Кутюр.

— Извольте!— ответил Бисиу, становясь, по-видимому, в позу лакея из ресторана.— Вот картина, которую вы заказывали, господа! Внимание, Фино! Тебя приходится все время дергать за узду, как дергает кучер дилижанса ленивую клячу! Госпожа Теодора-Маргарита-Вильгельмина Адольфус (банкирский дом «Адольфус и компания» в Мангейме), вдова барона д'Альдригера, отнюдь не была толстой и добродушной немкой, рассудительной и солидной, убеленной сединами, с желтоватым, как пивная пена, лицом, наделенной всеми патриархальными добродетелями, которыми, по уверениям романистов, славится Германия. У нее были еще свежие щеки, с ярким, как у нюрнбергской куклы, румянцем, легкомысленные кудряшки, взбитые на висках, на голове ни единого седого волоса, задорный взгляд; ее тонкая талия отличалась стройностью, которая еще более подчеркивалась платьями с корсажем. Вокруг глаз и на лбу у нее появилось, правда, несколько предательских морщинок, которые она, подобно Нинон де Ланкло, охотно переместила бы на пятки, но они упорно держались на самых видных местах. Нос ее тоже потерял свои прежние очертания, и кончик его покраснел, что было особенно неприятно, так как яркостью он мог поспорить с румянцем щек. Единственная наследница, избалованная родителями, избалованная мужем, избало-

ванная всем Страсбургом и балуемая теперь обожавшими ее дочерьми, баронесса разрешала себе одеваться в розовое, носить короткую юбку и бант на мысике корсажа, обрисовывавшего ее талию. Встретив баронессу на бульваре, парижанин не сможет сдержать улыбки и осудит ее, не приняв во внимание смягчающих вину обстоятельств, в отличие от нынешних присяжных заседателей, которые находят их даже для братоубийцы! Насмешник всегда существо поверхностное, а следовательно, и жестокое; он не задумывается над тем, что значительная доля ответственности за смешное, над которым он потешается, лежит на обществе, ибо природа создает лишь неразумных тварей, глупцами же мы обязаны общественному строю.

— Я особенно ценю в Бисиу то, что он всегда верен себе,— сказал Блонде.— Если он издевается над другими, он смеется и над самим собой.

— Я тебе за это отплачу, Блонде,— пригрозил Бисиу.— Если маленькая баронесса была легкомысленна, беззаботна, эгоистична и нерасчетлива, то виноваты в этом банкирский дом «Адольфус и компания» в Мангейме и слепая любовь барона д'Альдригера. Баронесса, кроткая, как овечка, обладала нежным сердцем, способным на лучшие чувства,— правда, чувства эти были непрочны, а потому часто менялись. Когда умер барон, пастушка чуть было за ним не последовала,— так искренне и сильно она горевала; но... на другой день ей подали к завтраку зеленый горошек, который она очень любила, и это восхитительное блюдо смягчило ее горе. Дочери и слуги слепо любили ее, и все домашние были счастливы, когда удалось избавить ее от тягостного зрелища похорон. В то время как в церкви звучал реквием, Изора и Мальвина, глотая слезы, отвлекали внимание обожаемой матери, выбирая вместе с ней фасоны для ее траурных туалетов. Знаете ли вы, о чем говорят стоящие или сидящие в церкви друзья покойного, облаченные в траурные одежды, когда гроб водружен на большой черно-белый, закапанный воском катафалк, который должен обслужить три тысячи вполне приличных покойников, прежде чем выйдет в отставку,— так по крайней мере уверял меня философски настроенный факельщик между двумя стаканчиками белого вина,— и когда рав-

нодушные певчие тянут «Dies irae»[1], а не менее равнодушные священники служат заупокойную мессу. Вот вам картина, которую вы изволили заказывать. Видите вы их?

«Сколько, по-вашему, оставил папаша д'Альдригер?» — спрашивает Дерош у Тайфера, устроившего нам перед смертью такую великолепную оргию.

— Разве Дерош был уже тогда стряпчим?

— Он купил контору в 1822 году,— сказал Кутюр.— Это был смелый шаг со стороны сына мелкого чиновника, никогда не получавшего больше тысячи восьмисот франков в год, и продавщицы гербовой бумаги. Но с 1818 по 1822 год он работал, как каторжный. Ведь он поступил к Дервилю четвертым писцом, а уже в 1819 году стал вторым.

— Дерош?!

— Да!— сказал Бисиу.— Дерош, как и мы с вами, валялся на гноище Иова. Но ему наскучило ходить в узком фраке с чересчур короткими рукавами. Он с отчаяния ушел с головой в изучение права и приобрел звание поверенного. У него не было ни гроша за душой, ни клиентов, ни друзей, кроме нас, а надо было оплатить купленную контору и внести залог.

— Он походил тогда на тигра, сбежавшего из Зоологического сада,— сказал Кутюр.— Рыжий, тощий, с желтым лицом и глазами табачного цвета, холодный и флегматичный с виду, но готовый отнять последний грош у вдовы и обидеть сироту, гроза своих писцов, которые минуты не смели сидеть без дела, и при всем том трудолюбивый, знающий, изворотливый, двуличный, елейно красноречивый, никогда не выходящий из себя и злобный, как настоящий сутяга.

— Но в нем есть и хорошие черты,— воскликнул Фино,— он верен друзьям и начал с того, что взял к себе в старшие письмоводители Годешаля, брата Мариетты.

— В Париже,— заявил Блонде,— имеется только два сорта стряпчих. Есть стряпчий — честный человек, он действует в рамках закона, не гоняется за клиентами, продвигает дела, ничего не упускает, дает доверителям добросовестные советы, а в спорных случаях уговаривает

---

[1] «День гнева» — католический гимн *(лат.)*.

пойти на мировую,— словом, такой, как Дервиль. Но есть и другой тип — стряпчий изголодавшийся, готовый взяться за любое дело, если издержки заранее оплачены, готовый не только горы своротить,— их он лучше пустит в оборот,— но даже сдвинуть с места светила небесные; он способен помочь мошеннику против честного человека, если этот честный человек случайно не соблюдет какой-нибудь формальности. Когда такой стряпчий проделывает уж слишком жульнический фокус, суд лишает его права практики. Наш друг Дерош овладел тайнами этого ремесла, которым с грехом пополам промышляли незадачливые горемыки; скупив исковые требования у людей, боявшихся проиграть процессы, он пустился в крючкотворство, твердо решив выбиться из нищеты. Он действовал разумно и свято соблюдал правила своего ремесла. Он нашел покровителей среди политических деятелей, которым помог выпутаться из затруднительных обстоятельств, как это было с нашим другом де Люпо, когда его положение пошатнулось. Это потребовалось Дерошу потому, что на него все же начали косо поглядывать в суде! На него, который, не щадя трудов, исправлял ошибки своих клиентов!.. Ну, ладно, Бисиу, продолжай!.. Почему Дерош присутствовал в церкви?

— «Д'Альдригер оставил семьсот или восемьсот тысяч франков»,— ответил Дерошу Тайфер.— «Бросьте, только один человек знает, какое у *них* состояние»,— возразил друг покойного, Вербруст.— «Кто?» — «Толстый плут Нусинген. Он проводит гроб до самого кладбища, д'Альдригер был когда-то его патроном, и Нусинген из благодарности пускал в оборот его капиталы».— «Теперь вдове придется туговато».— «Что вы этим хотите сказать?!» — «Но д'Альдригер так любил жену! Не смейтесь же, на нас смотрят».— «А вот и дю Тийе! Позднехонько он явился, прямо к «Посланию апостолов».— «Он, видно, женится на старшей».— «Ну что вы,— возразил Дерош.— Он теперь больше, чем когда-либо, пришит к юбке госпожи Роген».— «Дю Тийе? К юбке?.. Плохо же вы его знаете!» — «Известна ли вам роль Нусингена и дю Тийе в этом деле?» — спросил Дерош. «Вот она какова,— сказал Тайфер,— Нусинген способен прикарманить капитал своего бывшего патрона и вернуть его...» — «Кхе! Кхе! — кашлянул Вербруст.— Чертовски сыро в

этих церквах! Кхе! Кхе! То есть как это — вернуть?» — «Да так: Нусинген знает, что у дю Тийе большое состояние, он хотел бы женить его на Мальвине, но дю Тийе Нусингену не доверяет. Занятно наблюдать за всем этим тому, кто разбирается в игре».— «Неужели Мальвина уже девица на выданье?..— спросил Вербруст.— Как время-то летит!» — «Мальвине уж больше двадцати лет, дорогой мой! Папаша д'Альдригер женился в 1800 году. Он задавал нам в Страсбурге пиры на славу, сперва по случаю своего бракосочетания, затем по случаю рождения Мальвины. Родилась она в 1801 году, во время подготовки Амьенского мира, дорогой папаша Вербруст, а теперь у нас 1823 год. Тогда в моде был Оссиан, и д'Альдригер назвал дочь Мальвиной. Шесть лет спустя, во времена Империи, в моду вошли рыцарские штучки: «Как в Сирию собрался» и прочая чепуха. А потому вторую дочь он назвал Изорой, ей сейчас семнадцать лет. Две девицы на выданье».— «Через десять лет у этих женщин не будет ни гроша»,— доверительно шепнул Вербруст Дерошу. «Видите старика, который плачет-заливается там, в глубине церкви? — сказал Тайфер.— Это камердинер д'Альдригера; обе барышни выросли на его руках, он пойдет на все, чтобы сохранить им средства к жизни». (Певчие: Dies irae! Детский хор: Dies illa!) Тайфер: «До свиданья, Вербруст, когда я слышу Dies irae, я слишком живо вспоминаю своего бедного сына».— «Я тоже ухожу, здесь очень сыро»,— сказал Вербруст. (In favilla. Нищие на паперти: «Подайте милостыньку, господа хорошие!» Церковный сторож: «Дзинь! Дзинь! Жертвуйте на нужды храма!» Певчие: «Аминь!» Друг покойного: «Отчего он умер?» Шутник из толпы зевак: «Кровеносный сосуд на пятке лопнул!» Прохожий: «Не знаете ли, кого хоронят?» Один из родственников: «Президента де Монтескье». Ризничий нищим: «Ступайте вон! Довольно попрошайничать, нам уж для вас дали!»)

— Блестяще! — воскликнул Кутюр.

(Нам действительно казалось, что мы слышим то, что происходит в церкви. Бисиу изображал все, вплоть до шума шагов следовавших за гробом людей,— он воспроизводил его, шаркая по полу ногами.)

— Есть романисты, поэты, писатели, которые восхваляют парижские нравы,— продолжал Бисиу.— Но вот

вам истинная правда о столичных похоронах: из ста человек, пришедших отдать последний долг бедняге-покойнику, девяносто девять говорят во время панихиды о своих делах и развлечениях. Только чудом можно наткнуться хоть на какое-то подобие искренней скорби. Да и бывает ли вообще скорбь без эгоизма?..

— Увы! — сказал Блонде.— Ничто не внушает к себе так мало уважения, как смерть, но может быть, она и не заслуживает уважения?..

— Да, это такое обыденное явление! — подхватил Бисиу.— После панихиды Нусинген и дю Тийе проводили покойника до кладбища. За гробом шел пешком старый слуга. Экипаж банкира следовал за каретой духовенства.

— «*Ну, торокой трук*,— обратился Нусинген к дю Тийе, когда они огибали бульвар,— *фот утопный слушай шениться на Мальфине: фы путете сашитником этой петной рытающей семьи; у фас путет сфоя семья, семейный ошак, том полная тшаша, а Мальфина — это клат*».

— Ну в точности Нусинген, этот старый Робер Макэр! Я прямо слышу его,— воскликнул Фино.

— «Очаровательная девица»,— с жаром откликнулся Фердинад дю Тийе, не теряя, однако, ледяного спокойствия,— продолжал Бисиу.

— Весь дю Тийе в двух словах! —воскликнул Кутюр.

— «С первого взгляда она может показаться дурнушкой; но, должен признаться, в ней много души»,— сказал дю Тийе.

— «*И сертца, а это клафное, мой торокой, она путет претанной и умной шеной. Ф нашем собашьем ремесле не снаешь, кому ферить. Польшое шастье, если мошно полошиться на сертце сопстфенной супруки. Я охотно променял пы Тельфину,— а она принесла мне польше миллиона пританого,— на Мальфину, у которой пританое меньше*».— «А сколько именно?» — «*Не знаю тошно, но што-то есть*».— «Есть мать, которая обожает розовый цвет»,— ответил дю Тийе и этими словами положил конец попыткам Нусингена. После обеда барон сообщил Вильгельмине Адольфус, что у него в банке осталось всего лишь около четырехсот тысяч франков ее денег. Наследница мангеймских Адольфусов, весь доход которой сводился теперь к двадцати четырем тысячам франков в

год, запуталась в слишком сложных для ее головы вычислениях...— «Как же так,— говорила она Мальвине,— как же так, ведь только на портниху у нас уходило по шести тысяч франков в год. Откуда же твой отец брал эти деньги? На двадцать четыре тысячи франков нам не свести концов с концами, это нищета! О! если б жив был мой покойный отец, он умер бы с горя, увидев, до чего меня довели! Бедняжка Вильгельмина!» И она залилась слезами. Чтобы утешить мать, Мальвина стала доказывать ей, что она еще молода и хороша собой, что розовый цвет ей по-прежнему к лицу, что в Опере и у Итальянцев для нее всегда найдется место в ложе госпожи де Нусинген. Она убаюкала мать, и баронесса, грезя о празднествах, балах, музыке, изящных туалетах, успехе, уснула за голубым шелковым пологом в нарядной спальне,— рядом с комнатой, где две ночи назад испустил дух Жан-Батист барон д'Альдригер. Вот в нескольких словах его история.

Этот почтенный эльзасец, страсбургский банкир, сколотил себе при жизни состояние приблизительно в три миллиона. В 1800 году, тридцати шести лет от роду, в апогее своей сделанной во время революции финансовой карьеры он женился по расчету и по сердечной склонности на дочери мангеймских Адольфусов, девушке, обожаемой всей семьей, богатство которой она и унаследовала лет через десять. Так как состояние д'Альдригера удвоилось, он получил от его величества короля и императора титул барона. Он воспылал страстью к великому человеку, наградившему его этим титулом, и в 1814—1815 годах разорился, ибо слишком верил в солнце Аустерлица. Честный эльзасец не прекратил платежей, не пытался всучить своим кредиторам обесцененные бумаги; он расплатился полностью и без всяких задержек, а затем ликвидировал свой банкирский дом, чем и заслужил краткий отзыв своего бывшего старшего служащего Нусингена: *«Шестный шелофек, но турак!»* У д'Альдригера осталось в конечном счете пятьсот тысяч франков и обязательства Империи, уже переставшей существовать. *«Фот к шему прифела слишком польшая фера ф Наполеона!»* — воскликнул д'Альдригер, увидев результаты ликвидации. Если кто-нибудь был первым в городе, то как остаться там на второстепенных ролях?..

Эльзасский банкир поступил, как все разорившиеся провинциалы: он перебрался в Париж, храбро носил там трехцветные подтяжки с вышитыми на них императорскими орлами и стал вращаться в бонапартистских кругах. Он поместил свое состояние у Нусингена; тот предложил ему по восьми процентов на круг и принял даже обязательства Империи, на которых д'Альдригер потерял при этом только шестьдесят процентов; по этому случаю он горячо пожал Нусингену руку со словами: «*Я пыл тферто уферен, што найту ф тепе сертце эльсасца*». А Нусинген с помощью нашего друга де Люпо получил по этим бумагам полностью. Хотя эльзасца здорово пощипали, у него осталось все же сорок четыре тысячи франков годового дохода, но, к довершению беды, на него напал сплин, овладевающий людьми, привыкшими к деловому азарту и оказавшимися не у дел. Банкир (благородная душа!) твердо решил жертвовать собой для жены, состояние которой было поглощено катастрофой; она отдала его с легкостью неопытной девушки, ничего не смыслящей в делах. Баронесса д'Альдригер вновь обрела таким образом привычные радости, а пустота, которую она могла бы почувствовать, лишившись страсбургского общества, была заполнена парижскими развлечениями. Банкирский дом Нусингена уже занимал тогда, как и сейчас, первенствующее место в финансовом мире, и барон ловкий счел своим долгом окружить вниманием барона честного. Добродетель д'Альдригера служила украшением гостиной Нусингена. С каждым годом состояние д'Альдригера таяло; но он не решался сделать ни малейшего упрека жемчужине Адольфусов; его любовь к ней была самой нерасчетливой и самой безрассудной на свете. Хороший человек, но дурак! Умирая, он спрашивал себя: «Что будет с ними без меня?» Оставшись как-то наедине со своим старым камердинером Виртом, он меж двух припадков удушья поручил ему свою жену и двух дочерей, словно этот эльзасский Калеб был единственным разумным существом в доме.

Через три года, в 1826 году, Изоре исполнилось уже двадцать лет, а Мальвина все еще не была замужем. Выезжая в свет, Мальвина поняла в конце концов, как поверхностны там отношения между людьми, как все

там рассчитано и взвешено. Подобно большинству так называемых *хорошо воспитанных девиц*, Мальвина не имела понятия ни о скрытых пружинах, управляющих жизнью, ни о могуществе денег, ни о трудности заработать хотя бы грош, ни о действительной стоимости вещей. И каждый новый опыт в этой области наносил ей рану. Четыреста тысяч франков, оставшиеся после покойного д'Альдригера в банкирском доме Нусингена, целиком значились на счету баронессы, так как она имела право унаследовать после смерти мужа не менее миллиона двухсот тысяч франков; в минуты затруднений альпийская пастушка черпала оттуда, как из неиссякаемого источника. В тот момент, когда наш голубок устремился к своей горлице, Нусинген, который знал характер вдовы своего бывшего патрона, счел нужным посвятить Мальвину в денежные дела баронессы: на ее счету в банке оставалось всего лишь триста тысяч франков, и двадцать четыре тысячи годового дохода сократились теперь до восемнадцати. В течение трех лет Вирт всячески старался спасти положение! После сообщения банкира Мальвина, решив без ведома матери отказаться от собственного выезда, продала лошадей и карету и рассчитала кучера. Обстановку особняка, служившую уже десять лет, обновить не представлялось возможным; но вся она износилась в равной мере, а для любителей гармонии — это уже полбеды. Баронесса — прекрасно сохранившийся цветок — напоминала теперь съежившуюся розу, прихваченную морозом и случайно уцелевшую на кусте до середины ноября. Я собственными глазами мог наблюдать, как мало-помалу, оттенок за оттенком, полутон за полутоном, таяло благосостояние этой семьи. Грустное зрелище! Честное слово! Это было мое последнее огорчение. Затем я подумал: «Что за нелепость принимать так близко к сердцу чужие дела!» Во время своей службы в министерстве я имел глупость интересоваться домами, куда бывал зван на обеды, защищал принимавших меня людей, если о них злословили, сам никогда не клеветал на них, никогда не... Словом, я был ребенком!

Когда дочь объяснила баронессе истинное положение вещей, бывшая жемчужина воскликнула: «Бедные мои дети! Кто ж теперь будет шить мне платья? Значит,

у меня не будет больше свежих чепчиков! Я не смогу устраивать приемы и выезжать в свет!» — Как, по-вашему, по какому признаку узнается влюбленный мужчина? — вдруг сам себя прервал Бисиу.— Требуется установить, действительно ли Боденор был влюблен в эту блондиночку.

— Влюбленный запускает свои дела,— ответил Кутюр.

— Трижды в день меняет сорочки,— сказал Фино.

— Предварительно один вопрос,— вмешался Блонде,— может и должен ли выдающийся человек влюбляться?

— Друзья мои,— сентиментальным тоном продолжал Бисиу,— как ядовитой гадины, остерегайтесь мужчины, который, почувствовав себя влюбленным, говорит, прищелкнув пальцами или отшвырнув сигару: «Вот еще! Свет на ней не клином сошелся!» Правительство, впрочем, найдет применение такому гражданину в министерстве иностранных дел. Заметь, Блонде, что Годфруа оставил дипломатическую службу.

— Значит, он был влюблен по уши. Ведь только любовь может обогатить душу глупца,— отозвался Блонде.

— Блонде, Блонде, почему же мы с тобой так бедны? — воскликнул Бисиу.

— И почему так богат Фино? — подхватил Блонде.— Я объясню тебе это, сынок, ведь мы понимаем друг друга. Смотри, Фино наливает мне столько вина, как будто я принес ему охапку дров. Но в конце обеда вино надо только медленно *прихлебывать*. Итак, что было дальше?

— Так вот, влюбленный по уши, как ты сказал, Годфруа заводит близкое знакомство с рослой Мальвиной, легкомысленной баронессой и маленькой танцоркой. Он дает обет послушания и строго до мелочей выполняет его. О, его не отпугнули бренные останки былой роскоши! Он даже постепенно привык ко всей этой рухляди. Зеленый китайский шелк с белыми разводами, которым была обита мебель в гостиной, не казался ему ни выцветшим, ни старым и грязным, ни требующим замены. Гардины, чайный столик, китайские безделушки, украшавшие камин, люстра в стиле рококо, вытертый до основы поддельный кашмирский ковер, фортепьяно, чайный

сервиз в цветочках, салфетки с бахромой и с дырочками, в испанском вкусе, гостиная в персидском стиле со всем ее убранством, голубая спальня баронессы — все в этом доме казалось ему священным и неприкосновенным. Только женщины недалекие, у которых красота затмевает ум, сердце и душу, могут внушить такую беззаветную страсть, ибо женщина умная никогда не злоупотребит своими преимуществами; нужно быть ничтожной и глупой, чтобы завладеть мужчиной.

Боденору — он сам мне в этом признавался — нравился всегда торжественный Вирт! Старый плут относился к своему будущему хозяину с таким же благоговением, как набожный католик к святому причастию. Честнейший Вирт был одним из тех немецких Гаспаров, любителей пива, которые прячут хитрость под личиной добродушия, подобно тому как средневековый кардинал прятал кинжал в рукаве одежды. Угадав в Годфруа мужа для Изоры, Вирт опутывал его сетью замысловатых слов и словечек с истинно эльзасским добродушием — самым клейким из липких веществ. Госпожа д'Альдригер была глубоко *неприлична*, она считала любовь самой естественной вещью на свете. Когда Изора и Мальвина отправлялись вдвоем на прогулку в Тюильри или Елисейские поля, где должны были встретиться с молодыми людьми своего круга, мать говорила им: «Хорошенько веселитесь, дорогие мои девочки!» Злословить о них могли только друзья, но они-то как раз и защищали обеих сестер, ибо салон д'Альдригеров был единственным местом в Париже, где царила полная непринужденность. Даже имея миллионы, трудно было бы устраивать такие вечера; здесь велись обо всем остроумные беседы, не обязателен был изысканный туалет, и каждый чувствовал себя до такой степени просто, что мог даже напроситься на ужин. Обе сестры писали, кому вздумается, и преспокойно получали письма под носом у матери; баронессе и в голову не приходило спросить, о чем им пишут. Эта чудесная мать позволяла своим дочерям извлекать выгоды из ее эгоизма — в некотором смысле удобнейшей черты человеческого характера, ибо эгоисты, не желая, чтобы их стесняли, сами никого не стесняют и не осложняют жизнь окружающих терниями советов, шипами укоризны или назойливостью осы, что разрешает себе

слишком пылкая дружба, желающая все знать и всюду сующая свой нос...

— Ты растрогал меня до глубины души,— заявил Блонде,— но, друг мой, ведь ты не рассказываешь, а зубоскалишь!..

— Если бы ты не был пьян, Блонде, я огорчился бы! Из нас четверых Блонде единственный по-настоящему смыслит в литературе. Ради него я оказываю вам честь и обращаюсь с вами, как с гурманами, перегоняю и процеживаю свое повествование, а он меня критикует! Друзья мои! Нагромождение фактов — вернейший признак умственного бесплодия. Суть искусства в том, чтобы выстроить дворец на острие иглы, доказательством тому служит великолепная комедия «Мизантроп». Магическая сила моей мысли — в волшебном жезле, который в десять секунд (время, нужное, чтобы осушить этот бокал) может обратить песчаную равнину в Интерлакен. Неужели вы хотели бы, чтоб мой рассказ несся стремительно, как пушечное ядро, или походил на донесение главнокомандующего? Мы болтаем, смеемся, а этот журналист, этот ненасытный книгоненавистник, требует с пьяных глаз, чтобы я втиснул свое живое слово в нелепую книжную форму! (Бисиу притворился, что плачет.) Горе французской фантазии! Хотят притупить острие ее шуток! Dies irae! Оплачем же «Кандида», и да здравствует «Критика чистого разума», *символика*, все эти теории в пяти томах убористого шрифта, изданных немцами, которые и не подозревали, что уже в 1750 году эти теории были выражены в Париже в немногих остроумных словах, блестках нашего национального гения. Блонде — самоубийца, шествующий во главе процессии на собственных похоронах,— это он-то, сочиняющий для своей газеты последние слова великих людей, которые скончались, ничего не сказав!

— Ну, дальше, дальше! — попросил Фино.

— Я хотел объяснить вам, в чем счастье человека, не являющегося акционером (реверанс в сторону Кутюра!). Так вот, разве вам не ясно теперь, какой ценой Годфруа добился самого полного счастья, о котором только может мечтать молодой человек?.. Он изучал Изору, он хотел быть уверенным, что она поймет его!.. Взаимопонимание бывает лишь там, где есть подобие. А всегда подоб-

ны самим себе лишь небытие и бесконечность. Небытие — это глупость, бесконечность — это гений. Влюбленные строчили друг другу глупейшие в мире послания, исписывая надушенную бумагу модными в ту пору словечками: «Ангел! Эолова арфа! Мы с тобой нераздельное целое! Я мужчина, но и в моей груди бьется чувствительное сердце! Слабая женщина! О, я несчастный!» Словом — вся ветошь современной души. Годфруа не мог высидеть больше десяти минут ни в одной гостиной; беседуя с женщинами, не старался им нравиться,— и они решили, что он очень умен. Другого ума, кроме того, что ему приписывали, у него, впрочем, не было. Судите сами о степени его влюбленности: Джоби, лошади, экипажи — все отошло для него на второй план. Он бывал счастлив, лишь сидя в покойном кресле у зеленого мраморного камина, против баронессы, не спуская глаз с Изоры и беседуя за чайным столом в тесном кругу друзей, собиравшихся каждый вечер между одиннадцатью и двенадцатью часами на улице Жубер, где всегда можно было без риска перекинуться в картишки (я там постоянно выигрывал). Когда Изора кокетливо выставляла свою ножку в черном атласном башмачке, Годфруа подолгу любовался ею; потом, пересидев всех гостей, он говорил ей: «Дай мне твой башмачок...» Изора поднимала ножку, ставила ее на кресло, снимала башмачок, протягивала его Годфруа и дарила его при этом взглядом, и каким взглядом... словом, сами понимаете! Годфруа в конце концов заметил, что и у Мальвины есть тайна. Если в дверь стучал дю Тийе, яркий румянец, заливавший ее щеки, докладывал: «Фердинанд!» Когда бедняжка смотрела на этого двуногого тигра, глаза ее загорались, как тлеющий уголь на ветру; Мальвина сияла от счастья, если Фердинанд уединялся с нею в оконной нише или у столика, чтобы поболтать. Какое редкостное и прекрасное зрелище — женщина, так сильно влюбленная, что становится наивной и позволяет читать в своем сердце! Бог мой, это такая же редкость в Париже, как поющий цветок в Индии. Несмотря на эту дружбу, начавшуюся с того самого дня, как д'Альдригеры появились у Нусингенов, Фердинанд не женился на Мальвине. Наш жестокий друг дю Тийе не проявил ни малейшей ревности к Дерошу, усиленно ухаживавшему

за Мальвиной: ибо для того, чтобы иметь возможность полностью уплатить за приобретенную контору из приданого, которое, по его расчетам, составляло не менее пятидесяти тысяч экю, Дерош — эта судейская крыса — прикинулся влюбленным. Мальвина была до глубины души оскорблена безразличием дю Тийе, но слишком его любила, чтобы закрыть перед ним двери дома. В душе этой порывистой, глубоко чувствующей и пылкой девушки то гордость уступала любви, то оскорбленная любовь позволяла взять верх гордости. Наш друг Фердинанд принимал эту любовь с холодной невозмутимостью, он вдыхал аромат ее, спокойно наслаждаясь, как тигр, облизывающий свою окровавленную пасть; он являлся к Мальвине за все новыми доказательствами ее любви и чуть ли не через день бывал на улице Жубер. У этого негодяя к тому времени было уже около миллиона восьмисот тысяч франков, приданое как будто не должно было играть для него существенной роли, а он устоял не только против Мальвины, но и против баронов де Нусингена и де Растиньяка, которые вдвоем заставляли его проделывать, как на почтовых, по семидесяти пяти лье в день по лабиринтам своей хитрости и даже без путеводной нити. Не выдержав, Годфруа заговорил как-то со своей будущей свояченицей о нелепом положении, в которое она себя ставит. «Вы хотите пожурить меня за Фердинанда и проникнуть в тайну наших отношений? — сказала она с полной откровенностью.— Никогда больше не касайтесь этого вопроса, милый Годфруа. Ни происхождение Фердинанда, ни его прошлое, ни его богатство здесь никакой роли не играют, так что считайте, что это случай исключительный». Впрочем, через несколько дней Мальвина отвела Боденора в сторону и сказала ему: «Господин Дерош не производит на меня впечатления человека порядочного (вот что значит инстинкт в любви), он как будто намерен на мне жениться, а ухаживает между тем за дочерью какого-то лавочника. Мне бы очень хотелось знать, не приберегает ли он меня на крайний случай и не является ли для него брак просто денежной операцией?» При всей своей проницательности Дерош не сумел разгадать дю Тийе и боялся, как бы тот не женился на Мальвине. Предусмотрительный малый оставлял поэтому для себя лазейку,

так как положение его становилось невыносимым: за вычетом всех расходов, его заработка едва хватало на уплату процентов по долгу. Женщины ничего не смыслят в подобных делах. Сердце для них — всегда миллионер!

— Но так как ни Дерош, ни дю Тийе не женились на Мальвине,— сказал Фино,— не объяснишь ли ты нам, в чем секрет поведения Фердинанда?

— Его секрет? Извольте,— отвечал Бисиу.— Общее правило: молодая девушка, хоть раз подарившая свой башмачок, хотя бы она десять лет в нем отказывала, никогда не выйдет замуж за того, кто...

— Вздор! — перебил его Блонде.— Любят также и потому, что уже любили. А секрет вот в чем. Общее правило: не женись сержантом, если надеешься стать герцогом Данцигским и маршалом Франции. Посмотрите, какую блестящую партию сделал дю Тийе. Он женился на дочери графа де Гранвиля, представителя одного из старейших семейств французской магистратуры.

— У матери Дероша была приятельница,— продолжал Бисиу,— жена одного москательщика, который, сколотив себе изрядное состояние, отошел от дел. У москательщиков бывают престранные фантазии: чтобы дать дочке блестящее образование, он поместил ее в пансион!.. Матифа рассчитывал на хорошую партию для своей дочери,— он давал за ней двести тысяч франков приданого в звонкой монете, которая, как известно, москательной лавкой не пахнет.

— Какой Матифа? Покровитель Флорины? — спросил Блонде.

— Ну да, Матифа, знакомец Лусто,— словом, наш Матифа! К тому времени уже погибшие для нас, Матифа поселились на улице Шерш-Миди, в квартале, расположенном вдали от Ломбардской улицы, где они нажили свое состояние. Я к ним захаживал, к этим Матифа. Когда я тянул свою лямку в министерстве и по восьми часов в день проводил среди идиотов чистейшей воды, я насмотрелся на чудаков, которые убедили меня, что и во мраке бывают просветы, что и на самой ровной поверхности попадаются бугорки. Да, дорогой мой! Один буржуа по сравнению с другим то же, что Рафаэль по сравнению с Натуаром. Вдова Дерош исподволь подготовляла этот брак, невзирая на серьезное препятствие в лице не-

коего Кошена, молодого чиновника министерства финансов, сына компаньона Матифа по москательной торговле. По мнению супругов Матифа, профессия стряпчего представляла достаточную гарантию для счастья женщины. Дерош не возражал против материнских планов, решив сохранить эту лазейку на худой конец, и потому старательно поддерживал знакомство с москательщиками с улицы Шерш-Миди.

Если вы хотите полюбоваться счастьем иного рода, я набросаю вам портреты этих двух торговцев — самого Матифа и его дражайшей половины; они жили в то время на первом этаже, в прелестной квартирке, подолгу наслаждались в своем садике лицезрением фонтана — высокой и тоненькой, как колос, струйки воды, которая непрерывно била из круглой каменной плиты, возвышавшейся в центре бассейна шести футов в диаметре,— вскакивали чуть свет посмотреть, не распустились ли в их садике цветы; праздные, но суетливые, они наряжались, чтоб наряжаться, скучали в театре и всегда находились на полпути между Парижем и Люзаршем, где у них был загородный домик,— я там неоднократно обедал. Знаешь, Блонде, они как-то вздумали щегольнуть мной, и я с девяти часов вечера до полуночи плел им бессвязнейшую историю. Я собирался уже ввести в нее двадцать девятый персонаж (романы-фельетоны меня обокрали!), когда папаша Матифа, крепившийся в качестве хозяина дома дольше других, захрапел по примеру остальных, похлопав предварительно минут пять глазами. На следующий день все расхваливали развязку моего рассказа. Общество этих лавочников составляли супруги Кошен, их сын Адольф, госпожа Дерош, маленький Попино, торговавший в то время аптекарскими и парфюмерными товарами на Ломбардской улице и приносивший оттуда Матифа все последние новости (твой знакомый, Фино!). Госпожа Матифа, которая слыла ценительницей искусства, скупала литографии, хромолитографии, раскрашенные картинки — словом, все, что подешевле. Сам же достопочтенный Матифа развлекался изучением вновь возникавших предприятий и поигрывал на бирже, чтобы испытать волнение в крови (Флорина навсегда отбила у него охоту к стилю Регентства). Приведу вам одну его фразу, вскрывающую всю сущность мо-

его Матифа. Прощаясь на ночь с племянницами, добряк говорил им: «Спите спокойно, племянницы!» Он признавался, что боится обидеть их, сказав им «вы». Дочь Матифа, довольно неотесанная молодая девица, походившая на горничную из хорошего дома, могла с грехом пополам сыграть сонату, обладала красивым почерком, сносно знала французский язык и орфографию — словом, получила вполне законченное буржуазное воспитание. Ей не терпелось поскорее выскочить замуж, чтобы вырваться из родительского дома, где она томилась, как моряк на ночной вахте,— правда, вахта ее длилась дни и ночи напролет. Дерош или Кошен-сын, нотариус, гвардеец или самозванный английский лорд — для нее всякий муж был хорош. Ее явная неопытность внушила мне сострадание, и я решил посвятить ее в великую тайну жизни. Но не тут-то было! Матифа отказали мне от дома: мы с буржуа никогда не поймем друг друга.

— Она вышла замуж за генерала Гуро,— сказал Фино.

— Как бывший дипломат, Годфруа де Боденор раскусил семейство Матифа и их козни в течение сорока восьми часов,— продолжал Бисиу.— Случайно, когда он докладывал об этом Мальвине, Растиньяк беседовал у камина с ветреной баронессой. Он краем уха уловил несколько слов, догадался, о чем идет речь, а удовлетворенный и негодующий вид Мальвины подкрепил его предположения. Растиньяк остался до двух часов ночи — и его еще называют эгоистом! Боденор откланялся, как только баронесса ушла спать. «Дорогое дитя,— отечески-добродушным тоном начал Растиньяк, оказавшись наедине с Мальвиной,— запомните на всю жизнь, как один бедный малый, которому до смерти хотелось спать, пил чай, чтобы не уснуть до двух часов ночи и иметь возможность торжественно сказать вам: «Выходите замуж!» Не привередничайте, не копайтесь в собственных чувствах, забудьте о недостойных расчетах людей, которые ведут двойную игру, бывая у вас и у Матифа, ни о чем не раздумывайте: «Выходите замуж!» Для молодой девушки выйти замуж — значит, навязать заботы о себе мужчине, который обязывается создать ей более или менее счастливую жизнь и уж во всяком случае —

доставлять ей средства к существованию. Я знаю свет: девицы, их маменьки и бабушки — все лицемерят, разглагольствуя о чувствах, когда речь идет о браке. Все думают лишь о хорошей партии. Удачно выдав дочь замуж, мать заявляет, что «прекрасно ее пристроила». И Растиньяк изложил Мальвине свою теорию брака, который, по его мнению,— просто коммерческое сообщество, учреждаемое, чтобы прожить жизнь более или менее сносно. «Я у вас не выпытываю вашей тайны,— сказал он в заключение,— она мне и так известна. Мужчины все рассказывают друг другу, как и вы, женщины, когда покидаете нас после обеда. Так вот вам мое последнее слово: «Выходите замуж». Если вы не последуете моему совету, то запомните по крайней мере, что сегодня вечером я в вашей гостиной умолял вас выйти замуж!» В тоне Растиньяка было нечто, заставлявшее не только прислушаться к его словам, но и задуматься над ними. Его настойчивость наводила на размышления. Мысль Мальвины лихорадочно заработала, чего и добивался Растиньяк; она тщетно старалась понять, чем был вызван столь настойчивый совет, и еще на следующий день продолжала ломать себе голову.

— Все эти побасенки, которыми ты нас развлекаешь, ничуть не объясняют нам, откуда все-таки взялось состояние у Растиньяка. Ты, видно, принимаешь нас за Матифа, помноженных на шесть бутылок шампанского! — воскликнул Кутюр.

— Мы у цели,— возразил Бисиу.— Я дал вам возможность проследить за всеми ручейками, слившимися в сорок тысяч франков ренты Растиньяка — предмет зависти стольких людей. Он дергал тогда за ниточки все эти фигурки.

— Дероша, Матифа, Боденора, д'Альдригеров, д'Эглемона?..

— И сотню других!..— сказал Бисиу.

— Допустим! Но как?— воскликнул Фино.—Я услышал много нового, а разгадки пока не вижу.

— Блонде рассказал вам в общих чертах о первых двух банкротствах Нусингена; вот вам подробности третьего банкротства,— продолжал Бисиу.— Еще в 1815 году, когда был заключен мир, Нусинген понял то, что нам стало понятным только теперь, а именно, что

деньги могучая сила лишь тогда, когда их бесконечно много. В глубине души он завидовал братьям Ротшильдам. У него было пять миллионов, а он жаждал иметь десять! С десятью миллионами он сумел бы заработать тридцать, а с пятью — всего лишь пятнадцать. И он решил в третий раз прибегнуть к ликвидации. Этот великий финансист намеревался расплатиться с кредиторами ничего не стоящими бумажками, а их денежки оставить себе. На бирже такая идея не облекается в столь четкую математическую формулу. Сущность подобной ликвидации состоит в том, что взрослым детям предлагают пирожки по луидору за штуку, а они, словно настоящие дети,— не теперешние, конечно,— предпочитают пирожок золотой монете, не догадываясь, что за свой золотой могли бы получить сотни две пирожков.

— Ну так что ж! — воскликнул Кутюр.— Это вполне законно. Ведь сейчас недели не проходит без того, чтобы публике не предлагали пирожки по луидору за штуку. Разве публика обязана выкладывать свои денежки? Разве она не имеет права наводить необходимые справки?

— Вы предпочли бы, чтоб ее принуждали покупать акции,— заметил Блонде.

— Вовсе нет,— ответил Фино,— что осталось бы тогда на долю таланта?

— Ай да Фино! Здорово сказано! — воскликнул Бисиу.

— Где он только взял это словцо? — отозвался Кутюр.

— Дело в том,— продолжал Бисиу,— что Нусинген дважды, сам того не желая, продавал пирожки, которые, как оказалось, стоили больше, чем он за них получил. Он, не переставая, грыз себя из-за этого злополучного везения. Такое везение может вогнать человека в гроб. И барон десять лет ждал случая, чтобы на сей раз уж наверняка пустить в ход ценности, которые якобы что-то стоят, а на самом деле...

— Ну,—сказал Кутюр,—если так рассматривать банковские операции, всякая деловая жизнь станет невозможной. Многим честным банкирам, с разрешения честных правительств, удавалось уговорить самых ловких биржевиков приобретать бумаги, которые через некото-

рое время оказывались обесцененными. Больше того! Разве не выпускались в продажу с одобрения и даже при поддержке правительства облигации лишь для того только, чтобы из вырученных сумм оплатить проценты по другим облигациям, поддержать таким образом их курс и под шумок от них отделаться? Операции эти более или менее сходны с банкротством Нусингена.

— Когда цифры ничтожны,— вмешался Блонде,—дело может показаться странным; но когда пахнет миллионами, операция уже достойна высших финансовых кругов. Некоторые самовольные акты считаются преступными, если отдельный человек совершает их в отношении своего ближнего. Но они теряют преступный характер, если направлены против массы людей, подобно тому как капля синильной кислоты становится безвредной в чане воды. Вы убиваете человека — вас гильотинируют. Но если в силу каких-либо соображений государственного порядка убивают пятьсот человек, такое политическое преступление уважают. Вытащите пять тысяч франков из моего стола, и вы пойдете на каторгу. Но если вы, искусно раздразнив аппетиты тысячи биржевиков запахом будущей наживы, заставите их приобрести государственную ренту любой обанкротившейся республики или монархии, хотя новые облигации, как справедливо заметил Кутюр, выпускаются для того, чтобы оплатить проценты по старым облигациям этой же ренты,— никто и пикнуть не посмеет! Таковы истинные принципы золотого века, в который мы живем.

— Чтобы пустить в ход столь сложную машину,— снова заговорил Бисиу,— Нусингену потребовались, конечно, марионетки. Прежде всего банкирский дом Нусингена умышленно и вполне сознательно вложил пять миллионов в одно предприятие в Америке, причем все было рассчитано так, чтобы прибыль начала поступать слишком поздно. Нусинген опустошил свою кассу с заранее обдуманным намерением. Для ликвидации надо подыскать причины. У банкирского дома имелось тогда наличных денег на счетах разных лиц и ценных бумаг около шести миллионов. Среди вкладов были между прочим триста тысяч баронессы д'Альдригер, четыреста тысяч Боденора, миллион д'Эглемона, триста тысяч Матифа, полмиллиона Шарля Гранде, мужа мадемуазель д'Об-

рион, и так далее. Если бы Нусинген сам создал промышленное предприятие, акциями которого собирался рассчитаться с кредиторами, пустив в ход те или иные ловкие маневры, он все же не был бы свободен от подозрений. И он поступил хитрее: заставил другого создать ту машину, которая должна была сыграть для него такую же роль, какую играла «Миссисипи» в системе Лоу. Особенность Нусингена состоит в том, что он умеет принудить самых ловких дельцов служить своим целям, не открывая им своих планов. Нусинген как бы невзначай нарисовал перед дю Тийе грандиозную и соблазнительную картину акционерного общества, обладающего достаточно крупным капиталом, чтобы в первое время выплачивать акционерам весьма солидные дивиденды. Будучи первым примером своего рода и притом в момент, когда простаков с капиталами имелось сколько угодно, эта комбинация должна была неминуемо повысить курс акций и принести хорошую поживу банкиру, который занимался их выпуском. Помните, что дело происходило в 1826 году. Хотя и увлеченный этой блестящей и многообещающей идеей, дю Тийе сообразил все же, что если предприятие не будет иметь успеха, оно вызовет нарекания. Он предложил поэтому выдвинуть на первый план какую-нибудь подставную фигуру в качестве директора, заправляющего этой коммерческой машиной. Вы ведь уже знаете секрет банкирского дома Клапарона, основанного дю Тийе. Это — одно из лучших его изобретений!..

— Да,— сказал Блонде,— Клапарон — это своего рода ответственный редактор от финансов, платный агент, козел отпущения. Но теперь мы стали умнее и пишем на бланках: «*Обращаться к администрации предприятия,* такая-то улица, номер такой-то»; там публика застает служащих с зелеными козырьками, важных, как понятые.

— Нусинген поддержал банкирский дом Шарля Клапарона всем своим кредитом,— продолжал Бисиу,— можно было спокойно выбросить на любую биржу акций Клапарона хоть на миллион. И дю Тийе предложил пустить в ход банкирский дом Клапарона. Принято. В 1825 году акционеры еще слабо разбирались в различных коммерческих ухищрениях. Об *оборотном*

капитале они понятия не имели. Учредители тогда еще не были лишены права пускать в обращение свои учредительские акции, ничего не вносили в банк и ничего не гарантировали. Они не снисходили до того, чтобы объяснять акционерам сущность дела, но лишь советовали им быть благодарными за то, что с них не требуют больше, чем тысячу, пятьсот или даже двести пятьдесят франков. Тогда не объявляли, что операции «in aere publico»[1] продлятся не более семи, пяти или даже трех лет, и таким образом развязка не заставит себя ждать. То были младенческие годы банковского искусства! В те времена не прибегали даже к рекламе в виде грандиозных афиш, разжигающих воображение публики и требующих у всех и каждого деньги...

— Так делают, когда уже никто не хочет их давать,— сказал Кутюр.

— И наконец в такого рода делах еще не существовало конкуренции,— продолжал Бисиу.— Фабриканты папье-маше, набивного ситца, владельцы цинкопрокатных заводов, театры и газеты еще не набрасывались на загнанного акционера, как свора псов — на дичь. Крупнейшие дела акционерных обществ, как говорит Кутюр, пользующихся ныне откровенной рекламой и опирающихся на заключение экспертов (светочей науки!..), в те времена стыдливо заключались в укромных уголках биржи, под покровом мрака, в молчании. Хищники исполняли на финансовый лад арию клеветы из «Севильского цирюльника». Они действовали piano, piano[2], распространяя слухи насчет надежности предприятия. Они обрабатывали страдальца-акционера у него дома, на бирже или в обществе с помощью одних только ловко пущенных слухов, звучавших как tutti[3], когда курс акций достигал четырехзначной цифры...

— Хотя мы в своей компании и можем болтать, что вздумается, я настаиваю на своем,— сказал Кутюр.

— Вы ювелир, господин Жосс? — вставил Фино.

— Фино — неисправимый классик, конституционалист и сторонник старых предрассудков,— заметил Блонде.

---

[1] С доверенными капиталами *(лат.)*.
[2] Тихо, тихо *(итал.)*.
[3] Хор *(итал.)*.

— Да,— ответил Кутюр,— я ювелир, из-за которого Серизе был предан суду исправительной полиции. Я утверждаю, что новый метод бесконечно менее коварен, гораздо честнее и не такой грабительский, как прежний. Реклама позволяет подумать и вникнуть в дело. Если какого-нибудь акционера и *проглотят*, он сам в этом виноват, ему ведь не продавали кота в мешке. Промышленность...

— Ну вот, уже пошла в ход промышленность! — воскликнул Бисиу.

— Промышленность и торговля от этого только выигрывают,— продолжал Кутюр, не обращая внимания на слова Бисиу.— Всякое правительство, как только оно начинает вмешиваться в коммерцию, вместо того чтобы предоставить ей полную свободу, делает глупость, за которую приходится дорого платить: дело неизбежно кончается либо режимом «максимум», либо монополией. По-моему, ничто так не соответствует принципам свободной торговли, как акционерные общества! Посягать на них— значит брать на себя ответственность и за капитал и за прибыль, а это бессмыслица. В любом деле прибыль пропорциональна риску. Что государству до того, каким именно образом осуществляется денежное обращение, ему важно лишь, чтобы деньги постоянно находились в обороте! Что ему до того, кто именно богат и кто беден, если всегда остается столько же людей, достаточно богатых, чтобы платить налоги! Вот уже лет двадцать, как различные акционерные общества и товарищества на паях получили широкое распространение в стране с наиболее развитой торговлей — в Англии, где все вызывает споры, где палаты высиживают от тысячи до тысячи двухсот законов в каждую сессию, но еще ни разу ни один член парламента не поднял там голоса против акционерных обществ...

— ...этого лечения набитых сундуков новым патентованным средством — *очисткой*,— вставил Бисиу.

— Послушайте! — распалился Кутюр.— Допустим, у вас десять тысяч франков, вы приобретаете десять акций по тысяче франков каждая в десяти различных предприятиях. В девяти случаях из десяти вас обкрадывают... (Так, конечно, не бывает: публика не так уж глупа. Но допустим...) Все же одно из предприятий преуспело!

(Случайно? Согласен. Нарочно это не делается. Смейтесь, смейтесь!) Так вот, понтер, который достаточно благоразумен, чтобы распределить свои ставки, находит великолепное помещение для своего капитала, подобно тем, кто купил акции Ворчинских копей. Признаемся, господа, что крик поднимают только лицемеры, обозленные тем, что у них нет ни деловых идей, ни возможности протрубить о них, ни умения пустить их в ход. За доказательствами дело не станет. Вы вскоре увидите, как наши аристократы, придворные, министерские сановники сомкнутыми колоннами ринутся в спекуляцию, вцепятся в добычу мертвой хваткой, изобретут еще более хитроумные идеи, чем наши, хотя они и не столь выдающиеся люди, как мы с вами. Какую нужно иметь голову, чтобы основать предприятие в эпоху, когда алчность акционера равна алчности учредителя? Каким великим магнетизером должен быть человек, создающий Клапарона, человек, который находит новые ходы и выходы? О чем все это говорит? Наше время не лучше нас! Мы живем в эпоху корыстолюбия, когда никто не заботится о действительной ценности вещи, если может на ней заработать, подсунув ее соседу; а соседу ее подсовывают потому, что жадность акционера, стремящегося к наживе, не уступает жадности учредителя, который ему эту наживу сулит!

— Ну, разве он не великолепен, наш Кутюр? — обратился Бисиу к Блонде.— Он того и гляди потребует, чтобы ему воздвигли памятник, как благодетелю человечества.

— Он еще заявит, пожалуй, что деньги дураков на основании божественного права — законное достояние людей с головой,— подхватил Блонде.

— Господа,— продолжал Кутюр,— смейтесь сейчас, и прибережем всю нашу серьезность для тех случаев, когда мы будем слушать всеми почитаемую бессмыслицу, освященную наспех созданными законами.

— Он прав, господа,— сказал Блонде.— В какое время мы живем! Стоит только вспыхнуть искорке рассудка, как ее тотчас же гасят на основании соответствующего закона. Законодатели — почти сплошь выходцы из захолустных округов, где они изучали общество по газетам,— безрассудно усиливают давление в паровом котле.

«БАНКИРСКИЙ ДОМ НУСИНГЕНА».

«ЧИНОВНИКИ».

А когда котел взрывается, раздается плач и скрежет зубовный! В наше время издаются одни лишь налоговые и уголовные законы! Хотите знать, в чем разгадка всего, что происходит? *Нет больше религии в государстве!*

— Браво, Блонде! — воскликнул Бисиу.— Ты вложил перст в зияющую рану Франции,— я говорю о налоговой системе, направленной к увеличению податей и отнявшей у Франции больше завоеваний, чем все превратности войны. В министерстве, где я в одной упряжке с буржуа семь лет тянул лямку, был один чиновник, талантливый человек, который задумал переделать всю нашу финансовую систему... Ну что ж, мы его просто-напросто выжили. Франция стала бы слишком счастливой, она бы развлечения ради вновь завоевала Европу, а мы стремились дать народам покой. Я убил этого чиновника карикатурой: его звали Рабурден (см. «Чиновники»).

— Когда я говорю: *религия*,— продолжал Блонде,— я не имею в виду ханжество, я подхожу к этому вопросу как политик.

— Объяснись,— попросил Фино.

— Изволь,— ответил Блонде. — У нас много говорилось о событиях в Лионе, о Республике, расстрелянной из пушек на улицах, но истины никто не высказал. Республика схватилась за мятеж, как повстанец хватается за ружье. Я вам открою истину — она куда сложнее и глубже. Лионская промышленность бездушна: лионский фабрикант не согласится соткать ни единого локтя шелка без предварительного заказа и без надежных гарантий платежа. Когда заказы прекращаются, рабочий умирает с голоду, да и работая он еле сводит концы с концами. Любой каторжник счастливее его. После Июльской революции нищета дошла до таких пределов, что рабочие шелковых фабрик написали на своем знамени: «*Хлеб или смерть!*» — один из тех лозунгов, над которыми правительству следовало бы призадуматься, ибо он был порожден дороговизной жизни в Лионе. Лион хочет настроить театров и стать столицей, отсюда чрезмерные местные пошлины на съестные припасы. Республиканцы, предвидя, что может вспыхнуть хлебный бунт, организовали ткачей, которые дрались под двойным лозунгом. Лион пережил знаменитые три дня, но затем порядок был восстановлен, и ткачи вернулись в свои лачуги.

Рабочий, который до тех пор добросовестно сдавал в виде ткани весь шелк-сырец, отпускавшийся ему по весу, отбросил теперь честность, поняв, что купцы выжимают из него все соки, и стал макать пальцы в масло: он по-прежнему сдавал фунт за фунт, но теперь это был шелк, пропитанный маслом; французская торговля шелком была таким образом заражена «жирными тканями», что могло повлечь за собой крах Лиона и тем самым одной из отраслей французской промышленности. Фабриканты и правительство, вместо того чтобы устранить корень зла, пошли по стопам некоторых врачей и при помощи сильно действующих наружных средств загнали болезнь внутрь. В Лион следовало послать ловкого человека, одного из тех, кого у нас называют людьми без моральных устоев, кого-нибудь вроде аббата Террея, но там, как мы видели, применили оружие! В результате лионских волнений появился на свет гроденапль по два франка локоть. Гроденапль сейчас уже продан, и об этом деле можно теперь говорить, а фабриканты, надо думать, изобрели какой-нибудь способ контроля. И такая недальновидная система производства должна была возникнуть в стране, где Ришар-Ленуар, один из величайших граждан, которых когда-либо знала Франция, разорился, потому что, не имея заказов, дал возможность шести тысячам ткачей продолжать работу и кормить свои семьи; потом он наткнулся на дураков-министров, допустивших, чтобы Ришар-Ленуар в 1814 году пал жертвой резкого колебания цен на ткани. Это единственный коммерсант, заслуживающий памятника. Что ж, в его пользу открыта подписка — подписка без подписавшихся, тогда как для детей генерала Фуа собрали целый миллион. Лион последователен: он знает Францию, знает, что у нее нет никакого религиозного чувства. История Ришар-Ленуара — одна из тех ошибок, которые, по словам Фуше, хуже преступления.

— Если в теперешнем способе ведения дел,— сказал Кутюр, возобновляя свое прерванное рассуждение,— есть оттенок шарлатанства,— слово это превратилось в клеймо и находится на грани между честным и бесчестным,— то где, я спрашиваю, начинается и где кончается шарлатанство и что, собственно, такое — шарлатанство? Будьте так добры и скажите мне, кто не шарлатан? Ну!

проявите немного добросовестности, этой наиболее редкой общественной добродетели! Торговля, которая ищет ночью то, что продается днем, была бы бессмыслицей. У любого продавца спичек есть инстинкт скупщика. Скупить товар — вот о чем мечтает и слывущий добродетельным лавочник с улицы Сен-Дени и самый отчаянный спекулянт. А когда склады полны, необходимо продавать. Но чтобы продать, нужно заманить покупателя,— отсюда и средневековые вывески и нынешние проспекты! Зазывать покупателей в лавку или вынуждать их войти—разница небольшая. Может случиться, должно случиться и часто случается, что торговцам попадаются товары с браком, так как продающий постоянно обманывает покупающего. Так вот, расспросите самых честных людей в Париже, скажем, наших виднейших коммерсантов... и все они с торжеством расскажут вам, к каким уловкам они прибегали, чтобы сбыть с рук подпорченный товар. Знаменитый торговый дом Минара начал именно с операций такого рода. На улице Сен-Дени вам продают платье только из «жирного шелка», иначе они не могут. Самые добродетельные коммерсанты с самым простодушным видом провозглашают заповедь самого бесстыдного жульничества: «Каждый выпутывается из беды как умеет». Блонде нарисовал вам картину событий в Лионе, их причины и последствия. Я же иллюстрирую свою теорию анекдотом. Один ремесленник, честолюбивый и обремененный многочисленным семейством, так как он пылко любил свою жену, верит в Республику. Предприимчивый малый накупает красной шерсти и изготовляет каскетки, которые можно было видеть на головах у всех парижских мальчишек, вы сейчас узнаете — почему. Республика побеждена. После событий на улице Сен-Мерри каскетки не имеют никакого сбыта. Когда у человека на руках жена, дети и десять тысяч каскеток из красной шерсти, от которых отказываются все парижские шляпочники, ему приходит в голову не меньше хитроумных планов, чем банкиру, если у того на десять миллионов акций и их предстоит поместить в дело, не внушающее ему доверия. Знаете, что сделал мой ремесленник, этот Лоу из предместья, этот каскеточный Нусинген? Он отыскал какого-то трактирного франта, из породы шутников, которые изводят полицейских на балах под

открытым небом у городских застав, и уговорил его разыграть роль американского капитана, скупщика бракованных товаров, остановившегося в гостинице Мерис, и пойти спросить десять тысяч каскеток из красной шерсти у богатого шляпного торговца, в витрине которого случайно завалялась одна такая каскетка. Шляпочник, почуяв крупные дела с Америкой, мчится к ремесленнику, набрасывается на его каскетки и платит ему наличными. Об остальном нетрудно догадаться; никакого американского капитана, но множество каскеток. Нападать на свободу торговли из-за подобных фактов — все равно, что нападать на правосудие за то, что бывают проступки, которых оно не наказует, или обвинять общество в том, что оно плохо организовано, потому что в его недрах рождаются несчастья. От каскеток и улицы Сен-Дени перейдите сами к акциям и банку!

— Кутюр, венчаю тебя! — воскликнул Блонде, надевая ему на голову скрученную салфетку.— Я, господа, иду дальше. Если в современной теории есть порок, то кто, спрашивается, в этом виноват? Закон! Совокупность законов! Вся система законодательства! Виноваты великие люди из избирательных округов, посылаемые в Париж провинцией и начиненные моральными идеями, необходимыми в обыденной жизни,— дабы не вступать в конфликт с правосудием,— но становящимися нелепыми, когда они мешают человеку подняться на ту высоту, на которой должен стоять законодатель! Пусть законы кладут предел разгулу тех или иных страстей, запрещая азартную игру, лотереи, уличных Нинон, все что хотите, искоренить страсти они бессильны. Убить страсти значило бы убить общество, ибо если оно их и не порождает, то, во всяком случае, выращивает. Наложите путы на страсть к игре, которая живет во всех сердцах,—и в сердце молодой девушки, и в сердце провинциала, и в сердце дипломата, ибо всякому хочется из ничего сделать состояние,— и игра немедленно перекинется в другие сферы. Вы по недомыслию запрещаете лотереи, но кухарки по-прежнему обкрадывают своих хозяев и относят деньги в сберегательные кассы, только ставка в игре поднимается с сорока су до двухсот пятидесяти франков, ибо место лотереи занимают теперь различные акционерные общества, товарищества на паях; игра идет без зеленого сукна,

но с невидимой лопаточкой у банкомета и ловким передергиванием. Игорные дома закрыты, лотереи запрещены, и глупцы кричат, что Франция стала теперь более нравственной, как будто они уничтожили азарт! Игра продолжается по-прежнему, только доходы получает уже не государство, которое вынуждено заменить охотно уплачивавшийся налог другим, стеснительным налогом; а число самоубийств не уменьшается, ибо погибает-то не игрок, а его жертвы! Я не говорю уже о капиталах, уплывающих за границу и потерянных для Франции, ни о франкфуртских лотереях; за распространение билетов этих лотерей Конвент грозил смертной казнью, а билеты продавались даже прокурорами-синдиками. Вот к чему приводит неумная филантропия нашего законодательства. Поощрение сберегательных касс — также серьезное политическое недомыслие. Предположите какую-нибудь заминку в делах, и тотчас появятся «хвосты» за деньгами, как во времена революции были «хвосты» за хлебом. Сколько касс — столько очагов беспорядка. Если где-нибудь трое юнцов поднимут одно-единственное знамя, вот вам и революция. Но как бы ни была велика эта опасность, она, по-моему, все же меньшее зло, чем развращение населения; сберегательная касса прививает алчность людям, у которых ни воспитание, ни благоразумие не служат сдерживающим началом для их скрыто преступных махинаций. Вот вам еще результат филантропии. В принципе великий политик должен быть злодеем, иначе он будет плохо управлять обществом. Порядочный человек в роли политика—это все равно, что чувствующая паровая машина или кормчий, который объясняется в любви, держа рулевое колесо: корабль идет ко дну. Разве премьер-министр, награбивший сто миллионов, но сделавший Францию великой и счастливой, не лучше премьера, которого приходится хоронить за счет государства, но который разорил свою страну? Разве стали бы вы колебаться в выборе между Ришелье, Мазарини и Потемкиным, каждый из которых имел в свое время миллионов по триста, с одной стороны, и добродетельным Робером Ленде, не сумевшим извлечь для себя никакой выгоды ни из ассигнаций, ни из национальных имуществ, или добродетельными болванами, погубившими Людовика Шестнадцатого, с другой стороны? Продолжай, Бисиу.

— Я не стану вам объяснять,— начал Бисиу,— характер предприятия, порожденного финансовым гением Нусингена; это тем более неудобно, что оно существует и сейчас, и акции его котируются на бирже; замысел этот был столь реален, а само предприятие столь живуче, что акции, выпущенные согласно королевскому декрету по номинальной цене в тысячу франков и упавшие затем до трехсот франков, вновь поднялись до семисот франков и, пережив бури 1827, 1830 и 1832 годов, несомненно, достигнут номинального курса. Финансовый кризис 1827 года поколебал их, Июльская революция повлекла за собой падение их курса, но дело чревато действительными возможностями (Нусинген, видно, не в состоянии придумать безнадежное дело). Многие первоклассные банки принимают в нем участие, а потому не стоит входить в дальнейшие подробности. Номинальный капитал составлял десять миллионов, реальный — семь: три миллиона достались учредителям и банкам, взявшим на себя выпуск акций. Расчет строился на том, чтобы в первые же шесть месяцев каждая акция принесла двести франков дохода благодаря распределению мнимого дивиденда. Словом, двадцать процентов с десяти миллионов! Доля дю Тийе составляла пятьсот тысяч франков. На языке банкиров такой куш называется *лакомым куском!* Нусинген собирался пустить в ход свои миллионы, оттиснутые на дести розовой бумаги с помощью литографского камня — приятные на вид акции, которые предстояло разместить и которые пока что заботливо хранились в его кабинете. Акции солидные должны были дать средства, чтобы основать дело, купить роскошный особняк и начать операции. Нусинген располагал еще акциями какого-то свинцово-серебряного рудника, каменноугольных копей и двух каналов: это были акции, полученные при пуске в ход всех четырех предприятий, акции, высоко поднявшиеся и пользовавшиеся большим спросом благодаря выдаче дивиденда за счет основного капитала; Нусинген мог бы положить в карман разницу в случае дальнейшего повышения курса этих акций, но барон в своих расчетах пренебрег такой мелочью,—он оставил их плавать на поверхности, чтобы приманить рыбку. Он собирал в кулак свои ценности, как Наполеон собирал в кулак своих гренадеров, и решил объявить себя несостоя-

тельным во время кризиса, который уже намечался и в 1826 и 1827 годах потряс до основания все биржи Европы. Если бы у Нусингена был свой князь Ваграмский, банкир мог бы сказать ему, как Наполеон с высот Сантона: «Присмотритесь хорошенько к бирже в такой-то день, в такой-то час,— там будут разбросаны ценные бумаги!» Но кому мог он довериться? Дю Тийе и не подозревал, что невольно играет роль адъютанта в этом деле. Две первые ликвидации показали нашему могущественному барону, что ему необходим человек, который служил бы рычагом для воздействия на кредиторов. У Нусингена не было племянников, он не решался довериться первому встречному, ему требовался преданный человек — своего рода умный Клапарон,— человек с хорошими манерами, настоящий дипломат, достойный министерского портфеля, достойный самого Нусингена. Такие знакомства не завяжешь в один день, даже в один год. Барон к тому времени совсем опутал Растиньяка, который, играя в доме банкира роль принца Годоя, пользовавшегося одинаковой любовью и короля и королевы Испании, думал, что нашел в лице Нусингена необычайно удобного простофилю. Сначала Растиньяк потешался над человеком, чей истинный размах долго оставался для него тайной, но в конце концов стал искренне и серьезно поклоняться ему, признав в нем силу, единственным обладателем которой он почитал до тех пор только себя. С первых же своих дебютов в Париже Растиньяк научился презирать всех и вся. Начиная с 1820 года он, подобно Нусингену, полагал, что человеческая честность — всего лишь видимость, и усматривал в светском обществе лишь скопище всяческих зол и пороков. Если он и допускал исключения, то обществу в целом выносил беспощадный приговор. Растиньяк верил не в добродетели, а лишь в обстоятельства, при которых человек ведет себя добродетельно. Этот вывод был делом одного мгновения; Растиньяк пришел к нему на кладбище Пер-Лашез в тот день, когда провожал в последний путь несчастного, но порядочного человека — отца своей Дельфины, ставшего жертвой нашего общества и обманутого в своих лучших чувствах, покинутого дочерьми и зятьями. Он решил провести всех этих господ, драпируясь в тогу

добродетели, честности и изысканных манер. Сей юный дворянин заковал себя с ног до головы в броню эгоизма. Когда молодчик обнаружил, что Нусинген одет в те же доспехи, он проникся к нему уважением, подобно тому, как средневековый рыцарь, в латах с золотыми насечками, верхом на берберийском жеребце, проникся бы на турнире уважением к своему противнику в таких же доспехах и на таком же коне. Правда, наслаждения в Капуе заставили Растиньяка на некоторое время растаять. Дружба такой женщины, как баронесса Нусинген, способна привести к отказу от всякого эгоизма. После того как она обманулась в своей первой привязанности, обнаружив в лице покойного де Марсе бирмингамскую механическую куклу, Дельфина должна была почувствовать безграничную нежность к молодому человеку, преисполненному провинциальных верований. Ее нежность оказала свое воздействие на Растиньяка. Когда Нусинген надел на приятеля своей супруги хомут, который всякий эксплуататор надевает на эксплуатируемого — произошло это как раз в момент подготовки к третьему банкротству,— он обрисовал Растиньяку свое положение и дал ему понять, что долг дружбы обязывает Эжена в виде возмещения взять на себя и сыграть до конца роль его пособника. Барон счел неосторожным посвящать в свои планы человека, разделявшего с ним его супружеские обязанности. Растиньяк поверил, что стряслась беда; а барон позволил ему утешаться мыслью, что он спасает дело. Но когда в мотке слишком много ниток, в нем образуются узлы. Растиньяк дрожал за состояние Дельфины; он потребовал раздела имущества, стремясь обеспечить Дельфине независимость, и поклялся в душе полностью рассчитаться с нею, утроив ее состояние. Так как для себя Эжен ничего не требовал, Нусинген сам упросил его принять в случае полного успеха двадцать пять тысячефранковых акций свинцово-серебряного рудника. И Растиньяк взял их, чтобы не оскорбить барона! Нусинген обработал Растиньяка накануне того вечера, когда наш приятель уговаривал Мальвину выйти замуж. При виде сотни счастливых семейств, разгуливавших по Парижу и спокойных за свое состояние, всех этих Годфруа де Боденоров, д'Альдригеров, д'Эглемонов и других, Растиньяк почувствовал дрожь, словно молодой генерал, окидываю-

щий взглядом армию перед своим первым сражением. Бедняжка Изора и Годфруа, игравшие в любовь! Как походили они на Ациса и Галатею под скалой, которую циклоп Полифем готовился на них обрушить!..

— Ну и Бисиу! — воскликнул Блонде.— Да у него, мартышки, просто талант!

— Ага, теперь я уж, значит, не увлекаюсь больше цветами красноречия,— сказал Бисиу, наслаждаясь успехом и оглядывая своих затаивших дыхание слушателей.— В течение двух месяцев,— продолжал он,— Годфруа предавался скромным жениховским радостям и восторгам. Когда мужчина готовится вступить в брак, он походит на птицу, которая весною вьет гнездо, снует взад и вперед, подбирая соломинки, приносит их в клюве и выстилает домик для будущих птенцов. Суженый Изоры нанял за тысячу экю на улице Ла-Планш удобный и вполне приличный особняк, не слишком большой и не слишком маленький. Каждое утро он отправлялся посмотреть, как идет внутренняя отделка дома, и следил за ходом работ. Позаботился он и о *комфорте* — единственно стоящей вещи, которая существует в Англии: завел калорифер, чтобы поддерживать ровную температуру в доме; тщательно выбрал мебель, не слишком кричащую и не чрезмерно роскошную; обивку свежих и приятных для глаз тонов; на все окна—гардины и шторы; серебро, новые экипажи. Он устроил конюшню, чулан для седел и сбруи и каретный сарай, где бесновался и вертелся, как вырвавшийся на волю сурок, Тоби-Джоби-Пэдди, казавшийся очень счастливым оттого, что в доме будут женщины и даже *леди!* Эта одержимость, с которой человек устраивается, выбирает часы для камина, влетает к своей нареченной с карманами, набитыми образчиками материй, советуется с ней о меблировке спальни, бегает, суетится и носится — если только он бегает, суетится и носится, одушевляемый искренней любовью,—поистине способна наполнить радостью сердце всякого честного человека, а в особенности сердца поставщиков. И так как свет чрезвычайно благосклонно относится к браку красивого молодого человека двадцати семи лет с очаровательной и прелестно танцующей двадцатилетней особой, то Годфруа, терзаясь сомнениями насчет свадебного подарка, пригласил Растиньяка и госпожу де Нусинген на зав-

трак, чтобы посоветоваться с ними по этому важнейшему вопросу. Ему пришла в голову счастливая мысль пригласить также своего кузена д'Эглемона с женой и госпожу де Серизи. Светские дамы любят иной раз поразвлечься за завтраком у холостяка.

— Для них это все равно, что для школьников удрать с уроков: они отдыхают от света,— сказал Блонде.

Все вместе должны были отправиться на улицу Ла-Планш осмотреть особнячок будущих супругов. Для женщин подобные экскурсии, что свежее мясо для людоеда, они как бы освежают свое настоящее при виде юной восторженности, еще не увядшей от пережитых восторгов. Стол был накрыт в маленькой гостиной, которая в знак прощания с холостой жизнью была разукрашена, точно лошадь в похоронной процессии. Меню было составлено из тех лакомых пустячков, которые женщины так любят жевать, грызть и сосать по утрам, когда у них бывает ужасный аппетит, в чем они ни за что не хотят признаться, так как для женщины сказать: «Я голодна!» — видимо, означает уронить себя. «Почему ты один?» — спросил Годфруа, когда появился Растиньяк. «Госпожа де Нусинген не в настроении,— ответил Эжен, на лице которого тоже можно было прочесть огорчение и досаду.— Я тебе расскажу потом». «Поссорились?..» — воскликнул Годфруа. «Нет»,— сказал Растиньяк. В четыре часа дамы упорхнули в Булонский лес; Растиньяк остался в гостиной и меланхолически смотрел в окно на Тоби-Джоби-Пэдди, который отважно стоял возле запряженной в тильбюри лошади, скрестив руки на груди, как Наполеон; он мог сдерживать лошадь только своим пискливым голоском, и она боялась Тоби-Джоби. «Так что же с тобой случилось, друг мой? — спросил Годфруа Растиньяка.— Ты неспокоен, угрюм и только притворяешься веселым. Твою душу терзает неполнота счастья! Как, верно, тяжело, когда человек не может обвенчаться в мэрии и в церкви с любимой женщиной!» «Хватит ли у тебя, мой милый, мужества выслушать то, что я намерен тебе открыть, и сумеешь ли ты понять, какую надо чувствовать привязанность к другу, чтобы совершить нескромность, на которую я сейчас отважусь?» — сказал Растиньяк резким тоном, прозвучавшим, как удар хлы-

ста. «Ты о чем?» — спросил Годфруа, бледнея. «Меня привела в грусть твоя радость, и при виде всех этих приготовлений, этого расцветающего счастья я не в силах хранить такой секрет». «Говори же скорей!» «Поклянись честью, что будешь нем, как могила». «Как могила». «И если даже кто-либо из твоих близких заинтересован в этом деле, он все равно ничего не узнает». «Не узнает». «Ну, так вот, Нусинген уехал ночью в Брюссель: раз нельзя прибегнуть к ликвидации, приходится объявить себя несостоятельным. Дельфина сегодня утром отправилась в суд, чтобы просить о разделе имущества. Ты можешь еще спасти свое состояние». «Как?» — пробормотал Годфруа, чувствуя, что кровь стынет в его жилах. «Напиши барону де Нусингену письмо, пометь его задним числом —как будто оно написано недели две назад,— и в этом письме поручи ему обратить все твои деньги в акции (тут Растиньяк назвал акционерное общество Клапарона). У тебя останутся еще две недели, месяц, может быть даже три месяца, чтобы продать их выше теперешней цены; курс этих акций будет еще подниматься». «А д'Эглемон, который только что завтракал с нами, д'Эглемон, у которого лежит в банке Нусинген миллион!» «Послушай, я не знаю, найдется ли достаточно этих акций, чтобы хватило для него, кроме того, он мне не близкий друг, я не могу выдавать секреты Нусингена. Ты не должен ему ничего говорить. Если ты скажешь хоть слово, ты отвечаешь передо мной за последствия». Минут десять Годфруа просидел, не шевельнувшись. «Согласен ты или нет?» — безжалостно сказал Растиньяк. Годфруа схватил перо и чернильницу и написал письмо, которое ему продиктовал Эжен. «Бедный кузен!» — воскликнул он. «Каждый за себя!» — ответил Растиньяк. «Ну, один готов!» — мысленно добавил он, покидая Годфруа. Пока Растиньяк действовал таким образом в парижских особняках, вот что происходило на бирже. У меня есть приятель — тупоголовый провинциал, который, проходя как-то мимо биржи между четырьмя и пятью часами, спросил меня, почему здесь столько людей, занятых разговорами, о чем они могут говорить друг с другом и зачем они разгуливают тут после того, как уже установлен курс государственных ценных бумаг. «Друг мой,— ответил я,— они пообедали, а теперь

переваривают; для пищеварения они распускают сплетни о своих ближних; на этом основана устойчивость парижской коммерции. Здесь зарождаются все дела; есть, например, некий Пальма́, пользующийся на бирже не меньшим авторитетом, чем Синар в Королевской академии наук. Стоит ему сказать, что надо начать спекуляцию, и спекуляция уже началась!»

— Господа, что за человек этот еврей, обладающий если не университетским, то универсальным образованием? — сказал Блонде.— Универсальность его не исключает глубины; то, что Пальма́ знает, он знает досконально; в делах у него просто гениальная интуиция; это великий референдарий хищников, царящих на парижской бирже; они не начинают ни одного дела, если Пальма́ его предварительно не обсудил. Он всегда серьезен, слушает, изучает, обдумывает и говорит своему собеседнику, который, видя его внимание, уже решил, что обвел Пальма̀ вокруг пальца: «Это мне не подходит». Но самое удивительное, по-моему, то, что он десять лет был компаньоном Вербруста и между ними никогда не происходило недоразумений.

— Так уживаются натуры либо очень сильные, либо очень слабые, а люди дюжинные всегда ссорятся и расходятся врагами,— заметил Кутюр.

— Вы понимаете, конечно,— продолжал Бисиу,— что Нусинген, действуя по всем правилам искусства, ловко швырнул под колонны биржи небольшую бомбу, которая взорвалась около четырех часов. «Слыхали важную новость? — спросил дю Тийе у Вербруста, увлекая его в укромный уголок.— Нусинген в Брюсселе, а жена его подала в суд прошение о разделе имущества». «Вы что, помогаете ему обанкротиться?» — ухмыльнулся Вербруст. «Без глупостей, Вербруст,— отрезал дю Тийе.— Вы знаете, у кого есть его векселя. Выслушайте меня, здесь можно заработать. Акции нашего нового общества поднялись на двенадцать процентов, а через три месяца они поднимутся на двадцать пять, вам известно, почему: они приносят великолепный дивиденд». «Хитрец,— ответил Вербруст.—Проваливайте! Вы дьявол с острыми и длинными когтями, и вы запускаете их в масло». «Дайте же мне договорить, иначе у нас не останется времени для действий. Мне пришла в голову эта мысль, как только я

узнал новость; я собственными глазами видел госпожу де Нусинген в слезах: она дрожит за свое состояние». «Бедная крошка! — насмешливо протянул Вербруст.— Ну и что же?» — добавил этот бывший эльзасский еврей, обращаясь к замолчавшему дю Тийе. «Так вот, у меня есть тысяча акций по тысяче франков, которые Нусинген поручил мне разместить. Понимаете?» «Вполне». «Если мы скупим с десяти, с двадцатипроцентной скидкой векселя банкирского дома Нусингена, скажем, на миллион, мы на этот миллион получим неплохую прибыль, так как будем одновременно и кредиторами и должниками; ведь скоро начнется паника! Но надо действовать осторожно, иначе держатели векселей могут заподозрить нас в том, что мы действуем в интересах Нусингена». Вербруст уже все понял и пожал руку дю Тийе, взглянув на него как женщина, собирающаяся подстроить каверзу своей приятельнице. «Слышали новость?— спросил их Мартен Фалле.— Банк Нусингена приостанавливает платежи». «Э! — ответил Вербруст.— И охота вам распространять эти слухи! Дайте возможность людям, у которых есть его векселя, как-нибудь их сплавить». «А вам известна причина краха?..» — вмешался подошедший Клапарон. «Ты ничего не понимаешь,— сказал ему дю Тийе.— Никакого краха не будет, все будет заплачено полностью. Нусинген возобновит дела, и я готов служить ему всеми своими средствами. Я знаю, почему приостановлены платежи: он вложил все свои капиталы в Мексику, которая поставляет ему металлы, испанские пушки, так по-дурацки отлитые, что на них пошло и золото, и колокола, и серебряная церковная утварь — словом, все остатки испанской монархии в Вест-Индии. Доставка этих ценностей задерживается. И наш дорогой барон находится в стесненных обстоятельствах, вот и все». «Это правда,— подтвердил Вербруст,— я дисконтирую его векселя из двадцати процентов». Новость распространилась с быстротой пламени, охватившего стог сена. Слухи были самые противоречивые. Но банкирский дом Нусингена после двух предшествующих банкротств пользовался таким доверием, что никто не выпускал из рук векселей Нусингена. «Без поддержки Пальма́ нам не обойтись»,— сказал Вер-

бруст. Пальма́, как оракула, слушались Келлеры, начиненные облигациями Нусингена. Одного тревожного слова Пальма̀ было достаточно. Вербруст добился, чтобы Пальма́ ударил в набат. На следующий день биржа была охвачена паникой. Келлеры по совету Пальма́ продали обязательства Нусингена со скидкой в десять процентов, и это подействовало: на бирже их считали ловкачами. Тайфер тотчас же продал на триста тысяч бумаг со скидкой в двадцать процентов, Мартен Фалле— на двести тысяч, сбросив пятнадцать процентов. Но Жигонне разгадал трюк! Он раздул панику, чтобы скупить векселя Нусингена и заработать несколько процентов, перепродав их затем Вербрусту. Он заметил в уголке беднягу Матифа, который держал на текущем счету у Нусингена триста тысяч франков. Москательщик, бледный, как смерть, не без содрогания следил за приближением Жигонне, грозного ростовщика из его прежнего квартала, который направлялся к нему, чтобы вонзить ему нож в сердце. «Неважные дела, надвигается кризис. Нусинген хлопочет о соглашении с кредиторами! Впрочем, вас это не касается, папаша Матифа, вы ведь удалились от дел». «Вы ошибаетесь, Жигонне, я попался на триста тысяч франков; я хотел их затратить на испанскую ренту». «Ну, ваши денежки спасены. Испанская рента проглотила бы их без остатка, а я вам могу кое-что дать за ваш счет у Нусингена. Скажем, пятьдесят за сто». «Я предпочитаю дождаться ликвидации,— ответил Матифа.— Еще не было случая, чтобы банкир платил меньше пятидесяти за сто. Ах, если бы удалось отделаться потерей десяти процентов!» — вздохнул бывший москательщик. «Ну ладно, согласны помириться на пятнадцати?» — спросил Жигонне. «Вы что-то больно торопитесь»,— сказал Матифа. «Всего хорошего»,— отрезал Жигонне. «Хотите двенадцать?» «Идет»,— ответил Жигонне. К вечеру были скуплены обязательства на два миллиона, и дю Тийе внес их в банк Нусингена от имени импровизированной тройки компаньонов, которые назавтра же получили свой куш.

Стареющая красавица, баронесса д'Альдригер, завтракала с двумя дочерьми и Годфруа, когда вошедший Растиньяк с дипломатическим видом завел разговор о финансовом кризисе. «Барон де Нусинген,— сказал он,—

питая искреннюю привязанность к семье д'Альдригер, намеревается в случае катастрофы покрыть счет баронессы самыми надежными бумагами — акциями свинцово-серебряного рудника; но для большей верности баронессе следовало бы поручить ему приобрести за ее счет эти акции». «Бедняга Нусинген,— сказала баронесса,— что с ним, собственно, случилось?» «Он в Бельгии. Его жена требует раздела имущества. Он поехал искать помощи у банкиров». «Боже мой, как это напоминает мне моего бедного мужа! Вы, должно быть, сильно огорчены, дорогой господин де Растиньяк, вы ведь так привязаны к их дому». «Лишь бы не пострадали люди посторонние, а друзья его будут вознаграждены впоследствии; барон выпутается из беды, он человек ловкий». «И прежде всего честный»,— добавила баронесса. Не прошло и месяца, как пассив банкирского дома Нусингена был ликвидирован и притом без всяких трудностей — исключительно посредством писем, в которых каждый из вкладчиков просил обратить его деньги в предназначенные для него акции, и без всяких формальностей со стороны банков, которые обменивали обязательства Нусингена на акции, пользующиеся спросом. И в то время как дю Тийе, Вербруст, Клапарон, Жигонне и еще некоторые дельцы, считавшие себя ловкачами, скупали за границей векселя Нусингена, доплачивая их держателям один процент, ибо они при этом зарабатывали, меняя их на идущие в гору акции, слухи на парижской бирже распространялись еще усиленнее, так как большинству уже нечего было бояться. О Нусингене болтали, обсуждали его положение, осуждали его и даже позволяли себе клеветать на него: «Его роскошь, его махинации! Когда человек разрешает себе такое, он неизбежно идет ко дну!» Некоторые деловые люди были очень удивлены, получив как раз в это время, когда весь этот хор звучал особенно громко, письма из Женевы, Базеля, Милана, Неаполя, Генуи, Марселя и Лондона, в которых их корреспонденты, тоже не без удивления, сообщали, что им предлагают доплатной процент за векселя Нусингена, объявленного парижскими биржевиками банкротом. «Тут что-то есть!» — решили хищники. Тем временем суд утвердил постановление о разделе имущества Нусингена и его жены. Положение осложнилось еще больше, когда газеты сообщили о

возвращении барона де Нусингена, ездившего заключать соглашение с известным бельгийским промышленником относительно эксплуатации старых угольных шахт в районе леса Боссю, много лет уже заброшенных. Появившись на бирже, барон даже не потрудился опровергнуть ходившие о его банкирском доме клеветнические слухи; он пренебрег возможностью прибегнуть к прессе и купил за два миллиона великолепное поместье в окрестностях Парижа. Прошло шесть недель, и бордоская газета сообщила о прибытии в порт двух судов с грузом металлов общей стоимостью в семь миллионов, предназначавшихся для банкирского дома Нусингена. Пальма́, Вербруст и дю Тийе поняли, что дело сделано, но только они одни это и поняли. Они, словно школьники, изучили, как была подстроена эта ловкая финансовая махинация, установили, что она подготовлялась в течение одиннадцати месяцев, и объявили Нусингена величайшим финансистом Европы. Растиньяк ровно ничего не понял, но заработал четыреста тысяч франков, которые Нусинген разрешил ему состричь с парижских овечек; из этих-то денег он и дал приданое сестрам. Д'Эглемон, предупрежденный своим кузеном Боденором, приходил к Растиньяку и умолял его взять десять процентов с миллиона, если тот устроит ему покупку на эту сумму акций канала, который до сих пор еще не прорыт, потому что Нусинген так ловко опутал правительство, что концессионерам на руку не спешить с окончанием работ. Шарль Гранде также обратился к возлюбленному Дельфины с просьбой устроить ему покупку акций. Словом, Растиньяк в течение десяти дней играл роль Лоу: самые очаровательные герцогини выпрашивали у него акции, и сейчас у этого молодца сорок тысяч франков ренты; ее первоначальным источником послужили акции свинцово-серебряного рудника.

— Но если все в выигрыше, то кто же потерял? — спросил Фино.

— Перехожу к заключению,— ответил Бисиу.— Соблазненные псевдодивидендом, который они получали в течение нескольких месяцев после того, как обратили свои деньги в акции, маркиз д'Эглемон и Боденор (я беру их, как типичных представителей прочей публики) держались за эти акции: капитал их давал теперь на три

процента больше, они превозносили Нусингена и защищали его в то время, когда все считали, что он приостановит платежи. Годфруа женился на своей дорогой Изоре и получил в приданое на сто тысяч акций свинцово-серебряного рудника. По случаю этого бракосочетания Нусингены дали бал, который своей пышностью превзошел все ожидания. Дельфина преподнесла новобрачной очаровательную рубиновую диадему. Изора танцевала уже не как молодая девица, но как счастливая женщина. Маленькая баронесса больше чем когда-либо походила на альпийскую пастушку. В самый разгар бала дю Тийе сухо посоветовал Мальвине стать госпожой Дерош. Стряпчий, распаленный Нусингенами и Растиньяком, попробовал было затронуть денежный вопрос, но при первых же словах о приданом в виде акций серебряно-свинцового рудника отступился и бросился к Матифа. Однако и на улице Шерш-Миди он обнаружил проклятые акции каналов, которые Жигонне всучил Матифа вместо денег. Представляешь себе Дероша, когда он увидел, как Нусинген загребает лопаточкой оба приданых, на которые он нацелился? Катастрофа не заставила себя ждать. Акционерное общество Клапарона захватило слишком много предприятий, они застряли у него в горле, общество перестало платить проценты и выдавать дивиденд, хотя дела его шли прекрасно. Это совпало с событиями 1827 года. А уже в 1829 году все отлично знали, что Клапарон — подставная фигура двух финансовых колоссов, и он рухнул со своего пьедестала. С тысячи двухсот пятидесяти франков акции упали до четырехсот, хотя по существу они стоили шестьсот. Нусинген, зная их действительную ценность, скупил их. Баронесса д'Альдригер продала в свое время акции свинцово-серебряного рудника, не приносившие ничего; Годфруа по той же причине продал акции жены. Как и баронесса, Боденор заменил их акциями общества Клапарона. Долги вынудили их продать и эти акции в самый разгар понижения: за свои семьсот тысяч франков они выручили двести тридцать тысяч. Подсчитав потери, они благоразумно поместили остаток средств в трехпроцентную ренту, котировавшуюся по семьдесят пять за сто. Годфруа, дотоле счастливый и беззаботный молодой человек, беспечно наслаждав-

шийся жизнью, обнаружил, что его молодая супруга глупа, как гусыня, и неспособна мириться с невзгодами; не прошло и полугода, как он заметил, что предмет его любви превращается в обитательницу птичьего двора, к тому же у него на шее оказалась еще и теща, которая, оставшись почти без средств, все еще мечтала о туалетах. Оба семейства, чтобы как-нибудь просуществовать, поселились вместе. Годфруа пришлось подогревать все остывшие знакомства, чтобы получить в министерстве финансов место с жалованьем в тысячу экю.— Друзья?.. На водах. Родственники?.. Изумлены и обещают: «Ну, конечно, дорогой, можете положиться на меня! Бедный мальчик!» А через четверть часа все забыто. Своим местом Годфруа был обязан протекции Нусингена и Ванденеса. Теперь Боденоры и д'Альдригеры — люди порядочные и достойные сожаления — живут на улице Мон-Табор, на четвертом этаже, над антресолями. Внучка Адольфусов, Мальвина, не имеет ни гроша, она дает уроки музыки, чтобы не быть в тягость зятю. Высокая и худая, со смуглым высохшим лицом, она похожа на мумию, сбежавшую от Пассалакка и расхаживающую по Парижу. В 1830 году Боденор потерял место, а жена подарила ему четвертого ребенка. Восемь господ и двое слуг (Вирт и его жена!). Средства: восемь тысяч франков ренты. А свинцово-серебряные рудники дают сейчас такой дивиденд, что акция в тысячу франков приносит тысячу франков дохода. Растиньяк и госпожа де Нусинген приобрели акции, проданные Годфруа и баронессой. Июльская революция возвела Нусингена в пэры Франции и командоры ордена Почетного легиона. Хотя после 1830 года он больше не производил ликвидаций, состояние его, как говорят, достигает шестнадцати — восемнадцати миллионов. Учтя последствия июльских ордонансов, барон продал все свои ценности и смело вложил деньги в трехпроцентную ренту, когда она упала со ста до сорока пяти; во дворце поверили, что он сделал это из чистой преданности, а он тем временем в компании с дю Тийе выхватил три миллиона у этого долговязого проходимца Филиппа Бридо! Как-то недавно, отправляясь на прогулку в Булонский лес и проезжая улицей Риволи, наш барон заметил под колоннадой баронессу д'Альдригер. На старушке была зеленая шляпка, подбитая розо-

вым, платье с цветочками и мантилья — словом, она казалась, как всегда и даже больше чем когда-либо, альпийской пастушкой; она так же мало разбиралась в своих нынешних бедствиях, как и в причинах своего былого благополучия. Баронесса опиралась на руку дочери; бедняжка Мальвина, живой пример героической самоотверженности, была похожа на старуху мать, а ее мамаша выступала с видом юной девицы; за ними шествовал Вирт с зонтиком в руках. «*Фот люти, которым я никак не мок стелать состояние,*— сказал барон господину Куэнте, министру, вместе с которым он отправлялся на прогулку.— *Пуря минофала, тайте ше опять место петняке Потенору*». Так Боденор вернулся в министерство финансов благодаря Нусингену, которого д'Альдригеры прославляют как чудо истинной дружбы, ибо он неизменно приглашает альпийскую пастушку и ее дочерей к себе на балы. Никого на свете не убедишь, что этот человек трижды хотел без взлома обокрасть публику, нажившуюся благодаря ему, хотя и вопреки его желанию. Нусингена ни в чем не упрекнешь. Того, кто осмелится сказать, что всемогущий банк зачастую просто разбойничий притон, обвинят в злостной клевете. Если курс облигаций поднимается и понижается, если ценные бумаги взлетают вверх и стремительно падают,— эти приливы и отливы порождаются стихийными атмосферными явлениями и зависят от влияния луны; великий Араго повинен в том, что до сих пор не дал им научного объяснения! Отсюда вытекает одна финансовая истина, которую я нигде, впрочем, не видел написанной черным по белому...

— Какая?

— Должник сильнее кредитора.

— Ну, во всем, что мы говорили,— воскликнул Блонде,— я вижу лишь вариации на тему той фразы Монтескье, в которой выражен весь смысл «Духа законов»!

— А именно? — спросил Фино.

— Законы — это паутина; крупные мухи сквозь нее прорываются, а мелкие застревают.

— Чего ж ты хочешь? — обратился Фино к Блонде.

— Абсолютистского правительства — единственного, при котором можно обуздать предприятия *духа* против *законов*. Да, самовластие спасает народы, приходя на

помощь правосудию, ибо право помилования — медаль без оборотной стороны; король может помиловать злостного банкрота, но не возвращает ничего акционеру. Законность убивает современное общество.

— Попробуй убедить в этом избирателей! — сказал Бисиу.

— Кое-кто уже занялся этим.

— Кто же?

— Время. Как сказал епископ Леонский,— если свобода стара, то королевская власть извечна: всякая нация, находящаяся в здравом уме, вернется к ней в той или иной форме.

— Смотрите, рядом кто-то был,— сказал Фино, когда мы поднялись, чтобы выйти.

— Рядом всегда кто-то есть,— ответил Бисиу, который был, видимо, навеселе.

Париж, ноябрь 1837 г.

ЧИНОВНИКИ

Графине Серафине Сан-Северино, урожденной Порча.

Вынужденный читать все, чтобы по возможности никого не повторять, я несколько дней тому назад перелистывал триста рассказов, более или менее озорных,— творение Банделло, писателя шестнадцатого века, французам малоизвестное и недавно вновь опубликованное во Флоренции, в собрании итальянских повестей. И вот я обнаружил там имя, которое носите Вы и граф, и это поразило меня столь живо, как если бы передо мною были, сударыня, Вы сами. Впервые довелось мне прочесть Банделло в оригинале, и я не без удивления обнаружил, что каждой повести, хотя бы в ней было всего пять страниц, предпослано письмо с посвящением королям, королевам и наиболее примечательным современникам, среди которых встречаются имена миланской, флорентийской, генуэзской и пьемонтской знати: Пьемонт — родина Банделло. Это Дольчини из Мантуи, Сан-Северино из Кремы, Висконти из Милана, Гвидобони из Тортоне, Сфорца, Дориа, Фрегозе, Данте Алигьери (один еще существовал в те времена), Фраскаторы, королева Маргарита Французская, император Германии, король Богемии, Максимилиан эрцгерцог австрийский, Медичи, Соули, Паллавичини, Бентивольо из Болоньи, Содерини, Колонна, Скалигеры, испанские Кардоны Из французских имен я нашел там: Мариньи, Анну де Полиньяк — принцессу де Марсийак и графиню де Ларошфуко, кардинала д'Арманьяка, епископа Кагорского — словом, весь высший свет того времени, счастливый и польщенный своей перепиской с преемником Боккаччо. Убедился я также и в особом благородстве характера Банделло: украсив свое творение этими прославленными именами, он оказал внимание и своим личным друзьям. После синьоры Галлерана, графини Бергамской, следует врач, которому Банделло посвятил свою повесть о Ромео и Джульетте; после

la singora molto magnifica Hypolita Visconti ed Atellana[1] *упомянут простой капитан легкой кавалерии Ливио Ливиано; после герцога Орлеанского — какой-то проповедник, после госпожи Риарио — messer magnifico Girolamo Ungaro, mercante lucchesse*[2]*, некий добродетельный человек, которому Банделло рассказывает, как один genliluomo navarese sposa una che era sua sorella et figliuola, non lo sapendo*[3]*,— сюжет, присланный автору королевой Наваррской. И вот я решил, что могу, следуя Банделло, отдать одно из своих повествований под покровительство d'una virtuosa, gentillissima, illustrissima contessa Serafina San-Severina*[4] *и высказать свои истинные чувства, которые будут казаться лестью. Признаюсь — я горд возможностью подтвердить, что во Франции и повсюду, и нынче и в шестнадцатом столетии, писатель — на какой бы этаж его ни вознесли прихоти моды — за все оскорбления, клевету и злобную критику бывает вознагражден благородной и прекрасной дружбой, чье одобрение помогает ему терпеть докуки литературной жизни. Ведь Париж, этот мозг мира, столь понравился Вам постоянным волнением мысли и был так глубоко постигнут Вами благодаря чисто венецианской изощренности Вашего ума; Вы так полюбили богатый картинами художественный салон покойного Жерара, где в собрании европейских иллюстраций отображена вся последняя четверть века, как в произведениях Банделло — его время; затем, волшебные празднества и блистательные торжества, которые устраивает Париж, эта могущественная и опасная сирена,— все это так Вас пленило, Вы с такой непосредственностью высказывали Ваши впечатления, что, наверное, не откажетесь взять под свое покровительство и картину того своеобразного мира, который, вероятно, незнаком Вам, но не лишен интереса. Как хотелось бы мне поднести Вам какую-нибудь поэму, ибо в Вашем сердце и душе столько же поэзии, сколько и в Вашем облике; но если бедный прозаик не в состоянии дать больше, чем у него есть, то, может быть, он искупит в Ваших глазах скромность своего дара почтительным выражением искреннейшего и глубочайшего восхищения, которое Вы всем внушаете.*

Де Бальзак.

[1] Превосходнейшей синьоры Иполиты Висконти и Ателлана.

[2] Превосходнейший господин Джироламо Унгаро, купец из Лукки.

[3] Наваррский дворянин женится на той, которая была его сестрой и дочерью, о чем он не знает.

[4] Добродетельной, благороднейшей, славнейшей графини Серафине Сан-Северино.

В Париже, где между чиновниками канцелярий и представителями умственного труда есть кое-что общее, ибо они живут в той же среде, вам, вероятно, приходилось встречать фигуры, подобные г-ну Рабурдену, состоявшему в ту пору, с которой начинается наше повествование, правителем канцелярии одного из крупнейших министерств. Представьте себе человека лет сорока, уже седеющего — впрочем, эта седина столь приятного оттенка, что смягчает меланхолическое выражение его лица и может даже нравиться женщинам; глаза — голубые, полные огня, лицо — еще белое, но нездорового цвета, с красными пятнами; лоб и нос — как у Людовика XV, губы строго сжаты; Рабурден высокого роста, худощав — вернее, изможден, как будто он недавно перенес тяжелую болезнь, его походка нетороплива, в ней и небрежность гуляющего и сосредоточенность занятого человека. Если набросанный нами портрет уже позволяет догадываться о характере оригинала, то манера одеваться, быть может, выставит этот характер еще рельефнее. Повседневная одежда Рабурдена — длинный синий сюртук, белый галстук, клетчатый жилет а-ля́ Робеспьер, черные панталоны без штрипок, серые шелковые чулки и открытые башмаки.

Обычно Рабурден, побрившись и наскоро выпив чашку кофе, выходил из дому ровно в восемь часов утра, минута в минуту, и все теми же улицами шел в министерство; внешний облик его был столь щепетильно безупречен, что его можно было принять за англичанина, шествующего в свое посольство. По многим существенным чертам вы угадали бы, что перед вами — отец семейства,

снедаемый неприятностями дома и удрученный заботами на службе, однако имеющий достаточно философический склад ума, чтобы принимать жизнь такой, какова она есть; что это человек честный, который любит свое отечество и служит ему, хотя не скрывает от себя препятствий, возникающих на пути тех, кто стремится к благу; что он осторожен, ибо знает людей, и отменно вежлив с женщинами, ибо ничего от них не ждет; что это, наконец, человек, который умудрен житейским опытом, ласков с подчиненными, замкнут с равными и полон чувства собственного достоинства перед начальниками.

В ту пору, когда его застает наш рассказ, вы отметили бы в нем какую-то холодную покорность судьбе, присущую тем, кто похоронил иллюзии своей молодости и отказался от ее честолюбивых мечтаний; вы признали бы в нем человека разочарованного и если еще не поддавшегося отвращению и упорствующего в осуществлении своих первоначальных планов, то не столько в надежде на сомнительную победу, сколько ради применения своих способностей. У Рабурдена не было ни одного ордена, и он считал слабостью то, что в первые дни Реставрации носил орден Лилии.

В жизни его были черты некоторой загадочности: он не знал отца; мать — по его воспоминаниям, необычайно красивая женщина — жила, окруженная ослепительной роскошью: дорогие наряды, собственный выезд, вечный праздник. Мальчик видел ее редко, и она почти ничего ему не оставила; но она дала ему воспитание, обычное поверхностное воспитание, которое так сильно развивает в юношах честолюбие и так мало — их таланты.

В шестнадцатилетнем возрасте, за несколько дней до смерти матери, он оставил Наполеоновский лицей и поступил сверхштатным чиновником в министерство, а вскоре благодаря неведомому покровителю был зачислен в штат. В двадцать два года Рабурден был уже помощником правителя канцелярии, в двадцать пять — правителем канцелярии. С этого дня рука, поддерживавшая его, помогла ему всего один раз: она ввела его, бедняка, в дом г-на Лепренса, бывшего оценщика, вдовца, имевшего единственную дочь и слывшего чрезвычайно богатым. Ксавье Рабурден без памяти влюбился в мадемуазель Селестину Лепренс; ей было тогда семнадцать лет; и она

держалась, как подобает невесте с двумястами тысячами франков приданого. Тщательно воспитанная матерью, которая была натурой артистической и передала ей все свои таланты, молодая особа могла рассчитывать на внимание самых высокопоставленных мужчин. Селестина была девица рослая, красивая, великолепно сложенная, она владела несколькими языками, приобрела кое-какие познания в науках — опасное преимущество, обязывающее женщину ко многим предосторожностям, не то она обратится в педантку. Мать, ослепленная неразумной любовью к дочери, внушила ей обманчивые надежды на необыкновенное будущее: только, мол, какой-нибудь герцог, посланник, маршал Франции или министр мог бы предоставить ее дочери подобающее место в обществе. Кстати сказать, у этой девицы и речь, и манеры, и все обращение были сугубо великосветскими. Одевалась она элегантнее и роскошнее, чем полагается барышне на выданье, и мужу оставалось прибавить к этому только счастье. Да и тут баловство, которым ее неизменно окружала мать, умершая через год после свадьбы дочери, делало для влюбленного даже эту задачу довольно затруднительной. Сколько же нужно было выдержки и самообладания, чтобы руководить подобной женщиной! Напуганные буржуа вскоре отступились. И вот г-н Лепренс предложил Селестине в супруги сироту Ксавье, единственным достоянием которого было место правителя канцелярии. Она долго не соглашалась. Против самого претендента у мадемуазель Лепренс не было никаких возражений: он был молод, красив, влюблен. Но ей не хотелось называться госпожой Рабурден. Отец уверял ее, что люди такого склада, как Рабурден, становятся министрами. А Селестина возражала, что при Бурбонах никогда человек с подобной фамилией не сделает карьеры и т. д. и т. д. Выбитый из своих позиций, отец совершил большую оплошность, приоткрыв дочери доверенную ему тайну и сообщив, что его будущий зять станет именоваться «Рабурден де...» раньше, чем достигнет возраста, необходимого для депутатства. По его словам, Ксавье предстояло вскоре занять пост докладчика государственного совета и вместе с тем главного секретаря своего министра. А оттуда-де молодому человеку уже нетрудно совершить скачок в сферы высшей административной власти, если он

притом получит состояние и знатное имя от некоего завещателя, ему, Лепренсу, известного. Брак состоялся.

Супруги Рабурдены поверили в таинственного и всемогущего покровителя, на которого намекал оценщик. Ослепленные надеждой и беззаботные, как все молодожены в первую пору любви, г-н и г-жа Рабурден растратили за пять лет около ста тысяч франков. Но тут Селестина спохватилась и, встревоженная тем, что муж до сих пор не продвигается на служебном поприще, пожелала вложить в земли сто тысяч, оставшиеся от ее приданого,— что, впрочем, давало весьма мало дохода; все же она утешала себя надеждой, что наследство, полученное от отца, со временем вознаградит их за благоразумную бережливость и они будут жить в полном довольстве. Когда бывший оценщик понял, что зять лишился могущественного покровительства, он, из любви к дочери, сделал попытку исправить последствия этого тайного крушения и рискнул частью своего состояния, отважившись на спекуляцию, которая сулила большие выгоды. Однако бедняга жестоко пострадал при очередной ликвидации долгов банкирским домом Нусинген и умер с горя, оставив дочери всего несколько прекрасных картин, которые она повесила в своей гостиной, и кое-какую старинную мебель, которую она отправила на чердак. Восемь лет напрасных ожиданий заставили г-жу Рабурден наконец понять, что покровителя ее мужа, видимо, постигла смерть, а завещание или уничтожено, или затерялось. За два года до кончины г-на Лепренса освободилось место начальника отделения, но оно было отдано некоему господину де ла Биллардиеру, родственнику одного из депутатов правого крыла, назначенного в 1823 году министром. Прямо хоть выходи в отставку! Однако мог ли Рабурден отказаться от восьми тысяч жалованья и от наградных, когда его семья уже привыкла тратить эту сумму, составлявшую три четверти их доходов? К тому же, остается потерпеть лишь несколько лет, и он получит право на пенсию! Но какое унижение для женщины, которая питала в юности такие большие притязания, притом почти законные, и считалась женщиной выдающейся!

Госпожа Рабурден оправдала надежды, которые подавала мадемуазель Лепренс: у нее были все данные для

внешнего превосходства, столь нравящиеся людям; ее обширное образование позволяло ей поддерживать разговор с кем угодно, она была, без сомнения, талантлива, одарена умом независимым и возвышенным, пленяла собеседника разнообразием и оригинальностью мыслей. Но эти качества, полезные и уместные для принцессы, для супруги посла, едва ли нужны в таком семействе, где вся жизнь течет на самом будничном уровне. Люди, наделенные даром слова, жаждут слушателей, любят говорить подолгу и иногда бывают даже утомительны. Чтобы удовлетворить потребности своего ума, г-жа Рабурден раз в неделю устраивала приемы и, привыкнув тешить свое самолюбие, часто выезжала в свет. Читатели, знакомые с парижской жизнью, поймут, что должна была перестрадать такая женщина, осужденная задыхаться в тесном семейном кругу, связанная по рукам и ногам скудостью материальных средств. Несмотря на все наши дурацкие декламации о ничтожестве денег, живя в Париже, необходимо опираться на точный расчет, почтительно склонять голову перед цифрами, лобызать раздвоенное копыто золотого тельца.

Нелегкая задача — прожить на двенадцать тысяч в год целой семьей,— у Рабурдена было двое детей,— держать кухарку и горничную и платить сто луидоров за квартиру по улице Дюфо, на третьем этаже. Прежде чем перейти к другим крупным расходам по дому, вычтите из этой суммы стоимость экипажа и туалетов г-жи Рабурден — ибо ее туалеты были на первом месте,— а потом посмотрите, много ли могло остаться на воспитание детей (девочки семи лет и мальчика девяти), содержание которых, даже при казенном пособии на обучение, обходилось все же в две тысячи франков, и вы поймете, почему г-же Рабурден с трудом удавалось выкраивать на карманные расходы мужу каких-нибудь тридцать франков в месяц. Почти все парижские мужья довольствуются тем же, иначе их объявят чудовищами. Эта женщина, считавшая, что она предназначена блистать и властвовать в свете, оказалась вынужденной растрачивать свой ум и таланты в отвратительной и для нее неожиданной борьбе, в рукопашных схватках со своей приходо-расходной книгой. Какая мука для самолюбия хотя бы в том, что после смерти отца ей пришлось даже

рассчитать лакея! Большинство женщин надламываются в этой повседневной борьбе, начинают жаловаться на судьбу, а в конце концов с ней примиряются. Но Селестина не желала признать свое поражение,— наоборот, ее честолюбие росло вместе с препятствиями; и вот, чувствуя, что она не в силах преодолевать эти повседневные препятствия, она решила устранить их одним ударом. На ее взгляд, все те сложные пружины, которые двигают жизнью, составляли своего рода гордиев узел: его нельзя распутать, но гений должен его рассечь. Отнюдь не склонная мириться с ничтожностью и серостью мещанского существования, г-жа Рабурден из себя выходила оттого, что ее надежды на блестящее будущее все еще не осуществлялись, и обвиняла судьбу в обмане. Селестина в самом деле вообразила себя необыкновенной женщиной. Возможно, что так оно и было, и при обстоятельствах необычных она обнаружила бы и необычное величие духа; может быть, она действительно оказалась не на месте. Ведь нельзя не признать, что и среди женщин не меньше, чем среди мужчин, существует разнообразие типов, их создают людские общества для своих потребностей. Но общество, так же как и природа, порождает больше ростков, чем деревьев, и больше икринок, чем вполне развившихся рыб. Многим талантам, многим Атаназам Грансонам суждено погибнуть, подобно семенам, упавшим на каменистую почву. Конечно, существуют женщины-хозяйки, женщины, созданные для утех, для роскоши или только для того, чтобы быть супругами, матерями, любовницами, женщины, преданные лишь духовным интересам или исключительно материальным,— как существуют среди мужчин художники, солдаты, ремесленники, поэты, негоцианты, люди, знающие толк лишь в деньгах, в земледелии или управлении. Однако причудливый ход событий порождает немало противоречий: много званых, да мало избранных — этот закон имеет силу не только в небесной, но и в земной жизни. Г-жа Рабурден чувствовала в себе силы быть советчицей государственного деятеля, вдохновлять художника, служить интересам изобретателя и помогать ему в его борьбе с препятствиями, посвятить свою жизнь финансовой политике какого-нибудь Нусингена, поддерживать блеск какого-нибудь

громадного состояния. Может быть, она этим старалась оправдать свое отвращение к счетам из прачечной, к ежедневной проверке кухонных закупок, к мелочной бережливости и заботам об убогом хозяйстве. Она приписывала себе превосходство в той области, которая была ей по душе. Столь живо ощущая на каждом шагу острые шипы, испытывая муки, которые можно сравнить с муками святого Лаврентия, когда его поджаривали на угольях, она, естественно, испускала вопли. И вот, во время приступов раздраженного честолюбия, в минуты, когда уязвленное тщеславие доставляло ей нестерпимую боль, Селестина осыпала упреками Ксавье Рабурдена. Разве не дело мужа — создать жене приличное положение? Будь она мужчиной, у нее уж хватило бы энергии быстро добиться успеха и дать счастье любимой женщине! Она корила его за излишнюю честность. Для иных женщин обвинить в этом мужа — все равно что назвать его дураком. Она предлагала ему блестящие планы, пренебрегая теми препятствиями, которые создаются людьми и обстоятельствами; подобно всем женщинам, захваченным каким-либо неодолимым чувством, она мысленно зашла в своем макиавеллизме дальше, чем какой-нибудь Гондревиль, стала циничнее Максима де Трай. Ум Селестины в такие мгновения становился как бы всеобъемлющим, она любовалась собой и безграничным размахом своих замыслов. Однако Рабурден, знавший жизнь, остался холоден к этой роскошной игре воображения. Огорченная Селестина решила, что ее муж ограничен, робок, недалек, и постепенно создала себе самое неправильное мнение о своем спутнике жизни: ведь она неизменно подавляла его своей блестящей аргументацией, а так как ее собственные мысли рождались внезапно, подобно вспышкам, она никогда не давала ему высказаться, если он пытался что-нибудь ей объяснить, ибо не желала потерять даром хотя бы одну искорку своего ума. С первых же дней брака Селестина, почувствовав, что муж любит ее и восхищается ею, перестала с ним считаться; пренебрегая всеми обязанностями, налагаемыми супружеством, не оказывая никакого внимания спутнику своей жизни, она требовала, чтобы он во имя любви к ней прощал решительно все ее небольшие провинности, и так как она не хотела исправиться, то стала

властвовать. При таком положении дел муж чувствует себя перед женой, как воспитанник перед своим учителем, который не может или не хочет поверить, что ребенок, которым он руководил, уже стал взрослым. Подобно г-же де Сталь, кричавшей на всю гостиную человеку, гораздо более значительному, чем она: «А знаете, вы только что высказали глубокую мысль!» — госпожа Рабурден отзывалась о своем муже: «А знаете, он иногда бывает умен». Ее отношение к мужу, которого она так упорно подчиняла себе, стало сказываться в неуловимой игре чувств, отражавшихся на ее лице. Вся ее манера обходиться с ним свидетельствовала о том, что она его не уважает. Таким образом, сама того не ведая, она повредила ему, ибо люди, прежде чем судить о человеке, прислушиваются к тому, что говорит о нем жена,— словом, требуют того, что женевцы называют «предварительным суждением».

Когда муж заметил, до каких ошибок его довела любовь, то ничего не мог изменить, так как их отношения уже сложились, и мучился молча. Рабурден принадлежал к числу людей, которые наделены в равной мере и чувством и умом,— благородство души сочеталось у него с развитой силой мышления; поэтому он был не только судьей своей жены, но и ее защитником. Он уверял себя, что природа предназначила Селестину для роли, которая не удалась именно по его вине: Селестина попала в положение чистокровного английского скакуна, запряженного в телегу с булыжником, и, конечно, страдала,—словом, муж осудил не ее, но себя. Кроме того, изо дня в день повторяя одно и то же, Селестина внушила и ему веру в ее особую одаренность. В семейной жизни мнения заразительны. Девятое термидора, подобно многим другим событиям величайшей важности, было результатом женского влияния. Побуждаемый честолюбивой женой, Рабурден уже давно стал обдумывать, как бы удовлетворить ее желания, однако до поры до времени скрывал от нее свои надежды, чтобы не причинить ей новых страданий. Этот достойный человек поставил себе целью во что бы то ни стало выдвинуться на поприще административного управления при помощи меткого удара. Он задумал одну из тех революций, которые обычно ставят человека во главе той или другой части человеческого обще-

ства; впрочем, неспособный по своей натуре произвести переворот ради своей выгоды, он просто обдумывал ряд полезных преобразований и мечтал о победе, достигнутой благородными средствами. У редкого чиновника не рождались такие намерения, одновременно честолюбивые и великодушные. Однако у чиновников, как и у художников, замыслы в большинстве случаев появляются на свет преждевременно, ибо, как справедливо выразился Бюффон, «гений — это терпение».

Рабурден имел возможность изучить административную власть во Франции и наблюдать действие ее механизма; его мысль начала работать в той области, с которой его связала судьба (что, добавим в скобках, наблюдается во многих человеческих начинаниях),— и в конце концов он изобрел новую систему управления. Зная тех людей, с какими ему предстояло иметь дело, он не коснулся самого механизма, который действовал тогда, действует теперь и еще долго будет действовать, ибо предложение его перестроить всех напугало бы; но он полагал, что никто не отказался бы от возможности его упростить. Следовательно, задача состояла в том, чтобы более целесообразно применить те же силы. Его план сводился в основном к тому, чтобы изменить налоговую систему и уменьшить налоги без ущерба для доходов государства, добившись преобразованием бюджета, который вызывал тогда столь яростные споры, вдвое больших результатов, чем нынешние. Долголетний опыт убедил Рабурдена в том, что во всяком деле совершенство достигается путем простых перестановок. Экономить — значит упрощать. А упростить — значит уничтожить лишние части административного механизма и произвести служебные перемещения. Поэтому система Рабурдена опиралась на упразднение некоторых должностей и требовала новой ведомственной номенклатуры. В этой идее упразднения, может быть, и кроется причина той ненависти, которую обычно вызывают новаторы. Упразднения должностей, необходимые для усовершенствования всей системы, но вначале непонятные, угрожают благополучию людей, и те нелегко соглашаются изменить условия своего существования. О подлинном величии Рабурдена свидетельствовало то обстоятельство, что он умел сдержать энтузиазм, овладевающий всеми изобретателями, и терпеливо искал

для каждого мероприятия возможности плавного перехода от старого к новому, как бы по способу зубчатого сцепления, предоставляя времени и опыту показать, насколько хороши все эти реформы. Они были до того огромны, что могли представиться даже неосуществимыми, если при беглом анализе этого плана упустить из виду вышеупомянутую основную мысль. Поэтому небезынтересно выяснить на основе его собственных рассказов, хотя бы и очень неполных, какова была та отправная точка, с которой он стремился объять весь административный горизонт Франции. Наше повествование, стремящееся вскрыть самую сущность интриги, быть может, также объяснит и некоторые печальные особенности современных нравов.

Началось с того, что Рабурден был потрясен жалким существованием, которое вели чиновники: Ксавье недоумевал, почему они все больше впадают в ничтожество; он стал доискиваться причины и нашел, что она кроется в маленьких частичных революциях, возникавших как отзвук великой бури 1789 года; эти маленькие революции обычно не привлекают внимания историографов грандиозных событий, хотя, в конечном счете, именно под их воздействием наши нравы стали такими, каковы они есть.

Прежде, во времена старой монархии, бюрократических армий не существовало. Чиновники, весьма немногочисленные, подчинялись первому министру, находившемуся в постоянном общении с королем, и, таким образом, почти непосредственно служили королю. Начальников этих усердных слуг называли просто «старшими приказчиками». Там, где король не распоряжался самолично, например, в административных управлениях, ведавших откупами, чиновники были в глазах своих начальников тем же, чем приказчики торговых домов для своих хозяев: они проходили обучение, которое должно было помочь им стать самостоятельными людьми. Таким образом, любая точка окружности связывалась с центром и получала от него жизнь. Тогда существовали преданность и верность. С 1789 года государство, или, если угодно, отечество, заменило собой государя. Вместо того чтобы находиться в прямом ведении первого должностного лица, наделенного политической властью, приказчики, не-

«ЧИНОВНИКИ».

«ЧИНОВНИКИ».

смотря на все наши возвышенные идеи относительно отечества, сделались правительственными чиновниками, а их начальники носятся без руля и без ветрил, по воле некоей власти, именуемой министерством, притом не знающей сегодня, будет ли она существовать завтра. Но так как имеются текущие дела, которыми кто-то должен заниматься, то известное число приказчиков все же удерживается на поверхности,— они знают, что они нужны, хотя их могут рассчитать в любую минуту, и стараются усидеть на своих местах. Так родилась Бюрократия — эта гигантская сила, приводимая в действие пигмеями. Наполеон, подчинявший всех и вся своей воле, ненадолго отсрочил ее развитие, задержал тяжелый занавес, который, опустившись, должен был отделить осуществление полезных замыслов от того, по чьему приказу они осуществляются, и бюрократия окончательно сложилась лишь при конституционном правительстве, неизбежном покровителе ничтожеств, большом любителе сопроводительных документов и счетов, придирчивом, как мещанка. Пользуясь тем, что министры находятся в постоянной борьбе с четырьмя сотнями посредственности и десятком хитрых и недобросовестных честолюбцев, чиновники канцелярий поспешили стать необходимой частью управления, живое дело подменили делом бумажным и сотворили себе из косности кумир, носящий имя Докладной записки. Поясним, что это такое.

Короли, обзаведясь министрами,— а это случилось лишь при Людовике XV,— больше не захотели совещаться, как в старину, с виднейшими государственными мужами и потребовали, чтобы министры составляли им докладные записки по всем важным вопросам. Канцелярии же постепенно заставили министров в этом отношении подражать королям. А так как министрам приходилось защищать свои мероприятия и перед обеими палатами и перед двором, то они ходили на поводу у своих докладчиков. При решении любого важного вопроса, даже самого срочного, министр неизменно заявлял: «Я затребовал докладную записку». И вот докладная записка стала для дела и для министра тем же, чем она является в палате депутатов при отмене или принятии закона,— как бы рекомендацией, где доводы за и против изложены более или менее пристрастно,— поэтому министр, так же

как и палата, после докладной записки может разобраться в деле не лучше, чем до нее. Решения принимаются тут же. Ведь как бы там ни было, а неизбежно настает минута, когда надо сделать тот или иной выбор, и чем больше выдвигается доводов за и против, тем менее здраво решение. Самые прекрасные деяния в истории Франции совершались тогда, когда не существовало еще никаких докладных записок и решения принимались немедленно. Высшее правило для государственного деятеля — это умение применять к любому случаю точные формулы, как делают судьи и врачи. Рабурден исходил из мысли: «на то и министр, чтобы быть решительным, знать дела и твердо вести их». А между тем он видел, что во Франции докладная записка царит иадо всеми — от полковника до маршала, от полицейского комиссара до короля, от префекта до министра; царит при обсуждении закона в палате и при его утверждении. Начиная с 1818 года все стало обсуждаться, взвешиваться и оспариваться устно и письменно, все становилось словесностью. Однако, невзирая на блестящие докладные записки, страна шла к гибели, она предпочитала рассуждать, а не действовать. За год составлялся чуть не миллион докладных записок! Это и было царствованием Бюрократии. Канцелярские дела, папки, бесконечные сопроводительные документы, без которых Франция якобы пропадет, циркуляры, без которых она якобы не сможет жить, разрастались и приумножались с каждым днем.

Бюрократия своекорыстно поддерживала недоверие к отчетам о приходах и расходах: она клеветала на административную власть ради выгоды администраторов. Словом, подобно лилипутам, опутавшим Гулливера тончайшими нитями, она опутала Францию по рукам и ногам системой парижской централизации, как будто с 1500 по 1800 год страна, не имея тридцати тысяч приказчиков, так ничего и не совершила. Чиновник, присосавшись к государству, словно омела — к груше, сделался совершенно к нему равнодушен. Вот как это произошло: обязанные подчиняться правителям или палатам, предписывающим им известные ограничения в бюджете, и вместе с тем вынужденные все же сохранять своих работников,— министры уменьшали оклады и увеличивали число должностей, считая, что чем больше людей будет

на службе у правительства, тем правительство будет сильнее. Однако аксиомой является именно обратный закон — и он действует во всей вселенной: энергия рождается только при небольшом числе действующих сил. И поэтому событие, совершившееся около июля 1830 года, показало всю ошибочность этой тяги Реставрации к министериализму. Чтобы какое-либо правительство пустило корни в жизни нации, нужно уметь связать с ним интересы, а не людей.

Доведенный до презрения к правительству, лишавшему его и жалованья и значения, чиновник стал относиться к нему, точно куртизанка к старому любовнику: по деньгам и услуги—положение, которое было бы признано невыносимым как для администрации, так и для чиновника, если бы только обе стороны решились над ним задуматься и если бы голос чиновников с крупными окладами не заглушал голоса мелкоты. Чиновник, занятый только мыслью о том, как бы удержаться на месте, получать жалованье и дотянуть до пенсии, считал, что все дозволено ради столь великой цели. Это приводило приказчика к сервилизму, порождало постоянные интриги в недрах министерств, где мелкие приказчики боролись против выродившейся аристократии, которая охотно паслась на общественных угодьях буржуазии и требовала мест для своих разоренных сынков. Незаурядный администратор вынужден был с трудом пробираться между этими извилистыми изгородями, гнуть спину, ползти, нырять в грязь вертепов, где появление умного человека вызывало всеобщий испуг. Честолюбивый гений мог дожить до седых волос — и не добиться тиары: он уподоблялся Сиксту Пятому — и все-таки начальником канцелярии не становился. Удерживались на местах и зачислялись на службу только лентяи, бездарности и тупицы.

Так постепенно административная власть во Франции переходила в руки посредственностей. И бюрократия, состоявшая целиком из ничтожных людишек, обращалась в препятствие к процветанию страны; она семь лет мариновала в своих папках проект канала, который поднял бы производительность целой провинции; она всего пугалась, поддерживала всякую волокиту, увековечивала всякие злоупотребления, лишь бы увековечить собственное существование; она вела на поводу всех и

вся, даже самого министра; она душила талантливых людей, осмеливавшихся действовать самостоятельно или указывать ей на ее глупость. Только что был опубликован список пенсионеров, и Рабурден обнаружил в нем фамилию одного канцелярского служителя, которому было назначено содержание выше, чем какому-нибудь израненному в сражениях старику полковнику. В этом факте перед нами вся история бюрократии как на ладони. Еще одну язву, вызванную современными нравами и способствовавшую внутреннему разложению чиновничества, Рабурден видел в том, что в Париже среди чиновников нет подлинной субординации, что между начальником какого-нибудь важного отдела и последним экспедитором существует совершенное равенство. Среди рядовых чиновников есть и поэты и коммерсанты, и за пределами канцелярии каждый главенствует на каком-нибудь поприще. Чиновники отзываются друг о друге безо всякого уважения. Образование, расточаемое без толку среди масс, не приводит ли нынче к тому, что сын министерского швейцара вершит судьбы заслуженного лица или крупного собственника, у которого отец его некогда был дворником? Поступивший вчера новичок может спихнуть старого служаку; какой-нибудь сверхштатный шалопай с набитым червонцами кошельком, отправляясь в тильбюри на прогулку в Лоншан, обдает грязью своего начальника и говорит своей хорошенькой спутнице, показывая кончиком хлыста на плетущегося пешком бедного отца семейства: «Вон идет мой патрон!» Либералы называли такое положение вещей прогрессом, Рабурден же видел, что самую сердцевину власти разъедает анархия. Ведь он достаточно наблюдал бесчисленные интриги—точно в серале между евнухами, женщинами и глупыми султанами,—мелочные свары, достойные монахинь, затаенные обиды, бессмысленное глумление, дипломатические хитрости, которыми можно было бы испугать даже посла (и все это ради наградных или прибавки к жалованью), бури в стакане воды, дикарские подвохи по отношению к самому министру. Вместе с тем он видел, как люди действительно полезные, труженики, становились жертвами этих паразитов; как люди, преданные своему отечеству, резко выделявшиеся в толпе бездарностей, терпели поражение от гнусных происков.

Все шло к тому, чтобы высшие должности распределялись влиятельными депутатами, а не королевской властью, чтобы чиновники рано или поздно сделались только колесиками огромной государственной машины, и весь вопрос сводился к тому, чтобы они были более или менее смазаны. Это роковое убеждение, уже сложившееся у многих порядочных людей, ослабляло действие немалого числа честных докладных записок о тайных язвах страны, обезоруживало немало смельчаков, растлевало самых неподкупных, утомленных постоянными несправедливостями, подточенных постоянными огорчениями, и порождало в них преступную беспечность. Один-единственный приказчик братьев Ротшильдов ведет же корреспонденцию со всей Англией,— значит, достаточно было бы одного чиновника, чтобы сноситься со всеми префектами; но там, где один человек учится, как добиваться успеха, другой бесплодно растрачивает время, жизнь и здоровье. Отсюда и все зло.

Правда, государству как будто еще не угрожает гибель только оттого, что талантливый чиновник выходит в отставку и его заменяет ничтожество. К несчастью наций, ни один человек не кажется им необходимым для их существования. Но когда мельчает все, нации перестают существовать. Каждый может в этом наглядно убедиться, отправившись в Венецию, Мадрид, Амстердам, Стокгольм или Рим, где некогда блистало великое могущество, ныне рухнувшее, потому что в него просочилась подлость и залила даже вершины. В час борьбы все оказалось немощным, и после первой же атаки государство пало. И если мы преклоняемся перед удачливым болваном и равнодушны при падении даровитого деятеля — то это результат нашего плачевного воспитания и наших нравов, доводящих умного человека до мрачной иронии, а гения — до отчаяния. Но какая трудная задача — реабилитировать чиновничество именно в ту минуту, когда либералы вопили в своих газетах и внушали рабочим производственных мастерских, что платить чиновникам жалованье — значит беспрестанно обворовывать казну; когда они изображали статьи бюджета в виде пиявок и ежегодно выступали с запросами, на что же идет миллиард налогов! Рабурден считал, что отношения между чиновником и бюджетом те же, как между игроком и иг-

рой: все, что она ему дает, он ей возвращает. Крупный оклад требует и большого труда; а платить человеку лишь тысячу франков в год за то, чтобы он отдавал все свое время службе,— разве это не значит порождать воровство и нищету? Содержание каторжника обходится государству почти столько же, а работает он меньше. Но чтобы человек получал от государства двенадцать тысяч в год и за это посвятил всего себя своей стране, такой договор выгоден для обеих сторон и может привлечь даровитых людей!

Эти размышления привели Рабурдена к мысли о коренном изменении всего состава служащих. Следовало сократить их число, удвоить или утроить оклады и отменить пенсии; брать на службу людей молодых, как делали Наполеон, Людовик XIV, Ришелье и Хименес, но держать их долго, привлекая высокими окладами и почестями; таковы были основные пункты той реформы, которую Рабурден считал полезной и для государства и для чиновников. Трудно изложить во всех подробностях, шаг за шагом, этот план, охватывавший весь бюджет и учитывавший бесконечно малые величины административного аппарата с целью их внутреннего объединения. Однако, может быть, перечня главных реформ будет достаточно и для тех, кто знает наше административное строение, и для тех, кому оно неизвестно. Как ни шатка позиция историка, излагающего некий проект, который на первый взгляд напоминает проекты наших доморощенных политиков, все же его следует воспроизвести хотя бы в общих чертах, чтобы показать человека через его дело. Если опустить рассказ о его трудах — вы уже не поверите на слово автору, утверждающему, что и правитель канцелярии может быть одарен талантом или способностью дерзать.

Рабурден делил высшую административную власть на три министерства. Он исходил из мысли, что, если некогда встречались умы, достаточно сильные, чтобы охватить внешние и внутренние дела государства, то и в нынешней Франции не будет недостатка в таких деятелях, как Мазарини, Сюжер, Сюлли, Шуазель, Кольбер, способных управлять министерствами более обширными, чем нынешние. Да и с точки зрения практической — трое скорее договорятся, чем семеро. Кроме того, не так легко

ошибиться, выбирая их. Наконец, королевская власть, может быть, избегнет постоянных министерских шатаний, не дающих ни следовать какому-либо плану в области внешней политики, ни проводить какие-либо внутренние улучшения. В Австрии, объединяющей много национальностей, чьи разнообразные интересы должны быть согласованы и направляемы одним государем, бремя государственных дел несли в те времена всего два человека, и они отнюдь не изнемогали под ним. Разве Франция беднее, чем Австрия, политическими талантами? Довольно глупая игра в так называемые конституционные учреждения приняла слишком большие размеры и привела к тому, что для удовлетворения разросшихся притязаний буржуазии потребовалось несколько министров.

Рабурдену представилось вполне естественным прежде всего соединить морское министерство с военным. Он считал, что флот является частью военных сил, так же как артиллерия, кавалерия, пехота, интендантство. Не бессмысленно ли создавать для адмиралов и маршалов отдельные управления, если у них общая цель — оборона отечества, нападение на врага, защита государственных владений? В министерстве внутренних дел следовало объединить торговлю, полицию, финансы, иначе оно не оправдало бы своего назначения. В ведении министерства иностранных дел должны были находиться: суд, дворцовое ведомство и все, что по министерству внутренних дел относилось к литературе и искусствам. Право покровительства в разных областях Ксавье Рабурден предоставлял только государю. Министерство внутренних дел сохраняло за собой и председательство в Совете. Каждое из трех упомянутых министерств должно было иметь не больше двухсот чиновников в своем центральном управлении, при котором они, по проекту Рабурдена, должны были получать и казенные квартиры — так было встарь, во времена монархии. Он клал в среднем на каждого чиновника двенадцать тысяч франков, что составило бы лишь семь миллионов франков на содержание всех штатов, поглощавших в его время свыше двадцати миллионов франков: ведь сведя таким образом все министерства к трем главным, он упразднял целые административные системы, становившиеся ненужными, и сокращал огромные расходы на их содержание в Па-

риже. Он доказывал, что округом могут управлять десять человек, а для префектуры нужно от силы двенадцать; это предполагает наличие лишь пяти тысяч чиновников во всей Франции (не считая юстиции и армии), а в то время одних министерских чиновников было больше. Но на секретарей суда возлагались и дела по залогу недвижимостей, а на прокурорский надзор — ведение учета крупных земельных владений. Рабурден стремился объединить в одном и том же центре управления однородные виды деятельности. Таким образом, залогом недвижимостей, наследствами и учетом должны были ведать одни и те же учреждения, и для этого достаточно было трех сверхштатных чиновников в каждой судебной палате и трех в Королевском суде. Последовательное применение этого принципа привело Рабурдена к реформе финансов. Он слил все виды налогов в один, решив, что облагать налогом следует не собственность, а все потребление в целом; он считал, что в мирное время облагать налогом можно только потребление, налог же на землю нужно приберечь на случай войны: лишь тогда государство вправе требовать жертв от земли — ибо оно защищает ее; но взимать с нее слишком много в мирное время он считал крупной политической ошибкой, ибо с наступлением серьезных кризисов страна уже ничего не может дать государству; также и заем должен проводиться в дни мира,— тогда он котируется по номинальной цене, а не с потерей пятидесяти процентов, как в трудные времена; в случае же войны следует вводить земельную контрибуцию.

— Нашествие 1814 и 1815 годов,— говорил Рабурден друзьям,— вызвало к жизни и заставило оценить по достоинству одно нововведение, которого не могли осуществить ни Лоу, ни Наполеон, а именно — кредит.

К сожалению, в ту эпоху, когда Ксавье начал свою работу, то есть в 1820 году, истинные принципы этого превосходного механизма были, как он полагал, еще недостаточно оценены. Он считал нужным обложить потребление всеми видами прямых налогов и упразднял все уловки косвенного налогообложения: объект обложения должен быть один и лишь распадаться на разные статьи. Таким образом, Рабурден разрушал стеснительные барьеры в жизни городов и увеличивал их доходы,

упрощая существующие способы взимания налогов, обходящиеся государству в нынешнее время слишком дорого. Когда речь идет о финансах, то облегчить тяжесть налога — значит не уменьшить его, а правильнее распределить; облегчить его тяжесть — значит увеличить число сделок, предоставив для них больший простор; каждый индивид платит меньше, государство же получает больше. Эта реформа, которая может показаться грандиозной, опиралась на весьма простой механизм: Рабурден рассматривал личный налог и налог на движимость как верные показатели общего потребления. Во Франции о личном состоянии человека вполне можно судить по его квартире, по количеству слуг, лошадям и роскошным выездам,— и все это поддается обложению. Дома и то, что в них находится, изменяются мало и исчезают медленно.

Указав способ составить роспись налогов на движимость более правильную, чем существовавшая до тех пор, он разложил суммы, которые поступали в казначейство в виде так называемых косвенных налогов, на всех плательщиков. Ведь налог взимается с предметов или людей в более или менее замаскированной форме. Но эта маскировка годилась тогда, когда деньги надо было выжимать,— теперь же тот класс, который несет основное бремя налогов, отлично знает, для чего государство их берет и посредством какого механизма ему возвращает, поэтому такая маскировка просто смешна. В самом деле, бюджет нельзя представлять себе в виде несгораемого шкафа, он скорее подобен лейке: чем больше она зачерпывает и выливает воды, тем больше земля процветает. Поэтому, если допустить, что во Франции насчитывается шесть миллионов зажиточных налогоплательщиков (Рабурден настаивал на этом числе, включая сюда и богатых плательщиков), то не лучше ли требовать с них прямо и открыто *налога на вино*, который будет возмущать их не больше, чем налог на двери и окна,— и получать сто миллионов дохода, вместо того чтобы бесцельно раздражать их, взимая по мелочам налоги с имущества. При таком преобразовании налога каждый стал бы в действительности платить меньше, а государство получало бы больше, и потребители пользовались бы рядом предметов, которые резко снизились бы в цене, так как уже не

подвергались бы бесконечным обложениям. Рабурден сохранял налог и на обработку виноградников, чтобы защитить виноделие от перепроизводства. Для учета потребления бедных налогоплательщиков он предполагал брать с торговцев плату за их патенты сообразно с численностью населения в данной местности. Таким образом, при налогах трех видов — на вино, на право обработки виноградников и на патенты — казна получала бы громадные суммы без накладных расходов и не притесняя жителей, до этого обремененных налогами, часть которых притом растрачивалась на содержание самих чиновников. И налог ложился бы на плечи богатых, вместо того чтобы угнетать бедняков. Вот еще пример возможного обложения: пусть государство взимает с каждого налогоплательщика по одному-два франка за соль, и оно получит десять — двенадцать миллионов; существующий налог на соль отменяется; бедняки радуются, земледельцы облегченно вздыхают, государство получает то же самое, и ни один плательщик не в обиде: каждый из них, будь то промышленник или землевладелец, не мог бы тотчас не признать выгоды такого распределения налогов, видя, как благодаря ему улучшается жизнь в глухих деревнях и развивается торговля. И, наконец, для государства было бы немаловажно, если бы из года в год все возрастало число зажиточных плательщиков. От упразднения административного аппарата, взимающего косвенные налоги,—механизма, который стоит очень дорого и является как бы государством в государстве,— чрезвычайно выиграли бы и казна и частные лица, хотя бы благодаря экономии расходов по сбору. На табак и порох был бы наложен акциз, и торговля ими находилась бы под контролем. Система этого акциза, разработанная не Рабурденом, а другими лицами при возобновлении закона о монополии на табак, оказалась очень убедительной, но закон этот так и не прошел бы в палате, если бы министерство не заключило с ней сделку. Это был тогда не столько вопрос финансовый, сколько вопрос общегосударственный.

После проведения реформы Рабурдена государству уже не должны были принадлежать ни леса, ни копи, ни право эксплуатации. Ибо государство, владеющее какими-то угодьями, представлялось Рабурдену администра-

тивной нелепостью: извлекать доходы оно не умеет и притом лишается налогов — поэтому теряет вдвойне. Та же нелепость наблюдается и в государственной промышленности: фабрики, принадлежащие государству, покупают сырье по более дорогой цене, чем фабрики, принадлежащие частным лицам, медленнее обрабатывают его, и вместе с тем это сокращает налоговые поступления от частной промышленности, урезывая ее снабжение. Разве это называется управлять страной, если власть сама занимается промышленным производством, вместо того чтобы содействовать развитию промышленности, и владеет собственностью, вместо того чтобы поощрять всевозможные виды владения? В системе Рабурдена государство уже не требовало ни одного денежного залога. Оно допускало только ипотеки. И вот почему: если государство хранит залоговые суммы, оно этим задерживает денежные обращения; если оно помещает залоги под более высокие проценты, чем дает само,— это низкое воровство; если оно на таких операциях теряет — это глупо; а кроме того, если оно в один прекрасный день сосредоточит в своих руках всю массу залогов, то может в некоторых случаях прийти к страшному банкротству.

Земельный налог не уничтожался окончательно. Рабурден частично сохранял его, как опорную точку на случай войны; но продукты сельского хозяйства освобождались от обложения, а отечественная промышленность благодаря дешевизне сырья могла бороться с заграничными товарами без обманчивой помощи таможенных пошлин. Люди богатые должны были бесплатно управлять округами, и, при некоторых условиях, их награждали бы за это званием пэра. Таким образом, все должностные лица, весь состав канцелярий, от высших до низших чинов, могли быть уверены в том, что их труды ждет достойная награда. Любому чиновнику предстояло пользоваться огромным уважением, подобающим ему и по объему его работы и по размерам оклада; каждому предлагалось самому заботиться о своем будущем, и злокачественные опухоли пенсий уже не должны были разъедать тело Франции. В результате, как высчитал Рабурден, государственные расходы не превысят семисот миллионов, а доходы будут равняться одному миллиарду двумстам миллионам. Он предназначал пятьсот миллионов еже-

годно на погашение государственного долга,— что было бы, надо полагать, более целесообразно, чем нынешнее мизерное погашение, бессмысленность которого давно доказана. Ведь государство, кроме всего прочего, стремилось еще быть рантье, так же как оно упорствовало в своем желании владеть землями и фабриками. А на то, чтобы провести все эти реформы без потрясений и избежать Варфоломеевской ночи для чиновников, Рабурден требовал двадцать лет.

Таковы были мысли, которые этот человек вынашивал с того самого дня, когда предназначенное ему место было вдруг отдано г-ну де ла Биллардиеру, человеку бездарному. Составление плана преобразований, на первый взгляд столь обширных, а на деле столь простых,—плана, упразднявшего столько командных пунктов и столько мелких должностей, в равной мере ненужных, потребовало от Рабурдена постоянных подсчетов, точных статистических данных, неопровержимых доказательств.

Рабурден долго изучал бюджет в его двуликости: с одной стороны — способы и возможности его пополнения, с другой — расходы. Поэтому немало ночей просидел над проектом его автор, о чем супруга и не подозревала. Но задумать подобный план, чтобы возвести новое здание на развалинах административной власти,— это только половина дела: предстояло еще отыскать министра, способного его оценить. Таким образом, успех Рабурдена зависел прежде всего от успокоения в государственной политике, которая была еще далеко не устойчива. Только когда триста депутатов отважились образовать сплоченное и постоянное правительственное большинство, он решил, что наконец правительство сидит крепко. На этой основе к моменту, когда Рабурден закончил свой труд, успела сложиться и устойчивая исполнительная власть. В те годы роскошь мирного времени, которым страна была обязана Бурбонам, заставляла забыть о роскоши военных дней, когда Франция представляла собой как бы огромный лагерь, блистательный в своем расточительном великолепии оттого, что он был лагерем победителей. После испанской кампании правительство, казалось, вступило на тот мирный путь, на котором только и возможно осуществлять благие преобразования, и уже прошло три месяца, как беспрепятственно началось новое

царствование — ибо либералы левой приветствовали Карла X с тем же энтузиазмом, что и правые круги. Все это могло обмануть даже самых прозорливых. И Рабурден решил, что подходящий момент настал. Разве проведение в жизнь реформы, сулящей столь великие результаты, не является для исполнительной власти гарантией ее прочности? Вот почему этот человек и утром, когда шагал в министерство, и вечером, возвращаясь в половине пятого домой, был поглощен своими мыслями больше, чем когда-либо.

С другой стороны, г-жа Рабурден, придя в отчаяние от своей неудавшейся жизни и утомленная тайными усилиями, с помощью которых ей удавалось раздобывать себе хоть какие-то наряды, никогда еще не выказывала себя до такой степени обиженной и озлобленной; но как жена, привязанная к своему мужу, она считала недостойным женщины, стоящей выше прочих, те постыдные шашни, с помощью которых супруги иных чиновников восполняли недостаточность мужниных окладов. Именно эта причина заставила ее совершенно порвать с г-жой Кольвиль, связанной в те времена с Франсуа Келлером и затмевавшей своими вечерами приемы на улице Дюфо. Г-жа Рабурден приняла сосредоточенность политического мыслителя и озабоченность неподкупного труженика за унылую апатию чиновника, подавленного канцелярской скукой, побежденного самой отвратительной нуждой — убогим существованием, при котором только не умираешь с голода,— и изнывала от сознания, что вышла замуж за человека, лишенного всякой энергии. Примерно тогда она и возымела великое намерение своими руками создать Рабурдену успех и, скрыв тайные пружины своих махинаций, любой ценой протолкнуть мужа вперед. Она внесла в это решение ту независимость мысли, которая ей была присуща, и поставила себе целью подняться выше других женщин, пренебрегая их ничтожными предрассудками и не стесняясь теми преградами, какие им ставит общество. В своей ярости она хотела побить глупцов их же оружием и, если нужно, рискнуть собой. Словом, она взирала на жизнь как бы с вершины.

Случай ей благоприятствовал. Г-н де ла Биллардиер, подтачиваемый неизлечимой болезнью, должен был вот-вот умереть. Если его должность перейдет к Рабурдену,

думала она, то таланты Ксавье — а Селестина признавала за ним таланты администратора — будут, несомненно, оценены и он наконец получит некогда обещанное ему место докладчика государственного совета; она уже видела его королевским комиссаром, защищающим законопроекты в палате; а она стала бы помогать ему! Если надо, она сделалась бы его секретарем, она просиживала бы ночи напролет за работой! И все это — чтобы ездить в Булонский лес в прелестной коляске, чтобы ни в чем не уступать Дельфине де Нусинген, чтобы поднять свой салон на высоту салона г-жи Кольвиль, быть в числе приглашенных на рауты в министерстве, покорять публику; чтобы ее имя — г-жа Рабурден де... (она еще не знала названия своего поместья) — звучало так же внушительно, как имя г-жи Фирмиани, г-жи д'Эспар, г-жи д'Эглемон, г-жи де Карильяно,— словом, чтобы прежде всего скрасить ужасную фамилию — Рабурден.

Эти тайные планы вызвали в ее домашней жизни кое-какие перемены. Г-жа Рабурден начала с того, что решительно вступила на путь долгов. Снова был нанят лакей, и она одела его в скромную ливрею коричневого сукна с красными кантами. Она обновила часть меблировки, сменила в комнатах обои, украсила квартиру цветами, которые постоянно меняла, уставила ее безделушками, что стало тогда входить в моду; затем эта женщина, раньше скромная в расходах на себя, вдруг без колебаний решила, что ее туалеты должны соответствовать тому положению, на которое она притязала; и, в расчете на него, некоторые магазины стали отпускать в кредит необходимые ей боевые доспехи. Чтобы сделать модными свои среды, она регулярно давала обед по пятницам, рассчитывая, что те же гости будут приходить и по средам, когда можно ограничиться одним чаем. Она умело выбирала людей, приглашая к себе влиятельных депутатов и всех, кто мог прямо или косвенно служить ее интересам. И ей в конце концов удалось создать вполне приличный круг знакомств. У г-жи Рабурден бывало очень весело — по крайней мере так говорили,— а этого в Париже достаточно, чтобы привлечь внимание. Рабурден был настолько поглощен завершением своего большого и важного труда, что и не заметил, как в его домашней жизни появилась роскошь.

Таким образом, и муж и жена атаковали ту же крепость, действуя параллельно и тайком друг от друга.

В те времена в министерстве процветал на должности секретаря министра некий г-н Клеман Шарден де Люпо, одна из тех личностей, которых поток политических событий выбрасывает на поверхность и удерживает там в течение нескольких лет, а затем, в грозу, опять уносит, и вы находите этого человека уже бог знает на каком далеком побережье,— он похож тогда на корабль, потерпевший крушение, но сохранивший черты былого величия. И путник спрашивает себя, не служил ли некогда этот корабль для доставки драгоценных грузов, не был ли он свидетелем важных событий, не участвовал ли в какой-нибудь схватке, не украшался ли бархатными складками престола, не перевозил ли останки государя?.. В этот период Клеман де Люпо («Люпо» поглотил «Шардена») достигал вершины своего успеха. В жизни людей, как самых прославленных, так и самых безвестных, у животного, как и у секретаря министра, существуют зенит и надир, бывает время, когда и мех всего великолепнее и счастье сияет полным блеском. Согласно номенклатуре, созданной баснописцами, де Люпо принадлежал к роду Бертранов и занят был только отысканием Ратонов; а так как он является одним из главных актеров этой драмы, то заслуживает тщательного описания — тем более что Июльская революция упразднила его пост, в высшей степени полезный для конституционных министров.

Обычно моралисты расточают свой пыл на обличение вопиющих злодеяний. Для них существуют только те преступления, которые рассматриваются судом присяжных или исправительной полицией,— тайные социальные язвы от них ускользают; умение разглядеть проныру, торжествующего под защитой закона,— это выше (или ниже) их способностей, у них нет ни лупы, ни подзорной трубы, им нужны здоровенные, добротные ужасы, иначе они ничего не увидят. Вечно занятые хищниками, они забывают о рептилиях и, к счастью для авторов комедий, целиком предоставляют им изображать во всех оттенках характер таких людей, как Шарден де Люпо. Эгоистичный и тщеславный, увертливый и надменный, распутник и чревоугодник, обремененный долгами и поэтому жадный до денег; умеющий молчать как моги-

ла, откуда никто не встанет, чтобы опровергнуть надпись, предназначенную для прохожих, упорный и бесстрашный, когда он чего-нибудь добивается, любезный и остроумный в истинном смысле этого слова, при случае — насмешник, но одаренный большим тактом, способный вас скомпрометировать не только презрительным толчком, но и дружеской улыбкой, не отступающий перед самыми большими лужами и грациозно перепархивающий через них, дерзкий вольтерьянец и в то же время усердный посетитель мессы в церкви св. Фомы Аквинского, когда там собирается высшее общество,— секретарь министра был подобен всем ничтожествам, составляющим ядро политической жизни. Зная науки только с чужих слов, он брал на себя роль слушателя, и трудно было найти более внимательного. А чтобы не вызывать подозрений, он становился льстивым до тошноты, вкрадчивым, как запах духов, и ласковым, как женщина. Ему должно было скоро исполниться сорок лет. В молодости судьба долго испытывала его терпение, приводя де Люпо в отчаяние, ибо он чувствовал, что для политической карьеры необходимо депутатство.

Как он вышел в люди? — спросите вы. Да очень простым способом. Будучи своего рода Бонно в области политики, де Люпо брал на себя щекотливые поручения, которые нельзя было доверить ни тому, кто себя уважает, ни тому, кто себя не уважает: их доверяют людям серьезным и вместе с тем сомнительным, которых можно потом узнавать или не узнавать. Де Люпо всегда был чем-нибудь скомпрометирован и продвигался вперед столько же благодаря победам, сколько и благодаря поражениям. Он понял, что во времена Реставрации, в годы, когда постоянно приходилось примирять между собой людей и обстоятельства, события уже совершившиеся с теми, которые еще собирались тучами на горизонте,— власть будет нуждаться в домоправительнице. Лишь только в доме появляется старуха, знающая, как застилать постели, куда выметать сор, куда бросать грязное белье и откуда вынимать чистое, где хранить столовое серебро, как уговорить кредитора, каких людей следует принять, а каких выгнать вон,— пусть даже эта старуха порочна, грязна, кривонога и беззуба, пусть она увлекается лотереей и ежедневно тащит из дому по

тридцать су на покупку билета, хозяева все-таки будут привязаны к ней, они будут при ней советоваться в обстоятельствах самых критических, ибо она всегда тут, вовремя напомнит о забытых возможностях выпутаться из беды и пронюхает тайны, вовремя подсунет банку с румянами и шаль; ее бранят, спускают с лестницы, а на другой день, когда хозяева проснутся, она как ни в чем не бывало подаст им превосходный бульон. Сколь ни велик государственный деятель, он всегда нуждается в подобной домоправительнице, перед которой может позволить себе быть слабым, нерешительным, мелочно спорить с собственной судьбой, вопрошать себя самого, отвечать себе и подбадривать себя перед сражением.

Не напоминает ли подобная домоправительница мягкое дерево, из которого, при трении о жесткое, дикари высекают огонь? Сколько гениев загорались именно таким образом. При Наполеоне такой домоправительницей был Бертье, а при Ришелье — отец Жозеф.

Де Люпо был всеобщей домоправительницей. Он оставался другом павших министров, готовясь к роли посредника между ними и восходящими светилами, так, чтобы еще благоухала его последняя лесть и дышала фимиамом первая любезность. Кроме того, он отлично разбирался в тысяче мелочей, о которых государственному мужу некогда подумать: он понимал, что такое необходимость, он умел повиноваться; сам подтрунивая над своей низостью, он ее облагораживал, чтобы набить ей цену, и стремился оказать именно такую услугу, которая не забывается. Так, когда пришлось переходить через ров, отделявший Империю от Реставрации, и каждый искал для этого дощечку, когда шавки Империи разрывались от преданного лая, де Люпо выехал за границу, предварительно заняв крупные суммы у ростовщиков. Поставив все на карту, он скупил наиболее скандальные векселя Людовика XVIII и таким образом первый ликвидировал около трех миллионов долга из двадцати процентов, ибо он не терял времени и извлек для себя пользу из событий 1814 и 1815 годов. Барыши загребли господа Гобсек, Вербруст и Жигонне, которые были маклерами этого предприятия; де Люпо им так и обещал. Сам он рисковал не какой-то одной ставкой, он шел на весь банк, отлично зная, что Людовик XVIII не из тех,

кто забывает подобные услуги. В результате де Люпо был назначен докладчиком государственного совета и награжден орденом Святого Людовика, а также офицерским крестом Почетного легиона. Взобравшись наверх, этот ловкий человек стал искать способа, чтобы удержаться на достигнутой ступеньке; ведь в той крепости, куда он проник, генералы не склонны потворствовать дармоедам. Поэтому, в дополнение к роли домоправительницы и сводни, де Люпо взял на себя еще роль бесплатного консультанта по секретным болезням власти. Поняв, насколько деятели Реставрации ничтожны в сравнении с управляющими ими событиями и как обманчиво их мнимое превосходство, он стал взимать дань с этих посредственных умов, открывая и продавая им в самый разгар кризисов те лозунги, которые люди талантливые подслушивают у будущего. Не думайте, чтобы он был способен угадывать подобные лозунги сам: в таком случае де Люпо был бы гением, а он был всего лишь умным человеком. Нет! Этот Бертран бывал всюду, прислушивался к чужим мнениям, зондировал людскую совесть и перехватывал ее тайные голоса. Он собирал сведения, точно поистине неутомимая политическая пчела. Однако де Люпо, этот ходячий лексикон Бейля, вел себя отнюдь не так, как знаменитый словарь, он не приводил все точки зрения, без отбора: у него был верный нюх, и он сразу, как кухонная муха, набрасывался на самое жирное мясо. Поэтому он прослыл человеком необходимым, правой рукой государственных деятелей. Уверенность в этом пустила повсюду столь глубокие корни, что честолюбцы, достигнув цели, старались скомпрометировать де Люпо, чтобы помешать ему подняться еще выше, а за отсутствие общественного веса вознаграждали его своим тайным доверием. Чувствуя всеобщую поддержку, этот ловец чужих мыслей требовал задатка. Получая жалованье от генерального штаба национальной гвардии, где у него была синекура, оплачиваемая городом Парижем, он состоял еще комиссаром правительства при «Анонимном обществе», а также инспектором дворцового ведомства. Две его официальные должности, оплачиваемые из бюджета, были: место секретаря министра и место докладчика государственного совета. В последнее время он поставил себе целью сде-

латься командором ордена Почетного легиона, камер-юнкером, графом и депутатом.

Чтобы стать депутатом, надо было платить тысячу франков налога, а жалкий домишко де Люпо едва приносил пятьсот франков в год. Где же взять денег, чтобы вместо дома построить замок, окружить его значительными земельными владениями и во время своих наездов туда пускать пыль в глаза всей округе? Хотя де Люпо обедал каждый день в гостях, хотя вот уже девять лет как имел казенную квартиру и держал лошадей за счет министерства, в тот период его жизни, когда начинается наше повествование, за ним, после всех расчетов, оставалось еще на тридцать тысяч долгов, уплаты которых никто, впрочем, пока не требовал. Но только брак мог спасти честолюбца из трясины этих долгов; однако выгодный брак зависел от его служебного продвижения, а продвижение — от звания депутата. Стремясь вырваться из этого порочного круга, он видел только два выхода: или оказать кому-нибудь огромную, незабываемую услугу, или состряпать какое-нибудь исключительно выгодное дельце. Но, увы! Заговоры были не в моде, и Бурбоны, видимо, взяли верх надо всеми партиями. Кроме того, за истекшие несколько лет правительство столько раз подвергалось критике в результате глупейших нападок левой, которая старалась сделать невозможным во Франции всякое правительство вообще, что предпринимать политические аферы было уже невозможно. Последние имели место в Испании — и сколько же о них кричали! Для де Люпо трудности еще возросли оттого, что он поверил в дружеские чувства своего министра и имел неосторожность признаться ему в своем желании попасть на министерские скамьи. Министры догадались, откуда у него это желание: де Люпо хотел упрочить свое шаткое положение и впредь от них не зависеть. Лягавый пес взбунтовался против охотников. Видя это, министры то били его плеткой, то ласкали; они создали ему соперников,— однако де Люпо повел себя, как опытная куртизанка с начинающей: он ловко расставил соперникам капканы, они попались, и он живо с ними расправился. Чем более он чувствовал себя под угрозой, тем сильнее ему хотелось раздобыть несменяемую должность; однако играть нужно было крайне осторожно,

ибо можно было сразу все потерять. Росчерк пера — и полетят его эполеты полковника гражданской службы, его инспекторство, его синекура в «Анонимном обществе», обе его штатные должности со всеми их преимуществами: в целом — шесть мест, которые ему удалось сохранить под обстрелом закона о совместительстве. Он не раз грозил своему министру, как угрожает женщина любовнику, и заявлял, что женится на богатой вдове; и тогда министр начинал ублажать своего дорогого де Люпо. Во время одного из таких примирений ему, наконец, совершенно официально посулили место в Академии надписей и литературы при первой же вакансии, но этого, говорил он, ему могло хватить на одну понюшку.

Клеман Шарден де Люпо находился в крайне выгодном положении: он напоминал дерево, посаженное в благоприятную почву. Он мог дать волю своим порокам и фантазиям, своим добродетелям и своим недостаткам.

Его труды сводились к следующему: ежедневно из пяти-шести домов, куда он бывал приглашен к обеду, он должен был выбрать тот, где лучше всего кормят. Каждый день он приходил на утренний прием к министру — посмешить своего начальника и его жену, приласкать детей и поиграть с ними. Затем час-другой работал, то есть, развалившись в удобнейшем кресле, просматривал газеты, диктовал письма; или, когда министра не было дома, принимал посетителей, объяснял чиновникам в общих чертах их задачу, выслушивал или давал пустые обещания; глядя через очки, небрежно пробегал прошения и делал пометки на полях, означавшие: «Мне наплевать, решайте, как хотите!» Все чиновники знали, что только если де Люпо лично заинтересован кем-либо или чем-либо, он в дело вмешивается сам. Секретарь разрешал старшим чиновникам непринужденно болтать о разных щекотливых вопросах и прислушивался к их пересудам. Время от времени он ездил во дворец, чтобы получить очередной лозунг. И наконец, когда бывали заседания, дожидался приезда министра из палаты, чтобы узнать, не следует ли придумать и осуществить какие-нибудь маневры. Затем министерский сибарит переодевался, обедал и от восьми часов вечера до трех часов ночи посещал десять — пятнадцать салонов. В Опере он беседовал с журналистами, так как был с

ними на короткой ноге; между ними и де Люпо происходил непрерывный обмен мелкими услугами, он выкладывал им свои сомнительные новости и жадно слушал их сплетни; он удерживал их от нападения на того или другого министра по тому или другому поводу, уверяя, что это слишком огорчит жену министра или любовницу.

— Заявите, что новый законопроект никуда не годится, и, если можете, приведите доказательства, но не вздумайте писать, что Мариетта плохо танцевала. Браните нас сколько угодно за привязанность к нашим ближним в юбках, но не выдавайте наших холостых проказ. Черт возьми! Всем надо перебеситься, а что ждет нас впереди — неизвестно, уж такие пришли времена. Вот вы, друг мой, сейчас подсаливаете статьи в «Конститюсьонеле», а можете сделаться министром!

В отплату он оказывал услуги издателям, устранял препятствия для постановки какой-нибудь пьесы, кстати выхлопатывал денежные награды, угощал, кого нужно, хорошим обедом, обещал содействовать окончанию какого-нибудь дела. Впрочем, он искренне любил литературу и покровительствовал искусствам: у него было собрание автографов, великолепные альбомы, полученные бесплатно эскизы и картины. Он делал много добра художникам уже тем, что не вредил им и поддерживал их в тех случаях, когда мог без особых затрат потешить их самолюбие. Поэтому все эти художники, актеры, журналисты любили его. Во-первых, они страдали теми же пороками и той же ленью, что и их покровитель, а потом и он и они так ловко вышучивали всех и вся между двумя встречами с танцовщицами! Как же тут не подружиться! Не будь де Люпо секретарем министра, он был бы журналистом. И за пятнадцать лет борьбы, пока колотушка эпиграммы не пробила брешь, через которую прорвалось возмущение, де Люпо не получил даже царапины.

Видя этого человека в министерском саду играющим в шары с детьми его превосходительства, чиновничья мелкота тщетно ломала себе голову, стараясь разгадать тайну его влияния и характер его деятельности, а канцелярские политиканы из всех министерств считали его опаснейшим Мефистофелем, преклонялись перед ним и возвращали ему с процентами ту лесть, которую он рас-

точал в высших сферах. Польза, приносимая секретарем министра, непостижимая, как загадочный иероглиф, для людей маленьких, была ясна, как дважды два четыре, для заинтересованных лиц. В его задачу входило отбирать советы и идеи, делать устные доклады,— и этот принц Ваграмский в миниатюре при министерском Наполеоне знал все тайны парламентской политики, подогревал колеблющихся, вносил, а то и разносил предложения, изрекал вслух те «да» и «нет», на которые не отваживался министр. Готовый принимать на себя первые удары и первые взрывы отчаяния или гнева, он скорбел и радовался вместе с министром, являясь одним из тайных звеньев, связующих интересы многих с дворцом, и, умея хранить секреты, как духовник, он, казалось, знал все и ничего не знал; помимо этого, он говорил о министре то, что самому министру было бы трудно сказать о себе. И наконец с этим политическим Гефестионом министр позволял себе быть самим собой: снять парик и вынуть искусственную челюсть, отложить тревоги и забыться, надеть ночные туфли, совлечь покровы со своих мошенничеств и разуть свою совесть. Однако положение де Люпо было не из легких: он льстил своему министру и давал ему советы, вынужденный прикрывать лесть советом и совет — лестью. Почти у всех политических деятелей, занимающихся подобным ремеслом, довольно желчный цвет лица, а постоянная привычка утвердительно кивать головой, соглашаясь с тем, что тебе говорят, или делая вид, будто соглашаешься, придает их чертам какое-то странное выражение. Ведь такие люди одобряют решительно все, что бы ни сказали в их присутствии, и речь их уснащена всевозможными «но», «однако», «все же», «я бы на вашем месте» (им особенно часто приходится говорить «на вашем месте») — словом, всеми оговорками, которые служат переходом к возражениям.

По внешности Клеман де Люпо представлял собой как бы остатки красивого мужчины: рост — пять футов четыре дюйма, полнота еще терпимая, лицо красное от излишеств и потасканное, напудренные волосы, причесанные а ля Тит Андроник, небольшие очки в тонкой оправе; видимо, он был когда-то белокур, судя по рукам, белым и пухлым, какие бывают у состарившихся блон-

динок, с тупыми пальцами и короткими ногтями — рукам сатрапа. Нога была не лишена изящества. После пяти часов де Люпо появлялся всюду в неизменном наряде: шелковые ажурные чулки, башмаки, черные панталоны, кашемировый жилет с золотой цепочкой от часов, синий фрак с резными пуговицами и орденскими ленточками; его батистовый носовой платок не был надушен. По утрам же он носил сапоги со скрипом, серые панталоны и коротенький сюртучишко. И тут он гораздо больше напоминал продувного стряпчего, чем министра. Когда он случайно снимал очки, его глаза беспомощно моргали, и это делало его более некрасивым, чем он был на самом деле. Для людей проницательных и честных, которым дышится легко только в атмосфере правдивости, де Люпо был невыносим: в его слащавых манерах так и сквозила лживость, его любезные заверения и милые шутки, всегда новые для дураков, были слишком затасканы. Каждый, кто обладал проницательностью, видел, что это — подгнившая доска и что на нее ни в коем случае надеяться не следует. Как только прекрасная г-жа Рабурден снизошла до заботы о служебной карьере своего мужа, она тут же разгадала, что за человек Клеман де Люпо, и принялась изучать его, желая узнать, сохранилось ли в этой гнилушке хоть несколько крепких древесных волокон, чтобы по ней можно было ловко перебежать от канцелярии к отделению, а от восьми тысяч франков — к двенадцати; и выдающаяся женщина решила, что ей удастся провести этого развращенного политикана. Таким образом, г-н де Люпо оказался отчасти виновником тех чрезвычайных издержек в доме Рабурденов, от которых, раз начав, Селестина уже не могла отказаться.

На улице Дюфо, застроенной во времена Империи, стояло несколько домов с красивыми фасадами и удобными квартирами. Помещение, занимаемое Рабурденами, было чрезвычайно удачно расположено — преимущество, немало способствующее облагораживанию домашней жизни. Поместительная и премиленькая прихожая, окнами во двор, вела в большую гостиную, выходившую на улицу. Направо от гостиной были кабинет и спальня самого Рабурдена, за ними —столовая, имевшая выход в прихожую; налево — спальня г-жи Рабурден,

ее туалетная и комнатка дочери. В дни приемов двери в кабинет хозяина и в спальню хозяйки стояли открытыми. Просторные комнаты давали Рабурденам возможность принимать у себя избранное общество, и их вечера не имели того оттенка комизма, которым отличаются вечера в иных мещанских домах, где приходится ради больших приемов прибегать к перестановкам и нарушать распорядок повседневной жизни. Гостиную заново обили желтым шелком с коричневым рисунком; спальню г-жи Рабурден обтянули «настоящими персидскими» тканями и обставили мебелью в стиле рококо. В кабинет Рабурдена перекочевала обивка гостиной, тщательно вычищенная, а на стенах появились прекрасные полотна, оставшиеся после Лепренса. Столовую дочь оценщика убрала коврами, купленными по случаю ее отцом,— чудесными турецкими коврами, обрамленными старым черным деревом, которому сейчас нет цены. Обстановку этой комнаты довершали восхитительные буфеты Буль, также приобретенные покойным, а на самом видном месте поблескивали медными инкрустациями своей черепаховой облицовки те часы на цоколе, которые вошли в моду, когда пробудился интерес к шедеврам XVII века, и, заметим кстати, появились впервые именно у г-жи Рабурден.

Цветы наполняли своим благоуханием эти комнаты, убранные с таким вкусом и полные красивых вещей; каждая мелочь здесь являлась произведением искусства, была умело выделена и гармонировала с окружающими предметами; а среди всего этого г-жа Рабурден, одетая с той оригинальной простотой, какая присуща только художественным натурам, принимала гостей, держась как женщина, настолько привыкшая к красоте и роскоши, что она их даже не замечает, и предоставляла блеску своего ума довершать впечатление, производимое прекрасным ансамблем. Как только рококо вошло в моду, о Селестине заговорили,— этим она была обязана отцу.

Хотя де Люпо и привык ко всем видам роскоши, большой и малой, поддельной и настоящей, но, очутившись у г-жи Рабурден, он все же изумился; парижский Асмодей был словно заворожен, а почему—нам пояснит сравнение. Представьте себе путешественника, утомившегося тысячей живописнейших пейзажей Италии, Брази-

лии, Индии; но вот он возвращается на родину и по пути вдруг видит перед собой прелестное маленькое озеро, подобное хотя бы озерцу Орта у подножия Монте-Розы,— зеленый остров среди тихих вод, миловидный и простой, наивный и все же нарядный, одинокий и все же не заброшенный: его украшают грациозные купы деревьев, стройные статуи... Берега озера пустынны, но возделаны; все грандиозное и его тревоги остались позади... Здесь же все соразмерно человеку. Огромный мир, некогда открывшийся путешественнику, снова предстает пред ним в малом виде, скромный и чистый; и его отдохнувшая душа зовет его остаться здесь, ибо какое-то певучее и поэтическое очарование овевает его своей гармонией, будит в нем все живые помыслы. Это и монастырь и жизнь!

За несколько дней до того прекрасная г-жа Фирмиани, одна из самых прелестных женщин Сен-Жерменского предместья, очень любившая г-жу Рабурден и принимавшая ее у себя, спросила де Люпо (который и приглашен был нарочно затем, чтобы услышать эту фразу): «Почему вы не бываете у госпожи Рабурден? — И, указав при этом на Селестину, хозяйка продолжала: — Она дает прелестные вечера, а особенно обеды... они вкуснее, чем у меня». Обольстительной г-же Рабурден удалось выманить у него обещание, что он посетит ее, причем, беседуя с де Люпо, она впервые подняла на него глаза. Он отправился-таки на улицу Дюфо,— разве этим не все сказано? Как замечает Фигаро, женщина хитрит только на один лад, но зато действует без промаха. Обедая впервые у скромного правителя канцелярии, де Люпо решил повторять иногда эти посещения. И вот, благодаря сдержанному и скромному кокетству очаровательной женщины, которую ее соперница, г-жа Кольвиль, прозвала Селименой с улицы Дюфо, он целый месяц там обедал каждую пятницу и, уже повинуясь собственному влечению, приходил по средам выпить чашку чаю. А г-жа Рабурден, после весьма умелой и тонкой разведки, уже несколько дней, как, наконец, решила, что ею все-таки найдено на прогнившей министерской доске то место, куда в случае надобности можно будет поставить ножку. И ничуть не сомневалась в успехе. Ее радость способны понять только семьи чиновников,

где за три-четыре года вперед подсчитываются достатки, ожидающие их после желанного назначения, мечту о котором они так нежно ласкают и лелеют. Наконец-то удастся избавиться от всех этих мук, от молений, обращенных к министерским божествам, от визитов к нужным людям! Да, благодаря своей решительности г-жа Рабурден уже слышала, как бьет тот час, который должен принести ей двадцать тысяч в год вместо восьми.

«И вела я себя хорошо,— размышляла она при этом.— Правда, я несколько поиздержалась; но что поделаешь, мы живем в такое время, когда никто не станет разыскивать скрытые добродетели; если же быть на виду, оставаться в обществе, поддерживать отношения с людьми и завязывать новые, то можно все-таки преуспеть. В конце концов, министры и их друзья интересуются только теми, кого они видят, а Рабурден совершенно не знает света. Если бы я не окрутила этих трех депутатов, они, может быть, сами польстились бы на место де ла Биллардиера; а так как они бывают у меня, то им совестно соперничать с нами, и они готовы нас поддержать. Пусть я немного и пококетничала, но, к счастью, можно было ограничиться самыми невинными пустяками, которые нравятся мужчинам».

В день, когда неожиданно началась настоящая борьба за место Биллардиера, после обеда у министра, перед одним из тех вечеров, которым министры придают официальный характер, де Люпо стоял у камина, подле хозяйки дома. Отпивая маленькими глотками кофе, он снова отозвался о г-же Рабурден как об одной из семи-восьми самых выдающихся женщин парижского света. Не впервые он упоминал ее имя: он действовал им, как капрал Трим — своей шапкой.

— Не повторяйте этого слишком часто, мой друг, вы ей только повредите,— заметила с усмешкой жена министра.

Но какой женщине приятно, когда в ее присутствии превозносят другую? Каждая непременно постарается вставить слово и прибавит к похвале каплю уксуса.

— Бедняга де ла Биллардиер при смерти,— сказал его превосходительство,— и место должно перейти к Рабурдену, ведь это один из наших опытнейших чиновников; наши предшественники были к нему несправедли-

вы, хотя один из них и получил полицейскую префектуру лишь благодаря некоему лицу, взявшему с него обещание содействовать Рабурдену. Право же, мой друг, вы еще достаточно молоды, чтобы вас любили ради вас самих...

— Если место де ла Биллардиера достанется Рабурдену, значит, мне можно верить, когда я говорю о превосходстве его жены,— отозвался де Люпо, почувствовав иронию в словах министра,— но если графине угодно убедиться самой...

—...то я должна пригласить ее к себе на первый же бал, не правда ли? И ваша выдающаяся женщина появится здесь среди особ, которые только затем и ездят ко мне, чтобы над нами насмехаться; и они услышат, как лакей доложит: «Госпожа Рабурден»?

— А разве на приемах у министра иностранных дел не докладывают: «Госпожа Фирмиани»?

— Ну, ведь она же урожденная Кадиньян!..— с живостью возразил новоиспеченный граф, метнув грозный взгляд на своего секретаря, ибо ни он, ни его супруга не были дворянского происхождения.

Многие из присутствующих решили, что разговор идет о важных делах, и просители не осмеливались подойти. Когда де Люпо ушел, новоиспеченная графиня сказала мужу:

— Кажется, де Люпо влюблен.

— Тогда это первый раз в его жизни,— ответил супруг, пожав плечами и словно желая сказать, что де Люпо такими пустяками не занимается.

Тут министр увидел входящего депутата центра и покинул жену, чтобы обласкать его и привлечь на свою сторону этот еще не определившийся голос. Однако депутат, на которого обрушилась нежданная беда, хотел заручиться протекцией на будущее и пришел сообщить по секрету, что вынужден на днях сложить свои полномочия. Таким образом, министерство, получив предупреждение, могло начать обстрел раньше, чем оппозиция.

Министр, вернее де Люпо, пригласил в тот день к обеду одного из бессменных служащих министерства — вы найдете их в любом ведомстве. Этот чиновник, чувствовавший себя здесь довольно неловко, все же старался

придать себе достойный вид и точно окаменел на месте, вытянувшись и плотно сдвинув ноги, как египетская мумия.

Стоя возле камина, он ждал подходящей минуты, чтобы поблагодарить секретаря министра, и уже придумал соответствующую любезность, когда де Люпо внезапно удалился. Чиновник этот был не кто иной, как министерский кассир — единственный человек, не боявшийся смены министров.

В ту пору бюджет, составляемый палатой, еще не был столь скаредной и убогой стряпней, какой он является в наше печальное время; тогда в нем гнусно не урезывалось министерское жалованье, государство не экономило, выражаясь кухонным языком, «на объедках» и каждому министру, вступавшему на свой пост, предоставляло, так сказать, *подъемные*. Ведь, увы, стать министром и перестать им быть — стоит денег! Если человек делается министром, это влечет за собой всевозможные расходы, иные из них неприлично даже и подсчитывать! Подъемные же составляли кругленькую сумму в двадцать пять тысяч франков. Приказ публиковался в «Монитере», и пока чиновники — и важные и мелкота,— сидя перед печкой или камином и сотрясаемые опасной бурей перемещений, гадали в тревоге за свои места: а что этот придумает, увеличит ли он число чиновников, выгонит ли двух, чтобы посадить на их место трех? — невозмутимый кассир, отсчитав двадцать пять новеньких банковых билетов, скалывал их булавкой, и на его лице, елейном, как у соборного привратника, запечатлевалось выражение почтительной радости. Он поднимался по внутренней лестнице в апартаменты министра и внушал его людям, не делающим различия между деньгами и тем, кому они доверены, между содержимым и содержащим, между идеей и формой, чтобы они тотчас доложили о нем, как только его превосходительство проснется. Кассир обычно заставал министерскую чету на заре восторгов, когда государственный муж еще бывает благодушен и щедр. В ответ на вопрос министра: «Что вам угодно?» — кассир извлекал из кармана пачку радужных кредиток и, вручая их, ответствовал, что поспешил-де принести его превосходительству причитающиеся подъемные, а затем, обращаясь к его супруге,

разъяснял, что так уж принято, а она, изумленная и обрадованная, немедленно завладевала частью этой суммы, а то и всей целиком. Вопрос о сохранении за кассиром его места решался, так сказать, семейным образом. Кассир делал обходный маневр и как бы вскользь подпускал министру несколько фраз вроде следующих: если их превосходительство соблаговолят сохранить за ним его должность, если они останутся довольны этой чисто механической работой, если... и т. д. Но так как человек, приносящий вам двадцать пять тысяч франков, не может не быть хорошим чиновником, то кассир обычно уходил от министра, получив обещание, что останется на своем посту, с которого он наблюдал уже четверть века, как министры приходят, уходят и отходят в вечность. Затем, угождая супруге министра, он приносил тринадцать тысяч министерского жалованья в те минуты, когда они были ей всего нужнее, то упреждая срок, то запаздывая, согласно ее приказаниям, и благодаря всем этим маневрам, по старинному монастырскому выражению, *сберегал себе голос в капитуле*.

Кассир Сайяр служил бухгалтером в казначействе, когда там велась двойная бухгалтерия; с ее упразднением он был переведен в министерство. Это был тучный и грузный человек, очень сильный по части счетных книг и очень слабый во всем остальном, круглый как нуль, простой как «здравствуйте»; размеренной слоновьей поступью шествовал он на службу и такой же поступью возвращался на Королевскую площадь, где проживал в нижнем этаже собственного дома. Попутчиком ему служил обычно г-н Изидор Бодуайе, правитель канцелярии в отделении г-на ла Биллардиера и сослуживец Рабурдена, женатый на единственной дочери кассира Елизавете и, разумеется, поселившийся в верхней квартире того же дома. Никто в министерстве не сомневался, что папаша Сайяр глуп, но никто не знал, до чего он глуп. Эта глупость была настолько непроходима, что ее невозможно было исследовать до дна, в ней не рождалось никакого отзвука, она все поглощала без возврата. Некий Бисиу (об этом чиновнике речь впереди) нарисовал карикатуру на кассира — голова в парике, посаженная на яйцо, под ним — коротенькие ножки и подпись: «Рожденный, чтобы платить

и получать, никогда не ошибаясь в счете. Немного меньше удачи— и быть бы ему артельщиком в банке; немного больше честолюбия — и быть бы ему уволенным».

Министр смотрел на своего кассира, как смотрят на карниз или лепной орнамент, даже не представляя себе, что орнамент может услышать его или разгадать его тайную мысль.

— Я желал бы обделать это дело с префектом в полной тайне, тем более что ведь у де Люпо есть кое-какие претензии,— говорил министр депутату, слагающему свои полномочия,— его домишко в вашем округе, а мы его избрания не желаем...

— Он слишком молод, и у него нет ценза,— отвечал депутат.

— Да, но ведь известно, как разрешили вопрос о возрасте в отношении Казимира Перье. Что касается годового дохода, то у де Люпо есть кой-какая собственность,— правда, она ничего не стоит, однако законом не возбраняется расширить свою недвижимость и кое-что прикупить. Комиссии обычно смотрят на все это сквозь пальцы, когда дело касается депутатов центра, а нам трудно будет противиться открыто, если этого субъекта захотят избрать.

— Но где же он возьмет деньги, чтобы прикупить недвижимость?

— А каким образом Манюэль оказался владельцем дома в Париже? — воскликнул министр.

«Орнамент» слушал, и притом поневоле. Хотя этот оживленный диалог и велся шепотом, однако, по какому-то еще малоисследованному капризу акустики, достигал до ушей кассира. И, знаете ли вы, какое чувство овладело толстяком, когда он услышал эти политические секреты? Невыразимый ужас! Сайяр принадлежал к той породе наивных людей, которые приходят в отчаяние от одного опасения, что кто-нибудь заподозрит, будто они подслушивают то, чего им слышать не следует, или нарочно входят туда, куда их не зовут, и они, вопреки своей скромности, прослывут любопытными и дерзкими.

Поэтому кассир, неслышно скользя по ковру, поспешил отступить, и, когда министр его наконец заметил, он оказался в дальнем конце комнаты. Сайяр, предан-

ный министерский служака, был нем, как могила, и неспособен на малейшую болтливость. Если бы министр знал, что кассир слышал его тайну, ему достаточно было бы сказать: ни гу-гу!

Сайяр воспользовался тем, что царедворцы все прибывали, подозвал фиакр, который он нанимал в своем квартале по часам в дни разорительных визитов, и вернулся к себе на Королевскую площадь.

В то время как папаша Сайяр разъезжал по улицам Парижа, его зять и его дорогая Елизавета занимались добродетельным бостоном в обществе своего духовника, аббата Годрона, нескольких соседей и некоего Мартена Фалейкса, владельца литейной мастерской в Сент-Антуанском предместье, которому именно Сайяр и ссудил необходимый капитал, чтобы тот мог открыть это выгодное предприятие.

Фалейкс, честный овернец, явившись в Париж с плавильным чаном за спиной, тут же поступил к Брезакам, известным спекулянтам, приобретавшим на слом старинные замки. Затем двадцатисемилетний Мартен Фалейкс, жаждущий, как и все, благосостояния, имел счастье вступить в компанию с г-ном Сайяром, давшим ему средства для эксплуатации некоего изобретения в литейном деле (получившего патент и золотую медаль на выставке 1825 года). Г-жа Бодуайе, единственной дочери которой, по выражению папаши Сайяра, уже «перевалило за двенадцать», остановила свой выбор на Фалейксе: это был коренастый, смуглый, чернявый юноша, энергичный, очень честный,— и она занялась его воспитанием. Согласно представлениям г-жи Бодуайе, воспитание это состояло в том, чтобы научить славного овернца играть в бостон, правильно держать карты и не позволять другим в них заглядывать; чтобы перед тем, как являться к ней, бриться и тщательно мыть руки простым мылом, не божиться, говорить на ее французском языке, носить сапоги вместо башмаков, коленкоровые рубашки вместо грубых холщовых, не прилизывать волосы. И вот уже неделя, как Елизавете удалось уговорить Фалейкса вытащить из ушей огромные плоские кольца, напоминавшие серсо.

— Вы слишком многого хотите, госпожа Бодуайе,— сказал он, видя, как она счастлива, что добилась от не-

го этои жертвы,— совсем надо мной власть забрали: заставляете зубы чистить, а они от этого только расшатываются; скоро вы потребуете, чтобы я чистил ногти да завивал волосы, а в нашем деле это не принято, у нас щеголей не любят.

Елизавета Бодуайе, урожденная Сайяр, была одной из тех женщин, которые не поддаются кисти художника по причине своей крайней заурядности; вместе с тем они заслуживают описания, так как это типичные представительницы парижской мелкой буржуазии, стоящей на социальной лестнице выше ремесленников и ниже крупной буржуазии; их добродетели не лучше пороков, в их недостатках нет и тени привлекательности, однако их нравы, хотя и проникнуты мещанством, все же не лишены своеобразия. Елизавета выглядела до того хилой, что просто тоска брала смотреть на нее. Ростом она была чуть повыше четырех футов и притом настолько худа, что ширина ее талии едва ли превышала пол-локтя. Мелкие черты, как бы стянутые к носу, придавали ее лицу какое-то сходство с мордочкой ласки. Хотя ей стукнуло уже тридцать, она все еще производила впечатление шестнадцати-семнадцатилетней девицы. Ее голубые, как фаянс, глаза с тяжелыми веками, словно идущими от самых бровей, не отличались блеском. Все в ней было незначительно: и белесые волосы, и плоский тусклый лоб, и серый, почти свинцовый цвет кожи. Нижняя часть лица, скорее треугольная, чем овальная, завершала эту физиономию, банальную даже в своей неправильности. Кисло-сладкие интонации ее голоска не лишены были, впрочем, приятности. Словом, Елизавета была типичной мещаночкой, которая вечером, в постели, дает мужу практические советы; ее добродетелям грош цена, за ее честолюбием не кроется никаких более широких замыслов, оно плод домашнего эгоизма; живи она в деревне, она стремилась бы округлить свои владения, а будучи женой чиновника, желала, чтобы муж получил повышение по службе. Описать жизнь ее родителей, ее детство — значит сказать о ней все.

Господин Сайяр женился на дочери купца, торговавшего мебелью под навесом Центрального рынка. Крайняя скудость их средств вынуждала родителей Елизаве-

ты к непрерывным лишениям. Сайяры, как их звали в округе, после тридцатитрехлетнего супружества и двадцатидевятилетнего сидения г-на Сайяра в конторах, все же сколотили капитал, состоявший из шестидесяти тысяч франков, доверенных Фалейксу, стоимости дома на Королевской площади, приобретенного в 1804 году за сорок тысяч, и тридцати шести тысяч франков, которые они давали за дочерью. В их капитал вошли и пятьдесят тысяч, доставшиеся им по наследству от вдовы Бидо, матери г-жи Сайяр. Жалованье Сайяра не превышало четырех с половиной тысяч, ибо его должность представляла собой настоящий служебный тупик и никого не прельщала. Поэтому девяносто тысяч франков были скоплены Сайярами по грошам, путем поистине скаредной экономии, и помещены чрезвычайно глупо. Действительно, Сайяры не знали иного способа пускать свои деньги в оборот, как относить их небольшими суммами — по пять тысяч франков — нотариусу Сорбье, предшественнику Кардо, и помещать их из пяти процентов под первую закладную, с распространением права взыскания на жену, если заемщик женат.

В 1804 году г-жа Сайяр получила место в конторе по продаже гербовой бумаги, и они вынуждены были взять, наконец, служанку. В то время их дом, стоивший более ста тысяч, приносил им восемь тысяч ежегодно. С шестидесяти тысяч, данных Фалейксу, они получали семь процентов, а также половину его прибыли. Таким образом, Сайяры имели теперь не менее семнадцати тысяч франков дохода. Честолюбивые мечты кассира не шли дальше получения креста при отставке.

В молодости Елизавета была вынуждена работать не покладая рук на семью, нравы которой были весьма суровы, а взгляды примитивны. Там бесконечно обсуждалась покупка новой шляпы для Сайяра или высчитывалось, сколько лет проносилась какая-нибудь часть одежды, а зонтики для лучшей сохранности подвешивались ручкой вниз с помощью особых медных колец. С 1804 года дом ни разу не ремонтировался. Сайяры сохранили первый этаж в точности таким, каким он перешел к ним от прежнего владельца; позолота простенков стерлась, живопись над дверями едва виднелась сквозь густой слой пыли, наложенный на нее временем. В этой

большой прекрасной квартире с каминами, украшенными мраморной скульптурой и плафонами, достойными Версаля, стояла мебель вдовы Бидо: потрескавшиеся, обитые штофом ореховые кресла, комоды розового дерева, столики с медными решетками и расколотыми досками белого мрамора, чудесный секретер Буль, которому мода еще не вернула его настоящей ценности, всякий хлам, купленный по случаю лавочницей с Центрального рынка; картины, приобретенные за красоту рамок; сборная посуда — великолепные японские тарелки наряду с самым разнокалиберным фарфором; разрозненное серебро, старинный хрусталь, камчатные скатерти, кровать в виде усыпальницы, украшенная перьями и драпировками из восточных тканей.

Госпожа Сайяр обычно восседала среди всех этих реликвий в современном кресле красного дерева, поставив ноги на прогоревшую грелку, подле камина с грудой пепла, но без огня; на камине стояли часы, старинные бронзовые статуэтки, канделябры с украшениями в виде цветов, но без свечей, ибо хозяйка довольствовалась переносным медным подсвечником, из которого торчала одна большая сальная свеча, разукрашенная подтеками. На лице г-жи Сайяр, изрытом морщинами, отражались упрямство и жестокость, узость воззрений, тупая честность, откровенная жадность, бездушное благочестие и спокойствие совести, не знающей сомнений; такие типы женщин видишь на иных картинах фламандских мастеров, и они обычно прекрасно воспроизведены: это жены бургомистров,— но только они одеты в великолепные платья из бархата или других роскошных тканей, а у г-жи Сайяр таких нарядов не было, она носила ту старинную одежду, которую в Турени и Пикардии зовут «Коттой», а по всей Франции — «котильоном», платье, собранное в складки сзади и на боках, причем несколько юбок надеваются одна на другую. Ее талия была стянута казакином — мода уже совсем другой эпохи! Она носила старинный чепчик бабочкой и башмаки на высоком каблуке. Хотя ее возраст — ей уже исполнилось пятьдесят семь лет — и ее упорные труды ради блага семьи давали ей полное право отдохнуть, она неустанно вязала чулки мужу, себе и дяде, как вяжут женщины в деревнях — на ходу, беседуя, прогуливаясь по

саду, идя в кухню, чтобы посмотреть, все ли там в порядке.

Скупость Сайяров, вначале порожденная нуждой, постепенно вошла у них в привычку. Возвратившись домой после службы, кассир совлекал с себя сюртук и собственноручно работал в большом саду, который отделялся от двора решеткой и был оставлен им в свое личное пользование. В течение многих лет Елизавета по утрам ходила с матерью на рынок, и они вдвоем делали всю работу по дому. Мать превосходно готовила утку с репой; зато, по отзывам папаши Сайяра, никто не умел лучше Елизаветы тушить остатки бараньей ноги в луковом соусе. «С таким соусом родного дядюшку проглотишь и не заметишь!» — говаривал Сайяр. Едва Елизавета научилась держать в руках иглу, как мать заставила ее чинить все белье семьи и одежду отца. Она была постоянно занята по хозяйству, как служанка, и никогда не выходила из дому одна. Хотя они жили в двух шагах от бульвара Тампль, где находились цирк Франкони, театры Гетэ, Амбигю-комик, а немного подалее — театр Порт-Сен-Мартен, Елизавета ни разу не видела, как *представляют*. Когда ей захотелось узнать, что же это такое, г-н Бодуайе — разумеется, с благословения отца Годрона,— расщедрившись и желая показать ей лучший из спектаклей, повел ее в Оперу, где давали тогда «Китайского земледельца». Однако Елизавета нашла, что *представляют* страх как скучно, и не пожелала больше ходить в театр. По воскресеньям, промаршировав четыре раза от Королевской площади до церкви св. Павла и обратно, ибо мать заставляла ее неукоснительно исполнять религиозные обязанности, она шла с родителями в Турецкую кофейню, и они усаживались на стулья между решеткой и стеной дома. Сайяры спешили прийти первыми, чтобы захватить места получше и развлекаться созерцанием гуляющих. В те времена сад Турецкой кофейни был местом встреч для модников и модниц из Марэ, Сент-Антуанского предместья и окрестных улиц. Елизавета не носила иных платьев, кроме ситцевых летом и мериносовых зимой, причем шила их сама; мать выдавала ей всего двадцать пять франков в месяц на личные расходы; однако отец, который очень ее любил, несколько облегчал этот суровый ре-

жим, время от времени поднося дочери подарки. Она никогда не читала тех книг, которые аббат Годрон, викарий церкви св. Павла, и семейный совет считали нечестивыми. Подобное воспитание принесло свои плоды. Так как ей все же надо было вкладывать свои душевные силы в какую-нибудь страсть, то Елизавета стала жадной к наживе. Хотя у нее был и здравый смысл и проницательность, но догматы религии и невежество замкнули все ее способности в некий железный круг, и она могла применять их только к самым пошлым сторонам жизни; а так как у нее не было возможности разбрасываться, она сосредоточивала все свои силы на том деле, которым в данное время была занята. Ее природный ум, скованный ханжеством, мог проявлять себя только в вопросах совести, а совесть — дело тонкое, стремление к выгоде всегда найдет в ней лазейку. Подобно тем святым, в которых религия не подавила честолюбия, она была способна требовать от своего ближнего предосудительных поступков, чтобы воспользоваться их плодами, и могла быть неумолимой и корыстной при достижении своих целей. Если бы ей нанесли оскорбление, она способна была бы следить за своими противниками с коварным упорством кошки и наслаждаться рассчитанной и беспощадной местью, свалив все на господа бога. До замужества Елизаветы почти единственным гостем Сайяров был аббат Годрон, овернский священник, которого после восстановления католической церкви назначили викарием у св. Павла. Помимо этого духовного лица, бывшего другом еще покойной г-жи Бидо, у них бывал дядя г-жи Сайяр по отцу, шестидесятидевятилетний старик, некогда торговавший бумагой, но закрывший свою торговлю во II год Республики; он приходил к ним только по воскресеньям, так как в этот день нельзя было заниматься делами.

У этого старикашки было зеленоватое лицо с огромным, багровым, как у пьяницы, носом и ястребиными глазками; он носил треуголку, из-под которой торчали, развеваясь по ветру, седые волосы, короткие панталоны с застежками, спускавшиеся ниже колен, бумажные узорчатые чулки, связанные племянницей, которую он неизменно называл «маленькая Сайяр», грубые башмаки с серебряными пряжками и сюртук, ставший пе-

гим от старости. Он чрезвычайно напоминал одного из тех деревенских ключарей-пономарей-звонарей-могильщиков-певчих, которых мы склонны принимать за выдумку карикатуристов, пока не увидим их собственными глазами. Он и сейчас еще пешком приходил к Сайярам обедать и пешком возвращался на улицу Гренета́, где проживал в квартирке на четвертом этаже. Он занимался учетом коммерческих ценностей в квартале Сен-Мартен, где его прозвали Жигонне, иначе Дрыгун, за судорожное вздергивание ноги при ходьбе. Г-н Бидо начал заниматься учетом со II года, вместе с неким голландцем, господином Вербрустом, приятелем Гобсека.

Позднее Сайяр познакомился в церкви св. Павла с четой Трансонов; Трансон был крупным коммерсантом и торговал посудой на улице Ледигьер; супруги воспылали симпатией к Елизавете и, желая содействовать ее замужеству, ввели к Сайярам молодого человека по имени Изидор Бодуайе. Знакомство г-на и г-жи Бодуайе с Сайярами упрочилось, ибо его одобрил и Жигонне, который издавна пользовался в делах услугами некоего Митраля, судебного пристава, брата г-жи Бодуайе, помышлявшего теперь о том, чтобы удалиться на покой, в свой хорошенький домик в Лиль-Адане. Супруги Бодуайе, родители Изидора, честные сыромятники с улицы Сансье, торгуя по старинке, за много лет сколотили кое-какой капиталец. Женив единственного сына, которому они дали пятьдесят тысяч франков, старики решили доживать свой век в деревне и выбрали Лиль-Адан; они склонили к этому и Митраля; однако им приходилось частенько наезжать в Париж, где они оставили за собой квартирку в доме на улице Сансье, отданном Изидору. Выделив сына, Бодуайе все же имели в год тысячу экю.

Митраль носил растрепанный парик, придававший ему что-то зловещее, лицо у него было серое, как воды Сены, зеленые глаза сверкали; он был похож на холодную и скользкую колодезную веревку, и от него пахло мышами; происхождения и размеров своего состояния он никому не открывал, но, видимо, занимался в своем уголке той же деятельностью, что и Жигонне в квартале Сен-Мартен.

Хотя круг этой семьи расширился, однако ни ее нравы, ни ее взгляды не изменились: все так же неукосни-

тельно праздновались именины отца, матери, зятя, дочери, внучки, дни рождений, свадеб, пасха, рождество, новый год, крещение.

К этим датам производилась генеральная уборка и чистка всей квартиры, благодаря чему сладость семейных празднеств сочеталась с пользой. Затем торжественно, не считая обязательных букетов, совершалось подношение полезных подарков, как-то: пары шелковых чулок или меховой шапки Сайяру, золотых пряжек Изидору или серебряного блюда Елизавете — постепенно им подбирали целый обеденный сервиз,— шелку на юбки г-же Сайяр, который она так и хранила в сундуке. Перед тем как поднести подарок, виновника торжества усаживали в кресло и довольно долго приставали к нему с вопросом: «Угадай, что мы тебе подарим?» В заключение семейного торжества подавался роскошный обед, тянувшийся пять часов, на котором присутствовали: аббат Годрон, Фалейкс, Рабурден, г-н Годар, бывший помощник г-на Бодуайе, г-н Батай, капитан той же роты, в которой служили тесть и зять. Г-н Кардо, желанный гость на всех званых обедах, поступал, однако, как Рабурден,— он принимал из шести приглашений одно. За десертом пели песни, восторженно обнимались и желали друг другу всех возможных благ; подарки выставлялись на всеобщий суд, и хозяева требовали, чтобы каждый гость непременно высказал свое мнение. В тот день, когда Сайяру была поднесена меховая шапка, он, ко всеобщему удовольствию, просидел в ней весь десерт. Потом приходили разные знакомые, и начинались танцы. До поздней ночи отплясывали гости под пиликанье одной только скрипки; впрочем, вот уже шесть лет, как г-н Годар, большой искусник по части музыки, весьма способствовал веселью, присоединяя к скрипке свой визгливый флажолет. Галерку составляли кухарка и горничная г-жи Бодуайе, старуха Катерина, служанка г-жи Сайяр, привратник или его жена — они смотрели на танцы, стоя в дверях. Слуги получали три франка на вино и кофе. Гости смотрели на Сайяра и Бодуайе как на существа высшего порядка: и тесть и зять были чиновниками, состояли на государственной службе, выбились в люди благодаря своим незаурядным дарованиям; они-де работают с самим министром, это люди

недюжинные — словом, политические деятели; однако Бодуайе считался особенно талантливым, его пост правителя канцелярии связан был с деятельностью более значительной, с трудами более замысловатыми, чем у какого-то кассира.

Кроме того, хотя Изидор и был сыном сыромятника с улицы Сансье, но у него хватило способностей, чтобы получить образование, и смелости, чтобы отказаться от работы в заведении отца и поступить на службу, где он и добился выдающегося положения. За свою необщительность он почитался глубоким мыслителем,— его могли, говорили Трансоны, со временем выбрать депутатом от восьмого округа. Слыша все эти разглагольствования, Жигонне еще больше поджимал губы и обменивался взглядом со своей внучатной племянницей Елизаветой.

Изидору было тридцать семь лет; он был рослый и толстый, вечно потел, а головой и сложением напоминал допотопное чудовище; эта огромная голова с каштановыми, коротно остриженными волосами отделялась от шеи жирной складкой в виде валика, образовавшего как бы второй воротник. Плечи у него были как у Геркулеса, руки — достойные Домициана, а живот столь объемистый, что, как сказал бы Брийа-Саварен, только благодаря воздержанию ему удавалось сохранять величие. Лицом он чрезвычайно напоминал императора Александра. В его маленьких глазах, в плоском носе со вздернутым кончиком, в очертаниях холодно сжатых губ, в срезанном подбородке сказывался татарский тип. Лоб у него был низкий и узкий. Вопреки своему флегматическому темпераменту благочестивый Изидор предавался слишком рьяно супружеской любви, и даже годы не умерили его пыла. Невзирая на сходство с красивым русским императором и грозным Домицианом, Изидор был просто-напросто бюрократом; правитель канцелярии отнюдь не блестящий, но привыкший к трудовой рутине, он скрывал свое полное ничтожество под столь толстым покровом, что самый острый скальпель был бы здесь бессилен. Его ревностные занятия науками, при которых он выказывал воловье терпение и воловье благоразумие, его квадратная голова обманули родителей, возомнивших, что он человек необыкновенный. Педан-

тичный и мелочный, въедливый и придирчивый, гроза подчиненных, которым он постоянно делал замечания, Изидор беспощадно пилил их за каждую запятую, строго выполнял все правила и установления и приходил на службу с такой неуклонной точностью, что любой его чиновник почитал своим долгом быть на месте раньше его. Бодуайе носил васильковый фрак с желтыми пуговицами, верблюжьего цвета жилет, серые панталоны и цветной галстук. Ноги у него были огромные и дурно обутые. На часовой цепочке висела целая гроздь старых брелоков, среди которых он в 1824 году носил американские игральные кости, бывшие в моде в VII году.

В этой семье, спаянной общностью религиозных воззрений, суровостью нравов и единственной мыслью о стяжательстве, ставшем как бы компасом ее жизненного плавания, Елизавета, когда ей хотелось высказать свои думы, была вынуждена обращаться к самой себе, ибо она чувствовала, что никто здесь не способен ее понять. Хотя факты заставляли ее относиться к мужу критически, эта ханжа изо всех сил старалась поддерживать в людях благоприятное мнение о нем; она выказывала ему глубочайшее уважение — ведь он был отцом ее дочери и ее мужем, воплощением земной власти, как говорил викарий церкви св. Павла. И она сочла бы, что совершает смертный грех, если бы одним движением, взглядом или словом обнаружила перед посторонним человеком свое истинное мнение об этом дураке Бодуайе; Елизавета беспрекословно подчинялась даже его прихотям. Но весь шум жизни достигал до нее, она прислушивалась к этим отголоскам, вникала в них, удерживала в своей памяти, сопоставляла их и судила о людях и событиях столь здраво, что к тому времени, с которого начинается наше повествование, сделалась как бы тайным оракулом двух чиновников, которые, незаметно для себя, настолько утратили самостоятельность, что уже ничего не могли предпринять, не посоветовавшись с нею. Папаша Сайяр простодушно восклицал: «Ну до чего же она хитра, наша Елизавета!» Однако Бодуайе, слишком глупый, чтобы не чваниться той дутой славой, которой он пользовался в Сент-Антуанском предместье, упорно отрицал, что его супруга умна, хотя не мог шагу ступить без нее. Елизавета почуяла, что

ее дед Бидо, прозванный Жигонне, богат и располагает огромными суммами. Умудренная жадностью, она сумела раскусить де Люпо и знала его лучше, чем его знал министр. Поняв, что ее муж — болван, она не раз говорила себе, что ее судьба могла бы сложиться совсем иначе, однако, хотя и подозревала, что есть кое-что приятнее, чем ее жизнь с Изидором, все же не решалась это новое испробовать. До сих пор ее нежность находила себе выход только в любви к дочери, которую она всячески старалась уберечь от горестей, испытанных в детстве ею самой,— и этим отдавала, как ей казалось, достаточную дань миру чувств. Только ради дочери уговорила она своего отца согласиться на столь чудовищно смелый шаг — войти в содружество с Фалейксом. Фалейкс был представлен Сайярам стариком Бидо, который давал ему деньги под товары. Фалейкс считал, что его «старый земляк» слишком его прижимает, и простодушно пожаловался при Сайярах на Жигонне, бравшего с него, оверпца, целых восемнадцать процентов! Старуха Сайяр осмелилась упрекнуть своего дядюшку.

— Я потому с него и беру только восемнадцать процентов, что он мой земляк,— ответил Жигонне.

Фалейксу было двадцать восемь лет; сделав упомянутое изобретение, он сообщил о нем Сайяру, причем душа его при этом *была как на ладони* (выражение из словаря Сайяров); казалось, молодому человеку предназначена великая удача. Елизавета тут же решила не спеша заняться им и самой образовать характер будущего зятя, назначив для этого примерно семилетний срок. Мартен Фалейкс относился к г-же Бодуайе с безграничным почтением и признавал за ней исключительный ум. Имей он со временем миллионы, он должен был все же навеки принадлежать этому дому, где обрел семью. Даже маленькая Бодуайе уже была обучена с милой улыбкой подавать ему стакан и брать у него шляпу.

Когда г-н Сайяр вернулся из министерства, бостон был в полном разгаре. Елизавета наставляла Фалейкса. Г-жа Сайяр вязала, сидя в углу у камина, и подсказывала ходы викарию от св. Павла. Г-н Бодуайе, недвижный, точно пень, силился путем сложных расчетов выяснить, у кого какие карты; против него сидел Митраль.

приехавший на рождественские праздники из Лиль-Адана. Никто не встал, чтобы поздороваться с кассиром, а тот в течение нескольких минут ходил по гостиной, и его толстое лицо морщилось от каких-то непривычных мыслей.

— Он всегда такой, когда пообедает у министра; к счастью, это бывает только два раза в год,— сказала г-жа Сайяр,— иначе они совсем бы его уморили. Сайяр не создан для государственных дел... Послушай,— обратилась она к мужу,— ты, надеюсь, не намерен остаться здесь в шелковых панталонах и во фраке эльбефского сукна? Пойди-ка, мамочка, сними все это, не таскай зря.

— У твоего отца что-то есть на душе,— сказал Бодуайе жене, когда кассир ушел к себе в комнату и стал переодеваться в темноте.

— Может быть, умер господин де ла Биллардиер,— спокойно заметила Елизавета,— ведь отец хочет, чтобы ты занял его место, вот он и озабочен.

— Если я могу вам чем-нибудь быть полезен,— сказал, сделав полупоклон, викарий от св. Павла,— прошу вас, располагайте мной. Я имею честь быть известным супруге дофина. Мы живем в такие времена, когда должности необходимо отдавать людям преданным, с непоколебимыми религиозными убеждениями.

— Как? — удивился Фалейкс.— Неужели люди, достойные повышения на государственной службе, все-таки нуждаются в покровителях? Значит, я правильно поступил, став литейщиком; покупатели умеют разыскивать вещи, которые сделаны хорошо...

— Сударь! — ответствовал Бодуайе.— Правительство есть правительство, прошу вас здесь никогда его не критиковать.

— В самом деле,— заметил викарий,— вы рассуждаете прямо как «Конституционель».

— «Конституционель» именно так и говорит,— подтвердил Бодуайе, никогда не читавший этой газеты.

Кассир обычно уверял, что его зять по своим талантам настолько же выше Рабурдена, насколько господь бог выше пономаря; и толстяк в простоте душевной надеялся на повышение Изидора и мечтал об этом, как мечтают о повышениях все чиновники,— желание неудер-

жимое, нелепое, стихийное. Сайяр жаждал успеха, жаждал получить крест Почетного легиона, не входя ни в какие сделки с совестью, просто за свою добродетель. По его убеждению, человек, который имел терпение двадцать пять лет проторчать в присутствии, за решеткой кассы, который, так сказать, пожертвовал своей жизнью отечеству, конечно, достоин ордена. Желая помочь зятю, он не нашел ничего лучшего, как замолвить за него словечко супруге его превосходительства, вручая ей месячное жалованье.

— Послушай, Сайяр, что это ты точно с похорон? Хоть поговори с нами! — крикнула ему жена, когда он вернулся.

Он сделал знак дочери, как бы подчеркивая, что не хочет о важных делах говорить при посторонних, и решительно отвернулся. Когда г-н Митраль и викарий ушли, Сайяр отодвинул стол, опустился в кресло и принял ту позу, которую принимал обычно перед тем, как повторить сплетню, услышанную им в канцелярии; все это сильно напоминало три удара в дверь, раздающиеся в роковую минуту на сцене Французской комедии. Прежде всего он потребовал от жены, дочери и зятя глубокой тайны, ибо сколь невинной ни была бы сплетня, служебные успехи, по его мнению, зависели прежде всего от умения молчать; затем он рассказал о загадочном отозвании депутата, о вполне законном желании секретаря министра занять его место и об отношении к этому министерства, тайно противившегося замыслам человека, который был его наиболее надежной опорой и усерднейшим слугой; упомянул о сложностях, возникавших для де Люпо из-за возраста и ценза. Последовала целая лавина всяческих догадок и бесконечных рассуждений, причем чиновники преподносили друг другу глупость за глупостью. Елизавета же задала всего три вопроса:

— Если господин де Люпо окажется за нас, то наверняка ли назначат господина Бодуайе?

— Еще бы, черт побери! — воскликнул кассир.

«В 1814 году мой двоюродный дед Бидо и господин Гобсек оказали де Люпо услугу...» — размышляла она.

— Интересно, есть ли у него и теперь долги? — спросила Елизавета.

— Долги... и... и..? — Кассир растянул последнюю

букву и даже присвистнул.— Конечно, есть. Было уже наложено запрещение на его жалованье, но потом снято по приказу свыше, ввиду возможного депутатства.

— А где находится имение де Люпо?

— Где, черт побери? Да там же, где жили твой дед, твой двоюродный дед Бидо и Фалейкс, недалеко от округа того самого депутата, которого собираются отозвать.

Когда ее муж-великан улегся, Елизавета склонилась над ним и, хотя он называл ее предсказания «бреднями», заявила:

— Знаешь, мой друг, может быть, ты и получишь место господина де ла Биллардиера.

— Ну вот, опять твои фантазии,—рассердился муж.— Предоставь господину Годрону переговорить с супругой дофина и, пожалуйста, не вмешивайся в служебные дела.

В одиннадцать часов вечера, когда на Королевской площади уже царила тишина, г-н де Люпо вышел из здания Оперы и отправился на улицу Дюфо. Это была одна из наиболее блестящих сред г-жи Рабурден. Несколько завсегдатаев ее дома приехали после театра и еще увеличили число гостей, образовавших различные группы, среди которых обращал на себя внимание ряд знаменитостей: поэт Каналис, художник Шиннер, доктор Бьяншон, Люсьен де Рюбампре, Октав де Кан, граф де Гранвиль, виконт де Фонтэн, водевилист дю Брюэль, журналист Андош Фино, Дервиль — один из умнейших юристов, депутат барон дю Шатле, банкир дю Тийе и молодые щеголи вроде Поля де Манервиля или виконта де Портандюэра.

Когда вошел секретарь министра, Селестина разливала чай. В этот вечер туалет и прическа были очень ей к лицу: платье черного бархата безо всякой отделки, черный газовый шарф, приглаженные волосы, заплетенные в косу и уложенные на голове в виде короны, локоны, ниспадающие на плечи по английской моде. Женщина эта особенно выделялась среди других какой-то чисто итальянской артистичностью и непринужденностью, какой-то способностью решительно все понимать и радушной любезностью, предупреждавшей малейшее желание гостей. Природа наделила ее гибким

станом, чтобы быстро обертываться при любом вопросе, и черными, по-восточному удлиненными глазами, чуть раскосыми, как у китаянок, позволяющими смотреть не только вперед, но и по сторонам; она так научилась владеть своим вкрадчивым, мягким голосом, что в ее устах каждое слово, даже самое случайное, звучало ласкающим очарованием; у нее были такие ножки, какие увидишь только на портретах, где художники, изображая обувь своих моделей, лгут сколько им угодно, ибо это единственная лесть, которая не противна анатомии. Ее цвет лица, несколько желтоватый днем, как обычно у брюнеток, приобретал особый оттенок, когда зажигались огни, от которых блестели ее волосы и черные глаза. Наконец, ее тонкая, но рельефная фигура напоминала художникам средневековую Венеру, открытую Жаном Гужоном, знаменитым ваятелем Дианы де Пуатье.

Де Люпо остановился в дверях гостиной и прислонился плечом к косяку. Этот соглядатай чужих мыслей не мог отказать себе в удовольствии пошпионить и за чувствами хозяйки, ибо г-жа Рабурден интересовала его неизмеримо больше, чем все женщины, с которыми он до сих пор имел дело. Де Люпо приближался к тому возрасту, когда мужчина начинает предъявлять к женщинам огромные требования. Первые седины влекут за собой последние увлечения и притом — наиболее страстные; их источник — уходящая сила и наступающая слабость. Сорок лет — это возраст безумств, тот возраст, когда мужчина хочет любить, но главное — быть любимым, ибо его чувство уже не живет собой, как в юные годы, когда можно быть счастливым, любя кого попало, словно Керубино. В сорок лет желаешь иметь все, так как боишься не получить ничего, а в двадцать пять имеешь столько, что не знаешь, чего и желать. В двадцать пять нам даны такие силы, что можно безнаказанно тратить их, а в сорок — за силу принимают злоупотребления ею. Мысли, овладевшие в эту минуту де Люпо, были, вероятно, весьма меланхолического свойства. Нервы стареющего красавца вдруг ослабели, и любезная улыбка, которая обычно не сходила с его лица, служа как бы маской, внезапно погасла. Из-под маски выступила подлинная суть этого человека, и она была от-

вратительна. Рабурден увидел это и удивился: «Что с ним? или попал в немилость?» А секретарь министра попросту вспомнил, как его некогда слишком скоро бросила хорошенькая г-жа Кольвиль, которая добивалась в точности того же, что и Селестина. Рабурден подстерег этого политического проходимца в то время, когда тот смотрел на г-жу Рабурден, и муж запомнил его взгляд. Ксавье был достаточно проницателен, он знал де Люпо насквозь и глубоко презирал его; но, как бывает у слишком занятых людей, эти чувства внешне никак не выказывались. Увлечение любой работой приводит к тому же, что и самая искусная скрытность,— отношение Рабурдена оставалось для де Люпо тайной за семью печатями. А Рабурден с трудом терпел у себя в доме этого политического пройдоху, но не хотел перечить жене. К тому же правитель канцелярии беседовал с молодым сверхштатным чиновником, которому предстояло сыграть роль в интриге, подготовлявшейся в связи с неизбежной смертью де ла Биллардиера; поэтому он окинул весьма рассеянным взором Селестину и де Люпо.

Здесь, быть может, уместно будет пояснить столько же для иностранцев, сколько и для наших собственных потомков, что такое парижский сверхштатный чиновник.

Сверхштатный чиновник — это в административном управлении все равно, что певчий в церкви, кантонист в полку, хористка в театре: существо наивное, простодушное, ослепленное иллюзиями. Но без иллюзий что стало бы с нами? Они дают нам силу терпеть ради искусства голод и холод и жадно поглощать начала всяких наук, вселяют веру в них. Иллюзия—это чрезмерная вера! Итак, сверхштатный верит в административную власть! Он не допускает мысли, что она холодна, жестока, свирепа,— словом, не видит, какова она в действительности. Есть только два вида сверхштатных: богатые и бедные. Сверхштатный бедняк богат надеждами и нуждается в должности, сверхштатный богач беден умом и ни в чем не нуждается. Богатая семья не настолько глупа, чтобы сделать умного человека чиновником. Если сверхштатный богат, его пристраивают к кому-нибудь из старших чиновников или под крылышко

самого директора, чтобы они посвятили молодого человека в то, что Бильбоке, этот глубокомысленный философ, назвал высокой комедией административной власти; ему смягчают тяготы стажа, пока не назначат на какое-либо штатное место. Богатого канцеляристы никогда не боятся: они знают, что он метит только на высшие должности. В те времена было немало семейств, которые задавали себе вопрос: «Что нам делать с нашими детьми?» Армия не сулила особых возможностей; другие специальности — инженерное, морское, горное дело, генеральный штаб, профессура — были недоступны вследствие строгости предъявляемых требований или из-за конкурентов, тогда как коловратное движение, делающее из чиновников префектов, супрефектов, податных инспекторов, управляющих окладными сборами и всякие другие фигуры из волшебного фонаря, не ограничивается никакими правилами, не требует никакого стажа. Сюда-то и ринулись сверхштатные молодые повесы — обладатели кабриолетов, щегольских сюртуков и усиков, предерзкие, как все выскочки. Журналисты усердно обличали этих молодых людей за то, что каждый из них неизменно оказывался кузеном, племянником, дальним родственником какого-нибудь министра, депутата, влиятельного пэра; однако сослуживцы такого сверхштатного чиновника искали его покровительства. Но сверхштатный бедняк, настоящий, подлинный сверхштатный — это почти всегда сын вдовы-чиновницы, которая живет впроголодь на убогую пенсию, старается изо всех сил вытянуть сына хотя бы в экспедиторы и, наконец, умирает, оставив его на пути к великой цели, рисующейся ему в виде места письмоводителя, делопроизводителя или — кто знает! — даже помощника правителя канцелярии.

Обреченный вечно жить на окраинах, где квартиры дешевле, сверхштатный бедняк выходит из дому рано, и для него существует только один *восточный вопрос* — нет ли на небе туч? Добраться пешком, не запачкав обуви, сберечь одежду, высчитать, много ли времени потеряешь, если слишком сильный ливень заставит тебя где-нибудь укрыться,— сколько забот! Тротуары на улицах, мостовая на бульварах и набережных — для него благодеяние. Если вы, по прихоти судьбы, окаже-

тесь в восьмом часу утра на парижскои улице — зимои, в жестокий холод, в дождь или в любое ненастье — и увидите идущего вам навстречу робкого и бледного молодого человека без сигары в зубах, обратите внимание на его карманы! Вы наверняка заметите в одном из них очертания булки, которую ему дала мать, чтобы он мог протерпеть без опасности для своего желудка те девять часов, которые пройдут между его завтраком и обедом.

Впрочем, простодушие сверхштатного чиновника недолговечно.

Молодой человек при свете парижских огней очень скоро постигает то неизмеримое расстояние, которое отделяет ноль от единицы, проблематические наградные от постоянного жалованья и его самого от помощника правителя канцелярии и которое не мог бы исчислить никакой Архимед, Ньютон, Паскаль, Лейбниц, Кеплер или Лаплас. И сверхштатный скоро убеждается, что сделать карьеру невозможно, он слышит разговоры чиновников о назначениях, происходящих через голову тех, кто имеет на них все права, узнает и скрытые причины этих несправедливостей; он разгадывает интриги, которые замышляются в недрах канцелярии, ухищрения, с помощью которых начальники некогда добились своих мест: один женился на оступившейся молодой особе; другой — на побочной дочери министра; третий взял на себя тайные обязательства; четвертый, одаренный недюжинными способностями, чуть не подорвал свое здоровье, трудясь, точно каторжный, точно крот,— а ведь не всякий способен на такие подвиги! В канцеляриях обычно бывает известна вся подноготная: этот — бездарность, зато жена у него умница, она протолкнула его и вытолкнула в депутаты, и если он не обнаруживает способностей на службе, зато успешно ведет интриги в палате. А у того другом дома состоит видный государственный деятель, а вон тот является пайщиком газеты, в которой пишет влиятельный журналист... И вот, охваченный отвращением, сверхштатный бедняк подает в отставку. Три четверти сверхштатных бросают службу, так и не добившись штатной должности; остаются только упрямцы или дураки, говорящие себе: «Я здесь уже три года, и в конце концов мне все-таки должны дать место!» — или молодые люди, чув-

ствующие в себе особое призвание к административной деятельности. В канцелярии сверхштатный — все равно, что послушник в каком-нибудь монастыре, он подвергается испытанию. И это испытание крайне сурово. Таким путем государство узнает тех, кто в силах терпеть голод, жажду и нищету, не падая духом, трудиться, не чувствуя отвращения, тех, кто по своему характеру способен выносить тяжелую жизнь канцеляриста,— вернее, не жизнь, а мучительное прозябание. И лишь с этой точки зрения институт сверхштатных можно считать не гнусной спекуляцией правительства ради получения даровых работников, а благодетельным установлением.

Молодой человек, с которым беседовал Рабурден, был сверхштатным из разряда бедняков; его звали Себастьен де ла Рош, и он пришел в Марэ с улицы дю Руа-Доре на цыпочках, чтобы ни одна капля грязи не попала на его сапоги. Он называл свою мать «маменька» и не смел поднять глаз на г-жу Рабурден, дом которой представлялся ему чуть ли не Лувром. Он старался поменьше показывать руки в перчатках, вычищенных резинкой. Его бедная мать сунула ему в карман сто су на случай, если уж никак невозможно будет избежать игры в карты, и посоветовала ничего не есть, не садиться и поменьше делать движений, не то, избави бог, он еще опрокинет какую-нибудь лампу или уронит с этажерки хорошенькую безделушку. Одет он был во все черное. Его белое лицо и красивые зеленоватые глаза, в которых вспыхивали золотистые отблески, отлично сочетались с пышными белокурыми волосами теплого тона. Бедный мальчик изредка поглядывал украдкой на г-жу Рабурден и восклицал про себя: «Что за красавица!», а вернувшись домой, он, конечно, будет грезить об этой волшебнице до той минуты, пока сон не сомкнет ему веки. Рабурден подметил в Себастьене подлинное призвание к административной деятельности, и так как относился к институту сверхштатных с должной серьезностью, то живо заинтересовался скромным юношей. Он к тому же угадал нужду, царившую в доме бедной вдовы, вся пенсия которой составляла семьсот франков, причем на сына, лишь недавно окончившего лицей, было, конечно, немало потрачено сбережений.

Поэтому Рабурден отечески относился к Себастьену, не раз с трудом добивался для него наградных, а порою даже выдавал их из собственных средств, когда спор между ним и раздающими милости слишком обострялся. Он забрасывал Себастьена поручениями, старался формировать его характер; заставлял его исполнять в канцелярии работу дю Брюэля, сочинителя театральных пьес, известного среди драматургов и упоминавшегося на афишах под именем Кюрси,— дю Брюэль уделял молодому человеку сто экю из своего жалованья. Рабурден был, в представлении вдовы де ла Рош и ее сына, великим человеком, одновременно тираном и ангелом; на него одного возлагали они все свои надежды. Себастьен только и думал о том времени, когда он сделается чиновником. Да! Тот день, когда сверхштатный впервые расписывается в платежной ведомости,— это счастливый день! Все они долго не выпускают из рук деньги, полученные ими за первый месяц службы, и не отдают их матери целиком! Венера всегда благосклонна к этим первым дарам министерской кассы. Все надежды могли осуществиться для Себастьена только при помощи г-на Рабурдена, его единственного покровителя; поэтому преданность юноши своему начальнику была безгранична. Себастьен обедал два раза в месяц на улице Дюфо, но лишь когда не было посторонних, причем Рабурден приводил его с собою; а на балы г-жа Рабурден приглашала его обычно, только если не хватало кавалеров. Сердце бедного молодого человека начинало усиленно биться, когда он видел, как в половине пятого надменного де Люпо уносит министерская карета,— сам же он, Себастьен, скромно стоит на крыльце министерства, раскрывая зонтик, чтобы пешком плестись домой. А секретарь министра, от которого зависела его судьба, одно слово которого могло дать ему место в тысячу двести франков в год (да, да, тысячу двести франков — предел его мечтаний, тогда они с матерью могли бы зажить счастливо!), секретарь министра даже не знал его в лицо! Г-ну де Люпо было едва ли известно, что на свете существует некий Себастьен де ла Рош. Но если сын де ла Биллардиера, сверхштатный богач из канцелярии Бодуайе, также оказывался на крыльце, де Люпо неизменно здоровался с ним друже-

ским кивком. Ведь г-н Бенжамен де ла Биллардиер был родственником самого министра.

В данную минуту Рабурден разносил бедняжку Себастьена, единственное существо, бывшее в курсе его огромного труда. Дело в том, что молодой человек без конца переписывал знаменитый проект — объемом в сто пятьдесят листов бумаги большого формата Тельер, помимо множества таблиц, всевозможных резюме и расчетов, с дополнительными разъяснениями на обычной бумаге, заголовками, написанными с наклоном вправо, и подзаголовками, выведенными почерком рондо. Двадцатилетний юноша был в таком восторге от своего, хотя бы и механического, участия в столь гениальном исследовании, что мог переписывать целую таблицу из-за одной помарки и тщательно выводил каждую букву, служившую составной частью этого великого плана. И вот Себастьен, желая поскорее закончить переписку, имел неосторожность взять с собой в канцелярию черновик той части проекта, которую опасней всего было разглашать. Это был полный перечень штатных чиновников всех центральных министерских управлений, находящихся в Париже, с данными о финансовом положении чиновников в настоящем и будущем, об их заработках и других доходах помимо службы.

В Париже, чтобы свести концы с концами, каждый чиновник, не наделенный, подобно Рабурдену, патриотическим честолюбием или особыми дарованиями, добавляет к своему жалованью еще какой-либо доход. Иные, как г-н Сайяр, делаются пайщиками торговой фирмы и по вечерам ведут книги своего компаньона. Иные женятся на белошвейках, на хозяйках табачных лавок, управительницах лотерейных бюро или библиотек. Иные, как муж г-жи Кольвиль, соперницы Селестины, играют в театральном оркестре, иные, подобно дю Брюэлю, мастерят водевили, комические оперы, мелодрамы или занимаются постановкой спектаклей. Как пример можно привести г-на Севрена, Пиксерекура, Планара и т. д. В свое время Пиго-Лебрен, Пиис, Дювике также состояли на службе. Первый издатель Скриба был чиновником казначейства.

Помимо этих сведений, Рабурден в своем докладе подвергал подробному рассмотрению духовные способ-

ности и физические данные, по которым можно распознать людей, обладающих живым умом, усердием и здоровьем — тремя качествами, необходимыми для тех, на кого должно быть возложено бремя государственных дел и кому надлежит все делать хорошо и быстро.

Однако достойный труд Рабурдена — плод десятилетнего опыта и плод продолжительного изучения людей и дел, возможного благодаря его связям с главными руководителями различных министерств,— этот достойный труд мог легко навести того, кто не понял бы истинных целей автора, на мысль о шпионстве и сыске. Попадись кому-нибудь на глаза хоть одна страница — и Рабурдену грозила бы гибель.

В Себастьене, преклонявшемся перед своим начальником и еще не знавшем, на какие низости способна бюрократия, очарование наивности сочеталось со всеми ее недостатками. Хотя начальник уже побранил его за то, что он унес с собой работу, юноша имел мужество признаться полностью в своей вине: он оставил черновик и копию в канцелярии, в папке, и хотя их-то никто не мог найти, все же он чувствовал серьезность своего проступка, и по его щекам скатилось несколько слезинок.

— Бросьте, сударь,— ласково сказал Рабурден,— будьте впредь осторожнее, а горевать незачем. Отправляйтесь завтра пораньше в канцелярию, вот вам ключ от одного из ящиков моего стола, у этого ящика замок с секретом, вы отопрете его, составив слово «небо», и спрячьте туда черновик и копию.

Этот знак доверия ободрил милого юношу, его слезы высохли; начальник предложил ему выпить чашку чаю с пирожным.

— Мама запрещает мне пить чай, ведь я слабогрудый.

— Ну что ж, дитя мое,— заявила великолепная г-жа Рабурден, желавшая показать пред всеми, как она добра,— вот сэндвичи и сливки, сядьте здесь, рядом со мною.

Она усадила Себастьена за стол, и сердце мальчика отчаянно забилось, когда платье этой богини коснулось его фрака. В эту минуту прекрасная г-жа Рабурден увидела де Люпо, улыбнулась ему и, не дожидаясь,

чтобы он подошел к ней, сама устремилась к нему навстречу.

— Что это вы тут стоите, как будто дуетесь на меня? — спросила она.

— Я не дуюсь,— отозвался он,— но я привез вам приятную новость и вместе с тем не могу отделаться от мысли, что вы будете ко мне теперь еще суровее. Я уже предвижу, что через полгода стану для вас почти чужим. Да, вы слишком умны, а я слишком опытен... или, если хотите, испорчен, чтобы нам удалось обмануть друг друга. Вы своей цели достигли, стоило вам это всего нескольких улыбок и ласковых слов...

— Обмануть друг друга? Что вы хотите сказать? — воскликнула она, прикинувшись обиженной.

— Ну да, ведь господину де ла Биллардиеру сегодня вечером еще хуже, чем вчера; и, судя по тому, что мне сказал министр, ваш муж будет назначен начальником отделения.

Он описал ей, как он выразился, «сцену у министра», рассказал о ревности графини, о том, как она отнеслась к его предложению пригласить супругов Рабурденов.

— Господин де Люпо,— с достоинством ответила г-жа Рабурден,— позвольте мне заметить вам, что мой муж дольше всех служит правителем канцелярии и он среди чиновников самый способный, что старик де ла Биллардиер был назначен через голову мужа и это вызвало всеобщее негодование, что, наконец, господин Рабурден уже целый год замещает начальника отделения и у нас нет ни конкурента, ни соперника.

— Это верно.

— Ну вот,— сказала она, улыбаясь и показывая свои восхитительные зубки.— Так неужели мою дружбу к вам можно осквернить хоть какой-нибудь мыслью о корысти? Разве вы считаете меня способной на это?

Де Люпо сделал жест, выражающий восхищение и отрицание.

— Ах,— продолжала она,— сердце женщины останется тайной для самых проницательных мужчин! Да, мне доставляло огромное удовольствие видеть вас здесь, и это удовольствие не было вполне бескорыстным.

— Ну, видите!

— Перед вами открыто безграничное светлое буду-

щее,— зашептала она ему на ухо,— вы станете депутатом, потом министром! — (Что за наслаждение для честолюбца, когда ему щекочут слух подобные слова, произносимые милым голосом милой женщины!) — О, я знаю вас лучше, чем вы сами, и Рабурден окажется вам чрезвычайно полезным: когда вы станете депутатом, он будет за вас работать. Как вы мечтаете быть министром, так я хочу, чтобы Рабурден получил место в государственном совете и пост начальника главного управления. И вот я решила соединить двух людей, которые никогда не будут вредить друг другу, но могут весьма друг другу содействовать. Разве не в этом роль женщины? Став друзьями, вы оба зашагаете быстрее вперед, а вам уже настало время выдвинуться! Ну вот, я сожгла свои корабли! — добавила она, улыбнувшись.— Видите, я с вами откровеннее, чем вы со мной.

— Вы не хотите меня выслушать,— продолжал он печально, несмотря на то, что втайне был очень польщен словами г-жи Рабурден.— Зачем мне все эти будущие посты, если вы меня отстранили от себя?

— Прежде чем выслушать вас,— отозвалась она с присущей ей чисто парижской живостью,— я должна быть уверена, что мы поймем друг друга.

И, отойдя от старого фата, она направилась к г-же де Шессель, провинциальной графине, которая всем своим видом показывала, что собирается уезжать.

«Необыкновенная женщина! — подумал де Люпо.— Я с ней просто не узнаю себя!»

И в самом деле, этот развратник, который еще шесть лет тому назад содержал хористку, который, пользуясь своим положением, устраивал себе целый гарем из хорошеньких жен своих подчиненных и привык вращаться в обществе журналистов и актрис, в течение всего вечера был обаятельно мил с Селестиной и уехал последним.

«Ну, наконец-то место за нами! — говорила себе Селестина раздеваясь.— Двенадцать тысяч франков в год, да наградные, да доходы с нашей фермы в Граже, все это составит тысяч двадцать пять. Конечно, это еще не богатство, но уже и не бедность».

Селестина заснула, размышляя о своих долгах и высчитывая, что если выплачивать в год по шесть тысяч

франков, то в три года можно все покрыть. Ей и в голову не могло прийти, что какая-то вульгарная мещаночка, крикливая и жадная, понятия не имевшая о том, что такое салон, ханжа, не видевшая ничего, кроме предместья Марэ, без покровителей и связей, готовится выхватить у нее из-под носа это вожделенное место, на котором г-жа Рабурден уже видела своего мужа. Да и знай она, что ее соперница — г-жа Бодуайе, она просто пренебрегла бы ею, ибо даже не подозревала, какую силу имеет ничтожество, как могущественна личинка короеда, способная разрушить высокий вяз, постепенно вгрызаясь в его ствол.

Если можно было пользоваться в литературе микроскопом какого-нибудь Левенгука, Мальпиги или Распайля, как это пытался сделать берлинец Гофман, если можно было рассматривать в увеличенном виде и тех жучков-древоточцев, из-за которых Голландия некогда очутилась на волосок от гибели, ибо они подтачивали ее плотины, то почему бы не показать и весьма с ними сходные фигуры таких господ, как Жигонне, Митраль, Бодуайе, Сайяр, Годрон, Фалейкс, Трансон, Годар и компания,— почему бы не показать и этих жучков-древоточцев, имевших, как-никак, великую силу в тридцатом году нашего века. Пора, наконец, нам описать и тех жучков, которыми кишмя кишели канцелярии, где зарождались главные сцены данного повествования.

В Париже почти все канцелярии похожи одна на другую. В какое бы министерство вы ни вошли, чтобы ходатайствовать о снятии пустячной вины или о предоставлении ничтожной льготы, вас всюду встретят одни и те же сумрачные коридоры, едва освещенные переходы и двери с непонятными надписями, подобные дверям театральных лож, с овальным, похожим на глаз, окошечком, через которое можно увидеть невообразимые сцены, достойные Калло. И когда вы, наконец, отыщете нужную вам канцелярию, вы очутитесь сначала в первой комнате, где сидит канцелярский служитель, затем во второй, где обретаются писцы, чиновничья мелкота; справа или слева будет расположен кабинет помощника правителя канцелярии; и, наконец, еще дальше или выше — кабинет самого правителя. Что же касается высочайшей персоны, именовавшейся во времена Империи

начальником отделения, при Реставрации — подчас директором, а ныне — вновь начальником отделения, то он обитает выше или ниже своих двух-трех канцелярий, а иногда — за кабинетом одного из своих правителей. Обычно его апартаменты чрезвычайно поместительны, что является особым преимуществом при сравнении с теми своеобразными ячейками, из которых почти всегда состоит улей, именуемый министерством или главным управлением, если хоть одно такое управление еще сохранилось. В настоящее время эти управления, существовавшие когда-то обособленно, вошли в состав министерств. При этом слиянии их директора утратили весь свой былой блеск — у них уже не стало ни особняков, ни многочисленной челяди, ни салонов, ни собственного маленького двора. Кто узнал бы ныне в человеке, бредущем пешком в казначейство и взбирающемся там на третий этаж, бывшего директора лесного управления или управления косвенных налогов, некогда занимавшего роскошный особняк на улице Сент-Авуа или Сент-Огюстен, советника, нередко даже члена государственного совета и пэра Франции? (Господа Пакье и Моле, как и многие другие, удовлетворились в свое время местами директоров управления, после того как были министрами, и руководствовались, таким образом, на практике остроумным замечанием герцога д'Антена в беседе с Людовиком XIV: «Ваше величество, когда Иисус Христос умирал в пятницу, он отлично знал, что снова появится в воскресенье».) Если бы такой директор был вознагражден за утрату роскоши бóльшей широтою власти, с этим еще можно было бы примириться, но в наши дни ему едва удается добиться места докладчика государственного совета с годовым окладом в какие-нибудь двадцать тысяч в год, а как символ былой власти ему оставили судебного пристава в коротких панталонах, шелковых чулках и французском платье, если только и приставов сейчас не отменили.

В состав канцелярии входят: канцелярский служитель, несколько сверхштатных чиновников-писцов, которые из года в год бесплатно корпят над бумагами, экспедиторы, письмоводители, старшие чиновники или делопроизводители, правитель канцелярии и его помощник. Отделение обычно объединяет две-три канцелярии,

а иногда и больше. Названия должностей старших чиновников меняются в зависимости от нужд самой канцелярии: одного из старших чиновников может заменять контролер, счетовод и т. п.

Пол в комнате, где сидит канцелярский служитель, так же как и в коридоре, выложен плитками, а стены оклеены убогими обоями; в ней есть печка, большой черный стол с чернильницей и перьями, иногда небольшой бак с водой и скамьи, на которых часами сидят просители, опустив ноги на холодный пол; лишь у канцелярского служителя, восседающего в удобном кресле, ноги покоятся на соломенном коврике! Комната, где помещаются чиновники, обычно довольно просторна и более или менее светла, но и в ней пол редко бывает паркетный. Паркет и камин — это исключительное достояние одних лишь правителей канцелярий и начальников отделений, так же как и шкафы, конторки и столы красного дерева, кресла, обитые красным или зеленым сафьяном, диваны, шелковые занавески и другие предметы административной роскоши. В комнате чиновников стоит печка, труба которой по большей части бывает выведена в заделанный камин, если он имеется. Обои — гладкие, без рисунка, зеленые или коричневые. Простые столы выкрашены черной краской. Изобретательность чиновников видна в том, как они умеют устроиться. Зябкий ставит себе под ноги нечто вроде деревянного пюпитра, у сангвиника — всего лишь плетеная скамеечка; флегматик, опасающийся сквозняков, открытых дверей и всего, что вызывает изменения температуры, загораживается ширмочками из папок. В канцелярии обычно есть шкаф, где чиновники хранят рабочую одежду, холщовые нарукавники, козырьки для глаз, картузы, греческие ермолки и другие принадлежности своего ремесла. На камине почти всегда стоят графины с водой и стаканы, валяются объедки завтрака. Если помещение темное, в нем горят лампы. Дверь в кабинет помощника обычно стоит открытой, чтобы ему удобно было неусыпно наблюдать за своими подчиненными, не позволяя им слишком много разглагольствовать, а порой самому беспрепятственно при особо знаменательных обстоятельствах войти к ним поговорить.

Человек наблюдательный может судить о важности

учреждения по тому, как обставлена канцелярия. Так, занавески бывают белые, цветные, из бумажной ткани или шелковые; стулья — вишневого или красного дерева, с соломенными, сафьяновыми или матерчатыми сиденьями; обои большей или меньшей свежести. Но какому бы учреждению вся эта казенная мебель ни принадлежала, едва она оказывается вне стен того или иного министерства — что за странное зрелище являют собой все эти предметы, перевидавшие столько хозяев и правительств, бывшие свидетелями стольких катастроф! Поэтому из всех переездов нет более фантастически нелепых, чем переезды канцелярий. Никогда Гофман, этот певец невозможного, не измышлял зрелища более причудливого! Трудно вообразить, что только не громоздится тогда на подводах! Из недр зияющих папок клубами вылетает пыль и влечется за ними следом вдоль улиц. Задрав кверху четыре ноги, лежат столы; изъеденные молью кресла и всякие невероятные предметы, с помощью которых во Франции вершит свои дела административная власть, строят ужасающие рожи. Все это напоминает не то театральный реквизит, не то трапеции уличного гимнаста. Как на древних обелисках, мы открываем здесь следы человеческого интеллекта и полустертые надписи, волнующие наше воображение, подобно всему, что мы хоть и видим, но не в силах понять. И, наконец, эти вещи так ветхи, так потерты, так засалены, что самая грязная кухонная посуда приятнее для глаз, чем утварь административной кухни.

Может быть, достаточно описать отделение, которым управлял г-н де ла Биллардиер, чтобы иноземцы, а также люди, живущие в провинции, получили верное представление о жизни и нравах канцелярий вообще, ибо эти основные черты, вероятно, присущи всем административным учреждениям Европы.

Прежде всего попытайтесь нарисовать себе человека, о котором в календаре сказано следующее:

Начальник отделения.

«Господин барон Фламе де ла Биллардиер (Атаназ-Жан-Франсуа-Мишель), некогда старший прево в департаменте Коррезы, несменяемый камер-юнкер, докладчик государственного совета по чрезвычайным делам,

председатель Большой избирательной коллегии департамента Дордони, награжденный офицерским крестом ордена Почетного легиона, кавалер ордена св. Людовика и иностранных орденов — Христа, Изабеллы, св. Владимира и проч.; член Жерской академии и многих других ученых обществ, вице-президент общества «Благие письмена», член общества св. Иосифа и Тюремного попечительства, один из мэров города Парижа и проч. и проч.».

Этот персонаж, потребовавший для своего описания столько места и типографской краски, занимал в данную минуту весьма небольшое пространство всего в пять футов шесть дюймов длиной и дюйма три шириной — он лежал на кровати, в стеганом колпаке, стянутом огненно-красными лентами, а подле него находились: знаменитый хирург лейб-медик Деплен, молодой врач Бьяншон и, в виде подкрепления, еще две старухи родственницы. Всюду были наставлены пузырьки и склянки с лекарствами, разбросано белье, инструменты и прочие предметы, сопутствующие смерти, которую подстерегал кюре от св. Роха, убеждавший больного подумать о спасении своей души. Сын де ла Биллардиера Бенжамен каждое утро спрашивал обоих врачей:

— Как вы полагаете, я буду иметь счастье сохранить отца?

В это утро наследник несколько изменил вопрос и слова «счастье сохранить» заменил словами «несчастье потерять»...

Надо сказать, что отделение де ла Биллардиера находилось в великолепном особняке посреди министерского океана, на долготе в семьдесят одну ступеньку и на той же широте, что и мансарды, к северо-востоку от двора, в глубине которого некогда были конюшни, а теперь помещалось отделение Клержо. Между канцеляриями имелась площадка, а двери комнат с табличками выходили в широкий коридор с неоткрывающимися оконцами. Кабинеты и прихожие отделений Рабурдена и Бодуайе были внизу, на третьем этаже. За кабинетом Рабурдена следовала прихожая, приемная и два кабинета де ла Биллардиера. Второй этаж, разделенный надвое антресолями, занимала квартира и канцелярия г-на Эрнеста де ла Бриера — личности загадочной и могущественной, которой мы посвятим несколько слов, ибо

подобное отступление необходимо. Все время, пока существовало министерство, этот человек состоял бессменным личным секретарем министра. Потайная дверь вела из его квартиры к министру, в рабочий кабинет, помимо которого в министерских апартаментах имелся еще другой кабинет, для приемов, чтобы его превосходительство мог работать без свидетелей со своим секретарем или же совещаться с сильными мира сего без секретаря. Личный секретарь для министра — то же, чем был де Люпо для всего министерства. И молодого ла Бриера отделяло от де Люпо такое же расстояние, какое отделяет адъютанта от начальника штаба. Юноша, обучающийся искусству быть министром, и исчезает из поля зрения и появляется снова одновременно со своим покровителем. Если министр теряет свой пост, но сохраняет милость короля и упования на парламент, он уводит с собою и своего секретаря, чтобы затем вернуться вместе с ним; если же он теряет все, то отправляет его пастись на какое-нибудь административное пастбище, хотя бы в счетную палату, этот постоялый двор, где секретари обычно пережидают грозу. Секретаря нельзя назвать государственным деятелем, но он деятель политический, а иногда он — вся политика деятеля. Если представить себе те бесчисленные письма, которые он обязан вскрывать и прочитывать, уже не говоря о прочих делах, то разве не становится ясным, что в монархическом государстве его полезная деятельность должна весьма дорого оплачиваться? Жертва подобного рода стóит в Париже от десяти до двадцати тысяч франков в год; кроме того, молодой человек пользуется министерскими ложами, экипажами и пригласительными билетами. Русский император был бы очень рад иметь за пятьдесят тысяч франков ежегодно одного из этих дрессированных конституционных пудельков; они такие кроткие, такие кудрявые, такие ласковые и послушные; они так безупречно выдрессированы, так бдительны и... верны! Но личного секретаря можно найти, выходить, вырастить только в теплицах конституционных правительств. При неограниченной монархии существуют лишь придворные и холопы, тогда как при конституции вам прислуживают и льстят, вас ласкают люди свободные. Таким образом, во Франции министры счастливее, чем

женщины и короли: у них есть человек, который их понимает. Может быть, надо пожалеть личных секретарей, ибо, как женщины и чистая бумага, они все терпят, и, подобно целомудренной женщине, они смеют обнаруживать скрытые в них возможности только втайне, только перед своим повелителем. Если они сделают это открыто — они погибли. Итак, личный секретарь — это друг, дарованный министру правительством. Однако вернемся к канцеляриям.

В отделении ла Биллардиера мирно уживались три канцелярских служителя: один числился при обеих канцеляриях, другой — при обоих правителях и третий — при самом начальнике; они получали квартиру, отопление и обмундирование от казны и носили всем известную ливрею: синюю с красными кантами в будни, а в торжественные дни — с широкими сине-бело-красными нашивками. Служитель же ла Биллардиера был одет в мундир судебного пристава. Желая потешить самолюбие родственника министра, де Люпо смотрел сквозь пальцы на эту вольность, которая к тому же придавала и самой канцелярии более аристократический тон. Являясь истинными столпами министерства и знатоками бюрократических нравов и обычаев, служители эти, при казенном обмундировании, дровах и квартире не ведавшие никаких нужд, богатые благодаря отсутствию потребностей, знали всю подноготную чиновников, ибо единственным доступным для них развлечением было наблюдать за ними, изучать их привычки и пристрастия; поэтому им было отлично известно, кому из чиновников можно дать денег в долг — и в пределах какой суммы. Впрочем, служители исполняли поручения с полнейшим соблюдением тайны: относили вещи в ломбард, брали их из заклада, покупали закладные квитанции, ссужали деньги без процентов; однако чиновники никогда не занимали у них даже ничтожной суммы без соответствующей мзды, а так как это были займы очень незначительные, то получалось нечто вроде «краткосрочного помещения денег». Эти слуги без господ получали девятьсот франков в год, что составляло с наградными и подарками около тысячи двухсот франков, да еще выручали примерно столько же с чиновников, держа стол для тех, кто завтракал на службе. В некоторых министерствах зав-

траки готовил швейцар. Место швейцара при министерстве финансов некогда давало толстяку Тюилье, сын которого служил в канцелярии ла Биллардиера, до четырех тысяч франков. Иногда просители, добиваясь, чтобы их поскорее приняли, совали в руку служителя монету в сто су, которая принималась с редкостным хладнокровием. Те, кто поступил уже давно, надевали казенную ливрею только в министерстве, а выходя в город, сменяли ее на обычное платье.

Самый богатый из трех канцелярских служителей всячески эксплуатировал чиновников. Шестидесяти лет от роду, коренастый, дородный, седые волосы ежиком, апоплексическая шея, грубое, прыщеватое лицо, серые глаза, рот, как печь,— таков был Антуан, старейший служитель министерства.

Антуан выписал из Эшеля в Савойе двух племянников — Лорана и Габриэля — и устроил обоих служителями, одного при правителях канцелярии, другого при начальнике отделения. Неладно скроенные, да крепко сшитые, как и дядюшка, племянники были уже в возрасте тридцати — сорока лет. С виду они походили на комиссионеров и по вечерам работали в одном из королевских театров, где проверяли контрамарки,— должность, полученная ими по протекции де ла Биллардиера. Оба савойца были женаты, и их жены занимались чисткой кружев, а также штопкой кашемировых шалей и слыли в этом деле большими мастерицами. Дядя-холостяк поселился вместе с племянниками и их семьями и жил лучше, чем иной делопроизводитель. Лоран и Габриэль не прослужили еще и десяти лет, а потому не испытывали презрения к казенной ливрее и выходили в ней на улицу, гордые, как бывают горды драматурги, когда их пьесы делают полные сборы. Дядюшка, которому они служили с неистовой преданностью и которого почитали за человека чрезвычайно тонкого и проницательного, постепенно посвящал их в тайны ремесла. В восьмом часу утра все трое приходили отпирать канцелярии, производили уборку, прочитывали газеты или, как заядлые политики, обсуждали дела своего отделения со служителями других канцелярий и обменивались новостями.

Подобно современным слугам, которые знают до тонкости жизнь и обстоятельства своих господ, они чувство-

вали себя в своем министерстве, как пауки посреди паутины, и ощущали в нем малейшие колебания.

В четверг утром, на другой день после приема у министра и вечера у Рабурдена, в ту минуту, когда дядюшка при помощи обоих племянников брил себе бороду в прихожей отделения на третьем этаже, неожиданно явился один из чиновников.

— Пришел господин Дюток! — сказал Антуан.— Я узнаю его шаги, он крадется, как вор; этот человек точно на коньках скользит! Вдруг окажется у тебя за спиной, словно из-под земли вырос. Вчера он последним ушел из канцелярии отделения, а этого с ним не бывало и трех раз за все время, что он у нас служит!

Дютоку минуло тридцать восемь лет; у него было длинное желчное лицо, седые, всегда коротко остриженные, курчавые волосы; низкий лоб с густыми сросшимися бровями, поджатые губы, кривой нос, бледно-зеленые глаза, упорно избегающие взгляда ближних, высокий рост; одно плечо несколько выше другого; он носил коричневый фрак, черный жилет, фуляровый шейный платок, желтоватые панталоны, черные шерстяные чулки и башмаки с растрепанными бантами. Вот каков был г-н Дюток, делопроизводитель канцелярии Рабурдена. Бездарный и ленивый, он ненавидел своего начальника, что было вполне естественно: Рабурден не обладал никакими пороками, на которых Дюток мог бы играть, никакой низкой чертой, угождая которой Дюток мог бы втереться к нему в доверие. Рабурден был слишком благороден, чтобы вредить своему подчиненному, и вместе с тем слишком проницателен, чтобы на его счет обманываться. Поэтому делопроизводитель держался только благодаря великодушию своего начальника и не мог надеяться ни на какие служебные успехи, пока отделением управлял этот человек. Дюток и сам чувствовал, что более ответственная должность ему не по плечу, но он слишком хорошо изучил нравы канцелярий и знал, что неспособность отнюдь не является препятствием для блестящей карьеры; получи он более высокую должность — ему пришлось бы только найти себе среди всех этих письмоводителей второго Рабурдена, как сделал ла Биллардиер, который был явно неспособен, прямо-таки бездарен. Злоба в сочетании со своекорыстием стóит

порой большого ума; будучи и очень злым и очень корыстным, Дюток постарался упрочить свое положение, сделавшись постоянным сыщиком при канцелярии.

С 1816 года он напустил на себя чрезвычайное благочестие, ибо почуял, какими милостями будут вскоре осыпаны люди, которых в те времена глупцы туманно называли иезуитами. Дюток принадлежал к Конгрегации, хотя и не был посвящен во все ее тайны; он бродил по канцеляриям, позволял себе вольные шутки, чтобы испытывать людей и затем составлять донесения для де Люпо, которого держал в курсе мельчайших событий. А тот частенько поражал министра тонким знанием личной жизни каждого чиновника. Будучи, в подлинном смысле слова, сводником, и притом политическим сводником, каким был и де Люпо, он домогался чести выполнять тайные поручения секретаря министра; а де Люпо терпел эту гнусную личность в надежде, что негодяй может еще пригодиться — хотя бы на то, чтобы с помощью постыдного брака покрыть грех или самого де Люпо, или какой-нибудь важной особы. Они отлично понимали друг друга. Дюток и сам надеялся на любовную победу такого сорта и потому оставался холостым.

Делопроизводитель занял место г-на Пуаре-старшего, который, выйдя в отставку в 1814 году, поселился на покое в меблированных комнатах с пансионом как раз в то время, когда в канцеляриях были проведены большие реформы. Дюток проживал на улице Сен-Луи-Сент-Оноре, близ Пале-Руаяля, на шестом этаже доходного дома. Его страстью было коллекционирование старинных гравюр, и он жаждал иметь всего Рембрандта, всего Шарле, Сильвестра, Одрана, Калло, Альбрехта Дюрера и других. Подобно большинству людей, которые собирают коллекции или сами ведут свое хозяйство, он воображал, что умеет все купить очень дешево. Столовался он на улице Бон, вечера проводил в Пале-Руаяле, а иногда в театре благодаря дю Брюэлю, который давал ему свой авторский билет.

Несколько слов о дю Брюэле. Хотя все за него делал Себастьен, который, как вы знаете, получал от него скудное вознаграждение, дю Брюэль все же являлся на службу, но только чтобы самому почувствовать себя помощником правителя канцелярии, дать это почув-

ствовать другим и получить жалованье. Он писал рецензии о маленьких театрах в правительственной газете, печатал также статьи по заказам министра — словом, занимал положение известное, определенное и неуязвимое. Однако дю Брюэль не пренебрегал ни одной из тех маленьких дипломатических хитростей, которыми можно снискать всеобщее расположение. Он добывал г-же Рабурден ложу на все премьеры, заезжал за ней в карете и отвозил домой — внимание, которое она очень ценила. И Рабурден, крайне снисходительный и нетребовательный к подчиненным, разрешал ему бывать на репетициях, являться на службу, когда он хотел, и заниматься своими водевилями. Герцогу де Шолье было известно, что дю Брюэль пишет роман, который намерен посвятить ему. Дю Брюэль одевался, как одеваются авторы водевилей: по утрам носил панталоны со штрипками, мягкие туфли, жилет а-ля́ реформ, оливковый сюртук и черный галстук; а вечером облекался в изящный костюм, так как хотел прослыть джентльменом. Он квартировал — и не без оснований — в одном доме с актрисой Флориной, для которой сочинял роли. А Флорина в те времена жила у Туллии, танцовщицы, более примечательной своей красотой, чем талантом. Это соседство позволяло дю Брюэлю встречаться с герцогом де Реторе, старшим сыном герцога де Шолье, королевского фаворита. После одиннадцатой пьесы, написанной дю Брюэлем на злобу дня, герцог де Шолье выхлопотал драматургу орден Почетного легиона. Дю Брюэль, или, если хотите, Кюрси, работал сейчас над пятиактной пьесой для Французской комедии. Себастьен очень любил дю Брюэля, он иногда получал от него билеты в партер и по его указанию аплодировал с юношеской доверчивостью в тех местах, за которые автор опасался. Себастьен искренне почитал его великим драматургом. На другой день после первого представления водевиля, написанного, как водится, тремя соавторами и в некоторых местах освистанного, дю Брюэль заявил Себастьену:

— Публика сразу узнала места, которые сочиняли те двое!

— А почему вы не пишете один? — простодушно спросил Себастьен.

Существовали весьма веские причины для того, что-

бы дю Брюэль не работал один. Ведь он являлся только третьей частью автора. Дело в том, что драматург, как, вероятно, известно немногим, состоит из: «человека с идеями», который должен сочинять сюжет и строить, так сказать, костяк водевиля или сценарий; затем «труженика», обрабатывающего этот сценарий; и «человека-памяти», который должен перекладывать куплеты на музыку, аранжировать хоровые партии и ансамбли, подбирать и напевать мелодии. «Человек-память» заботится также о сборах, то есть наблюдает за составлением афиши и не отходит от директора, пока тот не назначит на завтра постановку одной из пьес данного товарищества. Дю Брюэль, как настоящий «работяга», читал в канцелярии новые книги и выписывал оттуда остроумные словечки, чтобы вставить их в диалоги. Соавторы Кюрси (псевдоним дю Брюэля) ценили его, зная, что он не подведет. «Человек с идеями» был уверен, что будет понят им и может сидеть сложа руки. Чиновники отделения любили водевилиста и ходили скопом смотреть его пьесы, чтобы оказать ему поддержку, ибо он вполне заслуживал звания «доброго малого». Кошелек его всегда был открыт, он охотно угощал товарищей пуншем и мороженым и давал взаймы до пятидесяти франков, никогда не требуя их обратно. Он жил экономно, умел выгодно поместить свои деньги; помимо загородного домика в Ольнэ и четырех с половиной тысяч жалованья, он располагал пенсией в тысячу двести франков и восьмьюстами франками из ста тысяч экю, выдаваемых по решению палаты в виде поощрения искусствам.

Прибавьте к этим разнообразным доходам девять тысяч франков, получаемых за трети, четверти и половины водевилей, написанных совместно с другими для трех театров, и вы поймете, почему он был такой толстый, круглый, жирный и напоминал всем своим обликом благополучного собственника. Что же касается нежных чувств, то, будучи тайным любовником танцовщицы Туллии, дю Брюэль воображал, как бывает обычно, что она предпочитает его своему официальному любовнику — блестящему герцогу де Реторе.

Дюток со страхом наблюдал за развитием того, что он называл связью де Люпо с г-жой Рабурден, и его глухая ненависть к Рабурдену еще возросла. Кроме того, бу-

дучи большим пронырой, он, конечно, догадался, что Рабурден, помимо своей официальной работы, поглощен еще каким-то серьезным трудом, о котором Дюток, к своей досаде, ровно ничего не знает, тогда как этот юнец Себастьен целиком или отчасти посвящен в эту тайну. Дюток постарался сойтись с Годаром, помощником Бодуайе и коллегой дю Брюэля, и преуспел в своем намерении; подружиться с Годаром помогло ему преклонение перед Бодуайе, которое он всячески подчеркивал; едва ли оно было искренним, но, восхваляя Бодуайе, он многозначительно умалчивал о Рабурдене — так утоляют свою ненависть мелкие душонки.

Жозеф Годар приходился Митралю родственником по материнской линии и на основании этого, хотя и довольно отдаленного, родства с семейством Бодуайе стал домогаться руки мадемуазель Бодуайе; совершенно ясно, что в его глазах Бодуайе был прямо гением. Он также питал глубочайшее уважение к Елизавете и г-же Сайяр, еще не замечая, что г-жа Бодуайе готовит для своей дочери Фалейкса. Время от времени Годар подносил мадемуазель Бодуайе маленькие подарки — искусственные цветы, конфеты на новый год, красивые бонбоньерки в день ее рождения. Это был двадцатишестилетний молодой человек, работящий, но ограниченный, чинный, как барышня, бесцветный и вялый; он испытывал какой-то ужас перед сигарами, кофейнями и верховой ездой, ложился ровно в десять, вставал в семь и был не лишен приятных для общества талантов — он умел играть контрдансы на флажолете, чем заслужил особое благоволение Сайяров и Бодуайе; в национальной гвардии он стал флейтистом, чтобы не проводить ночей в кордегардии, и с особым усердием занимался естественной историей. Годар собирал коллекции минералов и раковин, кроме того, набивал чучела птиц, и его комната служила складом для всяких курьезов, купленных по дешевке; там были камни с пейзажами, модели дворцов, вырезанные из коры пробкового дуба, окаменелости из ключа Сент-Аллир в Клермоне (Овернь) и т. п. Он собирал флаконы от духов, чтобы хранить в них образцы барита, сульфатов, солей, магнезии, кораллов и пр.; по стенам висели в рамках картоны с наколотыми бабочками, китайские зонтики и высушенные рыбьи кожи. Жил он у сестры,

цветочницы, на улице Ришелье. Хотя маменьки, имевшие дочек на выданье, и восхищались этим молодым человеком, работницы его сестры презирали примерного юношу, особенно продавщица, которая долго питала надежду его окрутить.

Жозеф Годар был среднего роста, худой и щуплый, с реденькой бородкой и обведенными тенью глазами; по словам Бисиу, при виде его мухи мерли от скуки; он мало заботился о своей внешности, платье плохо сидело на нем, широкие панталоны висели мешком, он носил круглый год белые чулки, башмаки на шнурках и шляпу с узкими полями. В канцелярии Годар сидел в бамбуковом кресле с прорезным сиденьем, подложив под себя зеленый сафьяновый круг,— он жаловался на плохое пищеварение.

У молодого человека была страсть к летним воскресным поездкам в Монморанси, к пикникам и обедам на траве, а также к молочным кушаньям на бульваре Монпарнас. За последние полгода Дюток нет-нет да и захаживал к мадемуазель Годар, надеясь обладить в этом доме какое-нибудь дельце, найти там какой-нибудь клад в образе женщины.

Итак, среди чиновников Бодуайе имел в лице Дютока и Годара двух ярых сторонников. Г-н Сайяр, неспособный понять, что такое Дюток, иногда навещал его в канцелярии. Молодой ла Биллардиер, назначенный сверхштатным чиновником к Бодуайе, также принадлежал к их партии. Люди умные очень смеялись этому союзу трех бездарностей. Бисиу прозвал Бодуайе, Годара и Дютока «препустой троицей», а молодого ла Биллардиера — «пасхальным барашком».

— Раненько вы нынче поднялись,— посмеиваясь, сказал Антуан Дютоку.

— А кстати, Антуан,— отозвался Дюток,— вы замечаете, что газеты иногда приходят гораздо раньше, чем вы их нам разносите?

— Да, вот хотя бы сегодня,— ничуть не смущаясь согласился Антуан.— Они, впрочем, каждый день приходят в разное время.

Восхищенные находчивостью дяди, племянники украдкой переглянулись, как будто хотели сказать: «Ну и ловок!»

— Хотя я получаю с каждого его завтрака два су,— пробурчал Антуан, слыша, что Дюток затворил за собою дверь,— но я бы даже от них отказался, только бы он убрался из нашего отделения.

— Ну, сегодня вы не первый, господин Себастьен!— говорил Антуан молодому человеку спустя четверть часа.

— А кто же пришел? — спросил, бледнея, бедный юноша.

— Господин Дюток,— отвечал Лоран.

Целомудренные натуры наделены больше, чем другие люди, необъяснимым даром ясновидения — причина этого, быть может, в нетронутости и цельности их нервной системы. Поэтому Себастьен угадал, что Рабурдена, перед которым он благоговел, Дюток ненавидит. И не успел Лоран произнести это имя, как юноша, охваченный ужасным предчувствием, воскликнул: — Я так и знал! — и стрелой вылетел в коридор.

— Ну, пойдет теперь катавасия у нас в канцеляриях,— проговорил Антуан, качая головой и облачаясь в свою ливрею.— Видно, господин барон действительно скоро преставится... Да, госпожа Грюже, его сиделка, говорила, что он, пожалуй, до вечера не дотянет. Вот засуетятся! Эй, вы,— обратился он к племянникам,— пойдите-ка поглядите, хорошо ли шумит огонь у вас в печах! Черт побери, сейчас все нагрянут!

— А верно,— сказал Лоран,— бедняжка Себастьен совсем голову потерял, когда услышал, что этот иезуит Дюток раньше его пришел!

— Я уж говорил ему, говорил... ведь не скрывать же правды от хорошего чиновника, а хорошим я называю такого, как этот мальчуган, который регулярно дает мне на новый год десять франков,— продолжал Антуан.— Вот я и говорю ему: «Чем больше вы будете стараться, тем больше с вас спросят и все-таки затрут!» Так нет! И слушать не хочет, торчит здесь до пяти часов — на час дольше, чем все. *(Пожимая плечами.)* Очень глупо! Так не делают карьеры!.. И вот видите, никто даже не подумает о том, что пора бы платить жалованье бедному малому, а из него вышел бы чиновник хоть куда. И это после двух-то лет! Просто смотреть больно, честное слово!

— Господин Рабурден любит господина Себастьена,— заметил Лоран.

— Да ведь господин Рабурден пока что не министр. И будет, когда рак свистнет, уж очень он... Ну, довольно! Как вспомню, что приходится таскать жалованье этим шутам гороховым, которые посиживают себе дома и делают, что им нравится, а этот маленький ла Рош тут надрывается, так и спрашиваю себя: неужели бог совсем забыл наши канцелярии? А что получаешь от этих молодчиков, от этих любимцев господина маршала и господина герцога? Одни «спасибо» — и все. *(Снисходительно кивая головой.)* «Благодарствуйте, милый Антуан»... Эх вы, лодыри, принимайтесь-ка за работу! А то не миновать нам революции! Да, при господине Робере Ленде таких бездельников не было! Ведь я поступил в это заведение еще при Робере Ленде. Вот при нем чиновник работал! Надо было видеть, как эти чернильные души скрипели перьями до полуночи,— все печки, бывало, уже поостынут, а они даже и не чуют; ну да ведь и гильотина тогда работала; а это не шутка, это покрепче, чем какой-то выговор, который им делают теперь за опоздание.

— Папаша Антуан,— сказал Габриэль,— вы нынче не прочь порассуждать, ну-ка скажите, что такое, по-вашему, чиновник?

— Это,— с важным видом отозвался Антуан,— человек, который марает бумагу, сидя в канцелярии. Впрочем, что я чепуху несу? Каково бы нам с вами было без чиновников? Поэтому идите-ка к своим печам и, смотрите, никогда не ругайте чиновников!.. Габриэль, слышишь, как печка воет в большой комнате? Чертова тяга... надо подвернуть вьюшку...

Антуан вышел на площадку лестницы, откуда было видно, как чиновники один за другим входят через ворота во двор; он знал всех министерских и давно привык различать их по одежде и походке.

Однако, прежде чем приступить к драме, следует набросать силуэты ее главных актеров из отделения ла Биллардиера; причем перед нами окажутся несколько таких разновидностей чиновничьей породы, которые оправдают не только наблюдения Рабурдена, но и название этого очерка, изображающего нравы Парижа. Смотрите, не ошибитесь: и по горестям и по странностям — чиновник

чиновнику рознь, так же как дерево дереву рознь. В особенности же отличайте чиновников парижских от провинциальных. В провинции чиновнику живется хорошо; у него большая квартира, сад; в канцелярии он чувствует себя как дома; он пьет дешевое, но хорошее вино, ему не нужно есть филе из конины, ему доступна такая роскошь, как десерт. Вместо долгов — у него сбережения. Если неизвестно в точности, что он съедает за обедом, все же каждый вам скажет, что он не проедает своего жалованья. Если он холост, то, завидев его, маменьки любезно ему кивают; если он женат, то ездит с женой на балы к управляющему окладными сборами, к префекту, супрефекту, интенданту. Люди стараются выведать его характер; ему везет в любовных приключениях; он слывет человеком большого ума, при его переводе все будут жалеть о нем, весь город его знает, интересуется его женой, детьми. Он дает вечера; а если у него есть средства и его тесть — человек с деньгами, он может даже сделаться депутатом. Каждый шаг его жены известен — так умеют шпионить только в маленьких городках,— и если он несчастен в семейной жизни, то по крайней мере об этом осведомлен, тогда как в Париже чиновник может совершенно ничего не знать. Наконец, чиновник в провинции — это нечто, тогда как в Париже — он почти ничто.

Вслед за Себастьеном в присутствие пришел письмоводитель из канцелярии Рабурдена, почтенный отец семейства, некий г-н Фельон. Благодаря покровительству своего начальника он вносил только половину платы в коллеж Генриха IV, где учились его два мальчика,— льгота весьма справедливая, ибо у Фельона была еще дочь, бесплатно воспитывавшаяся в пансионе, где его жена давала уроки музыки и сам он преподавал по вечерам историю и географию. Это был человек сорока пяти лет, старший сержант одной из рот национальной гвардии, весьма сострадательный на словах, но неспособный раскошелиться ни на грош. Он проживал на улице Фобур-Сен-Жак, недалеко от приюта глухонемых, в доме с садом, причем *помещение* (если изъясняться в стиле самого Фельона) обходилось ему всего четыреста франков в год. Гордый своей должностью, довольный своей судьбой, он изо всех сил старался угодить начальству, был уверен,

что приносит пользу отечеству, и хвалился своим пренебрежением к политическим спорам, считая, что власть есть власть!

Всякий раз, когда Рабурден просил его остаться еще на полчаса, чтобы закончить какую-нибудь работу, это доставляло Фельону истинное удовольствие, и он тогда говорил девицам ла Грав (ибо имел обыкновение обедать на улице Нотр-Дам-де-Шан, в пансионе, где его жена преподавала музыку): «Сударыни, дела потребовали, чтобы я задержался на службе. Когда принадлежишь правительству, то своему времени уже не хозяин». Он писал книги для пансионов молодых девиц, состоявшие из вопросов и ответов. Эти «маленькие трактаты о самом главном», как он их именовал, продавались в университетской книжной лавке под названием *«Исторического и географического катехизиса»*. Считая своим священным долгом дарить г-же Рабурден экземпляр каждого нового выпуска «Катехизиса», отпечатанный на веленевой бумаге и переплетенный в красный сафьян, он являлся к ней со своим подношением торжественный и разодетый: черные шелковые панталоны, шелковые чулки, башмаки с золотыми пряжками и т. п.

Фельон принимал вечером по четвергам, когда пансионерки укладывались спать; гостям подавалось пиво и пирожное. Затем играли в булиот, по пять су ставка. Невзирая на столь мизерную игру, в иные азартные четверги г-н Лодижуа, чиновник мэрии, ухитрялся спустить целых десять франков. Эту гостиную, оклеенную зелеными обоями с красным бордюром, украшали портреты короля, супруги брата короля и супруги дофина, а также две гравюры: «Мазепа» Ораса Верне и «Похороны бедняка» Виньерона,— картина эта, по мнению Фельона, выражала некую возвышенную идею, которая должна была утешать низшие классы общества и доказывать им, что у них есть друзья более преданные, чем люди, и что чувства этих друзей не умирают даже за гробом. В этом виден весь человек! Каждый год в день поминовения усопших он водил своих трех детей на Западное кладбище и показывал им двадцать метров земли, приобретенных в вечное пользование, где были погребены его отец и теща.

— Все мы здесь будем,— говаривал он детям, дабы приучить их к мысли о смерти.

Одним из самых больших удовольствий было для него изучать окрестности Парижа, и он даже купил себе их карту. Фельон досконально изучил Антони, Аркейль, Биевр, Фонтене-о-Роз, Онэ, столь прославившийся пребыванием нескольких знаменитых писателей, и надеялся со временем ознакомиться со всеми окрестностями к западу от Парижа. Своего старшего сына он предназначал для административной деятельности, а второго намеревался отдать в Политехническую школу. Он нередко говорил старшему: «Когда удостоишься чести служить правительству...» — но подозревал в мальчике влечение к точным наукам, которое старался подавить, решив бросить сына на произвол судьбы, если тот вздумает упорствовать. Фельон ни разу не осмелился просить Рабурдена оказать ему честь и отобедать у него, хотя счел бы этот день счастливейшим в своей жизни. Он уверял, что мог бы умереть спокойно и чувствовал бы себя счастливейшим из отцов, если бы хоть один из его сыновей пошел по стопам такого человека, как Рабурден. Он так расхвалил девицам ла Грав этого почтенного и достойного начальника, что они жаждали увидеть великого Рабурдена так же, как юноша мечтает увидеть Шатобриана. Как они были бы счастливы, говорили девицы, если бы им доверили воспитание его дочки! Когда карета министра подъезжала к министерству или отъезжала от него — сидел ли в ней кто-нибудь или не сидел,— Фельон почтительно снимал шляпу; он уверял, что все во Франции шло бы гораздо лучше, если бы каждый умел чтить власть даже в ее эмблемах. Случалось, что Рабурден вызывал его вниз, чтобы разъяснить какое-либо дело; Фельон напрягал все свои умственные способности и благоговейно внимал каждому слову своего начальника, как любитель музыки внимает какой-нибудь арии в Итальянской опере. В канцелярии он сидел безмолвно на своем месте, положив ноги на деревянную подставку, и, словно оцепенев, добросовестно изучал лежащие перед ним бумаги. Свою служебную корреспонденцию он вел в высоком, почти литургически строгом стиле, относился к каждой мелочи сугубо серьезно и подчеркивал проходившие через него распоряжения министра с помощью особо торжественных фраз. И все же этого человека, столь компетентного во всем, что касалось благопристойности, постигло несчастье на слу-

жебном поприще, и какое несчастье! Несмотря на всю тщательность, с какой он составлял бумаги, из-под его пера однажды вышла следующая фраза: «Вам надлежит явиться в известное место с необходимой бумагой». Обрадовавшись, что представляется случай посмеяться над этим невинным созданием, экспедиторы, ничего не сказав Фельону, отправились за советом к Рабурдену; а начальник, представив себе Фельона, не мог не расхохотаться и исправил его оплошность, написав на полях: «Вам надлежит явиться в означенное место с соответствующим документом». Фельон, которому показали исправленную фразу, долго ее изучал, обдумывал разницу между обоими выражениями, затем чистосердечно сознался, что ему понадобилось бы два часа, чтобы найти такой оборот, и воскликнул: — Господин Рабурден гениальный человек! — Однако он остался при убеждении, что коллеги не соблюли по отношению к нему всех форм приличия, поспешив обратиться к его начальнику; правда, он слишком уважал служебную иерархию, чтобы не признать их права на это, тем более что сам он в то время отсутствовал; но про себя Фельон решил, что он на их месте подождал бы — ведь дело не было срочным. После этого случая он несколько ночей не спал. И когда его хотели рассердить, то достаточно было, намекая на злополучную фразу, спросить его, когда он выходил из комнаты:

— А необходимая бумага при вас?

Тогда почтенный письмоводитель оборачивался, кидал на чиновников испепеляющий взгляд и ответствовал:

— Ваш вопрос совершенно неуместен, господа!

Однажды из-за этого разгорелась такая ссора, что Рабурден был вынужден вмешаться и запретил чиновникам напоминать о пресловутой фразе.

Господин Фельон был выше среднего роста, его лицо, бесцветное и рябое, напоминало своим выражением морду задумавшегося барана, губы были толстые, отвислые, глаза водянисто-голубые. Одевался он чисто и аккуратно, как и подобает преподавателю истории и географии, выступающему перед молодыми девицами; он носил отменное белье, плиссированное жабо, черный открытый казимировый жилет, из-под которого порой выглядывали

помочи, вышитые руками его дочери, бриллиантовую запонку на сорочке, черный фрак и синие панталоны. Зимой он обычно надевал шинель орехового цвета с тройной пелериной и, выходя, прихватывал налитую свинцом дубинку — необходимость, вызванная опасным безлюдьем его улицы. Он бросил привычку нюхать табак и приводил это как разительный пример того, что можно научиться властвовать собой. По лестницам Фельон всходил неторопливо, опасаясь нажить астму, ибо у него была, по его выражению, слишком жирная грудь. Проходя мимо Антуана, он с достоинством кивал ему.

Сейчас же вслед за Фельоном в канцелярию пришел экспедитор Виме, являвший собой полную противоположность добродетельному Фельону. Виме, двадцатипятилетний молодой человек, получал полторы тысячи франков в год; он был хорошо сложен, статен, наружность имел изящную и романическую, волосы, глаза и брови — черные, как вороново крыло, ослепительные зубы, прелестные руки, а усы до того густые и тщательно расчесанные, что казалось, его главное занятие — это уход за ними. Виме обнаруживал необычайные способности и справлялся с работой быстрее всех.

— Этот молодой человек весьма даровит,— замечал Фельон, видя, как экспедитор, покончив с делами, сидит, закинув ногу за ногу, не зная, куда девать остаток служебного времени.— А пишет — прямо бисер! — говорил он дю Брюэлю.

На завтрак Виме съедал простую булку и выпивал стакан воды, обедал за двадцать су у Каткомба и жил в меблированных комнатах за двенадцать франков в месяц. Его счастьем, его единственной радостью было щегольское платье. Он тратил все свои деньги на ослепительные жилеты, на панталоны в обтяжку, в полуобтяжку, со складками и с вышивкой; на сапоги из тонкой кожи, ловко сидящие фраки, подчеркивающие изгиб талии, на восхитительные воротники, свежие перчатки, шляпы. Надев поверх перчатки перстень с большим щитком и вооружившись щегольской тростью, он старался всем своим видом и манерами походить на богатого юношу. Пообедав и держа двумя пальцами зубочистку, он отправлялся гулять по большой аллее Тюильри — ни дать ни взять миллионер, только что вставший из-за стола.

В надежде, что в него влюбится какая-нибудь англичанка, или другая иностранка, или богатая вдова, он изучал искусство играть тростью и стрелять глазами «по-американски», как выражался Бисиу. Виме то и дело улыбался, чтобы показать свои чудесные зубы. Он обходился без носков, но каждый день завивал волосы у парикмахера. Следуя раз навсегда установленным принципам, он готов был ради шести тысяч франков дохода жениться на горбунье, ради восьми тысяч — на сорокапятилетней, а ради трех тысяч — на англичанке. Плененный его почерком и проникшись сочувствием к молодому человеку, Фельон стал уговаривать его заняться уроками чистописания, ибо эта почтенная профессия могла облегчить ему жизнь и даже сделать ее приятной; покровитель предлагал устроить ему уроки в пансионе девиц ла Грав. Однако Виме так твердо держался за свою идею, что никто не мог подорвать в нем веры в его счастливую звезду. Поэтому он продолжал голодать и все так же выставлял себя напоказ, как Шеве выставляет осетра, хотя уже три года безуспешно щеголял своими длиннейшими усами. Задолжав Антуану тридцать франков за свои завтраки, Виме, проходя мимо старика, всякий раз опускал глаза, чтобы не встретиться с ним взглядом; и все-таки около полудня просил его принести булку. Рабурден напрасно старался вложить хоть несколько мыслей в эту бедную голову, потом махнул рукой. Отец Виме был секретарем мирового судьи в Северном департаменте. Последнее время Адольф Виме перестал обедать у Каткомба и питался только хлебцами, желая накопить денег и приобрести себе шпоры и хлыст. Чиновники в насмешку над его матримониальными планами прозвали его *голубок Вильом.* Однако к шуткам над этим Амадисом, этим модником на пустой карман, их подстрекал только тот дух насмешки, которым порожден водевиль, ибо Виме был хорошим товарищем, а если и вредил кому-нибудь, то лишь себе. Самой популярной шуткой был спор на пари: носит он корсет или не носит? Сначала Виме попал в канцелярию Бодуайе, но потом добился, путем всяких уловок, перевода к Рабурдену, ибо Бодуайе был чрезвычайно строг относительно платежей *англичанам* — так чиновники называли своих кредиторов. День *англичан* — это день, когда доступ в канцелярии открыт для посетителей. Зная,

что тут уж наверняка можно настигнуть должников, надоедливые кредиторы являются к ним сюда, требуя свои деньги и угрожая наложить арест на жалованье. В такие дни неумолимый Бодуайе заставлял чиновников оставаться на местах.

— Сами виноваты,— говорил он,— нечего было влезать в долги.

Он считал, что такая строгость необходима для общественного блага. Рабурден, наоборот, защищал своих подчиненных от кредиторов, которых выставлял за дверь, заявляя, что канцелярия существует не для личных дел, а для дел общественных. Когда Виме стал ходить по коридорам и лестницам, звеня шпорами, над ним потешались в обеих канцеляриях. Бисиу, состоявший при министерстве в роли мистификатора, носил по отделениям Клерже и ла Биллардиера листок бумаги с карикатурой на Виме: молодой франт сидит верхом на картонном коне, а внизу подпись, в которой предлагается устроить сбор пожертвований на покупку живой лошади; дальше, против фамилии Бодуайе, стояло: «Жертвует центнер сена из собственного довольствия»; затем каждый чиновник сочинил эпиграмму на соседа. Даже сам Виме, будучи действительно человеком незлобивым, принял участие в шуточной подписке под именем «мисс Ферфакс».

Так называемые «красавцы» в духе Виме служат, чтобы иметь кусок хлеба, а разбогатеть надеются с помощью своей наружности. Во время карнавала они, в поисках любовных приключений, не пропускают ни одного маскарада, хотя удача и тут нередко бежит от них. Отчаявшись, иной в конце концов женится на модистке или старухе; порою, впрочем, кто-нибудь из них женится и на молодой особе, обольщенной его красотою,— сначала тянется долгий роман и молодой человек засыпает ее дурацкими письмами, которые, однако, оказывают свое действие. Чиновники бывают настолько дерзки, что, увидев на Елисейских полях женщину, проезжающую мимо них в экипаже, раздобывают ее адрес, наудачу шлют ей пылкие признания и иногда достигают успеха, что, к сожалению, только поощряет эту гнусную спекуляцию.

Упомянутый Бисиу был довольно ловким рисовальщиком и высмеивал не только Дютока, но и Рабурдена, которого прозвал «добродетельная Рабурдина».

Своего бездарного начальника он именовал «Пустошь Бодуайе», а водевилиста — «дю Брюэль — Стрекозель». Бисиу был, несомненно, первым остряком не только своего отделения, но и всего министерства, однако это было обезьянье остроумие, без смысла и толку. Все же Бодуайе и Годар настолько нуждались в этом человеке, что, несмотря на его злой язык, покровительствовали ему, а он с легкостью выполнял их работу. Бисиу очень хотел бы сесть на место Годара или дю Брюэля, но его проделки мешали его повышению: то он пренебрегал службой, особенно если ему удавалось обделать какое-нибудь выгодное дельце, например, издать какие-нибудь портреты, воспроизведя первые попавшиеся физиономии и утверждая, что это и есть участники дела Фюальдеса, или опубликовать дебаты на процессе Кастена; то, охваченный жаждой выдвинуться, он вдруг рьяно принимался за работу, но вскоре бросал ее ради сочинения водевиля, который также оставался незаконченным. Эгоист, скряга и в то же время мот,— впрочем, он мотал деньги только ради собственных прихотей,— грубиян, задира и болтун, Бисиу творил зло ради самого зла: он охотнее всего нападал на слабых, ничего не уважал, для него не существовало ни Франции, ни бога, ни искусства, ни греков, ни турок, ни Полей убежищ, ни монархии, и больше всего он издевался над тем, чего не понимал. Он первый пририсовал черную скуфью к голове Карла X на монетах в сто су. Он так зло передразнивал доктора Галля на его лекциях, что у самого чопорного дипломата от хохота галстук съехал бы набок. Любимая шутка беспощадного насмешника состояла в том, чтобы как можно жарче натопить печи: те, кто имел неосторожность сразу выйти из его бани на свежий воздух, схватывали насморк, а кроме того, ему доставляло удовольствие бесцельно жечь казенные дрова. Он умел мистифицировать людей так ловко и с такой изобретательностью, что всегда кто-нибудь да попадался на его удочку. Главный секрет его успеха заключался в том, что Бисиу умел угадывать тайные желания каждого; он находил дорогу ко всем воздушным замкам, ко всем мечтам, позволяющим так легко обмануть человека, оттого что он сам хочет быть обманутым; поэтому Бисиу мог заставить любого *позировать* ему в течение многих часов. Но этот знаток людей, способный на

сложнейшие тактические маневры ради какой-нибудь пустой проказы, не имел силы над людьми, когда нужно было их заставить служить его обогащению или успеху. Он охотнее всего оскорблял молодого ла Биллардиера, который был для него пугалом, кошмаром и которого он вместе с тем неустанно ублажал, чтобы тем наглее его мистифицировать: Бисиу писал к нему письма от имени якобы влюбленных в него женщин, подписываясь «Графиня де М.» или «Маркиза де Б.», вызывал Бенжамена на свидание в маскарад и, дождавшись его под часами в фойе Оперы, выставлял молодого человека напоказ, а затем сводил с какой-нибудь гризеткой.

Бисиу был союзником Дютока (считая, что Дюток мастак по части интриг), разделял его ненависть к Рабурдену и горячо поддерживал его, когда тот восхвалял Бодуайе.

Жан-Жак Бисиу был внуком парижского бакалейщика. Его отец, умерший в чине полковника, оставил сына на попечение бабушки, которая была вторично замужем за своим старшим приказчиком Декуэном и умерла в 1822 году. Окончив коллеж и не имея никакой специальности, Бисиу попытался заняться живописью, но, невзирая на дружбу, связывавшую его с детства с Жозефом Бридо, вскоре бросил живопись, чтобы перейти на карикатуры, виньетки и рисунки к книгам,— спустя двадцать лет их стали называть иллюстрациями.

Благодаря покровительству герцогов де Мофриньезов и де Реторе, с которыми его свели танцовщицы, он в 1819 году получил место в канцелярии. Бисиу находился в самых приятельских отношениях с де Люпо и держался с ним в обществе на равной ноге, а с дю Брюэлем был на «ты»; его пример еще раз подтверждал наблюдения Рабурдена, считавшего, что если ряд чиновников стремится приобрести вес и значение не на служебном поприще, а за стенами своей канцелярии, то это неуклонно подтачивает и разрушает иерархический строй парижской административной власти.

Невысокого роста, но хорошо сложенный и стройный, он был примечателен тем, что несколько напоминал Наполеона; изящные черты, тонкие губы, прямой и плоский подбородок, русые бакенбарды, светлые волосы, голос пронзительный, взгляд сверкающий, двадцать семь

лет от роду — вот каков был Бисиу. Этого человека, в котором равно кипели ум и страсти, губила яростная жажда всевозможных наслаждений, принуждавшая его вести беспутный образ жизни. Отважный охотник за гризетками, курильщик и шутник, незаменимый собутыльник на обедах и ужинах, он умел приспособиться к любому обществу и блистал за кулисами театра не меньше, чем на балах гризеток в танцевальном зале на Аллэ-де-Вэв; так же поражал остроумием за обедом, как и на пикнике, был так же оживлен и на улице в полночь, и утром, когда вы заставали его еще в постели; но наедине с собой он становился печален и угрюм, как, впрочем, большинство великих комиков. Вращаясь в среде актеров и актрис, писателей, художников и женщин, судьба которых подвержена превратностям, он не ведал нужды, бывал в театрах бесплатно, играл у Фраскати и частенько выигрывал. Словом, этот истинный художник, чье неровное дарование то вспыхивало, то погасало, жил, как бы качаясь на качелях и не заботясь о той минуте, когда веревка перетрется. Живость его ума, сверкающий водомет его мыслей влекли к нему людей, привыкших наслаждаться блеском интеллекта, но никто из приятелей истинно не любил его. Бисиу ни при каких обстоятельствах не мог удержаться от острого словца и, бывало, за обедом, к концу первой перемены, успевал прикончить обоих своих соседей. Несмотря на внешнюю веселость, в его речах нередко сквозило недовольство своим положением в обществе; он жаждал чего-то лучшего, однако таившийся в его душе роковой демон иронии не давал ему выказать ту серьезность, которая так импонирует дуракам. Чиновник снимал на улице Понтье на третьем этаже квартиру из трех комнат, где вечно царил холостяцкий беспорядок,— это был настоящий бивуак. Бисиу частенько поговаривал о своем желании покинуть Францию и попытать счастья в Америке. Ни одна ворожея не могла бы предсказать судьбу молодому человеку, все таланты которого были не довершены, который был неспособен к усидчивости, всегда опьянен удовольствиями и не желал думать о завтрашнем дне. Что касается до его платья, то он прежде всего старался не казаться смешным и, вероятно, был единственным человеком во всем министерстве, при виде которого нельзя было вос-

кликнуть: «Сразу видно, что чиновник!» Он носил изящные сапоги, черные панталоны со штрипками, пестрый жилет и элегантный синий сюртук, галстук — вечный подарок гризеток, шляпу от Бандони и темные лайковые перчатки. Его манеры, смелые и простые, были не лишены грации. Когда однажды, после слишком большой дерзости, сказанной им по адресу барона де ла Биллардиера, де Люпо вызвал его к себе и пригрозил выгнать вон, Бисиу ограничился тем, что заметил: «Все равно опять возьмете из-за костюма». И де Люпо невольно рассмеялся. Наиболее удачная проделка Бисиу в канцелярии состояла в том, что он поднес Годару бабочку, якобы вывезенную из Китая, которую Годар до сих пор хранит в своей коллекции и всем показывает, так и не догадываясь, что она сделана из раскрашенной бумаги. Шутник, ради того чтобы посмеяться над своим начальником, имел терпение корпеть над этой бабочкой до тех пор, пока не создал настоящий шедевр.

Такому насмешнику, как Бисиу, черт всегда подсунет жертву. И этой жертвой в канцелярии Бодуайе был бедный экспедитор, юноша двадцати двух лет, получавший полторы тысячи франков в год; его звали Огюст-Жан-Франсуа Минар. Минар женился по любви на цветочнице, дочери швейцара, работавшей на дому для мадемуазель Годар; он увидел ее впервые в магазине на улице Ришелье. Чего только не придумывала до замужества Зели́ Лорэн, чтобы вырваться из окружавшей ее среды! Сначала она училась в консерватории, потом была танцовщицей, певицей, актрисой, не раз уже готовилась пойти, как и многие работницы, по опасной дорожке, но страх перед развратом и жестокой нищетой удержал ее от падения. У нее было множество всяких планов, и она все не могла решиться, какой ей выбрать, когда появился Минар и предложил ей законный брак. Зели зарабатывала пятьсот франков в год, Минар — полторы тысячи. Решив, что на две тысячи франков прожить можно, они поженились без контракта, стараясь, чтобы свадьба обошлась как можно дешевле. Минар и Зели поселились возле заставы Курсель, как два голубка, на четвертом этаже, в квартире, стоившей триста франков в год; окна были украшены белыми коленкоровыми занавесками, стены оклеены дешевыми клетчатыми обоями

по пятнадцать су кусок; мебель была ореховая, плиточный пол блестел, кухонька сияла чистотой; первая комнатка служила Зели мастерской — она там делала цветы; затем следовала маленькая гостиная, в ней стояли деревянные стулья с волосяными сиденьями, круглый стол посредине, зеркало, часы с вращающимся хрустальным фонтанчиком и позолоченные канделябры в кисейных чехлах; проста была и спаленка, вся белая с голубым: кровать, комод и секретер красного дерева, полосатый коврик у кровати, шесть кресел и четыре стула; в углу — колыбель из вишневого дерева, где спали мальчик и девочка. Зели сама кормила грудью своих детей, готовила, занималась хозяйством и успевала еще делать цветы.

Было что-то трогательное в этой скромной, но счастливой трудовой жизни. Чувствуя, что Минар ее любит, Зели сама искренне привязалась к нему. Любовь рождает любовь, это — как в библии: бездна бездну призывает. Бедняк Минар вставал рано, когда жена его спала, и отправлялся покупать провизию. Идя на службу, он заносил в магазин готовые цветы, а на обратном пути прихватывал нужные жене материалы; в ожидании обеда он вырезал или штамповал листья, обматывал стебли, разводил краски. Минар был маленького роста, худой, щупленький, нервный, на голове у него курчавились рыжие волосы, глаза были желто-карие, а лицо необычайно белое, но осыпанное веснушками. В нем жило глубокое, непоказное мужество. Искусством каллиграфии он владел не хуже, чем Виме. В канцелярии сидел смирно, делал свое дело и держался замкнуто, как человек болезненный и углубленный в свои мысли. За чуть заметные брови и белые ресницы неумолимый Бисиу прозвал его *белым кроликом*. Минар, этот Рабурден меньшего калибра, жаждал создать для своей Зели лучшие условия жизни и неустанно искал среди океана роскоши и бесчисленных прихотей и потребностей парижской промышленности какую-нибудь идею, новшество или усовершенствование, на котором быстро можно было бы нажить состояние. Минар казался глупым оттого, что мысль его была постоянно занята: он переходил от «Двойной пасты султанш» к «Помаде для волос», от фосфорных плиток к портативному газу, от подметок на шарнирах для деревянных башмаков к гидростатическим лам-

пам, охватывая, таким образом, бесконечно малые величины материальной цивилизации. Минар терпел насмешки Бисиу, как занятой человек терпит жужжание насекомого; они даже не раздражали его. Невзирая на весь свой ум, Бисиу не догадывался о том, как глубоко Минар его презирает. Минар же не хотел ссориться: зачем бесполезно тратить время? И в конце концов его мучитель отстал.

Минар всегда был одет очень скромно, ходил в тиковых панталонах до октября, носил башмаки и гетры, жилет из козьей шерсти, касторовый сюртук зимой и мериносовый летом, соломенную шляпу или, смотря по сезону, шелковую, за одиннадцать франков — он думал только о своей Зели и готов был голодать, лишь бы купить ей новое платье. Экспедитор завтракал утром с женой и на службе ничего не ел. Раз в месяц он водил Зели в театр, когда удавалось достать билеты через дю Брюэля или Бисиу,— ибо Бисиу способен был на все, даже на дружескую услугу. Тогда мать Зели покидала свою швейцарскую и приходила посидеть с детьми. В канцелярии Бодуайе Минар заменил Виме. На новый год чета Минаров самолично делала визиты. И, видя их, люди недоумевали, откуда жена бедного чиновника, получающего полторы тысячи франков в год, берет деньги на приличный черный костюм мужу; благодаря каким ухищрениям может она носить шляпы из итальянской соломки, муслиновые вышитые платья, шелковые манто, атласные башмачки, раздобывать эти прелестные косынки, китайский зонтик, приезжать в наемной карете — и все-таки оставаться добродетельной? А вот г-жа Кольвиль, например, и другие дамы, имеющие в год две тысячи четыреста, едва сводят концы с концами!..

В каждом отделении министерства найдутся два чиновника, которые до того дружат между собой, что их дружба вызывает насмешки — впрочем, в канцеляриях ведь надо всем смеются. Одной из таких жертв среди подчиненных Бодуайе был старший письмоводитель Кольвиль, который, если б не Реставрация, уж давно бы оказался помощником правителя канцелярии или даже правителем канцелярии. Жена его была в своем роде женщиной выдающейся, как и г-жа Рабурден. Кольвиль, сын первого скрипача Оперы, некогда влюбился в дочь

знаменитой танцовщицы. Теперь Флавия Миноре, одна из тех ловких и очаровательных парижанок, которые умеют и мужу дать счастье и не потерять своей свободы, превратила его дом в место встреч наших лучших художников и ораторов палаты. Гости едва ли подозревали о том, какое скромное место занимает сам Кольвиль. Поведение Флавии, женщины, пожалуй, уж слишком плодовитой, давало столько пищи для сплетен, что г-жа Рабурден упорно отказывалась от ее приглашений. Тюилье, друг Кольвиля, занимал в канцелярии Рабурдена точно такое же место, как Кольвиль — в канцелярии Бодуайе, и его служебной карьере помешали те же причины. Достаточно было знать Кольвиля, чтобы знать Тюилье, и наоборот. Их близость возникла в канцелярии, и подружились они, вероятно, потому, что одновременно поступили на службу. Ходили слухи, что хорошенькая г-жа Кольвиль принимала ухаживания Тюилье, которому жена не подарила детей. Тюилье, так называемый «красавец Тюилье», некогда имевший большой успех у женщин, вел жизнь настолько же праздную, насколько Кольвиль вел жизнь трудовую. Кольвиль был первым кларнетистом в Комической опере, где играл по вечерам в оркестре, а утром он вел конторские книги; он тянулся изо всех сил, чтобы вырастить свое многочисленное потомство, хотя в покровителях у него не было недостатка. Его считали очень хитрым, тем более, что он скрывал свое честолюбие под напускным равнодушием. Так как Кольвиль казался довольным своей судьбой и, видимо, любил трудиться, все, даже начальники, готовы были поддержать его в мужественной борьбе за существование. В самое последнее время г-жа Кольвиль изменила свой образ жизни и, видимо, решила удариться в благочестие; и чиновники поговаривали о том, что она, должно быть, надеется найти в Конгрегации более надежную опору, чем в знаменитом ораторе Франсуа Келлере, одном из ее наиболее усердных обожателей, которому не удавалось, однако, при всем его влиянии, обеспечить Кольвилю желанное повышение по службе. Флавия понадеялась на де Люпо— и в этом была ее ошибка. Кольвиль увлекался составлением «гороскопов» великих людей по анаграммам их имен. Он месяцами просиживал над этими именами, разлагая их на буквы и слагая буквы на новый лад, чтобы

обнаружить якобы заключенный в них сокровенный смысл. Из слов «*Корсиканец Наполеон*» Кольвиль извлек: «*О! Но риск! А плен? А конец?*» — Для Марии де Виньеро (племянница Ришелье) он подобрал фразу: «*Я в браке ни жена, ни дева!*» Для «Gatharina de Medicis» — «*Henrici mei casta dea*» [1], «*Господин Женнест, аббат*» при дворе Людовика XIV, прославившийся своим толстым носом, который так смешил герцога Бургундского, дал Кольвилю повод к изречению: «Ба, то сапог, не нос! Бдите же!» Словом, анаграммы влекли к себе Кольвиля. Объявив их предметом особой науки, он уверял, что судьба каждого человека заключена в той фразе, которую можно составить, комбинируя буквы его имени, фамилии, звания и проч. Со времени вступления на престол Карла X Кольвиль был занят составлением его анаграммы.

Тюилье, имевший склонность к каламбуру, утверждал, что анаграмма—это каламбур, составленный из букв. Неразрывная дружба, связывавшая Кольвиля, человека истинно доброго, с Тюилье, этим образцом эгоиста, представляла собой неразрешимую загадку, и лишь некоторые из их сослуживцев видели к ней ключ в словах: «Тюилье богат, а Кольвиль обременен семейством». Действительно, ходили слухи, что Тюилье добавляет к своему жалованью доходы с учетных операций; его частенько вызывали из канцелярии всякие коммерсанты, и Тюилье выходил с ними на несколько минут во двор, но вел все эти переговоры от лица своей сестры, мадемуазель Тюилье. Дружба Тюилье и Кольвиля, освященная годами, основывалась на довольно естественных чувствах и обстоятельствах, о которых мы расскажем в другом месте (см. «Мелкие буржуа»),— здесь же эти разъяснения казались бы, как выражаются критики, «длиннотами». Впрочем, нелишне будет отметить, что если в канцеляриях г-жу Кольвиль знали слишком хорошо, то о г-же Тюилье почти ничего не было известно. Кольвиль, человек вечно занятой и обремененный детьми, был толст, жирен и жизнерадостен, а Тюилье, «красавец времен Империи», видимо не отягощенный особыми заботами и всегда праздный,— худощав, бледен и даже печален.

---

[1] Целомудренная богиня моего Генриха (*лат.*).

— Быть может, дружба рождается скорее из противоположности характеров, чем из их сходства,— говорил Рабурден, когда речь заходила об этих двух чиновниках.

Совершенно иные отношения, чем между этими сиамскими близнецами, существовали между Шазелем и Помье; они вечно друг с другом воевали; один курил табак, другой нюхал его, и они неутомимо спорили о том, какой способ употребления этого зелья следует признать лучшим. Оба страдали одним и тем же недостатком, делавшим их в равной мере несносными для товарищей по канцелярии: они то и дело пререкались относительно цен на всякие товары — на сладкий горошек и рыбу; на материи, зонтики, сюртуки, шляпы и перчатки, которые они видели у сослуживцев. Они наперебой расхваливали всякие новинки, хотя никогда их не покупали. Шазель коллекционировал проспекты книгопродавцев и объявления с литографиями и рисунками, но ни разу не подписался хотя бы на одно издание. Помье, такой же болтун, без конца разглагольствовал о том, что, будь он богат, он приобрел бы то-то и то-то. Однажды Помье, явившись к известному Дориа, принялся поздравлять его с тем, что тот, наконец, выпускает книги на атласной бумаге, в печатных обложках, и призывал его улучшать свои издания и впредь. При всем том у самого Помье не было ни одной книги!

Семейная жизнь Шазеля, который был под башмаком у свирепой жены, но старался казаться независимым, служила для Помье предметом постоянных насмешек; а Шазель, в свою очередь, издевался над холостяком Помье, голодавшим не меньше, чем Виме, над его поношенной одеждой и тщательно скрываемой нищетой.

И у Шазеля и у Помье уже стало расти брюшко: у Шазеля живот был круглый и тугой, он торчал вперед и, по словам Бисиу, нахально пролезал всюду первым; у Помье живот был рыхлый и колыхался из стороны в сторону; Бисиу раза четыре в год заставлял их производить обмер своих животов. И тому и другому было не больше тридцати — сорока лет. Оба в достаточной мере тупоумные, они, помимо службы, решительно ничего не делали и представляли собою законченный тип чиновников, одуревших от бумажного делопроизводства и канце-

лярщины. Шазель нередко клевал носом за работой, и перо, которое он так и не выпускал из рук, отмечало легкими брызгами его сонное дыхание. Помье приписывал эту сонливость слишком рьяному исполнению супружеских обязанностей. А Шазель утверждал, что Помье по четыре месяца в году пьет особый лечебный отвар, и предсказывал ему смерть от гризетки. Тогда Помье уверял, что Шазель отмечает в календаре те дни, когда супруга снисходит к его ухаживаниям. Эти два чиновника столь усердно перемывали грязное белье друг друга и так бранились из-за самых ничтожных подробностей своей интимной жизни, что сослуживцы стали в конце концов относиться к ним с заслуженным презрением. «Да разве я Шазель?» — вот слова, которыми обычно заканчивался надоевший спор.

Господин Пуаре-младший — его называли так в отличие от Пуаре-старшего, проживавшего на покое в пансионе Воке, куда хаживал обедать и его брат, мечтая там же окончить свои дни,— Пуаре-младший прослужил в канцелярии уже тридцать лет. Сама природа не столь постоянна в своих круговоротах, как был неизменен в своих привычках этот человечек. Он всегда клал свои вещи на то же место, опускал перо на ту же подставку, в тот же час садился за свой канцелярский стол, грелся у печки в те же минуты, ибо единственной его гордостью были часы, которые шли с непогрешимой точностью, что, впрочем, не мешало ему ежедневно их выверять по часам городской мэрии, мимо которой лежал его путь, так как он жил на улице Мартруа.

От шести до восьми часов утра он вел торговые книги в большом модном магазине на улице Сент-Антуан, а от шести до восьми часов вечера — в магазине Камюзо, на улице Бурдоне. Таким образом, он зарабатывал три тысячи франков, считая и канцелярское жалованье. Ему оставалось до пенсии всего несколько месяцев, поэтому он был глубоко равнодушен ко всяким служебным интригам. Для его старшего брата отставка оказалась роковой: он совершенно опустился; вероятно, это предстояло и младшему, когда ему уже не придется ходить в министерство, садиться на свой стул и выполнять свою работу экспедитора. Ему было поручено подбирать комплекты газеты, которую выписывала канцелярия, а так-

же «Монитера», и он относился к этому делу с рвением фанатика. Если кто-нибудь из чиновников терял один из номеров или, унеся домой, забывал возвратить, Пуаре-младший просил разрешения отлучиться, немедленно отправлялся в редакцию газеты, требовал этот недостающий номер и возвращался, обвороженный любезностью кассира. Ему всегда, уверял он, приходится иметь дело с милейшим молодым человеком, и журналисты, мол, что ни говори, люди чрезвычайно любезные, но их не умеют ценить по заслугам.

Пуаре был невелик ростом, его обветренное лицо бороздили морщины, серая кожа была усеяна синеватыми угрями, нос вздернут, глаза казались угасшими, взгляд был тускл и холоден, рот провалился, и в нем торчало всего несколько гнилых зубов, поэтому Тюильe уверял, что к Пуаре уж никак не попадешь на зубок; огромные кисти его длинных и тощих рук не отличались белизной. Седые волосы, примятые шляпой, придавали Пуаре сходство со священником, что ему отнюдь не могло льстить, ибо он не выносил попов и духовенства, хотя и сам не в состоянии был бы объяснить свои религиозные воззрения. Эта антипатия, впрочем, не мешала ему быть горячим приверженцем любого правительства.

Пуаре не застегивал свой старый зеленоватый сюртук даже в самые сильные холода и неизменно носил черные панталоны и башмаки на шнурках. Покупки он делал, вот уж лет тридцать, все в тех же магазинах. Когда умер его портной, он отпросился на похороны и над могилой пожал руку сыну покойного, торжественно обещая одеваться у него. Он был другом всех своих поставщиков, выслушивал их сетования, расспрашивал об их делах и всегда платил наличными. Если ему приходилось писать одному из них, прося изменить что-либо в заказе, Пуаре был отменно вежлив, выводил «Милостивый государь» отдельной строкой, никогда не забывал указать дату и предварительно составлял черновик письма, который и сохранял в папке с надписью: «Моя переписка». Трудно было себе представить натуру более упорядоченную и жизнь более размеренную. С того времени как Пуаре поступил в министерство, он хранил все свои оплаченные счета, все квитанции, даже самые ничтожные, а также книги расходов, за каждый год — в особой обложке. Он

обедал по абонементу всегда в одном и том же ресторане «Телок-Сосунок» — на площади Шатле, за тем же столиком, и официанты так и сохраняли для него это место.

Не задерживаясь и пяти минут сверх положенного времени в магазине шелковых тканей «Золотой кокон», он ровно в половине девятого появлялся в кофейне «Давид», самой знаменитой кофейне его квартала, и сидел там до одиннадцати; сюда он, как и в «Телок-Сосунок», приходил уже тридцать лет и в половине одиннадцатого неизменно выпивал здесь кружку баварского пива. Опершись руками на трость и уткнувшись в них подбородком, он слушал споры о политике, но никогда не принимал в них участия. Место Пуаре было рядом со стойкой, и он поверял буфетчице маленькие происшествия своей жизни, ибо это была единственная женщина, беседа с которой доставляла ему удовольствие. Иногда Пуаре играл в домино, единственную игру, доступную его пониманию. Если его партнеры не приходили, он засыпал, привалившись к деревянной обшивке стены, а перед ним на мраморном столике лежала надетая на палку газета. Он интересовался решительно всем, что происходило в Париже, и по воскресеньям ходил смотреть новые постройки. Он расспрашивал какого-нибудь инвалида, поставленного у входа, чтобы не пускать публику на строительный участок, огороженный дощатым забором, и беспокоился, когда происходили задержки — не хватало материалов или денег или же архитектор испытывал затруднения. «Я видел,— говорил Пуаре,— как Лувр восстал из развалин, я видел, как родилась площадь Шатле, Цветочная набережная, рынки!» Братья Пуаре, родом из Труа, были сыновьями мелкого чиновника, служившего по откупам; родители отправили их в Париж учиться делопроизводству. Мать снискала себе дурную славу беспутным поведением, и хотя они часто посылали ей деньги, она, к их прискорбию, умерла на больничной койке. Тогда оба не только поклялись никогда не жениться, но у них даже к детям появилась неприязнь; и когда те оказывались поблизости, братьям Пуаре становилось не по себе, они опасались их, как опасаются сумасшедших, и растерянно на них поглядывали. При Робере Ленде оба Пуаре были завалены работой. Администрация тогда не оценила их заслуг, но они были рады,

что хоть живы остались, и только с глазу на глаз роптали на столь явную неблагодарность: ведь они делали максимум того, что можно было сделать.

Когда Рабурдену пришлось исправлять знаменитую фразу Фельона и чиновники стали издеваться над ее автором, Пуаре перед уходом отвел беднягу в уголок коридора и сказал ему: «Поверьте, сударь, я изо всех сил противился тому, что случилось». С самого своего приезда в Париж Пуаре ни разу не выезжал из города. Уже в это время он начал вести дневник, в который заносил все примечательные события своей жизни: от дю Брюэля он узнал, что дневник вел и лорд Байрон. Пуаре настолько восхитило это сходство, что он даже приобрел сочинения лорда Байрона в переводе Шастопалли, однако решительно ничего в них не понял. Когда он сидел в канцелярии, на его лице нередко появлялось меланхолическое выражение, казалось, он погружен в глубокие думы, на самом же деле он вовсе ни о чем не думал. Пуаре не был знаком ни с одним из жильцов своего дома и всегда держал в кармане ключ от своей квартиры. На новый год он самолично разносил свои визитные карточки всем чиновникам отделения, но никогда не делал визитов.

Однажды, в летнюю пору, Бисиу вздумалось намазать топленым свиным салом подкладку старой шляпы, которую *молодой* Пуаре (ему было тогда пятьдесят два года) ухитрился проносить девять лет. Бисиу никогда не видел на Пуаре другой шляпы, и она успела нестерпимо надоесть ему; она просто преследовала его во сне, мерещилась ему даже во время завтрака; и Бисиу наконец решил, в интересах своего пищеварения, избавить канцелярию от этой мерзкой шляпы. Пуаре-младший вышел из министерства в четвертом часу. Следуя по парижским улицам, где солнечные лучи, отражаясь от стен домов и мостовой, усиливали жару до чисто тропического зноя, Пуаре почувствовал, что с головы его что-то течет, хотя потливым никогда не был. *Придя к заключению, что в этом надлежит усмотреть болезнь или близость к оной*, он, воздержавшись от посещения «Телка-Сосунка», пошел прямо домой, где извлек из секретера свой дневник и в следующих словах описал это происшествие:

«Нынче, 3 июля 1823 года, обнаружив у себя необъяс-

нимую испарину, быть может знаменующую собой начало потовой горячки, болезни, весьма распространенной в Шампани, я принял решение посоветоваться с доктором Одри. Симптомы заболевания появились у меня, когда я следовал по Школьной набережной».

Сидя дома без шляпы, он вдруг обнаружил, что влага, принятая им за испарину, не имеет никакого отношения к его особе. Он вытер лицо, осмотрел шляпу, однако ничего не обнаружил, а распороть подкладку не решился. В дневнике было добавлено следующее:

«*Отнес шляпу к мастеру Турнану, шляпнику, проживающему на улице Сен-Мартен, ибо подозреваю другую причину упомянутой испарины, являющейся, таким образом, уже не испариной, но результатом присутствия на шляпе какого-то постороннего вещества, появившегося или обнаружившегося на ней в настоящее время*».

Господин Турнан тут же указал своему клиенту на жирные пятна — от смазывания топленым салом, свиным или кабаньим.

На другой день Пуаре явился на службу в шляпе, одолженной ему Турнаном, пока будет готова новая; однако вечером, прежде чем лечь спать, он счел необходимым приписать в своем дневнике: «*Установлено, что на моей шляпе было сало свиньи или кабана*».

Пуаре в течение двух недель ломал себе голову над столь необъяснимым происшествием, но так и не узнал, каким образом произошло это чудо. А в канцелярии чиновники утешали его рассказами о дожде из жаб, о том, что между корнями вяза была найдена голова Наполеона, и о других не менее загадочных явлениях летней природы. Виме сообщил, что однажды и ему на лицо потекли из-под шляпы струи какой-то черной жидкости — так что шляпники бесспорно сбывают дрянной товар. Поэтому Пуаре ходил несколько раз к Турнану, чтобы проследить самолично, как идет изготовление новой шляпы.

У Рабурдена был еще один чиновник, который держался храбрецом, проповедовал взгляды левого центра и возмущался тираном Бодуайе, притесняющим несчастных рабов, вынужденных корпеть в его канцелярии. Этот молодой человек, по фамилии Флери, отважно подписывался на оппозиционную газету, носил широкополую

серую шляпу, красивые синие панталоны с красным кантом, синий жилет с золотыми пуговицами и наглухо застегнутый сюртук, как у жандармского квартирмейстера. При всей непоколебимости своих принципов он продолжал ходить в канцелярию, но предрекал правительству печальную судьбу, если оно будет упорствовать в своем ханжестве. С тех пор как после смерти Наполеона законы против сторонников узурпатора потеряли силу, Флери уже не скрывал своих симпатий к великому человеку. Бравый, смуглый красавец был при императоре капитаном линейных войск, а теперь работал по вечерам контролером в Олимпийском цирке. Бисиу никогда не позволял себе задирать его, ибо этот лихой вояка, к тому же отлично владевший пистолетом и рапирой, был, видимо, способен на дикие выходки. Будучи восторженным подписчиком «Побед и завоеваний», он отказался платить за последние выпуски, ссылаясь на то, что их число превосходит указанное проспектом, но возвращать их не возвращал. Рабурдена, который не допустил его увольнения, он прямо обожал, и однажды у Флери даже вырвалась угроза, что, если с господином Рабурденом по чьей-нибудь милости случится беда, он убьет того человека. Дюток настолько боялся Флери, что так и лебезил перед ним. Флери, не выходивший из долгов, пускался на всякие проделки, чтобы не попасть в руки кредиторов. Будучи знатоком законов, он никогда не подписывал векселей и ухитрился сам наложить запрещение на свое жалованье от имени вымышленных лиц, благодаря чему получал его на руки почти целиком; свою обстановку он отвез к хористке из театра Порт-Сен-Мартен, с которой состоял в интимных отношениях. Он очень счастливо играл в экарте, всегда был душой общества, мог выпить залпом стакан шампанского, не замочив губ, и знал наизусть все песенки Беранже. Он признавал только трех великих людей: Наполеона, Боливара и Беранже. К Фуа, Лафиту и Казимиру Делавиню он относился только с уважением. Флери, по происхождению южанину, предстояло — как вы, вероятно, догадываетесь — рано или поздно сделаться ответственным редактором большой либеральной газеты.

Деруа, самое загадочное лицо среди чиновников отделения, ни с кем не знался, был неразговорчив и на-

столько скрывал от всех свою жизнь, что чиновники даже не знали, кто его покровители, где он живет, на какие средства существует. Пытаясь объяснить эту замкнутость, иные предполагали, что он карбонарий, иные — что орлеанист, иные — что, может быть, шпион, иные — что просто человек себе на уме. А все объяснялось тем, что Деруа был сыном одного из членов Конвента, не голосовавшего, впрочем, за смерть короля. По натуре холодный и замкнутый, он знал цену людям и рассчитывал только на самого себя. Тайный республиканец, поклонник Поля-Луи Курье, друг Мишеля Кретьена, он надеялся, что время и рост общественного сознания помогут восторжествовать в Европе его идеям. Он мечтал о Молодой Германии и о Молодой Италии. Сердце Деруа было переполнено той безрассудной любовью к коллективу, которую можно назвать гуманитаризмом, этим первенцем покойницы филантропии, которая столь же мало способна заменить божественное католическое милосердие, как отвлеченная система не может заменить искусство, а рассуждения — творчество.

Этот пуритански-совестливый друг свободы, этот апостол неосуществимого равенства жалел о том, что бедность вынуждает его служить правительству, и делал попытки получить какую-нибудь должность по транспорту. Высокий, сухопарый, величественный, он как человек, чувствующий себя призванным пожертвовать своей головой ради возвышенной цели, изучал Сен-Жюста, вдохновлялся Вольнеем и был занят реабилитацией Робеспьера, которого почитал преемником Христа.

Наконец последний из всех этих людей, заслуживающий хотя бы наброска, был молодой де ла Биллардиер. К несчастью для него, он рано потерял мать; министр покровительствовал ему, он был избавлен от выговоров Бодуайе, посещал все министерские салоны и заслужил всеобщую ненависть своим нахальством и фатовством. Начальники старались быть с ним вежливыми, но чиновники обращались к нему с особой, нелепо преувеличенной и нарочитой почтительностью, тем самым как бы выключая его из своего товарищеского круга. Бенжамен де ла Биллардиер, этот слащавый, длинный и щуплый двадцатидвухлетний молодой человек с манерами англичанина, оскорблявший канцеляристов своим

дендизмом, являлся на службу завитой, надушенный, чопорный, с лорнетом, носил желтые перчатки и всегда новенькую шляпу, завтракал не иначе, как в Пале-Руаяле, прикрывал свою глупость лощеными манерами, взятыми напрокат, мнил себя красавцем и усвоил все пороки высшего общества, но не обладал его внешним очарованием. Уверенный в том, что его сделают важной особой, он вознамерился издать под своим именем книгу, чтобы добиться креста за литературные заслуги и приписать его получение своим административным талантам. Он рассчитывал воспользоваться помощью Бисиу и в этих видах обхаживал его, хотя еще не осмеливался ему открыться. Достойный юноша с нетерпением ждал смерти родителя, спеша унаследовать титул барона, недавно пожалованный де ла Биллардиеру, писал на своих визитных карточках «шевалье де ла Биллардиер» и повесил в своем кабинете вставленное в рамку изображение семейного герба (три звезды на голубой поперечной полосе в верхней части щита; две скрещенные шпаги на черном поле и девиз: «Всегда верен»). У него была мания рассуждать о геральдике, и однажды он спросил молодого виконта де Портандюэра, почему у того столь сложный герб, на что получил вполне заслуженный ответ: «Да ведь я не сам его придумал!» Он твердил о своей верности монархии и о милостях, оказанных ему супругой дофина. Бенжамен был хорош с де Люпо, часто с ним завтракал и верил в дружеские чувства секретаря министра. Бисиу, взявший на себя роль его ментора, надеялся освободить от этого желторотого фата и отделение и Францию, толкнув его в пропасть распутства, и во всеуслышание сознавался в своих намерениях.

Таковы были главные и характернейшие фигуры среди чиновников отделения де ла Биллардиера; имелись и другие, но они более или менее подходили к тому или иному из описанных нами типов. В канцелярии Бодуайе можно было встретить лысых, зябких субъектов, обмотанных фланелью, ютившихся на шестых этажах и разводивших там цветы; людей, ходивших в потертом, заношенном платье, с тростью из терновника и с неизменным зонтиком в руках. Эти люди, стоящие где-то между безбедно живущими швейцарами и полунищими рабочими, слишком далеки от административных верхов, чтобы

мечтать о каком-либо повышении, и играют роль пешек на шахматном поле бюрократии. Они рады, когда их назначают на дежурства — только бы не сидеть в канцелярии; за доброхотное даяние готовы на все; чем они живут — загадка даже для их начальников, они живое обвинение против государства, которое, допуская существование подобных чиновников, тем самым умножает число нищих. При виде их странных физиономий трудно решить, чиновничье ли ремесло превращает этих млекопитающих *пероносцев* в кретинов или же они занимаются таким ремеслом потому, что родились кретинами. Может быть, тут в равной мере повинны и природа и правительство. Как сказал некто, «крестьяне подвержены, сами того не сознавая, воздействию атмосферических явлений и фактов внешней действительности. Отождествляясь в известном смысле с природой, среди которой они живут, они незаметно проникаются теми мыслями и чувствами, которые она в них пробуждает, и все это отражается в их поступках и на их лицах, видоизменяясь в зависимости от их индивидуального характера и натуры; окружающие крестьян привычные явления накладывают на них отпечаток и постепенно формируют их; таким образом, деревенские жители представляют собой наиболее интересную и правдивую книгу для всякого, кого влечет именно эта область физиологии, так мало изученная и так плодотворно объясняющая связь между духовным существом человека и факторами внешней природы». А для чиновника природа — это канцелярия; его горизонт со всех сторон ограничен зелеными папками; атмосфера — это для него воздух в коридорах, людские испарения, скопляющиеся в комнатах без вентиляции, запах перьев и бумаги; его почва — плиточный пол или паркет, усеянный своеобразными отбросами и политый лейкой канцелярского служителя; его небо — потолок, к которому он возводит взоры, когда зевает; его родная стихия — пыль. Итак, наблюдения над деревенскими жителями вполне приложимы и к чиновникам, отождествившимся с «природой», среди которой они живут. И если некоторые известные врачи стали опасаться воздействий такой природы — дикой и вместе с тем цивилизованной — на духовную сущность людей, запертых в этих сараях, называемых канцеляриями, куда

почти не проникает солнце, где мысль тупеет от занятий, напоминающих хождение рабочей лошади по кругу, где люди предаются мучительной зевоте и рано умирают,— то Рабурден был совершенно прав, желая сократить число чиновников, требуя для них высоких окладов, а от них — напряженного труда. Когда человек занят большим делом, он никогда не скучает. А при существующих порядках чиновники из девяти часов, которые они обязаны отдавать государству, теряют, как мы увидим, на болтовню, пересуды, споры и особенно на интриги по крайней мере часа четыре. Нужно хорошо изучить убогий мирок канцелярий, чтобы понять, насколько он напоминает школьный. Впрочем, где бы люди ни вели совместную жизнь, мы видим то же поразительное сходство: в полку, в суде вы узнаете тот же коллеж, лишь в более или менее увеличенных масштабах. Все эти чиновники, просиживающие в канцелярии по восемь часов, смотрели на нее как на своего рода школьный класс, где задавались уроки, где воспитателей заменяли начальники, а наградные были своего рода наградами за хорошее поведение, выдаваемыми любимчикам; где люди друг над другом насмехались, друг друга ненавидели и где все же существовало своеобразное товарищество — впрочем, уже настолько слабее, чем в полку, насколько в полку оно слабее, чем в школе. По мере того как человек узнает жизнь, его эгоизм все растет и ослабляет узы второстепенных привязанностей. Словом, канцелярия — это как бы все общество в миниатюре, с его нелепыми противоречиями, дружбой, ненавистью, завистью, жадностью и, вопреки всему, с его движением вперед, с его легкомысленными разговорами, наносящими столько ран, и с его постоянным шпионством.

В этот день чиновники г-на барона де ла Биллардиера были охвачены необычным волнением, впрочем вполне понятным, ввиду события, которое должно было вот-вот свершиться: ведь не каждый день умирают начальники отделений, и даже в Обществе пожизненного обеспечения вероятность жизни или смерти, шансы «за» и «против», кажется, не обсуждаются с такой дальновидностью, как в канцеляриях. Чиновники походят на детей: личный интерес заглушает в них всякую жалость; но они сверх того еще и лицемерны.

Чиновники канцелярии Бодуайе бывали к восьми часам уже на своих местах, тогда как чиновники Рабурдена в девять начинали только сходиться, что, однако, не мешало им справляться с делами гораздо быстрее чиновников Бодуайе. У Дютока были важные причины, чтобы явиться в такую рань. Накануне, войдя украдкой в кабинет, где работал Себастьен, он застиг его за переписыванием каких-то бумаг для Рабурдена; тогда он притаился и увидел, что Себастьен ушел без них. Дюток был уверен, что, перерыв одну за другой все папки, он где-нибудь да найдет и довольно объемистый оригинал и копию; в конце концов он действительно отыскал это грозное донесение. Тогда он поспешил к начальнику копировальной конторы и заказал два автографических оттиска; таким образом, Дюток получил в руки документ, воспроизводящий почерк самого Рабурдена. Он спешил положить оригинал обратно в папку, чтобы не возбудить подозрений, и для этого на другой день явился в канцелярию первым. Себастьен задержался до полуночи на улице Дюфо, и ненависть Дютока опередила его юношеское усердие, как ни было оно велико. Дело в том, что ненависть жила на улице Сен-Луи-Сент-Оноре, а преданность — на улице Руа-Доре, в Марэ. И это простое опоздание отразилось на всей жизни Рабурдена. Себастьен поспешно заглянул в папку — там в полном порядке лежали неоконченная копия и оригинал; тогда он спрятал их в столе своего начальника, в ящике, у которого был замок с секретом.

В конце декабря светает поздно, и в канцеляриях по утрам бывает темновато, так что кое-где лампы горят до десяти часов. Поэтому Себастьен и не заметил на бумаге следов копировального пресса. Но когда Рабурден в половине десятого взял в руки свою рукопись, он обнаружил совершенно явственные следы автографической копировки, тем более что у него был немалый опыт по этой части,— в свое время он интересовался, может ли копировальный пресс заменить экспедиторов. Правитель канцелярии опустился в кресло у камина и погрузился в размышления, машинально размешивая щипцами угли; потом, желая узнать, в чьи руки попала его тайна, вызвал к себе Себастьена.

— Кто-нибудь сегодня пришел раньше вас в канцелярию? — спросил его Рабурден.

— Да,— ответил Себастьен,— господин Дюток.

— Хорошо. Он очень точен. Пришлите ко мне Антуана.

Слишком великодушный, чтобы упрекать Себастьена за несчастье, которое было уже непоправимо, Рабурден больше ничего ему не сказал. Вошел Антуан, и Рабурден спросил, не оставался ли вчера кто-нибудь из чиновников в канцелярии после четырех часов; служитель сказал, что оставался Дюток, который ушел уже после де ла Роша.

Рабурден кивком отпустил Антуана и вернулся к своим мыслям.

— Два раза я спас его от увольнения,— произнес он,— и вот награда!

В это утро Рабурден испытывал то же, что испытывают великие полководцы в торжественные минуты, когда они решают дать бой и обдумывают все возможности победы и поражения. Он слишком хорошо изучил нравы канцелярий и знал, что здесь, так же как в школе, на каторге и в армии, не прощают ничего, похожего на донос или шпионство. Человек, уличенный в том, что он способен сообщать сведения о своих товарищах, опозорен, пропал, его смешают с грязью; а министры отрекутся от того, кто был их же орудием. Тогда чиновнику остается только уйти в отставку, уехать из Парижа, его честь навеки замарана: объяснения бесполезны, их никто не спрашивает и не будет выслушивать. Если на такое дело пойдет министр, его провозгласят великим человеком, который ведь должен выбирать себе людей; но простой чиновник прослывет шпионом, каковы бы ни были его побуждения. Отлично понимая всю нелепость этих взглядов, Рабурден знал, как они могущественны и чем ему угрожают. Скорее изумленный, чем подавленный, он стал обдумывать, как ему держать себя при данных обстоятельствах, поэтому он не заметил волнения, которое охватило канцелярии при вести о смерти де ла Биллардиера, и узнал о ней только от молодого ла Бриера, понимавшего, каким полезным деятелем может быть этот правитель канцелярии.

Между тем было около десяти часов. В канцелярии

бодуайенцев (так принято было называть этих чиновников, подобно тому как подчиненных Рабурдена звали рабурденцами) Бисиу рассказывал о последних минутах начальника отделения. Его слушали Минар, Деруа, г-н Годар, который даже вышел для этого из своего кабинета, и Дюток, прибежавший к бодуайенцам с двойной целью. Кольвиль и Шазель отсутствовали.

Бисиу (*стоя перед печкой и подставляя огню то одну, то другую подошву, чтобы их просушить*). Сегодня утром, в половине восьмого, я зашел справиться о здоровье нашего достойного и уважаемого начальника, кавалера ордена Христа и прочая, и прочая. Но, боже мой, господа, увы! Барон был вчера еще и то, и се, и двадцатое, а нынче он уже ни то ни се — даже не чиновник. Я расспросил, как он провел ночь. Его сиделка — это такая охрана, которая сдается, но не умирает,— сообщила мне, что с пяти часов утра он начал беспокоиться о королевском семействе. Он приказал прочесть ему фамилии тех из нас, кто приходил справляться о его здоровье. Потом он сказал: «Насыпьте мне табаку в табакерку, дайте мне газету, принесите очки, перемените ленту на моем ордене Почетного легиона, она очень грязна». Вы ведь знаете, он и в постели лежит при орденах и до конца сохраняет верность своим взглядам. Значит, он был в здравом уме и твердой памяти. А потом — раз! Прошло десять минут, и вода в нем стала подниматься все выше, выше, выше, дошла до сердца, заполнила всю грудь. Он уже чувствует, что умирает, отеки лопаются, и вот в эту роковую минуту он доказал, какая у него была голова, какой ум! А мы, разве мы умели ценить его! Мы смеялись над ним, мы считали его старым болваном, первейшим болваном. Не так ли, господин Годар?

Годар. Я лично всегда больше чем кто-нибудь преклонялся перед талантами господина де ла Биллардиера.

Бисиу. Да, вы родственные натуры!

Годар. Ну, в конце концов, он был человек не злой; он никому не делал зла.

Бисиу. Чтобы делать зло, надо что-то делать, а он ничего не делал. Если не вы считали его полной бездарностью, так, значит, Минар.

Минар (*пожимая плечами*). Я?

Бисиу. Ну, так вы, Дюток? *(Дюток с негодованием протестует)*. Вот как! Никто! Значит, все здесь считали, что у него прямо исключительный ум! Что ж, вы были правы: он кончил как человек умный, способный, одаренный — словом, как великий человек. Да он и был велик.

Деруа *(нетерпеливо)*. Бог мой, что же он совершил такого великого? Исповедался?

Бисиу. Да, сударь, он пожелал причаститься святых тайн. Но знаете, в каком виде он причащался? Он облекся в свой камер-юнкерский мундир, надел все ордена, велел напудрить ему волосы и новой лентой перевязать косу (жиденькая косица!). Так вот, я утверждаю, что только человек с сильной волей может в минуту смерти думать о своей косе. Нас здесь восемь человек, и ни один на это не способен. И это еще не все; он сказал — ведь известно, что все великие люди перед смертью произносят последний спич (это слово английское и означает *парламентскую жвачку)*, он сказал... подождите, как он выразился?.. *«Я должен одеться как можно пышнее для встречи с владыкой небесным, ведь я всегда надевал парадное платье, идя к владыке земному»*. Вот каким образом окончил свою жизнь господин де ла Биллардиер! Он постарался оправдать слова Пифагора: «Человека узнаешь только после его смерти».

Кольвиль *(входя)*. Наконец-то, господа, я могу объявить вам великую новость...

Все. Да мы знаем!

Кольвиль. Сильно сомневаюсь! Я сижу над ее разгадкой с восшествия его величества на престол французский и наваррский. И я закончил свою работу лишь сегодня ночью, и притом ценою таких усилий, что госпожа Кольвиль даже спросила меня, над чем это я так маюсь.

Дюток. Вы воображаете, у нас есть время заниматься анаграммами, когда уважаемый господин де ла Биллардиер только что скончался?..

Кольвиль. Узнаю моего Бисиу! Я прямо от ла Биллардиера, он еще жив — правда, кончины ждут с минуту на минуту.

(Годар, поняв, что над ним посмеялись, недовольный уходит в свой кабинет.)

Но, господа, вы ни за что не угадаете, какие многозначительные предсказания (*наполовину развертывает какую-то бумажку*) раскрываются в анаграмме Карла Десятого, милостью божьей короля французов.

Годар (*возвращаясь*). Говорите скорей и не мешайте другим работать.

Кольвиль (*торжествуя, развертывает бумажку до конца*).

«Г. П. корону отдал.
Из С. К. отбыл.
На фелуке блуждает.
В Горице умирает».

Вот! Всё тут (*разъясняет*): Генриху Пятому корону отдал, из Сен-Клу отбыл, на фелуке (шхуна, бот, яхта, все, что хотите — морское слово) блуждает...

Дюток. Какая чепуха! Как может король уступить корону Генриху Пятому, который, по вашей гипотезе, должен быть его внуком, когда существует его высочество дофин? Значит, вы предрекаете дофину смерть?

Бисиу. А что такое Горица? Кошачья кличка!

Кольвиль (*обиженный*). Сокращенное название города, милейший. Я откопал его у Мальт-Брена; Горица — по-латыни Gorixia — находится в Венгрии или в Богемии, словом, где-то в Австрии...

Бисиу. Ну да, в Тироле, или в баскских провинциях, или в Южной Америке. Вам следовало бы к этому предсказанию еще подобрать мотивчик для кларнета.

Годар (*пожимая плечами, направляется к двери*). Какой вздор!

Кольвиль. Вздор! Вздор! Я бы очень хотел, чтобы вы потрудились хоть изучить, что такое фатализм— он был религией императора Наполеона!

Годар (*уязвленный тоном Кольвиля*). Господин Кольвиль! Бонапарт может быть императором для историков, но не для чиновников.

Бисиу (*улыбаясь*). Разгадайте-ка эту анаграмму, друг мой! Впрочем, что касается анаграмм, я им всем предпочитаю вашу супругу, ее легче всего разгадать. (*Вполголоса.*) Флавии следовало бы воспользоваться этими минутами междуцарствия и сделать вас правите-

лем канцелярии хотя бы для того, чтобы избавить от выходок Годара.

Дюток (*он на стороне Годара*). Если бы все это не было так глупо, сударь, вы бы места лишились; ведь вы предсказываете события, которые королю едва ли могут быть приятны; всякий честный роялист должен понимать, что с его величества хватит и двух поездок за границу.

Кольвиль. Если меня уволят, вашему министру крепко достанется от Франсуа Келлера. (*Глубокое молчание.*) Имейте в виду, уважаемый Дюток, что все известные анаграммы сбывались. А возьмем хотя бы вас самих! Знаете что — никогда не женитесь! Берусь так составить анаграмму из вашего имени и фамилии, что в ней будет слово «рогат».

Бисиу. Да еще найдутся буквы для слова «скот».

Дюток (*спокойно*). У меня-то рога покамест только в анаграмме, а не в жизни.

Помье (*вполголоса к Деруа*). Вот Кольвиль и скушал!

Дюток (*Кольвилю*). А вы составляете анаграмму на Ксавье Рабурдена, правителя канцелярии?

Кольвиль. Еще бы!

Бисиу (*чиня перо*). И что же получается?

Кольвиль. Получается вот что: сначала «*предан канцелярии...*» Понимаете? «*р-д-п-к*»,— а в конце «*иная цель*», то есть, начав с административной деятельности, он затем ее бросит и сделает карьеру в другом месте. (*Повторяет.*) «Предан канцелярии...», но потом у него «*иная цель*».

Дюток. Довольно странно.

Бисиу. А Изидор Бодуайе?

Кольвиль (*таинственно*). Никому, кроме Тюилье, не хотел бы я открыть, что я там обнаружил.

Бисиу. Держу пари на завтрак, что я сам скажу.

Кольвиль. Готов заплатить, если вы скажете.

Бисиу. Значит, вы меня угощаете; но не горюйте, такие мастера, как мы с вами, позабавятся на славу. Итак, из слов «*я — господин Бодуайе*» извлекается «*гуся бей...*»

Кольвиль (*поражен*). Вы это у меня украли!

Бисиу (*торжественно*). Господин де Кольвиль, ока-

жите мне честь и поверьте, что у меня хватит ума на любую глупость, незачем мне красть их у ближнего.

Бодуайе (*входит, держа в руках папку*). Вы, господа, судачили бы еще громче! Нечего сказать, хорошая слава пойдет о нашей канцелярии. Наш уважаемый господин Клержо оказал мне честь и лично явился ко мне получить кое-какие справки — и вот он слышал все ваши разговоры. (*Проходит к Годару.*)

Бисиу (*вполголоса*). Гусь что-то очень кроток нынче, в воздухе пахнет переменами.

Дюток (*к Бисиу*). Я хочу вам сказать словечко.

Бисиу (*ощупывая жилет Дютока*). У вас приятный жилет... Вы приобрели его почти даром — не это ли вы хотели сказать?

Дюток. Как — даром? Ни за одну вещь я еще не платил так дорого! Шесть франков за локоть в большом магазине на улице Мира, отличная матовая ткань, очень хороша для глубокого траура.

Бисиу. В гравюрах вы знаток, а об этикете понятия не имеете. Нельзя, конечно, все объять. Так вот — при глубоком трауре носить шелк не принято. Поэтому я ношу только шерсть. Господин Рабурден, господин Клержо, министр — носят только шерсть. Все Сен-Жерменское предместье—только шерсть. Один Минар не носит шерсти, но он боится, как бы его не назвали Шерстоносом — ведь буколическая поэзия так называет барана; вот почему он даже отменил для себя траур по Людовику Восемнадцатому, а это был, как известно, великий законодатель, автор хартии и умный человек, король, который удерживает за собой место в истории, как он удержал его на престоле, как он удерживал его повсюду; ибо знаете ли вы его самое замечательнейшее деяние? Нет? Так вот! Когда он вторично вернулся во Францию и принимал у себя всех союзных государей, он прошел впереди всех и сел первый за обеденный стол.

Помье (*глядя на Дютока*). Однако я не вижу...

Дюток (*глядя на Помье*). И я тоже.

Бисиу. Не понимаете? Ну, он хотел показать, что не считает себя хозяином. Сколько в этом остроумия, величия и лапидарной выразительности! А государи, как и вы, ничего не поняли, даже когда стали совещаться. Правда, почти все были иностранцы...

(Во время этого разговора Бодуайе стоит возле камина в кабинете своего помощника и беседует с ним вполголоса.)

Бодуайе. Да, этот достойнейший человек умирает. Там оба министра, чтобы присутствовать при его последнем вздохе; моего тестя только что известили... Хотите оказать мне большое одолжение? Наймите кабриолет и поезжайте предупредить мою жену; господин Сайяр не может отойти от кассы, а я не решаюсь оставить канцелярию. Будьте в распоряжении госпожи Бодуайе, у нее, кажется, есть свои планы, и, может быть, она захочет тут же предпринять некоторые шаги...

(Оба чиновника выходят из кабинета.)

Годар. Господин Бисиу, я уезжаю на весь день, прошу вас заменить меня.

Бодуайе *(к Бисиу, с простодушным видом)*. Если вам нужен будет совет, обращайтесь ко мне.

Бисиу. Ну, значит, ла Биллардиер действительно приказал долго жить.

Дюток *(на ухо Бисиу)*. Пойдемте, проводите меня.

(Бисиу и Дюток выходят в коридор и смотрят друг на друга, как два авгура.)

Дюток *(на ухо Бисиу)*. Слушайте! Сейчас самое подходящее время... давайте сговоримся, как нам получить повышение. Что, если вам сделаться правителем канцелярии, а мне — вашим помощником?

Бисиу *(пожимает плечами)*. Полноте, что за шутки!

Дюток. Если назначат Бодуайе, Рабурден ни за что не останется, он подаст в отставку. А ведь, между нами, Бодуайе — такая бездарность, что если вы с дю Брюэлем не захотите помогать ему, его через два месяца выгонят. И тогда для нас откроются целых три местечка, на выбор!

Бисиу. И эти три местечка преспокойно уплывут у нас из рук, их отдадут каким-нибудь пузанам, лакеям, шпионам, ставленникам Конгрегации, какому-нибудь Кольвилю, жена которого кончила тем, чем обычно кончают хорошенькие женщины,— ударилась в благочестие.

Дютоk. Все от вас зависит, милейший! Хотя бы раз в жизни употребите свой ум с толком. *(Смолкает, словно желая проверить, какое впечатление его слова произведут на Бисиу.)* Давайте играть вместе и — в открытую!

Бисиу *(бесстрастно)*. Покажите ваши карты!

Дютоk. Я лично хочу только быть помощником; я себя знаю, у меня нет ваших данных — куда уж мне лезть в правители канцелярии! Дю Брюэль может стать начальником отделения, вы — правителем канцелярии; когда он набьет карман, то уступит вам свое место. А я, у вас под крылышком, как-нибудь полегоньку дотяну до отставки.

Бисиу. Хитрец! Но как вы осуществите ваш план? Ведь надо будет оказать давление на министра, вышвырнуть способного чиновника! Между нами, ведь Рабурден — единственный толковый человек во всем отделении, а может быть, и во всем министерстве. И вопрос идет о том, чтобы на его место посадить глупость в квадрате, тупость в кубе, то есть *делокоптителя* Бодуайе.

Дютоk *(приосанившись)*. Милейший, да будет вам известно, что я могу поднять против Рабурдена всех наших чиновников! Уж на что Флери к нему привержен,— ну так вот, даже Флери будет его презирать!

Бисиу. Флери? Презирать его?

Дютоk. У Рабурдена не останется ни одного сторонника. Чиновники все поголовно пойдут жаловаться на него министру, и не только из нашего отделения, но от Клержо, от Буа-Левана, из других министерств...

Бисиу. Вот тебе раз! Кавалерия, пехота, артиллерия и моряки — вперед! Да вы бредите, сударь! А я тут при чем?

Дютоk. Нарисуйте такую злую карикатуру, чтобы ею можно было убить человека.

Бисиу. Заплатите?

Дютоk. Сто франков.

Бисиу *(про себя)*. Тут что-то есть.

Дютоk. Надо изобразить Рабурдена в виде мясника, но чтобы было очень похоже, создать этакую аналогию между канцелярией и кухней, вложить ему в руку здоровенный кухонный нож, представить старших чиновников министерства в виде кур и уток, посадить их

в огромную клетку и на ней написать: «Приговоренные к служебной казни», и пусть Рабурден стоит в такой позе, будто собирается одному за другим отрубить голову. И пусть у этих кур, уток и гусей головы напоминают наших чиновников — так сказать, намек, смутное портретное сходство, понимаете? И пусть он держит в руках одну из этих птиц, ну, например, Бодуайе — скажем, в виде индюка.

Бисиу. «Гуся бей»? *(Смотрит на Дютока долгим взглядом.)* Это вы сами придумали?

Дютек. Да, я.

Бисиу *(в сторону)*. Неужели сильные чувства могут заменить талант? *(Дютоку.)* Хорошо, карикатура будет...

(У Дютока невольно вырывается жест радости.)

когда... *(многозначительная пауза)* я буду знать, на что опереться: в случае вашей неудачи я ведь потеряю место; но мне же надо чем-нибудь жить. А вы, дорогой коллега, как это ни странно, все-таки славный малый.

Дютек. Что ж, отдавайте карикатуру в литографию, только когда успех будет обеспечен.

Бисиу. Почему вы сразу не хотите все сказать?

Дютек. Надо сначала пронюхать, чем у нас пахнет... Мы еще поговорим... *(Уходит)*.

Бисиу *(остается в коридоре один)*. У этого ската, жаренного в масле,— он скорее похож на хищную рыбу, чем на какую-нибудь безобидную курицу,— у этого Дютока — превосходная мысль, не знаю, где он ее взял. Если *делокоптитель* Бодуайе сядет на место ла Биллардиера — будет очень забавно, больше чем забавно: на руку нам! *(Возвращается в канцелярию.)* Господа, нас ожидают великие перемены, папаша ла Биллардиер решительно умер. Без шуток! Честное слово! Уже Годар уехал выполнять поручения нашего уважаемого начальника, Бодуайе, предполагаемого преемника покойного.

(Минар, Деруа, Кольвиль удивленно поднимают головы, кладут перья; Кольвиль сморкается.)

Теперь и нас повысят! Кольвиля сделают по крайней мере помощником, Минар, может быть, станет делопроизводителем — почему бы и нет? Он так же глуп, как я. Ну что, Минар, если бы вы получали две с половиной

тысячи — вот ваша женушка была бы довольна, а вы купили бы себе сапоги!

Кольвиль. Но у вас у самих еще нет этих двух с половиной тысяч.

Бисиу. Дюток получает же их у Рабурдена, почему бы и мне не иметь в этом году? И господин Бодуайе получал!

Кольвиль. Только благодаря господину Сайяру. В отделении Клержо ни один из делопроизводителей столько не получает.

Помье. Вот как? Кошен разве не имеет трех тысяч? Он сменил Вавассера, а тот во времена Империи просидел десять лет на четырех тысячах, при первой Реставрации ему сбавили до трех, и умер он, получая всего две с половиной. Но благодаря протекции брата Кошену накинули еще полтысячи.

Кольвиль. Господина Кошена зовут Эмиль-Луи-Люсьен-Эммануэль, таким образом, в его анаграмму входит слово «кошениль». И он действительно состоит пайщиком москательного магазина на улице Ломбардцев — фирма Матифа́, который разбогател, спекулируя именно на этом колониальном товаре.

Бисиу. Бедняга, он целый год путался с Флориной.

Кольвиль. Кошен иногда бывает на наших вечерах, он первоклассный скрипач. *(К Бисиу, который еще не приступил к работе.)* Вам бы следовало прийти к нам в ближайший вторник — послушать концерт. Мы будем играть квинтет Рейши.

Бисиу. Благодарю, я предпочитаю прочесть партитуру.

Кольвиль. Вы это говорите ради красного словца?.. Ведь истинный художник не может не любить музыку.

Бисиу. Приду, но только ради вашей жены.

Бодуайе *(возвращаясь)*. Господина Шазеля все еще нет? Передайте ему поклон, господа!

Бисиу *(заслышав шаги Бодуайе, положил чью-то шляпу на место Шазеля)*. Простите, сударь, он пошел за справкой для вас к рабурденцам.

Шазель *(входит, он в шляпе, не замечает Бодуайе)*. Папаша ла Биллардиер отправился на тот свет, господа! Теперь Рабурден — начальник отделения, доклад-

чик государственного совета! Кто-кто, а он заслужил это назначение...

Бодуайе *(Шазелю)*. Вероятно, эти сведения упали с потолка прямо в вашу вторую шляпу, сударь? *(Показывает ему шляпу, лежащую на стуле.)* Уже третий раз с начала месяца вы являетесь в десятом часу; если так будет продолжаться, вы очень продвинетесь, только вопрос — в каком направлении? *(К Бисиу, который читает газету.)* Дорогой господин Бисиу, ради бога, отдайте газету этим господам — они собираются завтракать — и пройдите ко мне: надо приниматься за срочные дела. Не знаю, куда запропастился Габриэль; кажется, господин Рабурден держит его для своих личных поручений, я уже три раза звонил понапрасну.

(Бодуайе снова удаляется в кабинет, с ним уходит и Бисиу.)

Шазель. Проклятая жизнь!

Помье *(он в восторге, что может подразнить Шазеля)*. Разве вам внизу не сказали, что он здесь? Неужели, входя сюда, вы не заметили, что на вашем месте лежит шляпа, а что слон...

Кольвиль *(смеясь)*. В зверинце.

Помье. Он достаточно толст, чтобы его заметить...

Шазель *(в отчаянии)*. Черт возьми, за какие-то несчастные четыре франка семьдесят пять сантимов в день от нас требуют, чтобы мы были рабами!

Флери *(входя)*. Долой Бодуайе! Да здравствует Рабурден! Этого хочет все отделение.

Шазель *(горячится)*. Если угодно, пусть Бодуайе увольняет меня, я плакать не буду. В Париже найдется тысяча способов заработать пять франков в день! Хотя бы в суде, переписывать бумаги для стряпчих...

Помье *(продолжая дразнить Шазеля)*. Вы только так говорите, а все-таки место есть место! Вон наш храбрый Кольвиль; он работает, как каторжный, на стороне, и если бы потерял должность — он мог бы музыкой заработать гораздо больше, чем ему платят здесь! А видите, он все-таки держится за свое место! Еще бы! Кто же отказывается от своих надежд!

Шазель *(продолжая негодовать)*. Он — да, но не я! Разве свет клином сошелся? Черт побери! Верно, было время, когда все только и мечтали о чиновничьей ка-

рьере. В армии набралось столько народу, что в канцеляриях стало его не хватать. И всякие беззубые старики да молодые люди без ноги или руки, дохлые, как Помье, или близорукие, быстро пошли в гору. В лицеях кишмя кишело детьми, а их родителей пленял образ молодого человека в очках, в синем фраке, с огненной ленточкой в петлице: он получает в месяц тысячу только за то, чтобы чем-то ведать, а чем — бог его знает; он торчит в министерстве по нескольку часов в день, приходит туда поздно, уходит рано, имеет, как лорд Байрон, свой досуг, сочиняет романсы, прогуливается, задрав нос, по Тюильрийскому саду, везде бывает: в театре, на бале, принят в лучших домах и бесшабашно тратит свое жалованье, возвращая Франции все, что она дает ему, и даже оказывая ей услугу. Тогда нашего брата, как теперь господина Тюилье, баловали хорошенькие женщины; чиновники, видно, были умнее, они не засиживались в канцеляриях. В те счастливые времена все имели свои причуды: императрицы, королевы, принцессы, супруги маршалов. У прекрасных дам была страсть, присущая прекрасным душам: они любили оказывать покровительство. Поэтому молодого человека двадцати пяти лет, бывало, уже рукой не достанешь, он мог уже быть аудитором или докладчиком государственного совета... являться с докладами к самому императору, развлекать его высокое семейство! Одновременно и веселились и работали. Все делалось очень быстро. Но с тех пор как палата придумала особые рубрики для расходов и для штатов под названием «личный состав», мы хуже солдат. Самая ничтожная должность зависит от тысячи случайностей, оттого что у нас теперь тысяча правителей...

Бисиу *(возвращается)*. Шазель с ума сошел? Где это он увидел тысячу правителей? Может быть, в собственном кармане?

Шазель. А вы сосчитайте: четыреста за мостом Согласия — он назван так потому, что ведет к палате, где можно любоваться постоянными разногласиями между левой и правой; еще триста — в конце улицы Турнон. Затем двор — его тоже приходится считать за триста, а ведь ему нужна воля в семьсот раз более сильная, чем воля императора, чтобы добиться хоть какого-нибудь места для одного из своих ставленников!

Ф л е р и. Значит, в стране, где есть три власти, можно поставить тысячу против одного, что чиновник без покровителя никогда не получит повышения.

Б и с и у (*глядя то на Флери, то на Шазеля*). Ах, дети мои, вы еще до сих пор не поняли, что это не в нашей власти: ведь мы сами во власти государственной власти.

Ф л е р и. Оттого что наше правительство конституционное.

К о л ь в и л ь. Господа, бросим политику!

Б и с и у. Флери прав. В наши дни, господа, служить государству — это совсем другое, чем служить государю, который умел и наказывать и награждать! Нынче государство — это все. А все не заботятся ни о ком. Служить всем — значит не служить никому. Никто никем не интересуется. И чиновнику приходится жить между этих двух отрицаний. У «всех» нет ни жалости, ни уважения, ни души, ни разума. «Все» — это эгоисты, «все» забывают сегодня услуги, оказанные вчера. И напрасно вы будете с самых юных лет чувствовать себя, как господин Бодуайе, гениальным администратором, Шатобрианом докладных записок, Боссюэ циркуляров, Каналисом делопроизводства, Златоустом депеш,— существует печальный закон, направленный против одаренных чиновников, закон средних норм продвижения по службе. Эти роковые средние нормы определяются сопоставлением закона о повышениях со статистикой смертности. Поступив восемнадцати лет в какое-нибудь учреждение, человек начинает получать восемнадцать сотен только к тридцати годам, а жизнь Кольвиля нам доказывает, что ни женская изобретательность, ни поддержка нескольких пэров Франции, ни влияние нескольких депутатов ничего не значат: чиновник не может надеяться, что в пятьдесят лет он будет получать шесть тысяч.

А вместе с тем не существует ни одной свободной и независимой профессии, благодаря которой молодой человек, окончивший курс гуманитарных наук, прививший себе оспу и свободный от военной службы, молодой человек, не обладающий чрезмерным умом, но способный, за десять — двенадцать лет не сколотил бы себе капиталец в сорок пять тысяч франков и столько-то санти-

мов, с которого он получает постоянный доход, как мы наше жалованье — с той разницей, что нам его выплачивают отнюдь не пожизненно. За этот срок бакалейщик наживет себе ренту в десять тысяч франков, затем объявит себя несостоятельным или сделается председателем коммерческого суда. Художник, если он размалевал километр холста, заслужит орден Почетного легиона или вообразит себя непонятым гением. Литератор — или станет преподавать что-нибудь, или будет писать в газетах фельетоны по сто франков за тысячу строк, а не то окажется в тюрьме Сент-Пелажи за блестящий памфлет, разозливший иезуитов, который придаст ему огромный вес и превратит в политическую фигуру. Наконец, лодырь, если он совсем ничего не делал — ведь иные лодыри все-таки что-то делают,— успеет наделать долгов и подцепить вдову, которая их выплачивает. Священник получит сан епископа, хотя и без епархии; водевилист приобретет недвижимость, если даже, как дю Брюэль, не написал целиком ни одной пьесы. Смышленый и трезвый малый, занявшись учетом, даже при крошечном капитале, как у мадемуазель Тюилье, купит четверть паев конторы биржевого маклера. Но спустимся ниже! Мелкий клерк успеет сделаться нотариусом, тряпичник получит ренту в тысячу франков, самые жалкие рабочие могут стать фабрикантами. Но в круговороте нашей цивилизации, где бесконечное дробление принимается за прогресс, какой-нибудь Шазель существует, получая в день двадцать два су на душу!.. Он обречен на постоянные неприятности с портным, с сапожником... у него долги, он — ничто, и вдобавок он, видимо, впал в кретинизм! Что ж, господа? Давайте сделаем красивый жест! А? Подадим все в отставку... Флери, Шазель, сворачивайте на другую дорогу и становитесь там великими людьми!

Ш а з е л ь *(охлажденный речью Бисиу.)* Спасибо!

(Общий смех.)

Б и с и у. Напрасно! Будь я на вашем месте, я бы не дожидался предложения от секретаря министра.

Ш а з е л ь *(с тревогой)*. А какого предложения?

Б и с и у. Одри сказал бы вам, и притом вежливее,

чем де Люпо, что для вас есть место только на площади Согласия.

Помье (*стоит, обхватив печную трубу*). Да и Бодуайе вас не пощадит, не беспокойтесь!

Флери. И ко всему прочему — еще теперь этот Бодуайе! У вас не начальник, а сущая пила! Господин Рабурден — вот это человек! Он мне положил на стол столько работы, что вы бы здесь и в три дня не кончили... Ну, а он получит ее от меня сегодня же в четыре часа. Но зато он не будет стоять у меня над душой, если я захочу пойти поговорить с приятелями.

Бодуайе (*появляясь*). Всякий имеет право порицать работу палаты и действия административной власти, но согласитесь сами, господа,— нужно делать это в другом месте, а не в канцелярии. (*Обращаясь к Флери.*) А вы зачем здесь, сударь?

Флери (*дерзко*). Пришел предупредить моих коллег, что началась кутерьма. Дю Брюэля вызвали к секретарю министра, Дюток пошел туда же! Все гадают, кто же будет назначен.

Бодуайе (*уходя*). А это, сударь, не ваше дело, возвращайтесь-ка к себе в канцелярию и не нарушайте порядок в моей...

Флери (*уже в дверях*). Какая несправедливость, если Рабурдена обойдут! Право, я тогда ухожу из министерства. (*Возвращается.*) Ну что, составили анаграмму, папаша Кольвиль?

Кольвиль. Да, вот она.

Флери (*наклоняется над столом Кольвиля*). Замечательно! Замечательно! И это непременно случится, если правительство будет продолжать свою политику лицемерия. (*Показывает знаками, что Бодуайе подслушивает за дверью.*) Пусть бы правительство честно заявило о своих намерениях, без задних мыслей, тогда либералы знали бы, что им делать. Но когда оно восстанавливает против себя своих лучших друзей, как, например, Шатобриана и Ройе-Коллара, газету «Деба»,— просто жалость берет...

Кольвиль (*посоветовавшись со своими товарищами*). Знаете что, Флери, вы славный малый, но не рассуждайте здесь о политике, вы сами не понимаете, как нам вредите.

Флери (*сухо*). До свидания, господа. Пойду работать. (*Возвращается и говорит на ухо Бисиу.*) Ходят слухи, что у госпожи Кольвиль есть связи в Конгрегации.

Бисиу. Бедный муж!

Флери. Вы не можете не сострить!

Кольвиль (*с тревогой*). О чем это вы?

Флери. Вчера сбор в нашем театре был опять тысяча экю, а все благодаря этой новой пьесе, хотя она идет уже в сороковой раз. Вам следовало бы посмотреть, декорации великолепны!

В это время де Люпо принимал в своем кабинете дю Брюэля, вслед за которым явился и Дюток. Де Люпо узнал от своего камердинера о смерти де ла Биллардиера и хотел угодить обоим министрам, выпустив в тот же вечер его некролог.

— Здравствуйте, милейший дю Брюэль,— сказал полуминистр помощнику начальника отделения, даже не предложив ему сесть.— Слышали? Ла Биллардиер скончался, оба министра были при нем, когда он причастился святых тайн. Старик очень настаивал на том, чтобы назначили Рабурдена: ему-де будет тяжело умирать, если он не получит обещания, что его преемником станет тот, кто столько лет за него работал. Видимо, агония — это такая пытка, что люди во всем сознаются... Министр согласился тем охотнее, что считает нужным, как и весь Совет, наградить господина Рабурдена за его многочисленные заслуги (*покачивает головой*), да и государственный совет нуждается в его просвещенном опыте. Говорят, молодой господин де ла Биллардиер уходит из отделения своего покойного отца в комиссию хранителя государственной печати. Это все равно, что получить от короля в подарок сто тысяч: ведь это место можно продать, как нотариальную контору. Ваше отделение порадуется, Бенжамен мог быть назначен именно туда. Слушайте, дю Брюэль, надо бы набросать о старике заметку в десять — двенадцать строк, знаете — как для отдела «происшествий»; может быть, попадется на глаза их превосходительствам (*просматривает газеты*). Вам известна биография папаши ла Биллардиера?

Дю Брюэль виновато покачал головой.

— Нет? — удивился де Люпо.— Так вот, он был участником вандейских событий, одним из доверенных лиц покойного короля; подобно графу де Фонтэну, он так и не пожелал сговориться с первым консулом. Немножко пошуанил. Родился в Бретани, в старой судейской семье, дворянство было получено только при Людовике Восемнадцатом. Сколько ему было лет? Не все ли равно! Ну, словом, устройте это... «Неподкупная честность»... «просвещенное благочестие» (у бедняги была мания, он решил, что никогда не переступит порога церкви); потом прибавьте еще «преданный слуга». Ловко намекните на то, что при вступлении на престол Карла Десятого он мог бы, как евангельский Симеон, возгласить: «Ныне отпущаеши». Граф д'Артуа очень ценил ла Биллардиера: покойник имел отношение к этой несчастной операции под Кибероном и всю вину взял на себя. И знаете, ведь ла Биллардиер выгородил короля. Он опубликовал специальную брошюру, в которой опровергал какого-то наглого газетчика, написавшего историю революции. Поэтому спокойно можете напирать на его преданность. Только смотрите, хорошенько взвешивайте ваши слова, чтобы другие газеты не подняли вас на смех, и покажите мне вашу статью. Вы были вчера у Рабурдена?

— Да, *ваше превосходительство,*— сказал дю Брюэль.— Ах, простите, обмолвился!

— Ничего, не беда,— смеясь, отвечал де Люпо.

— Жена у Рабурдена чудо как хороша,— продолжал дю Брюэль,— второй такой не найдешь во всем Париже: остроумные есть — но нет в них той пленительности остроумия; и есть, конечно, женщины красивее Селестины, но трудно найти женщину, которая бы умела так разнообразить свою красоту. Да, госпожа Рабурден куда лучше госпожи Кольвиль! — добавил водевилист, вспомнив про интрижку де Люпо.— Флавия стала такой, как она есть, лишь благодаря общению с мужчинами, а госпожа Рабурден сама себя создала; она все знает; при ней опасно говорить намеками в расчете, что она не поймет. Будь у меня такая жена, я бы, кажется, всего добился.

— Вы умнее, чем разрешается быть писателю,— заметил де Люпо с некоторым высокомерием. Затем отвер-

нулся и, увидев входящего Дютока, сказал: — А, здравствуйте, Дюток. Я вас вызвал вот зачем: одолжите мне вашего Шарле, если он полный; графиня совсем не знает Шарле.

Дю Брюэль удалился.

— Что это вы являетесь без зова? — резко обратился де Люпо к Дютоку, когда они остались одни.— Вы приходите ко мне в десять часов, когда я собираюсь завтракать с его превосходительством... Разве государство в опасности?

— Может быть, сударь! — отозвался Дюток.— Имей я честь встретиться с вами сегодня рано утром, вы, вероятно, не стали бы петь хвалебные гимны этому Рабурдену,— взгляните, что он о вас пишет.

Дюток расстегнул сюртук, извлек из левого кармана тетрадь с оттисками и, раскрыв ее на нужной странице, положил перед де Люпо. Потом он предусмотрительно запер дверь, ожидая, что сейчас секретарь министра придет в ярость. Вот что прочел де Люпо, пока Дюток отходил к двери:

«*Господин де Люпо*. Правительство унижает себя, открыто пользуясь услугами человека, специальность которого дипломатический сыск. К помощи подобной личности можно успешно прибегать в борьбе с политическими флибустьерами других кабинетов, но было бы жаль употреблять его для внутреннего розыска: он выше заурядного сыщика, он понимает, что такое план, он сумеет осуществить необходимую подлость и ловко замести следы».

Так в пяти-шести фразах был дан тонкий анализ де Люпо, как бы квинтэссенция того портрета-биографии, который мы набросали в начале нашего повествования. С первых же слов секретарю министра стало ясно, что ему дает оценку человек, гораздо более умный, чем он сам, и де Люпо решил ознакомиться подробно с этим исследованием, охватывавшим и тех, кто был близко, и тех, кто находился очень далеко и высоко,— но хотел сделать это, только когда останется один, не выдавая своих тайн такому человеку, как Дюток. Поэтому лицо де Люпо, когда он обратился к своему шпиону, было важно и спокойно. Секретарь министра, так же как стряпчие, судьи, дипломаты,—словом, все, кому приходит-

ся копаться в человеческой душе, уже привык ничему не удивляться. Он привык к предательствам, к уловкам ненависти, к западням и, даже получив удар ножом в спину, способен был сохранять на своем лице выражение полной невозмутимости.

— Откуда вы раздобыли эту тетрадь?

Дюток рассказал, как ему повезло; де Люпо слушал его, не выказывая ни малейшего одобрения. Поэтому шпион, начав свой рассказ в победоносном тоне, к концу совершенно оробел.

— Дюток, вы сунулись не в свое дело,— сухо заметил секретарь министра.— Если вы не хотите нажить себе могущественных врагов, то держите язык за зубами; этот труд имеет чрезвычайную важность, и он мне известен.

И де Люпо отослал Дютока таким взглядом, который красноречивей слов.

«А-а! Значит, мерзавец Рабурден и сюда влез! — решил Дюток, охваченный ужасом при мысли о том, что его начальник соперничает с ним в той же области.— Но он командует в штабе, а я просто пехотинец! Никогда бы не поверил!»

Ко всему, что вызывало его негодование против Рабурдена, примешалась еще зависть профессионала к своему коллеге, а зависть, как известно,— один из наиболее действенных элементов ненависти.

Когда де Люпо остался один, он погрузился в странное раздумье. Чьим орудием был его обвинитель? Следует ли воспользоваться этими необыкновенными документами, чтобы погубить Рабурдена или чтобы добиться благосклонности его жены? Но он никак не мог этого решить и с ужасом пробегал одну за другой страницы донесения, где люди, которых он знал, были разобраны с невообразимой глубиной. И он невольно восхищался Рабурденом, вместе с тем чувствуя, что уязвлен в самое сердце. Де Люпо еще читал, когда настало время завтракать.

— Поторопитесь, а то вы заставите его превосходительство ждать вас,— сказал пришедший за ним камердинер министра.

Министр обычно завтракал с женой, детьми и де Люпо; слуг при этом не было. Утренний завтрак — тот часок, который государственным деятелям удается урвать

у своих бесчисленных и неотложных дел и отдать семье. Однако, невзирая на рогатки, ограждающие от посторонних этот час домашних бесед и непринужденного общения с семьей и близкими, немало больших и маленьких людей умудряются проникнуть к министру. И нередко государственные дела вторгаются в тихий мирок семейных радостей; так было и сейчас.

— А я-то считал, что Рабурден выше обыкновенных чиновников; и вдруг он, буквально через десять минут после смерти ла Биллардиера, посылает мне с ла Бриером какую-то дурацкую записку. Прочитайте! — обратился министр к де Люпо, протягивая ему бумажку, которую вертел в руках.

Рабурден был слишком чист, чтобы думать о том постыдном смысле, который приобретала его записка после смерти ла Биллардиера, и, узнав о его кончине от ла Бриера, не взял этой записки обратно. Де Люпо прочел в ней следующее:

«Ваше превосходительство!

Если двадцать три года безупречной службы дают право на какую-то милость, то умоляю вас принять меня сегодня же. Дело идет о моей чести».

За этим следовали обычные формулы вежливости.

— Бедняга! — сказал де Люпо соболезнующим тоном, только подтвердившим ошибочные предположения министра.— Здесь все свои, пусть войдет. В другое время вы не можете его принять: после заседания палаты у вас Совет, и вашему превосходительству придется отвечать оппозиции.— Де Люпо встал, вызвал служителя, шепнул ему что-то на ухо и снова сел за стол.— Я сказал, что вы примете его за десертом.

Подобно всем министрам Реставрации, и этот министр был немолод. К несчастью, хартия, дарованная Людовиком XVIII, связала руки королям, принуждая их отдавать судьбы страны во власть сорокалетних мужчин из палаты депутатов и семидесятилетних старцев из палаты пэров, и лишила их права привлекать к государственной деятельности людей, политически одаренных, хотя бы и молодых или занимающих ничтожное положение в обществе. Только Наполеон выдвигал моло-

дых людей по своему выбору, не стесняя себя никакими побочными соображениями. Поэтому-то, после падения столь великой воли, люди, одаренные энергией, устремились в другие области. Но когда силу сменяет слабость, для Франции этот контраст более опасен, чем для какой-либо другой страны. Министры, получавшие власть в старости, оказывались обычно весьма посредственными государственными деятелями, тогда как министры, призванные к деятельности смолоду, всегда бывали гордостью европейских монархий и республик, делами которых они руководили.

Еще у всех жила в памяти борьба Питта и Наполеона, двух людей, руководивших политикой в том же возрасте, в каком Генрих Наваррский, Ришелье, Мазарини, Кольбер, Лувуа, принц Оранский, Гизы, ла Ровер, Макиавелли — словом, все прославившиеся великие люди, вышедшие из низов или родившиеся возле престола, начинали править государством. Конвент, этот образец энергии, состоял в большей своей части из людей молодых; и правители не должны забывать, что он имел силы противопоставить европейским странам четырнадцать армий и что его политика, столь роковая для Франции в глазах тех, кто держится за так называемый абсолютизм, была, по существу, подсказана подлинно монархическими принципами, ибо Конвент вел себя как великий монарх.

Министр же, о котором идет речь, был поднят на щит своей партией, видевшей в нем как бы своего управляющего делами лишь после десяти — двенадцати лет парламентской борьбы, когда его уже потрепали невзгоды политической жизни. На его счастье, ему было уже далеко за пятьдесят; если бы он сохранил в себе хоть остаток юношеской энергии, он бы долго не продержался на своем посту. Но, привыкнув в нужную минуту прерывать борьбу, отступать и вновь переходить к нападению, спокойно выдерживая удары, которые ему наносили и его партия, и оппозиция, и двор, и духовенство, он всему противопоставлял силу своей инерции, податливой и вместе с тем упругой; в этой немощности были тоже свои выгоды. Его ум, издерганный тысячью государственных забот, был подобен уму старого стряпчего, истаскавшегося по судам, и уже лишен той живой си-

лы, которую сохраняет одинокий мыслитель, той способности к быстрым решениям, которой обладают люди, рано начавшие действовать, и молодые военные. Да и могло ли быть иначе? Вместо того чтобы судить, он занимался крючкотворством и, не зная причин, критиковал следствия; его голова была забита предложениями мелких реформ, которыми партия засыпает своего вожака, программами, которые кто-то, руководясь частными интересами, подсовывает многообещающему оратору, навязывая ему невыполнимые планы и советы. Он пришел к власти не в расцвете сил, а уже обессиленный всеми этими ходами и контрходами. Утверждаясь на вершине, составлявшей предмет его давних желаний, он вынужден был продираться сквозь колючие заросли, сталкиваться со множеством чужих противоречивых стремлений, которые надо было согласовать.

Если бы государственные деятели Реставрации имели возможность осуществлять свои собственные замыслы, вероятно, их дарования меньше подвергались бы критике; однако, хотя они и подчинялись чужой воле, все же возраст спасал их, не допуская слишком решительного сопротивления, какое они, будучи молодыми, оказали бы низким интригам высоких лиц; даже Ришелье бывал жертвой этих интриг. И вот в их сеть, хотя и ограниченную гораздо более узкой сферой, должен был попасться Рабурден. После тревог первых парламентских сражений эти люди, не столь старые, сколь преждевременно одряхлевшие, переходили к тревогам министерской борьбы. И поэтому, когда нужна была орлиная зоркость, их зрение оказывалось слабым, и когда от их ума требовалась двойная острота, он был уже истощен.

Министр, которому Рабурден хотел открыться, ежедневно выслушивал людей бесспорно выдающихся, излагавших ему остроумнейшие теории, иногда применимые к жизни Франции, иногда нет. Эти люди, не имевшие понятия о трудностях общегосударственной политики, осаждали его после парламентских схваток, в которых он участвовал, после борьбы с дурацкими происками двора, в часы, когда он готовился к бою с общественным мнением или отдыхал после бурных дебатов по поводу какого-нибудь дипломатического вопроса, разделившего Совет на три лагеря.

При таком положении дел официальное лицо, конечно, всегда держит наготове зевок для первых же слов об улучшении общественного устройства.

В те времена не проходило ни одного обеда без того, чтобы наиболее смелые спекуляторы, закулисные политиканы и финансисты не резюмировали в нескольких глубокомысленных словах мнений, высказанных биржей и банками или подслушанных у дипломатов, и планов, касающихся судеб всей Европы. Впрочем, г-н де Люпо и личный секретарь составляли при министре как бы некий малый совет, который обычно и пережевывал всю эту жвачку, контролировал и анализировал интересы, скрывавшиеся за столькими убедительнейшими предложениями. И, наконец, главная беда министра — беда всех шестидесятилетних министров — состояла в том, что он, борясь с трудностями, действовал не напрямик, а в обход: например, ежедневную прессу он старался придушить потихоньку, вместо того чтобы открыто покончить с ней; точно так же вел он себя в отношении финансов и промышленности, духовенства и национальных имуществ, либералов и палаты. Расправившись за семь лет со всеми своими противниками и добившись желанного поста, министр решил, что может так же расправляться и со всеми возникавшими перед ним вопросами. Желание удержать власть теми же способами, какими она добыта, казалось всем настолько естественным, что никто не осмеливался порицать систему поведения, изобретенную посредственностью в угоду посредственностям. Реставрация и Польская революция показали народам и государям, какое значение имеет один великий человек и какая их постигает судьба, если такого человека не находится. Последний и самый большой недостаток государственных деятелей Реставрации состоял в том, что они в своей борьбе вели себя честно, между тем как их противники пускали в ход все виды политического мошенничества, ложь и клевету, натравливая на них, с помощью самых опасных приемов, темные массы, способные понимать только беспорядок.

Рабурден все это сознавал. Однако он решил рискнуть всем, как человек, которому игра уже наскучила и который разрешает себе только один последний ход; и вот, по воле случая, его противником в этой игре оказал-

ся шулер — де Люпо! При всей своей проницательности и административном опыте правитель канцелярии не мог вообразить, сколь близоруки парламентские деятели, и не представлял себе, что его великий труд, которому он отдал свою жизнь, будет воспринят министром как пустое умствование и что этот государственный деятель неизбежно поставит его на одну доску с новаторами, ораторствующими за десертом, и с болтунами, рассуждающими у камина.

В ту минуту, когда министр, встав из-за стола, думал вовсе не о Рабурдене, а о Франсуа Келлере и задержался в столовой лишь потому, что супруга протянула ему кисть винограда, служитель доложил о приходе правителя канцелярии. Де Люпо знал заранее, в каком расположении духа окажется министр, занятый предстоящим ему выступлением; видя, что его начальником завладела супруга, он сам пошел навстречу Рабурдену и первой же фразой поразил его как громом.

— Его превосходительство и я в курсе того, что вас тревожит, и вам нечего опасаться,— тут де Люпо понизил голос,— ни со стороны Дютока,— а затем продолжал громко: — ни с чьей-либо стороны.

— Не тревожьтесь, Рабурден,— подтвердил его превосходительство ласковым тоном, однако явно намереваясь удалиться.

Рабурден почтительно приблизился, и министру пришлось остаться.

— Я прошу ваше превосходительство великодушно разрешить мне сказать вам несколько слов наедине...— обратился он к министру, бросив ему многозначительный взгляд.

Его превосходительство посмотрел на часы и отошел с бедным Рабурденом к окну.

— Когда я буду иметь честь изложить вашему превосходительству план административного преобразования, разработанный в докладе, который намереваются опорочить?

— План преобразования? — нахмурившись, прервал его министр.— Если хотите мне сообщить что-нибудь в этом роде, подождите, пока мы начнем работать вместе. У меня сегодня Совет, потом я должен выступать в палате по поводу инцидента, который произошел вче-

ра в конце заседания в связи с выступлением оппозиции. Приходите ко мне с докладом в следующую среду, вчера я не мог принять вас и заняться делами министерства. Политические задачи оттеснили задачи чисто административные.

— Я вверяю вам свою честь, ваше превосходительство,— торжественно отвечал Рабурден,— и умоляю вас не забывать, что вы не дали мне времени объясниться по поводу выкраденных бумаг...

— Да вам нечего беспокоиться,— перебил Рабурдена де Люпо, становясь между ним и министром.— Не пройдет и недели, как вы наверняка получите назначение...

Министр засмеялся, вспомнив, как де Люпо восхищается г-жой Рабурден, и переглянулся с женой, которая ответила ему улыбкой. Рабурден, изумленный этой немой сценой, силился разгадать ее смысл, он на миг отвел взгляд от министра, и тот поспешил выйти.

— Мы все это еще обсудим,— сказал де Люпо Рабурдену, который не без удивления заметил, что министра перед ним уже нет.— И не сердитесь на Дютока, я отвечаю за него.

— Госпожа Рабурден — прелестная женщина,— заметила жена министра правителю канцелярии, лишь бы сказать что-нибудь.

Дети с любопытством рассматривали Рабурдена. А Рабурден, готовившийся к этой торжественной минуте, напоминал теперь крупную рыбу, попавшуюся в мелкую сеть.

— Вы очень добры, графиня,— отозвался он.

— Надеюсь, я буду иметь удовольствие видеть ее на одной из моих сред,— продолжала та,— привезите ее как-нибудь, я буду вам очень обязана...

— Госпожа Рабурден сама принимает по средам,— отвечал де Люпо, знавший, какая скука царит на официальных министерских средах.— Но если вы так добры к ней, то у вас, кажется, будет скоро маленький вечер...

Супруга министра поднялась, рассерженная.

— Вы ведь мой церемониймейстер,— бросила она де Люпо.

Этими словами она дала понять секретарю, что не-

довольна его посягательством на ее интимные вечера, куда допускались только избранные. Затем она кивнула Рабурдену и вышла. Итак, в маленькой гостиной, где министр завтракал в кругу семьи, де Люпо и Рабурден остались с глазу на глаз. Де Люпо комкал в руке конфиденциальную бумагу, переданную ла Бриером министру. Рабурден узнал свое письмо.

— Вы меня плохо знаете,— улыбаясь, сказал секретарь министра правителю канцелярии.— В пятницу вечером мы договоримся окончательно. А сейчас мне придется начать прием, сегодня министр навязал его мне, он готовится к выступлению в палате. Но, повторяю вам, Рабурден, ничего не бойтесь.

Рабурден медленно спускался с лестницы, смущенный странным оборотом, который приняло дело. Он решил, что Дюток донес на него. Да, несомненно! У де Люпо в руках данные им характеристики всех чиновников, значит и суровое суждение Рабурдена о секретаре министра, а между тем де Люпо отнесся так ласково к своему судье! Было от чего потерять голову! Людям прямым и честным трудно разбираться в запутанных интригах, и Рабурден блуждал по этому лабиринту, не в силах отгадать, что за игру вел с ним секретарь министра.

«Или он не читал того, что я пишу о нем, или он любит мою жену!»

Таковы были два предположения, возникшие у Рабурдена, когда он выходил от министра, ибо перед ним, как молния, мелькнул тот взгляд, которым обменялись накануне Селестина и де Люпо.

Понятно, что за время отсутствия Рабурдена сослуживцы сильно волновались: в министерствах отношения между низшими и высшими чиновниками и их начальниками подчиняются столь строгому регламенту, что если министерский служитель приходит звать правителя канцелярии к его превосходительству, да еще в те часы, когда у министра нет приема, это порождает самые оживленные комментарии. Необычное приглашение совпало со смертью ла Биллардиера, и это обстоятельство показалось иным настолько важным, что Сайяр, узнав о нем от Клержо, даже пришел к зятю, чтобы все это с ним обсудить. Бисиу, занимавшийся в то время со своим начальником, предоставил ему беседовать с тестем. а сам

поспешил в канцелярию Рабурдена, где вся работа приостановилась.

Бисиу *(входя)*. Не очень-то у вас тепло, господа... А вы и не знаете, что происходит внизу! Добродетельная Рабурдина провалилась! Да, уволена! У министра происходит сейчас ужасная сцена.

Дютока *(глядя на Бисиу)*. Правда?

Бисиу. А кто плакать будет? Не вы же! Вас сделают помощником, а дю Брюэля правителем. Начальником отделения будет господин Бодуайе.

Флери. А я держу пари на сто франков, что этому Бодуайе не бывать начальником отделения.

Вимe. Присоединяюсь к вашему пари. А вы, господин Пуаре?

Пуаре. Да ведь я первого января выхожу в отставку.

Бисиу. Как, мы больше не увидим ваших шнурованных башмаков? Как же министерство обойдется без вас? Кто еще хочет держать пари?

Дюток. Не могу держать пари, если я знаю наверняка: господин Рабурден назначен. Ла Биллардиер на смертном одре сам просил об этом двух министров и кался, что получал жалованье за работу, которую делал Рабурден; старика начала мучить совесть, и министры, чтобы успокоить его, обещали назначить Рабурдена, если не последует какого-нибудь приказа свыше.

Бисиу. Так вы, господа, держи́те пари против меня: вас уже семеро? Ведь вы, конечно, к ним присоединитесь, господин Фельон? Я держу пари на обед в пятьсот франков в «Роше-де-Канкаль», что Рабурден не получит места ла Биллардиера. Вам это обойдется меньше, чем по сто франков на человека, а я рискую пятью сотнями. Иду один против всех. Согласны? Ну как, дю Брюэль?

Фельон *(кладет перо)*. На чем основываете вы, *сударь*, столь сомнительное предложение? Да, сомнительное! Впрочем, я напрасно употребляю термин «предложение», следовало бы сказать «договор», ибо заключение пари есть заключение договора.

Флери. Нет, это не так... Договором называется соглашение, предусмотренное законом, а пари не предусмотрено законом.

Дютоk. Оно запрещено законом — значит, предусмотрено!

Бисиу. Вот это ловко сказано, мой маленький Дюток!

Пуаре. Ну и рассуждения!

Флери. Он прав. Ведь если отказываешься платить долги, значит, тем самым признаешь их наличие.

Тюильe. Да вы прямо великие юристы!

Пуаре. Я бы хотел знать, так же как и господин Фельон, что, собственно, за основания у господина Бисиу...

Бисиу *(кричит на всю канцелярию)*. Ну что ж, будете держать пари, дю Брюэль?

Дю Брюэль *(показывается в дверях)*. Тысяча чер...нильниц, господа, мне предстоит нелегкое дело — воспеть хвалу покойному ла Биллардиеру. Бога ради, помолчите: будете и пари держать и *парировать* шутки потом.

Тюильe. *Пари* держать и *парировать!* Вы покушаетесь на мои каламбуры!

Бисиу *(идет в канцелярию дю Брюэля)*. Верно, дю Брюэль, прославлять — дело весьма трудное, мне было бы легче нарисовать на него карикатуру.

Дю Брюэль. Помоги-ка мне, Бисиу.

Бисиу. Ну что ж, давай! Только такие заметки легче писать за едой.

Дю Брюэль. Пообедаем вместе. *(Читает.)*

«Каждый день религия и монархия теряют кого-нибудь из тех, кто сражался за них во время революции...»

Бисиу. Плохо. Я бы написал так.

«Смерть особенно безжалостно опустошает ряды старейших защитников монархии и преданнейших слуг короля, у которого сердце обливается кровью от всех этих ударов. *(Дю Брюэль торопливо записывает.)* Барон Фламе де ла Биллардиер скончался сегодня утром от водянки легких, вызванной болезнью сердца».

Видишь ли, не мешает показать, что и у чиновников есть сердце. Не подпустить ли здесь банальную фразочку насчет того, что́ переживали роялисты во время террора? А? Было бы недурно! Впрочем, нет, мелкие газетки сейчас же закричат, что эти испытания отразились боль-

ше на кишечнике, чем на сердце. Умолчим. Ну, как у тебя там дальше?

Дю Брюэль (*читает*). «Родословное древо старинной судейской семьи, отпрыском которой был покойный...»

Бисиу. Вот это очень хорошо! И поэтично и насчет *древа* вполне соответствует истине.

Дю Брюэль (*продолжает*). «...и где преданность престолу передавалась из рода в род, вместе с приверженностью к вере отцов,— было еще украшено господином де ла Биллардиером».

Бисиу. Я написал бы «бароном».

Дю Брюэль. Да ведь он не был бароном в 1793 году!

Бисиу. Все равно! Ты знаешь, во времена Империи Фуше рассказывал анекдот про Конвент и так передавал слова Робеспьера: «Робеспьер мне и говорит: *Герцог Отрантский*, вы пойдете в ратушу». Значит, прецедент есть.

Дю Брюэль. Дай-ка я запишу!.. Но все же сразу говорить «барон» не годится, я перечисляю в конце все милости, которыми его осыпали.

Бисиу. А, понимаю! Театральный эффект! Так сказать, под занавес!

Дю Брюэль. Вот слушай!

«Сделав господина де ла Биллардиера бароном, ординарным камер-юнкером...»

Бисиу (*в сторону*). Вот уж верно: весьма *ординарным!*

Дю Брюэль (*продолжает*). «...и проч., и проч., король вознаградил его сразу за все услуги, за умение примирять суровость судьи с кротостью, присущей Бурбонам, и за храбрость, присущую истинному вандейцу, не преклонившему колено пред идолом Империи. Он оставил сына, унаследовавшего его преданность и таланты» и т. д.

Бисиу. А тон не чересчур ли приподнят? Ты не слишком ли все это расписываешь? Я немножко приглушил бы эту поэзию — «идол Империи», «преклонить колено»... Эх, черт! Водевили портят стиль, и разучиваешься писать низменной прозой. По-моему, лучше: «Он принадлежал к тем немногим, кто...» и т. д. Упрощай, ведь ты пишешь о простофиле.

Д ю Б р ю э л ь. Опять словцо из водевиля! Нет, Бисиу, ты мог бы нажить состояние своими пьесами.

Б и с и у. А что ты написал насчет Киберона? *(Читает.)* Нет, не то! Вот как бы я выразился:

«В недавно вышедшем исследовании он выставил себя виновником всех неудач киберонской операции, показав этим пример преданности, не отступающей ни перед какими жертвами». Это тонко, умно, и ты выгораживаешь ла Биллардиера.

Д ю Б р ю э л ь. За чей счет?

Б и с и у *(торжественно, точно священник, восходящий на амвон)*. За счет Гоша и Тальена... Разве ты не знаешь истории?

Д ю Б р ю э л ь. Нет. Я подписался на издание Бодуэна, но еще не успел заглянуть в него: там ведь не найдешь сюжета для водевиля.

Ф е л ь о н *(в дверях)*. Господин Бисиу, всем нам хотелось бы знать, почему вы думаете, что добродетельный и достойный господин Рабурден, который уже девять месяцев, как руководит отделением и служит правителем канцелярии дольше всех других, господин Рабурден, за которым министр, вернувшись от ла Биллардиера, сейчас же прислал служителя,— не будет назначен начальником отделения?

Б и с и у. Папаша Фельон, вы географию знаете?

Ф е л ь о н *(самодовольно)*. Надеюсь, судáрь.

Б и с и у. Историю?

Ф е л ь о н *(скромно)*. В известной мере.

Б и с и у *(смотрúт на него)*. Ваша бриллиантовая запонка не застегнута, она сейчас выпадет. Ну, так вы не знаете человеческого сердца, оно известно вам, как известны окрестности Парижа, не больше.

П у а р е *(на ухо Виме)*. Окрестности Парижа? А я думал, речь идет о Рабурдене.

Б и с и у. Что ж, вся канцелярия Рабурдена держит пари против меня?

В с е. Да.

Б и с и у. И ты, дю Брюэль?

Д ю Б р ю э л ь. Я думаю! Пусть наш начальник получит повышение! Это же в наших интересах; тогда каждому дадут подняться на одну ступеньку.

Тюильье. Или каждого спустят с лестницы. *(На ухо Фельону.)* Хорош, нечего сказать.

Бисиу. А пари я все-таки выиграю. И вот по какой причине,— вам трудно будет понять ее, но я все-таки скажу. Господина Рабурдена следует назначить на место ла Биллардиера. *(Смотрит на Дютока.)* Справедливость требует этого: его старшинство, честность и таланты неоспоримы и должны быть оценены по достоинству и вознаграждены. Наконец, его назначение важно даже в интересах самой административной власти.

(Фельон, Пуаре и Тюильье слушают, ничего не понимая, но пытаясь уловить темный смысл его слов).

Так вот! Именно потому, что все эти соображения правильны и все его заслуги бесспорны, я хотя и признаю мудрость и своевременность такого назначения, но держу пари, что оно не состоится. Да! Оно провалится, как провалились Булонская экспедиция и поход в Россию, хотя гений приложил тогда все усилия для успеха! Провалится, как все на земле, что хорошо и справедливо. Я делаю ставку на дьявола.

Дю Брюэль. А кто же тогда будет назначен?

Бисиу. Чем больше я смотрю на Бодуайе, тем больше мне кажется, что именно он — полная противоположность Рабурдену; следовательно, он и будет начальником отделения.

Дютока *(выведенный из терпения)*. Но ведь когда господин де Люпо меня вызвал, чтобы попросить у меня Шарле, он сам сказал мне, что господин Рабурден будет назначен, а молодой ла Биллардиер переходит в комиссию хранителя государственной печати.

Бисиу. Заладили! «Назначен! Назначен!» Назначение может быть подписано не раньше как через десять дней. Назначения будут производиться к новому году. Да вот, взгляните-ка на своего начальника, вон он, во дворе, и скажите сами, разве наша добродетельная Рабурдина похожа на человека, которого повысили? Напротив, можно подумать, что он уволен!*(Флери бросается к окну.)* До свиданья, господа! Пойду и объявлю Бодуайе о том, что вы уже назначили Рабурдена. Пусть этот святоша побесится. А потом расскажу про наше пари, чтобы его утешить. В театре это, кажется, называется пери-

петией,— не так ли, дю Брюэль? Что ж тут такого? Если я выиграю, он возьмет меня помощником. *(Уходит.)*

Пуаре. Все уверяют, что этот господин умен, а я лично никогда не мог понять его рассуждений. *(Продолжает регистрировать.)* Слушаю, слушаю — слова слышу, а смысла в них нет. Вот он что-то тут плел насчет человеческого сердца и окрестностей Парижа *(кладет перо и подходит к печке)*, потом заявил, что он играет на руку черту, потом говорил про Булонскую экспедицию и поход в Россию. Но ведь надо сначала допустить, что черт играет, и знать, в какую же игру? Допустим, он может играть в домино... *(Сморкается.)*

Флери *(прерывая его)*. Одиннадцать часов, папаша Пуаре сморкается.

Дю Брюэль. Верно! Уже! Бегу к секретарю.

Пуаре. Так на чем я остановился?

Тюильер. На том, что черт может играть в домино, то есть, так сказать, *доминировать*. Ну, отчего черту не доминировать? Ведь он не ограничил своей власти хартией. Хотя это скорее каламбур или что-то другое... Во всяком случае, игра слов. Впрочем, я не вижу разницы между каламбуром и...

(Входит Себастьен, чтобы взять циркуляры для сверки и подписи.)

Вим е. А, вот и вы, прекрасный юноша! Вашим страданьям пришел конец, теперь и вы будете получать жалованье! Господина Рабурдена ждет назначение. Вы были вчера у госпожи Рабурден? Вот счастливец! Говорят, там бывают восхитительные женщины.

Себастьен. Не знаю.

Флери. Вы разве слепой?

Себастьен. Я не люблю смотреть на то, что мне недоступно.

Фельон *(восхищенно)*. Хорошо сказано, молодой человек!

Вим е. Но вы же, черт вас побери, глаз не сводите с госпожи Рабурден. А она очаровательная женщина.

Флери. Вот уж не нахожу! Слишком худа! Я видел ее в Тюильри. Танцовщица Персилье, жертва Кастена, по мне, куда лучше.

Ф е л ь о н. Что может быть общего между актрисой и супругой правителя канцелярии?

Д ю т о к. Обе ломают комедию.

Ф л е р и *(косясь на Дютока)*. Внешность не имеет никакого отношения к нравственности, и если вы намекаете...

Д ю т о к. Ни на что я не намекаю.

Ф л е р и. А хотите знать, кто из всех чиновников будет назначен правителем канцелярии?

В с е. Скажите!

Ф л е р и. Кольвиль.

Т ю и л ь е. Почему?

Ф л е р и. Дело в том, что госпожа Кольвиль наконец избрала кратчайший путь к успеху... и этот путь ведет через ризницу...

Т ю и л ь е *(сухо.)* Я — близкий друг Кольвиля и прошу вас, господин Флери, не отзываться легкомысленно о его супруге.

Ф е л ь о н. Никогда не следует предметом своих пересудов делать женщин, ведь они беззащитны...

В и м е. А в данном случае — тем более: хорошенькая госпожа Кольвиль не пожелала принимать Флери, вот он и поносит ее, чтобы отомстить.

Ф л е р и. Не пожелала принимать меня так, как она принимает Тюилье, но я все-таки был у нее...

Т ю и л ь е. Когда? Где? Разве что под окнами?..

Хотя Флери обычно наводил страх на чиновников своей дерзостью, однако в ответ на последние слова Тюилье он промолчал. Это смирение удивило их, но оно объяснялось очень просто: у Тюилье был на руках его вексель на двести франков с весьма сомнительной подписью, который мог быть предъявлен для учета мадемуазель Тюилье. После этой стычки в канцелярии воцарилось глубокое молчание. С часу до трех все работали. Дю Брюэль так и не вернулся.

Около половины четвертого во всех канцеляриях министерства обычно начинаются сборы: чиновники чистят шляпы, переодеваются. Эти драгоценные полчаса, которые они тратят на личные дела, проходят незаметно; натопленные комнаты остывают, особый канцелярский

дух из них выветривается, и всюду наступает тишина. После четырех остаются только чиновники, поистине преданные своему делу. Министру нетрудно было бы узнать подлинных тружеников своего министерства, обойдя канцелярию ровно в четыре часа; однако такого рода шпионаж ни одна из столь высоких особ себе не позволит.

Проходя в этот час через дворы министерства, начальники, движимые потребностью обменяться мыслями по поводу событий этого дня, заговаривали друг с другом и затем, удаляясь по двое и по трое, высказывали единодушное мнение, что дело закончится в пользу Рабурдена. Лишь старые служаки вроде Клержо покачивали головой и изрекали: Habent sua sidera lites [1]. Сайяра и Бодуайе все вежливо избегали, не зная, что им сказать по поводу смерти ла Биллардиера, ибо понимали, что ведь и Бодуайе мог мечтать об этом месте, хоть и не заслуживал его.

Когда зять и тесть отошли подальше от министерства, Сайяр первый нарушил молчание и заметил:

— А твои дела идут неважно, мой бедный Бодуайе.

— Не понимаю, что задумала Елизавета! Она заставила Годара спешно раздобыть паспорт для Фалейкса. Годар говорил мне, что она, по совету дяди Митраля, наняла почтовую карету, и Фалейкс теперь катит к себе на родину.

— Верно, по нашим торговым делам? — отозвался Сайяр.

— Сейчас наше первейшее торговое дело — это обмозговать вопрос о месте де ла Биллардиера.

Они проходили по улице Сент-Оноре, неподалеку от Пале-Руаяля, когда им встретился Дюток. Он поклонился и заговорил с ними.

— Сударь,— сказал он Бодуайе,— если я могу при данных обстоятельствах чем-нибудь быть вам полезен, располагайте мной, ибо я предан вам не меньше, чем Годар.

— Подобное предложение во всяком случае утешительно,— заметил Бодуайе,— видишь, что честные люди тебя уважают.

— Если вы соблаговолите воспользоваться своим вли-

---

[1] Споры судьба решает (*лат.*).

янием и сделаете меня помощником правителя канцелярии, а Бисиу — правителем канцелярии, вы осчастливите двух людей, готовых на все ради вашего повышения.

— Да вы что — издеваетесь над нами, сударь? — спросил Сайяр, вылупив на него глаза.

— Право, и в мыслях не имею,— сказал Дюток.— Я, кстати сказать, возвращаюсь из типографии газеты, куда относил, по поручению господина секретаря министра, некролог ла Биллардиера. После статьи, которую я там прочел, я преисполнился глубоким уважением к вашим талантам. Когда настанет время прикончить этого Рабурдена, я могу нанести сокрушительный удар,— соблаговолите тогда вспомнить мои слова!

И Дюток исчез.

— Пропади я пропадом, если хоть слово понимаю во всем этом,— сказал кассир, глядя на Бодуайе, в крошечных глазках которого отразилось глубокое недоумение.— Нужно будет сегодня вечером купить газету.

Когда Сайяр и его зять вошли в гостиную, расположенную на первом этаже, там уже ярко пылал камин и сидели г-жа Сайяр, Елизавета, г-н Годрон и кюре от св. Павла. Кюре обратился к Бодуайе, которому жена сделала какой-то знак, впрочем, так им и не понятый.

— Сударь,— сказал кюре,— я поспешил к вам, чтобы поблагодарить вас за великолепный дар, которым вы украсили мою скромную церковь. Сам я не решался войти в долги, дабы приобрести столь прекрасную дароносицу, достойную украшать собор. Будучи одним из наших наиболее благочестивых и усердных прихожан, вы должны были сильнее, чем кто-либо, скорбеть о наготе нашего алтаря. Через несколько минут мне предстоит беседовать с нашим коадъютором, и он, конечно, поспешит выразить вам свое глубокое удовлетворение.

— Но я еще ничего не сделал...—начал было Бодуайе.

— Вам я могу открыть все, что он задумал, господин кюре,— прервала мужа Елизавета.— Господин Бодуайе хочет завершить доброе дело и поднести вам, кроме того, балдахин к празднику Тела господня. Но это подношение несколько зависит от состояния наших финансов, а финансы — от нашего повышения.

— Господь награждает тех, кто чтит его,— сказал Годрон, собираясь уходить вместе с кюре.

— Отчего вы не хотите оказать нам честь и отобедать с нами чем бог послал? — спросил их Сайяр.

— Оставайтесь, дорогой викарий,— обратился кюре к Годрону.— Я, как вы знаете, приглашен к господину кюре от святого Роха, к тому самому, который завтра хоронит господина де ла Биллардиера.

— А не может ли кюре от святого Роха замолвить за нас словечко? — осведомился Бодуайе, между тем как жена решительно дергала его за фалду сюртука.

— Да замолчи ты, наконец, Бодуайе,— остановила она мужа, увлекая его в угол, и там зашептала ему на ухо: — Ты пожертвовал в церковь новую дароносицу, она стоит пять тысяч франков... Я тебе потом все объясню.

Скряга Бодуайе сделал весьма кислую мину; в течение всего обеда он был задумчив.

— Почему ты так хлопотала о паспорте Фалейкса? И зачем ты вмешиваешься не в свое дело? — наконец спросил он жену.

— Я полагаю, что дела Фалейкса — это немножко и наши дела,— сухо ответила Елизавета, показывая глазами на Годрона и давая понять, что при нем надо помалкивать.

— Конечно,— отозвался папаша Сайяр, думая о своем компаньоне.

— Надеюсь, вы не опоздали в редакцию газеты? — спросила Елизавета г-на Годрона, передавая ему тарелку супа.

— О нет, сударыня,— отвечал викарий.— Как только издатель увидел записку секретаря Церковного управления по раздаче подаяний, он не стал чинить никаких препятствий. По его распоряжению заметку напечатали на самом видном месте, мне самому это и в голову бы не пришло; да, газетчик — пресмышленый молодой человек. Защитники веры успешно могут бороться с нечестивцами: среди сотрудников роялистских газет немало людей одаренных. Я имею все основания ожидать, что ваши надежды увенчаются успехом. Однако не забудьте, дорогой Бодуайе, оказать покровительство Кольвилю, его высокопреосвященство интересуется им, и мне рекомендовали поговорить с вами о нем.

— Когда я буду начальником отделения, я могу, если

угодно, сделать его правителем одной из канцелярий,— сказал Бодуайе.

После обеда загадка разъяснилась. В министерской газете, которую купил привратник, в отделе происшествий были напечатаны следующие две заметки:

«Сегодня утром после продолжительной и тяжкой болезни скончался барон де ла Биллардиер. В его лице король потерял преданного слугу, а церковь — одного из самых благочестивых сынов своих. Смерть господина де ла Биллардиера достойно увенчала его примерную жизнь, отданную им в былые тяжелые времена таким задачам, осуществление которых сопряжено было для него со смертельной опасностью, и до самого конца посвященную исполнению труднейших обязанностей. Господин де ла Биллардиер был в прошлом председателем превотального суда в одном из департаментов, и его твердая воля преодолевала все препятствия, еще приумноженные мятежами. Затем он занял пост начальника отделения и был весьма полезен как своим просвещенным умом, так и чисто французской любезностью, способствовавшей улаживанию весьма важных дел, подлежащих его ведению. Нет наград более заслуженных, чем те, коими король Людовик XVIII и его величество соблаговолили увенчать верность, оставшуюся непоколебимой и во времена узурпатора.

Старинный род де ла Биллардиеров возродился в молодом отпрыске, унаследовавшем таланты и верность престолу от своего отца, этого превосходного человека, об утрате которого скорбят сердца стольких друзей. Его величество уже изволил милостиво объявить, что считает Бенжамена де ла Биллардиера в числе своих камер-юнкеров.

Многочисленные друзья покойного на случай, если кому-либо из них не послано приглашение или если оно дойдет до них с опозданием, извещаются о том, что заупокойная служба состоится завтра, в четыре часа пополудни, в церкви св. Роха. Проповедь произнесет господин аббат Фонтанон».

«Господин Изидор Бодуайе, представитель одной из самых старинных семей парижской буржуазии, занимающий должность правителя канцелярии в отделении

покойного де ла Биллардиера, только что напомнил нам о древних благочестивых традициях, коим следовали искони эти прославленные семьи, ревнители веры и ее блеска и блюстители церковного благолепия. Храм св. Павла испытывал нужду в дароносице, которая соответствовала бы величию этой базилики, построенной братством Иисуса. Ни церковный совет, ни священник не были настолько богаты, чтобы достойно украсить алтарь новой дароносицей. Господин Бодуайе пожертвовал дароносицу, которой, вероятно, многие любовались, когда она была выставлена в ювелирной лавке господина Гойе, поставщика двора его величества. И вот, благодаря щедротам господина Бодуайе, благочестие которого не отступило даже перед исключительно высокой ценой дароносицы, церковь св. Павла ныне владеет шедевром ювелирного искусства, выполненным по рисункам господина де Сомервье. Мы рады опубликовать этот факт, доказывающий, насколько вздорны все измышления либералов относительно духа, господствующего среди парижской буржуазии. Высшая буржуазия всегда была и останется роялистской, и в случае необходимости она не замедлит это доказать».

— Дароносица стоит пять тысяч франков,— сказал аббат Годрон,— но так как уплачено было наличными, ювелир кое-что скинул.

— «Представитель одной из самых старинных семей парижской буржуазии»...— повторял Сайяр.— Напечатано черным по белому, да еще в «Журналь оффисьель»!

— Дорогой господин Годрон, подскажите же моему отцу, какую фразу шепнуть графине, когда он повезет ей жалованье, в этой фразе должно быть все, что нужно! А сейчас я вас покину. Мне необходимо выйти с дядей Митралем. Вы не поверите, я никак не могу застать деда Бидо! А в какой конуре он живет! Наконец господин Митраль, знающий его повадки, сказал, что дедушка Бидо от восьми утра до полудня занят делами, а потом его можно застать только в кофейне «Фемида»,— вот странное название...

— Какие же приговоры выносит сия Фемида? — спросил, смеясь, аббат Годрон.

— Чего ради он посещает кофейню, которая нахо-

дится на углу улицы Дофина и набережной Августинцев? Говорят, он каждый вечер играет в домино со своим дружком, господином Гобсеком. Я не хочу ехать одна, дядя проводит меня туда и обратно.

В эту минуту в дверях показалось желтое лицо дяди Митраля и его безобразный, словно из пакли, парик; он сделал знак племяннице, чтобы она шла скорее,— фиакр был нанят по два франка за час. И г-жа Бодуайе удалилась, так ничего и не объяснив ни отцу, ни мужу.

— Небо послало вам в лице этой женщины настоящее сокровище,— сказал г-н Годрон г-ну Бодуайе, когда Елизавета уехала,— образец осторожности, добродетели и благоразумия, христианку, одаренную от господа способностью все понимать! Только религия создает столь совершенные характеры. Завтра я отслужу обедню за успех благого дела! В интересах монархии и религии необходимо, чтобы вы были назначены! Господин Рабурден — либерал, он выписывает «Журналь де Деба», это газета пагубного направления, она воюет с графом де Виллелем, вступилась за ущемленные интересы Шатобриана. Его высокопреосвященство нынче вечером непременно прочтет газету, хотя бы только из-за некролога своего бедного друга господина де ла Биллардиера, а коадъютор поговорит с ним о вас и о Рабурдене. Я знаю господина кюре: того, кто не забывает о его дорогой церкви, и он не забудет в своем пастырском слове; в данное время он имеет честь обедать с коадъютором у господина кюре от святого Роха.

После слов Годрона Сайяр и Бодуайе начали догадываться о том, что Елизавета, узнав от Годрона о смерти ла Биллардиера, тут же взялась за дело.

— Ну и хитра твоя Елизавета! — воскликнул Сайяр; он понимал лучше, чем аббат, как ловко его дочь прорыла, точно крот, подземные ходы к быстрому успеху.

— Она подослала Годара к швейцару узнать, какую газету получает господин Рабурден,— сказал Годрон,— а я тут же уведомил секретаря его высокопреосвященства; ибо мы живем в такое время, когда церкви и престолу надлежит знать, кто друг, а кто враг.

— Вот уже пять дней, как я мучаюсь над фразой, которую должен шепнуть жене его превосходительства,— заметил Сайяр.

— Весь Париж читает это! — воскликнул Бодуайе, который не мог оторвать глаз от газеты.

— Все эти восхваленья обошлись нам, сынок, в четыре тысячи восемьсот франков,— заметила г-жа Сайяр.

— Зато вы украсили дом божий,— отозвался аббат Годрон.

— Ну, мы могли бы спасти свою душу и без такого расхода,— продолжала она.— Впрочем, если Бодуайе дадут эту должность, он будет получать на восемь тысяч франков больше, и тогда жертва будет не так уж велика. Но вдруг его не назначат? А, мамочка? — вопросила она, обратив взгляд на своего супруга.— Какой убыток!

— Ну что ж,— бодро заявил Сайяр,— тогда мы вернем деньги на Фалейксе,— он собирается расширить дело и привлечь к нему брата, он нарочно сделал из него биржевого маклера. А Елизавете следовало бы нам открыть секрет — куда это укатил Фалейкс!.. Но давайте все-таки подумаем над фразой, о которой я говорил. Вот что я уже придумал: «Сударыня, если бы вы пожелали замолвить словечко его превосходительству...»

— «Пожелали»?—повторил Годрон.— Лучше — «соблаговолили», так будет почтительнее. Однако нужно прежде всего узнать, согласится ли супруга дофина оказать вам покровительство, а тогда вы могли бы внушить графине, что ей не мешало бы пойти навстречу желаниям ее королевского высочества.

— Следует также указать, какая именно должность освобождается...

— «Ваше сиятельство...»—продолжал Сайяр, вставая и глядя на жену с умильной улыбкой.

— Господи Иисусе, Сайяр! Ну и потеха! Смотри, сынок, как бы эта особа не рассмеялась, глядя на тебя...

— «Ваше сиятельство...» Так лучше? — осведомился он, глядя на жену.

— Да, цыпленок.

— «Теперь, когда место покойного и глубокопочитаемого господина де ла Биллардиера освободилось, мой зять, господин Бодуайе...»

— «Человек, обладающий недюжинными талантами и высоким благочестием...»— подсказал Годрон.

— Запиши, Бодуайе! — воскликнул папаша Сайяр.— Запиши всю фразу.

Бодуайе, в простоте душевной, взял перо и, не краснея, записал все эти похвалы по адресу его собственной особы, совершенно так же, как написал бы о себе Натан или Каналис, рецензируя одну из своих книг.

— «Ваше сиятельство»... Видишь ли, мать, я обращаюсь к тебе, как будто ты — жена министра,— сказал Сайяр жене.

— Да ты что, меня за дуру принимаешь? Неужто я не догадалась!

— «Место покойного и глубокопочитаемого господина де ла Биллардиера освободилось; мой зять, господин Бодуайе, человек, обладающий недюжинными талантами и высоким благочестием...— Он взглянул на Годрона, погруженного в размышления, и добавил: — ...был бы весьма счастлив получить его». А ведь недурно! Кратко, и все сказано.

— Да подожди, Сайяр, разве ты не видишь, что господин аббат думает,— остановила его жена,— не мешай ему.

— «Был бы весьма счастлив, если бы вы соблаговолили заинтересоваться им,— продолжал Годрон,— и замолвили за него словечко его превосходительству, чем доставили бы особенное удовольствие супруге дофина, покровительством которой он имеет счастье пользоваться!»

— Ах, господин Годрон, эта фраза стоит дароносицы, и мне уж не так жалко четырех тысяч восьмисот франков... и потом — ведь ты вернешь их нам, Бодуайе? Верно, мой мальчик? Записал свою фразу? Я тебя заставлю, мамочка, вытвердить эту фразу наизусть, ты будешь мне повторять ее утром и вечером. Да, ловко состряпали. Какое счастье быть таким ученым, как вы, господин Годрон! Вот что значит учение во всех этих семинариях; с господом богом и его святыми и то научишься разговаривать!

— Он и добр и учен,— сказал Бодуайе, пожимая руки священнику.— Это вы составили заметку? — спросил он, указывая на газету.

— Нет,— отвечал Годрон,— ее написал секретарь его высокопреосвященства, некий молодой аббат, который

очень многим мне обязан и заинтересован в судьбе господина Кольвиля; я когда-то платил за него в семинарию.

— Благодеяние всегда бывает вознаграждено,— изрек Бодуайе.

Пока эта четверка усаживалась за карточный стол, чтобы предаться бостону, Елизавета и ее дядя Митраль подъезжали к кафе «Фемида»; они проговорили всю дорогу о том плане, который, как подсказывало Елизавете ее чутье, должен был послужить самым мощным рычагом и принудить министра к назначению ее мужа. Дядя Митраль, бывший судебный исполнитель, весьма опытный по части всякого крючкотворства, юридических махинаций и уловок, считал, что торжество племянника — вопрос чести для всей семьи. Жадность давно подстрекнула его разузнать, каково содержимое денежного сундука Бидо, и он знал, что наследником будет его племянник Бодуайе; поэтому ему хотелось, чтобы тот занял положение, соответствующее состоянию Сайяров и Бидо, которое целиком должно было перейти к маленькой Бодуайе. А на что не может претендовать девушка, которой предстоит иметь ренту, превышающую сто тысяч франков! Он проникся замыслами племянницы и понимал, куда она гнет. Поэтому он ускорил отъезд Фалейкса, объяснив ему, как медленно путешествуют в почтовой карете. Потом, за обедом, он обдумал, где именно следовало нажать пружину, изобретенную Елизаветой. Когда они подъехали к «Фемиде», Митраль заявил племяннице, что только он может обделать дело с Бидо-Жигонне, и заставил ее остаться в фиакре: пусть вмешается в нужный момент. Через окно она увидела Гобсека и своего деда Бидо-Жигонне: головы их выделялись на ярко-желтом фоне деревянной обшивки, покрывавшей стены этой старинной кофейни, холодные и бесстрастные, как бы застывшие в тех поворотах, которые им придал резчик. Вокруг этих двух парижских скряг виднелось еще несколько старых лиц, сплошь исчерченных от носа до припухших омертвелых скул вязью морщин, словно то были записи по тридцатипроцентному учету векселей. При виде Митраля эти лица оживились, в глазах вспыхнуло любопытство хищников.

— Эге! Да это папаша Митраль! — воскликнул Ша-

буассо. Старичишка занимался учетом векселей в книжных лавках.

— А ведь верно,— отвечал Метивье, торговец бумагой.— Это старая обезьяна — он знаток по части гримас.

— А вы — старый ворон и знаток по части трупов,— отозвался Митраль.

— Справедливо,— изрек суровый Гобсек.

— Зачем вы явились сюда, сын мой? Уж не хотите ли вы арестовать нашего друга Метизье? — спросил Жигонне, указывая на торговца бумагой, похожего на старого привратника.

— Папаша,— шепнул Митраль Жигонне,— со мной ваша внучатая племянница Елизавета.

— А что — или беда какая приключилась? — спросил Жигонне.

Старик нахмурился, и на его лице появилось подобие нежности, напоминающей нежность палача, приступающего к казни; невзирая на свою чисто римскую стойкость, Жигонне, видимо, встревожился, ибо его багровый нос слегка побледнел.

— А если бы и беда — неужели вы бы не помогли дочери Сайяра, которая вам уже тридцать лет вяжет чулки? — воскликнул Митраль.

— При соответствующих гарантиях, может быть, и помог бы,— отвечал Жигонне.— Наверно, тут не без Фалейкса. Ваш Фалейкс устроил брата биржевым маклером, он делает дела не хуже, чем Брезаки, а спрашивается — на какие средства? Одной смекалкой, не так ли? Впрочем, Сайяр и сам не дитя.

— Он знает цену деньгам,— подтвердил Шабуассо.

Эти слова, произнесенные устами одного из сидевших вокруг стола страшных стариков, заставили бы писателя содрогнуться; остальные дружно закивали.

— Впрочем, бедствия моих родственников меня не касаются,— продолжал Жигонне.— Мое правило — никогда не раскисать ни с друзьями, ни с родными; где тонко, там и рвется. Обратитесь к Гобсеку, он добрый.

Дисконтеры закивали металлическими головами в знак полного согласия с подобной теорией, и, казалось, послышался скрип несмазанных механизмов.

— Да ну, Жигонне, будьте помягче, вам же тридцать лет чулки вязали,— заметил Шабуассо.

— Это тоже чего-нибудь да стоит,— сказал Гобсек.

— Тут все свои, и можно говорить откровенно,— снова начал Митраль, окинув стариков внимательным взглядом.— Меня привело сюда хорошее дельце...

— Зачем же вы к нам пришли, коли оно хорошее? — язвительно перебил его Жигонне.

— Умер некий камер-юнкер, старый шуан... как его... да, ла Биллардиер.

— Верно,— подтвердил Гобсек.

— А ваш племянник жертвует дароносицы в церковь! — сказал Жигонне.

— Не так он глуп, чтобы жертвовать, он продает их, папаша,— с гордостью продолжал Митраль.— Речь идет о том, чтобы получить место господина де ла Биллардиера, а для этого необходимо сцапать...

— Сцапать? Сразу видно судебного пристава,— прервал Митраля Метивье, дружески хлопнув его по плечу.— Вот это по мне!

— Сцапать этого молодца Шардена де Люпо, забрать его в наши лапки,— пояснил Митраль.— И вот Елизавета придумала способ... и он...

— Елизавета! — воскликнул Жигонне, снова прервав его.— Славная девчурка, вся в деда, моего бедного брата! Бидо не имел себе равных! О, если бы вы видели его на распродажах старинной мебели! Какой такт! Какая проницательность! Так что же она намерена сделать?

— Ну и ну,— сказал Митраль,— вы быстро расчувствовались, папаша Бидо. Это недаром...

— Дитя! — сказал Гобсек, обращаясь к Жигонне.— Всегда спешит!

— Послушайте, учители мои Гобсек и Жигонне,— продолжал Митраль,— ведь вам нужно забрать в свои руки де Люпо, вспомните, как знатно вы ощипали его, а теперь вы боитесь, чтобы он не потребовал у вас обратно немножко своего пуха.

— Можно ему рассказать, в чем дело? — спросил Гобсек у Жигонне.

— Митраль — наш, он не захочет сделать гадость своим прежним соратникам,— отвечал Жигонне.— Так вот, Митраль, мы втроем только что скупили долговые обязательства, признание которых зависит от ликвидационной комиссии.

— Чем вы можете пожертвовать?— спросил Митраль.

— Ничем,— отозвался Гобсек.

— Никто не знает, что это мы купили,— пояснил Жигонне.— Нам служит ширмой Саманон.

— Послушайте, Жигонне,— сказал Митраль.— На улице холод, а ваша внучатая племянница ждет... Так вот, вы меня поймете с двух слов: вы оба должны послать двести пятьдесят тысяч франков, в виде беспроцентного займа, Фалейксу, который сейчас мчится на почтовых за тридцать лье от Парижа, а вперед выслал курьера.

— Вот как? — сказал Гобсек.

— Куда же он едет? — воскликнул Жигонне.

— Да в великолепное поместье де Люпо,— продолжал Митраль.— Молодой человек отлично знает те места и на упомянутые двести пятьдесят тысяч франков скупит вокруг лачуги секретаря министра превосходные земельные участки — они всегда будут стоить этих денег. В его распоряжении девять дней, чтобы зарегистрировать нотариальные купчие (имейте это в виду). Если добавить эту землицу к владениям де Люпо, налог на них дойдет до тысячи франков. Следовательно, секретарь получит право быть членом Главной избирательной коллегии, а также самому быть избранным в палату, сделаться графом — словом, всем, чем ему угодно. Вы знаете фамилию депутата, который провалился и был отозван?

Оба скряги только молча кивнули.

— Де Люпо готов хоть на животе ползти, только бы ему пролезть в депутаты,— продолжал Митраль.— Для этого он хочет запастись купчими крепостями, а мы их предложим ему, но, конечно, обеспечив нашу ссуду закладной с замещением права продажи. (Ага, вы уже смекнули, куда я гну...) Нам прежде всего нужно получить место для Бодуайе, а потом мы отдадим вам этого де Люпо обеими руками. Фалейкс останется там и займется предвыборными делами; значит, через Фалейкса вы будете держать де Люпо на прицеле все время выборов,— ведь в этом округе друзья Фалейкса составляют большинство. Ну как, папаша Бидо, Фалейкс тут при чем или ни при чем?

— Но тут не обошлось и без Митраля,— заметил Метивье.— Ловкая игра!

— Значит, решено,— сказал Жигонне.— Верно, Гобсек? Фалейкс подпишет нам векселя под обеспечение, а закладную составит на свое имя, и мы, когда нужно будет, явимся к де Люпо.

— А нас, выходит, обкрадут! — сказал Гобсек.

— Ох, папаша, хотел бы я видеть того вора, который вас обкрадет.

— В данном случае только мы сами можем обокрасть себя,— отвечал Жигонне.— Мы решили, что правильно сделаем, скупив у всех кредиторов де Люпо векселя со скидкой в шестьдесят процентов.

— Вы обеспечите их закладной и этими векселями будете еще крепче держать его при помощи процентов,— отвечал Митраль.

— Может быть,—сказал Гобсек.

Перемигнувшись с Гобсеком, г-н Бидо, по прозванию Дрыгун, вышел на улицу.

— Елизавета, действуй,— сказал он внучатой племяннице.— Молодчик у нас в руках, но все же смотри в оба! Дело начато хорошо, хитро! Доведи его до конца — и ты заслужишь уважение своего деда...— И он весело хлопнул ее по руке.

— Кстати,— заметил Митраль,— Метивье и Шабуассо могут подсобить нам, если отправятся нынче же вечером в редакцию какой-нибудь оппозиционной газетки, чтобы там, как мяч на лету, подхватили статью министерской газеты. Поезжай одна, душечка, я не хочу упускать этих двух коршунов.— И он вернулся в кофейню.

— Завтра деньги пойдут по назначению, главноуправляющий налоговыми сборами окажет нам эту услугу; а у *наших друзей* найдутся долговые обязательства де Люпо на сто тысяч экю,— сказал Жигонне Митралю, когда судебный пристав подошел к ростовщику.

На другой день многочисленные подписчики одной из либеральных газет прочли на первой полосе заметку, помещенную по требованию Шабуассо и Метивье, ибо они были акционерами двух либеральных газет, дисконтерами по бумажной и книжной торговле, а также по типографским предприятиям, и ни один редактор ни в чем не смел отказать им. Вот эта заметка:

«Вчера некая газета, близкая к министерским кругам, отмечала, что преемником барона де ла Биллардиера будет, по всей вероятности, господин Бодуайе, один из наиболее достойных граждан, стяжавший славу в своем многолюдном квартале как благотворительностью, так и благочестием, которое газета клерикалов особенно подчеркивает, хотя могла бы упомянуть и о талантах господина Бодуайе! Но подумала ли редакция о том, что, восхваляя древность того буржуазного рода, к которому принадлежит господин Бодуайе,— а такие роды ничуть не уступают дворянским,— она тем самым указала и на обстоятельство, которое может повлечь за собою провал ее кандидата? О, извращенное коварство! Так прелестница ласкает того, кого хочет убить. Отдать господину Бодуайе место барона де ла Биллардиера — значило бы воздать должное добродетелям и талантам средних классов, интересы которых мы неизменно будем защищать, хотя нам нередко и приходится терпеть поражение. Назначить господина Бодуайе было бы справедливо и с моральной и с политической точки зрения, но министерство на такой акт не решится. Газета клерикалов оказалась в данном случае умнее своих патронов, и ее будут бранить».

На другой день, в пятницу, де Люпо должен был обедать у г-жи Рабурден, с которой простился накануне в полночь, на лестнице Итальянского театра, когда она, сияя красотой, спускалась под руку с г-жой де Кан (г-жа Фирмиани только что вышла замуж); утром, едва старый распутник проснулся, он почувствовал, что жажда мести несколько в нем утихла, вернее — мысли о ней приняли другое направление: он только и видел последний взгляд, который послала ему г-жа Рабурден.

«Рабурдена я куплю тем, что сначала прощу ему,— размышлял де Люпо,— а потом возьму свое! Если же он сейчас не получит этого места, то мне придется отказаться от женщины, которая могла бы стать одним из драгоценнейших орудий для большой политической карьеры,— она все понимает, она не отступит ни перед какой трудностью; и, кроме того, я потеряю тогда возможность узнать раньше, чем министр, какой план преобразований придумал Рабурден! Итак, дорогой де Люпо, нужно все преодолеть ради вашей Селестины. И вы,

графиня, напрасно делаете гримасу: вам все-таки придется пригласить г-жу Рабурден на первый же ваш интимный вечер...»

Де Люпо принадлежал к числу тех людей, которые ради удовлетворения какой-либо страсти умеют запрятать мстительные чувства в самый дальний угол своего сердца. Выбор был сделан, и де Люпо решил добиться назначения Рабурдена.

«Я докажу вам, дорогой начальник отделения, что заслуживаю одного из лучших мест на вашей дипломатической каторге»,— мысленно обратился он к Рабурдену, усаживаясь за свой письменный стол и распечатывая пачку газет.

Еще накануне, к пяти часам вечера, все, что должно было появиться в клерикальной газете, было ему слишком хорошо известно, чтобы взяться за нее с интересом, однако он развернул ее, так как захотел пробежать некролог де ла Биллардиера, вспомнив, в какое затруднительное положение поставил его дю Брюэль, принеся ироническую заметку Бисиу. Де Люпо не мог удержаться от смеха, перечитывая вновь биографию покойного барона де Фонтэна, скончавшегося за несколько месяцев до того, которую он просто перепечатал, лишь заменив в ней имя де Фонтэна именем ла Биллардиера; но вдруг его взгляд натолкнулся на фамилию Бодуайе, и де Люпо пришел в ярость, читая елейную статью, с которой министерство будет вынуждено считаться. Он нетерпеливо позвонил и вызвал к себе Дютока, решив послать его в редакцию газеты. Каково же было его изумление, когда он увидел ответ оппозиции! Ибо случайно ему сразу же попала в руки газета либералов. Дело становилось серьезным. Он хорошо знал этих людей, и тот, кто смешал его карты, показался ему шулером первой руки. Надо быть мастером своего дела, чтобы воспользоваться так искусно двумя газетами противоположного направления и сразу же, в один и тот же день, начать битву, предугадав намерение министра. Он узнал перо знакомого редактора-либерала и решил расспросить его вечером в Опере. Вошел Дюток.

— Прочтите,— сказал де Люпо, протягивая ему обе газеты, а сам продолжая просматривать остальные, чтобы проверить, не нажал ли Бодуайе еще какие-нибудь

пружины.— Пойдите узнайте, кто осмелился так компрометировать министерство!

— Уж во всяком случае не сам господин Бодуайе,— отвечал Дюток.— Он вчера не выходил из своей канцелярии. И незачем мне ездить в редакцию. Когда я относил вчера вашу статью, я видел там аббата, он явился с письмом от Церковного управления по раздаче подаяний, а перед такой силой вы и сами бы склонились.

— Вы, Дюток, злы на господина Рабурдена, и это нехорошо, он ведь два раза спасал вас от увольнения. Правда, мы не властны над своими чувствами, и можно ненавидеть даже своего благодетеля. Но знайте одно: если вы позволите себе по отношению к Рабурдену хотя бы малейшую измену до того, как я вам подам знак,— можете считать меня вашим врагом. Что же касается газеты моего друга, то пусть Церковное управление даст ей столько подписчиков, сколько давали мы, если оно хочет в ней хозяйничать. Сейчас конец года, вопрос о подписке будет скоро обсуждаться, тогда сговоримся. А относительно места ла Биллардиера: есть только одно средство покончить со всеми разговорами — это решить вопрос о назначении сегодня же.

— Господа,— обратился к своим сослуживцам Дюток, возвратясь в канцелярию.— Я не знаю, имеет ли Бисиу дар провидеть будущее. Но если вы не читали газеты клерикалов, то советую вам ознакомиться со статьей о Бодуайе, а так как у господина Флери есть газета оппозиции, вы можете там прочесть и ответ. Разумеется, господин Рабурден очень умен, но человек, который в наше время жертвует в церковь дароносицы по шесть тысяч франков, тоже чертовски умен.

Б и с и у *(входя)*. Что вы скажете насчет «Первого послания к коринфянам» в нашей церковной газете и «Послания к министрам» в органе либералов? Ну, дю Брюэль, как себя чувствует господин Рабурден?

Д ю Б р ю э л ь *(появляется в дверях)*. Не осведомлен. *(Уводит Бисиу в свой кабинет и говорит ему вполголоса.)* Знаете, милейший, вашей манерой оказывать людям содействие вы сильно напоминаете палача, когда он вскакивает на плечи своей жертвы, чтобы скорее ее прикончить. По вашей милости я получил от де Люпо ужасный нагоняй, и поделом мне, дураку! Нечего сказать,

хорошую статью состряпали о ла Биллардиере! Уж этого я вам никогда не забуду! Первой фразой королю как будто заявляют: «Пора умирать». А из фразы о Кибероне следует, что король — это... Словом, все сплошная насмешка.

Бисиу (*смеется*). Как? Вы сердитесь? Нельзя и пошутить!

Дю Брюэль. Шутить! шутить! Вот когда вы, милейший, захотите стать помощником правителя канцелярии, вам тоже ответят шутками.

Бисиу (*угрожающе*). Вы, кажется, действительно рассердились?

Дю Брюэль. Да.

Бисиу (*сухо*). Что ж? Тем хуже для вас.

Дю Брюэль (*он задумался и встревожен*). А вы бы сами разве простили?

Бисиу (*вкрадчиво*). Другу? Я думаю! (*Слышен голос Флери.*) Вон Флери проклинает Бодуайе. А, каково сыграно? Бодуайе получит место. (*Доверительно.*) В конце концов тем лучше! Вы только хорошенько взвесьте все последствия. Рабурден не унизится до того, чтобы служить под началом у Бодуайе, он подаст в отставку, и, таким образом, освободятся два места. Вы сделаетесь правителем канцелярии, а меня возьмете помощником. Мы будем вместе сочинять водевили, и я буду корпеть вместо вас в канцелярии.

Дю Брюэль (*улыбаясь*). Действительно! Об этом я не подумал! Бедный Рабурден! Все-таки мне было бы его жалко.

Бисиу. Вот как вы его любите! (*Другим тоном.*) Если хотите знать,— мне его ничуть не жалко. Ведь он же богат; его жена устраивает вечера, но меня не зовет, а я бываю везде! Ну, добрейший дю Брюэль, прощайте и не сердитесь! (*Выходит из кабинета.*) Прощайте, господа. Разве я не говорил вам еще вчера, что если у человека есть только добродетели да таланты, он все-таки очень беден, даже при хорошенькой жене.

Флери. Сами-то вы богаты!

Бисиу. Не так уж беден, дорогой Цинциннат! Но обедом в «Роше-де-Канкаль» вы меня угостите!

Пуаре. Когда господин Бисиу говорит, я решительно ничего не могу понять.

Ф е л ь о н (*элегическим тоном*). Господин Рабурден так редко читает газеты, что, может быть, нам следовало бы ненадолго расстаться с ними и отнести их ему? (*Флери протягивает ему свою газету, Виме — газету, получаемую канцелярией; Фельон берет их и выходит*).

В эту минуту де Люпо, отправляясь завтракать с министром, спрашивал себя, не предусмотрительнее ли, прежде чем пускать в ход свою утонченную и беспринципную изворотливость для защиты мужа, позондировать сердце жены и узнать, будет ли он сам вознагражден за свою преданность. Секретарь старался разобраться в слабых голосах тех чувств, которые все же прозябали в его сердце, когда повстречался на лестнице со своим поверенным, и тот, улыбаясь, сказал ему с фамильярностью, присущей людям, знающим, что ты в них нуждаешься:

— Только два слова, *ваше превосходительство!*

— А что такое, милый Дерош?—спросил политик.— Что со мной стряслось? Они бесятся, эти господа, и не умеют поступать, как я, то есть ждать.

— Я спешил предупредить вас, что все ваши векселя в руках у Гобсека и Жигонне, который действует от имени некоего Саманона.

— Это люди, которым я дал возможность нажить огромные деньги!

— Слушайте,— зашептал ему на ухо поверенный,— настоящее имя Жигонне — Бидо, он дядя Сайяра, вашего кассира, а Сайяр — тесть некоего Бодуайе, который считает, что имеет права на освободившееся место в вашем министерстве. Разве не мой долг предупредить вас?

— Благодарствуйте! — И де Люпо с хитрым видом отвесил поклон Дерошу.

— Достаточно одного росчерка пера, и все ваши долги ликвидированы,— сказал Дерош уходя.

«Вот это действительно огромная жертва,— подумал де Люпо,— но сказать о ней женщине невозможно,— продолжал он свои размышления.— Стоит ли Селестина ликвидации всех моих долгов? Поеду к ней утром».

Таким образом, прекрасной г-же Рабурден предстояло через несколько часов быть вершительницей судеб своего мужа, причем никакая сила не могла подсказать ей заранее все значение ее ответов, хоть бы чем-нибудь

предупредить ее о всей важности того, как именно она будет держаться и каким тоном говорить. А она, к несчастью, была уверена в победе: она не знала, что под Рабурдена со всех сторон ведутся подкопы.

— Ну, что, ваше превосходительство,— начал де Люпо, входя в маленькую гостиную, где обычно завтракал министр,— читали вы все эти статьи о Бодуайе?

— Ради бога, дорогой мой,— отвечал министр,— не будем сейчас говорить о назначениях. Мне и так вчера все уши прожужжали этой дароносицей. Чтобы спасти Рабурдена, придется протаскивать его через Совет, иначе мне навяжут еще кого-нибудь. Прямо хоть бросай дела. Для сохранения Рабурдена придется повысить еще какого-то Кольвиля.

— Угодно вам предоставить постановку этого водевиля мне и не терять на него ваше время?—предложил де Люпо.— Я буду каждое утро увеселять вас рассказами о той партии в шахматы, которую я буду играть против Церковного управления.

— Ну что ж,— отвечал министр,— беритесь за это дело вместе с начальником личного стола. Известно ли вам, что самыми убедительными для короля могут оказаться именно доводы, приводимые газетой оппозиции? А потом и управляй министерством с такими тупицами, как Бодуайе.

— Дурак и ханжа,— заметил де Люпо,— он бездарен, как...

— Как ла Биллардиер,— докончил министр.

— У Биллардиера были хоть манеры камер-юнкера,— заметил де Люпо.— Сударыня,— обратился он к графине,— теперь вам следовало бы пригласить госпожу Рабурден на первый же ваш интимный вечер... Позволю себе заметить, что она дружна с госпожой де Кан; они вчера вместе были у Итальянцев, и я познакомился с ней у Фирмиани; впрочем, вы сами увидите, может ли она скомпрометировать своим присутствием чей-нибудь салон.

— В самом деле, пригласите-ка, дорогая, госпожу Рабурден, и кончим с этим,— сказал министр.

«Итак, Селестина попалась ко мне в лапы»,— сказал себе де Люпо, возвращаясь домой, чтобы переодеться.

Парижские семьи обуреваемы желанием идти в ногу

с роскошью, которую они видят вокруг себя, и лишь немногие настолько благоразумны, чтобы согласовать свою жизнь со своим бюджетом. Быть может, этот порок проистекает из чисто французского патриотизма, цель которого — сохранить за Францией первенство в области одежды. Ведь благодаря умению одеваться Франция царит над всей Европой, и каждый чувствует, что необходимо оберегать то коммерческое превосходство, вследствие которого мода играет для Франции такую же роль, какую играет для Англии флот.

Это патриотическое безумие, готовое все принести в жертву «обличью», как говорил д'Обинье во времена Генриха IV, является причиной безмерных и тайных трудов, отнимающих у парижских женщин все утро, если они хотят во что бы то ни стало, как этого хотела г-жа Рабурден, вести при двенадцати тысячах франков такой же образ жизни, какой богатые люди не могут позволить себе при тридцати. Итак, по пятницам, в дни званых обедов, г-жа Рабурден помогала горничной убирать комнаты, ибо кухарка отправлялась с раннего утра на рынок, а лакей чистил серебро, складывал салфетки и перетирал хрусталь. Поэтому, если бы недогадливый гость вздумал явиться в одиннадцать или двенадцать часов дня, он застал бы Селестину среди отнюдь не живописного беспорядка, в капоте, в стоптанных туфлях, с неубранной головой; он увидел бы, как она сама заправляет лампы, сама расставляет жардиньерки или наспех стряпает себе весьма прозаический завтрак. И гость, не знающий секретов парижской жизни, убедился бы, что не следует заглядывать за театральные кулисы: женщина, застигнутая им во время ее утренних таинств, объявила бы его способным на всякие низости, ославила бы его за глупость и нетактичность и погубила бы его репутацию. Парижанка, столь снисходительная к любопытству, которое для нее выгодно, беспощадна в тех случаях, когда оно угрожает ее престижу. Подобное вторжение в ее дом не является, как выразилась бы исправительная полиция, покушением на стыдливость, но кражей со взломом, кражей самого драгоценного — общественного уважения! Женщина ничуть не обижается, когда ее застают неодетой, с распущенными волосами— конечно, если волосы у нее не накладные,— она от этого толь-

ко выиграет; но она не хочет, чтобы видели, как она сама убирает комнаты, ибо при этом страдает ее «обличье».

Когда нежданно-негаданно явился де Люпо, г-жа Рабурден была в пылу хозяйственных приготовлений, и перед ней лежала провизия, только что выловленная кухаркой из бездонного океана рынка. И уж, конечно, Селестина меньше всего ожидала увидеть перед собой секретаря министра; услышав мужские шаги на площадке лестницы, она воскликнула: «Неужели парикмахер!» — восклицание, столь же мало обрадовавшее де Люпо, как его приход — г-жу Рабурден Она тотчас убежала в свою спальню, где царил ужасающий хаос, ибо туда была составлена мебель, которую не хотели показывать, вещи, лишенные изящества; словом, там был настоящий домашний содом. Растерявшаяся красавица показалась де Люпо настолько пикантной в своем дезабилье, что он дерзко последовал за ней. Его манило что-то особенно соблазнительное; тело, мелькнувшее в разрезе ночной кофточки, кажется в тысячу раз привлекательнее, чем когда оно обрамлено овальным вырезом бархатного платья на спине и выглядывает из корсажа двумя белыми округлостями, переходящими в самую прелестную лебединую шею, которую когда-либо целовал любовник перед балом. Когда окидываешь взглядом разряженную женщину, показывающую свой великолепный бюст, то кажется, что это как бы обдуманный десерт некоего сытного обеда; но взгляд, проскользнувший между складками ткани, смятой во время сна, схватывает самые лакомые кусочки и наслаждается ими, словно украденным плодом, алеющим меж листьев на шпалере.

— Подождите, подождите! — воскликнула хорошенькая парижанка, запираясь на ключ в своей загроможденной спальне.

Она звонила горничной Терезе, звала кухарку, лакея, требовала шаль, чтобы прикрыться, и ждала, как артистка в Опере, внезапной перемены декораций. И декорации сменились. Последовал еще феномен! Комната преобразилась, приняв тот же оттенок пикантности, что и туалет хозяйки, которому та мгновенно придала нечто художественное — к чести своей, показав себя и в этом незаурядной женщиной.

— Вы? — удивилась она.— И в такой час? Что-нибудь случилось?

— Произошли чрезвычайно важные события,—отвечал де Люпо,— и сегодня нам необходимо объясниться друг с другом до конца.

Селестина посмотрела в глаза этого человека, сквозь стекла его очков, и все поняла.

— Мой главный грех в том,— сказала она,— что я ужасная чудачка и никогда не смешиваю сердечных чувств с политикой; давайте же говорить о политике, о делах, а там посмотрим. Это, впрочем, не простая прихоть, но свойство моего художественного вкуса, который внушает мне отвращение к кричащим краскам, к сочетанию несоединимого и требует, чтобы я избегала диссонансов. У нас, женщин, тоже своя политика!

Под влиянием ее голоса, ее мягких движений грубый напор секретаря министра чуть было не сменился сентиментальной галантностью: Селестина напомнила де Люпо о его обязанностях поклонника. Хорошенькая женщина при известном опыте умеет создать вокруг себя такую атмосферу, в которой нервное возбуждение проходит, страстные порывы затихают.

— Вы не знаете о том, что произошло,— нарочито грубо прервал ее де Люпо.— Прочтите.

И он протянул прелестной Селестине обе газеты, в которых обвел соответствующие заметки красным карандашом. Пока она читала, края шали на ее груди разошлись,— случайно или неслучайно, и она этого не заметила или не хотела замечать. Де Люпо находился в том возрасте, когда желания вспыхивают тем настойчивее, чем быстрее они гаснут, и он настолько же не владел собой, насколько владела собой Селестина.

— Как? — сказала она.— Кто такой этот Бодуайе?

— Этот Бодуайе способен метко боднуть,— отозвался де Люпо,— пред сим золотым тельцом преклонилась сама церковь, и он добьется своей цели, его ведет на веревочке ловкая рука.

Перед г-жой Рабурден пронеслось воспоминание о ее долгах и ослепило ее, как будто подряд вспыхнули две молнии; в ушах зашумело от прилива крови; она стояла недвижно, опешив, уставившись невидящим взором на розетку портьеры.

— Но ведь вы-то верны нам!—сказала она де Люпо, лаская его взглядом, чтобы покрепче привязать.

— Смотря по тому...—проговорил он, отвечая на ее взгляд столь испытующим взглядом, что бедняжка вспыхнула.

— Если вы требуете задатка, вы не получите награды,— отозвалась она смеясь.— Я считала вас выше, чем вы есть. А вы, видно, принимаете меня за девочку, пансионерку...

— Вы меня не поняли,—проговорил он с тонкой усмешкой.— Я хотел сказать, что не могу помогать человеку, который действует против меня, точно Ветреник против Маскариля.

— Как вас понять?

— Вот доказательство моего великодушия.— Он протянул г-же Рабурден копию рукописи, выкраденной Дютоком, и указал ей то место, где ее муж так глубокомысленно раскритиковал его.— Прочтите!—сказал он. Селестина узнала почерк мужа, прочла и побледнела от этого страшного удара.— Так он разобрал по всем статьям и остальных чиновников.

— Но, к счастью,— заметила она,— только вы имеете в руках эти записки, смысла которых я совершенно не могу понять.

— Тот, кто выкрал их, не такой дурак, чтобы не оставить себе дублет, он слишком лжив, чтобы в этом признаться, и слишком хитер, чтобы отдать; я не пробовал даже заговаривать с ним об этом.

— Кто он такой?

— Ваш письмоводитель!

— Дюток! Всегда бываешь наказан за свои благодеяния! Но ведь это пес, которому надо кинуть кость.

— А знаете, что предлагают мне, секретарю министра, бедняку?

— Что же?

— У меня есть долги—какие-то несчастные тридцать тысяч... или немножко больше, и вы, вероятно, будете презирать меня, узнав о такой ничтожной сумме,— но, как бы там ни было, в этих делах у меня нет размаха. Так вот! Дедушка этого Бодуайе сейчас скупил мои векселя и, видимо, намерен их предъявить мне.

— Но что за дьявольский замысел!

— Нисколько, напротив,— весьма монархический и благочестивый, ибо здесь замешано Церковное управление по раздаче подаяний.

— Как же вы поступите?

— А как вы мне прикажете поступить? — спросил он с обаятельной грацией и протянул к Селестине руку.

Госпожа Рабурден уже забыла о том, что он некрасив, стар, что пудра сыплется с него, как иней, что он секретарь министра, что он так отвратителен; но руки своей она не дала: вечером, в гостиной, она разрешила бы ему взять эту руку хоть сотню раз, но утром и наедине этот жест мог бы означать слишком прямое, ясное обещание и завести чересчур далеко.

— А еще говорят, что у государственных деятелей нет сердца! — воскликнула она, желая вознаградить его ласковым словом за суровость своего отказа.— Меня это всегда приводило в смущение,— добавила она с видом полнейшей невинности.

— Какая клевета! — отозвался де Люпо.— Да вот, один из самых чопорных дипломатов, который стоит у власти чуть ли не с самого рождения, недавно женился на дочери актрисы и представил ее ко двору, где особенно требовательны по части родовитости.

— Так вы нас поддержите?

— Я ведаю назначениями, но не занимаюсь обманами.

Тогда она протянула ему руку для поцелуя и слегка хлопнула по щеке.

— Теперь вы мой,— сказала она.

Де Люпо пришел в восторг от ее слов. (Вечером в Опере старый фат так передавал этот случай: «Одна дама, не желая признаться мужчине, что она ему отдается,— о чем порядочная женщина никогда прямо не скажет,— заявила: «Теперь вы мой». А? Каков ход?»)

— Но вы должны быть моей союзницей,— продолжал де Люпо.— Ваш муж сказал министру, что у него есть план преобразования административной системы, в этот план входит и тот отчет, где он так великодушно обо мне отзывается; узнайте, что́ это за план, и вечером расскажите мне.

— Хорошо,— сказала она, не видя большой важности в том, что привело к ней де Люпо в такую рань.

— Сударыня, пришел парикмахер,— доложила горничная.

«Давно пора,— подумала Селестина,— задержись он еще немного, и уж не знаю, как я бы выкрутилась...»

— Вы даже не представляете себе, насколько велика моя преданность,— сказал де Люпо, вставая.— Вы будете приглашены на первый же интимный вечер супруги министра...

— Ах, вы ангел! — отвечала она.— И теперь я вижу, как вы меня любите: вы умно меня любите!

— Сегодня вечером, дитя мое, я в Опере узнаю фамилию журналистов, которые работают на Бодуайе, и мы посмотрим — кто кого.

— Хорошо, но ведь вы обедаете у меня? Я заказала ваши любимые блюда.

«Все это настолько похоже на любовь,— размышлял де Люпо, спускаясь по лестнице,— что было бы сладостно подольше так обманываться. Но если она просто смеется надо мной, я это узнаю: до того, как министр подпишет назначение, я устрою ей такую ловушку, что смогу заглянуть в самые глубины ее сердца. Знаем мы вас, милые кошечки! Ведь в конце концов женщины таковы же, как и мы, мужчины. Ей двадцать восемь лет, и она добродетельна, да еще здесь, на улице Дюфо! Найти подобную женщину — редкая удача, таким счастьем надо дорожить».

И этот мотылек, метивший в депутаты, порхнул вниз по лестнице.

«Бог мой,— размышляла Селестина,— без очков этот человек, напудренный и в халате, должен быть очень смешон. Я его заарканила — пусть везет меня туда, куда мне так хотелось попасть,— к министру. Но после этого его роль в моей комедии кончена».

Когда Рабурден в пять часов вернулся домой, чтобы переодеться, его жена вошла в комнату и вручила ему его исследование; подобно известной туфле из «Тысячи и одной ночи», оно попадалось ему всюду.

— Кто тебе дал это? — изумился Рабурден.

— Господин де Люпо!

— Он был здесь? — спросил Рабурден, бросив на жену такой взгляд, что, будь она виновна, она, несо-

мненно, побледнела бы, но чело Селестины осталось ясным, и глаза улыбались.

— И он будет у нас обедать,— продолжала она.— Отчего ты всполошился?

— Дорогая моя,— сказал Рабурден,— я его смертельно обидел, подобные люди таких вещей не прощают! И вместе с тем он со мною мил. Ты полагаешь, я не знаю, почему?

— Что ж, у него, по-моему, очень тонкий вкус,— отозвалась она,— и я не могу осуждать его за это. В конце концов, что может быть более лестного для женщины, чем пленить пресыщенного фата! И потом...

— Брось свои шутки, Селестина! Пощади человека и без того удрученного. Мне никак не удается поговорить с министром, а на карту поставлена моя честь.

— Да ничуть! Дютоку обещают, что его повысят, а тебя назначат начальником отделения.

— Я догадываюсь о том, что у тебя на уме, дорогая,— сказал Рабурден,— пусть твоя затея — только комедия, она от этого не менее постыдна. Честная женщина...

— Предоставь мне действовать тем же оружием, каким борются с нами.

— Селестина! Чем нелепее этот человек попадется в ловушку, тем яростнее он набросится на меня.

— А если я его свалю?

Рабурден с удивлением взглянул на жену.

— Я думаю только о том, чтобы тебя повысили, давно пора, мой бедный друг!..— продолжала Селестина.— Но ты принимаешь гончую за дичь,— добавила она помолчав.— Через несколько дней де Люпо успешно закончит свою миссию. Пока ты найдешь возможность все объяснить министру, пока ты с ним встретишься, я уже успею с ним переговорить. Ты в поте лица своего трудился над этим проектом, таясь от меня, а твоя жена за три месяца добьется бо́льших результатов, чем ты за шесть лет. Расскажи мне теперь, в чем состоит твой прекрасный план.

Рабурден взял с жены обещание, что она не обмолвится ни словом о его проекте, особенно же ничего не откроет, даже в общих чертах, секретарю министра, ибо это значило бы пустить козла в огород, и принялся объ-

яснять ей цель своих исследований, в то же время продолжая бриться.

— Но как же ты, Рабурден, ничего мне обо всем этом не сказал? — прервала она его чуть ли не с первых слов.— Ведь ты бы избежал ненужных страданий. Я понимаю, что какая-нибудь идея может на миг ослепить человека; но чтобы эта слепота продолжалась в течение шести-семи лет — вот чего я не постигаю! Ты хочешь сократить бюджет — да ведь это мысль банальная и мещанская! А следовало бы, напротив, довести его до двух миллиардов, и Франция стала бы вдвое могущественнее. Новая система должна бы состоять в том, чтобы все приводить в движение с помощью кредита, как об этом кричит господин де Нусинген. Самое бедное казначейство — то, где много денег, но лежащих без употребления; задача министерства финансов — швырять деньги в окно, ведь они вернутся в его подвалы,— а ты хочешь, чтобы они лежали неподвижной кучей! Должностей пусть будет больше, а не меньше, и надо не возвращать ренту, а увеличивать число рантье. Если Бурбоны желают мирно царствовать, они должны создать рантье в самых глухих захолустьях, а особенно — не позволять иностранцам получать проценты во Франции, ибо в один прекрасный день они потребуют с нас и капитал; но если вся рента останется во Франции, не погибнут ни Франция, ни кредит. Вот что спасло Англию. Твой план — мещанство. Человек честолюбивый должен был бы предстать перед министром в роли нового Лоу, но без его ошибок, объяснить, сколь велико могущество кредита, доказать, что мы ни в коем случае не должны идти на амортизацию капиталов, а лишь на погашение процентов, как делают англичане...

— Послушай, Селестина, ты можешь сваливать все теории в одну кучу и каждую из них оспаривать — пожалуйста, забавляйся ими как игрушками! Я к этому привык. Но не критикуй работы, которой ты еще не знаешь.

— Да зачем мне нужно знать такой план, где доказывается, что Францией можно управлять с помощью шести тысяч чиновников, а не двадцати тысяч? Ах, мой друг, будь это даже созданием гения, у нас во Франции короля свергли бы с престола при первой его попытке осуществить такой план. Можно укротить феодальную

аристократию, отрубив несколько голов, но подчинить себе тысяченогую гидру нельзя. Нет, маленьких людишек башмаком не раздавишь, они для этого слишком плоски. И ты хочешь произвести подобный переворот с помощью нынешних министров, которые, говоря между нами, звезд с неба не хватают? Можно перетряхивать деньги, но не самих людей: они слишком громко кричат при этом; а золото немо.

— Ну, Селестина, если ты не дашь мне слово сказать и будешь только острить, придираясь к частностям, мы никогда не договоримся.

— Ах, я отлично понимаю, к чему приведет твое исследование, где ты классифицируешь административные способности разных лиц,— продолжала она, не слушая мужа.— Бог мой! Ведь ты же сам отточил нож той гильотины, которая тебе отрубит голову. Святая дева, почему ты со мной не посоветовался? Я бы, по крайней мере, не позволила тебе написать ни одной строчки, или, если тебе уж непременно хотелось составить такое исследование, я бы его сама переписала, и оно никогда бы не вышло из этих стен... Объяснись, ради бога, почему ты мне ничего не сказал? Вот каковы мужчины! Они способны семь лет спать рядом с женщиной и семь лет хранить от нее тайну. Целых семь лет не открывать своих помыслов бедной женщине, сомневаться в ее преданности — да как ты мог?

— Но послушай,— нетерпеливо остановил ее Рабурден,— за одиннадцать лет нашего брака мне ни разу не удалось с тобой хоть что-нибудь обсудить до конца, ты сейчас же обрываешь меня и, вместо того, чтобы вникнуть в мои мысли, развиваешь собственные теории. Ты же совершенно не знаешь, в чем состоит мое исследование.

— Не знаю? Да я все знаю!

— Ну посмотрим, расскажи! — крикнул Рабурден, впервые за все время их супружеской жизни выйдя из себя.

— А ведь уже половина седьмого, скорей кончай бриться и одевайся,— ответила она, как отвечают все женщины, когда их припрут к стене и им нечего ответить.— Я пойду кончать свой туалет, мы отложим этот спор. Я не хочу раздражаться в тот день, когда у меня

гости. Ах, бедняга!— сказала она, выходя.— Работать семь лет на свою погибель и не доверять даже собственной жене.

Селестина тут же вернулась.

— Если бы ты меня в свое время послушался, ты бы не вступался за своего делопроизводителя, а теперь у него, наверное, припасена еще одна копия с этого проклятого проекта. До свиданья, умник!

Однако, увидев, что муж глубоко страдает, она поняла, что зашла слишком далеко, кинулась к нему, обняла и, хотя все лицо у него было в мыльной пене, нежно поцеловала.

— Милый Ксавье, не сердись,— сказала она,— сегодня вечером мы займемся твоим планом, и я буду слушать тебя, сколько твоей душе будет угодно... Ну, теперь ты доволен? Уверяю тебя, я очень рада быть женой нового Магомета.

И она рассмеялась. Да и Рабурден не мог удержаться от улыбки, ибо на губах Селестины осталась мыльная пена и в ее голосе зазвучала самая подлинная и прочная любовь.

— Иди одеваться, дитя мое, а главное — ни слова де Люпо, ты клянешься мне? Вот единственное наказание, которое я на тебя налагаю.

— Наказание? — переспросила она.— Тогда я ни в чем не клянусь.

— Брось, Селестина, хоть я и пошутил, а ведь дело серьезное.

— Сегодня вечером,— отозвалась она,— твой секретарь министра выведает, с кем нам предстоит бороться, а я уж знаю, на кого повести атаку.

— На кого же?

— На министра,— важно заявила она.

Несмотря на грациозную ласковость милой Селестины, чело Рабурдена, пока он одевался, омрачали печальные мысли.

«Когда же она научится ценить меня? — спрашивал себя огорченный муж.— Она даже не поняла, что весь этот труд я предпринял только ради нее. Как она безрассудна и как умна! Если бы я не женился, я бы занимал сейчас высокое положение и был бы богат! Из своего жалованья я бы откладывал пять тысяч в год.

При выгодном их помещении они давали бы мне ежегодно десять тысяч ливров, помимо жалованья; я был бы холост и мог бы удачной женитьбой... Зато у меня есть Селестина и мои двое детей...» — тут же возразил он себе и принялся думать о своем счастье. В самом счастливом супружестве бывают минуты сожалений.

Он вошел в гостиную и окинул взглядом все вокруг. «В Париже не найдется ни одной женщины, которая так умела бы обставить жизнь, как моя жена. Создать все это при двенадцати тысячах франков,— продолжал он размышлять, рассматривая жардиньерки, наполненные цветами, и предвкушая чувство удовлетворенного тщеславия, которое ему доставят похвалы гостей.— Да, она рождена, чтобы быть женой министра. А вот супруга моего министра ни в чем ему не помогает; она похожа на добрую толстую мещанку, и когда появляется во дворце, в гостиных...» Он презрительно наморщил губы. Очень занятые мужчины имеют превратные представления о домашней жизни, и их одинаково легко убедить в том, что на сто тысяч ничего нельзя сделать, как и в том, что на двенадцать можно иметь все.

Хотя хозяйка и ожидала де Люпо с большим нетерпением, хотя и приготовила избалованному чревоугоднику приманку в виде его любимых блюд, к обеду он не пришел, а появился лишь очень поздно, часов в двенадцать, когда в гостиных разговоры обычно становятся более интимными и откровенными. Среди оставшихся гостей был также журналист Андош Фино.

— Я все узнал,— сказал де Люпо, усевшись с чашкой чая на уютной козетке возле камина и глядя на г-жу Рабурден, которая, стоя перед ним, держала тарелку с сандвичами и ломтиками кекса, справедливо именуемого «коксом».— Фино, мой дорогой и остроумный друг, вот вам удобный случай оказать услугу нашей очаровательнице: устройте небольшую травлю на некоторых лиц, о коих мы сейчас поговорим... Против вас,— обратился он к Рабурдену вполголоса, чтобы слышали только три его собеседника,— ростовщики и духовенство, деньги и церковь. Статью в либеральной газете заказал старый ростовщик, в отношении которого у газеты были какие-то обязательства, но накропал ее мелкий писака, он мало всем этим интересуется. Через три

дня главная редакция газеты будет сменена, и мы тогда еще вернемся к этому вопросу. Роялистская оппозиция — ибо у нас теперь благодаря господину де Шатобриану существует роялистская оппозиция, то есть роялисты, примкнувшие к либералам... Впрочем, оставим в покое высокую политику... Итак, эти убийцы Карла Десятого обещали мне свою поддержку при том условии, что в награду за ваше назначение мы одобрим одну из их поправок к новому законопроекту. Все мои батареи в боевой готовности. Если нам будут навязывать Бодуайе, мы скажем Церковному управлению по раздаче подаяний: такие-то газеты и такие-то люди будут проваливать закон, который вы хотите протолкнуть, и вся пресса выскажется против, ибо газеты сторонников министерства у меня в руках и останутся глухи и немы, что, впрочем, не представит для них особых трудностей, они и без того рта не раскрывают,— не правда ли, Фино? Назначьте Рабурдена,— потребуем мы,— и газеты окажутся на вашей стороне. А бедные простаки-провинциалы, развалившись в креслах у камина, будут радоваться, что органы общественного мнения столь независимы, ха-ха!

Андош Фино подхихикнул.

— Поэтому будьте спокойны,— продолжал де Люпо.— Я сегодня вечером все уладил. Церковное управление вынуждено будет уступить.

— Я бы предпочла лишиться всякой надежды, но видеть вас у меня за обедом,— шепнула ему Селестина, глядя на него с таким негодованием, которое можно было объяснить и самой пылкой любовью.

— Вот чем я заслужу помилование,— отвечал он, вручая ей приглашение на вечер.

Селестина распечатала конверт и вся вспыхнула от удовольствия.

— Вы знаете, что такое эти вечера,— сказал де Люпо с таинственным видом.— Это в нашем министерстве все равно, что во дворце «малый прием». Вы окажетесь в самом средоточии власти. Там будет графиня Ферро, которая все еще в милости, несмотря на то, что Людовик Восемнадцатый умер; Дельфина де Нусинген, госпожа де Листомэр, маркиза д'Эспар; милая вашему сердцу де Кан, которую я позвал для того, чтобы поддержать вас,

в случае если эти дамы примут вас в штыки. Я хочу видеть вас среди всего этого общества.

Селестина закинула голову, как чистокровная лошадь перед скачками, и перечитывала приглашение с таким же чувством, с каким Бодуайе и Сайяр, без конца упиваясь каждым словом, перечитывали свои статьи в газетах.

— Сначала туда, а когда-нибудь и в Тюильри,— сказала она де Люпо.

Де Люпо испугался, настолько ее тон и поза были выразительны и полны честолюбивой самоуверенности.

«Неужели я для нее лишь подножка?» — подумал он. Затем встал и направился в спальню г-жи Рабурден, куда она за ним последовала, ибо он сделал ей знак, что хочет поговорить без свидетелей.

— Ну, а проект? — спросил он.

— Ах, чепуха! Это одна из тех глупостей, которыми занимаются честные люди. Он хочет упразднить пятнадцать тысяч чиновников и оставить всего тысяч пятьшесть; вы и вообразить себе не можете, какой это чудовищный вздор. Я дам вам прочесть, когда все будет переписано. Но он искренен, и его каталог чиновников, где он разбирает все их достоинства и недостатки, подсказан самыми благородными намерениями. Бедный, милый чудак!

Услышав непритворный смех хозяйки, которым она сопровождала свои пренебрежительные и насмешливые слова, де Люпо совершенно успокоился: он был слишком опытен по части лжи и видел, что Селестина в эту минуту отнюдь не прикидывается.

— В чем же, однако, суть всего проекта? — настаивал он.

— Да вот, он хочет упразднить поземельный налог и заменить его налогами на потребление.

— Но ведь Франсуа Келлер и Нусинген предложили нечто подобное год тому назад, и министр уже подумывает о том, чтобы сократить налог на землю.

— Вот видите! Я же говорила ему, что все это не ново! — смеясь, воскликнула Селестина.

— Да, но если его предложения совпадают с мыслями величайшего финансиста нашей эпохи, человека, который в области финансов, говоря между нами, про-

сто Наполеон, то у Рабурдена должны быть какие-то идеи относительно возможностей это осуществить!

— Ах, все это ужасное мещанство! — проговорила она с презрительной гримасой.— Подумайте! Он хочет, чтобы Франция управлялась пятью-шестью тысячами чиновников, тогда как, напротив, не должно быть ни одного француза, не заинтересованного в поддержании монархии.

Де Люпо был, видимо, доволен тем, что человек, которому он приписывал выдающиеся таланты, оказался ничтожеством.

— А вы вполне уверены в назначении? Хотите услышать совет женщины? — продолжала Селестина.

— Вы гораздо искуснее нас по части изящных предательств,— отвечал де Люпо, кивнув головой.

— Так вот: называйте и при дворе и в Конгрегации имя *Бодуайе*, чтобы уничтожить всякие подозрения и усыпить бдительность, а в последнюю минуту напишите: *Рабурден*.

— Есть такие женщины, которые говорят «да», пока мужчина им нужен, и «нет», когда его роль кончена,— промолвил де Люпо.

— Я тоже знаю таких,— рассмеялась она.— Но они очень глупы: ведь в политических кругах постоянно встречаешься все с теми же людьми. Так можно вести себя с дураками, а вы умны. По-моему, самая большая ошибка, которую можно совершить в жизни,— это поссориться с выдающимся человеком.

— Нет, не то! — сказал де Люпо.— Выдающийся человек простит. Опасно ссориться с мелкими, злобными душонками, которые только и заняты тем, как бы отомстить, а мне всю жизнь приходится иметь с ними дело.

Когда гости разъехались, Рабурден остался в комнате жены и, потребовав, чтобы она один раз в жизни внимательно его выслушала, изложил ей весь свой план: он показал ей, что стремится не сократить, а, наоборот, увеличить бюджет; объяснил, на что расходуются средства казны и как государство может увеличить во много раз оборот денег, участвуя на треть или на четверть в затратах, которых требуют частные или местные интересы. Ему удалось убедить ее в том, что его проект реформы вовсе не является пустой теорией, а сулит

богатые возможности для своего практического осуществления. Селестина в восторге кинулась мужу на шею и, усадив его в кресло у камина, сама уселась к нему на колени.

— Значит, у меня теперь действительно такой муж, о котором я мечтала! — сказала она.— Я не знала твоих заслуг, и это спасло тебя от когтей де Люпо. Я искренне и очень удачно оклеветала тебя.

Рабурден плакал от счастья. Наконец-то и для него настал день торжества. Он совершил все ради своей жены, и аудитория, состоявшая из единственной слушательницы, признала его величие!

— А для того, кто знает, какой ты добрый, кроткий, рассудительный, любящий, ты вдвойне великий человек! — продолжала она.— Гений всегда более или менее дитя, и ты тоже, ты — мое милое дитя.— Она засунула руку за корсаж, вынула из этого излюбленного женского тайника приглашение и показала мужу.— Вот чего я добивалась,— пояснила она.— Де Люпо дал мне возможность лично встретиться с министром, и, будь его превосходительство хоть из бронзы, он на некоторое время станет моим слугой.

Со следующего же дня Селестина принялась готовиться к своему появлению у министра, в его интимном кружке. Это был для нее решающий день! Никогда куртизанка так не занималась своей наружностью, как занялась ею сейчас эта порядочная женщина. Никогда портниху так не терзали, и никогда еще портниха не понимала так ясно великое значение своего искусства. Словом, г-жа Рабурден не пренебрегла ни одной мелочью. Она самолично отправилась выбрать наемную карету, чтобы та не была ни слишком старой, ни мещанской, ни вызывающе роскошной. Она позаботилась о том, чтобы ее лакей, как и все лакеи хороших домов, сам был похож на барина. И вот, наконец, в знаменательный вторник, около десяти часов вечера, она выехала из дому в прелестном траурном туалете. Голова ее была убрана виноградными гроздьями из черного стекляруса художественной выделки — убор этот стоил тысячу экю, его заказала Фоссену какая-то англичанка, которая так и уехала, не взяв его. Листья, сделанные из железных пластинок, были тонко оттиснуты, совсем как на-

стоящие, причем художник не позабыл сделать и усики, чтобы они грациозно обвивали локоны, как они обвивают в природе каждую ветку или стебелек. Браслеты, колье и серьги с подвесками были из так называемого берлинского железа; на самом же деле эти хрупкие арабески были венского происхождения, и чудилось, что они сделаны теми феями, которым в сказках какая-нибудь злая волшебница Карабос приказывает собрать глаза муравьев или выткать столь тонкую ткань, чтобы она уместилась в ореховой скорлупе. В черном наряде стан Селестины казался еще тоньше, и его стройность особенно подчеркивалась тщательно обдуманным покроем; платье с большим вырезом, открывающим плечи, держалось безо всяких бретелек; при каждом движении молодой женщины так и казалось, что она сейчас выскользнет из него, как мотылек из кокона, однако каким-то чудом все оставалось на месте благодаря хитроумной выдумке несравненной портнихи. Оно было из шерстяной кисеи, восхитительной ткани, тогда в Париже еще неизвестной и вскоре стяжавшей бешеный успех. Этот успех привел к более серьезным последствиям, чем обычно приводят моды во Франции. Свойства такой ткани позволяли женщинам экономить на стирке, и поэтому уменьшился спрос на бумажные материи, что произвело целый переворот в производстве Руанской фабрики. Ножки Селестины, обутые в тончайшие ажурные чулки и туфельки из турецкого сатина,— при глубоком трауре шелк не допускается,— поражали исключительным изяществом. Словом, Селестина была дивно хороша. После ванны из отрубей ее кожа приобрела особый, мягкий блеск. Глаза, увлажненные надеждой, светились умом и свидетельствовали о том превосходстве, которое тогда повсюду воспевал счастливый и гордый ею де Люпо.

Она *вошла хорошо* — женщины поймут все значение этой формулы; грациозно поклонилась жене министра, соединив в этом поклоне должное уважение к хозяйке и сознание собственного достоинства, не ущемляя ее самолюбия, но сохраняя все свое величие, ибо красивая женщина — всегда царица. Поэтому же Селестина позволила себе и в отношении к министру милый и задорный тон, который женщинам не возбраняется в беседе

с любым мужчиной, будь он даже принцем крови. Усаживаясь, она окинула взглядом поле битвы и убедилась, что попала на один из тех вечеров, где бывает избранное и очень немногочисленное общество; где женщины могут изучить и оценить друг друга; где малейшее слово слышат все; где каждый взгляд попадает в цель; где каждый разговор — это дуэль с секундантами; где все посредственное становится пошлостью, а все достойное признается без слов, как будто оно для присутствующих явление самое естественное. Рабурден удалился в соседнюю гостиную и простоял весь вечер у карточного стола, глядя на играющих,— чем доказал, что не лишен сообразительности.

— Ах, дорогая,— сказала маркиза д'Эспар графине Ферро, последней любовнице Людовика XVIII,— право же, Париж — несравненный город, только здесь совершенно неожиданно и неизвестно откуда появляются вот такие женщины: кажется, будто она все может и всего желает...

— Но она в самом деле все может и всего желает,— заметил, приосанившись, де Люпо.

А в это время хитрая Рабурденша старалась плеснить жену министра. Получив накануне нужные указания от де Люпо, изучившего все слабые места графини, Селестина льстила ей с самым невинным видом. Затем она умолкла, так как де Люпо, невзирая на всю свою влюбленность, знал ее недостатки и еще накануне предостерег ее: «Главное, не говорите слишком много»,— чем явно доказал свою искреннюю привязанность. Если Бертран Барер справедливо изрек: «Когда женщина танцует, не останавливай ее, чтобы дать ей полезный совет»,— то его замечательную аксиому можно еще дополнить так: «Не упрекай женщину за то, что она понапрасну мечет бисер», и тогда к этой главе женских узаконений нечего будет прибавить. Вскоре разговор стал общим. Время от времени г-жа Рабурден осторожно вставляла словечко,— так благовоспитанная кошечка, пряча когти, кладет бархатную лапку на кружева хозяйки.

В сердечных делах министр отличался полнейшей скромностью: среди всех деятелей эпохи Реставрации трудно было найти другого человека, до такой степени

утратившего способность к волокитству, и недаром органы оппозиции — «Мируар», «Пандора», «Фигаро» — не могли поставить ему в упрек даже какое-нибудь случайное увлечение. Его единственной возлюбленной была вечерняя газета «Этуаль» (которая, как это ни странно, осталась ему верна даже в беде, что, по-видимому, все же было ей выгодно). Об этой стороне жизни министра г-жа Рабурден знала; но она знала также, что привидения возвращаются в развалины замков, и вот она решила заставить министра позавидовать тому счастью — правда, отягощенному немалыми обязательствами,— которым, как могло казаться, наслаждался де Люпо.

А в это самое время де Люпо на все лады повторял имя Селестины. Желая создать успех своей мнимой любовнице, он из кожи лез и, вовлекая в разговор четырех собеседниц, стремился, при поддержке г-жи де Кан, внушить маркизе д'Эспар, г-же де Нусинген и графине, что они должны принять г-жу Рабурден в свою коалицию. Не прошло и часа, как министр оказался весьма заинтересованным Селестиной — ему нравился ее ум; она успела обольстить и его жену, и та просила эту сирену бывать у них почаще — они, мол, всегда рады будут ее видеть.

— Ведь вашего мужа, дорогая, скоро назначат директором,— сказала г-же Рабурден супруга министра.— Министр предполагает соединить два отделения и подчинить их одному лицу, тогда вы поневоле станете членом нашего кружка.

Его превосходительство увел Селестину посмотреть ту комнату в его апартаментах, которая своей якобы чрезмерной роскошью вызвала нарекания со стороны оппозиции, и убедиться в глупости журналистов. Он предложил ей руку.

— Право же, сударыня, вам следует почаще бывать у нас; вы этим доставите огромное удовольствие и мне и графине.

И он начал рассыпаться в чисто министерских любезностях.

— Но, граф, мне кажется, это от вас зависит,— отвечала она, бросив ему один из тех взглядов, которые всегда есть в резерве у женщин.

— Каким образом?

— Вы можете мне дать право на это.

— Объяснитесь!

— Нет, собираясь сюда, я решила, что не буду столь безвкусна и не явлюсь в роли просительницы.

— Прошу вас, выскажитесь! Разговоры о *месте уместны* в любом *месте!*— засмеялся министр.

Подобным серьезным людям нравятся только такого рода остроты.

— Так вот, жене правителя канцелярии здесь бывать смешно, а жене начальника отделения — вполне *уместно*.

— Бросьте это,— сказал министр,— ваш муж — человек необходимый, он назначен

— Это истинная правда?

— Ну, хотите посмотреть сами? Пойдемте в мой кабинет, там лежит назначение, все подготовлено.

— Что ж,— отозвалась она, продолжая стоять в стороне с министром, в торопливых заверениях которого было что-то подозрительное,— должна сказать вам, что я могу вас отблагодарить..

Она уже собиралась открыть ему план мужа, когда де Люпо, неслышно подошедший к ним, сердито пробормотал «гм... гм...» — показывая, что не намерен подслушивать (то, что, впрочем, уже успел подслушать) Министр с досадой покосился на старого фата, попавшегося в ловушку Томимый жаждой поскорее одержать победу, де Люпо изо всех сил торопил подготовку приказа о назначениях, он успел вручить бумагу министру и мечтал самолично отвезти ее завтра той, которую считали его возлюбленной.

В эту минуту с таинственным видом вошел камердинер министра и сообщил де Люпо, что его слуга просит немедленно передать своему барину письмо и предупредить, что оно чрезвычайно важное.

Секретарь министра подошел к одной из ламп и прочел записку, содержавшую следующее:

«Вопреки своему обыкновению, я ожидаю в прихожей, и вам надлежит, не теряя ни минуты, сговориться со мной.

Готовый к услугам *Гобсек*».

Секретарь министра содрогнулся, узнав подпись ростовщика, которую здесь жаль было бы не воспроизвести, ибо она на редкость соответствовала автору записки и представляет собою немалый интерес для тех, кто пытается узнать людей по их манере подписываться. Если иероглиф когда-либо выражал сущность какого-либо животного, то таким иероглифом была подпись Гобсека, где первая и последняя буквы образовывали ненасытную акулью пасть, которая всегда разинута, захватывает и пожирает всех, слабого и сильного. Трудно было бы воссоздать весь текст, до того почерк был тонок, уборист, мелок, хотя и отчетлив; но его легко себе представить, если мы скажем, что вся фраза умещалась в одной строке. Только дух ростовщичества мог внушить фразу столь дерзко повелительную и столь холодно вежливую, ясную и вместе с тем загадочную: в ней все было сказано, но она ничего не выдавала. Если бы вы и не встречали Гобсека, то по одной этой строке, которой нельзя было ослушаться, хотя в ней и не содержалось приказа, можно было почувствовать, что́ за человек этот беспощадный ростовщик с улицы Грэ. Вот почему де Люпо, точно собака, которую позвал охотник, перестал преследовать дичь и отправился к себе, размышляя об опасности, угрожавшей его карьере. Представьте себе главнокомандующего, которому его адъютант только что сообщил: «Неприятель получил подкрепление, свежие силы в тридцать тысяч человек заходят с фланга».

Достаточно нескольких слов, чтобы объяснить, почему на поле боя появились господа Жигонне и Гобсек (ибо де Люпо застал у себя на квартире их обоих). В восемь часов вечера Мартен Фалейкс — примчавшийся, как вихрь, с помощью форейтора и трех франков кучеру на водку — привез купчие крепости, помеченные вчерашним числом. Митраль тотчас доставил их в кофейню «Фемида», оба ростовщика завладели ими и поспешили в министерство — впрочем, пешечком. Пробило одиннадцать. Увидев эти две зловещие физиономии, встретив их пристальные взгляды, которые пронзали, как пистолетная пуля, и сверкали, как огонь выстрела, де Люпо вздрогнул.

— Ну, что случилось, друзья мои?

Ростовщики были холодны и неподвижны. Жигонне молча указал сначала на свои бумаги, затем на лакея.

— Пройдемте в мой кабинет,— сказал де Люпо, сделав слуге знак, чтобы тот удалился.

— Вы очень догадливы,— заметил Жигонне.

— А вы что же, пришли мучить человека, который дал вам возможность заработать по двести тысяч? — спросил де Люпо с невольным высокомерием.

— И надеюсь, даст нам заработать еще,— сказал Жигонне.

— Опять какое-нибудь дело? — продолжал де Люпо.— Если я вам нужен, то, имейте в виду, мне кое-что подскажет моя память.

— А нам — ваши *памятки*.

— Мои долги будут уплачены,— небрежно бросил де Люпо, чтобы не дать им запугать его.

— Верно,— сказал Гобсек.

— Приступим к делу, сын мой,— заявил Жигонне.— И напрасно вы хорохоритесь перед нами — это бесполезно. Возьмите-ка эти документы и прочтите их.

Пока де Люпо, донельзя изумленный, читал документы, которые на него точно с неба свалились, ростовщики производили осмотр обстановки в кабинете хозяина.

— Что ж, разве мы не сообразительные дельцы и не идем вам навстречу? — сказал Жигонне.

— Но чему я обязан такой искусной поддержкой? — недоверчиво спросил де Люпо.

— Вот уже неделя как нам известно то, что вам стало бы известно только завтра: председатель коммерческого суда, депутат, вынужден подать в отставку.

Глаза у де Люпо стали как плошки.

— Эту шутку сыграл с нами ваш министр,— не тратя лишних слов, объяснил Гобсек.

— Я в ваших руках, господа! — воскликнул секретарь министра, и в его насмешливом тоне сквозило искреннее почтение.

— Совершенно верно,— сказал Гобсек.

— Но вы намерены меня придушить? Ну что ж, палачи, начинайте,— ответил, улыбаясь, де Люпо.

— Вы видите,— продолжал Жигонне,— ваши долги

по векселям приписаны к ссуде на приобретение земель.

— Вот и акты,— сказал Гобсек, извлекая юридические документы из кармана своего позеленевшего сюртука.

— На уплату всей суммы вам дается три года,— пояснил Жигонне.

— Но что вам от меня нужно? — спросил де Люпо, испуганный этой предупредительностью и столь необычным осуществлением своих замыслов.

— Место ла Биллардиера для Бодуайе! — поспешно ответил Жигонне.

— Это, конечно, не много, хотя мне придется сделать невозможное,— отвечал де Люпо,— я связан по рукам и ногам обещанием.

— Перегрызите веревки зубами,— сказал Жигонне.

— Они у вас преострые! — добавил Гобсек.

— И все? — спросил де Люпо.

— Мы оставим у себя купчие крепости до признания вот этих обязательств,— пояснил Жигонне, сунув бумаги под нос секретарю министра,— если комиссия в течение шести дней их не признает, ваше имя на купчих будет заменено моим.

— Ну, вы и ловки! — воскликнул де Люпо.

— Верно,— отозвался Гобсек.

— Идет? — спросил Жигонне.

Де Люпо наклонил голову.

— В таком случае подпишите это соглашение,— сказал Жигонне.— Через два дня Бодуайе должен быть назначен, через шесть векселя будут признаны, и...

— И что же? — спросил де Люпо.

— Мы вам гарантируем...

— Что же? — повторил де Люпо, все больше и больше удивляясь.

— Ваше избрание,— приосанившись, заявил Жигонне.— С пятьюдесятью двумя голосами фермеров и ремесленников, которые будут послушны вашему заимодавцу, мы располагаем большинством.

Де Люпо пожал руку Жигонне.

— Уж мы-то с вами всегда столкуемся,— заявил он.— Вот это называется делать дела! Но и я вам хочу доставить удовольствие.

— Справедливо,— сказал Гобсек.

— А что именно? — спросил Жигонне.

— Выхлопотать орден для вашего дурака Бодуайе.

— Ладно,— буркнул Жигонне,— должно быть, вы его хорошо знаете.

Ростовщики откланялись, и де Люпо проводил их до самой лестницы.

— Это, видно, тайные агенты какой-нибудь иностранной державы,— рассудили оба его лакея.

На улице ростовщики взглянули друг на друга при свете фонаря и расхохотались.

— Он будет платить нам ежегодно девять тысяч одних процентов, а земля едва даст ему пять тысяч чистыми! — воскликнул Жигонне.

— Он теперь надолго попал к нам в руки,— сказал Гобсек.

— Он начнет строиться, делать глупости,— продолжал Жигонне,— а Фалейкс купит землю.

— Для него главное — пролезть в депутаты, на остальное ему наплевать,— заметил Гобсек.

— Хи-хи!

— Хи-хи!

Сухонькое хихиканье заменяло хохот этим двум ростовщикам, возвращавшимся, опять пешечком, в кофейню «Фемида».

Де Люпо вернулся в гостиную министра, где г-жа Рабурден вовсю распускала хвост. Она была очаровательна, и министр, обычно угрюмый, казался весел и любезен.

«Она делает чудеса,— подумал де Люпо.— Эта женщина просто сокровище... Как бы проникнуть в самую глубину ее души?»

— Она в самом деле очень мила, ваша дама,— сказала маркиза секретарю министра,— ей не хватает только имени, подобного вашему.

— Да, ее единственный недостаток в том, что она дочь оценщика, происхождение чувствуется в ней и подведет ее,— отозвался де Люпо неожиданно холодным тоном, странно противоречившим пылкости, с которой он говорил о г-же Рабурден всего за несколько минут до того.

Маркиза внимательно посмотрела на де Люпо.

— Я заметила, какой взгляд вы бросили на них,— сказала она, указывая на министра и на г-жу Рабурден,— он сверкнул даже сквозь дымку ваших очков. Вы оба пресмешно вырываете друг у друга этот лакомый кусочек.

Маркиза направилась к дверям, и министр поспешил за ней, чтобы проводить ее.

— Ну как? Понравился вам наш министр? — обратился де Люпо к г-же Рабурден.

— Он очарователен! Действительно, нужно самим знать этих бедных министров, тогда только можно оценить их,— продолжала она громко, чтобы ее услышала супруга его превосходительства.— Мелкие газетки и клевета оппозиции так упорно извращают облик политических деятелей, что в конце концов невольно этому поддаешься; но при личном знакомстве вместо предубеждения появляется сочувствие.

— Он очень порядочный человек.

— Да, и уверяю вас, его можно полюбить,— с добродушной шутливостью заявила она.

— Деточка моя,— так же добродушно и лукаво ответил он,— вы совершили невозможное.

— А что именно? — спросила она.

— Вы воскресили мертвеца; я считал, что всякие чувства ему чужды,— спросите его жену. Министра хватает только на случайные развлечения. Но воспользуйтесь своей победой... Пойдемте сюда, не показывайте вида, что вы удивлены.— Он увлек г-жу Рабурден в будуар и усадил на диване рядом с собою.— Вы прехитрая, и я вас за это люблю еще больше. Говоря между нами, вы женщина исключительная. Де Люпо вас привел сюда, и все для него кончено, не правда ли? Действительно, если женщина решается любить из расчета, лучше уж выбрать шестидесятилетнего министра, чем его сорокалетнего секретаря: и выгод больше и хлопот меньше. К тому же я человек в очках, с напудренной головой, истощенный наслаждениями,— нечего сказать, хороша будет такая любовь! О, во всем этом я отдаю себе отчет. Если уж необходимо чем-нибудь пожертвовать, так по крайней мере с наибольшей пользой: приятным-то уж я никогда не буду, верно? Не дурак же я, чтобы не понимать своего положения! Вы можете ска-

зать мне всю правду, открыть мне свое сердце: мы ведь союзники, а не любовники. Если у меня бывают случайные прихоти, вы слишком умны, чтобы обращать внимание на такой вздор, и вы меня извините: нельзя же допустить, чтобы у вас были взгляды пансионерки или мещанки с улицы Сен-Дени! Право же, мы с вами выше всего этого! Вон, смотрите, уходит маркиза д'Эспар — неужели вы думаете, что она держится других взглядов? Мы с ней два года тому назад очень хорошо спелись,— *(О, фат!)*,—и вот достаточно ей черкнуть мне два слова: мой дорогой де Люпо, вы, мол, меня очень обяжете, если сделаете то-то или то-то,— и все точнейшим образом выполняется! В данное время мы предполагаем исходатайствовать назначение опеки над ее мужем. Вам, женщинам, нетрудно добиться того, чего вы хотите: доставьте небольшое удовольствие — вот вся плата. Что ж, детка, закрутите министра, я вам помогу, это в моих интересах. Да, я желал бы, чтобы нашлась женщина, которая могла бы на него влиять: тогда уж он не ускользал бы из моих рук; а так он иногда ускользает, что вполне понятно; я ведь держу его только с помощью рассудка; войдя же в соглашение с хорошенькой женщиной, я буду держать его с помощью безрассудства, что гораздо надежнее. Итак, останемся друзьями и сообща будем извлекать пользу из того доверия, которого вы добьетесь.

Госпожа Рабурден слушала с глубочайшим изумлением своеобразное исповедание веры парижского цинника. Простодушный тон этого политического коммерсанта исключал всякую мысль об обмане.

— Значит, вы находите, что он обратил на меня внимание? — спросила она, попавшись на удочку.

— Я его знаю и потому уверен.

— Правда ли, что назначение Рабурдена подписано?

— Я подал ему бумаги сегодня утром. Но стать директором главного управления — это даже еще не половина дела, надо стать докладчиком государственного совета...

— Верно,— согласилась она.

— Так вот, возвращайтесь в гостиную и продолжайте кокетничать с его превосходительством.

— Право, я только сегодня вечером настоящим образом узнала вас. В вас нет ни капли пошлости.

— Итак, мы с вами старые друзья, мы отказываемся от нежных вздохов и скучной любви и решаем отнестись к этому вопросу, как относились во времена Регентства, когда люди были очень умны.

— Вы действительно человек сильный, и я восхищаюсь вами,— сказала она, улыбнувшись и протянув ему руку.— И вы увидите, что для друга можно сделать больше, чем для...

Она не докончила и удалилась.

«Милая детка,— подумал де Люпо, глядя, как она направляется к министру,— у де Люпо уже нет никаких угрызений совести, и он может спокойно обратиться против тебя! Завтра вечером, протягивая мне чашку чая, ты предложишь то, чего я уже не захочу... Все кончено! Ах, когда нам сорок лет, женщины только надувают нас, а о любви нечего и думать!»

Прежде чем вернуться в гостиную, он поглядел на себя в зеркало и решил, что еще очень хорош для политического деятеля, но в служители Киферы совершенно не годится.

В это время г-жа Рабурден собралась уезжать. Весь вечер она была озабочена тем, чтобы оставить у каждого из присутствующих чарующее воспоминание о своей особе, и это ей удалось. Вопреки обыкновению, установившемуся в великосветских гостиных, как только за нею закрылась дверь, все единодушно решили: «Что за прелестная женщина!» — а министр пошел проводить ее до самого выхода.

— Я уверен, что завтра у вас будет повод вспомнить обо мне,— сказал его превосходительство супругам Рабурденам, намекая на предстоящее назначение мужа.

— У крупных чиновников так редко бывают приятные жены, что я очень рад нашему новому приобретению,— заявил министр, вернувшись к гостям.

— А вы не находите, что она несколько навязчива? — спросил де Люпо.

Женщины многозначительно переглянулись: их забавляло соперничество между министром и его секретарем.

Тогда последовала одна из тех игривых мистификаций, на которые парижанки такие мастерицы. Занявшись г-жой Рабурден, дамы решили подразнить министра и де Люпо: одна нашла ее слишком жеманной и притязающей на остроумие; другая, чтобы покритиковать Селестину, принялась сравнивать любезность буржуазок с манерами представительниц высшего света. А де Люпо защищал свою мнимую возлюбленную, как в гостиных защищают своих врагов:

— Но все-таки нужно отдать ей справедливость, сударыни, разве не удивительно, что дочь оценщика так хорошо держится! Вспомните, кем она была и кем стала. И она-то будет принята в Тюильри — по крайней мере претендует на это, она мне сама говорила.

— Если она и дочь оценщика,— сказала г-жа д'Эспар улыбаясь,— то чем это может помешать повышению ее мужа?

— В наше время, не правда ли? — вставила супруга министра, поджав губы.

— Сударыня,— строго заметил министр маркизе,— подобными суждениями, от которых, к несчастью, двор никого не в силах оградить, подготовляются революции. Вы не поверите, насколько несдержанность аристократии вызывает недовольство некоторых дальновидных особ из придворных кругов. Будь я вельможей, а не мелким провинциальным дворянином, занимающим этот пост, кажется, только чтобы устраивать ваши дела, монархия не была бы так непрочна. Но на какое же будущее может надеяться престол, не умеющий сообщить свой блеск тем, кто его представляет? Прошли те времена, когда король одним актом своей воли возвеличивал таких людей, как Лувуа, Кольбер, Ришелье, Жаннен, Вильруа, Сюлли... Да, когда Сюлли начинал, он был таким же скромным дворянином, как и я. Говорю все это оттого, что мы в своем кругу, и я был бы ничтожеством, если бы меня шокировали те мелочи, о которых вы упоминали. Не другие, а мы сами должны подымать себя на высоту.

— Ты назначен, дорогой,— сказала Селестина, сжимая руку мужа.— Не будь там де Люпо, я бы уже изложила министру твой план; но я наверстаю это в сле-

дующий вторник, и ты, может быть, скорее станешь докладчиком Совета.

В жизни каждой женщины найдется такой день, когда она сияет полным блеском, день этот остается жить в ее памяти навсегда, и она в мыслях охотно возвращается к нему. Пока г-жа Рабурден снимала с себя одни за другими свои украшения, она представила себе снова то, что произошло у министра, и отнесла этот день к самым славным и счастливым дням своей жизни. Женщины завистливым оком смотрели на все ее красы, жена министра похвалила ее и была очень довольна, что Селестина затмила ее приятельниц. Наконец, все эти суетные утехи послужили на пользу супружеской любви: Рабурден назначен!

— Разве не была я хороша сегодня вечером? — спросила она мужа, словно желая его расшевелить.

А в это время Митраль поджидал в кофейне «Фемида» обоих ростовщиков, увидел их наконец, но ничего не мог прочесть на их бесстрастных лицах.

— Ну, как дела? — спросил он, когда все уселись за стол.

— Как и всегда, победили деньги! — потирая руки, отозвался Жигонне.

— Верно,— сказал Гобсек.

Митраль нанял кабриолет и поехал к Сайярам и Бодуайе. Бостон у них затянулся, но из посторонних остался только аббат Годрон. Фалейкс, до смерти уставший, отправился спать.

— Вы будете назначены, племянник, и вам готовится еще сюрприз в придачу.

— Какой? — спросил Сайяр.

— Орден! — воскликнул Митраль.

— Господь помогает тем, кто помнит о его алтарях,— заявил Годрон.

Таким образом, в обоих лагерях одинаково ликовали и пели хвалу всевышнему.

На другой день, в среду, Рабурдену предстояло работать с министром, так как со времени болезни покойного ла Биллардиера Рабурден замещал начальника

отделения. Все эти дни чиновники являлись на службу с необычной точностью, а канцелярские служители были отменно предупредительны, ибо при новых назначениях обычно в канцеляриях царит всеобщее смятение, хотя почему именно — никто не скажет.

Итак, все три канцелярских служителя были на месте, они надеялись получить наградные; стараниями де Люпо слух о назначении Рабурдена распространился еще накануне.

Дядюшка Антуан и его племянник Лоран облеклись с утра в парадную форму; в восемь часов без четверти явился курьер и попросил Антуана незаметно передать Дютоку пакет от секретаря министра, который де Люпо велел делопроизводителю отнести еще к семи часам утра.

— Сам не знаю, братец, как это случилось,— я спал, спал без памяти и только сейчас проснулся. Он мне задаст чертовскую головомойку, коли узнает, что я вовремя не снес пакет; только молчите, а уж я уверю его, что сам передал его господину Дютоку. Это страшный секрет, папаша Антуан; смотрите, ни слова никому из чиновников; обещайте! Если он узнает, что я проболтался, он выгонит меня, и я потеряю место, он сам так сказал.

— А что же там написано? — спросил Антуан.

— Ничего. Я и так и этак смотрел, видите?

И он слегка приоткрыл конверт, но не было видно ничего, кроме чистой бумаги.

— Сегодня у вас особый денек, Лоран,— сказал курьер,— получите нового начальника. Видно, и вправду решили наводить экономию: соединяют два отделения, будет один директор над ними, теперь могут и до служителей добраться!

— Да, девять чиновников вынуждены подать в отставку,— сказал, входя, Дюток.— А откуда вы-то пронюхали?

Антуан вручил ему письмо, и едва Дюток открыл его, как чуть не скатился по лестнице, пустившись бегом к секретарю министра.

Когда ла Биллардиер наконец умер, чиновники Рабурдена и Бодуайе, наговорившись вдоволь об этом событии, постепенно вернулись к повседневной жизни

и к своим привычкам административного dolce far niente[1]. Все же приближался конец года, и это вызывало у них некоторое трудолюбивое усердие, так же как вызывало у швейцаров елейное раболепство. Каждый являлся вовремя, многие задерживались и после четырех часов, ибо наградные сильно зависят от впечатления, которое произведешь на своего начальника за самые последние дни. Весть о слиянии двух отделений, ла Биллардиера и Клержо, в одно управление под новым названием взбудоражила всех чиновников. Было известно, сколько человек подлежит увольнению, но кто именно — еще не знали. Высказывались догадки, что на место Пуаре никого не назначат — таким образом, его должность упразднялась. Молодой ла Биллардиер ушел сам. Но только что поступили два новых сверхштатных писца, и — о ужас! — они были сыновьями депутатов. Слух о сокращениях, распространившийся с вечера, в то время когда чиновники уже собирались уходить, поверг их в ужас. Поэтому, придя на следующее утро, они добрых полчаса провели около печек в оживленных разговорах. Дюток явился раньше всех и отправился к де Люпо, которого застал за туалетом; продолжая бриться, секретарь министра взглянул на него — такой взгляд бросает генерал перед тем, как отдать приказ.

— Мы одни? — спросил де Люпо.

— Да, сударь.

— Итак, начинайте поход против Рабурдена, смело и решительно. Вы, конечно, оставили у себя копию его проекта?

— Оставил.

— Вы понимаете меня? Inde irae![2]. Нам нужно вызвать против него всеобщее возмущение. Придумайте что-нибудь, чтобы все возопили.

— Я могу заказать карикатуру, но у меня нет пятисот франков, чтобы заплатить за нее...

— А кто ее сделает?

— Бисиу.

— Получит тысячу и будет помощником Кольвиля, этот с ним поладит.

---

[1] Сладостного безделия *(итал.)*.

[2] Отсюда — гнев *(лат.)*.

— Но он же не поверит мне.

— А вы что, намерены меня компрометировать? Принимайтесь за дело, иначе ничего не получите.

— Если господин Бодуайе назначается директором, он мог бы одолжить эту сумму...

— Да, назначается. А теперь оставьте меня; поторопитесь и не показывайте вида, что мы с вами встретились, спуститесь по боковой лестнице.

В то время как Дюток возвращался в канцелярию, трепеща от радости и придумывая средство возбудить, не слишком себя компрометируя, всеобщий ропот против своего начальника, Бисиу побежал навестить рабурденцев. Считая свою игру проигранной, этот мистификатор решил позабавиться и держаться так, словно он выиграл.

Бисиу (*подражая голосу Фельона*). Господа, кланяюсь вам и всех приветствую. Назначаю на будущее воскресенье обед в «Роше-де-Канкаль»; но нужно решить один важный вопрос: уволенные чиновники участвуют или нет?

Пуаре. Конечно, и даже те, кто уходит в отставку!

Бисиу. Мне-то решительно все равно, ведь не я плачу. (*Всеобщее изумление.*) Назначен Бодуайе, и мне уже не терпится услышать, как он зовет Лорана (*передразнивает Бодуайе*).

Спрячь под замок, Лоран, мой бич и власяницу.

(*Взрыв хохота.*)

«*Гуся бей!*» Кольвиль прав со своими анаграммами. Ведь вам известна анаграмма «Ксавье Рабурдена, начальника канцелярии». Будь я Карлом Десятым, я бы трепетал, как бы и моя судьба, предсказанная анаграммой, не исполнилась столь же неукоснительно.

Тюилье. Что вы? Смеетесь?

Бисиу (*расхохотавшись ему прямо в лицо*). Смехом урода крой. Мехом урода скрой. Шутка недурна, папаша Тюилье, ибо вы далеко не красавец. От злости, что назначен Бодуайе, Рабурден подает в отставку.

Вим е (*входя*). Что за комедия! Я пошел вернуть свой долг Антуану — тридцать — сорок франков,— и

он рассказал мне, что супруги Рабурдены вчера были на интимном вечере у министра и уехали только без четверти двенадцать. Его превосходительство проводил госпожу Рабурден до самой лестницы; говорят, она была одета божественно. Словом, сомнений нет — Рабурден назначен директором. Рифе, экспедитор стола личного состава, работал ночь напролет, чтобы все подготовить: теперь это назначение уже не тайна. Господин Клержо подал в отставку. После тридцати лет службы это нельзя считать увольнением. Господин Кошен богат...

Б и с и у. Если верить Кольвилю, он торгует кошенилью.

В и м е. Ну, конечно, кошенилью, ведь он же компаньон Матифá, владельца фирмы на улице Ломбардцев. Так вот, он тоже уходит. Пуаре уходит. И на их места никого не берут. Назначение господина Рабурдена состоится сегодня утром... но опасаются интриг...

Б и с и у. Каких интриг?

Ф л е р и. Ну, со стороны Бодуайе, конечно! Клерикальная партия поддерживает его; а вот еще статья в газете либералов: всего несколько строк, но презабавно. *(Читает.)* «Вчера в фойе Итальянской оперы поговаривали о возвращении господина Шатобриана в министерство, эти слухи вызваны тем, что место, предназначенное господину Бодуайе, получает господин Рабурден, которому покровительствуют друзья высокородного виконта. Ясно, что клерикальная партия могла отступить только в результате соглашения с прославленным писателем». Негодяи!

Д ю т о к *(подслушавший этот разговор, входит)*. Кто это негодяи? Рабурден? А, так вы уже знаете новость?

Ф л е р и *(свирепо вращает глазами)*. Рабурден?! Негодяй?! Да вы спятили, Дюток, не хотите ли пулю в лоб — авось поумнеете!

Д ю т о к. Я ничего не сказал против господина Рабурдена, но мне во дворе сейчас шепнули, что он донес на многих чиновников, сообщил всякие сведения о них — словом, заслужил благоволение начальства каким-то исследованием, в котором всех нас опорочил...

Ф е л ь о н *(решительно)*. Господин Рабурден не способен...

Б и с и у. Каково! А? Скажите, Дюток... *(Они шепчутся и выходят в коридор.)* Что случилось?

Д ю т о к. Вы помните насчет карикатуры?

Б и с и у. Помню, ну и что же?

Д ю т о к. Нарисуйте ее! Вы будете назначены помощником начальника канцелярии и получите щедрое вознаграждение. Видите ли, дорогой, в высших сферах происходят раздоры: министр связал себя, он обещал место Рабурдену; но если он не назначит Бодуайе, то поссорится с духовенством. Разве вы не знаете? Король, дофин, его супруга, Церковное управление по раздаче подаяний — словом, двор хочет Бодуайе, а министр хочет Рабурдена.

Б и с и у. Так! Что же дальше?

Д ю т о к. Министр понял, что придется уступить, но все это не так просто, нужно найти повод, чтобы отделаться от Рабурдена. И вот откопали какой-то старый его труд, где он обследует весь персонал административных управлений, чтобы очистить его,— и кое-какие страницы уже ходят по рукам. По крайней мере я так объясняю себе всю эту историю. Нарисуйте карикатуру, вмешайтесь в эту большую игру, окажите услугу министерству, двору, всем власть имущим — и вы получите повышение. Понимаете?

Б и с и у. Не понимаю, каким образом вы могли все это узнать,— да уж не сочиняете ли вы?

Д ю т о к. Хотите, я покажу вам, что написано о вас?

Б и с и у. Покажите.

Д ю т о к. Тогда приходите ко мне, я хочу отдать этот документ в верные руки.

Б и с и у. Идите к себе, я приду потом. *(Возвращается в канцелярию рабурденцев.)* Дюток лишь подтвердил мне то, что я рассказывал вам,— уверяю вас! Господин Рабурден, предлагая некоторые преобразования, дал якобы весьма нелестные отзывы о чиновниках. Вот в чем тайна его возвышения. Мы живем в такое время, когда ничему уже не удивляешься. *(Став в позу Тальма.)*

Прославленных голов мы видели паденье.
Так почему ж, глупцы, пришли вы в изумленье?

Нами могут пожертвовать ради успеха! Нет, Бодуайе слишком глуп, чтобы преуспевать с помощью подоб-

ных средств! Примите мои поздравления, господа, у вас отменный начальник! *(Выходит.)*

Пуаре. Видно, мне суждено уйти из министерства, так и не поняв ни слова из того, что говорит этот господин. К чему он вспомнил про головы?

Флери. Ну, ясно, черт возьми! Он имел в виду четырех сержантов Ла-Рошели, Бертона, Нея, Карона, братьев Фоше — словом, всех казненных!

Фельон. Он легкомысленно распространяет весьма сомнительные слухи.

Флери. Скажите попросту, что он лжец, враль и что в его устах даже правда становится клеветой.

Фельон. Ваши слова нарушают правила вежливости и уважения друг к другу, обязательные между сослуживцами.

Вим е. Но я считаю, что если его слова — ложь, то он клеветник, диффаматор, а клеветника бьют хлыстом.

Флери *(оживляясь)*. И если канцелярия — общественное место, это дело прямо для полиции нравов.

Фельон *(желая предотвратить ссору, старается перевести разговор на другую тему)*. Успокойтесь, господа. Я работаю над новым маленьким трактатом о морали и как раз остановился на понятии души...

Флери *(прерывая его)*. И что же вы о ней говорите, господин Фельон?

Фельон *(читает)*. «*Вопрос*. Что такое душа человека?

Ответ. Духовное вещество, которое мыслит и рассуждает».

Тюильe. Сказать «духовное вещество» — все равно, что сказать «нематериальный камень».

Пуаре. Дайте же кончить...

Фельон *(продолжает)*. «*Вопрос*. Откуда происходит душа?

Ответ. Она происходит от бога, создавшего ее простой и неделимой, почему, следовательно, нельзя и допустить, что она может быть разрушена. И он сказал...»

Пуаре *(поражен)*. Бог?

Фельон. Да, сударь. Так утверждает предание.

Флери *(к Пуаре)*. Вы сами все время перебиваете!

Фельон *(продолжает)*. «И он сказал, что создал ее бессмертной, то есть что она никогда не умрет.

Вопрос. Для чего служит душа?

Ответ. Для того, чтобы постигать, желать и вспоминать, то есть иметь разумение, волю, память.

Вопрос. Для чего служит разумение?

Ответ. Для познания. Оно есть око души».

Флери. А душа — око чего?

Фельон *(продолжает).* «*Вопрос.* Что познается разумением?

Ответ. Истина.

Вопрос. Для чего человеку дана воля?

Ответ. Дабы любить добро и ненавидеть зло.

Вопрос. Что такое добро?

Ответ. То, что делает человека счастливым».

Вим е. И это предназначается для молоденьких барышень?

Фельон. Да. *(Продолжает.)* «*Вопрос.* Сколько есть видов добра?»

Флери. Все это как-то очень легкомысленно.

Фельон *(задетый).* Сударь! *(Успокаиваясь.)* Впрочем, вот и ответ. Я как раз дошел... *(Читает.)*

«*Ответ.* Есть два вида добра — добро вечное и добро временное».

Пуаре *(с презрительной гримасой).* И это будут раскупать?

Фельон. Смею надеяться. Необходимо большое напряжение ума, дабы установить правильную систему вопросов и ответов, вот почему я просил вас дать мне подумать, ибо в ответах вся соль...

Тюилье *(прерывая его).* Ну, тогда ответы можно продавать отдельно.

Пуаре. Это что, каламбур?

Тюилье. Да! Такие ответы пригодятся для засола капусты.

Фельон. Прошу прощения, что прервал вас. *(Снова погружается в свои папки с делами. Про себя.)* Но зато они совсем забыли о господине Рабурдене.

А в это время между де Люпо и министром происходил разговор, который решил судьбу Рабурдена. Перед завтраком де Люпо пришел в кабинет его превосхо-

дительства, предварительно убедившись в том, что ла Бриер их не может услышать.

— Ваше превосходительство не играет со мной в открытую...

«Ну вот, теперь мы поссоримся из-за того, что его любовница вчера пококетничала со мною»,— подумал министр.

— Я не ожидал, что вы такое дитя, дорогой друг,— сказал он.

— Друг? — подхватил секретарь министра.— А вот мы это сейчас узнаем.

Министр свысока посмотрел на де Люпо

— Мы одни — и можем объясниться. Депутат того округа, где находится мое поместье Люпо...

— А это в самом деле поместье? — спросил министр, смеясь, чтобы скрыть свое удивление.

— Да, я прикупил к своей усадьбе еще участки на двести тысяч франков,— небрежно бросил в ответ де Люпо.— Вам известно об уходе этого депутата уже десятый день, и вы не сочли своим долгом меня предупредить, хотя отлично знаете, что я хочу попасть в палату как член партии центра. А подумали вы о том, что я могу перейти на сторону доктринеров, которые поглотят и вас и монархию, если эта партия и в дальнейшем будет вербовать людей талантливых, не получивших признания? Известно ли вам, что в каждой нации наберется не больше пятидесяти — шестидесяти опасных вольнодумцев, ум которых равен их честолюбию? Умение управлять и состоит в том, чтобы найти их и либо отрубить их умные головы, либо купить этих людей. Не знаю, талантлив ли я, но честолюбив — бесспорно, и вы совершаете ошибку, не столковавшись с человеком, который желает вам добра. Коронование на миг всех ослепило, ну а потом?.. А потом опять пойдет словесная война, и споры, и речи, полные отравы... Что касается вас, то, смотрите, не загоните меня в левый центр, это будет некстати, поверьте мне! Несмотря на все ухищрения вашего префекта, которому, вероятно, даны тайные инструкции провалить меня, я все-таки получу большинство. Настала минута, когда нам необходимо до конца понять друг друга. Легкий удар по способу Жарнака иногда содействует укреплению дружбы. Мне дадут

графский титул, и за все мои заслуги, вероятно, не откажут в большом кресте Почетного легиона. Но эти возможности меня волнуют меньше, чем одно обстоятельство, имеющее прямое отношение к вам. Рабурден еще не назначен, а сегодня утром я получил сведения, что вы доставите удовольствие очень многим, если предпочтете ему Бодуайе.

— Бодуайе? — воскликнул министр.— Да вы ведь знаете ему цену!

— Знаю,— отвечал де Люпо,— но как только его неспособность станет очевидна, вы избавитесь от него, попросив тех, кто ему покровительствует, пристроить его в другом месте. Таким образом, вы сможете предоставить в распоряжение своих друзей хороший директорский пост, а те помогут вам отделаться от какого-нибудь обременительного честолюбца.

— Я обещал Рабурдену...

— Да, но я не предлагаю вам сегодня же изменить ваше решение. Я знаю, как опасно говорить «да» и «нет» в один и тот же день. Отложите все назначения до послезавтра. А послезавтра вы сами придете к выводу, что сохранить Рабурдена невозможно; впрочем, вы получите от него самого прошение об отставке.

— Прошение об отставке?!

— Да.

— Почему?

— Он — орудие каких-то тайных сил, для которых широко занимался шпионажем во всех министерствах, и все случайно открылось, об этом везде идут разговоры; чиновники в ярости. Ради бога, не работайте сегодня с ним, позвольте мне избавить вас от этого под каким-нибудь предлогом. Отправляйтесь к королю во дворец, я уверен, что там многие будут довольны вашей уступкой относительно Бодуайе, и вы, бесспорно, добьетесь коечего взамен. А впоследствии никто вам не помешает прогнать этого болвана, ибо вы действуете, так сказать, по приказу свыше.

— Кто заставил вас так резко изменить свое отношение к Рабурдену?

— Разве вы стали бы помогать Шатобриану писать статью против министерства? Ну вот, прочтите, например, как Рабурден в своем исследовании аттестует ме-

ня,— сказал де Люпо, протягивая министру листки рукописи.— Он создал план целой системы управления, вероятно, в интересах какого-то сообщества, которое нам неизвестно. Я сохраню с ним дружеские отношения, чтобы следить за ним; мне кажется, я окажу этим большую услугу, за которую получу звание пэра (ибо стать пэром — единственный предмет моих желаний). Будьте уверены, что я не жажду ни министерского поста, ни чего бы то ни было, что могло бы затронуть ваши интересы; я мечу только в пэры, это даст мне возможность жениться на дочери какого-нибудь банкира, которая принесет мне двести тысяч ежегодного дохода. Поэтому дайте мне повод оказать правительству незабываемую услугу, чтобы королю было доложено обо мне как о спасителе престола. Я уже давно утверждаю, что либерализм больше не будет давать нам регулярных сражений; он отказался от заговоров, от карбонаризма, от вооруженных восстаний, он уже ведет подкоп и готовится к решительному перевороту, чтобы заявить: «Убирайся, я сяду на твое место!» Неужели вы думаете, что я сделался поклонником жены какого-то Рабурдена ради собственного удовольствия? Ничуть! У меня уже были кое-какие сведения! Итак, я обращаюсь к вам сегодня с двумя просьбами: отложите назначение и искренне содействуйте моему избранию. Вы увидите, к концу сессии я вам с лихвой заплачу мой долг!

Вместо ответа министр протянул ему список готовых назначений.

— Итак, я пошлю сказать Рабурдену, что вы откладываете встречу с ним до субботы,— сказал де Люпо.

Министр кивнул в знак согласия. Вскоре во дворе показался министерский курьер. Он явился к Рабурдену и предупредил его, что занятия с министром переносятся на субботу, когда палата рассматривает только ходатайства и министр свободен целый день.

Именно в эту минуту Сайяр и ввернул в разговоре с женою министра заранее приготовленную фразу, на которую та с достоинством отвечала, что не вмешивается в государственные дела, но, впрочем, слышала, будто бы г-н Рабурден уже назначен. Сайяр в ужасе поднялся к Бодуайе, где оказались Дюток, Годар и Бисиу; все четверо были в неописуемом исступлении, ибо заня-

ты были чтением беспощадных строк, в которых Рабурден давал оценку чиновникам канцелярии.

Бисиу (*тыча пальцем в какую-то строку*). А вот и про вас тут есть, папаша Сайяр:

«*Сайяр*. Кассы следует упразднить во всех министерствах, каковые должны иметь текущие счета в казначействе. Сайяр богат и в пенсии совершенно не нуждается».

Хотите посмотреть, что говорится о вашем зяте? (*Листает рукопись.*) Вот:

«*Бодуайе*. Совершенно неспособен. Уволить без пенсии. Богат».

А наш друг Годар? (*Листает рукопись.*)

«*Годар*. Уволить. Дать пенсию, равную одной трети его оклада».

Словом, все мы тут. Я, видите ли, «артистическая натура», мне рекомендуется работать для Оперы, для Меню-Плезир, для Музеума, оплата из средств цивильного листа. «Очень одарен, нет выдержки, к усидчивому труду неспособен, характер беспокойный». Ну подожди, я припомню тебе эту «артистическую натуру»!

Сайяр. Упразднить всех кассиров? Чудовищно!

Бисиу. А что он пишет относительно нашего загадочного Деруа?

«*Деруа*. Человек опасный тем, что непоколебимо верен принципам, враждебным всякой монархической власти. Будучи сыном члена Конвента, восхищается Конвентом и может стать опасным публицистом».

Бодуайе. Даже полицию перещеголял!

Годар. Я подам через секретаря министра жалобу по всей форме; если подобный человек будет назначен, мы все должны уйти в отставку.

Дюток. Послушайте меня, господа! Если мы сейчас взбунтуемся,— скажут, что мы сводим личные счеты! Нет, вы лучше потихоньку распустите слухи. А когда все министерство возмутится, тогда ваши действия будут всеми одобрены.

Бисиу. Дюток хочет действовать по принципам знаменитой арии дона Базилио, созданной великим Россини и свидетельствующей о том, что прославленный

композитор был также незаурядным политиком! Предложение Дютока кажется мне разумным и уместным. Я намерен завезти Рабурдену завтра утром мою визитную карточку; на ней будет напечатано: «Бисиу», а внизу: «Нет выдержки, к усидчивому труду неспособен, характер беспокойный».

Годар. Это хорошая мысль, господа! Давайте все закажем такие же карточки, и пусть Рабурден получит их завтра утром.

Бодуайе. Господин Бисиу, возьмите на себя это небольшое поручение, но позаботьтесь, чтобы все клише были уничтожены сразу же после оттиска.

Дютоk (*отводя Бисиу в сторону*). Ну как, теперь вы согласны нарисовать шарж?

Бисиу. Я понимаю, милейший, вы все это знали уже десять дней тому назад. (*Пристально смотрит ему в глаза.*) А помощником правителя канцелярии я буду?

Дютоk. Даю честное слово! Да еще получите тысячу франков в придачу, как я обещал. Вы и не подозреваете, какую окажете услугу особам весьма могущественным.

Бисиу. А вам они известны?

Дютоk. Да.

Бисиу. Только я хочу сам переговорить с ними.

Дютоk (*сухо*). О чем тут разговаривать? Сделаете рисунок — будете помощником правителя канцелярии, не сделаете — не будете.

Бисиу. Итак, действуйте! Завтра же карикатура будет ходить по рукам. Давайте дразнить рабурденцев. (*Обращаясь к Сайяру, Годару и Бодуайе, которые разговаривают друг с другом шепотом.*) Идемте, расшевелим соседей. (*Выходит вместе с Дютоком и появляется в канцелярии Рабурдена. Увидев его, Флери, Тюильe и Виме оживляются.*) Что вы переполошились, господа? Я был совершенно прав; вы можете убедиться в гнусном предательстве, вам это подтвердит добродетельный, честный, почтенный, благочестивый и праведный Бодуайе, который, уж конечно, не способен ни в какой степени на подобное ремесло. Ваш начальник придумал настоящую гильотину для чиновников, никаких сомнений, пойдите полюбуйтесь! Не отставайте от других! Если публика останется недовольна, можно не платить,

наслаждайтесь своим несчастьем бесплатно! Поэтому-то назначения и отложены. Во всех канцеляриях чиновники волнуются, Рабурдена сейчас предупредили, что министр сегодня не будет с ним работать. Ну, идите же!

Фельон и Пуаре одни остались в канцелярии. Первый слишком любил Рабурдена и не спешил удостовериться в том, что могло опорочить человека, которого он не хотел судить; второму оставалось прослужить всего пять дней. В эту минуту в канцелярию спустился Себастьен, взять бумаги на подпись. Он был очень удивлен, что в канцелярии пусто, но промолчал.

Фельон. Знаете ли вы, мой юный друг (*встает, хотя это не в его обыкновении*), что у нас творится, какие слухи ходят относительно господина Рабурдена, которого вы так любите (*шепотом на ухо Себастьену*) и которого я люблю и почитаю? Говорят, он совершил неосторожность и оставил в канцелярии свой труд о чиновниках... (*Фельон не договаривает фразы и поддерживает дрожащими руками Себастьена, который становится белее полотна и в изнеможении опускается на стул.*) Приложите ему ключ к спине, судáрь. Есть у вас ключ?

Пуаре. При мне всегда ключ от моей квартиры.

(*Старик Пуаре-младший сует ключ за воротник Себастьену, а Фельон заставляет молодого человека выпить стакан холодной воды. Бедный юноша, наконец, приходит в себя, но тут же заливается горючими слезами. Он опускает голову на стол Фельона, бессильно поникнув, точно сраженный молнией, и рыдает так горько, так безутешно, так неудержимо, что в первый раз за всю свою жизнь Пуаре взволнован чужим горем.*)

Фельон (*стараясь придать своему тону решительность*). Полно, полно, мой юный друг! Мужайтесь. В серьезные минуты мужество необходимо. Ведь вы мужчина. Что случилось? И почему это так потрясло вас?

Себастьен (*рыдая*). Я, я погубил господина Рабурдена! Я переписывал проект и оставил его здесь, я — убийца своего благодетеля, я больше не могу жить! Такой человек! Он был бы министром!

Пуаре (*сморкаясь*). Значит, он действительно написал этот доклад?

Себастьен. Но ведь только для того, чтобы... Ну вот, я в довершение всего чуть было не выдал тайны! Ах, подлый Дюток! Это он выкрал...

Слезы и рыдания Себастьена возобновились с такой силой, что Рабурден услышал их из своего кабинета, узнал голос молодого человека и поднялся наверх. Когда он вошел в канцелярию, Себастьен был в полуобморочном состоянии; его, точно Иисуса при снятии с креста, поддерживали Фельон и Пуаре, стоявшие по обе стороны в позе жен-мироносиц, с искаженными жалостью лицами.

Рабурден. Что случилось, господа?

(Себастьен вдруг выпрямляется, затем падает на колени перед Рабурденом.)

Себастьен. Это я погубил вас, сударь! Дюток показывал всем ваш проект, он его, наверно, выкрал!

Рабурден *(спокойно)*. Я знаю. *(Поднимает Себастьена и ведет его к дверям.)* Вы — дитя, мой друг. *(К Фельону.)* Где господа чиновники?

Фельон. Они отправились, судáрь, в кабинет господина Бодуайе, чтобы посмотреть исследование, якобы...

Рабурден. Довольно.

(Выходит, обняв Себастьена. Пуаре и Фельон онемели от изумления.)

Пуаре *(к Фельону)*. Господин Рабурден?!

Фельон *(к Пуаре)*. Господин Рабурден?!

Пуаре. Вы подумайте! Господин Рабурден?!

Фельон. Но вы заметили, как спокойно и достойно он держался, несмотря ни на что?

Пуаре *(состроив хитрую мину, похожую на гримасу)*. Меня не удивит, если окажется, что под этим что-то кроется...

Фельон. Человек чести, чистый, без единого пятна!

Пуаре. А этот Дюток?

Фельон. Судàрь, мы насчет Дютока совершенно того же мнения; ведь вы меня понимаете?

Пуаре *(несколько раз кивает головой и произносит с многозначительным видом)*. Да.

(Все чиновники возвращаются.)

Флери. Строгая критика, ничего не скажешь. Я читал — и не верил своим глазам! Господин Рабурден! Лучший из людей! Если среди таких людей находятся шпионы, то к добродетели можно почувствовать отвращение. А я видел в Рабурдене одного из героев Плутарха.

Вим е. О да, это верно!

Пуаре *(он знает, что ему осталось служить всего пять дней!)*. Но что вы скажете, господа, о человеке, который украл этот труд, выследил господина Рабурдена?

(Дюток выходит.)

Флери. Он Иуда Искариотский. А кто это сделал?

Фельон *(лукаво)*. Среди нас его сейчас нет.

Вим е *(догадавшись)*. Это Дюток!

Фельон. Доказательств, судàрь, я не видел. Но пока вас здесь не было, этот молодой человек, господин де ла Рош, чуть не помер. Да вот, на моем столе еще не высохли его слезы.

Пуаре. Он потерял сознание, мы держали его на руках. А ключ-то! Ключ от моей квартиры! Ах, ведь ключ остался у него за воротником. *(Пуаре выходит.)*

Вим е. Министр не пожелал работать сегодня с Рабурденом, а господин Сайяр, которому начальник личного стола шепнул словечко, пришел предупредить господина Бодуайе,— пусть подает просьбу о награждении его орденом Почетного легиона; к новому году на отделение дали один орден, и его получит господин Бодуайе. Вы понимаете? Господина Рабурдена принесли в жертву даже те, кто пользовались его услугами. Вот что говорит Бисиу. Нас всех должны были уволить, за исключением Фельона и Себастьена.

Дю Брюэль *(входит)*. Что же, господа, это правда?

Тюильe. Совершеннейшая правда.

Дю Брюэль *(снова надевает шляпу)*. Прощайте, господа. *(Выходит.)*

Тюильe. Наш водевилист не очень-то любит

пальбу! Он отправился к герцогу де Реторе, к герцогу де Мофриньезу; ну и пусть побегает! Говорят, начальником у нас будет Кольвиль.

Фельон. А ведь, казалось, он любил господина Рабурдена.

Пуаре *(входит)*. С великим трудом удалось мне раздобыть ключ от моей квартиры; этот малыш все еще ревет, а Рабурден исчез неведомо куда.

(Входят Дюток и Бисиу.)

Бисиу. Ну, господа, страшные дела творятся в вашей канцелярии. Где дю Брюэль? *(Заглядывает в кабинет.)* Ушел.

Тюильe. Хлопочет.

Бисиу. А Рабурден?

Флери. Исчез! Растаял! Испарился! Подумать только, лучший из людей!

Пуаре *(к Дютоку)*. Этот сраженный горем юноша обвиняет вас в том, господин Дюток, что вы десять дней тому назад взяли рукопись Рабурдена...

Бисиу *(глядя на Дютока)*. Вам нужно оправдаться в подобном обвинении, милейший!

Дюток. Где этот змееныш, который ее переписывал?

Бисиу. А откуда вы знаете, что он переписывал? Помните, что только алмазом полируют алмаз.

(Дюток уходит.)

Пуаре. Послушайте, господин Бисиу, мне остается пробыть на службе всего пять с половиной дней, и мне хотелось бы хоть один раз, один-единственный раз иметь удовольствие вас понять. Окажите мне честь и объясните, при чем здесь алмаз...

Бисиу. А вот при чем, папаша, — разок я, так и быть, снизойду до вас: подобно тому, как лишь алмаз может резать алмаз, лишь зоркий одолеет зоркого.

Флери. Он говорит «зоркий» вместо «шпион».

Пуаре. Я не понимаю...

Бисиу. Ну, поймете в другой раз.

Господин Рабурден поспешил к министру. Министр был в палате депутатов. Рабурден отправился в палату

и послал министру записку. Министр в это время был на трибуне, поглощенный жарким спором. Рабурден остался, но не в зале совещаний, а во дворе, решив, несмотря на холод, ждать его превосходительство возле кареты, чтобы поговорить, когда тот будет садиться в нее. Служитель сообщил ему, что министр участвует в схватке, вызванной выступлением девятнадцати представителей крайней левой, и что заседание очень бурное. Рабурден, охваченный мучительным волнением, ходил по двору; он прождал пять бесконечных часов. В половине седьмого потянулись вереницей члены палаты; вышел егерь министра и сказал кучеру:

— Эй, Жан, его превосходительство уехали с военным министром; они будут у короля, а потом вместе обедают. Мы поедем за барином к десяти часам, у него вечером совещание.

Рабурден вернулся домой, еле волоча ноги; легко представить себе, как он был подавлен. Было уже семь часов. Он едва успел переодеться.

— Ну, ты назначен! — радостно воскликнула его жена, когда он появился в гостиной.

Рабурден откинул голову — в этом движении была жестокая печаль — и ответил:

— Боюсь, что моей ноги уже не будет в министерстве.

— Что случилось? — спросила жена с отчаянной тревогой.

— Моя докладная записка о чиновниках ходит по рукам, а мне так и не удалось поговорить с министром!

Перед Селестиной вдруг пронеслась картина ее последней встречи с де Люпо, и словно некий демон открыл ей при вспышке адской молнии все значение их разговора. «Если бы я повела себя как пошлая мещанка, место было бы за нами»,— подумала Селестина.

Она смотрела на Рабурдена почти с болью. Наступило горестное молчание; за обедом оба сидели безмолвно, погруженные в свои мысли.

— А тут еще сегодня наша среда,— заметила она.

— Не все пропало, дорогая,— сказал Рабурден, целуя жену в лоб,— быть может, завтра мне удастся поговорить с министром, и все разъяснится. Себастьен вче-

ра просидел всю ночь, копии закончены и сверены, я положу свою работу на стол министру и попрошу прочесть ее. Ла Бриер посодействует мне. Человеку не выносят приговор, не выслушав его.

— Хотела бы я знать, будет ли у нас сегодня господин де Люпо?

— Этот? Можешь быть уверена, что явится,— отвечал Рабурден.— Он хищник, он, как тигр, любит слизывать кровь с той раны, которую нанес!

— Бедный друг мой,— продолжала Селестина, беря его за руку,— я не понимаю, как создатель столь мудрого плана реформ мог упустить из виду, что посвящать в свой замысел никого нельзя. Такие замыслы человек таит про себя, ибо только он один знает, как применить их в жизни. Тебе следовало в своей сфере поступить так же, как Наполеон поступал в своей: он гнулся, извивался, ползал! Да, Бонапарт ползал! Чтобы стать главнокомандующим, он женился на любовнице Барраса. Тебе надо было выждать, добиться депутатства, следовать всем поворотам политики, то погружаться на морское дно, то подниматься на хребте волны и, подобно господину Виллелю, взять себе девизом итальянскую поговорку: «col tempo!» [1], что означает: «Все приходит в свое время для того, кто умеет ждать». Этот оратор, стремясь к власти, семь лет держал ее на прицеле и начал в 1814 году с протеста против хартии,— он был тогда в твоем возрасте. Вот где твоя ошибка! Ты подчинялся, хотя создан, чтобы повелевать.

Приход художника Шиннера заставил умолкнуть и жену и мужа; слова Селестины побудили Рабурдена призадуматься.

— Дорогой друг,— сказал Шиннер, пожимая руку чиновнику,— преданность художника довольно бесполезна, но в подобных случаях мы, люди искусства, остаемся верны своим друзьям. Я видел вечернюю газету. Бодуайе назначен директором и награжден орденом Почетного легиона...

— Меж тем, как я прослужил дольше всех, целых двадцать четыре года,— отвечал, улыбаясь, Рабурден.

— Я довольно хорошо знаком с графом де Серизи,

---

[1] Со временем! *(итал.)*.

министром; если вы хотите прибегнуть к его покровительству, я могу съездить к графу,— предложил Шиннер.

Гостиная постепенно наполнялась гостями, которые были не в курсе всех этих административных перемен. Дю Брюэль не пришел. Г-жа Рабурден была вдвое веселей и любезней, чем обычно,— так конь, раненный в сражении, находит в себе силы нести своего всадника.

— Она все же держится очень мужественно,— заметили некоторые из дам и, видя ее в несчастье, были с ней особенно ласковы.

— Однако же де Люпо пользовался ее особой благосклонностью,— сказала баронесса дю Шатле виконтессе де Фонтэн.

— Вы полагаете, что...

— Но тогда господин Рабурден получил бы хоть орден! — сказала г-жа де Кан, желавшая защитить свою приятельницу.

Около одиннадцати появился де Люпо, и состояние его можно описать в двух словах: очки его были грустны, а глаза веселы. Однако стекла так хорошо скрывали взор, что только физиономист мог бы заметить их дьявольский блеск. Де Люпо подошел к Рабурдену и пожал ему руку, которую тот вынужден был протянуть.

— Нам нужно будет с вами поговорить,— сказал де Люпо и, сделав несколько шагов, уселся возле прекрасной г-жи Рабурден, которая приняла его как нельзя лучше.

— Прекрасно,— пробормотал он, искоса взглянув на нее,— вы несравненны, вы такая, какой я себе рисовал вас,— великая даже в несчастье! Знаете ли вы, как редко отвечает выдающаяся личность тому представлению, которое о ней создано? И вы правы, мы восторжествуем,— шепнул он ей на ухо.— Ваша судьба в ваших руках до тех пор, пока вашим союзником будет человек, который вас обожает. Мы все обсудим.

— Но Бодуайе действительно назначен? — спросила она.

— Да,— отвечал секретарь министра.

— Он получил орден?

— Еще нет, но получит.

— Так о чем же говорить?

— Вы не знаете, что такое политика.

Пока тянулся этот вечер, казавшийся г-же Рабурден бесконечным, в доме на Королевской площади разыгрывалась одна из тех комедий, какие можно наблюдать в большинстве парижских гостиных при каждой смене чиновников министерства. Гостиная Сайяров была переполнена. Супруги Трансоны прибыли в восемь часов. Г-жа Трансон обняла г-жу Бодуайе, *урожденную Сайяр*. Г-н Батай, капитан национальной гвардии, явился с супругой и в сопровождении кюре от св. Павла.

— Позвольте мне первой поздравить вас, господин Бодуайе,— возгласила г-жа Трансон,— ваши таланты оценены. Скажем прямо, вы честно заслужили повышение.

— Ну, вот вы и директор,— сказал Трансон, потирая руки,— для нашего квартала это большая честь.

— И, уж можно сказать, дело сделалось без всяких интриг! — воскликнул папаша Сайяр.— Да, мы-то не интриганы! Мы не бегаем по интимным вечерам министров.

Дядя Митраль, улыбаясь, потер себе кончик носа и взглянул на свою племянницу Елизавету, беседовавшую с Жигонне. Фалейкс не знал, что и подумать об этом наивном ослеплении папаши Сайяра и Бодуайе. Тут вошли господа Дюток, Бисиу, дю Брюэль, Годар и Кольвиль, назначенный правителем канцелярии.

— Что за рожи! — сказал Бисиу, обращаясь к дю Брюэлю.— Какую славную можно нарисовать карикатуру, изобразив их в виде скатов, дорад и слизняков, пляшущих сарабанду.

— Господин директор,— начал Кольвиль,— разрешите поздравить вас, или, вернее, поздравить нас, с тем, что вы будете во главе управления; мы пришли заверить вас, что со всяческим усердием поможем вам в ваших трудах.

Господин и госпожа Бодуайе, отец и мать нового директора, также присутствовали при этом и наслаждались славой, выпавшей на долю их сына и невестки. Бидо-Жигонне, пообедавший у Бодуайе, шнырял по сторонам своими юркими глазками, и от его взглядов Бисиу становилось не по себе.

— Ну и урод! — сказал художник дю Брюэлю.— Прямо для водевиля! И откуда такие берутся? Он так и просится на вывеску для «Двух китайских болванчи-

ков». А сюртук! Я думал, что только Пуаре может щеголять в одеянии десятилетней давности, столько претерпевшем от парижской непогоды.

— Бодуайе великолепен,— заметил дю Брюэль.

— Головокружителен! — согласился Бисиу.

— Господа,— обратился к ним Бодуайе,— вот мой родной дядя, господин Митраль, и мой двоюродный дед с жениной стороны, господин Бидо.

Жигонне и Митраль посмотрели на трех чиновников тем особым взглядом, в глубине которого поблескивает золото, и произвели должное впечатление на обоих насмешников.

— Каковы? — сказал Бисиу на обратном пути, вступая под аркады Королевской площади.— Вы внимательно рассмотрели этих двух Шейлоков? Держу пари, что они идут на Центральный рынок, чтобы пустить в оборот свои денежки из ста процентов в неделю. Они дают в долг под жалованье, торгуют старым платьем, позументом, сырами, женщинами и детьми; они — генуэзско-женевско-ломбардские арабо-евреи и к тому же еще парижане, вскормлены волчицей, а порождены турчанкой.

— Я слышал, что дядя Митраль был судебным приставом,— сказал Годар.

— Вот видите! — отозвался дю Брюэль.

— Я сейчас пойду проверить, как подготовлен литографский камень,— продолжал Бисиу,— но хотелось бы мне понаблюдать, что происходит сейчас в салоне господина Рабурдена. Вы — счастливчик, дю Брюэль, что можете туда пойти!

— Я? — удивился водевилист.— А что мне там делать? Мое лицо не пригодно для того, чтобы состроить соболезнующую мину. И потом, уж очень это безвкусно — паломничать к людям, получившим отставку.

В полночь гостиная г-жи Рабурден опустела, в ней остались только несколько гостей, де Люпо и хозяева дома. Когда Шиннер и Октав де Кан с женой тоже уехали, де Люпо поднялся с таинственным видом, повернулся спиной к часам и взглянул сначала на жену, потом на мужа.

— Друзья мои,— сказал он,— не думайте, что все пропало. Ведь мы с министром — ваши союзники. Дюток примкнул к той стороне, которая показалась ему сильнее.

Он действовал в угоду Церковному управлению и двору, он предал меня, но это в порядке вещей, политический деятель никогда не жалуется на предательство. Однако не пройдет и нескольких месяцев, как Бодуайе будет смещен, его, вероятно, переведут в полицейскую префектуру, ибо клерикалы не оставят его без поддержки.

Затем он произнес длинную тираду относительно Церковного управления по раздаче подаяний, относительно опасностей, которым подвергает себя правительство, опираясь на церковь, на иезуитов и т. п.

Однако нельзя не отметить, что и двор и Церковное управление, которым либеральные газеты приписывают такое влияние на исполнительную власть, весьма мало участвовали в назначении почтенного Бодуайе. Эти маленькие интриги, дойдя до высших сфер, просто тонули среди более важных интересов, из-за которых там шла борьба. И если кое-кто и замолвил словечко за Бодуайе, уступая навязчивости кюре от св. Павла и г-на Годрона, то это ходатайство было приостановлено первым же замечанием министра. Конгрегацией управляли только страсти, и все предавали друг друга... Тайная власть этого объединения — вполне, впрочем, допустимого при наличии дерзкого сообщества доктринеров, под названием «Помогай себе сам, и небо тебе поможет»,— казалась опасной только из-за того мнимого могущества, которое ей приписывали подначальные ей люди в пылу взаимных угроз. Да и либералам нравилось изображать в своих пересудах Церковное управление как некую гигантскую силу—политическую, административную, гражданскую и военную. Страх всегда будет создавать себе кумиры. В эту минуту Бодуайе верил в силу Церковного управления по раздаче подаяний, тогда как единственной «церковью», покровительствовавшей ему, были те благотворители, что обосновались в кофейне «Фемида». В иные эпохи бывают лица, учреждения, носители власти, которых обвиняют во всех несчастьях, не признавая за ними никаких достоинств, и в которых глупцы видят весь корень зла. И так же, как в свое время считалось, что г-н Талейран непременно должен по поводу каждого события сказать остроту, так в эти годы Реставрации полагали, что Церковное управление содействует или препятствует успеху любого начинания. К сожалению, оно не делало ни

того, ни другого. Ибо его влияние не определялось человеком, подобным кардиналу Ришелье или кардиналу Мазарини, но всего только фигурой, напоминавшей кардинала Флери: это лицо робело в течение пяти лет, осмелело на один день — и осмелело неудачно. Впоследствии доктринеры безнаказанно достигли при Сен-Мерри большего, чем Карл X намеревался достигнуть в июле 1830 года. И если бы не глупейшая статья о цензуре, включенная в новую хартию, у журналистов был бы тоже свой Сен-Мерри. Младшая ветвь вполне легально осуществила бы план Карла X.

— Имейте мужество остаться правителем канцелярии при Бодуайе,— продолжал де Люпо,— будьте истинным политическим деятелем; отбросьте все великодушные мысли и побуждения, замкнитесь в кругу своих служебных обязанностей; не говорите вашему директору ни слова, не давайте ему никаких советов, делайте только то, что он прикажет. Через три месяца Бодуайе будет вынужден уйти из министерства — его или уволят, или переведут в другую сферу административной деятельности. Может быть, в дворцовое ведомство. Мне дважды пришлось очутиться под лавиной глупости; я выжидал — пусть прокатится.

— Все это так,— сказал Рабурден,— но на вас не клеветали, не оскорбляли вашу честь, не позорили вас...

— Ха-ха-ха! — прервал его де Люпо взрывом гомерического хохота.— Да это же в нашей прекрасной Франции насущный хлеб любого выдающегося человека! К таким нападкам можно относиться двояко: или смириться, все бросить и сажать капусту; или быть выше и бесстрашно идти вперед, даже не оглянувшись.

— Я знаю только один способ развязать петлю, которую затянули у меня на шее шпионство и предательство,— отвечал Рабурден,— это немедленно объясниться с министром, и если вы действительно так искренне преданы мне, то вы ведь можете свести меня с ним завтра же!

— Вы хотите изложить ему ваш план административной реформы?

Рабурден наклонил голову.

— Ну что ж, доверьте мне ваши планы, ваши записки, и, клянусь вам, он просидит над ними всю ночь.

— Так идемте к нему вместе! — торопливо отвечал Рабурден.— После шестилетних трудов я, право же, заслужил хотя бы эти два-три часа, в течение которых министр будет вынужден признать мое усердие.

Упорство Рабурдена принуждало де Люпо вступить на открытый путь, где нельзя было спрятаться в кусты, и секретарь министра помедлил в нерешительности; взглянув на г-жу Рабурден, он спросил себя: «Что же возьмет во мне верх — ненависть к мужу или влечение к жене?»

— Раз вы не хотите мне довериться,— заявил он, наконец, правителю канцелярии,— значит, я навсегда останусь для вас только тем человеком, о котором вы писали в ваших секретных записках. Прощайте, сударыня!

Госпожа Рабурден отвечала холодным кивком.

Селестина и Ксавье молча разошлись по своим комнатам, до того они были подавлены обрушившимся на них несчастьем. Жена думала о том, в какое ужасное положение она теперь попала и как это уронит ее в глазах мужа. А правитель канцелярии, решив, что его ноги больше не будет в министерстве и что он подаст в отставку, просто терялся перед серьезностью вытекавших отсюда последствий: ведь это значило изменить всю свою жизнь, начать какую-то новую деятельность. Он до утра просидел перед камином, даже не заметив, что Селестина, уже в ночной сорочке, не раз на цыпочках входила к нему.

«Мне все равно придется пойти в министерство, чтобы взять свои бумаги и сдать Бодуайе дела, вот я и посмотрю, как они отнесутся к моему уходу в отставку»,— решил Рабурден. Он написал прошение об отставке и сопроводил его письмом, в котором обдумал каждое слово:

«Ваше высокопревосходительство!

Имею честь обратиться к Вам с просьбой об отставке, каковая изложена в прилагаемом при сем прошении; смею надеяться, Ваше превосходительство вспомнит сказанные мною слова о том, что я отдаю в Ваши руки свою честь и что все зависит от моего немедленного объяснения с Вами. Об этом объяснении я тщетно умолял Вас, но теперь оно было бы, вероятно, уже бесполезно, ибо отрывок из моего труда о системе административного управления, случайно выхваченный и, следовательно, не

дающий верного представления о моем проекте в целом, уже ходит по рукам чиновников, толкуется недоброжелателями вкривь и вкось,— и я, чувствуя осуждение, безмолвно вынесенное мне вышестоящими лицами, принужден уйти в отставку. Когда я в то утро порывался с Вами говорить, Вы, Ваше превосходительство, могли подумать, что я хлопочу о своем повышении, меж тем как я помышлял лишь о славе Вашего министерства и общественном благе; для меня важно внести перед Вами ясность в этот вопрос».

Затем следовали обычные формулы вежливости.

Было половина восьмого, когда этот человек свершил великое жертвоприношение,— он сжег весь свой труд. Устав от дум и сломленный душевными муками, он заснул, откинув голову на спинку кресла. Рабурден проснулся от странного ощущения — руки его были залиты слезами Селестины, стоявшей перед ним на коленях. Она вошла, прочла прошение об отставке и поняла, как огромна постигшая их катастрофа. Теперь они с Рабурденом были вынуждены жить на четыре тысячи франков в год. Г-жа Рабурден подсчитала свои долги — они доходили до тридцати двух тысяч франков! Семье грозила самая ужасная нищета. А этот человек, столь благородный и доверчивый, даже не подозревал о том, как она, злоупотребляя доверием мужа, распорядилась их состоянием. И вот она рыдала у ног Рабурдена, прекрасная, словно кающаяся Магдалина.

— Значит, погибло все! — в ужасе вскричал Ксавье.— Значит, я обесчещен не только на служебном поприще, я обесчещен и в своей...

Негодование оскорбленной невинности молнией сверкнуло в глазах Селестины, она вскинула голову, точно лошадь, взвившаяся на дыбы, и бросила на Рабурдена испепеляющий взгляд.

— Я! — величественно бросила она ему.— Я?! — повторила она тоном выше.— Но разве я заурядная, пошлая мещанка? И разве ты не был бы назначен, если бы я поступилась своей честью? Однако,— продолжала она,— то, что случилось, еще более невероятно.

— Так что же случилось? — спросил Рабурден.

— Дело в том, что мы должны тридцать тысяч франков,— отвечала она.

Рабурден в каком-то безумном порыве радости схватил жену и усадил ее к себе на колени.

— Не печалься, дорогая,— сказал он, и голос его был полон такой восхитительной доброты, что ее горькие слезы сменились невыразимо сладостным чувством облегчения.—Я тоже совершил немало ошибок. Я работал без всякой пользы для моего отечества, хотя воображал, что могу ему принести пользу... Теперь я пойду по другой тропинке. Если бы я торговал бакалеей, мы были бы миллионерами. Так вот, станем бакалейщиками. Тебе, мой ангел, всего двадцать восемь лет! Ну что ж, через десять лет промышленность вернет тебе ту роскошь, которую ты так любишь и от которой нам предстоит в ближайшие дни отказаться. Я тоже, дорогая моя девочка, не пошлый человек. Продадим нашу ферму! За семь лет ценность ее возросла. Эта сумма да деньги от продажи нашей обстановки покроют *мои* долги...

За великодушное слово «*мои*» она подарила мужу такой поцелуй, в котором была тысяча поцелуев.

— У нас будет сто тысяч франков, которые мы можем вложить в коммерческое дело,— продолжал он.— Не пройдет и месяца, как я что-нибудь придумаю. Я уверен, что и нам, как Сайяру, подвернется какой-нибудь Мартен Фалейкс. Подожди меня с завтраком. Я иду в министерство и вернусь свободным от ярма нищеты.

Селестина сжала мужа в объятиях с такой силой, какой не бывает у мужчин даже в минуты наибольшего гнева,— ибо под влиянием чувства женщина становится сильней самого крепкого мужчины. Она плакала, смеялась, рыдала, говорила — все вместе.

Когда Рабурден в восемь часов утра вышел из своей квартиры, привратница вручила ему визитные карточки с насмешливыми надписями, оставленные господами Бодуайе, Бисиу, Годаром и прочими. Все же он отправился в министерство, где у входа его ожидал Себастьен, который принялся умолять своего начальника не ходить в канцелярию, ибо там чиновники показывали друг другу гнусную карикатуру на него.

— Если вы хотите смягчить мне горечь падения, принесите сюда этот рисунок,— сказал Рабурден,— я намерен пойти сейчас к Эрнесту де ла Бриеру и лично ему передать свою просьбу об отставке — не то, если она

пойдет обычным административным путем, все дело могут извратить. А карикатуру я, по некоторым соображениям, хотел бы иметь в руках.

Убедившись, что его письмо попало к министру, Рабурден вернулся во двор; он нашел Себастьена в слезах; юноша протянул ему литографию.

— Это очень остроумно,— сказал Рабурден сверхштатному писцу, причем лицо его было таким же ясным, как лицо спасителя в терновом венце.

Он спокойно вошел в присутствие и направился прежде всего в канцелярию Бодуайе, чтобы пригласить его в кабинет начальника отделения и сообщить ему все данные относительно тех дел, которыми этот рутинер должен был отныне управлять.

— Скажите господину Бодуайе, что вопрос не терпит отлагательства,— добавил он в присутствии Годара и других чиновников,— мое прошение об отставке уже у министра, и я не хотел бы оставаться лишних пяти минут в канцелярии.

Увидев Бисиу, Рабурден прямо направился к нему и, показывая ему литографию, заметил, ко всеобщему удивлению:

— Разве я был неправ, сказав, что у вас артистическая натура? Жаль только, что вы направили острие своего карандаша против человека, которого нельзя судить таким способом, да еще в канцеляриях. Но во Франции смеются надо всем, даже над господом богом!

Затем он повел Бодуайе в кабинет покойного ла Биллардиера. Возле двери стояли Фельон и Себастьен, единственные, у кого хватило смелости во время катастрофы остаться верными человеку, над которым тяготело обвинение. Видя на глазах у Фельона слезы, Рабурден не мог удержаться и пожал ему руку.

— Судáрь,— сказал тот,— если мы можем хоть чем-нибудь быть вам полезны, располагайте нами.

— Входите же, друзья,— обратился к ним Рабурден с благородной приветливостью.— Себастьен, мой мальчик, пишите прошение об отставке и пошлите его с Лораном, вас, наверно, тоже опутали клеветой, которая меня погубила; но я позабочусь о вашем будущем; я вас не оставлю.

Себастьен разрыдался.

Господин Рабурден заперся с г-ном Бодуайе в бывшем кабинете ла Биллардиера, и Фельон помог ему ознакомить нового начальника отделения со всеми трудностями, с которыми приходится иметь дело администратору. При каждом новом вопросе, который ему разъяснял Рабурден, при появлении каждой новой папки крошечные глазки Бодуайе раскрывались все шире.

— Прощайте, сударь,— наконец сказал Рабурден торжественным и одновременно насмешливым тоном.

Тем временем Себастьен упаковал все бумаги, принадлежащие правителю канцелярии, вынес их и положил в нанятый фиакр. Рабурден прошел через широкий двор министерства, где у окон толпились чиновники, и задержался на несколько минут, ожидая приказаний министра. Министр хранил молчание. Фельон и Себастьен ждали вместе с Рабурденом. Затем Фельон смело проводил низвергнутого начальника на улицу Дюфо и почтительно выразил ему свое восхищение.

Оказав эти похоронные почести непризнанному таланту, он с приятным чувством исполненного долга вернулся на свое место.

Бисиу (*видя входящего Фельона*). Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni [1].

Фельон. Да, мосье!

Пуаре. Что это означает?

Флери. Что клерикальная партия ликует, а честные люди продолжают уважать господина Рабурдена.

Дюток (*обиженно*). Вчера вы этого не говорили.

Флери. Если вы произнесете еще хоть слово, вы получите пощечину, слышите? Совершенно ясно, что это вы стащили исследование господина Рабурдена.

(*Дюток выходит.*)

Идите, жалуйтесь своему хозяину де Люпо, шпион!

Бисиу (*смеется и гримасничает, словно обезьяна*). Интересно знать, как пойдут дела в отделении? Господин Рабурден — человек столь замечательный, что у него, наверно, была своя цель, когда он писал этот труд. Министерство лишилось весьма умного чиновника. (*Потирает руки.*)

---

[1] Был победитель — богам, побежденный — Катону любезен (*лат.*).

Л о р а н. Господина Флери вызывают к секретарю.

Ч и н о в н и к и о б е и х к а н ц е л я р и й. Влип!

Ф л е р и (*выходя*). Это мне безразлично, у меня ведь есть место официального редактора. Весь день я буду свободен, можно разгуливать или делать какую-нибудь занятную работу в редакции газеты.

Б и с и у. Из-за Дютока уже уволили эту пешку Деруа, которого обвинили в том, что он способен на самый отчаянный шаг...

Т ю и л ь е. *Шах* королю?

Б и с и у. Поздравляю! Смотрите, каков остряк!

К о л ь в и л ь (*входит; он в радостном настроении*). Господа, я ваш начальник...

Т ю и л ь е (*целует Кольвиля*). Ах, друг, будь я сам назначен, я бы так не радовался.

Б и с и у. Это дело рук его супруги: они у нее недурны, да и ножки тоже.

(*Взрыв смеха.*)

П у а р е. Пусть кто-нибудь вкратце объяснит мне, что у нас сегодня происходит?

Б и с и у. Вкратце вот что: отныне прихожая министерства — палата, двор — будуар, прямой путь — самый длинный, а постель больше чем когда-либо — окольная дорожка, которая скорей всего приводит к цели.

П у а р е. Господин Бисиу, прошу вас, объясните, что это значит?

Б и с и у. Хорошо, я растолкую вам: кто хочет быть чем-нибудь, должен начать с того, чтобы быть чем угодно. Очевидно, необходима какая-то реформа наших ведомств; ибо, уверяю вас, государство, обворовывает своих чиновников не меньше, чем чиновники обворовывают государство, растрачивая время, которое должны ему отдавать; но мы работаем мало оттого, что почти ничего не получаем; нас слишком много для тех дел, которые нужно делать, и моя добродетельная Рабурдина все это поняла. Этот великий администратор, господа, предвидел ту неизбежность, которую дураки называют игрой наших превосходных либеральных учреждений. И вот палата захочет управлять, а администраторы — законодательствовать. Пра-

вительство захочет администрировать, а администрация— править. Поэтому законы превратятся в предписания, а ордонансы — в законы. Бог создал нашу эпоху для тех, кто любит посмеяться. Я живу во времена, когда административная власть ставит спектакль, подготовленный величайшим насмешником нашего времени — Людовиком Восемнадцатым. *(Все опешили.)* Господа, если такова Франция, государство, в котором административная власть действует лучше, чем где-либо в Европе, то что же делается в других местах? Бедные страны! Я спрашиваю себя, как они могут жить без двухпалатной системы, без свободы печати, без отчетов и докладных записок, без циркуляров и без целой армии чиновников! Ну, скажите, как они могут держать армию, флот? Как они существуют без дискуссий по поводу каждого вздоха и каждого глотка?.. Можно ли это назвать правительством и отечеством? Меня уверяли (какие-то шутники-путешественники), будто эти страны считают, что у них есть своя политика и что они даже пользуются известным влиянием; но мне их жаль! Ведь у них отсутствует прогресс просвещения, они не способны поднимать вопросы, у них нет независимых трибунов, они погрязли в варварстве. Умен только один французский народ. Вы представляете себе, господин Пуаре *(Пуаре вздрагивает)*, чтобы какая-нибудь страна могла обойтись без начальников отделений, директоров главного управления, без этого великолепного генерального штаба, составляющего славу Франции и императора Наполеона, который имел свои причины на то, чтобы создать все эти должности? И знаете что? Раз эти государства имеют смелость существовать — и в Вене, например, в военном министерстве насчитывают не больше сотни чиновников, тогда как у нас одни оклады и пенсии составляют треть всего бюджета, чего и в помине не было до Революции,— я позволю себе в заключение высказать мысль, что Академия надписей и изящной словесности должна была бы хоть чем-нибудь заполнить свой досуг и объявить премию за решение следующего вопроса: какое государство устроено лучше — то, в котором делается много при небольшом числе чиновников, или то, в котором делается мало при большом числе чиновников?

П у а р е. И это все, что вы можете сказать?

Бисиу. Yes, sir!.. Ja, mein Herr! Si, signor! Da, soudar![1] Не буду обременять вас другими языками.

Пуаре *(воздевая руки к небу)*. Бог мой!.. А еще говорят, что вы остроумны!

Бисиу. Так вы, значит, не поняли?

Фельон. Однако последнее предложение полно глубокого смысла...

Бисиу. ...как и бюджет—столь же сложный, сколь он кажется простым. Я, таким образом, словно освещаю вам фонариком ту пропасть, ту яму, ту бездну, тот кратер вулкана, который «Конституционель» именует «политическим горизонтом».

Пуаре. Я предпочел бы объяснение более понятное.

Бисиу. Да здравствует Рабурден! Вот мое мнение. Вы удовлетворены?

Кольвиль *(серьезно)*. Господин Рабурден виноват только в одном.

Пуаре. В чем же?

Кольвиль. В том, что был государственным деятелем, а не правителем канцелярии.

Фельон *(становясь перед Бисиу)*. Отчего же, судáрь, вы, столь глубоко понимая господина Рабурдена, нарисовали эту мерз... эту низк... эту ужасную карикатуру?

Бисиу. А наши пари? Вы забыли, что мы с чертом заодно и что ваши чиновники проиграли мне обед в «Роше-де-Канкаль»?

Пуаре *(крайне обиженный)*. Значит, мне так и суждено покинуть канцелярию, не поняв ни одной фразы, ни одного слова, ни одной мысли господина Бисиу?

Бисиу. Ваша вина! Спросите у этих господ. Господа, вы поняли смысл моих рассуждений? Они справедливы? Умны?

Все. Увы, да!

Минар. И вот доказательство: я только что написал прошение об отставке. Прощайте, господа, я попытаю счастья в промышленности.

Бисиу. Уж не удалось ли вам изобрести механический корсет или соску, пожарный насос или экипажное крыло от грязи, камин, топящийся без дров, или плиту, чтобы поджаривать котлеты на трех листках бумаги?

---

[1] Да, сударь! *(англ., нем., итал., русск.)*

Минар (*уходя*). Это мой секрет.

Бисиу. Что ж, господин Пуаре-младший, что ж, молодой человек, вы видите, все эти господа меня понимают!

Пуаре (*посрамленный*). Господин Бисиу, окажите мне честь хотя бы один раз поговорить со мной на моем языке, снизойдите до меня...

Бисиу (*подмигивая чиновникам*). Перед тем как уйти отсюда, вам, вероятно, хотелось бы узнать, что вы такое.

Пуаре (*поспешно*). Порядочный человек, сударь.

Бисиу (*пожимая плечами*). ...то есть определить, объяснить, постичь, проанализировать, что такое чиновник... Вы могли бы это сделать?

Пуаре. Мне кажется.

Бисиу (*вертя его пуговицу*). А я сомневаюсь.

Пуаре. Это человек, которому государство платит за то, чтобы он выполнял известную работу.

Бисиу. Тогда, по-видимому, солдат — тоже чиновник.

Пуаре (*смущенно*). Ну, нет.

Бисиу. Однако государство платит солдату за то, чтобы он стоял на карауле и маршировал на смотрах. Вы возразите, что он слишком сильно желает уйти со своего места, что он слишком мало сидит на месте, слишком много работает и хотя он то и дело позвякивает ружьем, но редко случается ему позвякать монетами.

Пуаре (*широко раскрывает глаза*). Но послушайте, сударь, логичнее всего будет признать, что чиновник — это человек, который существует на свое жалованье и не может уйти со своего места, ибо только и умеет, что быть экспедитором.

Бисиу. Ну, вот мы и приближаемся к решению вопроса... Следовательно, канцелярия для чиновника — это как бы его скорлупа. Иными словами, нет чиновников без канцелярии, и нет канцелярии без чиновников. Но куда же мы тогда отнесем таможенного досмотрщика? (*Пуаре, пытаясь переступить с ноги на ногу, на мгновение отодвигается от Бисиу, тот отрывает ему пуговицу и берет его за другую.*) Ну! С бюрократической точки зрения он оказался бы существом промежуточным. Таможенный досмотрщик лишь наполовину чиновник, и,

так же как он пребывает на границе между двумя государствами, так же он стоит на границе между канцелярией и армией: не совсем солдат и не совсем чиновник. Но послушайте, папаша, к чему это нас приведет? *(Крутит пуговицу Пуаре.)* Где кончается чиновник? Вопрос весьма важный. Например, префект — чиновник?

Пуаре *(робко)*. Должностное лицо.

Бисиу. Ага! Вот вы и пришли к нелепому выводу, что должностное лицо — не чиновник!

Пуаре *(сбитый с толку, обводит взглядом всех чиновников)*. Господин Годар как будто хочет что-то сказать.

Годар. Чиновник — это вид, а должностное лицо— род.

Бисиу *(улыбаясь)*. Я не считал вас способным на столь остроумную классификацию, о достойный экземпляр одного из подвидов!

Пуаре. К чему это ведет?

Бисиу. Ну-ну, папаша, не мешайте, а то мы совсем запутаемся. Слушайте внимательно, и мы поймем друг друга. Давайте установим аксиому, которую я завещаю канцеляриям! Там, где кончается чиновник, начинается должностное лицо, а где кончается должностное лицо — начинается государственный деятель. Однако среди префектов мало попадается государственных деятелей. Поэтому префект есть нечто промежуточное. Не так ли? Он где-то между государственным деятелем и чиновником, подобно тому как таможенный досмотрщик — наполовину лицо гражданское, наполовину — военное. Давайте распутывать дальше эти глубокомысленнейшие вопросы.

(Пуаре багровеет.)

Нельзя ли все это сформулировать в теореме, достойной Ларошфуко: при окладе, превышающем двадцать тысяч франков, чиновника больше не существует. Мы можем с математической точностью вывести отсюда следующий королларий: государственного деятеля можно найти в зоне высоких окладов. И второй королларий, не менее важный и логически неизбежный: директора главных управлений могут быть и государственными деятелями.

Не потому ли многие депутаты говорят себе: «Как хорошо быть директором главного управления!» Но в интересах французского языка и Академии...

Пуаре (*словно завороженный пристальным взглядом Бисиу*). Французский язык!.. Академия...

Бисиу (*отрывает еще одну пуговицу и берется за верхнюю*). Да, в интересах нашего прекрасного языка, следует заметить, что если правитель канцелярии может, на крайний случай, еще считаться чиновником, то начальник отделения уже должен быть бюрократом. Эти господа... (*повертывается к чиновникам и показывает третью пуговицу, оторванную им от сюртука Пуаре*) эти господа вполне оценят столь деликатное внимание к оттенкам. Итак, папаша Пуаре, на правителе канцелярии категория чиновников кончается. Таким образом, вопрос поставлен правильно, всякая неясность исчезла, и понятие «чиновник», казавшееся неопределимым, нами определено.

Пуаре. Мне кажется, это несомненно.

Бисиу. Однако сделайте одолжение, ответьте на следующий вопрос: так как судья несменяем, а следовательно, согласно вашему тонкому разграничению, не может быть отнесен к должностным лицам, но вместе с тем не имеет оклада, соответствующего его труду,— то можно ли его отнести к классу чиновников?

Пуаре (*разглядывает лепку на потолке*). Сударь, я уже потерял нить...

Бисиу (*отрывая четвертую пуговицу*). Мне хотелось показать вам, сударь, насколько все это при ближайшем рассмотрении сложно, а особенно подчеркнуть то, что я скажу сейчас и что предназначается для философов (если вы разрешите мне переиначить слова Людовика Восемнадцатого): стараясь в чем-нибудь разобраться, можешь совсем запутаться.

Пуаре (*отирая лоб*). Простите, сударь, меня мутит... (*Пытается застегнуть сюртук.*) Ах, вы оторвали мне все пуговицы.

Бисиу. Так вы, наконец, поняли?

Пуаре (*недовольным тоном*). Да, сударь... да, я понимаю, что вы просто хотели сыграть со мною скверную шутку и незаметно оторвать все мои пуговицы.

Бисиу (*торжественно*). Старец! Вы ошибаетесь!

Мне хотелось запечатлеть в вашем мозгу возможно более яркую картину конституционной власти *(все чиновники смотрят на Бисиу; Пуаре, опешив, уставился на него с какой-то тоскливой тревогой)* и, таким образом, сдержать слово. Я воспользовался иносказательными приемами дикарей. Слушайте! Пока министры разглагольствуют в палате, примерно столь же содержательно и плодотворно, как мы сейчас,— административная власть под шумок обрывает пуговицы у налогоплательщиков.

Все. Браво, Бисиу!

Пуаре *(он на этот раз понял)*. Я теперь не жалею о своих пуговицах.

Бисиу. А я поступлю так же, как Минар, я больше не желаю расписываться в получении грошей и лишу министерство своего сотрудничества. *(Выходит, сопровождаемый смехом всех чиновников.*

Тем временем у министра происходила другая сцена, более поучительная, чем предыдущая, ибо она показывает, как гибнут в высших сферах великие идеи и как там утешаются в несчастье.

В эту минуту де Люпо представлял министру нового директора, г-на Бодуайе. В гостиной, кроме них, были два-три влиятельных депутата, поддерживающих министерство, и г-н Клержо, которому его превосходительство только что обещал приличный оклад. Обменявшись несколькими банальными фразами, присутствующие заговорили о злободневных событиях.

Один из депутатов. Значит, вы с Рабурденом расстаетесь?

Де Люпо. Он подал в отставку.

Клержо. Говорят, он задумал реформу всей административной системы?

Министр *(глядя на депутатов)*. В канцелярии оклады, быть может, и не соответствуют тем требованиям, которые предъявляются чиновникам.

Дела Бриер. Господин Рабурден утверждал, что сто чиновников, получая по двенадцати тысяч франков, справятся с работой быстрее и лучше, чем тысяча получающих по тысяче двести.

Клержо. Может быть, он и прав.

Министр. Что вы хотите? Так уж устроена эта машина, нужно было бы ее сломать и построить заново, но у кого хватит на это смелости при нашей парламентской трибуне, под огнем дурацких декламаций оппозиционеров или свирепых статей в печати? Отсюда следует, что настанет день, когда правительство и администрация принуждены будут искать выхода из порочного круга своих взаимоотношений.

Первый депутат. Почему?

Министр. Судите сами! Министр задается благими целями и не может осуществить их. По вине вашей палаты время, отделяющее замысел от его осуществления, станет бесконечным. И если даже вы действительно сделали невозможной грошовую кражу, то вы все-таки будете не в силах помешать корыстным служебным злоупотреблениям. Согласие на известные операции будет зависеть от тайных сговоров, за которыми трудно уследить. И, наконец, у чиновников, от писца до правителя канцелярии, будет собственное суждение; они уже не явятся руками, которыми управляет единый мозг, исполнителями воли правительства; оппозиция стремится предоставить им право выступать против него, голосовать против него судить его.

Бодуайе (*вполголоса, но так, чтобы его все же слышали*). Его высокопревосходительство поистине великий мыслитель!

Де Люпо. У бюрократии, разумеется, есть ошибки: я считаю, что она медлительна и дерзка, она слишком тормозит деятельность министерств, она кладет под сукно немало проектов, душит прогресс, но административная власть во Франции сама по себе чрезвычайно полезна...

Бодуайе. Без сомнения!

Де Люпо. ...хотя бы для продажи бумаги и для гербовых сборов. А если она, как все превосходные хозяйки, излишне придирчива, зато может в любую минуту дать полный отчет в своих расходах. Какой разумный негоциант с радостью не выбросит пяти процентов со всей своей продукции, со всего своего оборотного капитала, только бы застраховать себя от растратчиков?

Другой депутат (*владелец мануфактурного предприятия*). Промышленники Старого и Нового света

обеими руками подписали бы подобное соглашение с тем злым демоном, который называется растратой.

Де Л ю п о. Ну что ж, хотя статистика — игрушка нынешних государственных деятелей, ибо они воображают, что цифры — это и есть расчет, все же цифры нужны при расчетах. Так давайте считать. Впрочем, цифра — самый убедительный аргумент для общества, основанного на личном интересе и на деньгах, а наше общество, созданное хартией, именно таково! По крайней мере я так думаю! Немножко цифр — это для мыслящих масс самое убедительное. Как уверяют наши деятели левой, в конце концов все решается цифрами. Так обратимся к цифрам. *(Министр отходит в сторону с одним из депутатов и беседует с ним вполголоса.)* Во Франции существует до сорока тысяч чиновников, этот подсчет сделан на основе окладов; дорожный сторож, метельщик или работница на сигарной фабрике не являются чиновниками. Средний оклад чиновника составляет полгоры тысячи франков в год. Помножьте полторы тысячи на сорок тысяч, и вы получите шестьдесят миллионов. И, конечно, публицист мог бы прежде всего указать Китаю и России, где все чиновники воры, а также Австрии, американским республикам и всему свету, что за эти деньги Франция обладает самой дотошной и придирчивой, самой бумаголюбивой и чернилолюбивой, самой счетолюбивой, хитроумной, въедливой и аккуратной — словом, самой лучшей в мире экономкой, какой только может быть административная власть! У нас нельзя ни израсходовать, ни получить ни одного сантима без особого письменного требования, без подтверждающих документов, которые и проводятся по кассовым ведомостям с приложением особой квитанции, а требование и квитанция регистрируются, контролируются, проверяются людьми в очках. При малейшем отступлении от формы чиновник пугается, ибо дотошность его кормит. Многие государства вполне удовольствовались бы такими порядками, но Наполеону и этого было мало. Великий организатор восстановил институт высших должностных лиц при единственном в своем роде суде. Эти люди проводят целый день за проверкой бон, бумаг, росписей и описей, залоговых квитанций, платежных расписок, принятых и выданных вкладов и т. п.— словом, всех документов, состав-

ленных чиновниками. У этих неподкупных судей талант точности, гений сыска, зоркость рыси и проницательность в отношении счетов, доведенная до такой степени, что подобные люди готовы сызнова проделать все вычисления, чтобы откопать какую-нибудь неуловимую, ничтожную разность. Эти благородные жертвы цифр способны спустя два года вернуть какому-нибудь военному интенданту его отчет, если он в нем ошибся на два сантима. Таким образом, французская административная власть, самая чистопробная изо всех, которые занимаются бумагомарательством на земном шаре, достигла того, что во Франции, как сейчас заметил его превосходительство, воровство невозможно, лихоимство — миф. Что против этого возразить? Государственные доходы составляют в нашей стране один миллиард двести миллионов франков, и она их тратит целиком, вот и все. Миллиард двести миллионов поступают в ее кассы, и столько же из них уходит. Таким образом, ее оборот составляет два миллиарда четыреста тысяч франков, и она платит только шестьдесят миллионов, то есть два с половиной процента, за уверенность, что она застрахована от растраты. Поваренная книга нашей политической кухни стоит шестьдесят миллионов, но ведь жандармерия, суды, тюрьмы и полиция стоят столько же — и ни сантима не возвращают. А к тому же мы находим применение людям, которые, будьте уверены, ничего другого делать не умеют, поэтому расточительство, если оно у нас существует, может быть только вполне легальным и высоконравственным; обе палаты являются его соучастницами, оно узаконено. Растраты сводятся разве лишь к тому, что государство занято делами, в которых нет необходимости ныне или никакой надобности вообще,— например, меняет нашивки у солдат, затевает постройку кораблей, не позаботившись о корабельном лесе, так что потом приходится покупать его втридорога; готовится к войне, которой так и не объявляет; платит долги какой-нибудь державы и не требует их возмещения или по крайней мере гарантий и т. д. и т. п.

Бодуайе. Это растраты высшего порядка, и чиновников они не касаются. За плохое управление страной отвечает государственный деятель, стоящий у кормила власти.

Министр (*он кончил беседу с депутатом*). В том, что сказал де Люпо, есть доля истины; но (*обращаясь к Бодуайе*) знаете, господин директор, никто не умеет становиться на точку зрения государственного деятеля. Отдавать приказы относительно разного рода расходов, даже бесполезных, еще не значит — плохо управлять. Ведь, согласитесь, это все-таки способствует обращению денег, которым все больше угрожает опасность, особенно во Франции, превратиться в мертвый капитал из-за скаредной и глубоко нелепой привычки провинциалов накапливать кучи золота...

Депутат (*слушавший де Люпо*). Но если ваше превосходительство правы и если наш остроумный друг (*берет де Люпо под руку*) также не ошибается, то какой же из этого следует вывод?

Де Люпо (*посмотрев на министра*). Видимо, что-то все-таки придется изменить...

Де ла Бриер (*робко*). Значит, господин Рабурден прав?

Министр. Я повидаюсь с Рабурденом.

Де Люпо. Ошибка этого бедняги состоит в том, что он взял на себя смелость вершить суд над администрацией и людьми, которые к ней принадлежат; он хочет, чтобы осталось всего три министерства...

Министр (*прерывая его*). Да он с ума сошел!

Депутат. А как же тогда в министерствах были бы представлены руководители парламентских партий?

Бодуайе (*с улыбкой, которая ему кажется тонкой*). Уж не намеревался ли господин Рабурден изменить и конституцию, данную нам королем-законодателем?

Министр (*задумчиво берет под руку де ла Бриера и уводит его*). Мне хотелось бы прочитать этот план Рабурдена, и так как вы с Рабурденом знакомы...

Де ла Бриер (*в кабинете министра*). Он все сжег. Вы допустили, чтобы Рабурдена опозорили, и он ушел из министерства. Не верьте, ваше высокопревосходительство, что у него, как старается всем внушить де Люпо, было намерение хоть что-нибудь изменить в нашей совершенной системе централизованной власти!

Министр (*про себя*). Я сделал ошибку. (*Некоторое время молчит.*) Ну, не беда! В проектах реформ у нас никогда недостатка не будет...

Д е л а Б р и е р. Недостаток у нас не в идеях — исполнителей нет.

В кабинет вошел де Люпо, этот мастер защищать злоупотребления.

— Ваше превосходительство, я уезжаю к своим избирателям.

— Подождите! (*Его превосходительство прервал разговор со своим личным секретарем и отошел с де Люпо к окну.*) Оставьте мне этот округ, мой милый, взамен вы получите графский титул, и я уплачу ваши долги... Словом, если после смены палаты я останусь у дел, то обещаю, что при ближайшем назначении вас сделают пэром Франции.

— Вы человек своего слова, я согласен.

Так Клеман Шарден де Люпо, сын человека, получившего дворянство при Людовике XV и имевшего право на герб — *четырехпольный щит: на первом, серебряном, поле — черный волк, уносящий в зубах красного ягненка; на втором, пунцовом,— три серебряных пряжки; на третьем — три красно-серебряных вертикальных полосы и двенадцать геральдических фигур; на четвертом, золотом,— красный жезл, поставленный вертикально на шлем, заштрихованный косыми чертами; четыре лапы грифонов, выступающие по бокам и поддерживающие щит; девиз — «en lupus in historia»* [1],— мог теперь увенчать графской короной этот герб, доставшийся ему по иронии судьбы.

В 1830 году, в конце декабря, г-ну Рабурдену пришлось посетить по одному делу бывшее свое министерство, где все канцелярии были уже перетряхнуты сверху донизу. Этот переворот особенно тяжело сказался на канцелярских служителях, которые весьма не любят иметь дело с новыми лицами. Явившись с раннего утра в присутствие, где он знал все входы и выходы, бывший правитель канцелярии невольно услышал следующий диалог, происходивший между двумя племянниками Антуана,— дядя уже успел выйти в отставку.

— Ну, как поживает твой начальник отделения?

— И не говори, ничего я с ним не могу поделать. Он звонит мне, чтобы спросить, не видел ли я, где его носовой платок или табакерка. Всякого тут же принимает, да-

[1] Вот волк, о котором повествует история (*лат.*).

же подождать не заставит, нет в нем ни капли собственного достоинства. Приходится учить его: «Сударь, его сиятельство, ваш предшественник, ради своего престижа кресло изволили перочинным ножичком ковырять, чтобы люди думали, будто граф работают». Словом, все у него вверх дном! То и дело прибирай за ним, везде беспорядок; нет, видимо, он очень недалек. А твой?

— Мой? О, я наконец приучил его. Он теперь знает, где лежит его почтовая бумага, конверты, все его вещи. Мой прежний чертыхался, а этот кроткого нрава... Но у него нет никакого величия; потом, он не получил ни одного ордена, а я не люблю, когда у начальника нет орденов: его можно принять за одного из нас, это унизительно. Он таскает бумагу из канцелярии; а на днях спросил меня, не могу ли я приходить к нему на дом и прислуживать за столом, когда у него гости.

— Какое нынче правительство, милый мой!

— Да, все скареды.

— Лишь бы нам не урезали наше несчастное жалованье!

— Я очень боюсь этого! Палаты вникают во все мелочи. Дрова для печки, и то отсчитывают!

— Ну, если они возьмут такую манеру, все это долго не продержится.

— Тсс... Вот маху дали, нас кто-то слышал!

— Пустяки, это покойный господин Рабурден... Ах, сударь, я сразу вас узнал по осанке... Если у вас тут какое-нибудь дело, так никто даже не догадается, с каким уважением с вами обходиться надо; только одни мы и остались с тех времен... Господа Кольвиль и Бодуайе не успели просидеть свои кожаные кресла после вашего ухода... Ох, господи, да их уже через полгода назначили сборщиками податей в Париже...

Париж, июль 1836 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены парижской жизни

ИСТОРИЯ ВЕЛИЧИЯ И ПАДЕНИЯ ЦЕЗАРЯ БИРОТО

Роман «Величие и падение Цезаря Бирото» был впервые издан в декабре 1837 года (с датой выпуска — 1838 г.) в виде приложения к газетам «Фигаро» и «Эстафета». В подзаголовке романа стояло: «Новая сцена парижской жизни».

Произведение делилось на три части: часть I — «Цезарь в апогее величия» (она совпадала с нынешней первой частью романа); часть II — «Цезарь в борьбе с несчастьем» (она заканчивалась обедом у дядюшки Пильеро после признания Цезарем своего банкротства); часть III — «Триумф Цезаря» Роман состоял из шестнадцати глав.

В этом издании произведение открывалось кратким авторским предисловием. Писатель подчеркивал в нем связь между романом «Цезарь Бирото» и написанной одновременно с ним повестью «Банкирский дом Нусингена». Бальзак писал, что его роман — лишь одна сторона медали, оборотная сторона ее — «Банкирский дом Нусингена». Обе эти истории, замечал он, родились близнецами, и тот, кто прочтет «Цезаря Бирото», должен будет прочесть и «Банкирский дом Нусингена», если хочет понять произведение в целом.

Бальзак несколько лет вынашивал замысел «Цезаря Бирото». В его переписке, уже начиная с 1833 года, встречаются неоднократные упоминания о плане романа и начале работы над ним. В письме к Эвелине Ганской от 10 апреля 1834 года он сообщал: «Я работаю над капитальным произведением «Цезарь Бирото»; в нем идет речь о брате уже известного Вам Бирото (Бальзак имеет в виду Франсуа Бирото, главное действующее лицо своей повести «Турский священник»)... Это будет великолепное полотно — самое значительное из всего, что я создал до сих пор». Но

прошло почти четыре года, прежде чем писатель полностью осуществил свой замысел.

В 1839 году вышло второе издание «Цезаря Бирото». Роман, как и в первом издании, состоял из трех частей, но деление на главы уже отсутствовало. В 1844 году Бальзак включил его в десятый том первого издания «Человеческой комедии» (в «Сцены парижской жизни»). Теперь произведение делилось на две части, оно сопровождалось посвящением Ламартину.

Роман «Цезарь Бирото» занимает важное место в общей системе «Человеческой комедии» и в силу значительности поставленных в нем проблем и вследствие того, что он связан с целым рядом произведений Бальзака: многие действующие лица этого романа встречаются и в других произведениях писателя. В «Цезаре Бирото» изображена жизнь парижского буржуа. Основные действующие лица романа принадлежат к различным слоям буржуазии периода Реставрации: это торговцы, домовладельцы, банкиры, ростовщики.

Великому реалисту была ясна своекорыстная, хищническая сущность капиталистического общества и его морали. Бальзак понимал, как чужды буржуазной деятельности, основанной на погоне за прибылью, высокие человеческие устремления и идеалы. Он видел, что в буржуазном мире не остается места для подлинной героики и поэзии. Много лет спустя, в октябре 1846 года, Бальзак писал редактору журнала «Неделя» («La Semaine») Ипполиту Кастилю: «В течение шести лет я сохранял «Цезаря Бирото» в черновом наброске, отчаявшись в возможности заинтересовать когда-нибудь и кого бы то ни было образом довольно глупого и ограниченного лавочника, чьи несчастья заурядны, символизирующего собой то, над чем мы постоянно смеемся,— *мелкую парижскую торговлю*».

Вместе с тем — и в этом проявилось двойственное отношение писателя к миру капитализма, суровым обличителем которого он являлся,— Бальзак пытался отыскать в этом алчном и жестоком мире людей нравственных и добродетельных, не похожих на типичных представителей господствующих классов. Воплощением образа такого человека и должен был стать, по его замыслу, главный герой романа, владелец парфюмерной лавки Цезарь Бирото.

Бальзак наделил Бирото рядом положительных черт: он добр, бесхитростен, горячо любит жену и дочь, ему не свойственны ни зависть, ни коварство, он не способен на подлость. Но писателю было ясно, что одних только семейных, мещанских добродетелей недостаточно, чтобы сделать героя произведения фигурой значительной и интересной. Для этого требовалось нечто большее. И Бальзаку показалось, что он нашел наконец решение задачи. В том же письме к Ипполиту Кастилю он писал об образе Цезаря Бирото: «...в один прекрасный день я сказал себе: «Надо переосмыслить этот образ, представив его, как образ *честности!*» И тогда он показался мне приемлемым».

Так парфюмер Бирото, добродетельный отец семейства, помощник мэра второго округа города Парижа, кавалер ордена Почетного легиона, превратился в «героя торговой честности».

В самом деле, честный в личной жизни, Бирото по-своему че-

стен даже и как коммерсант: он не изменит данному слову, не обворует и не обманет компаньона; обанкротившись, он полностью выплачивает свои долги, что с точки зрения прожженных буржуазных дельцов граничит уже просто с глупостью. Вот почему, рисуя Цезаря Бирото на фоне таких дельцов, Бальзак именует его не только «героем», но даже «мучеником» торговой честности.

Задумывая образ Бирото как «образ честности», Бальзак, казалось, забыл собственные слова о том, что «одна из особенностей добродетели — ее несовместимость с чувствами собственника». Но, *воплощая* этот образ, писатель, как всегда верный жизненной правде, показал, что социальная функция Бирото, его положение коммерсанта, не позволяет ему оставаться честным.

При внимательном рассмотрении обнаруживается, что «честный» коммерсант Бирото мало чем отличается от любого другого коммерсанта, от любого капиталиста.

Жизнь Цезаря Бирото убедительно свидетельствует, что в обществе буржуа нет и не может быть честных путей к богатству: капиталистическая деятельность превращает даже честного человека в бесчестного дельца.

Бирото — делец неудачливый. Человек самоуверенный и тщеславный, но ограниченный и недальновидный, он, столкнувшись с наглыми и беспощаднымн хищниками, быстро попадает в расставленную ему ловушку и разоряется. В своем романе Бальзак нарисовал многочисленные портреты «удачливых» хищников, матерых «биржевых волков». Таков банкир дю Тийе, ловкий выскочка, начавший свою карьеру с воровства. Таковы банкиры-либералы Адольф и Франсуа Келлеры, которым политика служит ширмой для прикрытия грязных махинаций. Таков, наконец, «вершитель судеб банковского мира» бесчестный делец Нусинген. Все они успешно подвизаются на еще новом в то время поприще финансовых спекуляций, позволяющих «снимать сливки с еще не полученных доходов».

Роман «Цезарь Бирото», как и другие произведения Бальзака, содержит немало выразительных «экономических деталей», наглядно характеризующих жизнь тогдашией Франции.

Большой интерес представляет содержащаяся во второй части романа подробная характеристика закона о несостоятельных должниках. По меткому определению писателя, закон этот являлся благодарным поприщем для всевозможных плутней.

Бальзак великолепно знал современное ему законодательство, отлично разбирался во всех его тонкостях и хитросплетениях. Сестра писателя Лаура Сюрвиль в своей книге «Бальзак» рассказывает, что ей довелось обнаружить у одного парижского адвоката, среди различных законоведческих трудов, роман «Цезарь Бирото». Адвокат пояснил, что он постоянно пользуется этой книгой для консультаций и справок по вопросу о банкротствах.

Страницы романа, посвященные разоблачению жульнических проделок, связанных со злостными ликвидациями коммерческих фирм, приобретают характер обвинительного акта, направленного не только против стяжателей, но и против продажности буржуазного правосудия.

Вскрывая корыстолюбие и бесчестность буржуазии, обусловленность ее политических взглядов и симпатий расчетами и выгодой, Бальзак с бичующим сарказмом обличает также невежество и невыносимую пошлость буржуа. Не жалея сатирических красок, писатель рисует тупость и умственную ограниченность представителей буржуазии.

Большой яркости достигает сатира Бальзака в гротескном портрете сутяги-домовладельца Молине, которого писатель назвал «человекорастением».

Отвратительна картина страшного и затхлого мира буржуазии, мира Нусингенов и дю Тийе, Молине и Матифа, правдиво воспроизведенного великим реалистом на страницах романа «Цезарь Бирото». И этого впечатления не могут изменить ни фигура самого Бирото, ни фигуры философа-коммерсанта Пильеро и слащаво-добродетельного приказчика Ансельма Попино.

К «Цезарю Бирото» в полной мере применимы слова А. М. Горького о том, что Бальзак в своих романах «изобразил пошлость и подлость мещанства с поразительной, беспощадной ясностью».

Стр. 10. *...в вандемьере я был ранен у церкви святого Роха...* — 13 вандемьера IV года Республики, то есть 5 октября 1795 года, роялисты подняли в Париже восстание против буржуазного термидорианского Конвента. Восстание было в тот же день разгромлено правительственными войсками, которыми командовал Наполеон Бонапарт. Заключительным эпизодом восстания было столкновение в районе церкви св. Роха, где находились резервные силы мятежников.

Стр. 23. *В сражении у Требии.* — *Требия* — река в Италии; здесь в 1799 году русско-австрийские войска под командованием А. В. Суворова нанесли поражение французским войскам, которыми командовал генерал Макдональд.

Стр. 25. *...набор II года Республики...* — II год Республики во Франции продолжался с 22 сентября 1793 года по 21 сентября 1794 года. Декрет о массовом наборе в армию был принят Конвентом 23 августа 1793 года.

Стр. 26. *Режим «максимума».* — Бальзак имеет в виду декреты, принятые в сентябре 1793 года Конвентом, о введении твердых цен на продукты питания, промышленные товары и сырье. Эти декреты были направлены против спекулянтов, взвинчивавших цены.

Стр. 33. *Воклен*, Луи-Никола (1763—1829) — французский ученый-химик.

Стр. 38. *Потье*, Шарль (1775—1838) — французский комический актер. — *Тальма*, Франсуа-Жозеф (1763—1826) — знаменитый французский трагический актер. — *Марс*, Анна-Франсуаза (1779—1847) — известная французская актриса.

Стр. 43. *Оргон* и *Тартюф* — действующие лица комедии Мольера «Тартюф, или Обманщик» (1669).

Стр. 45. *Тюркаре* — бывший лакей, разбогатевший путем спекуляций; действующее лицо одноименной комедии французского писателя Алена-Рене Лесажа (1668—1747).

Стр. 46. *«Сто дней».*— Так в истории Франции называется период вторичного правления Наполеона I, бежавшего с острова Эльбы и вступившего в Париж 20 марта 1815 года. Этот период продолжался с 20 марта по 22 июня 1815 года.

Стр. 80. *Мелье, Жан* (1664—1729) — французский материалист и атеист, утопический коммунист. Мелье был сельским священником; в произведении «Завещание», обнаруженном после его смерти, Мелье выразил протест против всего современного ему феодального строя. У Бальзака речь идет о произведении французского материалиста и атеиста XVIII века Поля-Анри Гольбаха (1723—1789), в котором автор разъяснял смысл «Завещания» Мелье.

Стр. 85. *«Конститюсьонель»* («Конституционалист») — французская газета, проводившая в годы Реставрации взгляды конституционалистов-роялистов.

Стр. 92. *Манюэль, Фуа, Казимир Перье, Лафайет, Курье* — французские политические деятели, принадлежавшие в период Реставрации к различным группам либеральной оппозиции.

Стр. 112. *Ко мне, цирюльники, торговцы, парфюмеры! — закричал Годиссар, подражая Лафону в роли Сида.*— Годиссар пародирует известные слова из трагедии Корнеля «Сид» (1636): «Ко мне, наварцы, мавры и кастильцы!».— *Лафон*, Пьер—французский трагический актер.

Стр. 117. *«Журналь де Деба»* — ежедневная газета, основанная в 1789 году. В период Реставрации и Июльской монархии — орган роялистов.

Стр. 149. *Кризаль* — буржуа, носитель «здравого смысла», действующее лицо комедии Мольера «Ученые женщины» (1672).

Стр. 154. *Домициан* — римский император (I в. н. э.); отличался деспотизмом и жестокостью.

Стр. 155. *Момус, или Мом* — в греческой мифологии бог шутки и насмешки.

Стр. 187. *...редут у Москвы...*— Речь идет, видимо, о Шевардинском редуте (вблизи села Бородино), который русские солдаты героически защищали против превосходящих сил французов в августе 1812 года.

Стр. 188. *«Монитер»* — парижская газета, основанная в 1789 году. В период Наполеоновской империи, Реставрации и Июльской монархии была официальным правительственным органом.

Стр. 202. *Лоу, Джон* (1671—1729) — финансист, виновник разорения множества мелких вкладчиков во Франции.

Стр. 261. *«Кларисса Гарлоу»* (точнее — «Кларисса, или История молодой леди») — роман в письмах английского писателя Сэмюэля Ричардсона (1689—1761).

Стр. 262. *...кричат, как при переправе через Березину...*— Переправа через реку Березину — один из последних военных эпизодов разгрома наполеоновской армии в России в 1812 году.

БАНКИРСКИЙ ДОМ НУСИНГЕНА

Повесть «Банкирский дом Нусингена» была впервые опубликована в октябре 1838 года в двухтомном издании произведений Бальзака (вместе с началом романа «Чиновники» и первыми гла-

вами романа «Блеск и нищета куртизанок»). В 1844 году писатель включил эту повесть в XI том первого издания «Человеческой комедии» (в «Сцены парижской жизни»).

В посвящении к повести Бальзак говорит о поучительном социальном уроке, который представляет собою контраст между «Баикирским домом Нусингена» и «Цезарем Бирото». В 1840 году в предисловии к первому изданию повести «Пьеретта» он уточняет свою мысль, подчеркивая, что речь идет о контрасте между героями этих произведений — Цезарем Бирото и бароном Нусингеном.

В чем же смысл этого контраста? Прежде всего Бальзак имеет в виду различие морального облика этих двух капиталистических дельцов. Образ Бирото был задуман писателем как «образ честности», что же касается Нусингена, «финансового Наполеона», то он откровенно и цинично смеется над самым понятием честности, заявляя, что люди бывают честны только с виду.

Объективный социальный смысл контраста между этими людьми заключается в том, что Нусинген и Бирото — различные *типы* капиталистических дельцов. Торговцы, подобные Бирото, обманывающие покупателей, в свою очередь, становятся жертвами таких финансовых магнатов, как Нусинген: в буржуазном мире крупные хищники пожирают более мелких.

Финансовые спекуляции Нусингена, о которых рассказывается в повести, начались еще в первые годы XIX века. А в период Июльской монархии барон Нусинген, возведенный в звание пэра Франции, уже владел огромным состоянием и как нельзя лучше воплощал в своей персоне «всемогущество, всеведение, всеблагость денег» — единственное, что чтит буржуазное общество.

Не случайно Нусинген выступает свыше чем в двадцати произведениях Бальзака. Сам писатель считал созданный им образ настолько характерным, что, упомянув в одном из своих писем пресловутого банкира Ротшильда, назвал его «вылитым Нусингеном».

Деятельность банкира Нусингена носит открыто грабительский характер. В его образе Бальзак обобщил типические черты финансовой аристократии времен Июльской монархии.

Подчеркивая разбойничий характер методов обогащения, к которым прибегает Нусинген, писатель вкладывает в уста Бисиу язвительное замечание о его знакомстве с банкиром. «Я познакомился с ним у него дома,— рассказывает Бисиу,— но мы, возможно, встречались когда-нибудь и на большой дороге». В отличие от «рыцарей большой дороги» «рыцари биржи» не только остаются безнаказанными, но даже пользуются весом и уважением в обществе.

Июльская монархия, сосредоточившая власть в руках банкиров и других представителей финансовой аристократии, несла трудовому народу Франции новые и все более тяжкие бедствия.

В повести «Банкирский дом Нусингена» Бальзак указывает на голод и нищету, на которые обречены французские рабочие. Останавливаясь на известном восстании лионских ткачей, он пишет, что, когда прекращаются заказы, рабочий умирает с голоду, да и работая, он еле сводит концы с концами. «Любой каторжник счастливее его»,— гневно говорит Бальзак.

Стр. 302. *Прюдом* — самодовольный и ограниченный буржуа, действующее лицо комедии «Величие и падение господина Прюдома» и «Мемуаров Жозефа Прюдома» — произведений французского писателя *Анри Монье* (1805—1877).

Стр. 309. *Кер, Жак* (ок. 1395—1456) — богатый французский купец, казначей короля Карла VII. Был обвинен придворными кругами, заинтересованными в конфискации его имущества, в государственной измене, бежал из Франции и умер в изгнании.

Стр. 314. *Кронос* — в греческой мифологии отец бога Зевса, проглатывавший одного за другим рождавшихся у него детей, ибо ему было предсказано, что один из них отнимет у него власть.

Стр. 316. *Жанно* — действующее лицо старинной французской комедии; он наивно хвастался принадлежащим ему ножом, считая его неизменным, хотя у этого ножа сменили и лезвие и черенок.

Стр. 325. *Парни, Эварист-Дезире* (1753—1814) — французский поэт-лирик, творчество которого пользовалось в начале XIX века широкой известностью в Европе.

Стр. 334. *Робер Макэр* — главное действующее лицо одноименной пьесы Сент-Амана и Фредерика Леметра (1835) — ловкий мошенник и «рыцарь большой дороги». Его имя стало во Франции нарицательным для обозначения проходимца и бесчестного дельца.

Стр. 336. *Калеб* — старый преданный слуга, действующее лицо романа Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста».

Стр. 349. *«Миссисипи»* — акционерная компания, основанная в спекулятивных целях финансистом Лоу.

Стр. 350. *Вы ювелир, господин Жосс?* — фраза из комедии Мольера «Любовь-целительница» (1665), вошедшая во Франции в поговорку и указывающая на наличие личной заинтересованности у человека, дающего совет. Действующее лицо этой комедии, ювелир Жосс, советует для излечения больной девушки приобрести бриллиантовый или рубиновый убор.

Стр. 353. *У нас много говорилось о событиях в Лионе, о Республике, расстрелянной из пушек на улицах...* — Бальзак имеет в виду восстание ткачей в Лионе в первые годы Июльской монархии — одно из ранних столкновений между пролетариатом и буржуазией. Восстание, проходившее под лозунгом «Жить, работая, или умереть, сражаясь», было жестоко подавлено правительственными войсками.

Стр. 355. *После событий на улице Сен-Мерри...* — Речь идет о республиканском восстании 5—6 июня 1832 года. Восстание, охватившее рабочие кварталы Парижа, было подавлено войсками правительства Луи-Филиппа и частями буржуазной национальной гвардии. Последняя баррикада на улице Сен-Мерри пала 6 июня. Бальзак несколько раз упоминает в своих произведениях о событиях на улице Сен-Мерри. «Единственные люди, о которых он всегда говорит с нескрываемым восхищением,— писал Энгельс о Бальзаке,— это его самые ярые политические противники, республиканцы — герои улицы Cloître Saint Merri, люди, которые в то время (1830—1836) действительно были представителями народных масс».

Стр. 360. *...наслаждения в Капуе...*— выражение, служащее во французском языке для обозначения беззаботной жизни; примерно то же, что «сибаритство».

Стр. 370. *Пассалакка* — парижский антиквар.

ЧИНОВНИКИ

Роман «Чиновники» первоначально печатался отдельными выпусками в газете «Ла пресс» в течение июля 1837 года под названием «Выдающаяся женщина». То же название он сохранил и в издании 1838 года. Роман делился на следующие части и главы:

Первая часть: «Между двумя женщинами». 1. «Чета Рабурденов», 2. «Г-н де Люпо», 3. «Жучки-древоточцы». Вторая часть: «Канцелярия». 1. «Несколько портретов чиновников в три четверти», 2. «Машина в действии», 3. «Жучки-древоточцы за работой». Третья часть: «За кем будет место?». 1. «Семейные сцены», 2. «Г-жа Рабурден представлена министру», 3. «Вперед, жучки-древоточцы!», 4. «Отставка».

В 1846 году роман был помещен в III томе «Сцен парижской жизни» (первого издания «Человеческой комедии», т. XI) под названием «Чиновники, или Выдающаяся женщина». В последующих изданиях роман стал называться «Чиновники».

Роман «Чиновники» принадлежит к числу произведений, тесно связанных с теми очерками, которые Бальзак писал в 30-х годах. В «Чиновниках», посвященных изображению бюрократического мира Франции начала XIX века, Бальзак обнаруживает такое же глубокое понимание реальных отношений, как и в других своих лучших произведениях.

Социальная зоркость и историзм Бальзака проявляются уже в том, что, говоря о бюрократии, он связывает ее возникновение с послереволюционным периодом в жизни Франции, показывая ее как страшную силу, которая и по своему происхождению и по своим целям является неизбежным порождением буржуазных порядков.

«...Бюрократия окончательно сложилась,— пишет Бальзак,— лишь при конституционном правительстве, неизбежном покровителе ничтожеств, большом любителе сопроводительных документов и счетов, придирчивом, как мещанка... чиновники канцелярий поспешили стать необходимой частью управления, живое дело подменили делом бумажным и сотворили себе из косности кумир, носящий имя Докладной записки».

В своем романе Бальзак выводит целую галерею разнообразных типов чиновников, называя их «хищниками», «жучками-древоточцами», «рептилиями». Он рисует чиновников, плетущих сети мелких интриг, и чиновников, совершающих под маской законности крупные преступления. Особую категорию составляют чиновники, отупевшие от бумажного делопроизводства, с трудом тянущие тяжелую лямку из-за куска хлеба.

Искусно введя в повествование драматическую интригу, Бальзак показывает те нити, которые связывают мир чиновников, министров, депутатов с кругами католической реакции и с миром ростовщиков. Центральный герой романа, способный и честный чиновник Рабурден, погибает под напором объединившихся сил

реакции. Бальзак утверждает, что в конечном счете все дела в буржуазной Франции решаются при участии ее подлинного хозяина — всесильного ростовщика Гобсека. Среди образов романа выделяется фигура жены Рабурдена — честолюбивой буржуазки, стремящейся изо всех сил добиться возвышения мужа.

Изображение темных проделок чиновников, парламентской суетни, грязной роли всесильных ростовщиков делает роман «Чиновники» правдивым и сильным разоблачением буржуазных нравов.

Стр. 376. ... *в первые дни Реставрации носил орден Лилии.*— Орден, утвержденный Людовиком XVIII, изображал белую лилию, эмблему династии Бурбонов.

Стр. 380. *Атаназ Грансон* — персонаж романа Бальзака «Старая дева», покончил самоубийством из-за неразделенной любви.

Стр. 381. ...*зашла в своем макиавеллизме дальше, чем какой-нибудь Гондревиль, стала циничнее Максима де Трай.*— *Макиавеллизм* — коварная, лицемерная политика, не отступающая ни перед какими средствами для достижения цели; названа по имени итальянского политического деятеля эпохи Возрождения Макиавелли (1469—1527).— *Гондревиль* — персонаж из романов Бальзака «Темное дело», «Депутат из Арси», «Супружеское согласие» и др.— крупный государственный сановник.— *Де Трай* — персонаж из романов Бальзака «Гобсек», «Беатриса», «Цезарь Бирото», «Кузина Бетта» и др.— великосветский авантюрист.

Стр. 382. *Г-жа де Сталь*, Анна-Луиза-Жермена (1766—1817)— французская писательница, представительница либерального французского романтизма, автор романов «Дельфина» и «Коринна».

Стр. 383. *Бюффон*, Жан-Луи Леклерк (1707—1788) — знаменитый французский естествоиспытатель, автор «Естественной истории», в которой он высказал мысль об изменяемости видов под влиянием окружающей среды.

Стр. 387. *Сикст Пятый* — римский папа (1585—1590), отличался непомерным честолюбием и стремился играть выдающуюся роль в политике западноевропейских государств.

Стр. 390. *Мазарини* (1602—1661) — первый министр и фактический правитель Франции в годы малолетства Людовика XIV.

Сюжер (ум. 1151) — аббат, правивший Францией во время отсутствия Людовика VII, когда тот уехал в Крестовый поход.

Сюлли, барон Рони (1560—1641) — главный советник Генриха IV по управлению государством.

Шуазель, Этьен Франсуа (1719—1785) — министр Людовика XV.

Кольбер, Жан Батист (1619—1683)—министр Людовика XIV.

...*трое скорее договорятся, чем семеро.*— Во Франции в эпоху Реставрации было семь министров: иностранных дел, военный, морской, финансов, юстиции, внутренних дел и дворцового ведомства.

Стр. 393. ...*налог на двери и окна*...— был введен во Франции во время Директории; взимался по количеству дверей и окон в доме.

Стр. 394. *...при возобновлении закона о монополии на табак...*— Государственная монополия на табак была упразднена во Франции первой французской буржуазной революцией; временно возобновленная в эпоху Наполеона, монополия на табак была окончательно восстановлена при Реставрации.

Стр. 399. *...де Люпо принадлежал к роду Бертранов и занят был только отысканием Ратонов...*— В басне Лафонтена «Обезьяна и кот» обезьяна Бертран заставляет кота Ратона таскать для себя каштаны из огня. Имена хитрого Бертрана и простака Ратона стали во Франции нарицательными.

Стр. 400. *Бонно* — персонаж из поэмы Вольтера «Орлеанская девственница»; играл роль сводника в любовных делах короля Карла VII.

Стр. 401. *Бертье, Луи Александр* (1753—1815) — маршал Наполеона I.— *Отец Жозеф*, монах Жозеф дю Трамбле, прозванный «Серым кардиналом»,— доверенное лицо кардинала Ришелье; беспринципный и жестокий, «отец Жозеф» не имел никакого официального звания, но пользовался огромной властью в государстве.

Стр. 402. *Бейль*, Пьер (1647—1706) — французский философ, предшественник французских просветителей XVIII века. Его главное произведение «Исторический и критический словарь» сыграло большую роль в борьбе против феодально-церковной идеологии.

Стр. 406. *Принц Ваграмский* — титул Бертье, маршала Наполеона I.

Гефестион (ум. в 324 г. до н. э.) — соратник и ближайший друг Александра Македонского.

Стр. 408. *...буфеты Буль...*— художественная, богато инкрустированная мебель в «стиле Буль», названа по имени французского художника-мебельщика Андре-Шарля Буля (1642—1732).

Асмодей — злой демон еврейских сказаний.

Стр. 409. *Селимена* — персонаж комедии Мольера «Мизантроп» (1766); тип светской кокетки.

Стр. 414. *Он слишком молод, и у него нет ценза...*— В годы Реставрации во Франции членами палаты депутатов могли быть только лица, достигшие сорокалетнего возраста и платившие не менее ста франков прямых налогов.

Перье, Казимир (1777—1832), *Манюэль*, Жак-Антуан (1775—1827) — см. примечание к стр. 92. Упоминая имена Перье и Манюэля, министр в своей беседе с депутатом намекает на обычную для буржуазной избирательной системы фальсификацию выборов в парламент.

Стр. 423. *Брийа-Саварен* (1755—1826) — французский писатель, автор книги «Физиология вкуса».

Император Александр — имеется в виду русский император Александр I.

Стр. 429. *Гужон*, Жан — знаменитый французский скульптор эпохи Возрождения.

Диана де Пуатье (1499—1566) — фаворитка французского короля Генриха II.

Стр. 431. *Бильбоке* — центральный персонаж из комедии «Паяцы» Дюмерсана и Варена, поставленной впервые в Париже в 1831 году.

«Восточный вопрос» — термин, обозначавший в истории дипломатии совокупность сложных противоречий, связанных с борьбой европейских государств в XVIII—XIX веках за влияние в Турции и на Балканском полуострове. Впервые термин «Восточный вопрос» вошел в политический обиход в 1831 году.

Стр. 435. *Севрен* (1771—1853) — французский драматург, автор комедий и водевилей.

Пиксерекур, Гильбер де (1773—1844) — французский драматург, создатель мелодрамы.

Планар (1783—1855) — французский драматург, автор комедий и водевилей.

Пиго-Лебрен, Шарль-Антуан (1753—1835) — французский писатель, автор фривольных романов.

Пиис (1755—1838) — французский поэт-песенник и автор водевилей.

Дювике (1766—1835) — французский театральный критик.

Стр. 439. *Левенгук*, Антуан (1632—1723) — голландский ученый, и *Мальпиги* (1628—1694) — итальянский ученый, впервые в XVII веке применили микроскоп для научных исследований в области биологии.

Де Распайль, Франсуа (1794—1878) — французский ученый (химик и медик) и политический деятель, участник революций 1830 и 1848 годов.

...как это пытался сделать берлинец Гофман... — намек на повесть немецкого романтика Гофмана (1776—1822) «Повелитель блох», в которой герой с помощью микроскопического стеклышка читает мысли людей.

Калло (1592—1635) — известный французский рисовальщик и гравер, пользовавшийся приемами реалистического гротеска.

Стр. 440. *Пакье*, Этьен — префект полиции при Наполеоне I.— *Моле*, Луи-Матье — министр юстиции при Наполеоне I. Благодаря своему умению приспособиться к любому правительству оба занимали крупные посты также и в период Реставрации и Июльской монархии.

Стр. 448. *Конгрегация* — религиозная организация католической церкви; во времена Реставрации один из важнейших проводников политической реакции.

Стр. 454. *Ленде*, Робер (1746—1825) — член Конвента, министр финансов при Директории.

Стр. 460. *...в насмешку над его матримониальными планами прозвали его «голубок Вильом».* — Во время Империи некий Вильом был управляющим брачной конторы.

Амадис — герой популярного в средние века рыцарского романа «Амадис Галльский»; во имя любви к прекрасной принцессе совершил ряд необыкновенных подвигов.

Стр. 462. *Дело Фюальдеса* и *процесс Кастена* — нашумевшие во время Реставрации судебные процессы, связанные с убийством прокурора Фюальдеса в публичном доме и с делом доктора Кастена, отравившего своего друга и его брата, чтобы овладеть их имуществом.

Поля убежищ — французская колония на берегу Мексикан-

ского залива, основанная бежавшими от преследования в период Реставрации бонапартистами.

Галль, Франц-Иосиф (1758—1828) — австрийский врач и анатом, создатель антинаучной «теории» френологии, согласно которой якобы существует неразрывная связь между психическими особенностями человека и формой его черепа.

Стр. 476. *«Победы и завоевания»* — сборники статей о действиях французской армии, выходившие с 1817 по 1821 год.

Боливар, Симон (1783—1830) — один из вождей национально-освободительного движения в испанских колониях Америки в начале XIX века.

Лаффит, Жак (1767—1844) — банкир, во время Июльской монархии возглавил кабинет министров.

Делавинь, Казимир (1793—1843) — французский поэт и драматург.

Стр. 477. *Курье*, Поль-Луи (1772—1825) — французский ученый-эллинист и писатель. Выступал с остроумными политическими памфлетами против правительства Реставрации.

Мишель Кретьен — персонаж из произведений Бальзака «Утраченные иллюзии», «Тайны княгини де Кадиньяк» и др. Образ Мишеля Кретьена, пламенного республиканца и демократа, нарисован Бальзаком с большим сочувствием.

Молодая Германия и *Молодая Италия*.— В период революционного движения 30-х годов XIX века в Италии создалось тайное общество «Молодая Италия» (1831), ставившее себе целью борьбу за республику и за государственное и национальное единство Италии. По образцу «Молодой Италии» в 1834 году в Швейцарии возникло тайное революционное общество немецких эмигрантов «Молодая Германия», ставившее себе аналогичные цели.

Вольней, Константен Франсуа (1757—1820) — французский ученый-востоковед и писатель.

Стр. 483. *...охрана, которая сдается, но не умирает...*— Бисиу пародирует слова, приписываемые наполеоновскому генералу Камбронну: «Гвардия умирает, но не сдается».

Стр. 491. *Рейша*, Антуан-Жозеф (1770—1836) — чешский композитор, профессор музыки в Париже.

Стр. 495. *Одри*, Жак-Шарль (1781—1853) — комический актер.

Стр. 498. *Немножко пошуанил* — то есть принимал участие в контрреволюционном восстании шуанов в Вандее во время первой французской буржуазной революции.

Операция под Кибероном.— Во время французской революции, в 1795 году, контрреволюционный отряд французских эмигрантов, субсидируемых Англией, высадился в Бретани на Киберонском полуострове с целью поднять восстание против Республики, но был разбит революционными войсками.

Стр. 511. *...издание Бодуэна...*— состояло из 40 томов мемуаров, посвященных второстепенным деятелям первой французской буржуазной революции 1789 года.

Стр. 512. *...как провалились Булонская экспедиция и поход в Россию...*— В 1805 году Наполеон сосредоточил большую армию в Булони, на берегу Ла-Манша, с целью организовать вторжение

в Англию через пролив. Эта попытка окончилась неудачей. После похода в Россию в 1812 году наполеоновская армия была окончательно разгромлена.

Стр. 537. *Ветреник* и *Маскариль* — персонажи из комедии Мольера «Ветреник». Ловкий лакей Маскариль старается устроить любовные дела своего молодого хозяина, но тот сумасбродными выходками беспрестанно разрушает интриги своего слуги.

Стр. 550. *Барер*, Бертран (1755—1841) — член Конвента и Комитета общественного спасения.

Стр. 559. *Кифера* — один из Ионических островов, известный в античности культом богини любви Афродиты (Киферейи).

Стр. 567. *Он имел в виду четырех сержантов Ла-Рошели.*— Четыре сержанта, служившие в городе Ла-Рошель, были казнены в 1822 году в Париже за участие в заговоре против Бурбонов.— *Бертон*, Жан-Батист — наполеоновский генерал, также был казнен в 1822 году за участие в заговоре против Бурбонов.— *Ней*, Мишель— маршал Наполеона, был расстрелян в 1815 году правительством Бурбонов.— *Карон*, Огюст-Жозеф — полковник наполеоновской армии, был расстрелян в 1822 году за попытку освободить из тюрьмы участников заговора, возглавляемого Бертоном.— *Братья Фоше*, Цезарь и Константен,— участники революционных и наполеоновских войн, были казнены правительством Бурбонов в 1815 году.

Стр. 583. «*Помогай себе сам, и небо тебе поможет*» — общество, основанное в 1826 году доктринерами, поставившими себе целью образование партии «Золотой середины», далекой от всех крайних партий эпохи Реставрации.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены парижской жизни

История величия и падения Цезаря Бирото 5
I. Цезарь в апогее величия. *Перевод М. И. Казас*
II. Цезарь в борьбе с несчастьем. *Перевод Р. А. Гурович*
Банкирский дом Нусингена. *Перевод Р. А. Гурович* 302
Чиновники. *Перевод В. О. Станевич* 373
Примечания 606

БАЛЬЗАК.
Собрание сочинений
в 24 томах. Том XII.

Редактор тома
Б. С. Вайсман.

Иллюстрации художника
Т. В. Шишмаревой.

Оформление художника
А. А. Васина.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печ. 30/V 1960 г. Тираж 350 000 экз. Изд. № 786. Зак. 1017.
Бум. л. 9,625. Печ. л. 31,57+4 вкл. (0,4 п. л.). Уч.-изд. 34,29.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24